
Марсель
Пруст
У Германтов
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ВРЕМЕНИ
амфора

У Германтов

Марсель Пруст

Аннотация
Марсель Пруст. У Германтов
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
  Глава первая
  Глава вторая
ПРИМЕЧАНИЯ

Аннотация

Роман «У Германтов» продолжает семитомную эпопею французского писателя Марселя Пруста «В поисках утраченного времени», в которой автор воссоздает ушедшее время, изображая внутреннюю жизнь человека как «поток сознания».

Марсель Пруст
У Германтов

Леону Доде[1], автору «Путешествия Шекспира», "Соломонова суда", "Черной звезды", "Призраков и живых", "Мира образов", автору стольких шедевров, несравненному другу — в знак благодарности и восхищения — М. П.

---

[1] Примечания: 1

Роман посвящен Леону Доде (1867–1942), французскому литературному критику, романисту, мемуаристу и публицисту, одному из ближайших друзей Пруста. Сын знаменитого писателя Альфонса Доде, Леон начал свой творческий путь в качестве главного редактора парижской ежедневной газеты «Ла Либр Пароль» («Свободное слово»), после чего вместе с Шарлем Моррасом основал «Аксьон Франсез» (1908), ежедневную газету националистического и антисемитского толка, ставшую главным печатным органом одноименного политического движения. Благодаря деятельному участию Леона Доде Пруст получил Гонкуровскую премию за роман «Под сенью девушек в цвету» (1919). В своем посвящении Пруст упоминает первый роман Доде «Черная звезда» (1893), исторический роман «Путешествие Шекспира» (1896), психологический роман «Соломонов суд» (1905) и сборники психопатологических этюдов «Мир образов» (1919) и «Призраки и живые» (1914–1921). Помимо этого посвящения Пруст выразил свою дружбу и признательность Леону Доде в небольшом эссе под названием «Несравненный ум и гений: Леон Доде», которое входит в современное издание сборника «Против Сент-Бёва».

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Утренний щебет птиц явно раздражал Франсуазу. От каждого слова «прислуги» она вздрагивала; ходьба «прислуги» не давала ей покою, и она все спрашивала, кто это там ходит; дело в том, что мы переехали. Разумеется, слуги не реже сновали и на «седьмом» нашей прежней квартиры; но Франсуаза была с ними знакома и ощущала в их беготне нечто дружественное. На новом месте она с мучительным напряжением вслушивалась и в тишину. А так как новый наш квартал был столь же тих, сколь шумен бульвар, где мы жили раньше, то в теперешнем изгнании Франсуазу при звуках песни (слышной, подобно оркестровой мелодии, издалека, если только поют негромко) прошибала слеза. Вот почему я хоть и посмеивался над ней, что она тяжело переживала наш переезд из дома, где «все нас так уважали», где она, плача, как того требовал комбрейский обычай, укладывала свои вещи и утверждала, что лучше этого дома на свете нет, все-таки, оттого что мне одинаково трудно было приноровиться к новой обстановке и расстаться с прежней,

потянулся к нашей старой служанке после того, как удостоверился, что устройство в доме, где еще не знавший нас привратник не оказывал ей знаков уважения, необходимых для ее душевного спокойствия, довело ее до полуобморочного состояния. Понять меня способна была только она; и уж, во всяком случае, не ливрейный лакей; для лакея, которому комбрейский дух был как нельзя более чужд, переезд на жительство в другой квартал являлся чем-то вроде отпуска, когда при перемене обстановки отдыхаешь, как в дороге; он чувствовал себя словно на лоне природы; и даже насморку, — точно он «простыл» в вагоне с неплотно закрывающимся окном, — радовался не меньше, чем если бы дышал деревенским воздухом; после каждого чоха он выражал восторг от того, что нашел такое шикарное место: ведь он же давно мечтал попасть к господам, которые много путешествуют. Потому-то я даже и не подумал о нем, а пошел прямо к Франсуазе; предотъездные сборы не огорчали меня, и тогда ее слезы казались мне смешными, она же отнеслась холодно к теперешней моей грусти именно потому, что разделяла ее. Вместе с мнимой «чувствительностью» нервных людей растет их эгоизм; горевать из-за чужих хворей они не способны, зато со своими

носятся все больше и больше; Франсуаза охала от самой пустячной боли и отворачивалась, когда было больно мне, — отворачивалась, чтобы мне не доставила удовольствия мысль, что другие видят, как я страдаю, и жалеют меня. Таким же образом повела она себя, когда я заговорил с ней о нашем новом обиталище. Более того: через два дня, когда у меня из-за переезда все еще «держалась» температура и, подобно удаву, только что проглотившему быка, я находился в подавленном состоянии, — а подавляла меня каменная ограда, которую предстояло «переварить» моему взору, — Франсуаза пошла на старую квартиру за забытыми вещами и, неверная, как все женщины, возвратившись, сказала, что на нашем старом бульваре ей чуть-чуть не сделалось дурно от духоты, что по дороге туда она долго «блудила», что нигде еще не видела она таких неудобных лестниц, что теперь она не согласилась бы жить там ни «за полцарства», ни за какие миллионы, которых ей, впрочем, никто и не собирался предлагать, и что все (то есть все, относящееся к кухне и кухонной утвари) куда лучше «оборудовано» на нашей новой квартире. Однако пора уж сообщить, что наша новая квартира, — переехали же мы сюда, потому что бабушка чувствовала

себя плохо (от нее мы эту причину утаили) и ей нужен был более чистый воздух, — находилась во флигеле особняка Германтов.

В определенном возрасте мы достигаем того, что Имена воспроизводят перед нами образ непознаваемого, который мы в них заключили, и в то же время обозначают для нас реально существующую местность, благодаря чему и то и другое отождествляется в нашем сознании до такой степени, что мы ищем в каком-нибудь городе душу, которая не может в нем находиться, но которую мы уже не властны изгнать из его названия, и не только города и реки индивидуализируют Имена, как их индивидуализируют аллегорические картины, не только материальную вселенную испещряют они отличительными чертами и населяют чудесами, но и вселенную социальную: тогда в каждом замке, в каждом чем-нибудь знаменитом доме, дворце живет женщина или фея, подобно тому как в лесах обитают лесные духи, а в водах — божества водяные. Иногда прячущаяся в глубине своего имени фея преображается по прихоти нашей фантазии, которая питает ее; вот так и атмосфера, окружавшая во мне герцогиню Германтскую, которая на протяжении многих лет являлась для меня всего лишь отражением

волшебного фонаря и церковного витража, начала приглушать свои тона, едва лишь совсем иные мечты пропитали ее вспененной влагой потоков.

Однако фея блекнет, когда мы приближаемся к настоящей женщине, носящей ее имя, ибо имя начинает тогда отражать женщину, и у женщины ничего уже не остается от феи; фея может возродиться, если мы удалимся от женщины; но если мы не отойдем от женщины, фея умирает для нас навсегда, а вместе с нею — имя, как род Люзиньянов,[2] которому суждено угаснуть в тот день, когда исчезнет фея Мелюзина.[3] Тогда Имя, в котором, хотя оно и много раз перекрашивалось, мы в конце концов можем обнаружить прекрасный портрет незнакомки, которую мы

---

[2] Примечания: 2

…род Люзиньянов… — Речь идет о древнем аристократическом семействе, господствовавшем в Пуату начиная с X века. К этому семейству восходят корни Германтов.

[3] Примечания: 3

Мелюзина (Мелизанда) — волшебная фея, героиня многих рыцарских романов и средневековых преданий Пуату. Будучи женой Раймондина, первого графа Люзиньяна, она считается покровительницей этого рода. По легенде, восходящей, вероятно, к кельтской мифологии, мать Мелюзины наказала своих дочерей за преступление в отношении отца, в частности, Мелюзина по ее воле каждую субботу должна была превращаться в нижней части своего тела в змею. Только брак со смертным мог прекратить ее муку: выйдя замуж за Раймондина, Мелюзина приносит ему потомство и богатство. Однако, мучимый ревностью, Люзиньян нарушает запрет не смотреть на возлюбленную

по субботам и открывает ее в образе сирены, после чего Мелюзина вылетает в окно крылатой змеей.

никогда не видели, представляет собой обыкновенную фотографическую карточку, служащую для того, чтобы свериться с ней, знаем ли мы идущую навстречу женщину и надо ли ей поклониться. Но стоит какому-нибудь давнему ощущению, — так граммофонные пластинки сохраняют звук и стиль игры различных музыкантов, — позволить нашей памяти произнести это имя, как оно звучало для нас тогда, — и, хотя по виду имя не изменилось, мы сразу чувствуем расстояние, отделяющее мечты, которые, одна за другой, возникали перед нами при произнесении тех же самых слогов. На миг из вновь услышанного щебета былой весны мы можем извлечь, как из тюбиков, какими пользуются художники, верный, забытый, таинственный, не потускневший оттенок того времени, которое будто бы оживает в нашей памяти, когда, подобно плохим живописцам, мы придаем всему нашему прошлому, распяленному на одном холсте, условные и совершенно одинаковые тона волевой памяти. А ведь на самом деле как раз наоборот, каждое из мгновений, составляющих наше прошлое, пользовалось в самобытном своем творчестве, не нарушая гармонической цельности, тогдашними красками, которых мы теперь уже не знаем,

но которые могут еще внезапно привести меня в восторг, если случайно имя Германт, по прошествии стольких лет приобретя на миг резко отличающееся от нынешнего звучание, какое я уловил в день свадьбы мадмуазель Перспье, вернет мне теплую, яркую, свежую лиловь, которою нежил взор пышный галстук юной герцогини, и напоминавшие вновь расцветшие и недоступные барвинки ее глаза, осиянные лазоревой улыбкой. А еще имя Германт тех времен похоже на баллончик с кислородом или с каким-нибудь другим газом: когда я его разбиваю, выпускаю из него содержимое, я дышу воздухом Комбре того года, того дня, смешанным с запахом боярышника, колыхавшегося от предвестника дождя — от ветра с площади, который то скрадывал солнечный свет, то расстилал его на красном шерстяном ковре церковного придела, отчего ковер окрашивался в яркий, почти розовый цвет герани и его ликование приобретало, я бы сказал, вагнеровскую мягкость, которая так облагораживает праздничность. Но и не в такие редкие мгновения, когда мы внезапно ощущаем, как трепещет неповторимая сущность и как она вновь вырастает, не утратив формы своей и чеканки из ныне мертвых слогов, — пусть даже, находя себе

чисто практическое применение в головокружительном вихре повседневной жизни, имена совершенно обесцвечиваются, подобно пестрому волчку, который, когда он очень быстро крутится, кажется серым, — все же, погружаясь в мечтанья, мы раздумываем, мы пытаемся, чтобы вернуться к прошлому, замедлить, приостановить вечное движение, в которое мы вовлечены, перед нами вновь возникают следующие непосредственно один за другим, но совершенно разные оттенки, которые в ту или иную пору нашей жизни показывало нам чье-нибудь имя.

Разумеется, какая форма вычерчивалась перед моими глазами, когда моя кормилица, конечно, не имевшая понятия, как до сих пор и я не имею понятия, в честь кого была сложена старинная песня «Слава маркизе Германтской», которой она меня баюкала, или когда, несколько лет спустя, старый маршал Германт, преисполняя гордостью сердце моей няни, останавливался на Елисейских полях и, произнеся: «Какой прелестный ребенок!» — доставал из карманной бонбоньерки шоколадную конфету, — это я сказать не могу. Годы раннего моего детства уже не во мне, они от меня отделились, я знаю о них, как и о том, что было до моего рождения, только по рассказам. Но с

течением времени я нашел в себе одно за другим то ли семь, то ли восемь обличий этого имени; самыми красивыми были первые; постепенно действительность выбила мою мечту с позиции, непригодной для обороны, и она окопалась чуть дальше, а потом ей пришлось отступить еще. И когда герцогиня Германтская меняла жилище, тоже порожденное этим именем, которое оплодотворялось из года в год каким-либо услышанным мною словом, придававшим иной облик моим мечтам, новое ее жилище отражало их во всех своих камнях, получавших такую же способность отражать, какою обладает поверхность облака или озера. Там, где стояла невещественная башня, которая представляла собой всего лишь оранжевую полоску света и с высоты которой сеньор и его супруга распоряжались жизнью и смертью своих вассалов, теперь простирался — в самом конце «направления к Германтам», куда я столько раз в погожие дни ходил с моими родителями берегом Вивоны, — край ручьев, где герцогиня учила меня удить форель и сообщала названия фиолетовых и бледно-красных цветов, обвивавших низкие садовые ограды; потом это была вотчина, поэтичная местность, где гордый род Германтов, подобно пожелтевшей, украшенной

орнаментом башне, пережившей столетия, уже возвышался над Францией, между тем как небо было еще пусто там, где позднее выросли соборы Парижской и Шартрской Богоматери; между тем как на вершине Ланского холма;[4] еще не остановился, как Ноев ковчег на горе Арарат, собор с патриархами и праведниками, в тревоге приникшими к окнам и глядящими, не утих ли гнев Божий, собор, взявший с собой виды растений, которые потом размножатся на земле, набитый животными, которые вырываются оттуда даже через башни, собор, где быки мирно прогуливаются по кровле и озирают с высоты равнины Шампани; между тем как путник, покидавший Бове на склоне дня, еще не видел, как следом за ним ширяют на золотой завесе заката черные ветвистые крылья бовейского собора. Этот самый Германт, точно место действия романа, был для меня воображаемым пейзажем, который я с трудом себе представлял и оттого особенно страстно мечтал увидеть в двух милях от вокзала, среди настоящих земель и дорог, у которых вдруг по-

[4] Примечания: 4

…на вершине Ланского холма… — Готический собор (1160–1230) в г. Лане расположен на вершине холма, вокруг которого вырос город. На южном портале собора изображено сражение между Добродетелями и Пороками.

явились бы геральдические приметы; я силился припомнить названия ближайших селений, как будто они находились у подножия Парнаса[5] или Геликона[6] они представлялись мне наилучшей обстановкой — с точки зрения топографической — для возникновения таинственного явления. Я снова рассматривал гербы под витражами комбрейской церкви, поле которых заселялось из века в век владельцами всех сеньорий, которые этот знатный род посредством браков или приобретений забирал себе во всех уголках Германии, Италии и Франции: земли на севере, которым нет конца-краю, города-твердыни на юге, объединившиеся и влившиеся в Германт и, утратив свою вещественность, аллегорически вписавшие зеленую свою башню или серебряный замок в голубой его герб. Я слышал разговоры о знаменитых Германтских коврах и видел, как они, средневековые, синие, грубоватые, вырисовывались облаком на легендарном малиновом

[5] Примечания: 5

Парнас — в греческой мифологии место обитания Аполлона и муз. Соотносится с горным массивом в Фокиде. У подножья Парнаса располагались города Криса и Дельфы со знаменитым оракулом в храме Аполлона, а также Кастальский ключ — источник поэтического вдохновения.

[6] Примечания: 6

Геликон — гора в Средней Греции, где, согласно мифологии, обитали музы-геликониды, покровительствовавшие искусству.

имени у опушки заповедного леса, где так часто охотился Хильдеберт.[7] (, и мне казалось, что все тайны загадочной глубины владений, все тайны дали веков я открою, не путешествуя, а всего лишь подойдя на минутку в Париже к герцогине, сюзерену Германта и владычице озера, как будто ее лицо и слова были проникнуты особым очарованием Германтских лесов и рек и обладали теми же отличительными чертами вековой давности, что и старинный свод установлений обычного права, хранящийся у нее в архиве. Но тут произошло мое знакомство с Сен-Лу; он сообщил мне, что замок начал называться Германтом только в XVII веке, после того как был приобретен его предками. До тех пор Германты жили по соседству, их титул не произошел от названия этой местности. Селение Германт получило свое название от замка, около которого оно раскинулось, а чтобы не портить вида на замок, распланировал улицы и ограничивал высоту домов действовавший тогда

[7] Примечания: 7

Хильдеберт… — Три франкских короля из династии Меровингов носили это имя: Хильдеберт I (ум. 558), франкский король Парижа (511–558), Хильдеберт II (570–595), король Австразии (575–595) и Хильдеберт III (683–711), король франков (695–711).

сервитут[8] Ковры же были вытканы по рисункам Буше,[9] куплены в XIX веке одним из Германтов, знатоком, и висели они рядом с посредственными картинами охоты, написанными им самим в безобразной гостиной, обитой бумажной тканью и плюшем. Своими разъяснениями Сен-Лу ввел в замок элементы, чуждые имени Германт, и они лишили меня возможности судить о кладке строений только по звучанию слогов. На фоне названия уже не выделялся отражавшийся в озере замок, и жилищем герцогини Германтской мне виделся теперь парижский ее особняк, особняк Германтов, чистый, как ее имя, ибо ни одна вещественная и непроницаемая частица не нарушала и не мутила ее прозрачности. Подобно тому как слово «церковь» означает не только храм, но и собрание верующих, так и особняк Германтов заключал в себе всех лиц, игравших роль в жизни

---

[8] Примечания: 8

Сервитут — признанное в законодательстве ряда государств право пользования чужим имуществом в определенных пределах (например, право прохода по участку земли, принадлежащему другому лицу) или право на ограничение собственника в определенном отношении (например, запрещение прорубать из дома окно в чужой двор).

[9] Примечания: 9

Буше, Франсуа (1703–1770) — французский художник и гравер. Получил известность главным образом как декоратор аристократических салонов и будуаров, которые он украшал сценами на пасторальные и мифологические сюжеты.

герцогини, но эти люди, которых я никогда не видел, являлись для меня всего лишь громкими и поэтичными именами, знались же они с людьми, которые для меня представляли собой тоже только имена и благодаря этому обстоятельству углубляли и еще надежнее охраняли тайну герцогини, образуя вокруг нее широкий ореол, который если и бледнел, то ближе к своему пределу.

Гостей на праздничных ее сборищах я рисовал себе бесплотными, без усов и без обуви, без заученных фраз, даже без фраз, оригинальных с точки зрения человеческой и рационалистической, и весь этот, такой же невещественный, как трапеза привидений или бал призраков, вихрь имен вокруг статуэтки из саксонского фарфора, то есть вокруг герцогини Германтской, не уступал в своей прозрачности окнам ее стеклянного дома. Потом, когда Сен-Лу рассказал мне анекдоты о капеллане и о садовниках его родственницы, особняк Германтов превратился, — таким прежде мог быть, к примеру, Лувр, — в подобие замка, окруженного в Париже землями, которые перешли по наследству к герцогине в силу старинного, каким-то чудом дожившего до наших дней права и на которых она все еще пользо-

валась феодальными привилегиями. Но и это последнее жилище исчезло, как только мы поселились поблизости от маркизы де Вильпаризи, во флигеле герцогини Германтской. Это был один из тех старых домов, которые и сейчас еще, быть может, кое-где сохранились и к парадному двору которых часто пристраивались, — то ли это нанос взбушевавшейся волны демократии, то ли наследие более давних времен, когда разные ремесла группировались вокруг сеньора, — лавочки, мастерские, даже заведения сапожников и портных, вроде тех, что лепятся к стенам соборов, пока их не снесет эстетика архитекторов, будки привратников (они же — холодные сапожники), разводивших кур и сажавших цветы, а в глубине двора, в «барском особняке» обитала «графиня», которая, садясь в свою старую, запряженную парой коляску и потряхивая настурциями на шляпе, точно сорванными в садике привратника (ее выездной лакей слезал с козел у каждого аристократического особняка в этом квартале, чтобы оставить там визитную карточку), посылала невнятные улыбки и махала рукой детям привратника и шедшим по улице своим жильцам, в пренебрежительной своей приветливости и уравнительной чванливости принимая одного

за другого.

Самой знатной дамой в особняке была герцогиня, изящная и еще молодая. Это была герцогиня Германтская. Благодаря Франсуазе я довольно скоро получил представление об особняке. Дело в том, что Германты (Франсуаза часто называла их «нижние», «снизу») владели ее мыслями с самого утра, когда, причесывая маму, она бросала запретный, неодолимый, беглый взгляд во двор и говорила: «Э, две сестрички; должно, снизу», или: «Хороши фазаны в кухонном окне! Чтоб догадаться, откуда они, большой смекалки не нужно: верно, герцог был на охоте», и до вечера, когда, подавая мне ночную сорочку и прислушиваясь к игре на рояле и к шансонетке, она заключала: «Гости внизу: пошло веселье!» — и на ее правильном лице, под теперь уже седыми волосами молодая улыбка, живая и чинная, на мгновение ставила все ее черты на свое место и придавала им жеманно-лукавое выражение, точно Франсуаза собиралась танцевать кадриль.

Но особенно возбуждал любопытство Франсуазы, доставлял ей наибольшее удовлетворение и вместе с тем наибольшие страдания тот момент в жизни Германтов, когда ворота растворялись настежь и герцогиня садилась в коляску. Обыч-

но это случалось вскоре после того, как наши слуги заканчивали священнодействие, которое представлял для них обед, которое никто не смел прерывать и в течение которого они находились под охраной столь строгого «табу», что даже мой отец не позволял себе им звонить, отлично зная, впрочем, что никто из них не пошевельнется и после пятого звонка и что он допустил бы это неприличие, не только ничего не добившись, но еще и напортив самому себе. Дело в том, что Франсуаза, состарившись, и так-то из-за всякого пустяка надувала, как говорится, губы, а тут уж она целый день ходила бы с лицом, изборожденным красной клинописью — не очень разборчивым, но зато длинным перечнем ее жалоб и тайных причин недовольства. Впрочем, она сетовала и вслух, но обращаясь к самой себе и так, что мы не разбирали слов. Она считала, что этим она допекает нас, «пиявит», «щуняет», и называлось это у нее «целый Божий день служить раннюю обедню». Покончив со всеми обрядами, Франсуаза, являвшаяся, как в первые времена христианства, священнослужителем и в то же время просто верующей, выпивала последний стаканчик вина, вытирала салфеткой рот, на котором оставались пятна вина и кофе,

затем снимала с шеи салфетку, складывала ее, продевала в кольцо, страдальческим взглядом благодарила «своего» молодого лакея, — тот в пылу усердия предлагал: «Еще винца, сударыня? Вино чудесное», — и немедленно отворяла окно под тем предлогом, что ей дышать нечем «в этой поганой кухне». Поворачивая ручку в оконной раме и втягивая в себя свежий воздух, она живо бросала будто бы безучастный взгляд во двор, украдкой убеждалась, что герцогиня еще не готова, на мгновение задерживала горевший презрением взгляд на запряженной коляске, а затем, уделив минутку внимания земному, возводила глаза к небу, в ясности которого она не сомневалась — до того мягок был воздух и так хорошо пригревало солнце; и она долго смотрела на тот угол крыши, где каждую весну селились как раз над дымоходной трубой моей комнаты голуби, похожие на тех, что ворковали у нее в кухне, в Комбре. — Ах, Комбре, Комбре! — восклицала она. (То, что Франсуаза произносила это взывание почти нараспев, а также арльская правильность черт ее лица как будто свидетельствовали о южном ее происхождении и о том, что утраченная ею родина, которую она оплакивала, была лишь второй ее родиной. Но это

впечатление могло быть и обманчивым, ибо нет, кажется, такой провинции, у которой не было бы своего «юга», и у скольких савойцев и бретонцев обнаруживаешь транспонировку долгих и кратких звуков, характерную для южанина!) — Ах, Комбре, и когда-то я тебя увижу, милый мой городок! Когда-то я проведу целый Божий день под твоим боярышником и под нашей милой сиренью, послушаю зябликов и Вивону, — уж она и журчит: ровно кто шепчет! — вместо противного звонка нашего молодого барина: ведь он каждые полчаса гоняет меня по этому чертову коридору. Да еще говорит, что я не скоро прихожу, надо, мол, слышать звонок, когда его еще нет, а уж если на минутку опоздаешь, так он прямо кипит от злости. Ах, милый Комбре! Может, я тебя и увижу-то мертвой, когда меня бросят в могилу, как камень. Но когда я буду спать вечным сном, все мне будут слышаться эти три звонка, из-за которых я в ад попаду.

Но тут Франсуазу прерывали доносившиеся со двора крики жилетника, который понравился бабушке, когда она была у маркизы де Вильпаризи, и пользовался не меньшими симпатиями Франсуазы. Подняв голову на стук отворяемого окна, он потом всячески старался привлечь внимание сво-

ей соседки и поздороваться с ней. Кокетливость девушки, в какую превращалась Франсуаза, утончала тогда в глазах Жюпьена недовольное лицо нашей старой кухарки, огрузневшей от возраста, от дурного расположения духа и от раскаленной плиты, и когда Франсуаза кланялась жилетнику, то этот ее поклон являл собой сочетание сдержанности, непринужденности и стыдливости и был изящен, но безмолвен, так как хотя она и не слушалась моей матери, запрещавшей выглядывать во двор, все же не простирала свою дерзость до того, чтобы переговариваться через окно, за что ей не миновать бы, как она выражалась, «хорошего нагоняя» от барыни. Она глазами показывала жилетнику на коляску, как бы говоря: «Правда, славные лошадки?» — а сама в это время бормотала: «Старые клячи!» — прекрасно зная, что он ответит, приставив ко рту руку, чтобы она услыхала его приглушенный голос:

– *Вы* тоже могли бы завести себе таких, если б захотели, а может, еще и побольше, да только вы всего этого не любите.

А Франсуаза, сделав скромный, уклончивый и восторженный знак, выражавший приблизительно: «У каждого свой вкус; мы любим, чтоб попроще», затворяла окно из боязни, как бы не

вошла мама. «Вы», у которых могло бы быть больше лошадей, чем у Германтов, — это были мы, однако Жюпьен имел полное право говорить «вы», так как, если сбросить со счетов эгоистические удовольствия, которые испытывала только Франсуаза, — например, когда она кашляла не переставая, когда весь дом боялся от нее заразиться, а она с противным смешком уверяла, что не простужена, — подобно растениям, объединяющимся с животным, которое их кормит, добывает им пищу, ест, переваривает и предлагает им ее в виде до конца усваиваемого остатка, Франсуаза жила в симбиозе с нами; это мы, с нашими достоинствами, с нашим состоянием, с нашим образом жизни, с нашим положением, должны были по мелочам тешить ее самолюбие, а из этих мелочей складывалась, — сюда надо еще прибавить признаваемое за ней право свободно отправлять обряд обеда по древнему обычаю, разрешавшему после обеда подышать воздухом у окна, право, идя за покупками, просто погулять по улицам, право навещать по воскресеньям свою племянницу, — необходимая для нее доля удовольствий.

Поэтому легко себе представить, что в первые дни своего пребывания в нашем доме, пока еще

не все почетные звания моего отца стали ей известны, она могла бы зачахнуть от болезни, которую она сама называла скукой, придавая этому слову ту энергию, какую оно приобретает у Корнеля или под пером солдат, которые так «скучают» по своей невесте, по своей деревне, что в конце концов лишают себя жизни. Франсуазу скоро вылечил от скуки именно Жюпьен, ибо он доставил ей удовольствие, равное по силе, но превосходящее своею остротою то, какое доставили бы ей мы, если б мы и правда надумали купить экипаж. «Из очень даже порядочного общества эти Жюпьены (одна из особенностей Франсуазы состояла в том, что она заменяла незнакомые ей имена привычными для ее слуха), очень даже славные они люди — это у них на лице написано». В самом деле, Жюпьен правильно понял и всем сумел растолковать, что у нас нет экипажа только потому, что у нас нет желания им обзаводиться.

Этот приятель Франсуазы мало бывал дома после того, как получил место в министерстве. Сначала он вместе с «малышкой», которую моя бабушка приняла за его дочку, шил жилеты, но потом это занятие стало совершенно невыгодным, как только девчушка, которая, когда была еще маленькая, отлично умела перешивать

юбки, уже к тому времени, когда моя бабушка навестила маркизу де Вильпаризи, стала шить на дам, сделалась юбочницей. Начав с «подручной» у портнихи, — «подручной», занимавшейся то вышивками, то оборками, пришивавшей пуговицы, делавшей «защипы», прилаживавшей на талии крючки, — она скоро сделалась второй, потом первой помощницей, а затем, найдя себе заказчиц среди дам из высшего общества, начала работать на дому, то есть в нашем дворе, чаще всего — с одной или двумя своими товарками по мастерской, которых взяла себе в ученицы. С тех пор Жюпьен стал менее полезен дома. Конечно, когда девчушка выросла большая, она все еще часто шила жилеты. Но ей помогали подружки, а больше она ни в ком не нуждалась. Вот почему Жюпьен, ее дядя, выхлопотал себе место. Сперва он освобождался в двенадцать, потом, когда занял должность служащего, которому на первых порах только помогал, — не раньше обеденного часа. «Назначение» Жюпьена, к счастью, состоялось месяца через полтора после нашего новоселья, так что он довольно долго говорил Франсуазе приятные вещи и тем самым помог ей более или менее безболезненно пережить первое, самое трудное время. Впрочем, не отрицая пользы,

какую Жюпьен принес Франсуазе в качестве «успокоительного средства», я должен сознаться, что поначалу Жюпьен мне не очень понравился. На расстоянии нескольких шагов, скрадывая впечатление, какое могли бы произвести вблизи его румяные толстые щеки, глаза его, из которых потоками лились сострадание, отчаяние и озабоченность, наводили на мысль, что он тяжко болен или что у него большое горе. Конечно, ничего похожего с ним не приключалось, и говорил он — говорил прекрасно — скорее холодным и насмешливым тоном. Из несоответствия взгляда словам возникала неприятная фальшь, и от этого он сам чувствовал себя неловко, точно единственный гость, явившийся на вечер в пиджаке, между тем как другие пришли во фраках, или как будто он должен ответить на вопрос кого-нибудь из высочеств, но не знает, как с ним нужно говорить, и, вместо того, чтобы произнести связную фразу, бормочет нечто нечленораздельное. Разница заключалась в том, что фразы Жюпьена отличались изяществом. Находившийся, быть может, в соответствии с затопленностью всех черт его лица волнами взгляда (чего вы уже не замечали при более близком знакомстве), его редкий ум, который я скоро в нем открыл, был одним из

самых литературных от природы умов, какие я только знал, — в том смысле, что, человек, вероятно, необразованный, Жюпьен изобретал сам, а быть может, усвоил из прочитанных урывками книг самые витиеватые обороты речи. Наиболее одаренные люди, которых я знал, умерли совсем молодыми. Вот почему я был уверен, что Жюпьен проживет недолго. Он был добр, отзывчив, наделен самыми тонкими, самыми возвышенными чувствами.

Скоро он перестал играть роль в жизни Франсуазы. Она научилась исполнять ее сама. Даже когда поставщик или чей-нибудь лакей приносил нам пакет, Франсуаза, делая вид, что не обращает на посланца внимания, продолжала заниматься своим делом и лишь безучастно указывала ему глазами на стул, но она так ловко пользовалась тем недолгим временем, какое посланцы проводили в кухне, ожидая ответа от моей мамы, что лишь немногие из них уходили, не будучи несокрушимо уверены в том, что «если у нас нет экипажа, значит, у нас нет желания им обзаводиться». Впрочем, ей так хотелось, чтобы все знали, «какие большие у нас деньги» (она не любила родительного падежа и предпочитала этот оборот другому: «как много у нас денег»;

она говорила: «принести воду», а не «воды»), что мы богаты, не потому чтобы одно богатство, богатство без добродетели, являлось в глазах Франсуазы высшим благом, но и потому, что добродетель без богатства тоже не была ее идеалом. Богатство было для нее как бы необходимым условием добродетели, отсутствие коего лишило бы добродетель достоинств и прелести. Для нее это были понятия настолько близкие, что в конце концов добродетель и богатство поменялись у нее свойствами: от добродетели она требовала некоторого комфорта, в богатстве усматривала нечто поучительное.

Довольно скоро затворив окно, — а то как бы мама не «разбранила ее так, что пух полетит», — Франсуаза, вздыхая, принималась убирать с кухонного стола.

— На улице Лашез тоже проживают Германты, — как-то рассказывал камердинер, — у меня был приятель, он служил у них; вторым кучером был. А еще я знаю одного человека, но только этот мне не товарищ, он моего приятеля зять, так вот он отбывал военную службу в одном полку с доезжачим барона Германта. «Но, право слово, он мне не отец!» — добавлял камердинер, имевший пристрастие к популярным мотивчикам

и любивший пересыпать свою речь модными словечками.

По выражению лица пожилой Франсуазы было видно, что она устала, к тому же она на все смотрела из Комбре и все виделось ей в туманной дали, и она не поняла самой шутки — она была только уверена, что это шутка, потому что последние слова камердинера не имели никакой связи с предыдущим и были произнесены очень громко человеком, которого она знала за балагура. Вот почему она улыбнулась одобрительно и восхищенно, как бы говоря: «Виктор неисправим!» Впрочем, она была счастлива, так как знала, что слушанье подобного рода острот отдаленно напоминает благопристойные светские развлечения, ради которых все спешат принарядиться, выходят в холод на улицу, рискуя здоровьем. Наконец, она считала камердинера своим другом, так как он постоянно с возмущением рассказывал ей, какие жесткие меры собирается принять республика против духовенства. Франсуаза тогда еще не понимала, что самые опасные наши противники не те, что вступают с нами в споры и пытаются убедить, а те, что раздувают или сами распускают огорчительные для нас слухи, даже и не думая найти им хоть какое-то оправдание, отчего нам

было бы не так тяжело и, может быть, даже мы отчасти прониклись бы уважением к партии, которую они стараются изобразить — чтобы наша душевная пытка стала совсем уж невыносимой — бесчеловечной и торжествующей.

— Они, поди, все герцогине родня, — как возобновляют музыкальное произведение в анданте, возобновила Франсуаза прерванный разговор о Германтах с улицы Лашез. — Кто-то мне говорил, что один из тех женился на родственнице герцога. Во всяком случае, все они — «уроженцы». Род Германтов — большой род! — почтительно добавила она, основывая величие этого рода и на многочисленности тех, кто к нему принадлежал, и на блеске его славы — так Паскаль[10] основывал истину религии и на разуме и на авторитете Священного писания. Дело в том, что у Франсуазы было только одно слово для выражения обоих понятий, и она думала, что это одно и то же: ее словарь, как иные драгоценные камни, был с изъянцами, затемнявшими ее мысль.

---

[10] Примечания: 10

Паскаль, Блез (1623–1662) — французский физик, математик и философ. Паскаль не успел завершить свою «Апологию христианства», отрывки которой получили известность под заглавием «Мысли» (1670). Кроме того, его перу принадлежат знаменитые «Письма к провинциалам» (1656–1657) — полемическое сочинение, направленное против иезуитов.

— Я все думаю, не те ли они самые, у которых есть замок в Германте, в десяти милях от Комбре, — тогда они, стало быть, тоже сродни их алжирской родственнице.

Мы с матерью долго ломали голову, что это за алжирская родственница, и в конце концов сообразили, что Франсуаза путает Алжир с городом Анжером. Что от нас далеко, то может быть нам известнее близкого. Франсуаза знала название «Алжир» по надписи на коробке отвратительных фиников, которые мы получали на Новый год, и не имела понятия, что есть город Анжер. В языке Франсуазы, как и во французском языке вообще, в особенности — что касается названий мест, было полно ошибок. «Я хотела про это спросить у их дворецкого. Только как же это его называют? — перебила она себя вопросом о правилах этикета, но тут же ответила: — Антуан — вот как его называют. (Можно было подумать, что Антуан — это титул.) Он-то мог бы мне сказать, да ведь это настоящий вельможа, важный барин, он точно язык проглотил или говорить разучился. Ни за что не даст вам ответа, если вы его об чем спросите», — добавила Франсуаза; она выражалась, как

г-жа де Севинье: «давать ответ[11]». «Ну да мне бы только знать, что варится в моем котле, а в чужие я не заглядываю, — продолжала она неискренним тоном. — Во всяком случае, это некрасиво. И потом, духу в нем мало». (Такое мнение может навести на мысль, будто Франсуаза стала иначе расценивать храбрость, которая, когда Франсуаза жила в Комбре, превращала, с ее точки зрения, человека в хищного зверя. Но это неверно. Когда Франсуаза говорила про кого-нибудь, что У него много духу, это означало, что он труженик.) А еще о нем поговаривают, что он вороват, как сорока, да только у нас много болтают зря. Здесь все сплетни стекаются в швейцарскую, швейцары завистливы и наушничают друг про друга герцогине. Одно можно сказать наверняка: этот самый Антуан — страшный лодырь, и его «Антуанесса» не лучше его, — добавила Франсуаза; производя женский род от имени «Антуан» для того, чтобы назвать жену дворецкого, она, без сомнения, в процессе грамматического творчества невольно вспомнила «шануана» и «шануанессу». Ей нельзя

[11] Примечания: 11

...«давать ответ». — Это выражение употребляется г-жой де Севинье в письме г-же де Гриньян от 18 февраля 1671 г. Шануанессы (канониссы) — монахини женских католических монастырей, пользующиеся привилегиями; каноник — титул, даваемый в награду католическим священникам.

было отказать в искусстве создания новых слов. Поблизости от Собора Парижской Богоматери сохранилась улица Шануанесс — так ее назвали (не потому ли, что она была сплошь заселена шануанами?) тогдашние французы, чьей современницей, в сущности, была Франсуаза. А вслед за тем Франсуаза показала еще один образец такого способа образования женского рода: «Да, а насчет замка Германтов можно с полной уверенностью сказать, что он принадлежит герцогине, — заключила она. — И там она госпожа мэресса. А это что-нибудь да значит».

— Уж конечно, что-нибудь да значит, — не уловив насмешки в тоне Франсуазы, убежденно сказал лакей.

— Ты думаешь, мальчик, что это что-нибудь да значит? Таким людям, как эти самые, быть мэром и мэрессой сущий пустяк. Эх, кабы замок Германтов был мой, меня бы в Париже видели не часто! Надо же, чтобы такие господа, у которых всего вдосталь, чтобы мои барин с барыней решили остаться в этом поганом городе, вместо того чтобы ехать в Комбре, раз они свободны и никто их здесь не держит! Ведь у них все есть, пора и на покой, чего же ждать-то? Смерти? Эх, кабы у меня был черствый хлеб и дрова, чтобы не замерзнуть

зимой, я бы уж давно поселилась в моем родном Комбре, в лачужке у брата! Там, по крайности, чувствуешь, что живешь, нет перед тобой всех этих домов, и такая тишина, что ночью за две мили лягушек слышно.

— Вот где, наверно, хорошо-то, сударыня! — воскликнул молодой лакей в таком восторге, как будто лягушки — это такая же отличительная особенность Комбре, как гондолы — отличительная особенность Венеции.

Лакей поступил к нам позднее камердинера и рассказывал Франсуазе о том, что было интересно не ему самому, а ей. Она же делала гримасу, когда ее называли кухаркой, а к лакею, называвшему ее в разговоре с ней «экономкой», особенно благоволила — так не принцы крови благоволят к воспитанным юношам, которые называют их «ваше высочество».

— По крайности, знаешь, что кругом творится и какое теперь время года. Не то, что в Париже: здесь ни на Святой, ни на Рождество плохенького лютика — и того не увидишь, а когда я поднимаю с постели мои старые кости, до меня даже благовест не долетает. А там слышен каждый час, и ты не слушаешь, как попусту бухает колокол, а говоришь себе: «Вон мой брат возвращается

с поля»; смотришь: смеркается, там звонят для общего блага: ты успеваешь повернуться перед тем, как зажечь лампу. А здесь — что день, что ночь; пора спать ложиться, а рассказать, что случилось за день, не можешь, как все равно тварь бессловесная.

— Мезеглиз тоже как будто красивое место, сударыня, — прервал Франсуазу молодой лакей, с точки зрения которого разговор принимал несколько отвлеченный характер и который случайно вспомнил наш разговор за столом о Мезеглизе.

— О, Мезеглиз! — проговорила Франсуаза с широкой улыбкой, которая неизменно появлялась у нее на губах, когда при ней упоминали Мезеглиз, Комбре, Тансонвиль. Они составляли неотъемлемую часть ее самой, и потому, обнаруживая их вовне, слыша их в разговоре, она радовалась почти так же, как радуются, когда учитель называет кого-нибудь из современников, ученики, которые никак не ожидали, что он обронит это имя с кафедры. Кроме того, Франсуаза наслаждалась сознанием, что для нее эти края — не то что для других: для нее это старые товарищи, столько раз вместе с ней веселившиеся; и она улыбалась им, как будто они сказали что-то остроумное: дело в

том, что она обнаруживала в них много своего.

— Да, сынок, ты прав: Мезеглиз — довольно красивое место; а от кого же ты про него слыхал?

— От кого я слыхал про Мезеглиз? Да его все знают; мне про него столько разов, столько разов говорили! — ответил лакей с преступной неточностью информаторов, которые, когда мы пытаемся объективно отдать себе отчет, насколько может быть важно для других то, что касается нас, неизменно лишают нас этой возможности.

— Да уж можешь мне поверить, что в тамошнем вишеннике лучше, чем у плиты.

Франсуаза даже Евлалию поминала добром. После смерти Евлалии Франсуаза совершенно забыла, что она недолюбливала ее, когда та была жива, как недолюбливала всех, кому нечего было есть, кто «сдыхал с голоду», оттого что ничего не умел делать, кого богачи из милости подкармливали и кто, придя к богачам, еще «кобенился». Франсуаза больше не мучилась оттого, что Евлалия каждую неделю ловким образом «вытягивала денежку» у моей тетки. А тетку Франсуаза расхваливала.

— Так вы служили тогда в самом Комбре, у барыниной родственницы? — спросил молодой лакей.

— Да, у госпожи Октав. Вот уж, деточки, святая женщина-то была, и всего было у нее вдосталь, хоть завались; добрая была женщина; не жалела, можно сказать, ни куропаток, ни фазанов, ничего; вы могли прийти к ней пообедать и в пять, и в шесть, и всегда была у нее говядина, самого что ни на есть высшего сорта, и вино белое, и вино красное, все, что душе угодно. (Франсуаза употребляла глагол «жалеть» в том смысле, в каком его употребляет Лабрюйер.[12]) Все издержки она брала на себя, даже если родные жили у нее по месяцам и по годам. (Это рассуждение не содержало ничего для нас оскорбительного, так как Франсуаза росла в то время, когда слово «издержки» еще не было чисто юридическим термином и значило просто-напросто «расходы».) Да уж можете мне поверить: от нее никто голодным не уходил. Священник, бывало, скажет: «Если есть на свете женщина, которая может надеяться предстать перед Богом, так это она, тут уж сомнения быть не может». Бедная барыня! Я так и слышу ее слабенький голосок: «Франсуаза! Вы знаете: я-то сама ничего не ем, но мне хочется,

[12] Примечания: 12

Лабрюйер, Жан (1645–1696) — французский писатель-моралист, автор знаменитых «Характеров»; глагол «жалеть» он употреблял в значении «отказывать в чем-либо».

чтобы все было приготовлено для других так же вкусно, как для меня». Конечно, готовили не для нее. Вы бы ее видели: весила она не больше, чем пакетик с вишнями; ее словно бы и не было. Она мне не верила, не хотела обращаться к доктору. Ах, вот уж у кого ели не спеша! Она любила, чтобы прислуга была у нее сыта. А здесь, — ну вот хоть бы нынче, — мы не успеваем червячка заморить. Все на скорую руку.

Особенно раздражали Франсуазу гренки, которые любил мой отец. Она была убеждена, что это он фокусничает и что ему нравится, когда она «вокруг него танцует». «Смею вас уверить, — утверждал молодой лакей, — что я ничего подобного никогда не видел!» Лакей говорил это таким тоном, как будто он видел все на свете и как будто его тысячелетний опыт, охватывавший обычаи всех стран, свидетельствует, что обычая делать гренки не существует нигде! «Да, да, — ворчал дворецкий, — но все это может отличным образом измениться: канадские рабочие собираются устроить забастовку, позавчера вечером министр сказал барину, что по этому случаю он хапнул двести тысяч франков». Дворецкий не осуждал его за это не потому, чтобы сам был безукоризненно честен, а потому, что

считал, что все политические деятели продажны, и присвоение казенных денег представлялось ему менее тяжким преступлением, нежели самая обыкновенная кража. Он и не спрашивал себя, действительно ли слышал он исторические эти слова, и его не поражала невероятность того, что они могли быть сказаны моему отцу самим преступником и отец не выставил его после этого. Но комбрейская философия внушала Франсуазе сомнение в том, что забастовки в Канаде могут отразиться на обычае делать гренки. «Видите ли, какая вещь, — говорила она, — пока существует свет, господа будут нас гонять, а слуги будут исполнять ихние причуды». Вопреки теории этой вечной гоньбы моя мать, должно быть иначе, чем Франсуаза, определявшая продолжительность ее завтрака, уже по истечении четверти часа восклицала:

— Да что они там делают! Два часа сидят за столом. А затем раза три-четыре робко звонила. Франсуаза, лакей и дворецкий воспринимали звонок как зов, но не шли, ибо для них это было нечто вроде первых звуков инструментов, настраиваемых перед возобновлением концерта, когда публика чувствует, что антракт продлится всего несколько минут. Вот почему, когда

звонок повторялся и делался все настойчивее, слуги настораживались и, поняв, что времени у них теперь уже немного и что скоро надо опять приниматься за дело, после особенно громкого звонка со вздохом подчинялись своей участи, и тогда лакей выходил за дверь покурить, Франсуаза, сказав о нас что-нибудь неодобрительное, вроде: «Угомону на них нет!» — поднималась на седьмой этаж и прибирала у себя в комнате, а дворецкий, взяв у меня почтовой бумаги, спешил заняться своей частной перепиской.

Как ни был неприступен дворецкий, однако Франсуаза в первые же дни сообщила мне, что Германты живут в особняке не в силу старинного права, что его наняли сравнительно недавно, а что сад, в который он выходил неизвестной мне стороной, невелик и похож на соседские сады; и, наконец, я узнал, что в этих владениях нет ни сеньориальной виселицы, ни укрепленной мельницы, ни голубятни, ни печи для общего пользования, ни длинного сарая, ни постоянных, подъемных и даже перекидных мостов, равно как застав, столбов, крепостных стен и придорожных камней. Но подобно тому как Эльстир, когда Бальбекская бухта, утратив для меня свою таинственность, стала всего лишь некоторым

количеством соленой воды, заменимым таким же количеством где-нибудь еще на земном шаре, мгновенно возвратил ей своеобразие, пояснив мне, что это опаловый залив Уистлера,[13] по сочетанию изголуба-серебристых тонов, так имя Германт уже видело, как под ударами Франсуазы рушится последнее связанное с ними обиталище, но тут неожиданно старый друг моего отца сказал нам, когда речь зашла о герцогине: «Она занимает наилучшее положение в Сен-Жерменском предместье, ее дом — первый в Сен-Жерменском предместье». Понятно, первый салон, первый дом в Сен-Жерменском предместье — это было очень убого в сравнении с теми жилищами, которые, одно за другим, я создавал в своем воображении. Но в конце концов и оно, это жилище, которому суждено было стать последним, при всей своей скромности обладало, помимо вещества, из какового оно состояло, неким скрытым источником существования. А мне было тем более необходимо открыть в «салоне» герцогини Германтской и в ее друзьях тайну ее имени, что я не находил разгадки в ней самой, когда она по утрам выходила из

[13] Примечания: 13

Уистлер, Джеймс (1834–1903) — американский художник, долгое время живший в Англии. По всей видимости, имеется в виду его картина «Опаловый залив» из серии «Гармонии».

дому или выезжала днем в экипаже. Правда, уже в комбрейской церкви ее щеки были недоступны, непроницаемы для красок имени Германт и для дней, проводимых на берегу Вивоны, на месте моей спаленной мечты, — она явилась мне в храме преображенной, подобно богу или нимфе, которые превратились в лебедя или в иву[14] а затем, подчинившись законам природы, поплывут или заколыхаются на ветру. Однако, едва лишь я расстался с угасшими этими отсветами, внезапно они возникли снова, подобно розовым и зеленым отсветам заходящего солнца после того, как их разобьет весло, и, пока моя мысль одиночествовала, имя быстро срослось с впечатлением от лица. Но теперь я часто видел ее у окна, во дворе, на улице; и если мне в этих случаях не удавалось включить в нее имя Германт, не удавалось убедить себя, что это герцогиня Германтская, я обвинял мой ум в бессилии довести до конца акт, которого от него требовал; но и она, наша соседка, была, как мне представлялось, повинна в том же, но только эта провинность ее

[14] Примечания: 14

…подобно богу или нимфе, которые превратились в лебедя или в иву… — Речь идет о Зевсе, который в одном из мифов о рождении героев является к Леде лебедем. Среди нимф в греческой мифологии выделяются дриады — покровительницы отдельных пород деревьев, которые порой именовались по названиям деревьев и являлись в их образе.

не смущала, ее не мучили, как меня, угрызения совести, она даже не подозревала, что это провинность. Например, герцогиня Германтская так следила за модой, словно ей однажды показалось, будто она превратилась в простую смертную, и она начала стремиться к особой элегантности в туалетах, ибо тут другие женщины могли с нею сравняться и даже превзойти ее; я видел, с каким восторгом смотрела она на проходившую по улице хорошо одетую актрису; а по утрам, когда она выходила из дому, — точно мнение прохожих, чью вульгарность она оттеняла, запросто выводя на прогулку свою недоступную для них жизнь, могло быть для нее верховным судом, — я наблюдал, как она играет перед зеркалом, до конца перевоплотившись, без раздвоенности сознания и без внутренней иронии, с увлечением, раздражаясь при мысли о неуспехе, словно королева, согласившаяся изобразить на сцене придворного театра субретку, — как она играет роль ниже ее возможностей: роль элегантной женщины; забывая, будто в мифе, о врожденном своем величии, она следила за тем, чтобы вуалетка не мялась, чтобы не морщились рукава, расправляла манто, — так божественный лебедь ведет себя соответственно своей птичьей породе,

сохраняет неподвижными глаза, нарисованные по обеим сторонам его клюва, и по-лебединому бросается на пуговицу или на зонтик, забыв, что он — бог. Но как путешественник, разочарованный при первом взгляде на город, убеждает себя, что, быть может, ему откроется очарование города, когда он посетит его музеи, познакомится с населением, поработает в библиотеках, я убеждал себя, что, если б я был принят у герцогини Германтской, если б я принадлежал к кругу ее друзей, если б я вошел в ее жизнь, я бы постиг, что под блестящей оранжевой оболочкой в действительности, объективно, заключает в себе для других ее имя, — ведь сказал же друг моего отца, что семейство Германтов несколько отъединено в Сен-Жерменском предместье.

Жизнь, которую, по моим представлениям, там вели, брала исток так далеко от опыта и казалась мне такой особенной, что я не мог вообразить на вечерах у герцогини людей, у которых я когда-то бывал, живых людей. Ведь они были бессильны внезапно изменить свою природу и, вероятно, вели там разговоры вроде тех, какие я слышал; их собеседники, быть может, унижались до ответов на таком же человеческом языке; и на вечере в первом салоне Сен-Жерменского предместья

бывали мгновения, которые мне уже довелось пережить, а это я считал невозможным. Правда, мой ум находился тогда в смятении, и этот первый салон Сен-Жерменского предместья на правом берегу Сены, расположенный таким образом, что по утрам мне в моей комнате было слышно, как там выбивают мебель, казался мне таким же загадочным, как присутствие тела Христова в облатке. Но демаркационная линия, отделявшая меня от Сен-Жерменского предместья, именно в силу того, что это была воображаемая линия, казалась мне вполне реальной; я чувствовал, что половик Германтов — это уже Сен-Жерменское предместье, что расстелен он по ту сторону экватора — тот самый половик, о котором моя мать, видевшая его, как и я, в тот день, когда дверь у Германтов была отворена, осмелилась сказать, что он в весьма плачевном состоянии. Да и как могла их столовая, их темная галерея с красной плюшевой мебелью, которую я иногда видел из окна нашей кухни, не обладать в моем представлении волшебными чарами Сен-Жерменского предместья, не составлять его существенной части, не помещаться в нем географически, если находиться в этой столовой значило бывать в Сен-Жерменском предместье, дышать его возду-

хом, если все гости, перед тем, как идти к столу, сидевшие в галерее, на кожаном диване, рядом с герцогиней Германтской, жили в Сен-Жерменском предместье? Разумеется, и не в Сен-Жерменском предместье на некоторых вечерах можно было иногда видеть торжественно восседающих среди элегантной черни кого-нибудь из этих людей, которые являют собой только имена и которые, когда мы силимся вообразить их себе, преображаются в турнир или в доманиальный лес. Но здесь, в первом салоне Сен-Жерменского предместья, в темной галерее, бывали только они. Они представляли собой драгоценные колонны, на которых держится храм. Даже тесный круг герцогиня Германтская составляла только из таких людей, и за столом, накрытым на двенадцать персон, они напоминали золотые статуи апостолов в Сент-Шапель,[15] символические священные столпы вокруг престола. Что касается обнесенного высокой оградой садика за домом герцогини Германтской, куда летом приносили ликеры и оранжад, то как я отмахнулся бы от мысли, что сидеть между девятью и одиннадцатью вечера на железных стульях, наделенных

[15] Примечания: 15

Сент-Шапель — церковь в Париже, построенная во времена Людовика IX (1242–1248), считается шедевром высокой готики.

не меньшей властью, чем кожаный диван, и не дышать особыми дуновениями Сен-Жерменского предместья так же невозможно, как укрываться от полуденного зноя в оазисе Фигиг[16] и вместе с тем находиться не в Африке? Ничто, кроме воображения и веры, неспособно выделить иные предметы, иные существа и создать определенную атмосферу. Увы, мне, наверное, не суждено пройтись по живописным уголкам Сен-Жерменского предместья, ощупать ногами неровности его почвы, осмотреть его достопримечательности и произведения искусства! И я довольствовался тем, что с трепетом вглядывался в открытом море (без всякой надежды когда-либо причалить), словно в ближайший ко мне минарет, словно в крайнюю пальму, словно туда, где начинаются фабрично-заводские строения и где начинается экзотическая растительность, в потертый половик прибрежья.

Для меня особняк Германтов начинался у его входных дверей, а для герцога надворные постройки тянулись далеко-далеко, ибо он, принимая всех своих квартирантов за ферме-

[16] Примечания: 16

Фигиг — оазис Сахары, расположенный в юго-восточной части Марокко.

ров, вилланов,[17] арендаторов национального имущества, с которыми церемониться нечего, в ночной сорочке брился по утрам у окна, появлялся во дворе, глядя по погоде, в жилете, в пижаме, в шотландском мохнатом пиджаке какого-то необыкновенного цвета, в светлом пальто короче пиджака и приказывал конюху пускать рысью недавно купленную лошадь. Несколько раз лошадь разбивала витрину Жюпьена, тот требовал возмещения убытков, а герцога это бесило. «Даже если не принимать во внимание то добро, которое герцогиня делает жильцам и прихожанам, — рассуждал герцог, — все равно со стороны этого типа подло предъявлять нам какие-то требования». Жюпьен, однако, оставался непреклонен и делал вид, что понятия не имеет, какое такое «добро» делает герцогиня. А между тем она действительно делала добро, но ведь нельзя же делать его всем, а потому память об одном облагодетельствованном дает право воздержаться от помощи другому, вследствие чего обойденный бывает особенно недоволен. Но дело было не только в благотворительности — вообще этот квартал представлялся герцогу — и на из-

[17] Примечания: 17

Виллан — в средневековой Европе полусвободный или крепостной крестьянин.

рядном расстоянии — всего лишь продолжением его двора, широким манежем для его лошадей. Проверив, как новая лошадь бежит рысью одна, он отдавал приказание конюху запрячь ее и объехать близлежащие улицы, конюх бежал рядом с экипажем, держа в руках вожжи, и гонял лошадь взад и вперед перед герцогом, а герцог стоял на тротуаре, величественный, огромный, в светлом костюме, с сигарой во рту, с непокрытой головой, с моноклем, застывшим в глазу от любопытства, затем, чтобы самому испытать лошадь, вспрыгивал на козлы и некоторое время правил, а потом, уже в новой запряжке, ехал к своей любовнице на Елисейские поля. Герцог Германтский здоровался во дворе с двумя супружескими парами, отчасти принадлежавшими к его кругу: с четой своих родственников, которая, точно семья рабочих, никогда не бывала дома и не смотрела за своими детьми, потому что жена уходила с утра в Schola[18] изучать контрапункт и фугу, а муж — в свою мастерскую заниматься резьбой по дереву и тиснением кожи; затем — с бароном и баронессой де Норпуа, одетыми всегда в черное

[18] Примечания: 18

Schola (Schola cantorum) — музыкальная школа, основанная в Париже в 1894 г. и предназначенная поначалу для обучения церковному пению и музыке. Вскоре была преобразована в высшее музыкальное училище.

(жена — как одеваются те, что в городских садах отдают напрокат стулья, муж — как факельщики), несколько раз в день ходившими в церковь. Они доводились племянниками старому послу, с которым мы когда-то были знакомы и которого мой отец встретил на лестнице, недоумевая, у кого это он мог быть, ибо мой отец полагал, что такое значительное лицо, находящееся в добрых отношениях с самыми выдающимися людьми в Европе и, вероятно, крайне равнодушное к лжеаристократизму, вряд ли посещает этих незнатных дворян, ограниченных клерикалов. Поселились они здесь недавно; Жюпьен, обратившись во дворе к мужу, который в это время здоровался с герцогом Германтским, назвал его «господин Норпуа», так как не знал его имени.

— Ого, господин Норпуа, ого! Для начала недурно. Подождите! Скоро эта самая личность назовет вас гражданином Норпуа! — воскликнул, обращаясь к барону, герцог Германтский. Наконец-то он мог излить досаду на Жюпьена, который говорил ему «господин», а не «ваша светлость».

Однажды герцогу Германтскому понадобилась справка из той области, которая входила в компетенцию моего отца, и герцог представился ему с отменной учтивостью. После этого

он часто просил отца сделать ему то или иное одолжение, и когда отец спускался с лестницы, думая о делах и стараясь избежать встреч, герцог бросал своих конюхов, подходил во дворе к моему отцу, с услужливостью, унаследованной от прежних королевских камердинеров, поправлял ему воротник пальто, брал его, взбешенного, не знавшего, как вырваться, за руку и, держа в своей, даже гладя ее, чтобы с бесцеремонностью царедворца показать, что его драгоценная плоть не брезгует такого рода прикосновениями, провожал до самых ворот. Как-то раз, встретившись с нами, когда он и его жена выезжали со двора, он необычайно любезно нам поклонился и, должно быть, сказал жене, как меня зовут, но могла ли быть у меня уверенность в том, что мое имя и мое лицо ей запомнятся? Что за унизительная рекомендация — быть названным только в качестве жильца! Более весомой рекомендацией была бы встреча с герцогиней у маркизы де Вильпаризи, которая как раз тогда передала мне через бабушку приглашение и, зная, что я мечтаю о литературной деятельности, прибавила, что у нее будут писатели. Но отец, во-первых, считал, что мне рано вести светский образ жизни, а во-вторых, так как мое здоровье все еще внушало

ему опасения, он был против того, чтобы я без особой надобности выходил на воздух.

Один из выездных лакеев герцогини Германтской часто беседовал с Франсуазой, и из этих разговоров я узнал, какие салоны посещает герцогиня, но я их себе не представлял; с той самой минуты, как они начинали составлять часть ее жизни, жизни, которую я видел только сквозь ее имя, разве они не становились непостижимыми?

— Сегодня большой вечер китайских теней у принцессы Пармской,[19] — говорил лакей, — но мы не поедем — с пятичасовым поездом барыня едет в Шантийи[20] к герцогу Омальскому[21] и пробудет у него два дня, а с ней едут горничная и камердинер. Я остаюсь. Принцесса Пармская

---

[19] Примечания: 19

Принцесса Пармская — вымышленный персонаж, моделью которого могла послужить принцесса Матильда (1820–1904), племянница Наполеона I, хотя сама принцесса также фигурирует на страницах романа.

[20] Примечания: 20

Шантийи — административный центр департамента Уазы, одноименный замок, принадлежавший семействам Монморанси и Конде, затем герцогу Омальскому. В 1886 г. последний завещал его вместе с богатейшими коллекциями произведений искусства (музей Конде) Французской академии наук.

[21] Примечания: 21

Герцог Омальский, Генрих-Евгений-Людовик Орлеанский (1822–1897) — четвертый сын короля Луи-Филиппа, генерал и историк. Унаследовал гигантское состояние принца Конде, после революции 1848 г.

уехал в Англию, где писал резкие брошюры против Наполеона III и историю рода Конде. В 1871 г. вернулся во Францию и до 1879 г. был президентом генеральных штатов департамента Уазы.

будет обижена — она раза четыре, как не больше, писала герцогине.

— Так вы в этом году не поедете в замок Германт?

— Первый год мы туда не едем: из-за ревматизма герцога; доктор запретил ему ехать, пока там не проведут калориферного отопления, а прежде мы там каждый год жили до января. Если отопления не устроят, барыня, может быть, съездит на несколько дней в Канн к герцогине де Гиз,[22] но это еще окончательно не решено.

— А в театре вы бываете?

— Бываем иногда в Опере, раз в неделю — по абонементу принцессы Пармской; там, говорят, очень шикарно: пьесы, оперы, все что угодно. Герцогиня не пожелала взять абонемент, но мы все-таки бываем в ложе то у одной ее приятельницы, то у другой, то в бенуаре у принцессы Германтской, жены двоюродного брата герцога. Это сестра герцога Баварского… Значит, стоит вам только подняться — и вы у себя, — менял разговор лакей, для которого, хотя он и отождествлял себя с Германтами, были, однако, господа вообще,

---

[22] Примечания: 22

Герцогиня де Гиз — Изабелла Орлеанская (1878–1961), вышедшая замуж за Жана, герцога де Гиза, принца по линии Бурбонов-Орлеанов, который претендовал на трон Франции в 1899 г.

понятие политическое, позволявшее ему относиться к Франсуазе с таким почтением, как будто она служила у герцогини. — Вид у вас очень здоровый, сударыня.

— Если б не проклятые ноги! На равнине еще сносно («на равнине» означало: во дворе, на таких улицах, где Франсуаза гуляла с удовольствием, словом, на ровном месте), но ох уж эти чертовы лестницы! До свидания, сударь, может, еще увидимся вечерком.

Особенно ей полюбились беседы с лакеем после того, как она от него узнала, что сыновья герцогов часто носят титул принца и сохраняют его до смерти отца. Культ знати, смешанный и уживающийся с духом возмущения ею, возросший на господской земле, видимо, еще очень силен во французском народе. Франсуазе можно было говорить о гении Наполеона или о беспроволочном телеграфе, и это не привлекло бы ее внимания и нисколько не замедлило бы ее движений, если она в это время выгребала из камина золу или накрывала на стол, но когда она узнавала такого рода подробности или когда ей сообщали, что младшего сына герцога Германтского обыкновенно называют принцем Олеронским, она восклицала: «Ах, как хорошо!» — и замирала

от восхищения, словно перед церковным витражом.

Еще Франсуаза узнала от камердинера принца Агригентского,[23] часто приносившего письма герцогине и благодаря этому завязавшего с Франсуазой знакомство, что в высшем обществе много толков о предстоящей женитьбе маркиза де Сен-Лу на мадмуазель д'Амбрезак и что это дело почти решенное.

Вилла и ложа бенуара, куда герцогиня Германтская вливала свою жизнь, казались мне не менее волшебными, чем ее покои. Такие имена, как принцы Пармские, герцоги Германт-Баварские, герцоги де Гиз, отделяли от всех остальных сельские местности, куда отправлялась герцогиня, отделяли от других те ежедневные празднества, которые след от ее экипажа связывал с ее домом. Имена мне говорили, что из поездок за город, из празднеств складывается жизнь герцогини Германтской, но сама герцогиня не становилась мне понятнее. Каждая поездка, каждое празднество по-разному освещали жизнь герцогини, они окружали ее новой тайной, не рассеивая прежней, а прежняя, защищенная перегородкой,

---

[23] Примечания: 23
Принц Агригентский — вымышленный персонаж.

заключенная в сосуд, погруженная в волны повседневности, перемещалась — и только. Герцогиня была вольна завтракать на побережье Средиземного моря во время карнавала, но непременно в вилле герцогини де Гиз, где королева парижского общества, в белом пикейном платье, среди многочисленных принцесс, была только гостьей, такой же, как все, и оттого еще сильнее меня волновавшей, была в наибольшей степени самой собой благодаря перемене обстановки, — так различные па заставляют звезду балета занимать место то одной, то другой балерины, ее сослуживицы; герцогиня была вольна смотреть китайские тени, но только на вечере у принцессы Пармской, смотреть трагедию или слушать оперу, но только из ложи принцессы Германтской.

Мы связываем с внешним обликом человека все, что может с ним случиться, воспоминание о людях, с которыми он знаком, с которыми только что расстался и с которыми сейчас встретится, и оттого, когда я, знавший от Франсуазы, что герцогиня Германтская пойдет сегодня завтракать к принцессе Пармской, видел, как она в полдень выходит из дома в атласном платье телесного цвета, над которым ее лицо отливало так же, как отливает облако на закате, я видел перед собой

и все увеселения Сен-Жерменского предместья, ибо они помещались в этом небольшом объеме, точно в раковине меж глянцевитых створок из розового перламутра.

У моего отца был приятель в министерстве, некто А.-Ж. Моро, который, чтобы его не путали с другими Моро, неукоснительно ставил перед фамилией инициалы, и для краткости его так и называли: А.-Ж. И вот каким-то образом у А.-Ж. оказался билет на торжественный спектакль в Опере; он послал его моему отцу, а так как Берма, которую я не видел на сцене со дня моего первого разочарования, должна была играть на этом спектакле одно действие из «Федры», то бабушка уговорила отца отдать билет мне. Откровенно говоря, я совсем не рвался смотреть ту самую Берма, которая несколько лет назад так взволновала меня. И мне было грустно от сознания, что я теперь безразличен к тому, ради чего когда-то жертвовал здоровьем, покоем. Не могу сказать, чтобы желание рассмотреть вблизи драгоценные частицы действительности, которую прозревало мое воображение, во мне остыло. Но теперь воображение уже не вкладывало их в речь великой актрисы; после того как я побывал в мастерской Эльстира, я перенес на ковры, на картины современных

художников внутреннюю веру, которую некогда внушала мне игра, трагическое искусство Берма; когда же моя вера и моя страсть перестали непрерывно творить себе кумир из речи и движений Берма, то их «двойники», жившие в моем сердце, постепенно зачахли, как зачахли «двойники» покойников в Древнем Египте,[24] которых нужно было постоянно кормить для поддержания сил. Искусство Берма оскудело и выродилось. Душа, придававшая ему глубину, от него отлетела.

Пройдя по билету отца в Оперу, я увидел на главной лестнице мужчину и принял его за Шарлю, потому что он напоминал его манерой держаться; когда же он повернул голову к служащему, чтобы о чем-то у него спросить, я понял, что ошибся, но без колебаний отнес незнакомца к тому же классу — и не только судя по его одежде, но и по тому, как он разговаривал с контролером и с капельдинершами, которые его не пропускали. Дело в том, что, помимо индивидуальных особенностей, в ту эпоху была еще очень заметна

---

[24] Примечания: 24

...«двойники» покойников в Древнем Египте... — Вероятно, имеется в виду ба, в египетской мифологии один из элементов, составляющих человеческую сущность. Согласно «Книге мертвых», ба считается воплощением жизненной силы всех людей, которая остается с ними и после смерти. Обитая в гробнице, ба может отделиться от тела человека, свободно передвигаться, осуществлять все жизненные функции — есть, пить и т. п.

разница между любым богатым щеголем из этой части аристократии и любым богатым щеголем из мира финансистов и крупных промышленников. Где один из хлыщей этой второй категории вздумал бы для шику резко и надменно заговорить с человеком ниже его по положению, там вельможа, мягкий, улыбающийся, прикидывался, притворялся тихим и терпеливым, разыгрывал рядового зрителя, ибо усматривал в этом преимущество хорошего воспитания. Возможно, что, видя, как он прикрывает добродушной улыбкой непереступаемый порог малого мира, который он в себе носил, многие сынки богатых банкиров, входившие в эту минуту в театр, приняли бы этого вельможу за человека ничтожного, если бы не обнаружили в нем поразительного сходства с недавно помещенным в иллюстрированных журналах портретом племянника австрийского императора,[25] принца Саксонского,[26] находившегося тогда в Париже. Я знал, что принц — большой друг Германтов. Подойдя после него к

[25] Примечания: 25

…австрийского императора. — Речь идет о Франце Иосифе (1830–1916), императоре Австро-Венгрии (1848–1916).

[26] Примечания: 26

Принц Саксонский — Фридрих Август III (1865–1932), король Саксонии (1904–1918).

билетеру, я услышал, как принц Саксонский, или принимаемый мной за него, говорил с улыбкой: «Я не знаю номера ложи, мне моя родственница сказала, чтобы я просто спросил ее ложу».

Может быть, это был принц Саксонский; может быть, герцогиня Германтская (которую в таком случае я увидел бы в одно из мгновений той ее жизни, которая была недоступна моему воображению: в ложе родственницы) рисовалась его мысленному взору, когда он говорил: «Мне моя родственница сказала, чтобы я просто спросил ее ложу», и именно поэтому его улыбчивый и такой особенный взгляд и такие простые слова радовали мое сердце (несравненно сильнее, чем какая-нибудь туманная мечта) бережным прикосновением то возможного счастья, то непрочного очарования. Как бы то ни было, говоря эти слова билетеру, он пробивал на обычном вечере моей будничной жизни случайный вход в новый для меня мир; коридор, который ему указали, как только он произнес слово «бенуар», и куда он тотчас же и устремился, был сырой, облупившийся и, казалось, вел в морские гроты, в сказочное царство водяных нимф. Я видел впереди удалявшегося господина во фраке, и только; но я наводил на него, правда, неудачно,

точно плохо сделанный рефлектор, мысль, что это принц Саксонский и что сейчас он увидит герцогиню Германтскую. И хотя никого около этого человека не было, мысль, исходившая не от него, неосязаемая, безмерная, скользящая, как пятно света, казалось, шла впереди и вела его, точно всем прочим людям невидимое божество, находящееся около греческого воина.

Я сел на свое место, а пока шел, все старался целиком восстановить в памяти один стих из «Федры». Я произносил его про себя так, что в нем не хватало стоп, но поскольку я их не считал, то у меня создавалось впечатление, что между его расхлябанностью и классическим стихом нет ничего общего. Я бы не удивился, если б из моего нескладного стиха надо было вынуть слогов шесть, чтобы получился двенадцатисложник. Но вдруг я его припомнил, непреодолимые шероховатости, безжалостно резавшие слух, сгладились точно по волшебству; слоги мгновенно заполнили александрийский стих, все лишнее отпало без малейшего упорства, с той легкостью, с какой лопается пузырь на воде. А то огромное, с чем я боролся, составляло на самом деле одну-единственную стопу.

Какое-то количество билетов в партер по-

ступило в кассу и было раскуплено снобами и любопытными, мечтавшими поглядеть на людей, которых иначе они не могли бы увидеть вблизи. И в самом деле, частичку подлинно светской жизни, обычно тайной, здесь можно было наблюдать открыто, так как принцесса Пармская распределила между своими друзьями места в ложах, на балконах и в бенуаре, и от этого зрительный зал превратился как бы в салон, где мужчины менялись местами, подсаживаясь то к одной, то к другой приятельнице.

Рядом со мной сидели простые обыватели, которые хотя и не были знакомы с теми, кто ходил в театр по абонементу, однако желали показать, что знают их в лицо, и вслух называли их имена. Они добавляли, что абонированные приходят сюда как к себе в гостиную — этим они хотели сказать, что абонементная публика даже не смотрит на сцену. В действительности дело обстояло иначе. Студент с выдающимися способностями, взявший билет в партер, чтобы посмотреть Берма, думает только о том, как бы не запачкать перчаток, не побеспокоить случайного соседа, быть с ним в ладу, ответить быстрой улыбкой на беглый взгляд, неучтиво отвернуться от знакомой дамы, к которой он после долгих колебаний

решается, однако, подойти, но как раз в тот момент, когда три удара, прозвучавшие прежде, чем он успел к ней пробраться, заставляют его, как евреев — в Чермное море,[27] броситься в бушующее море зрителей и зрительниц, которые из-за него должны вставать и которым он рвет платья и наступает на ноги. И наоборот: оттого что люди из общества сидели у себя в ложах (на балконах, возвышающихся один над другим), как в висячих салончиках, где одна стенка разобрана, или в маленьких кафе, куда ходят есть крем из взбитых сливок, и их не смущали зеркала в золотых рамах и красные диваны в неаполитанском вкусе; оттого что они равнодушною рукою дотрагивались до позолоты колонн, на которых держался этот храм музыкального искусства; оттого что их не волновали необыкновенные почести, которые словно воздавали им две лепные фигуры, простиравшие к ложам пальмовые и лавровые ветви, только у них ничем не занятый ум способен был воспринимать происходящее на сцене, если только, впрочем, у них был ум.

Сначала был сумрак, в котором вдруг, точно луч

---

[27] Примечания: 27

…как евреев — в Чермное море… — Имеется в виду переход евреев, спасающихся от египтян, через расступившиеся по воле Господа воды Чермного (Красного) моря (Исх. 14, 21–22).

от невидимого драгоценного камня, вспыхивал блеск всем хорошо знакомых глаз или, подобно медальону Генриха IV,[28] выделяющемуся на черном фоне, вычерчивался склоненный профиль герцога Омальского, которому невидимая дама кричала: «Позвольте, ваша светлость, я сниму с вас пальто!» — на что тот отвечал: «Что вы, помилуйте, госпожа д'Амбрезак!» Несмотря на нерешительное сопротивление, она снимала с него пальто, и все завидовали г-же д'Амбрезак, которой герцог оказал такую честь.

Но в других ложах бенуара, почти во всех, белые божества, населявшие мрачные эти обиталища, жались к темным перегородкам и оставались невидимыми. Однако по мере развития действия, их фигуры, отдаленно напоминавшие человеческие, осторожно выступали одна за другой из окутывавшей их темноты, тянулись к свету, показывали свои полуобнаженные тела и доходили до вертикали, до поверхности светотени, где их сияющие лица выглядывали из-за веселого, пенившегося, легкого волнения пушистых вееров,

[28] Примечания: 28

…подобно медальону Генриха IV… — Подразумеваются, вероятно, медальоны (барельеф с изображением головы) французского короля Генриха IV (1553–1610), выполненные французским гравером и скульптором Г. Дюпре (1574–1647).

под пурпурными волосами, унизанными жемчугом и как бы изогнутыми, точно волны во время прибоя; дальше начинались кресла партера, жилище смертных, навсегда отрезанное от темного и призрачного царства, которому то там, то здесь служила границей струящаяся, гладкая поверхность ясных отражающих глаз водяных богинь. Страпонтены побережья, фигуры сидевших в партере чудищ вырисовывались в этих глазах только по законам оптики, соответственно углу падения, как это бывает с двумя областями внешнего мира, которым, зная, что в них нет, даже в зачаточном виде, души, похожей на нашу, мы считаем бессмысленным улыбаться, на которые мы считаем бессмысленным устремлять взгляд: это область минералов, это область незнакомых нам людей. Зато у себя, за границей, отделявшей их владения, лучезарные дочери моря поминутно оборачивались с улыбкой к бородатым тритонам в уступах пропасти или к какому-нибудь водяному полубогу с черепом из полированного валуна, к которому волной прибило липкую водоросль, и с диском из горного хрусталя вместо глаз. Они наклонялись к ним, угощали их конфетами; порой волна расступалась перед новой нереидой, и та, запоздавшая, улыбающаяся, смущенная,

расцветала во мраке; затем, по окончании действия, больше не надеясь услышать певучий гул суши, выманивавший их на поверхность, разного обличья сестры все вдруг погружались во тьму и в ней исчезали. Но из всех этих убежищ, к порогу которых бездумное стремление посмотреть на творчество людей подводило любопытных богинь, никого не подпускавших к себе, самым знаменитым был сгусток полутьмы, известный под названием бенуара принцессы Германтской.

Точно старшая богиня, издали руководящая играми подвластных ей божеств, принцесса выбрала место в глубине, на боковом диване, красном, как коралловый риф, около чего-то широкого, стеклянного, потрескивающего, по-видимому — зеркала, вызывавшего представление о вертикальном, неотчетливом, зыблющемся сечении, какое производит луч света в слепящем водном хрустале. Похожий и на перо, и на венчик, как некоторые морские растения, большой белый цветок, пушистый, точно крыло, спускался со лба принцессы и тянулся вдоль ее щеки, с кокетливой, влюбленной, одушевленной гибкостью послушно следуя за ее изгибом и наполовину словно заключая ее в себе, — так из уютности гнезда зимородка выглядывает розовое яйцо.

На волосах принцессы, свешиваясь до самых бровей, а затем возникая на шее, была натянута сетка из белых раковинок, которые вылавливаются в южных морях и которые у принцессы были перемешаны с жемчужинами и образовывали морскую мозаику, выглядывавшую из волн и время от времени погружавшуюся в полумрак, в глубине которого даже в эти мгновения присутствие человека означалось блестящей подвижностью глаз принцессы. Красота, возвышавшая ее над другими сказочными девами сумрака, не была вся целиком, вещественно и исключительно, вписана в ее шею, плечи, руки, талию. Но прелестная, обрывавшаяся линия талии представляла собой несомненный исток, неизбежное начало невидимых линий, которые глаз не мог отказать себе в удовольствии продолжать, и вокруг этой женщины рождались дивные линии, вместе образуя как бы призрак идеальной женской фигуры, вычерчивавшейся во тьме.

— Принцесса Германтская, — пояснила моя соседка сидевшему рядом с ней господину, произнеся слово «принцесса» через несколько «п» и подчеркнув этим, что находит ее титул смешным. — Она не поскупилась на жемчуга. Будь у меня столько камней, я бы такой выставки не

устроила; я считаю, что это неприлично.

И тем не менее, увидев принцессу, все желавшие знать, кто находится в зрительном зале, чувствовали, как в их сердце по праву воздвигается престол в честь красоты. В самом деле, лица герцогини Люксембургской, баронессы Морьенваль, маркизы де Сент-Эверт можно было сразу узнать по сходству толстого красного носа с заячьей губой, морщинистых щек с тонко закрученными усами. Этих черт было, однако, достаточно, чтобы очаровать, потому что, обладая относительной ценностью почерка, они давали возможность прочитать известное, почтенное имя; а ко всему прочему, они внушали мысль, что в уродстве есть что-то аристократическое и что знатной даме все равно, красива она или не красива, лишь бы на ее лице была написана порода. Но подобно тому как иные художники вместо подписи рисуют что-нибудь изящное: бабочку, ящерицу, цветок,[29] так принцесса выставляла в углу ложи прелестную свою фигуру и лицо, тем самым доказывая, что красота может быть самой

---

[29] Примечания: 29

...бабочку, ящерицу, цветок... — Намек на обыкновение живописцев итальянской и фламандской школ подписывать свои картины не именем, а особым рисунком. Такого обыкновения придерживался и Джеймс Уистлер (1834–1903), который часто вместо подписи изображал на своих картинах бабочку.

благородной подписью, ибо присутствие принцессы Германтской, окружавшей себя в театре только теми людьми, которые в другое время составляли ее тесный круг, на взгляд любителей аристократии являлось наилучшим удостоверением подлинности картины, какую являл собой бенуар принцессы, зрелищем сцены из ее повседневной, частной жизни в мюнхенском или парижском дворце.

Наше воображение — это расстроенная шарманка, которая всегда играет не то, вот почему всякий раз, как в моем присутствии говорили о принцессе Германт-Баварской, во мне начинало петь воспоминание о некоторых произведениях XVI века. Сейчас, когда я видел, как она угощает цукатами толстого господина во фраке, мне надо было отделить ее от этого воспоминания. Конечно, я был далек от мысли, что она и ее гости — такие же люди, как все прочие. Я отдавал себе отчет, что здесь они только лицедействуют и что они условились в качестве пролога к пьесе об их настоящей жизни (важнейшая часть которой шла, понятно, не здесь) совершить неведомый мне обряд; они играли в то, что угощают конфетами и отказываются от них, делали обессмысленные и заранее рассчитанные движения,

вроде па танцовщицы, которая то стоит на пуантах, то кружится с шарфом. Кто знает, быть может, когда богиня угощала конфетами, тон у нее был насмешливый (ведь я же видел, что она улыбается): «Хотите конфетку?» Но мне-то что было до этого? Мне бы показалась прелестной утонченная, умышленная холодность в духе Мериме или Мельяка,[30] с какой богиня произносила слова, обращенные к полубогу, а уж полубог-то знал, о каких высоких материях они заговорят друг с другом, — разумеется, когда опять заживут настоящей жизнью, — и, войдя в игру, он ответил с тем же таинственным лукавством: «Да, от вишни я не откажусь». И я слушал бы этот диалог с не меньшей жадностью, чем сцену из «Мужа дебютантки», в которой отсутствие поэзии и глубоких мыслей, — всего, что было для меня таким привычным и что Мельяк, на мой взгляд, был вполне способен вложить в свою пьесу, — представлялось мне своеобразным изяществом, изяществом условным и в силу этого особенно таинственным

[30] Примечания: 30

…холодность в духе Мериме или Мельяка… — Мериле, Проспер (1803–1870) — французский писатель, получивший известность благодаря своим новеллам и историческим романам. Будучи главным инспектором исторических памятников, он во времена Империи был близок ко двору. Мельяк, Анри (1831–1897) — французский драматург, автор многочисленных пьес, в том числе и комедии «Муж дебютантки», которая упоминается ниже.

и особенно поучительным.

— Этот толстяк — маркиз де Гананси, — с видом человека осведомленного сказал мой сосед, не расслышав фамилии, произнесенной шепотом за его спиной.

Маркиз де Паланси, вытянув шею, склонившись набок, прильнув своим большим круглым глазом к стеклу монокля, медленно перемещался в прозрачной тени и, должно быть, не замечал публики, сидевшей в партере, как не замечает рыба, проплывающая за стенкой аквариума, толпы любопытных. Время от времени, представительный, отдувавшийся, замшелый, он застывал, и тогда зрители не могли бы сказать, страдает ли он, спит, плывет, снесет ли сейчас яйцо или всего-навсего дышит. Ни один человек не вызывал у меня такой зависти, как он, — вызывал всем своим видом, показывавшим, что в этом бенуаре он у себя дома, и тем равнодушием, с каким он позволял принцессе угощать себя конфетами; она смотрела на него тогда своими прекрасными глазами из граненого алмаза, которые в этот миг как бы расплавлял ум вместе с дружелюбием, но которые в состоянии покоя, располагая только своей чисто вещественной красотой, только своим минералогическим блеском, если их чуть-чуть

перемещал малейший рефлекс, озаряли глубину партера сверхъестественными, дивными горизонтальными огнями. Вскоре, однако, должно было начаться действие из «Федры», в котором играла Берма, и принцесса прошла вперед; и тут я увидел, — точно принцесса сама была участницей представления, — как, пройдя полосу другого света, изменился не только цвет, но и вещество ее наряда. И в высохшем, обнажившемся, уже не принадлежавшем к миру вод бенуаре принцесса, перестав быть нереидой, явилась моим глазам в бело-голубой чалме, словно чудная трагическая актриса в костюме Заиры,[31] а может быть, даже Оросмана; затем, когда она села в первом ряду, я увидел, что уютное гнездо зимородка, бережно укрывавшее розовый перламутр ее щек, было нежащей, блестящей, бархатистой, громадной райской птицей.

Но тут мое внимание отвлекла от бенуара принцессы Германтской маленькая, плохо одетая, некрасивая женщина, у которой были горящие глаза, — она вошла с двумя молодыми людьми и села поблизости от меня. Вслед за тем под-

[31] Примечания: 31

…в костюме Заиры, а может быть, даже Оросмана… — Персонажи трагедии Вольтера (1694–1778) «Заира» (1732). Заира — пленница влюбленного в нее турецкого султана Оросмана.

нялся занавес. Я с грустью убедился, что во мне ничего не осталось от увлечения былых времен, — увлечения драматическим искусством Берма, когда, чтобы ничего не утратить из необычайного явления, ради которого я пошел бы на край света, я держал мое восприятие наготове, как чувствительную пластинку, устанавливаемую астрономами в Африке или на Антильских островах с целью тщательного изучения кометы или солнечного затмения; когда я дрожал при мысли, что откуда-нибудь набежавшее облако (артистка сегодня не в духе, инцидент в зрительном зале) испортит впечатление от спектакля; когда я боялся, что спектакль пройдет хуже в этом театре, чем в том, который посвящен ей, как церковный придел, где мне казалось, что некоторое, хотя и второстепенное участие в ее появлении под маленьким красным занавесом принимают билетеры с белой гвоздикой, ею же самой назначенные, сводчатый потолок над партером, набитым плохо одетыми людьми, капельдинерши, продающие программы с ее портретом, каштаны в сквере, все спутники, наперсники тогдашних моих впечатлений, от которых я их не отделял. Бытие «Федры», бытие

сцены признания,[32] бытие самой Берма являлись для меня бытием, самому себе довлеющим. Вдали от мира житейского опыта они существовали сами по себе, мне надо было только подойти к ним, и я бы проникся ими, насколько это было в моих силах, и, широко раскрыв глаза и душу, обогатился бы еще одной душой. Но до чего же отрадна была мне эта жизнь! Та бесцветная жизнь, какую я вел, ничего значительного для меня не представляла, как не представляют ничего значительного такие минуты, когда мы одеваемся, собираемся уходить, ибо за ее пределами бесспорно существовали прекрасные и трудно достижимые, не до конца постигаемые, более устойчивые реальности: «Федра», речь Берма. Насыщенный в ту пору мыслями о развитии драматического искусства до такой степени, что немалое их количество можно было бы извлечь, подвергнув анализу мой ум в любое время дня, а может быть, и ночи, я напоминал вольтов столб, наполненный электричеством. И вот настала такая минута, когда я, больной, даже если бы знал, что умру от этого, все-таки пошел бы посмотреть

[32] Примечания: 32

…сцены признания… — Речь идет о 5-й сцене II акта трагедии Расина «Федра», в которой Федра, вторая жена афинского царя Тесея, признается в любви своему пасынку Ипполиту.

Берма. Только теперь, точно холм, который издали кажется сделанным из лазури, а вблизи снова входит в круг наших обычных представлений о предметах, все это вышло за пределы особого мира и стало предметом таким же, как все, предметом, о котором я составлял себе понятие, потому что находился здесь, артисты по своей природе ничем не отличались от моих знакомых, они старались как можно лучше произносить стихи из «Федры», а стихи уже не образовывали прекрасного и неповторимого явления, решительно от всего обособленного, — это были более или менее удачные стихи, готовые вернуться в бескрайнюю область французской поэзии, где они были перемешаны с другими. Это привело меня в уныние, особенно глубокое потому, что хотя предмет мое–• го неодолимого, действенного желания уже не существовал, зато существовала моя прежняя, постоянная склонность к мечтательности, менявшейся каждый год и все же заставлявшей меня, не думая об опасности, принимать внезапные решения. Тот день, когда я, больной, шел в замок посмотреть картину Эльстира или готический ковер, был так похож на день моего отъезда в Венецию, на день, когда я ходил смотреть Берма или уехал в Бальбек, что

я знал заранее, что к тому, ради чего я сегодня жертвую собой, немного погодя я охладею, — буду идти мимо замка и не зайду посмотреть картину, ковры, а ведь когда-то меня не остановили бы ни бессонные ночи, ни мучительные приступы. Непрочность моих увлечений давала мне почувствовать тщету моих усилий и в то же время их чрезмерность, которой я не ощущал прежде, — так, если сказать неврастенику, что он устал, он ощутит двойной груз усталости. А между тем моя мечтательность придавала очарование всему, что могло приманить ее. И даже в моих чувственных влечениях, всегда устремленных к единой цели, сосредоточенных вокруг одной грезы, я мог различить в качестве основной двигательной силы идею, идею, ради которой я пожертвовал бы жизнью и центральным пунктом которой, как во время моих дневных размышлений за книгой в комбрейском саду, была идея совершенства.

Я уже был не столь снисходителен к замеченным мною тогда благим намерениям актеров, исполнявших роли Арицции,[33] Исмены и Ипполита, передать в речи и в игре нежность или гнев. Не потому, чтобы эти артисты — те же самые

[33] Примечания: 33

Ариция — в упомянутой выше трагедии Расина пленница Тесея, возлюбленная Ипполита. Исмена — ее кормилица и наперсница.

— не стремились сегодня с прежним пониманием ролей придавать своим голосам оттенок ласковости или нарочитой уклончивости, а своим жестам — трагическую широту или же молящую мягкость. Их интонации повелевали голосу: «Будь кротким, пой как соловей, ласкай» — или наоборот: «Будь исступленным» — и тут же бросались к нему, чтобы вовлечь его в свое неистовство. Однако голос-бунтовщик не подчинялся их манере говорить, он упорно оставался их голосом с присущими ему недостатками или красотою звука, со своей обычной пошлостью или обычной неестественностью, по-прежнему раскрывался как совокупность акустических или социальных явлений, неподвластная чувству произносимых стихов.

Жест тоже говорил артистам, говорил их рукам, их пеплуму:[34] «Будьте величавы». Но непокорное тело позволяло надуваться между плечом и локтем бицепсу, совсем не знавшему роли; оно продолжало выражать тусклость будней и показывало не переливы расиновского стиха, но игру мускулов; а складки одежды, в которую они драпировались, ниспадали по закону падения

[34] Примечания: 34

Пеплум — в Древней Греции и Риме женская верхняя одежда из легкой ткани в складках, без рукавов, надевавшаяся поверх туники.

тел, с которым вступала в борьбу лишь надоедливая мягкость ткани. Сидевшая рядом со мной дамочка воскликнула:

— Ни одного хлопка! А ведь как разоделась! Но уж очень она стара, ей не под силу, в таких случаях надо уходить со сцены.

Соседи зашикали, двое молодых спутников дамочки постарались успокоить ее, и злоба бушевала теперь только у нее в глазах. Эту злобу мог вызывать только успех Берма, только ее слава, потому что хотя Берма зарабатывала много, но долгов наделала уйму. Она вечно сговаривалась о деловых и дружеских встречах, а между тем прийти на свидания не могла, но у нее на каждой улице были посыльные, которые по ее распоряжению отменяли свидания, заказывала в гостиницах номера, которые потом так и не занимала, покупала океаны духов, чтобы мыть своих собачек, платила антрепренерам неустойки. В своих тратах Берма была более прозаична и менее сластолюбива, чем Клеопатра,[35] — она тоже промотала бы области и царства, но только на пневматическую почту и на парижских извозчиков. Дамочка же была актриса, не нравившаяся

---

[35] Примечания: 35

Клеопатра (68–30 до н. э.) — царица Египта, прославившаяся умом, красотой и сластолюбием.

публике, и она смертельной ненавистью возненавидела Берма. Наконец Берма вышла на сцену. И тут — о чудо! — подобно тому как вечером затверживание уроков доводит нас до полного изнеможения, а утром мы убеждаемся, что знаем их назубок, подобно тому как крайние усилия нашей памяти не воссоздают лиц умерших, а когда мы перестаем о них думать, тут-то они, как живые, и возникают у нас перед глазами, дарование Берма, ускользнувшее от меня, когда я так страстно желал уловить главное в нем, теперь, по прошествии нескольких лет забвения, в час безразличия, открылось моему восторгу во всей его несомненности. Тогда, пытаясь выделить ее дарование, я как бы вычитал из того, что слышал, самую роль, роль, то, что принадлежит всем актрисам, играющим «Федру», и что я изучил заранее, чтобы иметь возможность изъять его и получить в виде остатка дарование Берма. Но ее дарование, которое я пытался разглядеть вне роли, составляло с ней единое целое. Так, если говорить о большом музыканте (думается, что это происходило с Вентейлем, когда он играл на рояле), то его игра — это игра такого большого пианиста, что уже не отдаешь себе отчета, пианист ли он, потому что (не укрываясь за мно-

гообразными движениями пальцев, сплошь да рядом достигающих изумительных эффектов, за всем этим водометом звуков, в вещественной, ощутимой реальности которого слушатель, не знающий, за что ему зацепиться, видит талант) его игра становится до того прозрачной, такой наполненной передаваемым ею, что ее самое уже не видишь, ибо теперь она только окно, обращенное на произведение искусства. Намерения, окружившие пышной или тонкой каймой голос и мимику Ариции, Исмены, Ипполита, — эти намерения я различить мог; но Федра их овнутреннила, и моему сознанию не удавалось оторвать от ее дикции и поз, ухватить в скупой простоте их гладкой поверхности эти находки, эти эффекты, загнанные вглубь и на поверхность не выступавшие. Голос Берма, свободный от отбросов косной, не подчиняющейся духу материи, не разбрызгивал слез, зримыми потоками лившихся по мраморному голосу, — оттого что мрамор их не впитывал, — по мраморному голосу Арицию или Исмены, — он был изящно гибок в каждой своей клеточке, как инструмент большого скрипача, в котором, утверждая, что он хорошо звучит, мы хвалим не какую-нибудь физическую его особенность, но душевное благородство; и как

в античном пейзаже на месте исчезнувшей нимфы появляется неодушевленный источник, так четкое, определенное намерение превратилось у Берма в особенность тембра, в удивительную его чистоту, неподдельную и холодную. Руки Берма, которые, точно уносимые течением листья, казалось, тем же самым толчком, каким стихи заставляли излетать изо рта ее голос, вздымались у нее на груди; ее поза в этом явлении, над которой она долго работала, которую она потом изменит и которую она избрала после размышлений иной глубины, чем те, чьи следы проступали в жестах ее товарищей, размышлений, утративших на сцене первоначальную свою осознанность, расплавленных на каком-то особом огне и создававших вокруг образа Федры круговорот драгоценных и сложных малых миров, которые очарованный зритель воспринимал, однако, не как удачу артистки, а как настоящую жизнь; даже белые одежды, изнемогающие, преданные, будто сделанные из чего-то живого, сотканные полуязыческим-полуянсенистским страданием, которое они оплетали, словно непрочный и зябкий кокон; все это — голос, позы, движения, одежды — было вокруг тела мысли, то есть вокруг любого стиха (в отличие от человеческого тела, оно не

закрывает душу непроницаемой преградой, оно подобно отбеленной, одушевленной одежде), всего лишь дополнительными оболочками, не прятавшими, а, наоборот, украшавшими душу, приноровившую их к себе и в них разлитую, всего лишь сплавами разных, ставших полупрозрачными веществ, напластование которых еще ярче преломляло центральный плененный луч, проходивший сквозь них, расширяло, обогащало и расцвечивало пламеневшую ткань, в которую он был облачен. Так играла Берма: она создавала вокруг произведения другое произведение, тоже одухотворенное гением.

Мое нынешнее впечатление, признаться сказать, более приятное, чем то, которое сложилось у меня прежде, по существу оставалось таким же. Я только не сопоставлял его с моим предвзятым, отвлеченным и неверным представлением о драматическом искусстве; теперь я понимал, что это и есть драматическое искусство. Я думал, что в первый раз не получил удовольствия от игры Берма по той же причине, по какой я не получал удовольствия от встречи с Жильбертой на Елисейских полях; я шел к Жильберте, томимый слишком сильным желанием. Между двумя разочарованиями, возможно, существовало не

только это сходство, но еще и другое, более глубокое. От человека, от произведения (или от его исполнения), если только характерное выступает в них достаточно выпукло, у нас остается впечатление необычное. Мы приносим с собой понятия «красоты», «свободной манеры письма», «патетичности», и у нас может возникнуть иллюзия, что мы это открыли в банальном даровании, в правильных чертах лица, и вдруг бдительное наше сознание упирается в форму, для которой мы не можем подыскать точное определение, ибо она для нас величина неизвестная. Наше сознание слышит резкий звук, необычно вопросительную интонацию. Оно спрашивает себя: «То, что я испытываю, это хорошо? Это восторг? Это и есть колоритность, благородство, мощь?» А ему отвечает все тот же резкий голос, странно вопросительный тон, перед ним все то же навязчивое впечатление от незнакомого ему человека, впечатление вполне материальное, в котором нет свободного места для «разных толкований». Произведения действительно прекрасные, при непосредственном их восприятии, должны особенно разочаровывать нас, потому что в наборе наших представлений нет ни одного, которое соответствовало бы нашему новому впечатлению.

Именно это доказывала мне игра Берма. В ее игре были и тогда благородство, понимание того, что хотел сказать автор. А теперь я оценил другие достоинства игры Берма: широту, поэзию, силу, вернее — то, что принято обозначать этими словами, — так планеты называют Марсом, Венерой, Сатурном, хотя в самих планетах ничего мифологического нет. Мы чувствуем в одном мире, мыслим, наименовываем в другом, мы способны установить между двумя мирами соответствие, но не способны заполнить разделяющее их расстояние. Мне нужно было преодолеть всего лишь это расстояние, этот промежуток, когда я, в первый раз увидав Берма, не пропустив ни одного ее слова, заставил себя прикрепить ее игру к моим понятиям о «благородстве игры», об «оригинальности» и зааплодировал не сразу, как если бы мои аплодисменты рождались не прямо из моего впечатления, а как если бы я их связывал с моими предвзятыми мыслями, с тем наслаждением, какое я испытывал, говоря себе: «Наконец я смотрю Берма». Разница между крайне своеобразной личностью, крайне своеобразным произведением и понятием красоты такая же большая, как между чувствами, какие они вызывают, и понятиями любви, восхищения. Потому-то мы их и не

замечаем. Я не наслаждался, когда смотрел Берма (как не наслаждался, когда видел Жильберту). Я говорил себе: «Нет, я не восхищаюсь ею». И тем не менее я старался тогда как можно глубже понять игру Берма, я был всецело на этом сосредоточен, я силился как можно шире распахнуть мою мысль, чтобы вобрать в нее все, что ее игра содержала. Теперь мне стало ясно, что это было как раз то самое: восхищение.

Но гений, который игра Берма не просто раскрывала, — только ли был он гением Расина?

Сначала я думал, что только. Я разуверился в этом, когда действие кончилось, после вызовов, во время которых старая озлобленная актриса, выпрямившись во весь свой малюсенький рост, вполоборота к сцене, напрягла лицевые мускулы так, чтобы ни один из них не дрогнул, и скрестила на груди руки, чтобы показать, что она не принимает участия в аплодисментах, и чтобы все видели ее возмущение, но хотя она считала, что это должно вызвать сенсацию, никто не обратил на нее внимания. Следующая пьеса представляла собой одну из тех новинок, которые в былые времена, оттого что они не пользовались известностью, казались мне худосочными, мелкими, живущими, только пока их играют. Но все же

я не испытывал того разочарования, какое постигает, когда видишь, что вечное произведение искусства не шире сцены и не продолжительнее спектакля, который превращает это произведение в молебствие по торжественному случаю. Затем к каждой тираде, которая, по моим ощущениям, нравилась публике и со временем станет знаменитой, я прибавлял, за неимением славы, какой у нее не могло быть в прошлом, будущую ее славу — прибавлял, затрачивая умственное усилие, противоположное тому, какое мы делаем, представляя себе великие произведения искусства в период их робкого появления, когда их название, дотоле никому не известное, кажется, никогда не озарится тем же светом, что и другие произведения данного автора, и не станет в один ряд с ними. А вот эта роль Берма когда-нибудь будет причислена к лучшим ее ролям и станет в один ряд с «Федрой». Пьеса и сама по себе была не без достоинств, но Берма играла ее так же великолепно, как и «Федру». Тут я понял, что творчество писателя служит трагической актрисе всего лишь материалом, который сам по себе не имеет для нее существенного значения, материалом для высокохудожественной интерпретации, — так великий художник, с которым я

встречался в Бальбеке, Эльстир, нашел тему для двух равноценных картин в ничем не примечательном школьном здании и в соборе, который уже сам по себе являлся великим произведением искусства. И подобно тому как художник растворяет дом, тележку, людей в поразительном световом эффекте, который уравнивает предметы, так Берма прикрывала широкими пеленами ужаса или нежности слова одного и того же литья, сглаженные или, напротив, высокопарные, которые посредственная актриса отчеканивала бы все до единого. Берма, разумеется, на каждом из них делала особый упор, не читала стихи как прозу. Разве первым признаком упорядоченной сложности, то есть красоты, не является услышанная рифма, то есть нечто подобное тому слову, с каким оно рифмует, и вместе с тем на него не похожее, им обусловленное, но включающее в него некое новое представление, не является ощущение двух накладывающихся одна на другую систем: системы мысли и системы метрики? Но Берма вводила слова, стихи, целые «тирады» в более обширные ансамбли, и было истинным наслаждением следить за тем, как, дойдя до границы, они вынужденно останавливаются, прерываются; так поэт получает удовольствие,

подбирая рифму, цепляясь за слово, готовое от него ускользнуть, или композитор, подчиняя слова либретто определенному ритму, который их сковывает и увлекает за собой. Так и в фразы современного драматурга не менее искусно, чем в стихи Расина, Берма вставляла широкие образы горя, благородства, страсти, и то были ее собственные великие создания, в которых ее узнавали, как узнают художника в портретах, написанных им с разных натур.

Мне теперь уже не хотелось, чтобы Берма застыла в той или иной позе, чтобы ласкавшие взор и вновь не возникавшие сочетания красок, которые она создавала, пользуясь мгновенными световыми эффектами, не исчезали, мне не хотелось, чтобы она сто раз произнесла какой-нибудь стих. Я сознавал, что тогдашнее мое желание было требовательнее воли поэта, воли трагической актрисы, воли превосходного художника-декоратора, ее режиссера и что очарование, которым актриса вдруг одаряла какой-нибудь стих, ее разнообразные, неповторяющиеся жесты, сменяющие одна другую картины представляли собой минутный взлет, недолгую цель, скоропреходящее чудо театрального искусства, чудо, которое разрушило бы стремящееся его закрепить вни-

мание чересчур увлекшегося зрителя. Более того; я не испытывал желания еще раз посмотреть Берма; я был вполне доволен; в те времена я уж очень восторгался для того, чтобы потом не разочароваться в предмете моих восторгов, будь то Жильберта или Берма, я требовал от завтрашнего впечатления того удовольствия, в котором мне отказало впечатление вчерашнее. Не стремясь углублять радость, которая мне была только что послана и которую я, пожалуй, мог бы пережить с большей для себя пользой, я говорил себе, как в былое время говорил один из моих товарищей по коллежу: «Для меня Берма стоит на первом месте», хотя у меня и шевелилась мысль, что, до известной степени удовлетворяя меня, это предпочтение, это утверждение, что Берма стоит «на первом месте», дает не очень точное представление об ее гении.

Как только началась вторая пьеса, я посмотрел в сторону ложи принцессы Германтской. Движением, вычертившим изумительную линию, по которой мое сознание следовало в пустоте, принцесса обернулась, ее гости встали и тоже обратили взгляд в глубину ложи; и в образовавшемся проходе, с победоносной самоуверенностью и величием богини, но и с неожиданной

виноватостью в глазах, — оттого что она так поздно приехала и всех всполошила во время спектакля, — закутанная в белизну муслина, появилась герцогиня Германтская. Она подошла к своей родственнице, сделала глубокий реверанс сидевшему в первом ряду белокурому юноше, а затем, повернувшись к морским чудовищам, плававшим в глубине грота, поздоровалась с этими полубогами из Джокей-клоба, — сейчас я больше всего хотел быть на их месте, в особенности — на месте маркиза де Паланси, — поздоровалась непринужденно, как здороваются со старыми друзьями, с которыми видятся изо дня в день на протяжении пятнадцати лет. Я чувствовал, что тут какая-то тайна, но был бессилен разгадать загадку обращенного на друзей улыбчивого ее взгляда, в голубом блеске которого, пока она отдавала во власть свою руку то тому, то другому, — если бы только я мог разложить его сквозь призму и подвергнуть анализу его кристаллическую структуру, — быть может, мне открылась бы сущность той неведомой жизни, какая в нем проступала в эти мгновения. Герцог Германтский шел следом за женой, сверкая моноклем, белозубой улыбкой, белизной гвоздики в петлице и плиссированного пластрона, а чтобы

все это еще ярче блистало, он приподнял брови, полуоткрыл рот и расстегнул фрак; держась прямо, не поворачивая головы, он опускал вытянутую руку на плечи уступавших ему место менее значительных чудищ, веля им садиться, а затем низко поклонился белокурому юноше. Не лишено вероятия, что герцогиня, посмеивавшаяся, как говорили, над тем, что она считала «крайностями» своей родственницы (а для ее чисто французской умеренности всякое проявление германской поэтичности и восторженности должно было казаться крайностью), предполагая, что сегодня вечером она наденет туалет, «как на бал-маскарад», решила дать ей урок хорошего вкуса. Вместо чудных мягких перьев, спускавшихся у принцессы до самой шеи, вместо сетки из раковин и жемчужин герцогиня украсила волосы простой эгреткой, возвышавшейся над ее носом с горбинкой, над ее глазами навыкате и напоминавшей хохолок птицы. Ее шея и плечи выступали из белоснежной волны муслина, над которой колыхался веер из лебединых перьев, но дальше единственным украшением корсажа служили бесчисленные блестки, металлические, в виде палочек, бусинок, и бриллиантовые, и все платье с подлинно британской педантичностью

облегало ее тело. Но как ни были непохожи эти два туалета, — едва лишь принцесса уступила герцогине свое место, — обе не могли не залюбоваться друг другом.

Быть может, герцогиня Германтская на другой день с усмешкой говорила о чересчур замысловатой прическе, какую себе сделала принцесса, и все же, конечно, восхищалась ею и утверждала, что она была великолепно причесана; а принцесса, на чей вкус ее родственница одевалась холодновато, суховато, немножко «портняжно», находила, однако, в этой строгой сдержанности изысканную утонченность. Вообще существовавшая между ними гармония и всеобъемлющее тяготение, предустановленное воспитанием, смягчали контрасты не только в их одежде, но и в манере держаться. У невидимых силовых линий, протянутых между ними элегантностью, врожденная экспансивность принцессы выдыхалась, тогда как прямота герцогини по мере приближения к ним становилась податливой, гибкой, преисполнялась ласковости и обаяния. Как для того, чтобы в игравшейся сейчас на сцене пьесе постичь оригинальность поэзии, какой Берма наполняла свою игру, достаточно было передать ее роль, которую только она могла иг-

рать, любой другой артистке, так зритель, подняв глаза к двум ложам балкона, убедился бы, что «экипировка» баронессы Морьенваль, в которой она находила сходство с нарядом принцессы Германтской, свидетельствовала только об ее эксцентричности, претенциозности и отсутствии вкуса, а настойчивое и дорого стоившее стремление маркизы де Говожо, воткнувшей в волосы державшееся на проволоке подобие плюмажа с катафалка, подражать в туалетах и в шике герцогине Германтской придавало ей вид провинциальной пансионерки, прямой, как палка, сухой и костлявой. Быть может, маркизе де Говожо было не место в этом зале, где только особенно блиставшие в этом году женщины сидели в ложах (даже на верхних ярусах, ложи которых снизу казались большими, прикрепленными к потолку красными лентами бархатных перегородок корзинами с человеко-цветами) и составляли непрочную панораму, которую в любое время могли изменить смерти, скандалы, болезни, ссоры и которую сейчас приостановили внимание, духота, головокружения, пыль, элегантность и скука, приостановили в это вечное и трагическое мгновение бессознательного ожидания и спокойного оцепенения, наводящее на

мысль о той минуте, что предшествует взрыву бомбы или первой вспышке пожарного огня. Маркиза де Говожо была здесь потому, что принцесса Пармская, как большинство титулованных особ, свободная от снобизма, но зато терзаемая честолюбием и жаждой делать добро, не менее сильной в ней, чем любовь к тому, что она называла «Искусством», уступила несколько лож дамам типа маркизы де Говожо, не принадлежавшим к высшему аристократическому обществу, но связанным с нею благотворительной деятельностью. Маркиза де Говожо приковала взгляд к герцогине и принцессе Германтским, не испытывая при этом ни малейшей неловкости: она была с ними, в сущности, не знакома, и потому им не могло прийти в голову, что она жаждет с ними поздороваться. Тем не менее она уже десять лет с неутомимой настойчивостью добивалась своей цели — бывать у этих знатных дам. Теперь, по ее расчету, она должна была достичь ее уже через пять лет. Но она, хвалившаяся своими познаниями в медицине, заболела одной из тех болезней, от которых не отделаешься, и так как она была уверена, что болезнь неизлечима, то боялась не дожить до тех пор. В этот вечер она была по крайней мере счастлива, что все эти незнако-

мые дамы видят около нее их приятеля, юного маркиза де Босержана, брата г-жи д'Аржанкур, а Босержан бывал в обоих кругах, и когда он находился в обществе дам не высшего света, то они из тщеславия всячески старались обратить на это внимание дам высшего. Он сидел сзади маркизы де Говожо, в кресле, поставленном боком, чтобы можно было лорнировать другие ложи. Он был знаком здесь со всеми; здороваясь, он с пленительным изяществом изгибал свой тонкий стан, наклонял красивую голову со светлыми волосами и, улыбаясь голубыми глазами, почтительно и в то же время непринужденно приподнимал свое негорбящееся туловище, с чрезвычайной точностью воссоздавая в наклонном прямоугольнике, куда он был вписан, старинную гравюру, на которой изображен высокомерный и подобострастный вельможа. Он часто ходил в театр по приглашению маркизы де Говожо; в зрительном зале и при разъезде, в вестибюле, он имел мужество не отходить от нее, хотя их окружал целый рой более блестящих его приятельниц, но с ними он старался не заговаривать, чтобы не ставить их в неловкое положение, словно он находился в дурном обществе. Если мимо проходила принцесса Германтская, прекрасная и быстроногая, как

Диана,[36] волоча за собой бесподобное манто, заставляя оборачиваться все головы и притягивая все взгляды (взгляд маркизы де Говожо сильнее, нежели чей-либо еще), маркиз де Босержан делал вид, что оживленно беседует со своей спутницей, и отвечал на ослепительную дружескую улыбку принцессы натянуто и напряженно, с благовоспитанной сдержанностью и милостивой холодностью человека, любезность которого может на какое-то время быть в тягость.

Если бы даже маркиза де Говожо не знала, что ложа бенуара принадлежит принцессе, все-таки она догадалась бы, что герцогиня Германтская — ее гостья, по преувеличенному интересу к тому, что происходит на сцене и в зрительном зале, какой проявляла герцогиня из любезности к хозяйке. Но одновременно с этой центробежной силой другая, противоположная сила, вызванная тем же самым желанием быть любезной, направляла внимание герцогини на ее собственный туалет: на эгретку, колье, корсаж, а равно и на туалет принцессы, с которой герцогиня держалась как ее подданная, как ее рабыня, приехавшая сюда, только чтобы с ней повидаться,

[36] Примечания: 36

Диана — в римской мифологии богиня охоты, растительности, родовспомогательница, олицетворение луны.

готовая последовать за нею куда угодно, если владелице ложи придет фантазия уйти отсюда, и смотревшая на всю остальную публику лишь как на собрание занятных незнакомцев, хотя среди них находилось немало ее друзей, в чьи ложи ее звали на какой-нибудь другой неделе и по отношению к кому она выказывала тогда точно такую же исключительную, релятивистскую, однонедельную преданность. Маркизу де Говожо удивило, что герцогиня сегодня вечером в театре. Она знала, что герцогиня не скоро собирается выехать из Германта, и была уверена, что та все еще там. Но ей сказали, что, когда в Париже шел интересовавший герцогиню Германтскую спектакль, герцогиня приказывала закладывать карету после чаю, который она пила с охотниками, а на закате солнца крупной рысью, сначала потемневшим лесом, а потом по дороге мчалась в Комбре, садилась в поезд и вечером приезжала в Париж. «Наверно, она приехала из Германта ради Берма», — с восхищением думала маркиза де Говожо. Она припоминала, что говорил о герцогине Сван на том двусмысленном жаргоне, на каком говорил и де Шарлю: «Герцогиня — одно из самых благородных человеческих существ в Париже, она принадлежит к самой утонченной,

к самой изысканной элите». Мне же, судившему по фамилиям Германт-Баварские или Конде об образе жизни и образе мыслей этих двух женщин (я уже не мог судить по фамилиям об их наружности, потому что я их видел), важнее было знать их мнение о «Федре», чем мнение лучшего в мире критика. В мнении критика я обнаружил бы только ум, ум острее моего, но такого же склада. Что думали герцогиня и принцесса Германтские, эти поэтические создания, чьи мысли послужили бы мне бесценным выявлением их сущности, — это я воображал с помощью их фамилий, я угадывал в их суждениях иррациональную прелесть и, томимый тоскою по родине, жаждал найти в них прелесть летних дней, когда я ходил гулять по направлению к Германту.

Маркиза де Говожо вглядывалась в туалеты принцессы и герцогини. Я же не сомневался, что туалеты составляют часть их самих, и не только в том смысле, в каком можно применить это выражение к ливрее с красным воротником и синими отворотами, которую в старину носили только слуги Германтов и Конде, а скорее даже — к оперению птиц, которое является не только их украшением, но и тем, что расширяет их тело. Туалет этих двух женщин представлялся мне у

одной — белоснежной, у другой — пестрой материализацией их внутренней жизни, и я был убежден как в том, что движения принцессы Германтской, которые я видел, соответствуют некой сокровенной мысли, так и в том, что перья, падавшие на ее лоб, и ослепительный, весь в блестках, корсаж герцогини имеют какое-то значение, в том, что и перья и корсаж — это их свойства, значение которых мне хотелось понять; райская птица казалась мне столь же неотделимой от принцессы, как павлин от Юноны;[37] я не мог допустить мысль, чтобы еще какая-нибудь женщина присвоила блестчатый корсаж герцогини, что для меня было равносильно присвоению блестящей, обшитой бахромою эгиды Минервы.[38] И когда я вперял взгляд в эту ложу, то она гораздо живее, чем плафон зрительного зала, расписанный холодными аллегориями, напоминала, благодаря чудом возникшему разрыву меж туч, собрание богов под красным навесом, — в ярком просвете меж столбов небосвода, — взирающих

[37] Примечания: 37

Юнона — в римской мифологии богиня брака, материнства, женской силы. Павлин — одна из излюбленных птиц богини.

[38] Примечания: 38

Минерва — в римской мифологии богиня мудрости, покровительница наук, ремесел и искусств.

на людей. Я смотрел этот минутный апофеоз с волнением, которое умеряла мысль, что бессмертные меня не знают; правда, герцогиня и ее муж однажды видели меня, но она, конечно, об этом забыла, да мне и в голову никогда бы не пришло, что герцогиня из той ложи, где она сидела, может разглядеть безымянных, собирательных мадрепоров [39] партера, — а ведь я с радостью ощущал, что мое существо в них растворилось, — и вдруг, в то самое мгновение, когда, по закону преломления луча, в безучастном скольжении голубых ее глаз вырисовалась неопределенная форма одноклеточного организма, не имеющего самостоятельного существования, то есть моя форма, я увидел вспыхнувший в них огонек: герцогиня, из божества превратившаяся в женщину и тотчас показавшаяся мне в тысячу раз прекраснее, протянула в мою сторону ту облегавшуюся белой перчаткой руку, которой она только что держалась за край ложи, в знак приветствия помахала ею, мой взгляд почувствовал, что он скрещивается с пламенем в глазах принцессы, загоревшимся непроизвольно, бушевавшим так,

[39] Примечания: 39

Мадрепор (мадрепоровые кораллы) — каменистые кораллы, известковые скелеты которых образуют основу коралловых рифов.

что она сама об этом не подозревала, только потому, что она повела ими, чтобы увидеть, с кем это здоровается герцогиня, а герцогиня, поняв, что это я, низвергла на меня искрометный, небесный ливень улыбки.

Теперь каждое утро, задолго до того, как герцогиня выходила из дому, я, давая большого крюку, занимал пост на углу той улицы, по которой она обыкновенно шла, и когда время ее прохода, по моим расчетам, близилось, я шел ей навстречу с рассеянным видом, глядя в другую сторону, и поднимал на нее глаза, только поравнявшись, но как будто это для меня совершенно неожиданная встреча. В первые дни я даже, чтобы не упустить ее, ждал у самого дома. И всякий раз, когда отворялись ворота (пропуская одного за другим кого угодно, только не ее), производимое ими сотрясение воздуха вызывало у меня долго не успокаивавшееся сердцебиение. Никогда безумный поклонник великой актрисы, с нею не знакомый, идя на «дежурство» у артистического подъезда, никогда разъяренная или преклоняющаяся толпа, собравшаяся, чтобы надругаться над осужденным или воздать почести великому человеку, и при каждом шуме, долетающем из тюрьмы или из дворца, проника-

ющаяся уверенностью, что он сейчас появится, не были так взволнованы, как я в ожидании выхода этой знатной дамы, одетой просто, однако умевшей благодаря изяществу своей походки (ничуть не напоминавшей ту, какая была у нее в салоне или в ложе) создать из утренней своей прогулки, — для меня других гуляющих тогда не существовало, — целую поэму элегантности и лучшее украшение, редкостнейший цветок погожего утра. Но через три дня, боясь, как бы привратник не разгадал моей хитрости, я счел за благо становиться на пути следования герцогини гораздо дальше. Часто до этого спектакля я в хорошую погоду делал небольшие прогулки перед завтраком; в дождливый день я выходил на улицу, чуть только разъяснивалось, и вдруг на еще мокром тротуаре, который освещение покрывало золотым лаком, в великолепии перекрестка, струившегося паром, который румянило и позлащало солнце, я замечал пансионерку в сопровождении воспитательницы или молочницу с белыми рукавами; я застывал на месте, схватившись за сердце, а сердце уже устремлялось навстречу новой жизни; я старался запомнить улицу, час, ворота, за которыми девочка (иной раз я шел за ней следом) скрывалась и больше

уже не показывалась. К счастью, быстролетность этих тешивших взор образов, которые я надеялся увидеть вновь, не позволяла им отпечататься в моей памяти. Ну и что ж из этого? Мне не так было горько от сознания, что я болен, что я не могу заставить себя сесть за работу, начать писать книгу, земля мне начала казаться приятнее, жизненный путь — увлекательнее с тех пор, как я уверился, что и парижские улицы, а не только бальбекские дороги, расцвечены красавицами, которых я так часто пытался вызвать из лесов Мезеглиза и каждая из которых будила во мне страсть, — вот только утолить ее, как мне казалось, могла только та, что встретилась сейчас.

На другой день после спектакля в Опере я прибавил к образам, которые я жаждал обрести вновь, образ герцогини Германтской, статной, с уложенными в высокую прическу светлыми, мягкими волосами, с обещанием ласки в улыбке, которую она мне послала из ложи принцессы. Меня тянуло пойти по той дороге, которую, как я слышал от Франсуазы, избирала герцогиня, и в то же время я старался, чтобы снова встретить двух девушек, которых я видел третьего дня, не упустить их, когда они пойдут из школы или когда у них кончится урок катехизиса. Но в па-

мяти у меня нет-нет да и всплывали лучезарная улыбка герцогини Германтской и то ощущение нежности, какое от нее исходило. И я почти бессознательно сопоставлял (так женщина смотрит, подойдут ли к платью только что ей подаренные пуговицы из драгоценных камней) эту улыбку и это ощущение с моими давними романическими мечтами, от которых меня избавили холодность Альбертины, внезапный отъезд Жизели и, еще раньше, умышленная и продолжительная разлука с Жильбертой (например, мечта о том, что меня полюбит женщина и мы будем жить вместе); потом я сравнивал с этими мечтами образы то одной, то другой девушки, а затем сейчас же снова примерял к ним воспоминание о герцогине. Рядом с этими мечтами воспоминание о герцогине Германтской в Опере представлялось чем-то очень незначительным, звездочкой около длинного хвоста огненной кометы; этими мечтами я жил задолго до знакомства с герцогиней Германтской, а вот воспоминание о ней прочностью не отличалось; временами оно от меня ускользало; в те часы, когда оно, отколыхавшись во мне наподобие образов других красивых женщин, постепенно связывалось посредством единственной и незыблемой ассоциации — ис-

ключающей всякий другой женский образ — с моими романическими мечтами, далекими его предшественницами, в те краткие часы, когда оно вставало передо мной наиболее явственно, мне следовало подумать над тем, что же это такое; но тогда я еще не знал, какое значение оно будет иметь для меня; оно было только отрадно как первое свидание с герцогиней Германтской во мне, оно было первым наброском, единственно верным, единственным сделанным с натуры, — это была действительно герцогиня Германтская; так как я имел счастье хранить его всего лишь несколько часов, не умея сосредоточивать на нем внимание, то, значит же, это воспоминание было чудесным, если неизменно к нему, тогда еще добровольно, не спеша, не изнемогая, не по необходимости, не от скуки, возвращались любовные мои мечтания; с течением времени, означившись в этих моих мечтах с большей определенностью, оно выиграло в яркости, но зато как бы сдвинулось; вскоре я уже не мог восстановить его; и в моих грезах я, конечно, искажал его совершенно, ибо при каждой встрече с герцогиней Германтской наблюдал расхождение, причем всякий раз новое, между тем, что я воображал, и тем, что видел. Теперь, когда в другом конце улицы появ-

лялась герцогиня Германтская, я все еще сразу различал женщину высокого роста, ясноглазую, с мягкими волосами, различал все, ради чего я ежедневно бывал здесь; но потом я отворачивался, чтобы несколько мгновений спустя показать, что эта встреча, ради которой я сюда пришел, явилась для меня неожиданностью, а когда, не раньше чем поравнявшись с герцогиней, поднимал на нее глаза, то видел красные пятна — или от свежего воздуха, или от расширения сосудов — на угрюмом ее лице, а она небрежным кивком, в котором ничего не осталось от приветливости, какую она проявила ко мне в вечер «Федры», отвечала на мой поклон, который я делал ей ежедневно, разыгрывая удивление, и который, видимо, вызывал у нее неудовольствие. И все-таки спустя несколько дней, в течение которых воспоминание о двух девушках вело неравную борьбу за владычество над моими любовными мечтами с воспоминанием о герцогине Германтской, в конце концов воспоминание о ней как бы само собой воскресало все чаще и чаще, а его соперники сами собой стушевывались; в конце концов на него, в общем пока еще добровольно, как бы по собственному выбору и для собственного удовольствия, перенес я все мои любовные

мысли. Я уже не думал ни о девушках, учивших катехизис, ни о молочнице; и все-таки я уже не надеялся обрести на улице то, за чем я туда шел: ни ласки, которую мне обещала в театре улыбка, ни силуэта, ни ясных глаз под светлыми волосами, — таким ее облик был только вдали. Теперь я даже не мог бы сказать, какая из себя герцогиня Германтская и почему я ее узнавал, ибо ее лицо, да и весь ее облик ежедневно менялись, так же как платье и шляпа. Почему в такой-то день, завидев лиловую шляпку, а под ней гладкое, милое лицо, обаяние которого было симметрично расположено вокруг голубых глаз и на котором линия носа казалась незаметной, я по охватившей меня радостной дрожи угадывал, что не вернусь домой, не встретившись с герцогиней Германтской, почему я был так же неспокоен, почему я так же разыгрывал равнодушие, отводил глаза с таким же рассеянным видом, как и накануне, когда на перекрестке возникал профиль женщины в темно-синей шапочке, с носом, похожим на птичий клюв, с острым глазом над красной щекой, придававшим ей сходство с египетским божеством? Однажды я увидел не женщину с птичьим клювом, а словно настоящую птицу: платье и шапочка герцогини Германтской были

меховые, нигде не выглядывало ни кусочка материи, и оттого казалось, что тело у нее покрыто мехом, что это один из тех ястребов, чье пышное, ровное, мягкое оперение напоминает шерсть. Из этого естественного оперения маленькая головка выгибала птичий клюв, а глаза навыкате были острые и голубые.

Как-то я несколько часов кряду шагал взад и вперед по улице, а герцогиня Германтская все не появлялась, и вдруг в молочной, прятавшейся в этом полуаристократическом-полупростонародном квартале между двумя особняками, неясно обозначилось незнакомое лицо элегантной женщины, покупавшей сладкие сырки, и я еще не успел разглядеть ее, как в меня ударил молнией, которой понадобилось бы меньше времени, чтобы дойти до меня, чем образу в целом, взгляд герцогини; в иные дни, не встретив ее и услышав, что бьет полдень, я решал, что ждать дольше нет смысла, и уныло плелся домой; углубленный в свое разочарование, я смотрел невидящим взглядом на удалявшуюся карету и вдруг соображал, что из окошка кареты мне кивнула дама и что ее черты, то расслабленные и безжизненные, а то, наоборот, напрягшиеся и живые, складывавшиеся под круглой шляпой с высокой эгреткой

в лицо незнакомки, — это черты герцогини Германтской, которой я даже не ответил на поклон. А кое-когда, возвращаясь домой, я видел ее в будке привратника, где противный консьерж, которого я ненавидел за его прощупывающие взгляды, отвешивал ей низкие поклоны и, конечно, «докладывал». «Докладывал», потому что вся прислуга Германтов пряталась тогда за оконными занавесками и с трепетом следила за ходом неслышного ей разговора, после которого герцогиня неизменно лишала прогулки кого-нибудь из слуг, которого выдал «приврашка».

Из-за того, что герцогиня Германтская представала передо мной в разных обличьях, обличьях, занимавших пространство относительное, и всякий раз иное, то узкое, то широкое, в зависимости от туалета, моя любовь не была прикреплена к чему-нибудь одному в ней самой и в ее одежде: ведь и внешний ее облик, и ее одежда каждый день уступали место другим, и она могла изменять их и обновлять почти полностью, ничуть не утишая моего волнения, ибо сквозь них, сквозь новый воротник и незнакомую щеку я всегда чувствовал, что это герцогиня Германтская. Я любил женщину-невидимку, которая все это приводила в движение, ее, чья враждебность меня огорчала,

чье приближение меня потрясало, чью жизнь мне хотелось подчинить себе, чьих друзей мне хотелось разогнать! Она могла воткнуть синее перо, у нее могло быть раздражение кожи — от этого ее действия не становились для меня менее значительными.

Если бы я сам не почувствовал, что герцогине Германтской надоели ежедневные наши встречи, то я бы об этом догадался по холодному, укоризненному и жалостливому выражению, какое появлялось на лице у Франсуазы, когда она помогала мне собираться на утреннюю прогулку. Как только я просил ее подать вещи, я чувствовал встречный ветер, дувший от ее худого, усталого лица. Я даже не пытался заслужить доверие Франсуазы — я понимал, что ничего не добьюсь. Она обладала способностью немедленно узнавать о всех неприятностях, какие только случались у моих родителей и у меня, и способность эта так и осталась для меня загадкой. Быть может, в ней не таилось ничего сверхъестественного и объяснялась она тем, что у Франсуазы были свои особые источники информации; вот так дикие племена узнают иногда новости на несколько дней раньше, чем почта сообщает их европейской колонии, но дело тут не в телепатии, а в том, что известия

у них передаются с холма на холм, при помощи сигнального света. Так, в частном случае с моими прогулками, быть может, слуги герцогини Германтской слышали, как их госпожа говорила, что я каждый раз попадаюсь ей на глаза и это ей опостылело, и передали ее слова Франсуазе. Правда, родители могли нанять мне кого-нибудь другого вместо Франсуазы, но я бы от этого не выиграл. С известной точки зрения, Франсуаза была в наименьшей степени служанкой. Во всех ее проявлениях, в доброте и сострадании, в жестокости и надменности, в хитрости и ограниченности, в белом ее лице и красных руках угадывался тип деревенской барышни, родители которой сначала «жили — не тужили», а потом обеднели и должны были отдать ее в прислуги. Пятьдесят лет тому назад она внесла в наш дом деревенский воздух и фермерский уклад жизни благодаря путешествию, противоположному путешествиям обычным: тут деревенская жизнь переехала к путешественнику. Как витрина провинциального музея бывает убрана редкими вышивками, купленными у крестьянок, в иных краях еще не оставивших этого искусства, так парижская наша квартира была изукрашена словами Франсуазы, подсказываемыми ей преемственностью, чув-

ством родины и подчинявшимися законам очень давнего происхождения. И она умела вышивать ими, точно цветными нитками, вишневые деревья и птиц своего детства, постель, на которой умерла ее мать и которую она видела как сейчас. Но, поступив к нам в Париж, она очень скоро начала разделять — то же самое случилось бы и с любой другой, только в еще более сильной степени, — понятия и мнения слуг с других этажей; вознаграждая себя за почтение, с каким она обязана была относиться к нам, она передавала нам грубые слова, которые говорила о своей госпоже кухарка с пятого этажа, — передавала с удовлетворением, какое может испытывать только служанка, так что мы впервые в жизни почувствовали что-то вроде солидарности с отвратительной особой, проживавшей на пятом этаже, и подумали, что, пожалуй, мы действительно господа. Эта порча характера Франсуазы, пожалуй, была неминуема. Иной образ жизни в силу крайней своей ненормальности не может не породить некоторых пороков: так окруженный придворными король вел в Версале столь же странный образ жизни, что и фараон или дож, но еще более странный образ жизни вели придворные. Странность образа жизни слуг,

без сомнения, еще более чудовищна — только привычка скрывает ее от нас. Но даже мелкие черточки, — откажи я Франсуазе, — непременно были бы те же у новой служанки. И точно: впоследствии у меня служили разные люди; они уже приходили ко мне с недостатками, свойственными прислуге вообще, а у меня их нрав подвергался стремительному дальнейшему изменению. Законы нападения обусловливают необходимость законов ответного удара, — вот так и слуги, все до единого, чтобы шероховатости моего характера не задевали их, проделывали в своем характере углубление, одинаковое по размеру и на соответствующем месте, а в моих впадинах они располагали свои передовые позиции. Этих впадин я в себе не замечал, — так же как и выступов между ними, — именно потому, что это были впадины. Но слуги, постепенно развращаясь, мне их открыли. Именно через их недостатки, которые неминуемо у них появлялись, я познал мои собственные недостатки, врожденные и неизбежные, характер слуг показал мне нечто вроде негатива моего характера. Мы с матерью в свое время от души смеялись над г-жой Сазра, говорившей про слуг: «Это племя, эта порода». Должен, однако, сознаться, что у меня не возник-

ло желания сменить Франсуазу на какую-нибудь другую служанку именно потому, что эту другую на таком же основании и неизбежно пришлось бы причислить к племени слуг вообще и к породе моих слуг в частности.

Возвращаясь к Франсуазе, я не могу не отметить, что всякий раз, когда мне предстояло подвергнуться унижению, на лице Франсуазы заранее появлялось уже готовое сочувственное выражение; если же, обозлившись на то, что она меня жалеет, я старался делать вид, что, напротив, у меня в чем-нибудь удача, то тщетное мое притворство разбивалось об ее почтительное, но явное недоверие и о сознание своей правоты. Ведь она же знала правду; она молчала и только делала такое движение губами, как будто у нее полон рот и она жует лакомый кусок. Слова, которые мне кто-нибудь говорил, так прочно укладывали неизменный свой смысл в мой восприимчивый ум, что я не мог допустить, чтобы тот, кто уверял, что любит меня, на самом деле меня не любит, подобно тому как Франсуаза не усомнилась бы, прочитав в газете, что священник или кто-нибудь другой по требованию, отосланному по почте, может прислать нам средство от всех болезней или же указать способ в сто раз увеличить наши дохо-

ды. (Зато если наш доктор прописывал ей самую простую мазь от насморка, она, иной раз безропотно терпевшая жестокую боль, ныла, что ей все время приходится шмыгать носом, оттого что «щиплет», и она места себе не находит.) Но Франсуаза первая доказала мне (понял я это, правда, потом, когда получил еще одно доказательство, только более для меня мучительное, как это будет явствовать из последних томов моей книги, от женщины, которая была мне дороже Франсуазы), что истина для своего выражения не нуждается в словах и что, пожалуй, ее легче разглядеть, не дожидаясь слов и даже вовсе не считаясь с ними, во множестве примет, даже в иных невидимых явлениях, а эти явления в человеческом обществе — то же, что в природе колебания атмосферы. Я мог бы, пожалуй, об этом и сам догадаться, так как и мне часто приходилось в ту пору не говорить ни слова правды, а правду я все-таки выражал непроизвольными телодвижениями и поступками (которые совершенно правильно истолковывала Франсуаза), — я мог бы, пожалуй, об этом и сам догадаться, но для этого мне было необходимо тогда сознавать, что в иных случаях я бываю лгуном и обманщиком. Лжи и обмана от меня, как и от всех, столь стремительно и вне-

запно требовал для своей защиты какой-нибудь личный интерес, что мой ум, который влекла к себе область возвышенного, давал возможность моему характеру тайком обделывать свои срочные делишки и не считал нужным обращать на них внимание.

Если Франсуаза вечером была со мною мила, просила позволения посидеть у меня в комнате, мне казалось, что лицо у нее становится прозрачным, что она отзывчива и бесхитростна. Но Жюпьен, который иногда болтал лишнее, о чем я узнал позднее, признался, что Франсуаза ему говорила, что меня повесить мало и что я только и думаю, как бы ей насолить. Рассказ Жюпьена показал мне картину моих отношений с Франсуазой в новом свете, ничего общего не имевшую с той, на которой я часто с удовольствием задерживал взгляд, на которой Франсуаза меня обожала и по всякому поводу расхваливала меня, и тут я понял, что не только физический мир отличается от того, каким мы его видим; что всякое явление не похоже на то, которое, как нам кажется, мы воспринимаем непосредственно; что деревья, солнце и небо оказались бы совсем иными, если б на них смотрели существа, у которых глаза были бы устроены иначе, чем у нас, или же обладали

вместо глаз другими органами и эти органы давали бы не зрительные, а другие представления о деревьях, небе и солнце. Как бы то ни было, свет, который внезапно пролил Жюпьен на действительность, ужаснул меня. Хорошо еще, что дело касается Франсуазы, которая не очень меня волнует. А что, если таковы отношения между людьми вообще? И как же я буду несчастен, если и любовь такова? Это тайна будущего. Пока дело касается Франсуазы. Действительно ли она такого мнения обо мне? Может быть, она так сказала только для того, чтобы Жюпьен меня невзлюбил, чтобы мы вместо нее не взяли его дочь? Мне было ясно одно: узнать прямым путем и узнать наверное, любит меня Франсуаза или ненавидит, невозможно. И она первая навела меня на мысль, что любой другой человек не является для нас, как я полагал раньше, чем-то ясным и неподвижным, со всеми его достоинствами, недостатками, планами, намерениями по отношению к нам (вроде сада со всеми его клумбами, на который мы смотрим сквозь решетчатый забор), что он — тень, куда мы ни за что не проникнем, о которой нельзя составить точное представление, относительно которой мы строим различные предположения при помощи слов и даже дей-

ствий, хотя и слова и действия создают у нас о ней представление неполное, да к тому же еще противоречивое, тень, за которой мы с одинаковой долей вероятности можем вообразить себе пылание ненависти или любви.

Я действительно любил герцогиню Германтскую. Величайшим счастьем было бы для меня, если б я мог умолить Бога наслать на нее все напасти и если б она, нищая, отверженная, лишенная всех привилегий, которые прежде нас с ней разделяли, оставшаяся без крова, ни от кого не получающая ответа на поклоны, пришла ко мне просить пристанища. Я представлял себе, как это произойдет. И даже в те вечера, когда изменение атмосферного давления или улучшение моего самочувствия развертывали в моем сознании забытый свиток, на котором были начертаны давнишние впечатления, вместо того чтобы воспользоваться приливом энергии, вместо того чтобы употребить ее на расшифровку моих же собственных мыслей, обыкновенно от меня ускользавших, вместо того чтобы приняться, наконец, за работу, я разговаривал сам с собой, мыслил беспорядочно и неглубоко, предавался бесплодным размышлениям, сопровождавшимся повышенной жестикуляцией, сочинял целый

авантюрный роман, бездарный и неправдоподобный, в котором обнищавшая герцогиня взывала ко мне о помощи, мне же, наоборот, посчастливилось и я стал богат и всемогущ. Но между тем как я часами придумывал разные стечения обстоятельств и говорил герцогине то, что я сказал бы ей, предлагая кров, положение не менялось: на самом деле — увы! — я сделал своей избранницей женщину, у которой было столько всевозможных преимуществ и для которой я вследствие этого ровно ничего не значил; ведь она была богата, как страшнейший богач, да еще вдобавок знатного происхождения; я уже не говорю об ее обаянии, благодаря которому она пользовалась таким успехом, благодаря которому она возвышалась над всеми, как королева.

То, что я каждое утро шел ей навстречу, раздражало ее, и я это чувствовал; но если бы даже у меня хватало силы воли дня три посидеть дома, быть может, этого усилия над собой, этой огромной жертвы герцогиня Германтская или просто не заметила бы, или объяснила какими-нибудь не зависящими от меня обстоятельствами. Да ведь и правда: я перестал бы выходить ей навстречу только в самом крайнем случае, ибо все растущая потребность встретить ее, потребность

быть минутным предметом ее внимания, видеть, как она со мной здоровается, эта потребность перевешивала во мне неприятное чувство от того, что я досаждаю ей. Мне хорошо было бы на время уехать; на это у меня не хватало силы воли. Но мысль об отъезде приходила мне в голову. Я говорил Франсуазе, чтобы она собрала мои вещи, потом тут же говорил, что не надо. Франсуаза не одобряла моего поведения, она говорила, что я все время «в нерешимости», — когда она не старалась угнаться за нынешними, то пользовалась языком Сен-Симона.[40] И терпеть она не могла, когда я держал себя с ней как барин. Она чувствовала, что у меня это выходит неестественно, что мне это не идет, и выражала свое чувство так: «Не к лицу вам своевольничать». У меня хватило бы мужества уехать только туда, где я был бы ближе к герцогине Германтской. Это было осуществимо. Разве, в самом деле, я не оказался бы ближе к герцогине Германтской, чем по утрам на улице, одинокий, униженный, сознающий, что ни одно слово из тех, какое мне хотелось сказать ей, до нее не дойдет во время моих прогулок, вернее

[40] Примечания: 40

…языком Сен-Симона. — Пруст высоко ценил опубликованные посмертно «Мемуары» Луи де Рувруа Сен-Симона (1675–1785), рассматривая их в качестве одной из моделей своего романа.

— топтанья на месте, которое могло длиться до бесконечности и ни на шаг не продвинуть меня вперед — ближе к ней, если б я уехал за много миль, но к ее знакомому, чья требовательность к людям была бы ей известна, который ценил бы меня, который мог бы поговорить с ней обо мне, который, быть может, и не добился бы от нее чаемого мною, но, по крайней мере, сказал бы ей об этом, к человеку, благодаря которому, во всяком случае, — единственно потому, что я потолковал бы с ним, возьмется ли он что-нибудь передать ей от меня, — я придал бы моим уединенным и безмолвным мечтам новую форму, разговорную, деятельную, которая показалась бы мне сдвигом, почти свершением? Стать сопричастником таинственной жизни «Германта», — а ведь «Германт» — это она, — постоянного предмета моих мечтаний, сопричастником даже не непосредственным, а как бы при помощи рычага приведя в движение человека, имеющего доступ к герцогине на ее вечера, подолгу беседующего с ней, — разве это не общение, правда, более отдаленное, но зато более действенное, чем ежеутреннее любование ею на улице?

Дружеские чувства Сен-Лу ко мне и его восхищение мною казались мне незаслуженными и до

поры до времени оставляли меня равнодушным. Теперь я вдруг оценил его отношение ко мне, я подумал, что хорошо было бы, если б он завел об этом разговор с герцогиней Германтской, у меня хватило бы духу обратиться к нему с такой просьбой. Ведь когда мы влюблены, нам хочется, чтобы любимая женщина знала, что мы обладаем небольшими ценностями, о которых никому ничего не известно, — это свойство всех обиженных судьбой и всех надоедливых людей. Мы страдаем оттого, что она о них не подозревает, и пытаемся утешиться, убеждая себя, что именно потому, что эти ценности не видны, она, быть может, присоединяет к сложившемуся у нее представлению о нас наши никому неведомые преимущества перед другими людьми.

Сен-Лу все никак не мог приехать в Париж — то ли потому, что, как он писал, его удерживал долг службы, то ли — что вернее — из-за тяжелых переживаний, связанных с его любовницей, с которой он уже два раза чуть-чуть не порвал. Он часто писал мне о том, какое большое удовольствие доставил бы я ему, если б приехал в город, где стоял его гарнизон и название которого так обрадовало меня на третий день после его отъезда из Бальбека, когда я прочел название

города на конверте первого письма от моего друга. Это расположенный не так далеко от Бальбека, как может показаться из-за разделяющей их совершенно ровной местности, один из аристократических и военных городков, стоящих среди широкого поля, где в жаркие дни так часто колышется вдали что-то вроде марева, но только прерывисто звучащего, которое, — так тополевая завеса своими изгибами вырисовывает течение невидимой реки, — выдает перемещения полка на занятиях, что самый воздух улиц, бульваров и площадей в конце концов приобрел воинственно-музыкальную ритмичность, и даже грубое тарахтенье повозки или трамвая подхватывается там невнятными звуками рожка, без конца отдающимися в слухе, бредящем тишиной. Городок был так близко от Парижа, что я мог в тот же день сесть в скорый поезд, вернуться к матери и бабушке и лечь на свою постель. Как только я это сообразил, мне до боли захотелось поехать туда, и у меня не хватило духу принять решение не оставаться в городке и вернуться в Париж; равным образом не хватило у меня духу воспретить носильщику нести мой чемодан до извозчика и не плестись за ним с видом беспомощного пассажира, который смотрит за своими вещами и

которого бабушка не ждет; не сесть в экипаж с непринужденностью человека, который перестал думать о том, чего ему хочется, и у которого такой вид, как будто он знает, чего ему хочется, и не дать извозчику адрес кавалерийских казарм. Я рассчитывал, что Сен-Лу, чтобы мне не так тоскливо было на первых порах в незнакомом городе, придет сегодня ночевать ко мне в гостиницу. Вестовой пошел его разыскивать, а я остался ждать у ворот казармы, перед этим огромным кораблем, где гудел ноябрьский ветер и откуда ежеминутно, так как было шесть часов вечера, выходили по двое люди, пошатываясь, словно они сходили на сушу в какой-нибудь экзотической гавани, к которой их корабль на короткое время пристал.

Появился Сен-Лу; он шел развинченной походкой, а впереди него летал монокль; я не назвал себя вестовому, я мечтал насладиться радостным изумлением Сен-Лу.

— Ах, какая досада! — вдруг увидев меня и покраснев до ушей, воскликнул он. — Я только что принял дежурство и раньше, чем через неделю, не освобожусь!

Озабоченный тем, что мне придется пробыть первую ночь одному, так как он лучше, чем кто-либо, знал, какая на меня по вечерам нападает

тоска, которую он часто замечал и старался рассеять в Бальбеке, Сен-Лу, прерывая свои сетования, все улыбался и ласково глядел на меня, причем взгляды эти были разные: то — глаза в глаза, то — сквозь монокль, но все они говорили о волнении, какое вызвала в нем встреча со мной, и еще об одной важной вещи, которая не всегда была мне ясна, но которая сейчас приобретала для меня особую важность: о нашей дружбе.

— Боже мой! Где же вы будете ночевать? Сказать по совести, я вам не советую останавливаться в гостинице, где мы столуемся, это рядом с выставкой, там скоро начнутся гулянья, пойдет такое веселье!.. Нет, лучше Фламандская — это маленький дворец восемнадцатого века со старинными гобеленами. Гобелены *сообщают* всему дому характер «исторической ценности».

Сен-Лу всегда употреблял глагол «сообщать» вместо «придавать», оттого что разговорная речь, как и речь письменная, время от времени нуждается в изменении словаря, в уточненности выражения. И подобно тому как журналисты часто не имеют понятия, от какой литературной школы ведут свое происхождение «красоты» их стиля, так Сен-Лу не был знаком ни с одним из трех эстетов, которым он подражал в языке и

даже в произношении, — их манера выражаться дошла до него опосредствованно. «Помимо всего прочего, — заключил Сен-Лу, — эта гостиница удобна вам еще и потому, что вы страдаете слуховой гиперестезией. У вас не будет соседей. Я признаю, что это удобство пустячное, туда завтра же может нагрянуть другой постоялец, — следовательно, только ради такого ненадежного преимущества не имело бы смысла избирать Фламандскую своим пристанищем. Нет, я вам рекомендую эту гостиницу из-за общего впечатления, какое она производит. Комнаты довольно уютные, вся обстановка старинная и удобная — это действует успокаивающе». Но для меня, натуры менее художественной, чем Сен-Лу, радость, какую может доставить красивый дом, была неглубокой, она почти для меня не существовала, и она не могла бы утешить уже завладевавшую мною тоску, не менее мучительную, чем та, какая теснила мою душу в Комбре, когда мать не приходила ко мне проститься, или та, что навалилась мне на сердце, когда я приехал в Бальбек, в высокой, пахнувшей ветиверией комнате. Сен-Лу все понял по моему неподвижному взгляду.

— Да, но ведь вам-то, мой милый мальчик, наплевать на этот красивый дворец; вы бледны как

смерть, а я, скотина этакая, толкую о гобеленах, на которые вы и смотреть-то не станете. Вам отведут комнату, которую я знаю, — по-моему, это очень веселая комната, но я вполне допускаю, что вам, с вашей чувствительностью, она может и не показаться веселой. Я вас очень хорошо понимаю, уверяю вас; я этого никогда не испытывал, но я ставлю себя на ваше место.

Во дворе унтер-офицер выезжал лошадь и так старался погнать ее вскачь, что даже не отвечал на козырянье солдат, но зато ругательски ругал тех, кто переходил дорогу; он улыбнулся Сен-Лу и, заметив, что с ним кто-то из его приятелей, взял под козырек. Но тут унтер-офицерская лошадь, вся в мыле, взвилась на дыбы. Сен-Лу подбежал к лошади, схватил под уздцы, а затем, успокоив ее, вернулся.

— Да, — сказал он, — мне это понятно, поверьте, я за вас страдаю; мне больно думать, — мягким движением положив на мое плечо руку, продолжал он, — что, останься я с вами, если б я мог побыть около вас, проговорить с вами всю ночь напролет, быть может, мне удалось бы отвлечь вас от грустных дум. Я бы вам принес гору книг, но в таком состоянии вы же не сможете читать. А смениться мне нельзя — меня уже два раза

подряд сменяли товарищи, потому что ко мне приезжала моя девчоночка.

Сен-Лу нахмурился и при воспоминании об этом, и оттого, что он, точно врач, напрягал мысль: какое лекарство назначить мне от моей болезни?

— Сбегай затопи у меня в комнате, — сказал он проходившему мимо солдату. — Ну, живо, одна нога здесь, другая там!

Затем он повернулся ко мне, и опять его монокль и его близорукий взгляд говорили о том, что мы с ним большие друзья.

— Нет, что же это такое? Вы здесь, в казарме, где я так часто о вас думал, я не верю своим глазам, я словно во сне. В общем-то вы чувствуете себя лучше? Сейчас вы мне все расскажете. Поднимемся ко мне, что нам стоять во дворе, ветрище — не дай Бог, я-то его даже не замечаю, а вы не привыкли, еще простудитесь. А писать начали? Нет? Чудак! С такими способностями, как у вас, я бы, наверно, писал с утра до вечера. Вы бездельник. Как жаль, что только посредственности вроде меня всегда готовы писать, а кто может, тот не хочет! Да, я не спросил вас про бабушку. Ее Прудон всегда

со мной.[41]

С лестницы неторопливой, важной походкой сошел высокий, красивый, величественный офицер. Сен-Лу отдал ему честь и сковал вечную неустойчивость своего тела на то время, пока он продержит руку у козырька кепи. Но он устремил руку к козырьку с такой силой, вытянулся таким резким движением, а по отдании чести уронил ее, так быстро оторвав от козырька и изменив положение плеча, ноги и монокля, что это было не столько мгновением неподвижности, сколько мгновением трепещущей напряженности, поглотившей чересчур поспешные движения, сделанные и до и после этой минуты. Между тем офицер, не подходя к нам, спокойный, благожелательный, знающий себе цену, типичный офицер времен Империи и в общем полная противоположность Сен-Лу, тоже, но не торопясь, поднес руку к кепи.

— Мне надо сказать несколько слов капитану, — шепнул Сен-Лу, — пожалуйста, подождите меня в моей комнате: вторая направо, на четвер-

---

[41] Примечания: 41

Ее Прудон всегда со мной. — Речь идет о Пьере Жозефе Прудоне (1809–1865), французском публицисте и философе, авторе знаменитого труда «Что такое собственность?» (1840). В романе «Под сенью девушек в цвету» рассказывалось о том, как бабушка Рассказчика подарила Сен-Лу собственноручные письма философа.

том этаже, я сейчас приду.

Быстрым шагом, с туда-сюда летавшим моноклем впереди, он направился к знающему себе цену, неторопливому капитану, которому как раз в эту минуту подводили лошадь и который, прежде чем на нее сесть, отдавал приказания с выделанным изяществом движений, как на исторической картине из времен Первой империи, точно он готовился ринуться в бой, между тем как он просто возвращался в дом, нанятый им на время службы в Донсьере и стоявший на площади, которую, точно в насмешку над этим наполеонистом, переименовали в площадь Республики! Я начал подниматься по лестнице, каждую секунду рискуя поскользнуться на обитых гвоздями ступенях, а затем увидел комнаты с голыми стенами, с двумя рядами кроватей и снаряжением. Мне указали комнату Сен-Лу. Услыхав стук, я остановился перед затворенной дверью: в комнате что-то передвигали, что-то роняли; было очевидно, что комната не пуста, что там кто-то есть. Но это был всего-навсего огонь. Он не мог гореть спокойно, он передвигал дрова — и очень неуклюже. Я вошел; одно полено откатилось, другое зачадило — все это вытворял огонь. Даже не шевелясь, огонь вел себя шумно, как невоспитан-

ный человек, и только когда я вошел в комнату и увидел пламя, я понял, что это звуки огня, а если б я продолжал стоять за дверью, я подумал бы, что кто-то там сморкается и ходит. Наконец я сел. Обои из либерти[42] и старинные немецкие ткани XVIII века предохраняли комнату от запаха, которым было пропитано все здание, — грубого, приторного, несвежего, как запах пеклеванного хлеба. Здесь, в этой прелестной комнате, я бы спокойно, с наслаждением пообедал и заснул. Сен-Лу словно тоже был сейчас в этой комнате — так казалось оттого, что на столе лежали нужные ему для работы книги вместе с фотографиями, среди которых я обнаружил мою и герцогини Германтской, а еще оттого, что огонь в конце концов обжился в камине и, точно животное, лежал, ждал, горя безмолвным и преданным нетерпением, и то ронял жар, который тут же и рассыпался, то лизал стенки камина. Где-то близко тикали часы Сен-Лу. Я их не видел, и поэтому тиканье ежесекундно перемещалось: то как будто слышалось сзади, то впереди, то слева, порой затихало и

[42] Примечания: 42

Либерти — легкая ткань в цветочек, названная по имени лондонского торговца тканями Артура Либерти, который отрыл в 1875 г. в Лондоне магазин восточных и псевдовосточных товаров. Либерти использовали как в декоративных целях, так и для пошива одежды.

доносилось словно издалека. Вдруг я увидел часы на столе. После этого тиканье доносилось до меня только оттуда, больше оно уже не передвигалось. Во всяком случае, мне казалось, что часы тикают там; я их не слышал, я их видел. У звуков места нет. С движениями связываем их мы, и это тем для нас хорошо, что мы предупреждены об их движениях, что движения эти представляются нам неизбежными и естественными. Правда, если больному заткнуть уши, то он не услышит, как без умолку трещит огонь в камине моего друга, вырабатывая головешки и золу и ссыпая их в ящик, и уж, конечно, не услышит музыку движущихся трамваев, через определенные промежутки времени гремящую над главной площадью Донсьера. Тогда если больной читает, то и страницы будут переворачиваться бесшумно, точно перелистываемые неким божеством. Тяжелый шум воды, льющейся в ванну, смягчается, ослабляется, звучит в вышине, точно пение птиц в поднебесье. Шум отодвинутый, утонченный лишен малейшей возможности проявить по отношению к нам боевой пыл; только что нас доводили до исступления удары молотка, от которых, казалось, нам на головы едва не обрушился потолок, а сейчас нам доставляет удовольствие

подбирать эти легкие, нежащие слух, далекие звуки, напоминающие шелест листьев, на дороге играющих с ветерком. Мы гадаем на картах, не слыша их, и от этого нам кажется, что мы их не трогаем, что они сами двигаются и, предупредив наше желание поиграть с ними, начинают играть с нами. И тут уместно задать себе вопрос: надо ли и от Любви (под Любовью мы подразумеваем и любовь к жизни, и любовь к славе, — ведь есть же, наверное, люди, которым эти два чувства знакомы) беречься, как иные оберегают себя от шума, — не просят перестать шуметь, а затыкают себе уши, — сосредоточивать наше внимание, наши оборонительные средства внутри нас, направлять их не на умаление любимого существа, находящегося вне нас, а нашей способности страдать из-за него?

Вернемся к области звука: сунем в слуховой проход комок ваты потолще, и это сведет к пианиссимо то бравурное, что играет у нас над головой девица; смажем вату чем-нибудь жирным — тотчас же ее неограниченной власти подчинится весь дом, ее законы будут действовать и снаружи. Пианиссимо уже не звучит, вата мгновенно захлопывает крышку рояля, и урок музыки прекращается; человек, шагавший

у нас над головой, внезапно перестает ходить дозором; движение экипажей и трамваев останавливается, словно ждут главу государства. И это заглушение звуков иной раз даже, вместо того чтобы охранять сон, тревожит его. Еще вчера незатихавшие шумы, беспрерывно вычерчивая нам движения на улице и в доме, в конце концов усыпляли нас, как скучная книга; сегодня на поверхности тишины, под которой покоится наш сон, наиболее сильный из толчков достигает нашего слуха легкий, как вздох, без всякой связи с каким-нибудь другим звуком, загадочный; и требования объяснения, — требования, которое от него исходит, — бывает достаточно, чтобы разбудить нас. Выньте на минутку вату из ушей больного, — внезапно свет, ясное солнце звука загорится для него вновь и, ослепительное, возродится во вселенной; изгнанные звуки с невероятной быстротой вернутся к людям; больному представится, будто славословят ангелы и наступило воскресение голосов. На пустынных улицах тотчас же вновь появится многое множество летящих один за другим быстрокрылых певунов-трамваев. И у себя в комнате больной, в

отличие от Прометея,[43] создаст не огонь, но шум огня. Так, то утолщая, то утончая комочки ваты, мы как бы нажимаем то одну, то другую из тех двух педалей, которые усиливают или ослабляют звучание внешнего мира.

Но звуки не всегда упраздняются на короткое время. Человек совершенно глухой не может даже вскипятить молоко, не следя глазами за появлением на открытой кастрюле белого гиперборейского отсвета, напоминающего отсвет метели и заменяющего тревожный сигнал, которым опасно пренебрегать и по которому, подобно тому как Господь усмирил волны, нужно усмирить эту стихию, а для этого нужно выключить электричество; ибо яйцо кипящего молока, судорожно рвущееся кверху, после нескольких наклонных всплесков уже достигло предельной высоты, оно раздувает, округляет поникшие паруса, которые сморщила пенка, затем метнет один из них, перламутровый, прямо навстречу буре, и только выключение тока, если вовремя заклясть электрическую грозу, сначала закрутит

[43] Примечания: 43

Прометей — в греческой мифологии титан, который создав из глины людей, для одухотворения и блага которых похитил у богов огонь, за что был пригвожден Зевсом к скале на Кавказе, где орел клевал его внутренности, пока Геракл не спас его, после чего Прометей был принят на Олимп.

их все, а потом заставит лечь в дрейф и преобразит в лепестки магнолий. Но если глухой, пока еще не поздно, не принял мер предосторожности, то вскоре после молочного прилива его книга и часы будут чуть видны на поверхности белого моря, так что ему придется звать на помощь старую служанку, и служанка, хотя бы он был знаменитым политическим деятелем или великим писателем, скажет ему, что ума у него столько же, сколько у пятилетнего ребенка. А может случиться и так, что в волшебной комнате, затворив за собою дверь, вдруг появится человек, которого только сию секунду здесь не было: глухой не слышал, как вошел гость, и гость только жестикулирует, как в театрике марионеток, столь успокоительно действующих на тех, кому опротивело звучащее слово. И совсем глухой человек, — так как от утраты чувства в мире прибавляется столько же красоты, сколько и от рождения нового, — с наслаждением проходит по Земле, как по Эдему, когда еще не был сотворен звук. Самые высокие водопады развертывают только для его глаз хрустальную свою пелену, и теперь они спокойнее тихого моря, это — райские водометы. Так как до глухоты средством восприятия причины движения был для

него шум, то предметы, движущиеся бесшумно, кажутся ему теперь движущимися без причины; лишенные способности звучать, они действуют самопроизвольно, они кажутся живыми; они движутся, останавливаются, самовозгораются. И сами улетают, подобные доисторическим крылатым чудовищам. В отдельном, без соседей, доме, где живет глухой, прислуживание ему, еще до того как он оглох окончательно, не отличалось особой суетливостью, совершалось молча, а уж теперь ему прислуживают немые и словно украдкой, будто королю в феерии. И, тоже как на сцене, здание, которое глухой видит из окна, — казарма, церковь, мэрия, — это всего лишь декорация. Если оно когда-нибудь рухнет, то сможет взметнуть облако пыли и показать свои обломки; но, еще менее вещественное, чем театральный дворец, хотя и не такое тонкое, оно упадет в волшебном мире, где падение тяжелого камня, из которого оно построено, не опорочит пошлостью даже еле слышного звука целомудрие тишины.

Гораздо более относительная тишина, царившая в солдатской комнатенке, где я сейчас находился, была нарушена. Дверь отворилась, и в комнату, роняя монокль, влетел Сен-Лу.

— Ах, Робер, как у вас хорошо! — воскликнул

я. — Я был бы так рад, если б мне позволили пообедать здесь и переночевать!

И в самом деле: если б это не было запрещено, какой ничем не омраченный покой вкусил бы я здесь, защищенный атмосферой бестревожности, бдительности и жизнерадостности, которую поддерживало множество вымуштрованных и ничем не колеблемых воль, множество беспечных существ, в этом большом общежитии, какое представляла собою казарма, где время выявлялось в действии и где заунывный бой часов был заменен все тем же веселым пением рожка, звонкое воспоминание о котором, раздробленное и распыленное, продолжало жить на мостовых, — заменен голосом, уверенным в том, что он будет услышан, и музыкальным, ибо он был не просто командой начальства, призывающей к повиновению, но и зовом мудрости к счастью.

— Значит, вы предпочитаете ночевать в одной комнате со мной, чем идти одному в гостиницу? — со смехом спросил Сен-Лу.

— Ах, Робер, смеяться над этим жестоко! — заметил я. — Вы же знаете, что это неосуществимо и что мне там будет очень тяжело.

— Вы меня трогаете своим отношением ко мне, — сказал он, — я и сам думал, что вы бы

предпочли остаться на ночь здесь. Об этом-то я и просил капитана.

— А он разрешил? — воскликнул я.

— Без малейших колебаний.

— Я его обожаю.

— Ну, это уж чересчур. Теперь я позову денщика — пусть-ка он займется обедом, — добавил Сен-Лу, а я отвернулся, чтобы он не увидел моих слез.

В комнату заходили товарищи Сен-Лу. Он их выставлял:

— Пошел ко всем чертям!

Я просил Сен-Лу не выгонять их.

— Да нет, вам с ними будет скучно: это люди совершенно некультурные — они могут говорить только о скачках да о чистке лошадей. Они и мне испортили бы драгоценное время, о котором я так мечтал! Но только имейте в виду: из того, что мои товарищи заурядны, не следует, что все военные не интеллигентны. Отнюдь нет. У нас есть один офицер — удивительный человек. Он читал курс военной истории, и рассматривал он ее как математическую теорию, как своего рода алгебру. Даже с точки зрения эстетической это такая красота — чередование индукций и дедукций, вас бы оно захватило.

— Это не капитан, который разрешил мне

остаться здесь?

— Ну что вы! Такого дурака, как этот человек, которого вы «обожаете» за ерундовское одолжение, на всем свете не сыщешь. Питание и обмундирование солдат — вот тут он незаменим. Он проводит массу времени в обществе обер-вахмистра и портного, — по одному этому вы можете судить об его умственном развитии. И, конечно, он, как и все остальные, относится с глубочайшим презрением к тому удивительному офицеру, о котором я вам говорил. Никто с этим офицером не дружит, потому что он франкмасон и не исповедуется. Князь Бородинский[44] на порог его к себе не пустит — только потому, что он разночинец. Надо же быть таким зазнайкой, а ведь у него прадед был простым фермером, да и самому-то ему быть бы фермером, если б не наполеоновские войны. Впрочем, он все-таки понимает, что от своих отстал, а к другим не пристал. Он почти не бывает в Джокей-клобе — этот так называемый князь чувствует себя там чужим, — добавил Сен-

[44] Примечания: 44

Князь Бородинский — вымышленный персонаж, получивший титул за участие в походе на Россию в 1812 г. Сен-Лу, отзываясь о нем как о «так называемом князе», выражает характерную неприязнь коренной аристократии к «знати времен Империи». Прототипом Бородинского мог быть внук Наполеона капитан Шарль Валевский (1848–1916), под началом которого Пруст проходил военную службу (1889–1890).

Лу; все тот же сидевший в нем дух подражания заставил Робера не только усвоить социальные теории его учителей, но и впитать в себя светские предрассудки родных, и, сам того не сознавая, он сочетал в себе любовь к демократии и презрение к знати времен Империи.

Я смотрел на карточку тетки Сен-Лу и думал, что если он мне ее подарит, то станет мне еще дороже, и я все для него сделаю и любую услугу сочту пустяком в сравнении с карточкой. Ведь эта карточка была как бы еще одной встречей в добавление к прежним моим встречам с герцогиней Германтской, более того: встречей продолжительной, как будто вследствие того, что наши отношения неожиданно улучшились, она не прошла мимо меня, а остановилась и впервые предоставила мне возможность вдоволь налюбоваться на полные ее щеки, на поворот шеи, на дуги бровей (на то, что мне не удавалось разглядеть прежде из-за быстроты ее походки, из-за поверхностности моих впечатлений, из-за непрочности моей памяти); и все это, так же как грудь и руки женщины, которую я до тех пор видел в платье строгого покроя, явилось открытием, отрадным для моего сладострастия, милостью, оказанной мне. Линии, на которые мне, в сущ-

ности, было воспрещено смотреть, здесь я мог изучать как в труде по той единственной геометрии, которая представляла для меня интерес. Позднее, разглядывая Робера, я обнаружил, что он до некоторой степени был фотографией своей тетки, и в этом заключалась тайна, почти так же сильно волновавшая меня: его лицо было в родстве с ее лицом не по прямой линии, а все-таки что-то общее у них было. Черты герцогини Германтской, прикрепившиеся к ее образу в моем еще комбрейском впечатлении от нее, — нос, точно клюв у сокола, острые глаза, — казалось, помогли создать другой ее вариант, похожий, но утонченный, из очень нежной кожи: лицо Робера, которое почти что накладывалось на лицо тетки. Я с завистью улавливал в нем характерные черты Германтов — породы, сохранившей резкое своеобразие в мире, где она не затерялась и от которого ее, как будто происшедшую в баснословные времена от богини и птицы, отделяло божественно-орнитологическое величие.

Робер был тронут тем, что я расчувствовался, хотя и не догадывался о причине. А на размягченность мою действовало еще и блаженное состояние, которое я испытывал, оттого что в комнате было тепло и оттого что я выпил шам-

панского, усеявшего каплями пота мой лоб и застлавшего слезами глаза; мы ели куропаток и пили шампанское; куропаток я ел с изумлением профана, обнаруживающего в неведомом образе жизни то, что издали казалось ему несовместимым с ним (с изумлением вольнодумца, которого священник угощает у себя дома роскошным обедом). А проснувшись утром, я подошел к окну комнаты Сен-Лу, — она находилась высоко над землей, и из окна было видно далеко окрест, — чтобы познакомиться с моей соседкой-долиной, чтобы охватить ее любопытным взглядом, что мне не удалось вчера, так как приехал я поздно, когда она уже спала в темноте. Проснулась она спозаранку, и все же, когда я распахнул окно, то, как будто это был пруд, на который смотришь из замка, она все еще куталась в мягкую белую утреннюю одежду, и я почти ничего не разглядел. Но я знал, что, прежде чем солдаты вычистят лошадей во дворе, она ее сбросит. А пока мне была видна как раз напротив казармы уже выступившая из мглы горбатая и худая спина жалкого холмика. Я не отрывал глаз от этого незнакомца, который увидел меня впервые за ажурной занавеской инея. Но когда я привык ходить в казарму, одного сознания, что холм — здесь и,

следовательно, что он реальнее, даже когда я его не видел, чем бальбекский отель, чем наш парижский дом, о которых я думал теперь как об отсутствующих, как о покойниках, то есть не веря в то, что они существуют, — одного этого сознания было довольно, чтобы отраженные в нем очертания холма незаметно для меня каждый раз вырисовывались на самых несущественных донсьерских моих впечатлениях: если начать с первого утра, то на приятном ощущении тепла, которое разлил по моему телу шоколад, приготовленный денщиком Сен-Лу в уютной комнате, служившей мне оптическим центром для обозревания холма (а вот уже пройтись по холму, вместо того чтобы смотреть на него, — это было мне недоступно все из-за того же тумана, который его покрывал). Вобрав в себя внешний вид холма, примешавшись к вкусу шоколада и цепляясь за все мои тогдашние мысли, туман, даже когда я совсем не думал о нем, пропитывал их насквозь, — так нетускнеющее самородное золото навсегда связалось с моими воспоминаниями о Бальбеке, так наружные лестницы соседних домов, сделанные из бурого песчаника, придали серый оттенок моим воспоминаниям о Комбре. Вскоре, однако, туман рассеялся в утреннем свете;

солнце сперва безуспешно метало в него стрелы, и стрелы эти расшили его бриллиантами, но потом оно восторжествовало. Холм мог подставить теперь серую свою спину его лучам, а лучи, когда я через час шел в город, уже придавали нечто восторженное красноте листьев на деревьях, красноте и синеве избирательных плакатов на стенах домов, и восторженность эта передалась мне, так что я чуть не прыгал от радости, напевая и бродя без цели по улицам.

Но следующую ночь я должен был провести в гостинице. И я знал заранее, что там на меня непременно нахлынет тоска. Ее можно было сравнить с тяжелым запахом, каким, со дня моего рождения, пахла для меня всякая новая комната, то есть всякая комната вообще; в той, где я жил обычно, меня не было: мысли мои были далеко, а вместо себя поселяли привычку. Но я не мог поручить этой менее ранимой служанке заняться моим устройством на новом месте — я приезжал туда раньше нее, один, и там мне надо было заставить войти в соприкосновение с предметами то мое «я», с которым я встречался лишь по прошествии нескольких лет, но которое находил все тем же, не выросшим со времени Комбре, со времени моего первого приезда в Бальбек, при-

мостившимся на краешке чемодана и неутешно плачущим.

Но я ошибся. У меня не было времени тосковать, так как в гостинице я ни одной секунды не был один. Дело в том, что там сохранились остатки прежней роскоши, и эта роскошь, ненужная в современной гостинице, не имевшая никакого практического применения, жила здесь теперь особой, праздной жизнью: бесчисленные переходы, по которым можно было кружить и кружить и которые в конце концов приводили на прежнее место, вестибюли, длинные, как коридоры, отделанные, как салоны, и производившие впечатление не столько части жилища, сколько жильцов, вестибюли, которые невозможно было ввести ни в одну комнату, но которые прогуливались вокруг моей и сейчас же изъявили желание принять меня в свою компанию, — что-то вроде соседей, ничем не занятых, но не шумных, этаких второсортных фантомов прошлого, которым позволили жить не шумя, у дверей отдававшихся внаймы комнат и которые при каждой встрече проявляли по отношению ко мне молчаливую любезность… Словом, представление о жилище как о простом вместилище нашей текущей жизни, защищающем нас только от холода, от

постороннего взора, было абсолютно неприложимо к этому обиталищу, к этой совокупности комнат, таких же реальных, как сообщество людей, комнат, которые, правда, были безгласны, но с которыми, хочешь не хочешь, по возвращении надо было встречаться, которые надо было или обходить, или приветствовать. Нельзя было не остановиться с благоговением, несмотря на боязнь обеспокоить, в большом салоне, который еще в XVIII веке привык раскидываться между колоннами, украшенными старинной позолотой, под облаками расписанного плафона. И еще более дружелюбное любопытство вызывало к себе великое множество комнат, без всякой заботы о симметрии, с ошалелым видом, врассыпную мчавшихся мимо салона к саду, куда ничего не стоило спуститься по трем обветшалым ступеням.

Если мне хотелось выйти или вернуться, не прибегая к помощи лифта и не появляясь на главной лестнице, то другая лесенка, «для своих», которой уже не пользовались, подставляла мне ступеньки, до того искусно положенные одна на другую, что казалось, будто в постепенном их повышении соблюдена идеальная соразмерность, какая часто доставляет нам особого рода

чувственное наслаждение, когда мы обнаруживаем ее в красках, в благовониях, в ощущениях вкусовых. Но чтобы испытать наслаждение подъемами и спусками, мне надо было приехать сюда, как когда-то я узнал только в горах, что обычно не замечаемый нами процесс дыхания неизменно вызывает блаженное чувство. Свободу от усилий, предоставляемую нам предметами, которыми мы пользуемся с давнего времени, я изведал, впервые пойдя по этим ступенькам, ставшим близкими мне еще до знакомства с ними, словно они готовы были проявить ко мне воспитанную, заложенную в них, быть может, старыми хозяевами, которых они встречали ежедневно, ласковость привычки, между тем как я еще не успел в себе ее выработать и она могла бы только ослабеть, если б и я окончательно освоился с ними. Я вошел в одну из комнат, двойная дверь за мной затворилась, драпировка ввела тишину, и меня охватило упоительное чувство власти над нею; не правы те, которые полагают, что мраморный камин с медной резьбой способен лишь представлять

искусство Директории,[45] — он обогревал меня, а низенькое креслице на ножках давало мне возможность греться с такими удобствами, точно я сидел на ковре. Стены, сжимая в объятиях комнату, отделяли ее от остального мира, а чтобы поместить, заключить в ней то, чего ей недоставало, они расступались перед книжным шкафом и приберегали углубление для кровати, по обеим сторонам которой необычайно высокие колонны без малейших усилий поддерживали балдахин. В глубине продолжением комнаты служили две комнатки такой же ширины, и в дальней висели на стене, чтобы овеять ароматом погруженность в раздумье, ради которой туда заходят, дивные четки из зерен ириса; если я, удалившись в это дальнее помещение, не затворял дверей, они не довольствовались тем, что втрое увеличивали ее, не лишая, однако, симметричности, и не только предоставляли возможность моему взгляду насладиться протяженностью, после того как я насладился отграниченностью, но и прибавляли

[45] Примечания: 45

…искусство Директории… — Директория — правительство во Франции во время Французской республики, учрежденное после террора 26 октября 1795 г. и низвергнутое Наполеоном 18 брюмера (октябрь — ноябрь) 1799 г. Искусство (стиль) Директории характеризуется, в частности, использованием золота и экзотических декоративных элементов в деревянной скульптуре.

к моему наслаждению одиночеством, которое по-прежнему ничто не нарушало и которое только утрачивало обособленность, чувство свободы. За этим убежищем был двор, и он представился мне прекрасной пленницей, соседство которой обрадовало меня, когда я наутро увидел, что ее стерегут высокие стены без единого просвета и что ее общество составляют два пожелтевших дерева, окрашивающих безоблачное небо в нежно-лиловые тона.

Прежде чем лечь, я вышел из комнаты, чтобы осмотреть мое волшебное царство. Длинный проход постепенно показывал все, что он имел честь предоставить в мое распоряжение, если б я страдал бессонницей: кресло в уголке, спинет,[46] на консоли цинерарию[47] в голубом фаянсовом горшке и, в старинной рамке, призрак давным-давно жившей на свете дамы с голубыми цветами в пудреных волосах и с букетом гвоздик в руке. Когда я дошел до конца, глухая стена с простодушным видом сказала мне: «Теперь иди назад, но ведь ты же убедился, что ты

---

[46] Примечания: 46

Спинет — струнный щипковый клавишный музыкальный инструмент, клавесин небольшого размера.

[47] Примечания: 47

Цинерария — декоративное оранжерейное растение.

у себя дома», пушистый ковер прибавил мне в утешение, что если я не засну, то за милую душу могу пройтись здесь босиком, меж тем как смотревшие в поле окна без ставен уверяли меня, что они всю ночь не сомкнут глаз и что я могу выходить из своей комнаты в любое время, не боясь кого-нибудь разбудить. А за драпировкой я обнаружил всего-навсего чуланчик: путь ему преграждала стена, бежать было некуда, и он, растерянный, схоронился здесь и сейчас испуганно уставился на меня своим круглым окошком, голубым от лунного света. Я лег, но пуховое одеяло и колонки небольшого камина поглощали мое внимание в той мере, в какой ничто не поглощало его в Париже, и это мешало мне плыть по течению моих постоянных дум. И так как это особое состояние внимания, окутывающего сон и оказывающего на него определенное действие, видоизменяет его, вдвигает в тот или иной ряд наших воспоминаний, то образы, наполнившие мои сновидения в первую ночь, были заимствованы у памяти, ничего общего не имевшей с той, что была постоянной поставщицей моего сна. Если б я попытался, засыпая, отдаться во власть обычной моей памяти, то кровать, к которой я не привык, а также заботливое внимание, какое

мне приходилось оказывать положениям, которое принимало мое тело, когда я ворочался с боку на бок, сумели бы выпрямить или укрепить новую нить моих грез. Со сном дело обстоит так же, как с восприятием внешнего мира. Стоит в чем-либо измениться привычкам — и вот уже сон становится поэтичным; если мы еще не успели раздеться, а сон уже сморил нас, то изменится его долгота, а сам он заметно похорошеет. Мы просыпаемся, мы видим, что на наших часах — четыре, это всего лишь четыре часа утра, а у нас такое чувство, что прошел целый день, ибо продолжавшийся несколько минут и совершенно для нас неожиданный сон точно слетел к нам с неба, в силу некоего божественного закона, необъятный и полновесный, как золотая держава монарха. Утром я нервничал во сне, оттого что дедушка уже готов и меня ждут — пора идти гулять по направлению к Мезеглизу, но тут меня разбудил военный оркестр: полк ежедневно проходил под моими окнами. И все же раза три, — я считаю нужным об этом сказать потому, что нельзя правдиво описать жизнь человека, если не омыть ее в сне, в который она погружается и который каждую ночь ее окружает подобно тому, как море обступает полуостров, — средостение сна

оказалось во мне настолько устойчивым, что выдержало удар музыки, и я ничего не услышал. В другие дни сон на мгновение подавался; но моего еще разнеженного сном сознания, — так органы, куда введен наркоз, воспринимают поначалу безболезненное для них прижигание только к концу и как легкий ожог, — едва касались острые кончики дудок и ласкали его, словно невнятный и свежий утренний щебет; а после этого короткого перерыва, когда тишина претворялась в музыку, она восстанавливалась вместе со сном, даже прежде чем успевали пройти драгуны, отнимавшие у меня последние пучки из пышного букета распустившихся звуков. И область моего сознания, задетая этими пышными цветами, была до того узка, так окольцована сном, что, когда Сен-Лу спрашивал меня, слышал ли я музыку, я не мог поручиться, что звуки оркестра — это не плод моего воображения вроде тех, что слышались мне днем в каждом городском шуме. Быть может, я их слышал во сне, боясь, что они разбудят меня, или, наоборот, боясь, что не разбудят, и тогда я не увижу, как марширует полк. Дело в том, что со мною часто бывало так: я спал, а мне казалось, что меня разбудил шум, и потом я еще целый час воображал, будто меня разбудили, между тем

как я дремал и разыгрывал для себя с помощью летучих теней на экране моего сна всевозможные представления, которые он мешал мне смотреть, хотя у меня все-таки создавалась иллюзия, что я их смотрю.

Кое-когда то, что мы должны были бы сделать днем, мы осуществляем в мечтах, иными словами — после постепенного осонновения, идя не тем путем, каким шли бы мы наяву. Слагается та же самая повесть, но только с другим концом. Несмотря ни на что, мир, где мы живем во сне, до такой степени необычен, что люди, засыпающие с трудом, прежде всего стараются выйти из нашего мира. Напрасно пролежав с закрытыми глазами несколько часов, одолеваемые теми же мыслями, какие занимают нас, когда глаза наши открыты, они приободряются, если замечают, что истекшая минута была вся заполнена рассуждением, идущим вразрез с законами логики и против очевидности; это недолгое «помутнение» означает, что дверь открыта и что, быть может, они сейчас ускользнут от восприятия действительности, устроят привал где-нибудь подальше, и это даст им более или менее «хороший» сон. Но это уже большой шаг вперед — когда мы поворачиваемся спиной к действительности и добираемся

до первых пещер, где ведьмы «самовнушений» варят адское варево выдуманных болезней или обострившихся нервных заболеваний и ждут часа, когда припадки, собравшись с духом во время глубокого сна, возобновятся с такой силой, что сон прервется.

Неподалеку оттуда есть заповедный сад, где, точно сказочные цветы, растут такие непохожие один на другой сны: сон от дурмана, от индийской конопли, сны от разных видов эфира, сон от белладонны, опиума, валерианы, — цветы, которые не распускаются вплоть до дня, когда избранный незнакомец прикоснется к ним, раскроет их, и они несколько часов подряд будут изливать аромат необычайных снов в каком-нибудь восхищенном и изумленном существе. В саду стоит школа при монастыре, окна открыты, слышно, как в школе повторяют выученные перед сном уроки, которые ученики будут знать, только после того как проснутся, а предвестник пробуждения, тикающий в нас внутренний будильник, до такой степени точно поставлен нашим беспокойством, что когда наша экономка придет нам сказать: «Семь часов», то увидит, что мы уже встали. На темных стенах той комнаты, что выходит в сновидения и где без устали трудится

забвение любовных горестей, работу которого лишь изредка прерывает и разрушает полный отсветов минувшего кошмар и которое тотчас же снова берется за дело, продолжают висеть даже после того, как мы проснулись, воспоминания о снах, но до того затененные, что часто мы впервые замечаем их белым днем, когда их случайно осветит луч близкой им мысли; иные уже, — безоблачно ясные, когда это были сны, — так изменились, что, не узнав их, мы спешим предать их земле, как очень скоро разложившихся мертвецов или как вещи, до такой степени попорченные, рассыпающиеся в руках, что самый искусный реставратор не сумел бы восстановить их, что-нибудь с ними сделать.

За оградой есть карьер, откуда крепкие сны добывают вещества, до того прочно цементирующие голову, что для того, чтобы разбудить спящего, нужна его собственная воля, и воля, даже солнечным утром, принуждена, как юный Зигфрид,[48] со всего размаху ударять топором. Еще дальше живут кошмары, о которых вра-

[48] Примечания: 48

Зигфрид (Сигурд) — герой германо-скандинавской мифологии и эпоса, воспетый Р. Вагнером в грандиозной четырехчастной эпопее «Кольцо нибелунга», образованной музыкальными драмами «Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид» и «Гибель богов».

чи говорят глупости: будто они изнуряют хуже бессонницы, — как раз наоборот: они дают возможность мысли спрятаться от внимания; это фантастические альбомы с карточками наших умерших родных, причем все эти родные стали жертвами несчастного случая, но все-таки есть надежда, что они скоро поправятся. Впредь до выздоровления мы держим их в мышеловочке, где они, меньше белых мышей, все в больших красных прыщах, с пером на шляпах, блистают перед нами цицероновским красноречием. Рядом с альбомом находится вращающийся диск будильника, и по воле этого диска мы на мгновение, как нам ни скучно, возвращаемся в дом, разрушенный пятьдесят лет тому назад, в дом, образ которого, по мере того как удаляется сон, все плотнее загораживают другие, пока наконец мы не попадаем в тот, что вырастает, едва лишь остановится диск, в тот, что совпадает с домом, который мы увидим, чуть только откроем глаза.

Я ничего не слышал в тех случаях, когда меня одолевал особенно тяжелый сон, — в него проваливаешься, как в яму, и бываешь безмерно счастлив оттого, что скоро вылез оттуда, огрузневший, объевшийся, переваривающий все, что тебе подносили, подобно нимфам, кормившим

Геркулеса,[49] расторопные вегетативные силы, работающие с удвоенной энергией во время нашего сна.

Такой сон называют свинцовым; когда просыпаешься, несколько минут тебе потом кажется, что ты и сам превратился в простую свинцовую куклу. Личности ты уже собой не представляешь. Но почему же в таком случае, ища свою мысль, свою индивидуальность, мы в конце концов находим наше «я» скорее, чем чье-либо другое? Отчего, когда мы вновь обретаем способность мыслить, в нас воплощается прежняя наша индивидуальность? Непонятно, от чего зависит выбор и почему из миллионов человеческих существ, которыми мы могли бы быть, жребий падает на то, кем мы были вчера. Что нами руководит, раз наступил самый настоящий перерыв (будь то крепкий сон, будь то сновидение, совершенно нам чуждое)? Наступила самая настоящая смерть, какая наступает, когда сердце перестает биться и нас оживляют, мерным движением потягивая за язык. Конечно, всякая комната, хотя бы мы видели ее всего один раз, будит воспоми-

[49] Примечания: 49

…нимфам, кормившим Геркулеса… — Согласно римской мифологии, бог и герой Геркулес был вскормлен нимфами, божествами природы, ее живительных и плодоносных сил.

нания, а за них цепляются более давние. Или некоторые из них, — те, что доходят до нашего сознания, — дремали в нас? Воскресение от сна — после благотворного умопомешательства, какое представляет собою сон, — по существу мало чем отличается от того, что происходит с нами, когда мы вспоминаем имя, стих, забытый напев. И, быть может, воскресение души после смерти есть не что иное, как проявление памяти.

Когда я просыпался окончательно, мой взгляд притягивало осиянное солнцем небо, а в постели удерживала свежесть последних предзимних ясных и холодных утр, и, чтобы увидеть деревья, на которых листья обозначались лишь двумя — тремя золотыми или розовыми мазками, как бы висящими в воздухе на незримой нити, я поднимал голову и вытягивал шею, не вылезая из-под одеяла; точно куколка, которая должна превратиться в бабочку, я представлял собой двойное существо, разным частям которого требовалась особая среда; моим глазам достаточно было одних красок, без тепла; грудь, напротив, ощущала потребность в тепле, а не в красках. Я вставал только после того, как затапливали камин, смотрел на картину прозрачного и тихого золотисто-лилового утра и искусственно прибав-

лял к ней недоставшее ей тепло, помешивая в камине, попыхивавшем и дымившем, как хорошая трубка, и, так же как трубка, доставлявшем мне наслаждение грубое, оттого что оно имело под собой основу чисто физического приятного ощущения, и вместе с тем изысканное, оттого что за ним намечалось что-то ясное-ясное. Моя умывальная была оклеена обоями, на которых по ярко-красному полю были пущены черные и белые цветы, и вот к этим обоям, казалось бы, мне нелегко будет привыкнуть. Но они только создавали ощущение новизны, не сталкивались, а соприкасались со мной, из-за них я теперь вставал весело, но по-иному и с по-иному громким пением, они только ставили перед моими глазами что-то вроде мака, чтобы я смотрел на мир, совсем непохожий на тот, какой открывался моему взору в Париже, что-то вроде веселеньких ширм, которые представлял собою этот новый для меня дом, иначе стоявший, чем дом моих родителей, отчего сюда непрерывно притекал свежий воздух. Бывали дни, когда мне не давало покою желание увидеть бабушку, или я боялся, что она заболела, или вспоминал о деле, которое не доделал в Париже; иной раз меня угнетала мысль, что я уже здесь ухитрился попасть в за-

труднительное положение. Эти волнения гнали от меня сон, я ничего не мог поделать с моей тоской — она мгновенно заполняла все мое существо. Тогда я посылал кого-нибудь из гостиницы в казарму с запиской к Сен-Лу: я писал, что если только для него это физически возможно, — я знал, что это очень трудно, — то не будет ли он так добр на минутку зайти ко мне. Через час он приходил; стоило мне услышать его звонок, и я чувствовал, что все мои тревоги улетучиваются. Я знал, что они сильнее меня, но что он сильнее их, и мое внимание отвлекалось от них и устремлялось к человеку, который должен был их рассеять. Сен-Лу с самого утра двигался на свежем воздухе, и теперь он приносил его с собой, он заполнял мою комнату средою, резко отличавшейся от той, что окружала меня здесь, и я сейчас же к ней приспособлялся, соответственно на нее реагируя.

— Не сердитесь на меня за то, что я вас побеспокоил, я очень взволнован одним обстоятельством, вы, наверное, догадываетесь.

— Да нет, я просто подумал, что вы обо мне соскучились, и это меня тронуло. Вы прекрасно сделали, что послали за мной. Ну? Что-нибудь не так? Чем могу быть вам полезен?

Он выслушивал мои объяснения, давал точные ответы; но не успевал он рот раскрыть, как я уже дорастал до него; по сравнению с его важными делами, благодаря которым у него был такой озабоченный, бодрый, довольный вид, неприятности, причинявшие мне ни на секунду не утихавшую боль, казались теперь мелкими не только ему, но и мне; у меня было такое же чувство, как у человека, который несколько дней не мог открыть глаза и наконец послал за доктором и которому доктор ловко и безболезненно приподнял веко, извлек и показал песчинку; глаз у больного стал смотреть, и больной успокоился. Всем моим тревогам приходил конец, как только Сен-Лу предлагал послать телеграмму. Жизнь казалась мне теперь совершенно иной, прекрасной, избыток жизненных сил побуждал к действию.

— Что вы сейчас собираетесь делать? — задавал я вопрос Сен-Лу.

— Я ухожу — через три четверти часа полк выступает, я должен быть в казарме.

— Значит, вам было очень трудно выбраться ко мне?

— Нет, не трудно, капитан был в высшей степени любезен, он сказал, что к вам мне непременно надо пойти, но злоупотреблять его любезностью

я не хочу.

— А что, если я мигом оденусь и пойду туда, где у вас будет происходить учение? Мне это очень любопытно, а в перерывах мне, может быть, удастся с вами поговорить.

— Вот этого я вам не советую. Вы не спали, вы себя навинчивали из-за сущей чепухи, можете мне поверить, но теперь, раз вы перестали волноваться, положите голову на подушку и усните: это превосходное средство от деминерализации ваших нервных клеток; но скоро не засыпайте, потому что наша паскудная музыка пройдет под самыми вашими окнами; после этого сон ваш, надеюсь, будет мирен, а увидимся мы с вами вечером, за ужином.

Однако потом я часто ходил в поле смотреть, как занимается полк, начал же я туда ходить потому, что, после того как меня заинтересовали военные теории, о которых рассуждали за столом приятели Сен-Лу, я загорелся желанием увидеть вблизи их начальников, — так человек, делом жизни которого является музыка и который постоянно посещает концерты, с удовольствием ходит в кафе потереться среди музыкантов. До того места, где происходили занятия, надо было пройти немалое расстояние. По вечерам, после

ужина, мне так хотелось спать, что голову мою клонило, словно она кружилась. Утром я не слышал оркестра, как прежде не слышал концерта на пляже в Бальбеке на другой день после ужина с Сен-Лу в Ривбеле. Намереваясь начать одеваться, я испытывал упоительное чувство неспособности встать; я как бы уходил невидимо и глубоко в землю сплетением узловатых питающих корешков, и от усталости я это сплетение ощущал. Мне казалось, что я полон сил, мой жизненный путь рисовался мне теперь более долгим; а все оттого, что меня отбрасывало к моему детству в Комбре, когда я чувствовал здоровую усталость после наших прогулок по направлению к Германту. Поэты уверяют, будто, опять входя в дом, в сад, где протекала наша молодость, мы на миг становимся теми же, что и тогда. Паломничества эти очень опасны, они могут обрадовать нас, но и разочаровать. Края неменяющиеся, — свидетелей былых времен, — лучше всего искать в самих себе. Тут нам могут в известной мере оказать помощь большая усталость и — как следствие — спокойная ночь. Во всяком случае, они, спуская нас в самые глубокие подземелья сна, в такие, где ни один отблеск яви, ни один луч памяти не освещает внутреннего монолога, — если только

монолог не прерывается, — так тщательно перекапывают почву и подпочву нашего естества, что благодаря этому мы находим там, куда наши мускулы, переплетаясь, погружают свои разветвления и откуда они черпают свежие силы, сад, где мы гуляли детьми. Чтобы снова увидеть его, не надо никуда ездить, нужно уйти в глубь себя — и ты вновь обретешь его. То, что некогда покрывало землю, уже не на ней, а под ней; чтобы осмотреть мертвый город, экскурсии недостаточно — необходимы раскопки. Из дальнейшего будет явствовать, что некоторые случайные, минутные впечатления — это лучший путь к прошлому, чем перемещения, происходящие в нас самих, ибо их расчет вернее, ибо их полет захватывает дух, ибо он легок, неощутим, безошибочен, бессмертен.

Иногда я еще больше уставал — это когда я, не ложась, несколько дней подряд смотрел, как проходят занятия. Каким благословенным было тогда возвращение в гостиницу! Юркнув под одеяло, я испытывал такое чувство, как будто я убежал от волшебников, чародеев, от той нечисти, которая действует в наших любимых «романах» XVII века. Мой сон и валяние в постели по утрам превращались в прелестную сказку. В прелестную; а может быть, и в благотворную. Я убеждал себя, что есть

спасение и от самых лютых мучений, что уж, во всяком случае, покой обрести можно. Эти мысли заводили меня далеко.

В свободные от занятий дни, если Сен-Лу все-таки не мог уйти из казармы, я часто приходил к нему. До казармы было далеко; за чертой города я проходил виадук, по обеим сторонам которого простиралась бескрайняя ширь. На высоких местах почти всегда дул сильный ветер; он наполнял собою казармы, выходившие на три стороны двора, и казармы гудели, не умолкая, как гудит в теснинах. Робер познакомил меня кое с кем из своих приятелей, и, если он бывал занят, я в ожидании разговаривал с ними у дверей его комнаты или в столовой (потом, в те дни, когда Робер отсутствовал, я приходил к ним), глядя в окно на тянувшиеся в ста метрах подо мною поля, оголенные, но уже с пробивавшимися новыми всходами, часто еще влажными от дождя и освещенными солнцем, блестевшими полупрозрачной, эмалевой чистоты блеском; говорили же мои собеседники иной раз и о Робере, и я очень скоро убедился, что все его здесь знают и любят. Многие вольноопределяющиеся из других эскадронов, молодые состоятельные буржуа, не принятые в высшем аристократическом об-

ществе и наблюдавшие его со стороны, любили Сен-Лу за характер, но еще больше он вырастал в их глазах, оттого что они часто по субботним вечерам, когда получали отпуск и уезжали в Париж, видели, как этот молодой человек ужинает в кафе «Мир».[50] с герцогом Юзесским[51] и принцем Орлеанским[52] Вот почему его красивая фигура, его расхлябанная походка, неотчетистое козырянье, беспрестанные броски монокля, «фантазии» его чересчур высоких кепи, панталон из чересчур тонкого и чересчур розового сукна — все это связывалось в их представлении с «шиком», которого, по их глубокому убеждению, не хватало самым элегантным офицерам в полку, даже величественному капитану, который позволил мне переночевать в казарме и который рядом с Сен-Лу казался чересчур напыщенным и почти заурядным.

Кто-то сказал, что капитан купил новую лошадь. «Пусть себе покупает. В воскресенье утром

---

[50] Примечания: 50

Кафе «Мир» — ресторан на площади Опера, открывшийся в 1870 г.

[51] Примечания: 51

Герцог Юзесский — речь идет, вероятно, об одном из представителей древнего аристократического рода герцогов Юзесских.

[52] Примечания: 52

Принц Орлеанский — Анри Орлеанский (1867–1901), старший сын герцога Шартрского.

я встретил Сен-Лу в аллее Акаций. Как он ездит верхом — вот это, я понимаю, шик!» — заметил другой — и со знанием дела; надо заметить, что эти молодые люди принадлежали к классу, которому нет доступа в великосветский круг, но у которого есть деньги и есть свободное время и который благодаря этому понимает толк не хуже аристократии в элегантности покупной. Их элегантность, например — в одежде, была разве что более тщательна, еще менее уязвима, чем свободная и небрежная элегантность Сен-Лу, которая так нравилась моей бабушке. Сынки крупных банкиров и биржевых маклеров испытывали легкое волнение, увидев за соседним столиком унтер-офицера Сен-Лу, когда они после театра ели устриц. И сколько рассказов бывало в казарме по понедельникам, когда офицеры возвращались из отпуска: с кем-то из своего эскадрона Сен-Лу «очень мило» поздоровался, кто-то еще, не из того эскадрона, был полон уверенности, что Сен-Лу все-таки его узнал, потому что несколько раз направлял монокль в его сторону.

— Да, мой брат видел его в «Мире», — говорил третий, проводивший однодневный отпуск у любовницы, — кажется, даже фрак на нем был очень широкий и неважно сидел.

— А жилет?

— Жилет на нем был не белый, а лиловый, с пальмовыми веточками — сногсшибательно!

Для сверхсрочных — выходцев из простонародья, не имевших понятия о Джокей-клобе и зачислявших Сен-Лу всего-навсего в категорию очень богатых унтер-офицеров, а именно тех, что жили, будь они разорены или не разорены, на широкую ногу, чьи доходы или долги достигали внушительной цифры и кто был добр к солдатам, — походка, монокль, панталоны, кепи Сен-Лу представляли, однако, не меньший интерес, и придавали они им не меньшее значение, хотя ничего аристократического в них не видели. Усматривая в этих особенностях нечто характерное, стильное, они раз навсегда решили, что оно присуще именно Сен-Лу, у которого такая своеобразная манера держаться и который не считается с мнением начальства, а это они рассматривали как прямое следствие его доброты к солдату. Утренний кофе в столовой или дневной отдых на койках были еще приятнее, если кто-нибудь из сверхсрочников сообщал чревоугодливой и ленивой компании любопытную подробность о кепи Сен-Лу:

— Вышиной с мою укладку…

— Ну это уж ты, старина, хватил, не могло оно быть с твою укладку вышиной, — перебивал его лиценциат гуманитарных наук, — изъясняясь таким образом, он хотел показать, что он не новобранец; позволив же себе выразить недоверие рассказчику, он только добивался, чтобы рассказчик подтвердил то, что его восхищало.

— Не могло быть вышиной с мою укладку! А ты что, мерил? Подполковник так выпучил на него глаза, как будто вот сейчас на гауптвахту отправит. А драгоценный мой Сен-Лу хоть бы что: расхаживает, то вскинет голову, то опустит, монокль так и прыгает. Послушаем, что скажет ротный. А может, и ничего не скажет, но только, наверно, это ему не понравится. Да кепи — это ерунда! Говорят, в городе у Сен-Лу их штук тридцать.

— Кто же это тебя такими сведениями напичкал? Наш прохвост капрал, что ль? — спрашивал юный лиценциат, упорно продолжая щеголять новыми для него грамматическими формами, которые он совсем недавно усвоил и которыми он с гордостью украшал свою речь.

— Кто напичкал? Его денщик, кто же еще!

— Вот уж кому повезло так повезло!

— Я думаю! Деньги у него побольше, чем у меня,

это уж наверняка! Да еще Сен-Лу отдает ему все свои вещи и прочее тому подобное. Солдатского довольствия ему не хватало. Вот мой Сен-Лу заявляется на кухню и говорит при кашеваре: «Кормить его досыта, сколько бы это ни стоило».

Сверхсрочник возмещал бессодержательность рассказа выразительностью интонаций; его посредственное подражание имело громадный успех.

Из казармы я шел на прогулку, потом, после захода солнца, до встречи с Сен-Лу и его приятелями в той гостинице, где мы вместе ужинали, часа два отдыхал и читал у себя. На площади вечер устилал похожую на песочницу крышу замка розовыми облачками под цвет его кирпичных стен и, смягчая этот цвет отблеском заката, довершал сближение красок. Я ощущал в себе такой мощный прилив жизненных сил, что любое мое движение не могло бы их исчерпать; при каждом шаге моя нога, дотронувшись до мостовой на площади, сейчас же отскакивала, у моих

пяток словно вырастали крылья Меркурия.[53] В одном из фонтанов вода покраснела, в другом от лунного света стала опаловой. Между фонтанами играли мальчишки, кричали, описывали круги, подчиняясь необходимости определенного часа, как подчиняются ей стрижи и летучие мыши. Рядом с гостиницей старинные дворцы и оранжерея в стиле Людовика XVI, где теперь помещались сберегательная касса и штаб корпуса, были освещены изнутри уже зажженными газовыми лампочками, чей тускло-золотой свет теперь, когда еще не стемнело, хорошо сочетался с высокими и широкими окнами XVIII века, на которых еще не угас последний луч заката, вроде того как идет к разрумянившемуся лицу желтый черепаховый гребень, и этот свет звал меня к моему камину и лампе, которая в том крыле гостиницы, где я жил, в одиночку боролась с полумраком, я же возвращался к ней еще до темноты, предвкушая удовольствие вроде того, какое предвкушаешь, возвращаясь домой к завтраку.

---

[53] Примечания: 53

…крылья Меркурия. — В римской мифологии Меркурий отождествлялся с греческим Гермесом и потому его сущность чрезвычайно многообразна: он считался богом дождя, полей, пастбищ, торговли, проворства, воровства, красноречия, посланником богов, проводником умерших по подземному миру, идеалом физической и духовной ловкости и изображался в виде красивого юноши в дорожном головном уборе, с жезлом в руках и с крылышками у ступней.

В комнате я испытывал ту же самую полноту ощущений, что и наружи. От нее так раздувались предметы, которые часто кажутся нам плоскими и полыми, — желтое пламя в камине, небесно-голубые обои, на которых вечер, точно школьник, красным карандашом провел спирали, скатерть с замысловатым рисунком на круглом столе, на котором меня ждали стопа писчей бумаги, чернильница и роман Бергота, — что с той поры эти вещи зажили в моем представлении совершенно особой жизнью, которую, как мне казалось, я мог бы вынуть из них, если б мне суждено было встретиться с ними вновь. Мне весело было думать о казарме с вертящимся флюгером. Водолаз дышит в трубку, выходящую на поверхность; мне же звеном, соединявшим со здоровой жизнью, со свежим воздухом, служила казарма, эта высокая обсерватория, господствовавшая над полем, прорезанным каналами из зеленой эмали, и я считал драгоценной своей привилегией, которую мне хотелось продлить, возможность когда угодно заходить в жилые ее помещения и в сараи и знать, что тут я всегда желанный гость.

В семь часов я одевался и шел ужинать с Сен-Лу в другую гостиницу. Я любил ходить туда пешком. Меня обступала кромешная тьма, а

начиная с третьего дня, как только все погружалось во мрак, стал задувать холодный ветер — предвестник снега. Казалось бы, я всю дорогу должен был думать о герцогине Германтской: ведь только чтобы попытаться приблизиться к ней, я и приехал в гарнизон Робера. Но воспоминание и скорбь подвижны. Бывают дни, когда они уходят так далеко, что мы едва их различаем, нам кажется, что они ушли. Тогда мы обращаем внимание на другое. А улицы этого городка еще не стали для меня, как там, где мы живем постоянно, всего лишь путями от одного места до другого. Неведомый этот мир и его обитатели казались мне чудесными, и часто освещенные окна какого-нибудь дома надолго останавливали меня в темноте, являя моим глазам правдивые и таинственные черты недоступной мне жизни. Вот здесь гений огня показывал мне на картине в пурпурных тонах кабачок торговца каштанами, где два унтер-офицера, положив портупеи на стулья, играли в карты, не подозревая, что некий волшебник выхватывает их из темноты, как на сцене, и представляет такими, каковы они сейчас на самом деле, глазам остановившегося прохожего, который им не виден. В лавчонке старьевщика наполовину сгоревшая свеча, бросая красный

отблеск на гравюру, превращала ее в сангину, а, борясь с тенью, свет большой лампы выделывал из куска простой кожи сафьян, усеивал блестками кинжал, покрывал плохие копии, точно время — патиной или знаменитый художник — лаком, дорогой позолотой, короче говоря — преображал эту трущобу в бесценного Рембрандта.[54] Иной раз я поднимал глаза на не закрытые ставнями окна старинных просторных апартаментов, где амфибии мужского и женского пола, ежевечерне приспосабливаясь к жизни не в той стихии, в какой они жили днем, медленно плавали в жире, который, чуть только стемнеет, непрерывно течет из резервуара ламп, наполняя комнаты до верхнего края их каменных и стеклянных стен, и в котором эти амфибии, перемещаясь, образовывали маслянистые золотые водовороты. Я шел дальше, и часто в темном переулке близ собора, как когда-то по дороге в Мезеглиз, меня останавливала сила страсти; мне казалось, что вот сейчас появится женщина и утолит ее; если я вдруг чувствовал, что в темноте движется платье, меня переполняла такая бурная радость, что мне

[54] Примечания: 54

Рембрандт (Рембрандт Харменс ван Рейн; 1606–1669) — знаменитый голландский живописец, творчеством которого восхищался Пруст, посвятивший ему блестящее критическое эссе.

в голову не могла прийти мысль о случайности этого шелеста, и я пытался обнять испуганную незнакомку. В этом готическом переулке было для меня что-то до того реальное, что если б мне удалось подцепить здесь женщину и овладеть ею, то у меня не было бы ни малейших сомнений, что нас с ней соединило античное сладострастие, хотя бы она представляла собой обыкновенную уличную девку, каждый вечер пристающую здесь к мужчинам, — в моих глазах ей придавали бы таинственность зима, непривычная обстановка, темь и средневековье. Я думал о будущем: мне казалось, что постараться забыть герцогиню Германтскую — это ужасно, но разумно и теперь наконец осуществимо, может быть, даже легко. В полной тишине этого квартала я слышал разговор и смех подвыпивших гуляк, возвращавшихся домой. Я останавливался, чтобы поглядеть на них; я смотрел туда, откуда доносились голоса. Но ждать мне приходилось долго — окрестное безмолвие было таким глубоким, что с поразительной ясностью и силой доносились еще совсем далекие звуки. Все же гуляки приближались, но шли они не навстречу мне, как я предполагал, а сзади меня и еще очень далеко. То ли перекрестки и большие промежутки между

домами, преломляя звук, создавали акустический обман, то ли вообще очень трудно угадать, откуда исходит звук, но только я ошибался, определяя и расстояние и направление.

Ветер усиливался. Он весь ощетинивался и шершавел перед метелью. Я возвращался на главную улицу и прыгал в трамвайчик, с площадки которого офицер, как будто и не смотревший на тротуар, отвечал на козырянье увальней солдат с размалеванными холодом лицами, и лица эти здесь, в городке, который, казалось, резкий переход от осени к зиме отодвинул дальше на север, заставляли вспомнить красные лица крестьян Брейгеля,[55] жизнерадостных, гульливых и озябших.

И как раз в той гостинице, где я встречался с Сен-Лу и его приятелями и куда начинавшиеся праздники привлекали много народа из округи и из других краев, — в этом я убеждался, идя по двору, куда выходили окна пламеневших кухонь, где поворачивались насаженные на вертела цыплята, где жарилась свинина, где еще живых

[55] Примечания: 55

…крестьян Брейгеля… — Речь идет о Питере Брейгеле Старшем, прозванном «Мужицким» (между 1525 и 1530–1569), нидерландском живописце, рисовальщике и граверe, авторе ряда картин на сельские сюжеты («Сбор урожая», «Крестьянский танец» и др.).

омаров бросали в то, что хозяин гостиницы называл «огнем вечным», — был наплыв (не меньший, чем при всеобщей переписи в Вифлееме,[56] как ее изображали старые фламандские мастера) приезжих, стоявших кучками во дворе и спрашивавших хозяина и его помощников (которые, если те не производили на них мало-мальски благоприятного впечатления, чаще всего указывали им другое пристанище), можно ли здесь остановиться и столоваться, а мимо них проходил слуга, держа за шею трепыхавшуюся птицу. В большой столовой, через которую я прошел в первый же день в маленькую комнатку, где меня ждал мой друг, был пир тоже евангельский, воссозданный с наивностью старого времени и с фламандской несдержанностью, о которых заставляло вспомнить множество разукрашенных и дымившихся рыб, пулярок, тетеревов, бекасов, голубей, которых приносили запыхавшиеся официанты, для быстроты скользившие по паркету и ставившие блюда на громадный стол, где и рыбу и мясо тут же нарезали и где (многие уже заканчивали трапезу, когда я входил) груды того и другого

[56] Примечания: 56

…всеобщей переписи в Вифлееме… — Намек на картину Питера Брейгеля Старшего «Всеобщая перепись в Вифлееме» (1566), которая хранится в Королевском музее изящных искусств в Брюсселе.

оставались лежать нетронутыми, как будто обилие яств и торопливость тех, кто их приносил, зависели в гораздо большей степени, чем от требований посетителей, от почтения к Священному писанию, за которым здесь следовали точно, но по своей наивности дополняли его реальными подробностями, взятыми из окружающей действительности, и от эстетической и религиозной потребности показать пышность праздника через обилие еды и усердие слуг. Один из них стоял в конце столовой, около буфета, и о чем-то думал; а так как мне показалось, что только он один из всей прислуги сохраняет спокойствие и способен ответить мне на вопрос, в какой комнате приготовлен нам столик, то я, пробираясь между нагревательными приборами, зажженными, чтобы не остывали кушанья для запоздавших (а в середине столовой сладкие блюда держала в руках громадная фигура, стоявшая иногда на крыльях утки — на вид из хрусталя, на самом деле изо льда, который ежедневно, в чисто фламандском вкусе, гранил каленым железом повар-скульптор), пошел прямо, рискуя тем, что кто-нибудь налетит на меня и свалит с ног, к этому слуге, в котором я нашел разительное сходство с фигурой, изображавшейся на картинах духовного содер-

жания, ибо у него было точно такое же курносое, простодушное, плохо нарисованное лицо с мечтательным выражением, свидетельствовавшим о том, что он уже предчувствует чудо присутствия божества, о котором другие еще не подозревают. Надо также заметить, что, — конечно, в связи с приближавшимися праздниками, — этот образ дополнялся целой небесною ратью, набранной из херувимов и серафимов. Юный ангел-музыкант с белокурыми волосами, обрамлявшими четырнадцатилетнее его лицо, откровенно говоря, не играл ни на каком инструменте — он о чем-то мечтал, уставившись то ли на гонг, то ли на гору тарелок, между тем как ангелы повзрослев носились по бескрайним просторам столовой, колебля воздух беспрестанным колыханием салфеток, которые остроконечными крыльями, как на примитивах, плескались у них за плечами. Через эти нечетко разграниченные области, под пальмовым пологом, создававшим впечатление, что небесные слуги, когда вы смотрели на них издали, появляются из эмпирей, я прокладывал дорогу до отдельного кабинета, где был столик Сен-Лу. Там сидели его приятели, ужинавшие всегда вместе с ним, из благородных семей, кроме двух — трех разночинцев, но таких, в которых

дворяне уже на школьной скамье чувствовали своих по духу и с которыми они охотно сближались, доказывая этим, что они не являются принципиальными противниками буржуа, хотя бы даже республикански настроенных, и что им важно одно: чтобы те мыли руки и ходили в церковь. Когда я пришел сюда в первый раз, то, прежде чем сесть за столик, отвел Сен-Лу в угол и при всех, но так, что слышал только он, сказал:

— Робер! Сейчас не время и не место об этом говорить, но я вас задержу на одну секунду. В казарме я все забывал спросить: у вас на столе карточка герцогини Германтской?

— Ну да! Это моя милая тетушка.

— Ну понятно, экий я бестолковый! Бог ты мой, ведь я же отлично это знал — совсем из ума вон! Однако ваши друзья, должно быть, выходят из терпения, только два слова, а то они на нас смотрят, или в другой раз, это не существенно.

— Да ничего, ничего, подождут.

— Ни в коем случае, я не хочу быть невежей; они такие славные; да и потом, я же вам сказал, что это не имеет значения.

— Вы знаете мою хорошую Ориану? Определение «хорошая», которое Сен-Лу дал Ориане, так же как и «милая», не значило, что он считает гер-

цогиню Германтскую какой-то особенно милой. В таких случаях «милая», «прекрасная», «хорошая» служат всего лишь подкреплением слову «моя» и являются приметами особы, которую знают и тот и другой и которая задает вам задачу: как говорить о ней с человеком, с которым вы не на короткой ноге? «Милая» — это что-то вроде затычки, дающей возможность мгновенно придумать следующую фразу: «Вы часто с ней видитесь?», или: «Мы с ней месяцами не видимся», или: «Я видел ее во вторник», или: «Она уже не первой молодости».

— Вы не можете себе представить, как меня заинтересовало, что у вас есть ее карточка, — мы ведь живем теперь в ее доме, мне рассказывали о ней удивительные вещи (я бы затруднился ответить на вопрос, какие именно), и она меня очень занимает с точки зрения литературной, — вы меня понимаете? Как бы это выразиться? — с точки зрения бальзаковской, вы такой умный, вы поймете меня с полуслова, но только скорей-скорей, ваши друзья подумают, что я человек совершенно невоспитанный!

— Да ничего они не думают; я им сказал, что вы явление необыкновенное, и они гораздо больше боятся вас, чем вы их.

— Вы очень добры ко мне. Ну так вот: герцогине Германтской не известно, что я с вами знаком, ведь правда?

— Чего не знаю, того не знаю, мы с ней в последний раз виделись летом — после ее возвращения в Париж я в отпуску не был.

— Вот что я хочу вам сказать: меня уверяли, будто она считает меня за полного идиота.

— Не думаю. Ориана умом не блещет, но она и не глупа.

— Понимаете, вообще-то я не хочу, чтобы вы всем рассказывали о своей симпатии ко мне, я не тщеславен. Мне, например, неприятно, что вы говорили обо мне лестные вещи вашим друзьям (кстати, через две секунды мы к ним вернемся). А вот если бы вы, даже с некоторой долей преувеличения, сказали герцогине Германтской, как вы ко мне относитесь, вы бы меня очень обрадовали.

— Да с удовольствием! Если это и есть ваша просьба, то исполнить ее не Бог весть как трудно, но неужели же вам так дорого ее мнение? По-моему, вам оно совершенно безразлично; во всяком случае, об этом мы с вами можем толковать и наедине и при всех, а разговаривать стоя для вас утомительно, да и неудобно — нам с вами еще не раз представится возможность побыть вдвоем.

Именно это неудобство и подвинуло меня на разговор с Робером; присутствие посторонних давало мне право на обрывистость и бессвязность речи: так мне было легче прикрыть лживость моего уверения, будто я забыл, что мой друг — родственник герцогини, а Сен-Лу я лишал возможности расспросить меня, почему мне хочется, чтобы герцогиня Германтская знала о нашей с ним дружбе, о том, что я умен, и т. д. — меня бы эти вопросы смутили, и ответить на них я бы не смог.

— Робер, вы же такая умница, удивляюсь, как вы не понимаете, что не надо рассуждать, почему то-то и то-то может быть приятно вашим друзьям, а надо это сделать. Я, если б вы обратились ко мне с любой просьбой, — а я был бы очень рад, если б вы о чем-нибудь меня попросили, — уверяю вас, я не стал бы задавать вам вопросы. Дело тут уже не в моих желаниях; я не стремлюсь к знакомству с герцогиней Германтской, но мне следовало бы, чтобы испытать вас, сказать, что мне хочется пообедать с герцогиней Германтской, — я знаю, что вы бы мне этого не устроили.

— Не только устроил бы, но и устрою.

— А когда?

— Как приеду в Париж — по всей вероятности,

недели через три.

— Посмотрим. Да нет, она не захочет. Я не нахожу слов, чтобы выразить вам свою благодарность.

— Да не за что!

— Как так не за что, это неоценимая услуга, теперь я вижу, что вы истинный друг; о важной вещи я вас прошу или о неважной, о неприятной или приятной, действительно я этого добиваюсь или только хочу испытать вас — это безразлично; вы обещаете исполнить мою просьбу, и в этом сказываются вся тонкость вашего ума и чуткость вашего сердца. Глупый друг вступил бы в пререкания.

Он-то как раз со мной пререкался, но, может, я рассчитывал на то, что задену его самолюбие, а может, я был искренен: ведь для меня человек ценен был только той пользой, какую он способен мне принести в единственно важной для меня области: в области любви. Я еще прибавил — может, из двоедушия, а может, от избытка настоящей нежности, вызванного благодарностью, заинтересованностью и, наконец, тем, что природа наделила общими чертами герцогиню Германтскую и ее племянника Робера:

— Нам давно пора вернуться к остальной ком-

пании, а между тем я успел обратиться к вам только с одной просьбой, менее важной, другая куда важнее, но я боюсь, что вы мне откажете; вас не будет коробить, если мы перейдем на «ты»?

— Какое там коробить, да что вы! «Радость! Слезы счастья! Безмерное блаженство![57]»

— Как я вам… тебе благодарен! Когда же вы перейдете? Это для меня такая радость, что, если вам неудобно, оставьте в покое герцогиню Германтскую — с меня довольно, что мы на «ты».

— Я исполню обе просьбы.

— Ах, Робер! Послушайте, — снова обратился я к Сен-Лу за ужином, — до чего нелеп был этот наш сбивчивый разговор, да я, собственно, не знаю, зачем я его завел… Вы знаете даму, о которой я вам говорил?

— Знаю.

— Вы понимаете, кого я имею в виду?

— Помилуйте! Да что же я, олух царя небесного, слабоумный?

— Вы не подарите мне ее карточку?

Я хотел попросить карточку только на время. Перед тем как об этом заговорить, я оробел, моя просьба показалась мне неделикатной, но чтобы

---

[57] Примечания: 57

«Радость! Слезы счастья! Безмерное блаженство!» — парафраз знаменитой «Памятной заметки» французского мыслителя Блеза Паскаля.

не выдать себя, я обратился к Сен-Лу с еще более наглой, более нахальной просьбой — и так, как будто это вполне естественно.

— Нет, я должен попросить у нее разрешения, — ответил Сен-Лу.

Он покраснел. И в эту минуту, поняв, что у него есть задняя мысль, что он уверен, будто есть она и у меня, что моя любовь найдет в нем не всецело преданного ей слугу, а такого, который не поколеблет ради нее определенных нравственных устоев, я вознегодовал на него.

И тем не менее я был тронут, когда убедился, что Сен-Лу обходится со мной в обществе своих приятелей не так, как с глазу на глаз. Меня бы не проняла особенная его любезность, если б она казалась мне наигранной; но я чувствовал, что она не деланная, что она складывается из того, что он говорил обо мне в мое отсутствие и о чем умалчивал, когда мы с ним были вдвоем. Во время наших разговоров один на один я, конечно, догадывался, что ему доставляет удовольствие беседовать со мной, но он этого почти никак не выражал. Сейчас он искоса поглядывал на приятелей, чтобы проверить, производят ли на них то впечатление, на какое он рассчитывал и какое должно было соответствовать всему тому, что

он обо мне нарассказал, мои мысли, которые он ценил высоко, но про себя. Мать дебютантки не с таким неослабным вниманием следит за тем, как подает реплики ее дочь и как ее принимает публика. Когда я говорил что-нибудь такое, что вызвало бы у него, в лучшем случае, улыбку, если бы мы с ним были одни, он, боясь, что меня не поймут, переспрашивал: «Как, как?» — чтобы заставить меня повторить эти слова, чтобы привлечь к ним внимание, — тут же оборачивался к другим, вскидывал на них с веселым смехом глаза, неумышленно их заражал — и в тот день мне впервые стало ясно, что он думает обо мне и что он, наверное, часто обо мне говорит. Словом, я вдруг посмотрел на себя со стороны, как человек, который прочел свое имя в газете или увидел себя в зеркале.

В один из таких вечеров мне захотелось рассказать довольно забавную историю про г-жу Бланде, но я сразу осекся: я вспомнил, что Сен-Лу знает ее и что, когда я начал ее рассказывать ему на другой день после приезда сюда, он перебил меня: «Вы мне это уже рассказывали в Бальбеке». Вот почему меня удивило, что он начал меня уговаривать, чтобы я продолжал, и уверять, что он не знает этой истории и что ему очень хочется

послушать. Я возразил: «Вы просто позабыли, но тут же вспомните». — «Да нет, клянусь тебе, ты путаешь. Ты мне ее не рассказывал. Ну?» И пока история не кончилась, он, в сильном возбуждении, все переводил восхищенный взор с меня на товарищей и с товарищей на меня. Только когда конец моего рассказа вызвал дружный смех всей компании, мне стало ясно, что ему хотелось, чтобы у моих слушателей составилось лестное представление о моем уме, и что только ради этого он прилгнул, будто никогда не слышал истории про г-жу Бланде. Вот что такое дружба.

За третьим ужином один из приятелей Сен-Лу, с которым мне не довелось поговорить во время первых двух, очень долго беседовал со мной; и потом я слышал, что он вполголоса говорил Сен-Лу о том удовольствии, какое получил от нашей беседы. В самом деле, мы с ним проговорили весь вечер, не дотрагиваясь до стаканов с сотером, стоявших перед нами, отделенные, защищенные от других чудными завесами той возникающей между людьми приязни, которая, если она основана не на чисто внешней привлекательности, представляет собою единственное чувство, где все — тайна. Таким, загадочным по своей природе, явилось для меня в Бальбеке чувство, которое

зародилось в душе Сен-Лу ко мне независимо от интереса, какой имели для него наши беседы, чувство, не связанное ни с чем материальным, невидимое, неосязаемое и тем не менее жившее в нем как теплород, как физическое тело, настолько отрадное, что Сен-Лу не мог говорить о нем без улыбки. И, быть может, было нечто еще более поразительное в приязни, распустившейся здесь за один вечер, — так раскрылся бы в течение нескольких минут бутон в тепле этой комнатки. Я не мог удержаться, чтобы не спросить у Робера, правда ли, что, как я слышал в Бальбеке, его женитьба на мадмуазель д'Амбрезак — это дело решенное. Он ответил, что не только ничего не решено, но что об этом и речи не заходило, что он в глаза ее никогда не видал, что он о ней понятия не имеет. Если бы я сейчас встретил тех людей из высшего общества, которые сообщили мне о предстоящей женитьбе Сен-Лу, они уведомили бы меня о том, что мадмуазель д'Амбрезак выходит замуж, но не за Сен-Лу, а что Сен-Лу женится, но не на мадмуазель д'Амбрезак. Я бы очень их удивил, напомнив им, что они предсказывали нечто совсем иное, да еще так недавно. Чтобы эта светская игра могла продолжаться и плодить неверные сведения, в возможно большем коли-

честве, одно за другим, наслаивая их на каждое имя, природа наделила подобного рода игроков памятью столь же короткой, сколь велико их легковерие.

Сен-Лу рассказывал мне о другом своем товарище, который тоже был сейчас здесь и с которым он был особенно близок, потому что среди офицеров только они двое стояли за пересмотр дела Дрейфуса.[58]

— О, это совсем не то, что Сен-Лу, — это одержимый! — воскликнул мой новый приятель. — Он лишен самой элементарной порядочности. Сначала он все твердил: «Надо подождать; я хорошо знаю одного человека, он умен, благожелателен, — это генерал Буадефр;[59] что генерал скажет — значит, так оно и есть». Но когда он узнал, что

---

[58] Примечания: 58

…пересмотр дела Дрейфуса. — В 1898 г. Военное министерство отказало в пересмотре приговора капитану французского генерального штаба А. Дрейфусу, который по обвинению в государственной измене был приговорен в 1894 г. к пожизненной каторге на Чертовом острове. Тем не менее правительство в связи с обнаружением в деле подложных документов настояло на проведении повторного слушания, которое состоялось в 1899 г. На этот раз военный суд города Рени признал Дрейфуса виновным «со смягчающими вину обстоятельствами» и приговорил его к десяти годам тюремного заключения, но президент Э. Лубе спустя пять дней после приговора, помиловал осужденного. Полностью офицер был оправдан только в 1906 г.

[59] Примечания: 59

Буадефр, Рауль Ле Мутон де (1839–1919) — французский военный и политический деятель, ярый антидрейфусар, подал в отставку после

обнаружения подложных документов в деле Дрейфуса.

Буадефр считает Дрейфуса виновным, Буадефр пал в его глазах; клерикализм и прочие предрассудки главного штаба помешали ему взглянуть на вещи беспристрастно, хотя во всем мире нет, или, по крайней мере, не было, такого ярого клерикала, как наш друг. Тогда он нам сказал, что истина рано или поздно откроется: дело теперь в руках Сосье,[60] а Со-сье, солдат-республиканец (родители нашего друга — ярые монархисты), — человек железной воли и на сделки с совестью не пойдет. Но когда Сосье оправдал Эстергази,[61] он нашел этому приговору новые объяснения, порочащие не Дрейфуса, а генерала Сосье. Сосье был отравлен милитаристским духом (заметьте, что наш друг не только клерикал, но и милитарист, во всяком случае, он был милитаристом, а теперь я не знаю, что о нем и думать). Его семья в отчая-

---

[60] Примечания: 60

Сосье, Феликс (1828–1905) — французский генерал, один из участников суда над Дрейфусом.

[61] Примечания: 61

Эстергази, Мари Шарль Фердинанд Вальсен (1847–1923) — французский офицер венгерского происхождения, который, как оказалось, был агентом немецкой разведки и автором записей, за которые был осужден Дрейфус. Во время повторного рассмотрения дела Дрейфуса Эстергази был оправдан, несмотря на вопиющие свидетельства его вины. Именно тогда с открытым письмом к президенту Республики выступил влиятельный французский писатель Эмиль Золя, после чего, собственно, «дело Дрейфуса» превращается в политическое дело, которое делит страну на два лагеря.

нии оттого, что он заражен всеми этими идеями.

— Видите ли, — заговорил я, обращаясь и к товарищу Сен-Лу, и к самому Сен-Лу, чтобы ему не пришло в голову, будто я от него отдаляюсь, и чтобы втянуть его в разговор, — дело в том, что влияние среды, о котором теперь так много говорят, особенно сильно в сфере интеллектуальной. Человек увлечен какой-то идеей; людей на свете гораздо больше, чем идей, поэтому людей одинаковых убеждений много. Так как в мысли ничего материального нет, то люди, только физически окружающие человека, не вносят в нее никаких изменений.

Тут Сен-Лу вынужден был прервать наш разговор, потому что один из молодых военных с улыбкой указал ему на меня:

— Дюрок, вылитый Дюрок!

Я не понимал, что это значит, но видел, что несмелое выражение его лица было более чем дружелюбным. Когда я говорил, одобрение других казалось Сен-Лу излишним, он требовал молчания. И, подобно тому как дирижер останавливает музыкантов, стуча по пюпитру смычком, если кто-нибудь из них громко заговорит, Сен-Лу сделал замечание нарушителю порядка.

— Жиберг! — сказал он. — Когда другие говорят,

надо молчать. Вы скажете после. Продолжайте, — обратился он ко мне.

Я вздохнул с облегчением — я боялся, что он заставит меня повторить все с самого начала.

— А так как идея, — продолжал я, — далека от человеческих расчетов и не может пользоваться теми выгодами, какие имеет человек, то на людей, увлеченных какой-то идеей, расчет не влияет.

— Что, детки мои, лихо? — когда я договорил, воскликнул Сен-Лу, до тех пор смотревший на меня с таким тревожным вниманием, точно я шел по канату. — Ну так что вы хотели сказать, Жиберг?

— Я сказал, что молодой человек очень мне напоминает майора Дюрока. Как будто это он говорит.

— Мне тоже это часто приходило в голову, — согласился Сен-Лу, — у них много общего, но вы скоро убедитесь, что у него тьма преимуществ перед Дюроком.

Подобно тому как брат этого приятеля Сен-Лу, ученик Schola cantorum, думал о всей современной музыке совсем не то, что его отец, мать, родственники, товарищи по клубу, а именно то, что думали все ученики Schola, так и «на-

правление», как тогда уже начали говорить, этого знатного офицера (о котором Блок, когда я рассказал ему о нем, составил себе чрезвычайно странное представление: растроганный тем, что он его единомышленник, Блок тем не менее вообразил, — из-за аристократического происхождения офицера, из-за религиозного и военного воспитания, которое тот получил, — что это полная его противоположность, что в нем есть прелесть уроженца какого-нибудь далекого края) ничем не отличалось от направления всех дрейфусаров вообще и в частности Блока, и на него не действовали ни семейные традиции, ни заботы о продвижении по службе. Нечто похожее произошло с молодой восточной принцессой,[62] на которой был женат родственник Сен-Лу: о ней говорили, что она пишет стихи не хуже Виктора Гюго и Альфреда де Виньи, но предполагалось, что умонастроение у нее не такое, о каком можно было судить по ее стихам, — что у нее умонастроение восточной принцессы, заключенной

[62] Примечания: 62

…восточной принцессой… — Намек на графиню Анн-Элизабет де Ноайль (1876–1933), происходившую из знатного румынского рода, известную салонную поэтессу, близкую знакомую и конфидентку Пруста.

во дворце «Тысячи и одной ночи[63]». Писателей, удостоившихся особой чести познакомиться с ней, ждало разочарование или, вернее, радость, и эту радость доставили им ее речи, которые рисовали им образ не Шахразады, а женщины, чей талант сродни таланту Альфреда де Виньи или Виктора Гюго.

Мне особенно нравилось говорить с этим молодым человеком, как, впрочем, и с другими приятелями Робера, да и с самим Робером, о казарме, об офицерах их гарнизона и об армии вообще. Благодаря огромным размерам, какие приобретают в наших глазах даже очень небольшие предметы, среди которых мы едим, разговариваем, реально существуем, благодаря невероятно высоким оценкам, какие мы им • даем, вследствие чего весь остальной, отсутствующий мир не выдерживает борьбы с ними и при сопоставлении кажется недолговечным, как сон, я заинтересовался разными людьми, жившими в казарме, — офицерами, которых я видел во дворе, когда шел к Сен-Лу, или из моего окна, если меня

[63] Примечания: 63

...«Тысячи и одной ночи» — Сказки Шахразады сам Пруст рассматривал как повествовательную модель своего романа, признаваясь на страницах «Обретенного времени»: «Переделать то, что любишь, можно не иначе как отказавшись от него. Эта книга будет, возможно, такой же длинной, как „Тысяча и одна ночь“, но совсем другой».

будил проходивший мимо полк. Мне хотелось подробнее узнать о майоре, которого превозносил Сен-Лу, и об его курсе военной истории, который доставил бы мне наслаждение «даже с точки зрения эстетической». Я знал, что Робер питает пристрастие к громким, хотя по большей части пустым словам, однако в отдельных случаях это означало, что он стремится охватить какую-нибудь глубокую мысль, а он прекрасно понимал такого рода мысли. К сожалению (к сожалению — с точки зрения армейской), Робер был тогда почти всецело поглощен делом Дрейфуса. Говорил он о нем мало, потому что из всех сидевших за столом только он один и был дрейфусаром; прочие решительно высказывались против пересмотра дела, за исключением моего соседа, моего нового приятеля, но его суждения были не очень вескими. Страстный почитатель подполковника, считавшегося безупречным офицером, в своих приказах бичевавшего тех, кто выступал против армии, на основании чего о нем составилось мнение, что он антидрейфусар, мой сосед узнал о высказываниях своего начальника, из которых можно было сделать вывод, что у него есть сомнения в виновности Дрейфуса и что он по-прежнему относится с уважением к

Пикару.[64] Слух о дрейфусизме подполковника оказался недостоверным, как и все неизвестно кем распускаемые слухи вокруг каждого крупного дела. Вскоре подполковнику было поручено допросить бывшего начальника разведки, и допрашивал он его с беспримерной грубостью и пренебрежением. Хотя мой сосед не осмелился обратиться за разъяснениями к подполковнику, все же он, желая сделать приятное Сен-Лу — таким тоном, каким католичка сообщает еврейке, что ее духовник осуждает еврейские погромы в России и восторгается щедростью некоторых евреев, — сказал, что подполковник не является фанатическим, безоговорочным противником дрейфусарства, каким его выставляют, — во всяком случае, противником определенного течения в дрей-фусарстве.

— Это меня не удивляет, — заметил Сен-Лу, — он человек интеллигентный. И все же предрассудки, связанные с происхождением, и клерикальные предрассудки ослепляют его. — Тут он обратился ко мне: — А вот майор Дюрок, профессор воен-

[64] Примечания: 64

Пикар, Жорж (1854–1914) — подполковник, начальник разведки французского генерального штаба, занимаясь по долгу службы делом Дрейфуса, пришел к выводу о виновности Эстергази, после чего был отрешен от должности и предстал перед военным судом.

ной истории, о котором я тебе рассказывал, вот он, по-видимому, придерживается совершенно таких же взглядов, что и мы. Да я был бы крайне изумлен, если б он оказался в стане наших врагов: ведь он же не только человек высокого ума, но и радикал-социалист и масон.

Столько же для того, чтобы угодить приятелям Сен-Лу, которым дрейфусарские его настроения были не по нутру, сколько потому, что это меня меньше всего интересовало, я обратился с вопросом к моему соседу, правда ли, что майор придал военной истории подлинную эстетическую ценность.

— Да, действительно придал.

— Но что вы под этим подразумеваете?

— Ну, например: все, о чем вы читаете у военного историка, — самые мелкие факты, самые незначительные события, — это только знаки идеи, которую необходимо выявить, и тогда под ней обнаружатся другие, как на палимпсесте. Таким образом, перед нами стройное целое, озаренное мыслью, как всякая наука или всякое искусство, и удовлетворяющее нашим умственным запросам.

— Вам не трудно привести примеры?

— Это не так легко объяснить, — вмешался

Сен-Лу. — Ты читаешь, например, о том, что такой-то корпус попытался… Здесь ты остановись и обрати внимание на то, как называется корпус, каков его состав, — все это немаловажно. Если это не первая операция и если мы видим, что для той же самой операции введен в дело другой корпус, это может означать, что ранее действовавшие корпуса полностью уничтожены во время операции или понесли громадный урон и уже неспособны довести ее до победного конца. Потом надо узнать, что собой представлял уничтоженный корпус; если это были ударные части, которые командование держало в резерве для мощных штурмовых атак, то у нового, более слабого корпуса не много шансов добиться успеха там, где они потерпели поражение. Далее: если это не начало кампании, то в новом корпусе может быть всякой твари по паре, а на основании этого мы можем судить, какими силами еще располагает войско, насколько близок момент, когда перевес окажется на стороне противника, и тогда уже будет по-иному выглядеть самая операция, предпринимаемая этим корпусом, потому что если он лишен возможности восполнять потери, то ясно, как дважды два, что результатом успехов, которых он достигнет, явится полное

его уничтожение. И еще: не меньшее значение имеет порядковый номер противостоящего ему корпуса. Если, к примеру, это войсковое соединение во много раз слабее, но уже растрепало крупные войсковые соединения противника, то самый характер операции меняется; пусть даже она закончится потерей позиции, — то, что оборонявшиеся некоторое время удерживали ее, — это их большой успех, поскольку с малыми силами им удалось разбить весьма значительные силы противника. Теперь тебе должно быть понятно, что анализ сражающихся корпусов приводит к важным открытиям, но изучение позиции, изучение того, какими грунтовыми и железными дорогами она располагает, какие склады она прикрывает, дает гораздо больше. Необходимо изучить то, что я назвал бы географическим контекстом, — смеясь, добавил Сен-Лу. (Ему так понравилось это выражение, что он и потом каждый раз, даже несколько месяцев спустя, употреблял его все с тем же довольным смехом.) — Если ты прочтешь, что в то время, как одна из воюющих сторон готовилась к операции, ее разведывательный отряд уничтожила другая воюющая сторона, то ты можешь сделать вывод, что первая воюющая сторона пыталась устано-

вить, какие оборонительные работы ведет другая, чтобы отразить ее атаку. Особенно ожесточенная борьба за какой-нибудь пункт может означать стремление овладеть им, но может означать и желание отвлечь противника, и нежелание принимать бой там, где он его навязывает, но это может быть и хитрость, заключающаяся в том, чтобы прикрыть ожесточенной схваткой отход войск от этого места. (Классическая хитрость Наполеона.) Кроме того, чтобы понять значение маневра, его наиболее вероятную цель, а следовательно, и другие цели, которые могут возникнуть по ходу дела, небесполезно обратиться не столько к сообщениям командования, которые могут быть рассчитаны на то, чтобы ввести в заблуждение противника, замаскировать возможную неудачу, сколько к военным уставам страны. Всегда следует иметь в виду, что в такой обстановке маневр какой-нибудь армии предписывается действующим уставом. Если, например, устав предписывает одновременно с лобовой атакой вести фланговую и если командование, в том случае, когда фланговая атака не удалась, утверждает, что она была не связана с лобовой и являлась лишь отвлекающим маневром, то истину скорее можно отыскать в уставе,

чем в заявлениях командования. И у каждой армии есть не только уставы, но и традиции, навыки, доктрины. Равным образом не следует пренебрегать изучением дипломатических шагов, всегда находящихся во взаимодействии или в противодействии с военными действиями. События, на поверхностный взгляд незначительные, в свое время неправильно истолкованные, объяснят тебе, что неприятель, рассчитывавший на помощь, которой из-за этих событий ему не оказали, выполнил только часть своего стратегического плана. Словом, если ты умеешь читать военную историю, то изложение, которое останется неясным для большинства читателей, предстанет перед тобой разумным сцеплением обстоятельств, как картина перед любителем живописи, который разглядит, что человек тащит на себе, что несет в руках, тогда как у обалдевшего посетителя музеев кружится и болит голова от сливающихся у него в глазах красок. Недостаточно обратить внимание, что на такой-то картине человек держит чашу, — надо еще знать, с какой целью художник вложил ему в руки чашу, что это за символ, — так же обстоит и с военными действиями: недостаточно знать их ближайшую задачу — обычно они в

уме главнокомандующего накладываются на былые сражения, а былые сражения — это, если хочешь, что-то вроде прошлого, что-то вроде книгохранилища, что-то вроде кладезя учености, что-то вроде грамматики, что-то вроде знатных предков новых сражений. Заметь, что я имею в виду не локальное, не пространственное, если можно так выразиться, сходство боев. А оно тоже существует. Поле сражения было и в течение столетий будет полем еще не одного сражения. Если оно было полем боя, значит, благодаря условиям своего географического положения, благодаря своей геологической природе, даже благодаря своим недостаткам, мешающим противнику (например, реке, разрезающей его надвое), оно представляет собой удобное поле сражения. Короче, оно было полем сражения, и оно им будет. Нельзя устроить мастерскую художника в любой комнате, нельзя сделать полем сражения любую местность. Существуют предназначенные для этого участки. Но повторяю: я говорил не об этом, а о типе сражения, который берут за образец, об особого рода стратегическом отпечатке, о такти-

ческом подражании, если хочешь: об Ульме,[65] Лоди,[66] Лейпциге,[67] Каннах.[68] Мне неизвестно, будут ли еще войны и между какими народами; но если они будут, то поверь мне, что будут (по замыслу полководцев) и Канны, и Аустерлиц,[69] и Росбах,[70] и Ватерлоо,[71] и много других сражений — некоторые говорят об этом прямо. Маршал фон Шлиффен,[72] и генерал Фалькенгаузен[73] задумали против Франции сражение под Каннами в стиле Ганнибала: сдерживать противника на всей линии фронта и на обоих флангах, особенно упорно — на правом, со стороны Бельгии, а Бернгарди[74] предпочитает косвенный боевой порядок Фридриха Великого[75] скорее Лейтен,[76] чем Канны. Иные говорят о своих замыслах не так открыто, но я ручаюсь тебе, друг мой, что

---

[65] Примечания: 65

Ульм — город в Германии (в то время королевство Вюртемберг) на левом берегу Дуная. В 1805 г. австрийский генерал Мак (1752–1828) капитулировал, имея 35 тысяч солдат перед Наполеоном I, за что был лишен австрийским судом чинов и орденов.

[66] Примечания: 66

Лоди — город в Италии, близ которого в 1796 г. французские революционные войска под началом Бонапарта одержали блестящую победу над австрийской армией.

[67] Примечания: 67

Лейпциг — город в Германии (Саксония), близ которого в 1813 г. произошло знаменитое сражение, прозванное «битвой народов», которое кончилось поражением Наполеона.

[68] Примечания: 68

Канны — город в древней Италии, возле которого произошло знаменитое сражение, в ходе которого Ганнибал нанес поражение римским войскам (216 до н. э.).

[69] Примечания: 69

Аустерлиц — город в Моравии, близ которого в 1805 г. Наполеон наголову разбил австрийские и русские войска.

[70] Примечания: 70

Росбах — селение в прусской провинции близ Мерзебурга, возле которого в 1757 г. Фридрих II одержал блестящую победу над французскими войсками.

[71] Примечания: 71

Ватерлоо — деревня неподалеку от Брюсселя; здесь 18 июня 1815 г. союзные войска под началом герцога Веллингтона (1769–1852) и генерал-фельдмаршала Блюхера (1742–1819) одержали победу над Наполеоном I.

[72] Примечания: 72

Шлиффен, Альфред, фон (1833–1913) — главнокомандующий германской армией в 1891–1905 гг.

[73] Примечания: 73

Фалькенгаузен, Людвиг фон (1844–1936) — немецкий военачальник.

[74] Примечания: 74

Бернгарди, Фридрих фон (1849–1930) — немецкий военачальник, участник войны 1870 г. и один из основных стратегов Первой мировой войны.

[75] Примечания: 75

Фридрих Великий — прусский король Фридрих II (1712–1786), одержавший ряд побед над французскими войсками.

[76] Примечания: 76

Лейтен (Лютин) — город в Силезии, где 5 декабря 1757 г. войска прусского короля Фридриха II разбили австрийскую армию принца Карла Лотарингского.

Боконсей, — тот командир эскадрона, с кем я тебя на днях познакомил, офицер, перед которым все дороги открыты, — штаны просидел над атакой под Праценом,[77] изучил ее досконально, держит ее про запас, и когда представится случай, он его не упустит и осуществит ее с невиданным размахом. Прорыв центра под Риволи[78] — да это еще не раз повторится, если будут войны! Это бессмертно, как «Илиада». Я тебе больше скажу: мы, в сущности, обречены на фронтальные атаки, потому что не хотим повторять ошибку семидесятого года, — нет, нет, наступать, и только наступать. Меня смущает одно: противники этой замечательной теории — всё люди отсталые, но один из самых молодых моих учителей, очень талантливый, — Манжен, — считает, что нельзя забывать, — как о мере временной, разумеется, — и о действиях оборонительных. Возразить ему нечего — он ссылается на Аустерлиц: там оборона была прелюдией к атаке и к победе.

Теории Сен-Лу радовали меня. Они укрепляли меня в убеждении, что, быть может, я не впадаю

---

[77] Примечания: 77

Працен — стратегический пункт в Аустерлицком сражении.

[78] Примечания: 78

Риволи — деревня в Италии, близ которой 14 января 1794 г. Наполеон Бонапарт разгромил австрийские войска.

в Донсьере по отношению к офицерам, слушая их разговоры за бокалами сотерна, бросающего на них пленительный отблеск, в то же преувеличение, благодаря которому, когда я жил в Бальбеке, так выросли в моих глазах король и королева Океании, кружок четырех гурманов, молодой игрок и зять Леграндена, в настоящее время до того умалившиеся, что как бы уже перестали и существовать для меня. Что нравилось мне сегодня, то, быть может, не разонравится завтра, как это бывало со мною всегда; существо, которое я представлял собою сейчас, быть может, не было обречено на разрушение, так как под мою пылкую, быстролетную страсть ко всему, что касалось военного быта, Сен-Лу всеми своими рассказами о военном искусстве подводил интеллектуальное основание — основание незыблемое, способное утвердить меня в моей привязанности настолько, чтобы я, не пытаясь обманывать себя, продолжал и после отъезда интересоваться работами моих донсьерских приятелей и мечтал вскорости навестить их еще раз. Чтобы проникнуться, однако, еще большей уверенностью в том, что военное искусство — действительно искусство в высоком значении этого слова, я сказал Сен-Лу:

— Вы меня… прости, ты меня очень заинтере-

совал, но я хотел тебя спросить, у меня возникло одно сомнение. Я чувствую, что мог бы увлечься военным искусством, но для этого мне нужно убедиться, что оно не противостоит другим искусствам, что для него вытверженный устав — не все. Ты сказал, что сражения срисовываются одно с другого. В этом, правда, есть, как ты говоришь, своя эстетика; увидеть под нынешним сражением минувшее — не могу тебе передать, в каком я восторге от этой мысли. Но если так, то неужели же гений полководца ничего не значит? Стало быть, вся его гениальность сводится к тому, чтобы исполнять уставы? Ну хорошо, сравним две близкие области: неужели военный полководец, так же как великий хирург, имеющий дело с двумя заболеваниями, проистекающими из одного и того же источника, по одной какой-нибудь мелочи, на которую ему, может быть, укажет опыт, но которую он правильно истолкует, не придет к заключению, что в этом случае надо сделать то-то, в другом — скорее то-то, в одном случае следует оперировать, в другом — воздержаться?

— Ну понятно! Наполеон не атаковал, когда по всем правилам он должен был бы атаковать, — его удерживало неясное предвидение. Вспомни

хотя бы Аустерлиц или его инструкции Ланну[79] в восемьсот шестом году. Другие военачальники рабски подражали приемам Наполеона, а результат получался диаметрально противоположный. Десятки подобных примеров дает нам война восемьсот семидесятого года. Но при попытке догадаться, что *способен* предпринять противник, вот чего не следует забывать: то, что он предпринимает, это всего лишь ход, который может значить все, что угодно. Любое из предположений может быть правильным, если основываться на умозрительных построениях или научных данных, — в иных сложных случаях медицины всего мира недостаточно, чтобы определить, что такое невидимая опухоль: фиброма или нет, нужно делать операцию или не нужно. Чутье, предвидение, как у госпожи де Теб[80] (ты меня понимаешь), — вот что самое главное для великого полководца и для великого медика. Я уже тебе приводил пример, какую цель может преследовать разведка в начале боя. Но она может

---

[79] Примечания: 79

Ланн, Жан, герцог де Монтебелло (1769–1809), маршал Франции, способствовал победам Наполеона I при Абукире, Маренго, Аустерлице, Иене и др.

[80] Примечания: 80

Госпожа де Теб (1865–1916) — знаменитая парижская гадалка.

преследовать и другие цели: например, навести неприятеля на мысль, что его хотят атаковать в таком-то месте, — а между тем собираются атаковать в другом, — опустить завесу, за которой он не разглядит приготовлений к операции не мнимой, заставить его отвести войска и стянуть их, держать без движения в другом месте, а не там, где они необходимы, установить, какими силами он располагает, прощупать его, заставить раскрыть карты. Иной раз даже тот факт, что в операции принимают участие огромные силы, не является доказательством, что она задумана как настоящая операция: она может осуществляться самым добросовестным образом, — хотя на самом деле это всего лишь военная хитрость, — чтобы тем вернее сбить с толку противника. Если бы у меня было время под этим углом зрения рассмотреть наполеоновские войны, то — уверяю тебя — эти простые, классические движения, которые мы исследуем и которые ты увидишь во время наших полевых учений, когда ты прогуливаешься ради собственного удовольствия, поросенок… ну, ну, извини, я знаю, что ты болен!.. Так вот, на войне, когда ты чувствуешь за этими движениями бдительность, благоразумие и глубину мысли верховного командования, то тебя они

волнуют, как самые обыкновенные огни маяка, ибо хотя это свет чисто материальный, но он есть эманация разума, и он обшаривает пространство, чтобы предупреждать суда об опасности. Я, может быть, даже допускаю ошибку, говоря тебе только о военной литературе. На самом деле, состав почвы, направление ветра и света указывают, в какую сторону будет расти дерево, — точно так же и условия, в которых идет война, особенности страны, где проводятся операции, в известной мере диктуют и ограничивают планы, представляющиеся на выбор полководцу. Словом, если тебе известна высота гор, расположение долин, такие-то и такие-то равнины, ты можешь почти с не меньшей ясностью, чем неизбежность и величественную красоту катящихся по ним лавин, прозревать движение войск.

— А теперь ты отнимаешь свободу у полководца и предвидение у противника, который стремится проникнуть в его замыслы, хотя ты сам только что соизволил одарить их этими свойствами.

— Вовсе нет! Помнишь книгу по философии, которую мы с тобой читали в Бальбеке? В ней шла речь о богатстве мира возможностей по сравнению с миром действительным. Так вот, то же самое и в военном искусстве. В данной

ситуации напрашиваются четыре плана, на любом из которых мог остановить свой выбор полководец, — так ведь и болезнь протекает по-разному, а врач должен быть готов к любому обороту. И тут тоже все зависит от человеческой слабости и человеческого величия. В самом деле, положим, что из четырех планов случайные причины (не главные цели, недостаток времени, малочисленность, плохое снабжение) вынуждают полководца остановиться на первом, ибо хотя он далеко не безукоризнен, но зато потребует меньше жертв, меньше времени, и осуществить его можно в такой местности, где армия не будет нуждаться в продовольствии. Полководец может, начав с этого первого плана, в котором неприятель, сперва недоумевающий, скоро разберется, и потерпев неудачу из-за превышающих его силы препятствий, — это я называю случайностью, проистекающей из человеческой слабости, — отказаться от этого плана и попробовать второй, третий, четвертый. Но он может попробовать первый, — и это я называю человеческим величием, — только как хитрость, чтобы сковать главные силы противника и обрушиться на него там, где он этого не ожидает. Так было под Ульмом: Мак ждал, что неприятель нападет на него

с запада, а его окружили с севера, между тем он считал, что на севере-то ему как раз ничто и не угрожает. Впрочем, это не очень показательный пример. Ульм — наилучший вид окружения, и он будет воспроизведен не только потому, что это классический пример, источник вдохновения для полководцев, но и потому, что это нечто вроде необходимой формы (одной из необходимых — она не исключает выбора, разнообразия), как бы вид кристаллизации. Но этот пример еще ничего не доказывает, потому что условия ульмского сражения все-таки искусственны. Если обратиться к нашей книге по философии, то эти условия можно приравнять к рационалистическим принципам или к научным законам; действительность с ними сообразуется почти во всем, но вспомни великого математика Пуанкаре:[81] он не уверен, что и математика — вполне точная наука. Что же касается уставов, о которых я тебе говорил, то в общем они большой роли не играют, да к тому же меняются, хотя меняются изредка. Так, мы, кавалеристы, руководствуемся уставом полевой службы девяносто пятого года, а это, можно сказать, пережиток, потому что он

[81] Примечания: 81

Пуанкаре, Анри (1854–1912) — знаменитый французский математик, член Академии наук.

основан на устарелой, обветшалой доктрине, которая заключается в том, что кавалерийский бой имеет чисто моральное значение: налет кавалерии устрашающе действует на противника. А между тем самые умные наши учителя, все, что есть лучшего в кавалерии, и особенно майор, о котором я тебе говорил, утверждают, что решающей будет самая настоящая рукопашная схватка, когда состязаются пики и сабли, схватка, из которой выходит победителем наиболее стойкий противник не только благодаря моральному перевесу, который ему дало действие страха, но и благодаря перевесу материальному.

— Сен-Лу прав, — возможно, что устав полевой службы изменится именно в этом направлении, — заметил мой сосед.

— Я не сержусь на тебя за то, что ты меня поддерживаешь, — твое мнение, по-видимому, больше значит для моего друга, чем мое, — сказал со смехом Сен-Лу: то ли его слегка раздражала зарождающаяся симпатия между его товарищем и мной, то ли он полагал, что вежливость требует от него, чтобы он признал эту симпатию официально. — Да и потом, я, может быть, все-таки недооценил значение уставов. Они меняются, это правда. Но пока что они опреде-

ляют военную обстановку, планы кампании и концентрацию войск. Если они отражают неверную стратегическую концепцию, то могут оказаться исходным пунктом поражения. Все это чересчур специально для тебя, — сказал он, обращаясь непосредственно ко мне. — Усвой главное: больше всего способствуют развитию военного искусства сами войны. Во время войны, если она затягивается, одна из воюющих сторон извлекает уроки из успехов и ошибок противника, совершенствует его приемы, а другая сторона напрягает усилия, чтобы превзойти ее. Впрочем, все это в прошлом. Артиллерия превращается в столь грозную силу, что грядущие войны, если только они вспыхнут, будут такими короткими, что, прежде чем противники чему-нибудь научатся, мир будет заключен.

— Не будь чересчур обидчивым, — ответил я Сен-Лу на слова, сказанные им вначале. — Я слушал тебя раскрыв рот!

— Если ты обещаешь не злиться по пустякам и разрешишь мне дополнить то, что ты сказал, — снова заговорил приятель Сен-Лу, — я позволю себе заметить следующее: если одно сражение копирует другое и одно на другое напластовывается, то дело здесь не только в умысле

полководца. Может случиться, что промах полководца (например, недооценка мощи противника) вынудит его потребовать от своих войск чрезмерных жертв, а буде он их не потребует, то войсковые соединения сами пойдут на жертвы с такой великодушной самоотверженностью, что историки будут сравнивать их образ действий с образом действий такого-то войскового соединения в другом сражении и признают эти два подвига равновеликими; если говорить о восемьсот семидесятом годе, то вот примеры: прусская гвардия под Сен-Прива,[82] тюркосы.[83] под Фрешвиллером[84] и Виссенбургом[85]

— Вот-вот, равновеликими — это очень точно сказано! Прекрасно! Ты умница! — воскликнул Сен-Лу.

---

[82] Примечания: 82

Сен-Прива (Сен-Прива-ла-Монтань) — сельская община во Франции (департамент Мозель); здесь французы потерпели поражение 18 августа 1870 г.

[83] Примечания: 83

Тюркосы — французские солдаты африканского происхождения.

[84] Примечания: 84

Фрешвиллер — город на Рейне, близ которого 6 августа 1870 г. французские войска потерпели крупное поражение.

[85] Примечания: 85

Виссенбург — административный центр Нижнего Рейна; здесь 4 августа 1870 г. состоялась первая битва франко-прусской войны, завершившаяся отходом французских войск.

Я заинтересовался этими последними примерами, как заинтересовывался всякий раз, когда мне в частном показывали общее. Но сейчас меня занимал гений полководца, мне хотелось уяснить себе, в чем он заключается, какими средствами в таких обстоятельствах, когда полководец бездарный прекратил бы сопротивление, гениальный полководец добивается благоприятного исхода, казалось бы, проигранного сражения, что, по словам Сен-Лу, вполне возможно и что Наполеон проделывал не однажды. И чтобы понять, что такое выдающиеся способности в военном деле, я, рискуя надоесть новым моим приятелям, просил их сравнить известных мне полководцев: кто из них прирожденный военачальник, кто из них наиболее одаренный тактик, но мои приятели не показывали виду, что я им наскучил, и отвечали на вопросы с неутомимой кротостью.

Я чувствовал, что я укрыт (не только от окружавшей нас великой леденящей тьмы, откуда долетали порой свисток поезда, усиливавший наслаждение сидеть здесь, или бой часов, к счастью, еще далекий от боя, который призывал офицеров надевать сабли и возвращаться в казармы, но и от всех житейских забот, даже от воспоминаний о герцогине Германтской)

добротою Сен-Лу, которая как бы сгущалась от сливавшейся с нею доброты его друзей; а еще теплом этого отдельного кабинета, изысканностью подававшихся нам блюд. Эти блюда услаждали и мое воображение, и мое чревоугодие; иногда это были частицы природы, — шероховатая чаша устрицы с блестевшими на ней каплями соленой воды, узловатая ветка винограда, гроздь с пожелтевшими листьями, — несъедобные, поэтичные, далекие, как пейзаж, и во время ужина напоминавшие о полуденном отдыхе под кустом винограда и о морской прогулке: в иные вечера причудливое своеобразие кушаний оттенял повар — он подавал их в естественном обрамлении, и от этого казалось, что перед вами произведения искусства: вареная рыба на длинном глиняном блюде, устланном синеватой травой, на которой она особенно резко выделялась, не развалившаяся, но изогнувшаяся, оттого что ее живьем бросили в кипяток, окаймленная раковинками крохотных своих спутников: крабов, креветок и улиток, походила на керамическое изделие

Бернара Палисси.[86]

— Я ревную, я в бешенстве, — полушутя-полусерьезно сказал мне Сен-Лу, намекая на мои бесконечные разговоры с его приятелем. — Вы что же, считаете, что он умнее меня, вы любите его больше, чем меня? Значит, другим уже нечем поживиться? (Мужчина, беззаветной любовью любящий женщину и живущий в обществе бабников, позволяет себе шуточки, которые другой мужчина, считающий, что они не столь уж невинны, ни за что бы не отпустил.)

Когда разговор становился общим, то заводить речь о Дрейфусе избегали из боязни задеть Сен-Лу. И все же через неделю два его товарища заметили, как странно, что в военной среде живет такой ярый дрейфусар, почти антимилитарист. «Дело в том, — ответил я, не желая вдаваться в подробности, — что влияние среды не так уж сильно…» Я хотел на этом остановиться и не повторять мыслей, которыми я поделился с Сен-Лу несколько дней назад. Однако и эти слова были почти буквальным повторением мною уже сказанного,

---

[86] Примечания: 86

Палисси, Бернар (1510–1590) — французский керамист, ученый и писатель, снискавший себе славу эмалированными керамическими изделиями, которые часто были украшены изображениями животных, растений или фруктов.

а потому я решил извиниться и добавить: «Я об этом уже говорил...» Но я не принял во внимание, что покоряющий восторг, который Сен-Лу выражал мне и еще некоторым лицам, имел свою обратную сторону. В этот восторг входило такое глубокое усвоение чужих мыслей, что через два дня Сен-Лу забывал, что мысли эти — не его. Та, же участь постигла и мой скромный тезис: Сен-Лу с таким видом, как будто эта мысль всегда жила в нем и я только охотился в его владениях, счел своим долгом выразить одобрение и горячо поддержал меня:

— Ну конечно! Среда не имеет значения.

И с не меньшим жаром, словно боясь, что я перебью его или не пойму, воскликнул:

— Влияет по-настоящему среда интеллектуальная! Для человека важнее всего идея!

Тут он улыбнулся, как улыбаются те, что до конца продумали какой-нибудь вопрос, уронил монокль и пробуравил меня взглядом.

— Все люди, увлеченные одной идеей, одинаковы, — проговорил он с вызовом. Вне всякого сомнения, он совершенно забыл то, что это я ему говорил несколько дней назад, но зато самую мысль запомнил отлично.

Я приходил в ресторан Сен-Лу не всегда в оди-

наковом настроении. Иные воспоминания, иные горести оставляют нас в покое, и мы уже их не замечаем, но потом они все-таки возвращаются и иногда не расстаются с нами долго. В иные вечера, направляясь к ресторану, я так тосковал по герцогине Германтской, что мне становилось трудно дышать: у меня было такое чувство, словно часть моей грудной клетки вырезана искусным анатомом, удалена и заполнена равной частью невещественного страдания, эквивалентом томления и любви. Как бы хорошо ни были наложены швы, нам больно, когда внутренние органы заменяет тоска по ком-нибудь, кажется, что она занимает больше места, чем они, мы все время ее чувствуем, да и *сознавать* часть своего тела — какое это мучительное раздвоение! А ведь как будто бы мы способны на большее. При малейшем дуновении ветра мы тяжело переводим дух не только оттого, что нам тесно стало в груди, но и оттого, что мы изнываем. Я смотрел на небо. Если небо было чистое, я думал: «Может быть, она в деревне и тоже смотрит на звезды». И — как знать? — когда я приду в ресторан, не скажет ли мне Робер: «Приятная новость: тетя пишет, что соскучилась по тебе и собирается приехать сюда»? Не только с небосводом связы-

вал я мысль о герцогине Германтской. Легкий ветерок, казалось, приносил мне весть о ней, как прежде о Жильберте среди хлебов Мезеглиза: сами мы не меняемся, мы наполняем наше чувство множеством частиц, до времени спавших, им пробужденных, но ему чуждых. А кроме того, что-то такое внутри нас силится поднять наши личные чувства на высоту чего-то более истинного, иначе говоря — присоединить их к более общему чувству, свойственному всему человечеству, — таким образом, те люди и те муки, какие мы из-за них терпим, — это только средства приобщения к чувству общечеловеческому. Сознание, что моя мука есть крохотная частица любви вселенской, придавало ей нечто отрадное. Разумеется, из того, что я, как мне это рисовалось, узнавал душевную боль, какую мне причиняла Жильберта, или ту, что я ощущал вечерами в Комбре, когда мама от меня уходила, а также то, что мне запомнилось из Бергота, в нынешних моих страданиях, с которыми герцогиня Германтская, ее холодность, то, что она сейчас от меня далеко, не были так тесно связаны, как причина со следствием в голове ученого, я не делал вывода, что причина — в герцогине Германтской. Физическая боль распространяется путем иррадиации

и захватывает области, смежные с больной, но как только врач нащупает болевую точку, боль отпускает, а затем проходит окончательно. И все же, перед тем как пройти боли, ее протяжение придавало ей в нашем сознании нечто до того неопределенное и неизбежное, что, не в состоянии объяснить ее и даже локализовать, мы считали, что избавиться от нее невозможно. Идя в ресторан, я думал: «Я две недели не видел герцогиню Германтскую». Две недели могли казаться громадным сроком только мне: когда дело касалось герцогини Германтской, я отсчитывал минуты. Для меня не только в звездах и ветре, но и в арифметических делениях времени было что-то мучительное и поэтическое. Каждый день был теперь как движущаяся вершина зыбкого холма: я чувствовал, что по одному его склону я мог спуститься в забвение, вверх по другому меня увлекала потребность снова увидеть герцогиню. И, лишенный устойчивого равновесия, я перекатывался со склона на склон. Как-то раз я сказал себе: «Может быть, сегодня будет письмо» — и, придя ужинать, отважился спросить Сен-Лу:

— Из Парижа не было новостей?

— Были, — с мрачным видом ответил он, — неприятные.

Поняв, что есть от чего горевать только ему и что новости касаются его любовницы, я облегченно вздохнул. Но мне скоро стало ясно, что одним из следствий этих новостей явится то, что Робер долго не сможет пойти со мной к тетке.

Я узнал, что он и его любовница поссорились — то ли в письмах, то ли когда она приезжала к нему от поезда до поезда. А если между ними возникали ссоры, даже менее крупные, то ему казалось, что они рассорились навсегда. Она злилась, топала ногами, плакала по таким же непонятным причинам, по каким дети запираются в чулане, не идут обедать, не желают объяснить, что с ними, а когда, видя, что уговоры не действуют, их шлепают, они плачут навзрыд.

Сен-Лу тяжело переживал размолвку, но употребить это выражение — значит упростить и исказить представление о том, как он страдал. Вскоре после того как он остался один на один с мыслями о своей любовнице, которая уехала, проникшись к нему уважением оттого, что он проявил твердость характера, его тоску рассеяло ощущение непоправимости, а когда тоска проходит, это бывает так приятно, что размолвка, представлявшаяся ему разрывом, приобрела для него частицу той отрады, какую заключает в себе

примирение. Более поздние его страдания представляли собой уже вторичные муки и вспышки, неиссякаемым источником которых был он сам, все время думавший, что, может быть, она хотела бы помириться, что вполне вероятно, что она ждет от него только одного слова, что, не дождавшись, она в отместку там-то и в такой-то вечер может наделать Бог знает чего, а чтобы ее удержать, ему стоит только телеграфировать о своем приезде, что он упускает время, а другие этим воспользуются, что еще несколько дней — и будет уже поздно, потому что она уйдет к другому. Все это он мог только предполагать, молчание любовницы сводило его с ума, и он уже начал подозревать, не скрывается ли она в Донсьере, не уехала ли в Индию.

Говорят, что молчание — сила; если ее могут применить те, кого мы любим, то это страшная сила. От нее растет тревога ожидающего. Ничто так не тянет к человеку, как то, что нас с ним разделяет, а существует ли менее преодолимая преграда, чем молчание? Говорят также, что молчание — пытка и что оно способно довести до безумия тех, кто обречен на молчание в тюрьмах. Но какая пытка — еще более жестокая, чем молчать самому, — терпеть молчание

любимого человека! Робер задавал себе вопрос: «Что с ней, почему же она молчит? Значит, она мне изменяет?» А еще он говорил себе: «Что же я сделал, за что она наказывает меня таким упорным молчанием? Наверно, она меня возненавидела, и это уже конец». И он винил себя. Молчание в самом деле доводило его до безумия — доводило ревностью и угрызениями совести. Ведь такого рода молчание, страшнее молчания тюремного, есть тоже тюрьма. Промежуточный слой пустоты, через который не проходят лучи взгляда, вперяемого покинутым, — это стена, невещественная, разумеется, но непробиваемая. Нет более ужасного освещения, чем молчание, ибо оно показывает не одну отсутствующую, а великое множество, и каждая изменяет по-своему. Временами, в течение краткой передышки, Роберу казалось, что молчание вот-вот нарушится, что придет долгожданное письмо. Он видел его, оно приближалось, он сторожил каждый шорох, он успокаивался, он лепетал: «Письмо! Письмо!» Еще мгновение — и воображаемого оазиса нежности, который он прозревал, уже не было, и он снова еле передвигал ноги в осязаемой пустыне беспредельного молчания.

Он заранее мучился, не уклоняясь ни от од-

ного, всеми мучениями разрыва, а иногда ему казалось, что разрыва можно избежать, — так мысли людей, приводящих свои дела в порядок перед переселением, каковое не произойдет, мысли, не знающие, на чем они остановятся завтра, некоторое время мечутся, оторвавшись от людей, подобно сердцу, все еще бьющемуся, даже если его отделят от тела. Как бы то ни было, благодаря надежде, что любовница вернется, он стойко выдерживал разрыв, — так вера в то, что можно выйти живым из боя, помогает бесстрашно встретить лицом к лицу смерть. А поскольку привычка из всех живущих в человеке растений меньше других нуждается в питательной среде для того, чтобы жить, и прежде других появляется на скале, с виду совершенно голой, то, может быть, вначале играя в разрыв, он кончил бы тем, что взаправду свыкся бы с ним. Но неизвестность подогревала в нем связанное с воспоминаниями об этой женщине чувство, похожее на любовь. Тем не менее он делал над собой усилия, чтобы не писать ей, быть может, полагая, что в известных обстоятельствах жить без любовницы легче, чем вместе с ней, и что она рассталась с ним так, что после этого обязана попросить у него прощения, иначе у нее не останется к нему не только

нежного чувства, но и почтения и уважения. Он ограничивался тем, что ходил на телефон, который недавно провели в Донсьере, и расспрашивал или наставлял горничную, которую он сам нанял для своей подружки. Переговоры эти были, однако, затруднительны и отнимали у него массу времени, так как, наслушавшись своих друзей-литераторов, ругавших столицу, а главное, ради своих животных и птиц — собак, обезьяны, канареек и попугая, — надоевших хозяину парижского ее дома лаем, пением и криками, любовница Робера недавно сняла в окрестностях Версаля небольшое имение. Робера мучила бессонница. Как-то, когда он был у меня, сон его одолел. Вдруг он заговорил во сне — заговорил о том, что ему надо куда-то бежать, чему-то помешать, несколько раз повторил: «Я все слышу, вы не… вы не…» И проснулся. Он сказал, что ему приснилось, будто он в деревне у обер-вахмистра. Вахмистр не впускал его в какую-то комнату. Сен-Лу догадался, что вахмистр скрывает у себя очень богатого и очень развратного лейтенанта, который, насколько Сен-Лу было известно, жаждет близости с его подружкой. И вдруг он ясно услышал во сне повторявшиеся через определенные промежутки времени прерывистые

вскрики, вырывавшиеся из груди его любовницы в минуты особенно острых наслаждений. Сен-Лу хотел ворваться в эту комнату. Но вахмистр не пускал его, и вид у него был при этом такой возмущенный наглостью Робера, что Робер, как он говорил, теперь уже никогда его не забудет.

— Идиотский сон, — все еще тяжело дыша, заключил Робер.

Но после этого он в течение часа порывался поговорить по телефону с любовницей и помириться с ней. Только что появился телефон у моего отца, но вряд ли от этого был бы какой-нибудь толк для Сен-Лу. Притом я считал, что это не очень удобно — поручать моим родителям или даже поставленному у них аппарату роль посредника между Сен-Лу и его любовницей, как бы ни были утонченны и благородны ее чувства. Дурной сон уплывал из его памяти медленно. С невидящим и неподвижным взглядом он приходил ко мне несколько дней подряд, и эти страшные дни постепенно вычертили для меня как бы некую безукоризненную кривую линию наспех сколоченных подмостков, откуда Робер все спрашивал себя, какое решение примет его подружка.

Наконец она попросила прощения. Как только

он убедился, что разрыва не произойдет, ему стала ясна отрицательная сторона примирения. Да и боль в его душе приутихла, он уже склонен был думать, что все к лучшему, а вот если, мол, их связь возобновится, то несколько месяцев спустя, пожалуй, опять начнутся его терзания. Колебался он недолго. Да и колебался-то он, пожалуй, только потому, что наконец-то был уверен, что может отбить свою любовницу — может, значит: отобьет. Она только просила его дать ей успокоиться и не приезжать в Париж на Новый год. Между тем съездить в Париж и не повидаться с ней — это было выше сил Сен-Лу. Правда, она соглашалась отправиться с ним в путешествие, но для путешествия Сен-Лу нужен был длительный отпуск, а князь Бородинский не соглашался отпустить его.

— Я очень жалею, что так получилось, — из-за этого откладывается наш визит к моей тете. Но уж на Пасху-то я приеду в Париж непременно.

— На Пасху мы не сможем пойти к герцогине Германтской — я буду уже в Бальбеке. Но это совершенно неважно.

— В Бальбеке? Ведь вы же ездили туда в августе.

— Да, но в этом году мне по состоянию здоровья надо будет поехать раньше.

Сен-Лу больше всего боялся, как бы я после его рассказов о любовнице не стал думать о ней дурно. «Она резка, потому что у нее слишком открытый нрав, она собой не владеет. Но у нее высокий душевный строй. Ты себе не представляешь, какая у нее утонченно-поэтическая натура. Каждый год она проводит день поминовения усопших в Брюгге,[87] Как это хорошо, правда? Когда ты с ней познакомишься, ты увидишь: в ней столько благородства...» Сен-Лу нахватался слов, какими уснащали свою речь литераторы, увивавшиеся вокруг этой женщины, а потому не мог не прибавить: «В ней есть что-то астральное и даже провидческое, — ты понимаешь, что я хочу сказать: она — поэт, доходящий почти до жреческого ясновидения».

За ужином я все искал предлога для того, чтобы Сен-Лу попросил тетку принять меня до его приезда в Париж. Таким предлогом явилось мое желание еще раз посмотреть картины Эльстира, великого художника, с которым Сен-Лу и я познакомились в Бальбеке. И это был не только предлог, потому что если раньше, приходя в мастерскую Эльстира, я требовал от его живописи,

[87] Примечания: 87

Брюгге — город в Бельгии, административный центр Западной Фландрии. День поминовения усопших отмечается во Франции 2 ноября.

чтобы она научила меня понимать и любить то, что было лучше ее самой: настоящую оттепель, подлинную площадь в провинциальном городе, живых женщин на берегу моря (самое большее, на что я тогда был способен, это попросить его изобразить явления, глубину которых я не постигал, — например, дорогу, обсаженную боярышником, — но не для того, чтобы он сохранил для меня их красоту, а для того, чтобы он мне ее открыл), то теперь мою любознательность возбуждала неповторимость, пленительность его работ, и мне особенно хотелось посмотреть другие картины Эльстира. Мне ведь казалось, что даже в наименее удачных его картинах есть что-то своеобычное, отличающее их от шедевров величайших художников. Его творчество было особым царством с резко очерченными границами, не похожими ни на какое другое. Усердно собирая старые журналы, где печатались статьи об Эльстире, я узнал, что он совсем недавно начал писать пейзажи и натюрморты, а начал с мифологических сюжетов (фотографии двух таких картин я видел у него в мастерской), затем в течение долгого времени испытывал на себе влияние японского искусства.

Некоторые из наиболее характерных его

произведений, написанных в разной манере, находились в провинции. Дом где-нибудь в Анделе,[88] — потому что там висел один из лучших его пейзажей, — являлся для меня такой же драгоценностью и так же неодолимо тянул пуститься в странствия, как село близ Шартра, где стоит мельница с жерновом, в который вставлен знаменитый витраж; и к обладателю этого шедевра, к этому человеку, который, заперевшись, точно астролог, в своем некрасивом доме на главной улице, вопрошал зеркало жизни — картину Эльстира, приобретенную им, быть может, за несколько тысяч франков, меня влекла приязнь, которая объединяет даже сердца, даже характеры людей, думающих одно и то же о чем-нибудь важном. В одном из журналов было указано, что три выдающихся произведения моего любимого художника составляют собственность герцогини Германтской. Значит, в тот вечер, за ужином, когда Сен-Лу сообщил мне, что его подружка собирается в Брюгге, я мог, не кривя душой, в присутствии его друзей как бы ненароком повести с ним такую речь:

— У меня к тебе есть вопрос в связи с разговором

---

[88] Примечания: 88

Андели — городок на Сене, административный центр департамента Эр.

о той даме. Ты помнишь Эльстира, художника, с которым я познакомился в Бальбеке?

— Ну еще бы!

— Помнишь, как я им восхищался?

— Прекрасно помню, помню и письмо, которое мы с тобой велели ему передать.

— Следовательно, тебе должна быть известна не самая важная, дополнительная причина того, почему я ищу знакомства с этой дамой.

— Какое длинное предисловие!

— Дело в том, что у нее есть по крайней мере одна чудная картина Эльстира.

— А я и не знал.

— Эльстир, конечно, будет на Пасху в Бальбеке — вы же знаете, что теперь он проводит там почти целый год. Мне очень хочется посмотреть его картину до отъезда. Я не знаю, насколько вы хороши с вашей теткой: не могли бы вы во избежание отказа отозваться обо мне в самых лестных выражениях и попросить разрешения посмотреть картину без вас, поскольку вы не собираетесь в Париж?

— Безусловно. Я за нее ручаюсь, все будет сделано.

— Робер! Как я вас люблю!

— Это очень мило с вашей стороны, что вы меня

любите, но еще было бы мило, если б вы говорили мне «ты», как обещали, и ведь ты уже начал…

— Надеюсь, вы уславливаетесь не насчет вашего отъезда? — спросил меня один из приятелей Робера. — Имейте в виду: если Сен-Лу возьмет отпуск, то от этого ничего не изменится — ведь мы же остаемся. Может быть, с нами вам будет не так интересно, но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы его отсутствие было не так заметно.

В самом деле: когда все уже думали, что подружка Робера поедет в Брюгге одна, стало известно, что князь Бородинский вдруг передумал и решил надолго отпустить унтер-офицера Сен-Лу в Брюгге. Вот как это случилось. Князь, очень гордившийся своей роскошной шевелюрой, постоянно стригся у лучшего парикмахера в городе — когда-то этот парикмахер состоял в подмастерьях у парикмахера Наполеона III. Князь Бородинский был с парикмахером в самых добрых отношениях — он хоть и любил напускать на себя таинственный вид, а с маленькими людьми держался просто. Но князь задолжал парикмахеру лет за пять, флаконы с «Портюгалем» и «О-де-Суверен», щипцы, бритвы и ремни для правки были в глазах парикмахера не менее священны, чем шампунь, ножницы и

т. д., а Сен-Лу он ставил выше князя, во-первых, потому что Сен-Лу расплачивался чистоганом, а во-вторых, потому что у Сен-Лу были свои выезды и свои верховые лошади. Узнав, что у Сен-Лу досадное обстоятельство: ему нельзя поехать с любовницей, брадобрей горячо заговорил об этом с князем, облаченным в белый стихарь, в тот самый момент, когда голова у князя была запрокинута и он угрожал бритвой его горлу. Рассказ о любовных похождениях молодого человека вызвал на лице князя бонапартовски снисходительную улыбку. Вряд ли он вспомнил о своем долге цирюльнику, — как бы то ни было, к просьбе цирюльника он отнесся столь же благосклонно, сколь неблагосклонно отнесся бы к просьбе герцога. Подбородок был у него еще весь в мыле, а дать отпуск он уже обещал и подписал в тот же вечер. Цирюльник, первостепенный хвастун, по своей невероятной страсти к небылицам приписывавший себе несуществующие добродетели, тут, оказав Сен-Лу важную услугу, не только не стал благовестить о своем добром деле, но, — как будто тщеславие, обычно нуждающееся во лжи, если к ней незачем прибегать, уступает место скромности, — никогда словом не обмолвился об этом Роберу.

Все офицеры говорили мне, что, сколько бы я ни пробыл в Донсьере и когда бы ни пожелал приехать сюда еще раз, — если Робера здесь в это время не окажется, — их экипажи, лошади, дома, досуг будут в моем распоряжении, и я чувствовал, что эти молодые люди всей душой хотят, чтобы моя слабость нашла себе опору в их роскоши, молодости, здоровье.

— Да и отчего бы вам, — после уговоров остаться в Донсьере продолжали приятели Сен-Лу, — отчего бы вам не приезжать сюда каждый год? Эта тихая жизнь придется вам по душе, вот увидите! А кроме того, вас интересует все, что касается полка, вы — настоящий старый служака.

А я и правда все приставал к ним с просьбой перечислить известных мне полководцев в таком порядке: кто заслуживает большего, кто — меньшего восхищения, как когда-то в колледже заставлял товарищей называть артистов Французского театра и говорить, кого они любят больше, кого — меньше. Если вместо одного из генералов, которых мне всегда называли в числе

лучших, например, Галифе,[89] или Негрие[90] приятель Сен-Лу, заявив: «Генерал Негрие — бездарность», выкрикивал новое имя, незахватанное и вкусное, вроде По,[91] или Жеслена де Бургонь[92] меня это так же радостно изумляло, как прежде, когда утратившие свежесть имена Тирона.[93] или Февра[94] оттеснялись внезапно расцветшим, непривычным для моего слуха именем Амори[95] «Даже выше Негрие? Но чем? Докажите». Мне хотелось, чтобы даже младшие офицеры существенно отличались друг от друга, — я надеялся, что эти отличия помогут мне уяснить, в чем же, главным образом, проявляется превосходство одного военного перед другим. Одним из офицеров, который меня особенно интересовал с этой точки зрения, потому что он чаще других попа-

---

[89] Примечания: 89

Галифе, Гастон Огюст, маркиз (1830–1909) — французский военный и политический деятель, снискал себе печальную славу зверским подавлением Парижской коммуны.

[90] Примечания: 90

Негрие, Франсуа Оскар, де (1839–1913) — генерал, участник войны 1870 г., а также военных действий в Алжире и Индокитае.

[91] Примечания: 91

По, Поль Мари Сезар (1848–1932) — генерал, участник битвы при Фрешвиллере, в которой был тяжело ранен; командующий эльзасской армией во время Первой мировой войны.

[92] Примечания: 92

Жеслен де Бургонь, Ив-Мари (1847–1910) — французский военный деятель, командующий кавалерией в 1898 г.

[93] Примечания: 93

Тирон, Шарль-Жозеф-Жан (1830–1891) — французский актер, социетарий (пайщик) театра «Комеди Франсез».

[94] Примечания: 94

Февр, Александр-Фредерик (1835–1916) — французский актер, выступавший на сцене «Комеди Франсез» в пьесах современного репертуара, социетарий театра.

[95] Примечания: 95

Амори — Эрнест-Феликс Соке, прозванный Амори (1849–1910) — французский актер, входивший в труппу театра «Одеон» в 1880–1900 гг.

дался мне на глаза, был князь Бородинский. Но и Сен-Лу, и его приятели, отдавая ему должное как прекрасному офицеру, добившемуся от своего эскадрона безукоризненной выправки, не любили его как человека. Конечно, они не говорили о нем таким тоном, как о людях, дослужившихся до офицерского чина, или о масонах, державшихся особняком, с видом нелюдимых фельдфебелей, но, судя по всему, и не относили князя Бородинского к разряду знатных офицеров, потому что он держал себя совсем иначе, чем они, даже с Сен-Лу. Они, пользуясь тем, что Робер — всего лишь унтер-офицер и что поэтому его могущественная родня должна быть счастлива, что его приглашают начальники, коими, не будь этого обстоятельства, она пренебрегала бы, неизменно усаживали его за свой стол, если тут же сидела важная шишка, которая могла быть полезной молодому офицеру. А у князя Бородинского были с Робером только служебные отношения, хотя и прекрасные. Дедушка князя был произведен в маршалы императором, и великокняжеский титул он получил тоже от императора, а потом он породнился с ним благодаря браку, отец же князя женился на двоюродной сестре Наполеона III и

после государственного переворота,[96] два раза занимал министерские посты, и все же князь чувствовал, что Сен-Лу и общество Германтов смотрят на него сверху вниз, а князь, придерживавшийся других взглядов, не испытывал особого почтения к Сен-Лу и к обществу Германтов. Он догадывался, что для Сен-Лу, родственника Гогенцоллернов[97] он не настоящий дворянин, а внук фермера, зато для него Сен-Лу был сыном человека, чье графство было подтверждено императором, — в Сен-Жерменском предместье таких людей называли ремонтированными графами, — и который домогался у императора префектуры, а потом и гораздо менее важных должностей, находившихся в ведении его высочества великого князя Бородинского, министра, к которому в письмах обращались: «Ваше высочество» — и который был племянником государя.

Может быть, даже больше, чем племянником. Первая княгиня Бородинская, по слухам, дарила

---

[96] Примечания: 96

…после государственного переворота… — Имеются в виду события 2 декабря 1851 г., в результате которых власть захватил Луи Наполеон Бонапарт (1808–1873), разогнавший законодательное собрание и провозгласивший себя императором.

[97] Примечания: 97

Гогенцоллерны — династия германских императоров и прусских королей, правившая с 1701 до 1918 г.

благосклонностью Наполеона I и последовала за ним на остров Эльба, а вторая — Наполеона III. И на спокойном лице капитана можно было различить если и не черты прямого сходства, то, во всяком случае, деланную величественность маски Наполеона I, а в его печальном и добром взгляде и отвислых усах, больше чем в чем-нибудь еще, было нечто напоминавшее Наполеона III, напоминавшее до того живо, что когда, после Седана,[98] он попросил разрешения увидеться с императором, то Бисмарк, к которому его привели и который сперва в вежливой форме отказал, будучи потрясен этим сходством, каковое он, невзначай подняв на него глаза, мгновенно уловил, передумал, вернул уже направившегося к выходу молодого человека, и тот получил разрешение, которого Бисмарк не давал никому и, в частности, только что не дал князю.

Князь Бородинский не желал заигрывать с Сен-Лу и с другими служившими в полку членами общества Сен-Жерменского предместья (зато двух симпатичных лейтенантов-разночинцев звал к себе часто) потому, что смотрел на всех

[98] Примечания: 98

Седан — французский город в департаменте Арденн; здесь 2 сентября 1870 г. стотысячная французская армия во главе с Наполеоном III потерпела унизительное поражение, что вызвало падение империи.

подчиненных с высоты своего императорского величия, и для него между ними была только та разница, что одни сознавали, что они ниже его, и дружба с ними доставляла ему удовольствие, ибо, несмотря на всю свою чисто внешнюю неприступность, он был человек простой и веселый, а другие хоть и были ниже, но считали себя выше его, и вот этого он не допускал. И тогда как у других офицеров Сен-Лу был нарасхват, князь Бородинский, которому Сен-Лу рекомендовал маршал Х, ограничивался тем, что был к нему внимателен на службе, — кстати сказать, служебные свои обязанности Сен-Лу исполнял образцово, — но упорно не приглашал его к себе, кроме одного исключительного случая, когда он до известной степени был вынужден его позвать, а так как этот случай произошел при мне, то князь попросил Сен-Лу прийти со мной. В тот вечер, следя за тем, как держит себя Сен-Лу за столом у капитана, я без труда улавливал во всем, — вплоть до манер и элегантности, — разницу между двумя аристократиями: старинной и времен Империи. Выходец из касты, недостатки которой, хоть он и старался победить их разумом, всосались в его кровь, касты, которая, лет сто тому назад утратив реальную власть, в покрови-

тельственной любезности, составляющей особый раздел программы получаемого ею воспитания и выказываемой по отношению к буржуазии, которую эта знать так презирает, что не думает, чтобы непринужденность аристократии ей льстила, а бесцеремонность делала честь, не видит ничего, кроме физического упражнения, вроде верховой езды или фехтования, коим она занимается без всякой серьезной цели, только для развлечения, Сен-Лу дружески пожимал руку любому из тех буржуа, с кем его знакомили, пожимал, может быть, даже не расслышав его фамилии, и в разговоре (приняв небрежную позу, развалившись, все время перекладывая ногу на ногу и держась рукой за башмак) называл его «дорогой мой». Напротив, принадлежа к дворянству, титулы коего не теряли своего значения в тех случаях, когда у того или иного славного рода сохранялось поместье, некогда пожалованное предку за большие заслуги и напоминавшее о высоких постах, на которых занимающие эти посты распоряжаются судьбами многих людей и должны хорошо знать людей, князь Бородинский, — быть может, не отдавая себе в этом отчета, не вполне осознанно, но, во всяком случае, всем телом, о чем свидетельствовали положения, какие он принимал, и все

его ухватки, — ощущал свой ранг как действенную прерогативу; к тем же самым разночинцам, которых Сен-Лу трепал по плечу и брал за руку, он проявлял величественную доброжелательность, причем сдержанность, полная сознания собственного превосходства и наигранного высокомерия, умеряла его искреннее, улыбчивое добродушие. Без сомнения, это объяснялось тем, что князь был ближе к посольствам великих держав и ко двору, где его отец занимал самые высокие посты и где манеры Сен-Лу ставить локти на стол и держаться рукой за ногу коробили бы всех, но главным образом это объяснялось тем, что князь не с таким презрением, как Сен-Лу, относился к буржуазии, этому громадному резервуару, откуда первый император черпал маршалов и свою знать и где второй император отыскал Фульда.[99] и Руэра[100]

Понятно, замыслы отца и деда, которые не мог претворить в жизнь их сын и внук, всего-навсего командир эскадрона, не занимали воображение

---

[99] Примечания: 99

Фульд, Ашиль (1800–1867) — французский банкир, с 1842 г. — депутат законодательного собрания, в 1849–1852 и 1861–1867 гг. министр финансов.

[100] Примечания: 100

Руэр, Эжен (1814–1884) — французский государственный деятель, министр юстиции и председатель Сената.

князя Бородинского. Дух ваятеля в течение многих лет после того, как он угас, продолжает жить в вылепленной им статуе, — вот так же и эти замыслы обрели в нем форму, материализовались, воплотились, отражались на его лице. Вспыльчиво, как первый император, пушил он капрала, с мечтательной грустью второго императора, покуривая, пускал дым. Когда он шел в штатском по донсьерским улицам, украдчивый блеск его глаз под котелком создавал вокруг капитана ореол монаршего инкогнито; все трепетали, когда он, сопровождаемый фельдфебелем и писарем, появлялся в канцелярии обер-вахмистра, — можно было подумать, что его сопровождают Бертье и Массена.[101] Когда он выбирал материю на штаны для своего эскадрона, он впивался в полкового портного взглядом, способным привести в замешательство Талейрана[102] и обмануть Александра I; а иногда, производя общий осмотр, он вдруг останавливался, покручивал усы, и его

---

[101] Примечания: 101

…можно было подумать, что его сопровождают Бертье и Массена. — Маршалы Луи Александр Бертье (1753–1815) и Андре Массена (1756–1817) были ближайшими сподвижниками Наполеона.

[102] Примечания: 102

Талейран-Перигор, Шарль Морис, герцог (1754–1838) — великий французский дипломат, прославился своей ловкостью, коварством и вероломством, присягал восемнадцати французским правительствам.

чудные голубые глаза принимали такое задумчивое выражение, что, казалось, он создает новую Пруссию и новую Италию. Но, в одно мгновение вновь превратившись из Наполеона III в Наполеона I, он делал замечание по поводу того, что амуниция не в порядке, и изъявлял желание снять пробу. А у себя дома он ласкал взоры жен офицеров-буржуа (если только эти офицеры не были масонами) не только сервизом старинного севрского голубого фарфора, который можно было бы поставить на стол даже в честь посла (этот сервиз, подаренный его отцу Наполеоном, казался еще большей драгоценностью в том провинциальном доме на бульваре, где он жил, подобно редкому фарфору, который особенно пленяет туристов, когда они обнаруживают его в бывшей усадьбе, представляющей собою теперь торгово-промышленную доходную ферму, в простом буфете), но и другими дарами императора: благородными, изящными, прелестными манерами, — иметь такие манеры был бы счастлив и дипломат, но беда в том, что иные за подобные дары всю жизнь подвергаются наинесправедливейшему из остракизмов, подвергаются за то, что они «из хорошей семьи», — непринужденностью жестов, благожелательностью, учтивостью и

оправленным в эмаль, тоже старинную, голубую, содержащим в себе образы людей достославных, таинственным, освещаемым изнутри, сохранившимся в целости ковчегом взгляда.

О знакомствах, которые князь завел среди обывателей Донсьера, надо заметить следующее. Подполковник прекрасно играл на рояле, жена главного врача пела так, словно она окончила консерваторию с золотой медалью. И главный врач с женой, и подполковник с женой обедали у князя Бородинского раз в неделю. Конечно, им было приятно знать, что в Париже князь обедает у г-жи де Пурталес,[103] у Мюратов[104] и т. п. Что не мешало им рассуждать так: «Ведь он же всего-навсего капитан, он счастлив, что мы у него бываем. Но он наш истинный друг». А князь Бородинский, давно уже хлопотавший, чтобы его перевели куда-нибудь поближе к столице, получив новое назначение и переехав в Бове, тотчас

---

[103] Примечания: 103

Г-жа де Пурталес — графиня Эдмон де Пурталес, урожденная Мелани де Бюсьер (1832–1914), фрейлина императрицы Евгении, супруги Наполеона III.

[104] Примечания: 104

…у Мюратов… — В конце XIX века во Франции было несколько аристократов этой фамилии, восходящей к Иохиму Мюрату (1771–1815), маршалу Франции и королю Неаполитанскому. Пруст был лично знаком с принцессой Люсьен Мюрат (1876–1951), чей аристократический дом ему доводилось посещать.

же забыл и думать о двух обожавших музыку супружеских парах, так же как он забыл и думать о донсьерском театре и ресторанчике, откуда ему часто приносили завтрак, и, к великому их негодованию, ни подполковник, ни главный врач, которые так часто у него обедали, до конца своих дней не получили от него ни одного письма.

Однажды утром Сен-Лу признался, что написал моей бабушке о том, как я себя чувствую, и подал ей мысль воспользоваться телефонной связью между Донсьером и Парижем и поговорить со мной. Словом, в тот же день бабушка должна была вызвать меня к аппарату, и Сен-Лу посоветовал мне быть без четверти четыре на телефонной станции. Телефоном тогда еще так широко не пользовались, как теперь. И все же привычке нужно очень мало времени для совлечения тайны со священных форм, с коими мы соприкасаемся, — вот почему, так как нас соединили не сразу, я думал только о том, как это долго, как это неудобно, и уже хотел было жаловаться. Подобно всем моим современникам, я считал, что внезапные изменения изумительной феерии совершаются слишком медленно, тогда как этой феерии достаточно нескольких мгновений, чтобы перед нами предстало незримое, но

живое существо, с которым мы хотим говорить, которое сидит у себя за столом, в городе, где оно проживает (бабушка жила в Париже), под небом, непохожим на наше, не непременно в такую же погоду, — существо, чьих обстоятельств и дел мы не знаем, но о которых оно нам сейчас расскажет, — и вдруг переносится за сотни миль (оно само и окружающая его обстановка), к нашему уху в тот миг, когда этого потребовала наша прихоть. Мы словно действующее лицо из сказки, которому волшебница, исполняя выраженное им желание, показывает в неземном свете его бабушку или невесту, которые читают книгу, проливают слезы, рвут цветы очень близко и вместе с тем очень далеко от зрителя — там, где они действительно находятся. Чтобы это чудо совершилось, нам стоит лишь приблизить губы к чудодейственной пластинке и вызвать — должен сознаться, что иной раз на это уходит не так уж

мало времени, — вечно бодрствующих Дев,[105] чей голос нам слышится ежедневно, но чьих лиц мы не видим, наших ангелов-хранителей в кромешной тьме, врата которой они стерегут неусыпно; Всемогущих, благодаря которым отсутствующие возникают рядом с нами, хотя нам не разрешается на них взглянуть; Данаид,[106] Незримого, все время опорожняющих, наполняющих и передающих друг другу урны звуков; насмешливых Фурий[107] которые в тот миг, когда мы лепечем признание возлюбленной в надежде, что никто нас не слышит, безжалостно кричат: «Я слушаю!»; всегда сердитых служительниц Таинства, недоверчивых жриц Незримого, телефонных барышень!

И в ответ на наш призыв, раздающийся в но-

---

[105] Примечания: 105

…вечно бодрствующих Дев… — Нижеследующий контекст позволяет думать, что Пруст уподобляет телефонисток («барышень») весталкам, жрицам Весты, покровительницы семейного очага. Во время служения Весте, начинавшегося в 6– 10 лет и длившегося 30 лет, они должны были сохранять обет девственности, при нарушении которого их живьем закапывали в землю. В 1907 г. Пруст опубликовал в «Фигаро» небольшую статью, в которой довольно пространно описывал магический труд «телефонных барышень»; работая над романом, он включил большую часть этой статьи в текст.

[106] Примечания: 106

Данаиды — в греческой мифологии пятьдесят дочерей царя Даная, заколовшие после первой брачной ночи своих мужей. В Аиде они несут вечное наказание, наполняя водой дырявый сосуд.

[107] Примечания: 107

Фурии — в римской мифологии богини мести и угрызений совести, наказывающие человека за совершенные грехи.

чи, полной видений, воспринимаемых только нашим слухом, слышится легкий шорох — абстрактный звук — звук преодоленного пространства, и вслед за тем голос любимого существа обращается к нам.

Это оно, это его голос говорит с нами, вот он, тут. Но до чего же он от нас далек! Как часто я мучительно вслушивался в него, ибо, имея возможность не раньше, чем после многочасового путешествия, увидеть ту, чей голос был так близко от моего уха, я отчетливее сознавал, сколько разочарования приносит кажущаяся эта близость, хотя бы и необычайно нежная, и какое громадное расстояние отделяет нас от любимых существ в тот миг, когда нам представляется, что стоит протянуть руку — и мы их удержим. Неложное присутствие в условиях действительной разлуки — вот что такое близкий этот голос! Но и предвестие разлуки вечной! Много раз, когда я слушал и не видел говорившую со 'мной издалека, мне казалось, будто ее голос взывает из такой бездны, откуда уже не выберешься, и я предчувствовал, как сожмется у меня сердце в день, когда этот голос (один, уже вне тела, которое я больше никогда не увижу) прошепчет мне на ухо слова, и слова эти мне так страстно захочется

поцеловать при их излете из уст, но уста навсегда превратятся в прах.

Тогда, в Донсьере, чудо — увы! — не совершилось. Я пришел на телефонную станцию уже после того, как бабушка меня вызывала; я вошел в кабинку, но провод был занят, кто-то говорил, не догадываясь, очевидно, что его никто не слушает, потому что, когда я поднес к уху трубку, этот кусок дерева болтал, как Полишинель; точно в кукольном театре, я заставил его замолчать, водворив на место, но как только я снова приблизил его к себе, он, подобно Полишинелю, затарантил опять. В отчаянии я решительно повесил трубку, чтобы прекратить судороги звучащей этой деревяшки, трещавшей до последней секунды, и пошел к телефонисту — тот попросил меня подождать; потом я опять заговорил и, после нескольких секунд молчания, неожиданно услышал голос, который до сих пор напрасно казался мне знакомым, напрасно потому, что всякий раз, когда бабушка со мной разговаривала, я следил за тем, что она говорит, по раскрытой партитуре ее лица, в котором большое место занимали глаза, самый же ее голос я слышал сегодня впервые. И оттого что этот голос изменил свои соотношения в тот миг, когда он стал для меня всем и доходил

один, без сопровождения черт лица, я почувствовал, какой он ласковый; впрочем, может быть, прежде он никогда таким и не был, ибо сейчас бабушка, сознавая, что я от нее далеко, и полагая, что я несчастен, сочла возможным не противиться приливу нежности, между тем как обычно в воспитательных целях она ее сдерживала и таила. Голос был ласков, но сколько же в нем было и грусти — прежде всего из-за этой самой ласковости, отвеявшей от себя, — как это крайне редко бывает с человеческим голосом, — всяческую строгость, самомалейший намек на упрямство, на эгоизм; хрупкий вследствие деликатности, казалось, он вот-вот разобьется, изойдет чистым потоком слез; затем, так как он был со мною один, без маски лица, я впервые заметил, что он надтреснут от житейских невзгод.

Впрочем, только ли голос производил на меня, оттого что он был один, новое, терзавшее душу впечатление? Понятно, нет; скорее одиночество голоса являлось как бы символом, отражением, прямым следствием другого одиночества, одиночества бабушки, впервые расставшейся со мной. Приказания и запрещения, которые я поминутно выслушивал от нее в обыденной жизни, скука послушания или пыл возмущения,

умерявшие мою любовь к ней, в этот миг, а пожалуй, что и на будущее время, были сведены на нет (потому что бабушка уже не требовала, чтобы я находился под ее надзором, она бы даже согласилась, чтобы я навсегда остался в Донсьере или, по крайней мере, пожил здесь как можно дольше, если только я тут хорошо себя чувствую и мне тут хорошо работается); итак, в этом звоночке, приставленном к уху, освобожденная от ежедневно давивших на нее противовесов и благодаря этому всколыхивавшая всю мою душу, сосредоточилась сейчас взаимная наша любовь. Бабушка, сказав, чтобы я здесь побыл, вызвала во мне страстное, безумное желание вернуться домой. Свобода, которую она мне предоставляла и на которую я никак не мог рассчитывать, вдруг показалась мне такой же тоскливой, как та, какою я буду пользоваться после ее смерти (когда я все еще буду любить бабушку, а она от меня уйдет навеки). Я кричал: «Бабушка, бабушка!» — и мне хотелось поцеловать ее; но около меня был только ее голос, призрачный, такой же неосязаемый, как тот, что, быть может, придет ко мне, когда ее не будет в живых: «Говори»; но тут вдруг я снова остался один, мой слух уже не улавливал ее голоса. Бабушка не слышала меня, нас разъ-

единили, мы не находились друг против друга, мы перестали быть слышны друг другу, я взывал к ней в ночь, наугад, чувствуя, что и ее зов где-то теряется. Я дрожал от волнения, какое охватило меня, маленького, давным-давно, когда я потерял ее в толпе, — волнение не столько оттого, что я ее не найду, сколько при мысли, что она меня ищет, что она, наверно, думает, что я ее ищу; волнение, отчасти похожее на то, какое охватит меня в день, когда мы обращаемся к тем, кто уже не может нам ответить, кому нам хочется сказать много такого, чего мы не говорили им, пока они были живы, и уверить их, что мы не страдаем. Мне представлялось, что это дорогая тень, которую я потерял в сонме других теней, и, один, стоя перед аппаратом, я тщетно повторял: «Бабушка, бабушка!» — так Орфей,[108] оставшись один, повторял имя умершей. Я решил пойти в ресторан и сказать Роберу, что меня могут вызвать телеграммой и что на всякий случай мне хотелось бы знать расписание поездов. Но, прежде чем на это решиться, я вознамерился в последний раз воззвать

---

[108] Примечания: 108

...так Орфей... повторял имя умершей. — Намек на блуждания Орфея в подземном мире после того, как он вторично потерял Эвридику. Вергилий («Георгики», IV) рассказывает, что даже после смерти, когда голова Орфея уже была оторвана минадами, певец продолжал повторять: «Эвридика».

к Девам Ночи, Вестницам разговора, безликим богиням; однако своенравные Вратарницы не пожелали отворить чудодейственные врата, а вернее всего, не смогли; напрасно вызывали они, с присущей им неутомимостью, достопочтенного изобретателя книгопечатания и молодого князя, любителя импрессионистической живописи и шофера (это был племянник князя Бородинского), — Гутенберг и Ваграм[109] ничего не ответили им, и я ушел, понимая, что Незримое пребудет глухим к их мольбам.

Роберу и его приятелям я не сознался, что сердцем я уже не с ними, что мой отъезд решен окончательно. Робер сделал вид, что верит мне, но потом я узнал, что он с первого же взгляда понял, что моя нерешительность притворна и что завтра я отсюда уеду. Пока его приятели, забыв о стынущих кушаньях, искали в расписании поезд, с которым я мог бы уехать в Париж, а в звездной и холодной ночи пересвистывались паровозы, я, конечно, уже не ощущал душевного покоя, которым меня обычно одаряли дружески расположенные ко мне Роберовы приятели и проезжавшие вдали поезда. В этот вечер было много

[109] Примечания: 109

Гутенберг и Ваграм — названия крупнейших телефонных станций в Париже рубежа веков.

и тех и других, и они в таких же обстоятельствах действовали на меня по-иному. Мой отъезд не так угнетал меня, когда мне уже не надо было думать о нем одному, как только я почувствовал, что в совершающемся принимает участие более нормальная и более здоровая деятельность моих волевых друзей, товарищей Сен-Лу, и других сильных существ — поездов, движение которых, утром и вечером, из Донсьера в Париж и обратно крошило все, что было слишком жесткого и нестерпимого в моей долгой разлуке с бабушкой, на неиспользованные ежедневные возможности возвращения.

— Я уверен, что ты говоришь правду и что ты еще не собираешься уезжать, — со смехом сказал Сен-Лу, — но веди себя так, как если бы ты уезжал, и рано утром приходи ко мне проститься, а то мы можем и не увидеться; я завтракаю в городе — капитан дал мне разрешение; к двум часам мне нужно быть в казарме — мы отправляемся на занятия до самого вечера. Тот господин, у которого я завтракаю в трех километрах отсюда, безусловно доставит меня в казарму точно к двум часам.

Не успел он договорить, как из гостиницы пришли сказать, что меня вызывают на телефонную станцию. Я помчался, — станция должна

была скоро закрыться. Слово «междугородная» повторялось во всех ответах, которые я получал от служащих. Меня вызывала бабушка, и я с ума сходил от беспокойства. Станция сейчас закроется! Наконец нас соединили. «Это ты, бабушка?» Женский голос с сильным английским акцентом ответил: «Это я, но я не узнаю вашего голоса». А я не узнавал ее голоса, да и потом, бабушка никогда не обращалась ко мне на «вы». Наконец все объяснилось. Фамилия молодого человека, которого его бабушка вызвала к телефону, была очень похожа на мою, а жил он в гостиничной пристройке. Меня позвали в тот день, когда я хотел поговорить по телефону с бабушкой, и я ни секунды не сомневался, что меня просит она. Так случайное совпадение явилось причиной двойной ошибки: на станции и в гостинице.

На другое утро я опоздал — Сен-Лу уже уехал завтракать в находившийся поблизости замок. Я решил на всякий случай зайти около половины второго в казарму, чтобы дождаться Робера, но на улице, — так что я вынужден был посторониться, — меня обогнала двуколка; правил ею унтер-офицер с моноклем в глазу — это был Сен-Лу. Рядом с ним сидел его приятель, у которого он завтракал и которого я встретил как-то в гостини-

це, где ужинал Сен-Лу. Я не решился окликнуть Робера, так как он был не один, но, чтобы он все-таки остановился и подвез меня, я привлек его внимание низким поклоном, который можно было объяснить присутствием незнакомого человека. Я знал, что Робер близорук, но все-таки был уверен, что если только он меня заметит, то непременно узнает; однако он заметил, что я ему поклонился, и поклонился в ответ, но не остановился; он пролетел мимо меня, даже не улыбнувшись, на его лице не дрогнул ни один мускул, он ограничился тем, что две минуты продержал руку у козырька, словно отвечая на приветствие незнакомого солдата. Я бросился бежать в казарму, но до нее было еще далеко; когда я прибежал, полк строился во дворе, меня туда не пустили, и, в отчаянии от того, что мне не удалось проститься с Сен-Лу, я прошел к нему в комнату, но его там уже не было; я мог спросить о нем у больных солдат, у новобранцев, освобожденных от строевых занятий, у юного бакалавра или у сверхсрочника, смотревших, как строится полк.

— Вы не видели унтер-офицера Сен-Лу? — спросил я.

— Он, сударь, уже внизу, — ответил сверхсрочник.

— Я его не видел, — ответил бакалавр.

— Ты его не видел? — уже не обращая на меня внимания, воскликнул сверхсрочник. — Ты не видел, как наша знаменитость Сен-Лу щеголяет в новых штанцах? Только бы не увидал «капиташа» — суконце-то офицерское!

— Ну да, как же, офицерское! — вмешался освобожденный по болезни от строевых занятий юный бакалавр, побаивавшийся сверхсрочников, но старавшийся держаться с ними развязно. — Вовсе не офицерское — так себе сукнишко.

— Сударь! — в гневе воскликнул заговоривший о «штанцах» сверхсрочник.

Юный бакалавр возмутил его своим неверием в то, что «штанцы» — из офицерского сукна, но сверхсрочник был бретонец, из села Пангерн-Стереден, и французский язык он одолел с таким трудом, как если бы изучал английский или немецкий, — вот почему когда он волновался, то раза три подряд повторял: «сударь», чтобы за это время подыскать нужные слова, а уж потом, после такой подготовки, блистал красноречием, довольствуясь повторением нескольких слов, которые знал лучше других, однако и эти слова он выговаривал неторопливо, так как боялся с непривычки произнести их неправильно.

— Ах, сукно так себе! — продолжал он в гневе, который становился все сильнее по мере того, как все замедлялась его речь. — Ах, сукно так себе, а я тебе говорю, что оно офицерское, а я те-бе говорю, ведь я тебе го-во-рю, я-то знаю, надо полагать!

— Да ладно! — побежденный этими доводами, сказал юный бакалавр. — Стоит из-за чепухи горло драть!

— Э, да вот как раз и сам «капиташа»! Нет, вы поглядите на Сен-Лу! Как ноги-то задирает! И голову. Ну кто подумает, что это унтер? И монокль. Ишь разлетался!

Я попросил солдат, которых мое присутствие не смущало, позволить и мне смотреть в окно. Они не воспротивились, но и не подвинулись. Я увидел, как князь Бородинский с торжественным видом мчался на коне рысью, вероятно, воображая, что он на поле Аустерлица. У ворот казармы столпились прохожие, которым любопытно было посмотреть, как выступает полк. Державшийся на коне прямо, со слегка одутловатым лицом, с императорской округлостью щек, ясноглазый, князь, казалось, находился во власти некой галлюцинации, как находился во власти галлюцинации всякий раз я, когда, после того как проезжал трамвай, наступала тишина, ибо мне

чудилось, что по ней пробегает рябь музыкального трепета. Я был в отчаянии, что мне не удалось проститься с Сен-Лу, но все-таки уехал, потому что без бабушки я жить не мог; до сих пор, когда я думал в этом городке, как-то там бабушка, я представлял ее себе такою, какой она была со мной, но, отсекая себя, я не принимал во внимание, как подействует это отсечение на нее; теперь мне хотелось как можно скорей освободиться в ее объятиях от призрака, о существовании которого я все это время не подозревал и который внезапно был вызван голосом бабушки, действительно разлученной со мной, безропотной, в преклонных — о чем я еще ни разу не подумал — годах, только что получившей от меня письмо в пустой квартире, где, живя в Бальбеке, я представлял себе маму.

Увы, именно этот призрак я увидел, без предупреждения войдя в гостиную и застав бабушку за чтением. Я был в гостиной, или, вернее, меня там еще не было, потому что бабушка еще не знала, что я здесь, и, подобно женщине, застигнутой за работой, которую она спрячет, если к ней войдут, думала о чем-то таком, чего она никогда бы мне не поверила. Вместо меня, — в силу мгновенного преимущества, одаряющего

нас способностью неожиданно присутствовать при нашем отсутствии, — был только свидетель, наблюдатель, в шляпе и в пальто, чужой в этом доме, фотограф, явившийся снять места, которые потом уже не увидишь. То, что чисто механически запечатлелось в моих глазах в тот миг, когда я увидел бабушку, было самой настоящей фотографией. Мы всегда видим дорогих нам людей в их одушевленной целокупности, в непрерывном движении нашей неубывающей любви к ним, которая, прежде чем дать возможность образам, какие создает внешний их облик, дойти до нас, втягивает их в свой водоворот, накладывает их на представление, с давних пор сложившееся у нас, объединяет и сращивает. Каким чудом, если щеки и лоб бабушки были для моего мысленного взора самым нежным и неизменным, каким чудом, если всякий привычный взгляд есть некромантия, а каждое любимое лицо — зеркало былого, каким чудом мог бы я проглядеть все, что в нем отяжелело и изменилось, хотя наш взгляд, насыщенный мыслью, даже в самых для него безразличных зрелищах жизни, пренебрегает, подобно классической трагедии, всеми образами, не имеющими прямого отношения к действию, и удерживает лишь те, что способствуют достиже-

нию его цели? Но пусть даже вместо глаза будет самый что ни на есть вещный объектив, фотографическая пластинка, все равно мы увидим, например, во дворе Академии не выходящего академика, собирающегося позвать извозчика, а его нетвердую походку, предосторожности, какие он принимает, чтобы не упасть плашмя, параболу, какую он описывает при падении, как если бы он был пьян или если б была гололедица. То же самое происходит, когда жестокая игра случая препятствует нашей мудрой и благоговейной любви подоспеть вовремя, чтобы утаить от нашего взора то, что он ни в коем случае не должен видеть; когда взор опережает ее, прибывает раньше и, предоставленный самому себе, действует механически, так же как пленка; когда он показывает нам вместо любимого человека, которого давно уже нет на свете, но чью кончину наша любовь усиленно старалась скрыть от нас, другого человека, которому она по сто раз в день придавала драгоценное для нас, но обманчивое сходство. И, как больной, который давно не смотрел на себя, но поминутно придумывал себе лицо, не глядя в зеркало, в соответствии с тем идеальным образом, какой он хранил в сознании, отшатывается, увидев в зеркале на высохшем, пустынном лице

косую, розовую возвышенность носа, громадного, как египетская пирамида, я, для кого бабушка была мною самим, но только мною, какого я видел в душе, в одном и том же уголке прошлого, сквозь прозрачность прилегающих одно к другому или одно на другое наслоенных воспоминаний, вдруг в нашей гостиной, составлявшей часть некоего нового мира, мира времени, мира, где живут чужие люди, о которых мы говорим: «Как он постарел!» — впервые и всего лишь на мгновение, потому что она очень скоро исчезла, увидел на диване красную при свете лампы, рыхлую, ничем не примечательную, больную, задумавшуюся, бродившую поверх книги слегка безумными глазами, удрученную, незнакомую мне старуху.

Когда я спросил Сен-Лу, можно ли посмотреть картины Эльстира у герцогини Германтской, он сказал: «Ручаюсь, что можно». К сожалению, ручался за нее только он. Мы охотно ручаемся за других, если в нашем сознании имеются их миниатюрные образы и мы по нашему усмотрению ими управляем. Разумеется, даже и тогда мы считаемся с трудностями, возникающими из несходства нашего нрава и нрава другого человека, и стараемся применять мощные средства: заинтересованность, убеждение, смятение, ней-

трализующие наклонности противоположные. Но различия между нашим нравом и нравом другого человека рисует себе все-таки наш нрав, и трудности устраняем опять-таки мы; сильные средства дозируем тоже мы. И когда другой человек, действуя в нашем сознании по нашей указке, проделывает все, что нам нужно, мы хотим, чтобы он то же самое осуществил и в жизни, но вот тут-то все и меняется, и мы наталкиваемся на непредвиденное сопротивление, которое не всегда можно преодолеть. Одно из самых мощных сопротивлений возникает, конечно, у нелюбящей женщины, испытывающей неодолимое и тлетворное отвращение к любящему ее человеку: Сен-Лу долго не приезжал в Париж, и за все это время его тетка, которую он за меня очень просил, в чем я ни капельки не сомневался, ни разу не пригласила меня посмотреть картины Эльстира.

Холодно отнесся ко мне еще один обитатель нашего дома. Это был Жюпьен. Быть может, он думал, что я обязан нанести ему визит тотчас по приезде из Донсьера, не успев даже пройти к себе? Моя мать сказала, что нет и чтобы я не придавал этому значения. Она слышала от Франсуазы, что такой у Жюпьена нрав: он может ни с того ни с сего надуться. А немного погодя это с

него слетает.

Между тем зима подходила к концу. Надолго зарядил дождь со снегом, все не утихала буря, и вдруг как-то утром я услышал в камине — вместо нестройного, упругого и угрюмого ветра, тянувшего меня к морю, — воркование голубей, гнездившихся в стене: переливчатое, нежданное, точно первый гиацинт, который осторожно разрывает питающее его сердце, чтобы оттуда брызнул лиловый, атласный, звонкий цветок, оно, словно в открытое окно, вливало в мою еще закрытую, темную комнату тепло, слепящий блеск, истому первого ясного дня. Я почему-то стал напевать шансонетку, выпавшую у меня из памяти с того года, когда я собирался поехать во Флоренцию и в Венецию. Так сильно, по прихоти погоды, действует на наш организм атмосфера: она извлекает из темных заповедников, где мы предаем их забвению, записанные у нас в душе мелодии, которые не сумела прочитать наша память. Вскоре к музыканту, которого я слушал в себе, — даже не сразу узнав, что он играет, — присоединился наделенный большей ясностью мечтатель.

Я прекрасно понимал, что разочарование, какое я испытал, увидев Бальбекскую церковь,

зависело не от Бальбека, что во Флоренции, в Парме или в Венеции воображение тоже не могло бы заменить мне глаза. Это-то я понимал. Точно так же в один из новогодних вечеров, когда стемнело, я вдруг, стоя у столба с афишами, открыл для себя, что неверно думать, будто иные праздники существенно отличаются от буден. И все же я был бессилен помешать воспоминанию о времени, когда я надеялся провести во Флоренции Святую неделю, окружать какой-то особой атмосферой Город цветов, придавать дню Пасхи что-то флорентийское, а Флоренции — что-то пасхальное. До Пасхи было еще далеко; но в череде дней, тянувшихся передо мною, в самом конце дней обычных лучились пасхальные дни. Воспользовавшись тем, что их коснулась заря, как это бывает с отдельными домами в селе, издали видными благодаря игре светотени, они притягивали к себе все сияние солнца.

На дворе потеплело. Даже мои родные советовали мне возобновить утренние прогулки. В мои намерения это не входило — встречаться с герцогиней Германтской мне не хотелось. Но именно из-за встреч с ней я все время думал о моих прогулках и ежеминутно находил для них новый предлог, не имевший ни малейшего отношения

к герцогине Германтской и без труда меня убеждавший, что, если бы ее и не существовало, я все равно вышел бы прогуляться именно в этот час.

Увы! Я чувствовал, что если для меня всякая встреча, кроме встречи с ней, была бы безразлична, то для нее была бы терпима любая встреча, только не со мной. Ей приходилось во время утренних прогулок отвечать на поклоны множества дураков, которых она тоже считала дураками. Отрады их появление ей не сулило, но зато она ничего, кроме чистой случайности, в нем не усматривала. И она даже кое-когда останавливала их, потому что в иные минуты у нас возникает потребность выйти за пределы своего «я» и воспользоваться гостеприимством чужой души, пусть скромнейшей и уродливейшей, но только действительно нам чужой, тогда как она возмутилась бы, почувствовав, что в моем сердце она обретает только самое себя. Вот почему, если даже я шел по обычной дороге герцогини Германтской не для того, чтобы ее увидеть, то, когда она проходила мимо, я дрожал, как виноватый; и иногда, чтобы не показаться навязчивым, я еле здоровался с ней или смотрел на нее в упор, не кланяясь, чем еще сильнее ее раздражал, и в конце концов достиг того, что она приняла меня

за невежу и нахала.

Теперь она появлялась в более легких, во всяком случае — в более светлых платьях, а на улице уже, как весной, на окнах узеньких лавчонок, зажатых широкими фасадами старых аристократических особняков, в ларьке торговки маслом, фруктами, овощами были спущены от солнца шторы. Глядя, как герцогиня идет вдалеке, раскрывает зонтик, переходит улицу, я думал, что теперь в глазах знатоков она не имеет себе равных в искусстве делать эти движения и придавать им особую прелесть. А она между тем все шла и шла; не подозревая о своей широкой известности, ее тонкий стан, непокорный, ничего и ни от кого не заимствовавший, покачивался под шарфом из лилового сюра;[110] ее светлые неприветливые глаза рассеянно смотрели вдаль и, быть может, замечали меня; она закусывала уголок рта; я следил за тем, как она расправляла муфту, подавала нищему, покупала букет фиалок у торговки, с таким же любопытством, с каким следил бы за кистью великого художника. И когда, поравнявшись со мной, она мне кланялась и даже иногда чуть улыбалась, мне чудилось, будто она

---

[110] Примечания: 110
Сюра — индийский шелк.

нарисовала для меня дивную акварель и сделала надпись. Каждое платье герцогини Германтской представлялось мне как бы естественным, необходимым ее окружением, как бы проекцией одной из сторон ее души. Однажды, постом, я встретил ее, когда она шла утром к кому-то завтракать: на ней было светло-красное бархатное платье с небольшим вырезом. Белокурые волосы герцогини Германтской оттеняли задумчивое выражение ее лица. Я был не так огорчен, как обычно, оттого что печальный ее взгляд и некоторая разобщенность с внешним миром, какую вносил яркий цвет ее платья, придавали ей вид несчастной, одинокой женщины, и это меня успокаивало. Платье точно материализовало вокруг герцогини алые лучи ее сердца, о существовании которого я до сих пор не подозревал и которое, пожалуй, мог бы утешить; укрытая мистическим светом ткани с потоками мягких складок, она напоминала святую первых веков христианства. Мне становилось стыдно при мысли, что своим видом я оскорблю эту мученицу. «Но ведь улица — для всех».

«Улица — для всех», — повторял я, придавая этим словам особый смысл и любуясь тем, что на людной этой улице, часто поливаемой дождем

и хорошевшей, как хорошеют иногда улицы в старых итальянских городах, герцогиня Германтская действительно присоединяла к жизни толпы мгновения своей сокровенной жизни, показывая себя каждому, — таинственная, задеваемая встречными, — с чудесным бескорыстием великих произведений искусства. Перед утренними прогулками я не спал всю ночь напролет, поэтому днем родные советовали мне прилечь и попытаться уснуть. Чтобы навеять на себя сон, не надо много думать, наоборот: лучше совсем не думать, и еще здесь большое значение имеет привычка. А у меня не было ни привычки, ни уменья отгонять от себя мысли. Перед тем как заснуть, я долго думал о том, что не усну, и даже когда засыпал, в голове у меня все еще мелькали обрывки мыслей. То был просвет в почти полной темноте, но и его было довольно, чтобы в моем сне отражалась сначала мысль, что я не усну, потом отражение этого отражения, мысль, что, уже уснув, я думаю, что не сплю, а потом, вследствие еще одного преломления, пробуждение… в новый сон, снилось же мне, что я хочу рассказать друзьям, вошедшим ко мне в комнату, что, заснув перед их приходом, я думал, что не сплю. Тени моих друзей были едва различимы;

нужна была большая и, в сущности, бесполезная острота зрения, чтобы их уловить. Вот так же позднее в Венеции, когда солнце давно зашло и кажется, будто настала ночь, я увидел, благодаря, хотя и невидимому, отзвучию последней ноты света, бесконечно долго державшейся на каналах словно под действием какой-то оптической педали, отражения дворцов, точно навеки распластавших свои черные бархатные силуэты на по-предвечернему серой воде. Иногда мне снился слитный образ, который моя фантазия часто старалась создать наяву, — образ морского пейзажа и его средневекового прошлого. Во сне я видел готический город среди моря с застывшими, как на витраже, валами. Рукав моря делил город пополам; передо мной расстилалась зеленая вода; на том берегу она омывала церковь в восточном стиле, а дальше — дома, существовавшие еще в XIV веке, так что подойти к ним — это было все равно, что подняться вверх по течению столетий. Мне казалось, что этот сон, в котором природа овладела искусством, в котором море стало готическим, сон, в котором я стремился к невозможному и верил, что достиг его, — мне казалось, что это один из моих часто повторяющихся снов. Но так как привидевшемуся во сне свойственно

множиться в прошлом и представляться, несмотря на свою небывалость, знакомым, я решил, что ошибаюсь. Но вскоре я убедился, что сон этот мне действительно снится часто.

Способность сна умельчать предметы проявилась и в моем сне, но только тут она имела символический смысл; я не мог в темноте различить лица находившихся около меня друзей — ведь спят же с закрытыми глазами; я вел во сне бесконечные разговоры с самим собой, а как только пытался заговорить с друзьями, звук застревал у меня в горле — ведь никто же внятно не говорит во сне; мне хотелось подойти к ним, но я не мог пошевелить ногами — ведь во сне же не ходят; и вдруг мне стало стыдно подняться при них с постели — ведь спят же раздетыми. С незрячими глазами, со сжатыми губами, со связанными ногами, обнаженная фигура сна, тень от которой мой же сон и отбрасывал, напоминала одну из подаренных мне Сваном[111] больших аллегорических фигур Джотто — олицетворение Зависти со змеей во рту.

Сен-Лу приезжал в Париж всего на несколько

---

[111] Примечания: 111

…подаренных мне Сваном… — Сван подарил Рассказчику репродукции фресок Джотто, когда тот был еще ребенком. Фреска, изображающая Зависть со змеей во рту, находится в Падуе в Капелле дель Арена.

часов. Он уверял меня, что у него не было повода поговорить обо мне с герцогиней. «Ориана уже совсем не так мила, — простодушно выдавал себя он. — Это не моя прежняя Ориана, ее подменили. Уверяю тебя: она не стоит того, чтобы ты из-за нее страдал. Слишком много чести. Хочешь, я познакомлю тебя с моей родственницей Пуактье? — спросил он, не понимая, что это не доставит мне ни малейшего удовольствия. — Умная молодая женщина; она тебе понравится. Она вышла за моего родственника, герцога де Пуактье, он славный малый, но по сравнению с ней простоват. Я говорил ей о тебе. Она просила тебя привести. Она гораздо красивее Орианы и моложе ее. В ней, знаешь ли, есть что-то этакое, я бы сказал, милое, приятное. — Эти выражения Робер подхватил недавно и потому, когда употреблял их, то весь загорался, пристрастие же его к такого рода выражениям свидетельствовало о деликатности его натуры. — Сказать, что она — дрейфусарка, было бы преувеличением, надо принять во внимание ее среду, и все-таки она говорит: „Если он невиновен, то заточить его на

Чертовом острове — ведь это просто ужас![112]“ Правда, здорово? И потом, она много помогает своим бывшим воспитательницам, не велела проводить их к ней с черного хода. Уверяю тебя: в ней есть что-то очень приятное. В глубине души Ориана не любит ее — она понимает, что та умнее».

Хотя вся душа Франсуазы была полна сострадания к одному лакею Германтов, который не мог ходить в гости к своей невесте, даже когда герцогини не было дома, потому что привратник сейчас же донес бы на него, все-таки Франсуазе было жаль, что Сен-Лу приходил в ее отсутствие, но ведь теперь она тоже бывала в гостях. Она уходила именно тогда, когда я в ней особенно нуждался. Навещала она своего брата, племянницу и особенно часто — родную дочь, недавно переехавшую в Париж. Меня раздражало, что я лишался ее услуг, уже одним тем, что она отправлялась к родственникам, ибо предвидел, что после каждого такого посещения она станет говорить, что ей нельзя было туда не пойти, — так-де

---

[112] Примечания: 112

...заточить его на Чертовом острове — ведь это просто ужас! — На Чертовом острове (один из трех островов Спасения, расположенных в Атлантическом океане, у побережья Французской Гвианы) с 21 февраля 1895 г. по 9 июня 1899 г. отбывал наказание Альфред Дрейфус.

ее учили у Андрея Первозванного-в-полях. Вот почему, выслушивая ее извинения, я всякий раз на нее сердился, хотя и зря, и особенно меня бесило то, что Франсуаза вместо того, чтобы сказать: «Я ходила к брату», «Я ходила к племяннице», говорила: «Я навестила брата», «Я по дороге заглянула к племяннице» (или: «к племяннице, у которой мясная лавка»). Что касается дочери, то Франсуазе хотелось, чтобы она вернулась в Комбре. Однако новоиспеченная парижанка, уже научившаяся у модниц пользоваться сокращениями, правда уже затрепанными, утверждала, что ей и неделю трудно было бы прожить в Комбре без «Энтрана[113]». И уж совсем была ей не по душе поездка к сестре Франсуазы, в гористую местность, ибо «горы, — говорила дочь Франсуазы, придавая слову „неинтересный“ новый, ужасный смысл, — это не больно-то интересно». Теперь она уж ни за что не вернется в Мезеглиз, где живет «такое дубье» и где на рынке кумушки, «трепохвостки», начнут считаться с ней родством и скажут: «Э, да ведь она дочка покойного Базиро!» Лучше умереть, чем возвращаться туда «после того, как

[113] Примечания: 113

«Энтран» — сокращенное название основанной в 1880 г. парижской ежедневной газеты «Энтрансижан» («Непримиримый»), на страницах которой выступали антидрейфусары.

она уже вкусила парижской жизни», а ретроградка Франсуаза снисходительно улыбалась, когда проникнутая новыми веяниями новоиспеченная парижанка говорила: «Вот что, мамаша: раз у тебя нет свободного дня, пошли мне „пнев“».

Опять похолодало. «Выходить? Это еще зачем? Чтобы схватить простуду?» — восклицала Франсуаза, предпочитавшая сидеть дома всю неделю, которую ее дочь, брат и торговка мясом проводили в Комбре. Единственная оставшаяся в живых последовательница тети Леонии, Франсуаза, в которой что-то еще осталось от ее вероучения о физическом мире, говорила по поводу внезапной перемены погоды: «Это Господь все еще на нас гневается!» Но я отвечал на ее сетования томной улыбкой, ибо меня ее пророчества не пугали: для кого, для кого, а для меня начнется чудная погода; я уже видел утренний яркий солнечный свет на холме Фьезоле, я грелся под лучами солнца; они заставляли меня открывать и полузакрывать веки; я улыбался, и мои веки, подобно алебастровым лампадам, отливали розовым. Не только колокола возвращались из Италии — сама Италия приходила вместе с ними. Нет, мои преданные ей руки не ощутят недостатка в цветах, чтобы отпраздновать годовщину путешествия,

которое я должен был совершить, ибо, хотя в Париже снова завернули холода, как в тот год, когда мы в конце поста собирались в Италию, в текучем, холодном воздухе, омывавшем на бульварах каштаны, платаны, и дерево, росшее перед нашим домом, уже приоткрывают лепестки, будто в чаше с прозрачной водой, нарциссы, жонкили, анемоны Понте-Веккио.

Отец сказал нам, что теперь он знает от А.-Ж., у кого бывает в нашем доме маркиз де Норпуа:

— У маркизы де Вильпаризи, — они близкие друзья, а я и не знал. Должно быть, это прелестная незаурядная женщина. Тебе бы не мешало навестить ее, — обратился он ко мне. — А вообще, маркиз меня крайне удивил. Он сказал, что герцог Германтский прекрасно воспитан, а я его всегда считал грубияном. Оказывается, он человек широко образованный, с отменным вкусом, только уж очень он гордится своим происхождением и своими связями. Но вообще, по словам де Норпуа, он пользуется большим почетом не только у нас, но и во всей Европе. Если не ошибаюсь, императоры австрийский и русский с ним на дружеской ноге. Папаша Норпуа сказал, что маркиза де Вильпаризи очень тебя любит и что в ее салоне ты сведешь знакомство с инте-

ресными людьми. Он отозвался о тебе с большой похвалой; ты с ним встретишься у маркизы, он может дать тебе ценный совет, если ты хочешь быть писателем. А я вижу, что ничто другое тебя и не увлекает. В сущности говоря, это недурная карьера; я бы для тебя ее не выбрал, но ты скоро станешь взрослым, мы не вечно будем около тебя, и раз это твое призвание, то мы не вправе препятствовать тебе. Ах, если бы я мог, по крайней мере, начать писать! Но в каких бы условиях я ни приступал к работе (увы! Это в равной степени относилось и к моему желанию не пить спиртного, рано ложиться спать, поддерживать в себе хорошее настроение): с увлечением, методически, с удовольствием, отказываясь от прогулки, откладывая ее, чтобы потом заслужить ее как награду, пользуясь тем, что я хорошо себя чувствую, или вынужденным бездействием во время болезни, — мои усилия неизменно увенчивала чистая страница, девственной белизны, неизбежная, точно обязательная карта, которую ты роковым образом вытаскиваешь, как бы тщательно перед фокусом ни была перетасована колода. Я представлял собой всего лишь орудие привычек не работать, ложиться поздно, не спать по ночам, которые должны были действовать во что бы то

ни стало; если я не оказывал им сопротивления, если я довольствовался предлогом, который они извлекали из любого происшедшего в этот день случая, дававшего им возможность поступать по-своему, то я отделывался более или менее легко, я все-таки на несколько часов засыпал перед утром, почитывал, не переутомлялся, но если я шел им наперекор, если я давал себе слово лечь рано, пить только воду, работать, то они возмущались, прибегали к сильным средствам, я чувствовал себя отвратительно, удваивал дозу алкоголя, по два дня не ложился в постель, не мог даже читать и потом давал себе обещание быть более рассудительным, то есть менее благоразумным, уподобиться жертве, которая дает себя оградить от страха, что если она станет сопротивляться, то ее убьют.

Отец за это время раза два встретился с герцогом Германтским, и теперь, после того как маркиз де Норпуа сказал ему, что герцог — человек замечательный, он стал несколько иначе к нему относиться. Во дворе они как-то заговорили о маркизе де Вильпаризи. «Герцог мне сказал, что это его тетка; он произносит: „Випаризи“. Он сказал, что она необычайно умна. Он еще прибавил,

что у нее *бюро остроумия*[114]», — присовокупил отец, на которого это выражение произвело впечатление своей непонятностью: хоть оно и попадалось ему в мемуарах, но он не понимал, что оно, собственно, значит. Мать, относившаяся к отцу с необычайным почтением, заметив, что маркиза де Вильпаризи выросла в его глазах из-за «бюро остроумия», тоже прониклась к ней уважением. Она давным-давно знала от бабушки настоящую цену маркизе, но после разговора с отцом переменила о ней мнение. Прихварывавшая в это время бабушка была сначала против того, чтобы я посетил маркизу, но потом перестала проявлять к этому какой бы то ни было интерес. После того как мы переехали на новую квартиру, маркиза де Вильпаризи несколько раз приглашала ее к себе. А бабушка неизменно отвечала ей, что пока не выходит, в письмах, которые она по своей новой привычке, нам непонятной, не запечатывала собственноручно — она предоставляла заклейку Франсуазе. Я же довольно смутно себе представлял «бюро остроумия», а потому был бы не очень удивлен, застав почтенных лет

[114] Примечания: 114

…бюро остроумия… — Имеются в виду салоны XVII–XVIII вв., где в разговорах об искусстве, литературе, политике или науке собеседники соревновались в остроумии.

даму из Бальбека за «бюро», что, кстати сказать, и случилось.

Отцу, помимо всего прочего, хотелось узнать, много ли голосов даст ему поддержка посла при выборах в Академию, куда он намеревался баллотироваться в качестве почетного члена. Откровенно говоря, отец, не смея сомневаться в поддержке маркиза де Норпуа, все же не был в ней твердо уверен. Он решил, что это сплетня, когда ему сказали в министерстве, что маркиз де Норпуа предпочитает быть единственным представителем министерства в Академии и что он приложит все усилия, чтобы провалить его, а на самом деле у маркиза была сейчас другая кандидатура. И все же, когда Леруа-Больe[115] посоветовал отцу выставить свою кандидатуру и взвесил шансы, на отца произвело неприятное впечатление, что в числе коллег, на которых он в данном случае мог положиться, наш выдающийся экономист не упомянул маркиза де Норпуа. Отец не решался прямо спросить об этом бывшего посла, — он надеялся, что я вернусь от маркизы де Вильпаризи с вестью о том, что он

[115] Примечания: 115

Леруа-Больe, Анатоль (1842–1912) и его брат Поль (1843–1916) были членами Академии моральных и политических наук. Первый из них был преподавателем Пруста в Свободной школе политических наук.

уже избран. Теперь мне непременно надо было пойти к маркизе. Доброе слово маркиза де Норпуа могло в самом деле обеспечить отцу две трети голосов в Академии, а между тем помощь посла казалась ему тем более вероятной, что о том, какой де Норпуа доброжелательный человек, знали все, и даже его недруги признавали, что он обожает делать людям приятное. А кроме того, в министерстве он никому так явно не благоволил, как моему отцу.

У отца была еще одна встреча, но она сперва удивила его, а затем страшно обозлила. Он увидел на улице г-жу Сазра, которая была так бедна, что во всем Париже изредка бывала только у одной своей близкой приятельницы. Самой скучной из наших знакомых отец считал г-жу Сазра, так что маме приходилось раз в год говорить ему ласково и умоляюще: «Друг мой! Надо как-нибудь позвать госпожу Сазра — она не засидится», или даже: «Послушай, мой друг, я хочу попросить тебя о большом одолжении: сходи ненадолго к госпоже Сазра. Ты знаешь: я не люблю тебе надоедать, но это было бы так мило с твоей стороны!» Отец смеялся, слегка сердился и шел с визитом. Словом, отец не был в восторге от г-жи Сазра, тем не менее, увидев ее, он снял шляпу и хотел подойти,

но, к величайшему его изумлению, г-жа Сазра удостоила его кивком, каким только из вежливости отвечают человеку, который сделал подлость или которому предложено выехать за пределы родной страны. Отец пришел домой взбешенный, огорошенный. На другой день мать встретила г-жу Сазра у знакомых. Г-жа Сазра не подала ей руки, а лишь улыбнулась неопределенной или грустной улыбкой, как улыбаются женщине, с которой вы играли в детстве, но потом порвали всякие отношения из-за того, что она вела распутную жизнь, вышла замуж за бывшего каторжника или, еще того хуже, за разведенного. Между тем мои родители все время оказывали г-же Сазра глубочайшее уважение и ничем не заслужили неуважения с ее стороны. Но (об этом моей матери ничего не было известно) в той части комбрейского общества, к которой принадлежала г-жа Сазра, она была единственной дрейфусаркой. Мой отец, приятель Мелина,[116] был убежден в виновности Дрейфуса. Вспылив, он выставил за дверь сослуживцев, просивших

[116] Примечания: 116

Мелин, Жюль (1838–1925) — французский государственный деятель, председатель Государственного совета (1896–1898). Был ярым антидрейфусаром, ему принадлежит ставшая крылатой фраза: «Нет никакого дела Дрейфуса».

его подписать ходатайство о пересмотре дела. Узнав, что я другого мнения, он потом целую неделю со мной не разговаривал. Отец ни от кого не скрывал своих взглядов. Считавшие его националистом были недалеки от истины. В нашей семье только бабушка была, по-видимому, охвачена великодушным сомнением, потому что, когда ей говорили, что, может быть, Дрейфус и не виноват, она делала движение, которое нам было тогда непонятно: вскидывала голову с таким видом, точно ее отвлекли от серьезных мыслей. Мать, любившая моего отца и вместе с тем верившая в мой ум, пребывала в нерешимости, которая выражалась у нее в молчании. Наконец, дедушка, обожавший армию (хотя в зрелом возрасте он вспоминал о своей службе в национальной гвардии как о кошмарном сне), когда в Комбре мимо нашего дома проходил полк, при виде полковника и полкового знамени непременно снимал шляпу. Для г-жи Сазра, не имевшей оснований сомневаться в бескорыстии и честности моего отца и деда, этого было достаточно, чтобы отнестись к ним как к пособникам Несправедливости. Прощаются преступления индивидуальные, не прощается причастность к преступлению коллективному. Услышав, что мой

отец антидрейфусар, г-жа Сазра стала смотреть на него как на человека с другого материка и из другого века. Немудрено, что на таком расстоянии во времени и в пространстве моему отцу могло показаться, что она ему не поклонилась, а ей не пришло в голову протянуть ему руку и обменяться двумя — тремя словами, — ведь они находились в разных мирах.

Еще до приезда в Париж Сен-Лу обещал побывать со мной у маркизы де Вильпаризи, в доме которой, не сказав об этом Сен-Лу, я надеялся встретиться с герцогиней Германтской. Он предложил мне пообедать вместе с ним и его любовницей в ресторане, а потом проводить ее на репетицию. Она жила за городом, и мы должны были за ней заехать.

Я предложил Сен-Лу пообедать в том ресторане (в жизни родовитых юношей, которые сорят деньгами, ресторан играет такую же важную роль, как тюки тканей в арабских сказках), куда до открытия сезона в Бальбеке должен был поступить метрдотелем Эме, о чем я слышал от него самого. Я так часто мечтал о путешествиях и так мало путешествовал, — вот почему меня тянуло свидеться с человеком, который являлся не только частью моих воспоминаний о Бальбеке,

но и частью самого Бальбека, который ездил туда ежегодно и которому, если усталость или учение удерживали меня в Париже, в долгие июльские вечера все так же хорошо было видно сквозь стеклянные двери пока еще пустой огромной столовой, как заходящее солнце опускается в море и как неподвижные крылья далеких голубоватых судов становятся похожи в час, когда солнце меркнет, на экзотических ночных бабочек под стеклом. Намагниченный соприкосновением с мощным магнитом Бальбека, метрдотель становился магнитом для меня. Я надеялся, что, говоря с ним, я вступлю в связь с Бальбеком, что, не выезжая из Парижа, я хоть и слабо, а все-таки почувствую прелесть путешествия.

Я вышел из дому утром, в то время как Франсуаза охала из-за того, что лакей-жених опять не мог вчера вечером пойти к невесте. Франсуаза застала его в слезах; ему хотелось дать привратнику затрещину, но он дорожил местом и только потому сдержался.

По дороге к Сен-Лу, уговорившегося со мной, что он будет ждать меня у дверей своего дома, я встретил Леграндена, которого мы потеряли из виду со времен Комбре и у которого, хоть он и стал совсем седой, глаза были все такие же моло-

дые и бесхитростные. Он остановился.

— Ах, это вы! — воскликнул он. — Шикарный мужчина, да еще и в сюртуке! Моя независимость не сумела бы приноровиться к этой ливрее. Впрочем, вам нужно быть светским человеком, делать визиты! А чтобы, как я, пойти помечтать у какой-нибудь полуразрушенной гробницы, вполне сойдут мой галстук «бабочкой» и пиджак. Вы знаете, что я высоко ценю ваши прекрасные душевные качества; вот отчего мне так жаль, что вы погубите свою душу среди Язычников! Раз вы способны пробыть хоть мгновение в тошнотворной атмосфере салонов, где бы я задохнулся, вы навлекаете на свое будущее осуждение, проклятие Пророка. Я убежден: вы водитесь с «прожигателями жизни», вращаетесь среди знати; это порок нынешней буржуазии. Ох уж эти аристократы! Жаль, что Террор не отрубил головы им всем. Это или отъявленные негодяи, или непроходимые дураки. Ну что ж, дитя мое, дружите с ними, если это доставляет вам удовольствие! Когда вы отправитесь на какой-нибудь файвоклок, ваш старый приятель будет счастливее вас: один-одинешенек, где-нибудь в пригороде, он будет наблюдать восход розовой луны в фиолетовом небе. Ведь я, в сущности, уже не живу на Земле — я здесь так

одинок! Только всемогущая сила закона тяготения меня здесь и удерживает, а то бы я давно улетел в другую сферу. Я житель другой планеты. Прощайте и не сердитесь на неисправимую откровенность крестьянина с Вивоны, который так грубым мужиком и остался. Чтобы доказать, что я считаюсь с вашим мнением, я пришлю вам мой последний роман. Но только он вам не понравится; он покажется вам недостаточно упадочным, недостаточно проникнутым духом конца века, для вас это слишком чистосердечно, слишком честно; вам подавай Бергота, — вы сами мне в этом признались, — для утонченного вкуса пресыщенных чревоугодников нужна тухлятинка. В вашем кружке, наверно, считают, что я пережил свой век; я вкладываю душу в то, что пишу, — это мой недостаток, теперь это уже не в моде; да и потом, в народном быте нет ничего изысканного, это не для ваших снобиков. А все-таки вспоминайте иногда слова Христа: «Делайте так, и вы будете живы[117]». Прощайте, мой друг!

Встреча с Легранденом не оставила во мне неприятного осадка. Иные воспоминания подобны общим друзьям: они примиряют; перекину-

[117] Примечания: 117

…слова Христа: «Делайте так, и вы будете живы». — Неточная цитата из Библии (Лк. 10, 28).

тый среди усеянных лютиками полей, на которых высились полуразрушенные старинные замки, деревянный мостик соединял Леграндена и меня, как два берега Вивоны.

В Париже, несмотря на то что весна уже началась, на бульварах ветви деревьев только-только украсились первыми листьями, а когда мы с Сен-Лу доехали по окружной железной дороге до поселка, где жила его любовница, и сошли с поезда, то так и ахнули от восторга при виде цветущих плодовых деревьев, огромными белыми престолами расставленных в каждом садике. Как будто мы попали на один из тех особых, поэтичных, коротких местных праздников, на которые в установленные дни стекаются издалека, но только праздник, устроенный природой. Лепившиеся один к другому белые футлярчики цвета на вишнях издали, среди других деревьев, почти без цветов и без листьев, можно было принять в этот солнечный, но холодный день за снег, который всюду растаял, но в кустах пока лежал. А высокие груши окутывали каждый дом, каждый скромный двор еще более широкой, более ровной, более ослепительной белизной, так что казалось, будто все постройки и все участки поселка нарядились сегодня ради первого причастия.

При въезде в такие поселки, расположенные в окрестностях Парижа, уцелели парки XVII и XVIII веков — «причуды» интендантов;[118] и фавориток. Какой-то садовод воспользовался одним из них, разбитым ниже дороги, — воспользовался для того, чтобы насадить здесь плодовые деревья (а может быть, просто сохранил рисунок громадного плодового сада тех времен). Рассаженные в шахматном порядке, на большем расстоянии одна от другой и дальше от дороги, чем те, что я увидел раньше, здесь груши образовывали большие, отделенные низкой оградой четырехугольники белых цветов, на каждой стороне которых солнечный свет золотился по-разному, так что все эти комнаты без крыши, на вольном воздухе, напоминали комнаты Дворца Солнца где-нибудь на Крите[119] и еще они становились похожи на водоемы или на части моря, отгоро-

[118] Примечания: 118

Интендант — в дореволюционной Франции назначенное королем должностное лицо в провинции, обладавшее судебно-полицейской, финансовой и отчасти военной властью.

[119] Примечания: 119

…где-нибудь на Крите… — На Крите не существует Дворца Солнца. В начале XX века английский археолог сэр Артур Джон Эванс обнаружил на этом острове развалины большого Кносского дворца, построенного полулегендарным царем Крита Миносом. Последний был женат на Пасифае, дочери Солнца, поэтому, вероятно, Пруст так называет этот дворец.

женные человеком для какого-нибудь рыбного промысла или для разведения устриц, когда вы видели игру света на ветвях, зависевшую от того, как были к нему повернуты ряды деревьев, словно это была полая вода и свет то здесь, то там взметал искрившиеся в решетчатых прогалах в лазури ветвей белые брызги осиянной солнцем пены цветов.

Это было древнее селение со старинным зданием мэрии, обожженным солнцем и золотистым, перед которым вместо призовых столбов и флагов стояли три большие груши, будто для местного гражданского праздника с большим вкусом наряженные в белый атлас.

Никогда еще Робер не говорил мне с такой нежностью о своей подружке, как по дороге к ней. В его сердце пустила корни только она; военная карьера, положение в обществе, семья — все это, конечно, было ему не безразлично, но это для него ничего не значило по сравнению с каким-нибудь сущим пустяком, касавшимся его любовницы. Только она сохраняла для него обаяние — неизмеримо большее, чем обаяние Германтов и всех королей на свете. Я не могу сказать с уверенностью, сознательно ли он считал ее высшим существом, я знаю одно: думал он

и заботился только о ней. Страдал он из-за нее, был счастлив благодаря ей, мог, пожалуй, кого-нибудь убить ради нее. Для него положительно не существовало ничего интересного, увлекательного вне того, к чему стремится, что будет делать его любовница, вне того, что происходило, насколько об этом можно было догадываться по быстрым ее взглядам, на узком пространстве ее лица, под ее властительным лбом. Сен-Лу, щепетильный во всем остальном, был не против того, чтобы она составила себе блестящую партию, лишь бы по-прежнему содержать ее и сохранить. По-моему, нет такой крупной цифры, которая могла бы определить, как высоко он ее ценил. Не женился он на ней только оттого, что житейский инстинкт подсказывал ему, что как только она поймет, что ей от него больше ждать нечего, так сейчас же бросит его или будет жить совершенно самостоятельно, — значит, удерживать ее надо ожиданием завтрашнего дня. Ведь он предполагал, что она, может быть, вовсе не любит его. Несомненно, всеобщая болезнь, именуемая любовью, временами заставляла его — как это бывает со всеми людьми — думать, что она его любит. Но опыт говорил ему, что любовь любовью, но что она не уходит от него только из-за его денег

и что в тот день, когда ей больше нечего будет от него ждать, она не замедлит (ибо он считал, что она жертва теорий своих друзей-литераторов), продолжая его любить, порвать с ним.

— Если она будет сегодня мила, я сделаю ей подарок, которому она обрадуется, — сказал Сен-Лу. — Колье, которое она видела у Бушрона.[120] Правда, сейчас для меня тридцать тысяч франков — многовато. Но у моего бедного волчонка не такая уж веселая жизнь. Она будет в диком восторге. Она говорила мне об этом колье и сказала, что один человек, может быть, ей его подарит. Я не очень-то этому верю, но на всякий случай сговорился с Бушроном, поставщиком моей семьи, чтобы он отложил его для меня. Я рад, что ты ее увидишь; знаешь, по внешности она ничего особенного собой не представляет (я видел ясно, что он думает другое и не высказывает своего настоящего мнения только для того, чтобы я был тем сильнее поражен, когда ее увижу), но она на редкость умна; при тебе она, пожалуй, будет неразговорчива, но я ликую от одной мысли о том, как хорошо она будет говорить о тебе после; ты знаешь: она иногда говорит такие вещи, что

---

[120] Примечания: 120

Бушрон — знаменитый ювелирный магазин на Вандомской площади.

чем больше о них думаешь, тем более глубокий открывается в них смысл; право, в ней есть что-то от пифии.

Дорога к ее дому шла мимо садиков, и я невольно остановился — таким обильным цветом цвели вишни и груши; вчера еще, наверно, пустые и необитаемые, точно домики без жильцов, они вдруг заселились и украсились прибывшими под вечер гостьями, чьи красивые белые платья сквозили через решетку в конце аллей.

— Послушай: я вижу, тебе хочется всем этим полюбоваться, настроиться на поэтический лад, — сказал Робер, — ну так подожди меня здесь, моя приятельница живет совсем близко, я за ней схожу.

В ожидании я начал прохаживаться мимо скромных садиков. Когда я поднимал глаза, то кое-где в окнах видел молоденьких девушек, а под открытым небом, на высоте второго этажа, гибкие и легкие, в новеньких лиловых платьях, молодые гроздья сирени то здесь, то там висели на ветках и колыхались от ветра, не обращая внимания на прохожего, поднимавшего глаза на зеленые их антресоли. Я узнавал в них фиолетовые отряды, выстраивавшиеся у входа в парк Свана за низенькой белой оградой в теплые

весенние дни и напоминавшие чудесный ковер на стене провинциального дома. Я пошел по тропинке, которая вела на лужайку. Здесь меня опахнул свежий, резкий ветер, как в Комбре, а на глинистой, влажной деревенской почве, какая могла быть и на берегу Вивоны, все-таки передо мной предстала вовремя явившаяся на место сбора вместе со всей стайкой своих подружек большая белая груша, и она покачивалась, улыбаясь, и вывешивала на солнце, точно занавес из овеществленного и осязаемого света, дрожавшие на ветру, отполированные и высеребренные солнечными лучами цветы.

Но вот подошел со своей любовницей Сен-Лу, и в этой женщине, в которой сосредоточивалось для него все, что могла дать любовь, все утехи жизни, в женщине, чья личность, таинственно заключенная в ее теле, как в Скинии завета,[121] представляла собой объект, над которым без устали трудилось воображение моего друга, понимавшего, что ему так никогда его и не познать, постоянно задававшего себе вопрос: что же все-таки там, за покровом ее взглядов и тела, в этой женщине я мгновенно узнал «Рахиль, ты

[121] Примечания: 121

Скиния завета — у древних евреев походный храм, устроенный Моисеем во время странствования евреев по пустыне.

мне дана[122]», ту самую, которая несколько лет назад, — на этом свете женщины уж если меняют положение, то необычайно быстро, — говорила сводне:

— Стало быть, завтра вечером, если я вам для кого-нибудь понадоблюсь, пошлите за мной.

И когда за ней действительно «посылали» и она оставалась в комнате одна с этим «кем-нибудь», то она так хорошо знала, чего от нее хотят, что, заперевшись на ключ из предосторожности, свойственной женщине благоразумной, она тотчас же освященными ритуалом движениями начинала снимать с себя одежды, как раздеваемся мы в приемной у доктора, который должен нас выслушать, и останавливалась на полдороге, только если «кто-нибудь», не любящий наготы, говорил ей, что она может не снимать рубашку, — так врачи, обладающие тонким слухом и боящиеся простудить больного, слушают, как он дышит и как работает у него сердце, через белье. Эта женщина со всей ее жизнью, со всеми ее мыслями, со всем ее прошлым, со всеми, кто только ею ни обладал, до такой степени мне безразличная, что, если б она стала мне рассказывать о себе,

[122] Примечания: 122

«Рахиль, ты мне дана» — начало арии из оперы Ж. Ф. Галеви (1799–1862) «Жидовка» (1835).

я слушал бы только из вежливости, в одно ухо впуская, в другое выпуская, — эта женщина, из-за которой Сен-Лу так волновался, так мучился и которую он так любил, она, на кого я смотрел как на заводную игрушку, в конце концов превратилась для него в предмет бесконечных страданий, в ту, за кого он отдал бы жизнь. При виде этих двух разъединенных элементов (ведь «Рахиль, ты мне дана» я встречал в доме терпимости) я пришел к заключению, что многие женщины, которые составляют для мужчин смысл жизни, из-за которых они страдают, накладывают на себя руки, являются в сущности или же являются для других тем, чем была для меня Рахиль. Мысль, что ее жизнь может возбуждать мучительное любопытство, казалась мне нелепой. Я мог бы рассказать Роберу о многих ее постельных делах, которые меня совершенно не интересовали. А как бы огорчили они его! И чего бы он ни дал, чтобы о них разузнать, хотя так бы и не допытался!

Я отдавал себе отчет, сколько человеческое воображение способно накопить за завесой небольшой части человеческого лица, хотя бы лица этой женщины, если только воображение познакомится с нею первым; и, наоборот, на какие жалкие вещественные составные части,

не имеющие никакого значения, обесцененные, может распасться то, что составляло предмет стольких мечтаний, если знакомство состоялось иначе, наипошлейшим образом. Я понимал, что вещь, за которую я не дал бы и двадцати франков в публичном доме, где мне ее предложили бы за двадцать франков, — не дал бы, потому что там она была всего-навсего женщиной, которой хотелось заработать двадцать франков, — может стоить больше миллиона, дороже семьи, дороже самого завидного положения в обществе, если сперва она представилась нашему воображению существом неведомым, манящим, которое нелегко словить и удержать. Разумеется, и Робер и я видели одно и то же некрасивое узкое лицо. Но пришли мы к нему разными путями, которые никогда не сойдутся, и о наружности этой женщины мы так до конца и останемся при своем мнении. Это лицо, с его взглядами, улыбками, движениями губ, я узнал, будучи посторонним наблюдателем, только как лицо некоего предмета, который за двадцать франков сделает все, что я захочу. Таким образом, его взгляды, улыбки, движения губ показались мне лишь знаками каких-то общих проявлений, в которых ничего индивидуального нет, отыскивать же личность

под этими знаками у меня недостало любопытства. Но то, что мне было предложено в качестве исходного пункта, это на все согласное лицо, для Робера являлось конечной целью, к которой он шел через столько надежд, сомнений, подозрений, мечтаний! Он давал более миллиона, чтобы иметь, — чтобы не доставалось другим, — то, что мне, как и другим, предлагалось за двадцать франков. Почему он не получил этого за такую цену — это могло зависеть от чисто случайного мгновения, мгновения, когда та, что как будто уже готова была отдаться, уклоняется — может быть, потому, что у нее назначено свидание или же еще почему-либо, из-за чего она сегодня менее сговорчива. Если подобного сорта женщина имеет дело с мужчиной душевно ранимым, то — если даже она этого не замечает, в особенности же если заметила, — начинается страшная игра. Слишком сильно переживая свою неудачу, чувствуя, что без этой женщины он не может жить, душевно ранимый мужчина гонится за ней, она от него убегает, и вот почему улыбка, на которую он уже не смел надеяться, оплачивается им в тысячу раз дороже того, во что должна была бы ему обойтись высшая ее благосклонность. В подобных обстоятельствах бывает даже, — это

когда из сочетания наивности представлений с боязнью страданий рождается безумное стремление превратить продажную девку в недоступный кумир, — что этой высшей благосклонности и даже первого поцелуя он так и не добьется, он не посмеет заикнуться о них, чтобы она не поставила под сомнение искренность его уверений в том, что он любит ее платонически. И мучительно жаль бывает тогда расставаться с жизнью, так и не узнав, что же такое поцелуй женщины, которую вы любили больше всего на свете. Сен-Лу, впрочем, удалось снискать у Рахили все виды благосклонности. Конечно, если б он узнал теперь, что они предлагались всем и каждому за луидор, то ему было бы страшно больно, и все же он отдал бы миллион за то, чтобы она продолжала дарить его своей благосклонностью, ибо все, что он узнал бы, не могло бы заставить его, — это выше человеческих сил и случается только против нашей воли, под влиянием какого-нибудь могучего закона природы, — свернуть с дороги, на которой он стоит, на которой лицо любимой женщины видится ему только сквозь его мечты. Неподвижность этого некрасивого лица, подобно неподвижности листа бумаги, подвергшегося сверхмощному давлению двух

атмосфер, представлялась мне равновесием двух бесконечностей, вплотную приблизившихся к ней, но не встретившихся, ибо она разделяла их. И в самом деле: глядя на нее, мы с Робером видели разные стороны тайны.

«Рахиль, ты мне дана» я и за человека-то не считал, а ют сила человеческого воображения, самообман, порождавший любовную муку, меня изумляли. Робер видел, что я взволнован. Чтобы он подумал, будто меня растрогала красота груш и вишен в саду напротив, я перевел глаза на них. А их красота трогала меня отчасти так же, она тоже обращала мое внимание на нечто такое, что не только видишь глазами, но и чувствуешь сердцем. Принимая эти деревца в саду за неведомых богов, не обманывался ли я, как Магдалина, когда в другом саду, в день, память которого приближалась, она увидела человеческий облик и «подумала, что это садовник»?[123] Хранители воспоминаний о золотом веке, наглядные доказательства, что действительность не соответствует нашим о ней представлениям, что в ней могут воссиять и чудо поэзии, и волшебное сияние

[123] Примечания: 123

…она увидела человеческий облик и «подумала, что это садовник»? — Речь идет о евангельском эпизоде, когда Мария Магдалина, узрев воскресшего Христа, приняла его за садовника (Ин. 20, 15).

невинности и явиться наградой, которую мы постараемся заслужить, эти большие белые создания, восхитительно склонившиеся над тенью, благоприятной для отдыха, для рыбной ловли, для чтения, — не были ли они скорее ангелами? Я и любовница Сен-Лу сказали друг другу несколько слов. Мы пошли по деревне. Дома здесь были грязные. Но около самых убогих, тех, которые словно сжег серный дождь, таинственные путники, остановившиеся на один день в проклятом городе,[124] светоносные ангелы широко простирали над ними ослепительное покровительство своих крыльев — крыльев цветущей невинности: то были груши. Сен-Лу прошел со мной вперед:

— Мне бы очень хотелось побыть с тобой вдвоем, я бы даже предпочел пообедать с тобой наедине, словом, провести все время до того, как надо будет идти к тетке. Но обед — это такое удовольствие для моей девчушки, и она, понимаешь ли, так со мной мила, что я не мог отказать ей. Да она тебе понравится: она литературна, очень чутка, и с ней так приятно пообедать в ресторане, она такая славная, такая простая, всегда всем довольна.

---

[124] Примечания: 124

…в проклятом городе… — Имеется в виду библейский Содом.

Я полагаю, однако, что как раз в то утро, и, вероятно, впервые, Робер отошел на мгновение от женщины, которую он, от ласки к ласке, исподволь сочинял, и вдруг увидел на некотором расстоянии другую Рахиль, ее двойник, но совершенно на нее не похожий, — увидел самую обыкновенную потаскушку. Расставшись с прекрасным садом, мы направились к парижскому поезду, но на вокзале Рахиль немножко отстала, и тут ее узнали и, подумав сперва, что она одна, окликнули невысокого полета «шлюшки», вроде нее самой: «Эй, Рахиль, поедем с нами, Люсьена и Жермена уже в вагоне, как раз рядом с нами есть свободное место, скорей, потом вместе пойдем на скетинг![125]» — и они уже собирались познакомить ее с двумя «приказчиками», своими кавалерами, ехавшими вместе с ними, но, заметив, что Рахиль слегка смутилась, с любопытством подняли глаза, увидели нас, извинились и попрощались с ней, а она тоже с ними попрощалась — не без чувства неловкости, но дружелюбно. Это были две бедные шлюшки в пальто с воротниками из поддельного котика, и вид у них был почти

[125] Примечания: 125

Скетинг — это слово, появившееся во французском языке в 70-е годы XIX века, обозначает как катание на роликовых коньках, так и площадку, на которой этим спортом занимаются.

такой же, как у самой Рахили, когда Сен-Лу встретил ее в первый раз. Он их не знал, не знал, как их зовут, и, удостоверившись, что они хорошие знакомые его подружки, подумал, что в ее жизни, наверное, был, и, пожалуй, есть и теперь, такой уголок, о котором он и не подозревал, и что та, другая, жизнь резко отличается от их совместной жизни, что там можно иметь женщину за луидор. Та жизнь лишь приоткрылась перед ним, но вместе с нею он увидел и совсем иную Рахиль, не ту, которую он знал, а Рахиль, похожую на этих двух шлюшек, Рахиль за двадцать франков. Словом, Рахиль на мгновение раздвоилась перед ним: он увидел на некотором расстоянии от его Рахили Рахиль-шлюшку, настоящую Рахиль, если исходить из того, что настоящая Рахиль — скорее шлюха. Быть может, Робер подумал еще, что из того ада, в котором он жил, жил с мыслью о неизбежности женитьбы на богатой и продажи своего имени, что дало бы ему возможность по-прежнему давать Рахили сто тысяч франков в год, он с радостью вырвался бы и добивался благосклонности своей возлюбленной, как эти «приказчишки» добиваются благосклонности своих потаскушек за ничтожную плату. Но как это сделать? Она же ни в чем не провинилась. Если быть с ней менее

щедрым, она будет не такой обворожительной, перестанет в разговорах и в письмах употреблять выражения, которые его так трогали и которые он не без хвастовства пересказывал товарищам, подчеркивая, как это мило с ее стороны, но умалчивая о том, как безумно много тратит он на ее содержание, о том, что он вообще что-то ей дает, что ее надписи на фотографиях или заключительные слова телеграмм — это те же сто тысяч франков, но только в уменьшенном и более драгоценном виде. Хотя Сен-Лу и не проговаривался, что платит Рахили за эти ее немногие ласковые слова, но отсюда не следует делать вывод, — а такой вывод при упрощенном подходе к явлениям глупейшим образом делается относительно всех любовников, сорящих деньгами, относительно стольких мужей, — что не проговаривался он из самолюбия, из тщеславия. Сен-Лу был достаточно умен, чтобы отдавать себе отчет, что все, что тешит тщеславие, он легко и безвозмездно мог бы найти в свете благодаря своему громкому имени, благодаря своей красоте, а что его связь с Рахилью, напротив, несколько отдаляет его от света, понижает его вес. Нет, самолюбивое желание внушить другим, что ты получаешь бесплатно явные знаки расположения любимой

женщины, — это просто-напросто производное любви, потребность показать себе и другим, что та, которую ты так любишь, любит тебя. Рахиль, расставшись со шлюшками, садившимися в вагон, подошла к нам; однако образ новой Рахили на мгновение укрепили не только их поддельный котик и напыщенность приказчишек, — в равной мере способствовали его созданию имена Люсьены и Жермены. На мгновение Сен-Лу представил себе жизнь на площади Пигаль,[126] с темного происхождения дружками, с грязными любовными похождениями, с незатейливыми развлечениями во второй половине дня в Париже, где солнце, начиная с бульвара Клиши, сияло, как ему показалось, совсем не так, как когда он гулял со своей любовницей, оттого что любовь и страдание, составляющее с любовью единое целое, обладают, как и опьянение, способностью менять в наших глазах предметы. Внутри Парижа ему померещился как бы иной Париж, связь с Рахилью показалась всматриваньем в чью-то чужую жизнь, так как хотя Рахиль, когда была с ним, становилась чуть-чуть похожа на него, все-таки она и с ним жила частью своей насто-

[126] Примечания: 126

…жизнь на площади Пигаль… — Воссоздана в 1880 г. на картине Огюста Ренуара (1841–1919), хранится в Национальной галерее (Лондон).

ящей жизни, и даже частью наиболее ценной благодаря бешеным деньгам, которые он ей давал, частью, которая возбуждала к ней безумную зависть ее подруг и которая давала бы ей возможность, после того как она набьет кубышку, переехать в деревню или начать выступать в каком-нибудь знаменитом театре. Роберу хотелось спросить у своей подружки, кто это такие Люсьена и Жермена, о чем бы они говорили, если б она села к ним в купе, как провела бы она с ними день и не закончился ли бы он после скетинга целой оргией в ресторане «Олимпия», если бы с ней не было Робера и меня. На мгновение окрестности «Олимпии», которые всегда казались ему нестерпимо скучными, возбудили в нем любопытство, причинили ему боль, а при виде весеннего солнца, заливавшего светом улицу Комартен, куда Рахиль, пожалуй, если б она не была знакома с Робером, пошла бы сейчас и заработала бы луидор, ему стало как-то безотчетно грустно. Но к чему задавать Рахили вопросы? Ведь он же знал наперед, что ответом ему будет или просто молчание, или ложь, или что-нибудь очень для него тяжелое, но ничего не проясняющее. Ее раздвоение длилось слишком долго. Кондуктора закрывали дверцы, мы поспешили занять

места в вагоне первого класса, чудные жемчуга Рахили напомнили Роберу, что это очень дорогая женщина, он ее приласкал, вернул в свое сердце и начал смотреть на нее, овнутренённую, как смотрел до сих пор всегда, за исключением того краткого мига, когда он увидел ее на площади Пигаль, написанной художником-импрессионистом, — и поезд тронулся. Оказалось, что она и правда «литературна». Она без умолку говорила мне о книгах, о новом искусстве, о толстовстве и прерывала себя, только чтобы упрекнуть Сен-Лу в том, что он много пьет.

— Пожил бы ты со мной год, я бы поила тебя водой, и ты чувствовал бы себя гораздо лучше!

— Решено, уедем.

— Но ведь ты же знаешь, что мне нужно много работать (она уверила себя, что из нее выйдет настоящая актриса). Да и что скажет твоя семья?

Тут она, обратившись ко мне, начала критиковать его семью, и ее критика показалась мне совершенно справедливой, да и Сен-Лу, проявлявший непокорность, когда речь заходила о шампанском, тут вполне с ней согласился. Я считал, что возлияния для Сен-Лу опасны, у меня было такое чувство, что любовница оказывает на него влияние благотворное, и я уже готов был

посоветовать ему плюнуть на семью. Я имел неосторожность заговорить о Дрейфусе, и на глазах у молодой женщины выступили слезы.

— Несчастный страдалец! — сдерживая рыдания, сказала она. — Они его там уморят.

— Успокойся, Зезетта: он вернется, его оправдают, ошибка будет исправлена.

— Но до тех пор он умрет! Ну хоть, по крайней мере, у его детей имя будет незапятнанное. Но какие муки он терпит — вот что меня убивает! И представьте себе: мать Робера, женщина благочестивая, говорит, что он должен остаться на Чертовом острове, даже если он невиновен, — какой ужас, правда?

— Да, совершенно верно, она это говорит, — подтвердил Робер. — Моя мать именно такого мнения, это истинная правда, но она безусловно менее чувствительна, чем Зезетта.

На самом деле в этих обедах, «таких приятных», ничего хорошего не было. Дело в том, что, как только Сен-Лу появлялся со своей любовницей в публичном месте, ему начинало казаться, что она заглядывается на всех мужчин, и оттого мрачнел, она же замечала его дурное настроение, и, быть может, ей нравилось поддразнивать его, а еще вернее, она не пыталась разубеждать его из

глупого самолюбия, задетая его тоном; она притворялась, что не спускает глаз с какого-нибудь мужчины, причем иногда это не было пустой забавой. Стоило какому-нибудь господину оказаться их соседом в театре или в кафе или если даже в их извозчике было что-то привлекательное, Робер, которому сейчас же обо всем докладывала ревность, замечал это раньше своей любовницы; ему мгновенно рисовалось, что перед ним одно из тех гнусных созданий, которые, — о чем он говорил мне в Бальбеке, — находят удовольствие в том, чтобы развращать и позорить женщин; он умолял свою любовницу отвести взгляд и тем самым обращал на него ее внимание. А иной раз, найдя, что в своих подозрениях Робер выказывает тонкий вкус, она в конце концов переставала дразнить его, чтобы он успокоился, согласился пойти пройтись и таким образом дал ей возможность заговорить с незнакомцем, и зачастую ей удавалось условиться с ним о свидании, а иногда у нее с этого начинались интрижки.

От меня не укрылось, что, как только мы вошли в ресторан, на лице у Робера появилось озабоченное выражение. Дело в том, что ему сейчас же бросилось в глаза то, что от нас ускользнуло в Бальбеке: Эме, выделявшийся среди своих

заурядных товарищей умением скромно блеснуть, совершенно непроизвольно излучал из себя нечто романическое, что обычно исходит на протяжении нескольких лет от пушистых волос и греческого носа, и этим он отличался от многих других слуг. Слуги, почти все уже довольно пожилые и до ужаса безобразные, живо напоминали священников-ханжей, елейных духовников, а чаще — прежних комиков, потому что их лбы, в форме сахарной головы, можно теперь найти разве лишь на портретах, вывешенных в по-старинному скромных фойе уже не пользующихся успехом театриков, — на портретах, на которых они изображены в ролях лакеев или священноначальников, а в ресторанах эти величественные официанты составляют особый тип, сохраняются в виде некоего совета жрецов то ли благодаря строгому отбору, а может быть, благодаря обычаю, в силу коего должность официанта переходит по наследству. К несчастью, Эме нас узнал и сам подошел принять заказ, а в это время целая процессия опереточных верховных жрецов направилась к другим столикам. Эме осведомился о здоровье моей бабушки, я спросил, как поживают его жена и дети. Эме был хорошим семьянином, и мой вопрос его растрогал. Глядя на него, можно

было сказать, что это человек умный, волевой, но знающий свое место. Любовница Робера до странности внимательно его рассматривала. Однако впалые глаза Эме на его неподвижном лице, которым небольшая близорукость придавала таинственную глубину, ничего не выражали. В провинциальной гостинице, где он прослужил много лет до перехода в Бальбек, красивый очерк его теперь уже слегка пожелтевшего и утомленного лица, которое столько лет, вроде гравюры, изображающей принца Евгения,[127] можно было видеть все на том же месте, в глубине почти всегда пустой залы, вряд ли привлекал к себе много любопытных взглядов. Таким образом, — по всей вероятности, за неимением знатоков, — он долго оставался в неведении насчет художественной ценности своего лица, а так как он был лишен темперамента, то и не захотел бы выставлять ее напоказ. В лучшем случае какая-нибудь заезжая парижанка, в первый раз остановившись в этом городе, подняла на него глаза, может быть, по-

[127] Примечания: 127

…изображающей принца Евгения… — Имеется в виду либо Евгений Савойский-Кариньян (1663–1736), австрийский военный и государственный деятель, гравюра которого хранится в Лувре в Кабинете эстампов, либо принц Евгений де Богарне (1781–1824), сын Александра де Богарне и Жозефины де Богарне, изображенный на гравюре под названием «Принц Евгений на могиле своей матери».

просила его прислужить ей в номере до отхода поезда и запрятала в прозрачную, не меняющуюся, глубокую пустоту существования этого верного мужа и провинциального слуги тайну прихоти без видов на будущее, тайну, которую никто никогда не стал бы разоблачать. И все же Эме, должно быть, заметил пристальность впившегося в него взгляда молодой артистки. Во всяком случае, эта пристальность обратила на себя внимание Робера, потому что я увидел, как на его лице проступает румянец, но не яркий, — тот, что вспыхивал, когда Робер вдруг приходил в волнение, — а слабый, неровный.

— Кажется, метрдотель показался тебе очень интересным, Зезетта? — довольно невежливо обойдясь с Эме, спросил он любовницу. — Можно подумать, что ты собираешься его зарисовать.

— Начинается! Так я и знала!

— Что начинается, дуся? Если это не так — пожалуйста, я беру свои слова обратно! Но все-таки я вправе предостеречь тебя от этого холуя, ведь я же знал его еще в Бальбеке (а иначе плевать бы я на него хотел): редкий прохвост.

Сделав вид, что послушалась Робера, она заговорила со мной о литературе, и в этом разговоре принял участие Робер. Мне было с ней не скучно,

так как она превосходно знала произведения, которые я любил, и во мнениях мы с ней почти каждый раз сходились; но от маркизы де Вильпаризи я слыхал, что она бездарна, и потому ее культура в моих глазах стоила не дорого. Она тонко шутила над многим, вообще была очаровательна, а раздражало меня в ней только то, что она неумеренно пользовалась жаргоном литературных салонов и художественных мастерских. Она прибегала к нему по всякому поводу: так, например, привыкнув говорить о картинах, если это были картины импрессионистические, или об операх, если это были оперы вагнерианские: «Да, недурно!» — она как-то сказала молодому человеку, который поцеловал ее в ухо и, тронутый тем, что она будто бы вздрогнула, прикинулся скромником: «Да, как ощущение, по-моему, это недурно». Но особенно меня удивляло, что излюбленные выражения Робера (впрочем, может быть, он перенял их у литераторов, с которыми она же его и познакомила) она употребляла при нем, а он при ней так, как будто без них нельзя обойтись, и не сознавая, насколько ничтожна общедоступная оригинальность. Руки у нее были до того неловкие, что, глядя, как она ими действует во время еды, можно было себе представить,

что так же неуклюжа будет она и на сцене, играя в комедии. Она обладала сноровкой только в любви, но этой сноровкой она была обязана трогательному предощущению, свойственному женщинам, которые так любят мужчин, что мгновенно угадывают, несмотря на различие между своим телом и телом мужчины, что может доставить им наибольшее наслаждение.

Когда речь зашла о театре, я перестал принимать участие в разговоре, потому что суждения Рахили о театре отличались крайней недоброжелательностью. Правда, она снисходительным тоном заговорила о Берма, защищая ее от нападок Сен-Лу и тем самым показывая, что она часто обрушивалась на нее при нем: «О нет, это женщина замечательная! Конечно, то, что она делает теперь, нас уже не волнует, мы ищем совершенно другого, но мы должны помнить, когда она появилась, мы ей обязаны многим. Поработала она недурно, можешь мне поверить. А потом, она такая милая, у нее такое доброе сердце, она, естественно, не любит то, что интересует нас, но прежде она покоряла своей довольно привлекательной внешностью и изящным складом ума». (Движения пальцев по-разному сопровождают эстетические суждения. Если говорят о живопи-

си, то, чтобы показать, что картина написана отлично, звучными красками, достаточно выставить большой палец. А «изящный склад ума» более требователен. Ему нужно, чтобы вы двумя пальцами или, вернее, двумя ногтями как бы сбрасывали пылинку.) Но если не считать Берма, любовница Сен-Лу говорила о самых знаменитых артистах с насмешкой или свысока, и это меня возмущало, так как я — ошибочно — ставил ее ниже их. Она видела ясно, что ее я считаю посредственностью и отношусь с глубоким уважением к тем, кого она презирает. Но она не обижалась, оттого что такому, как у нее, большому, пока еще не признанному таланту, как бы ни был он уверен в себе, свойственно известное самоуничижение, и мы требуем уважения к себе соответственно не тайным нашим дарованиям, а занимаемому нами положению. (Через час, в театре, я удостоверился, что любовница Сен-Лу очень почтительна с теми артистами, которых она так строго судила.) Вот почему, хотя мое молчание не допускало иных толкований, она решительно настаивала на том, чтобы мы вместе поужинали, и уверяла, что ей ни с кем еще не было так интересно, как со мной. В театр мы собирались пойти после обеда, а нам казалось, что мы уже в фойе, украшенном

портретами старых актеров, — такое разительное сходство в облике было у метрдотелей с представителями как будто бы уже ушедшего целого поколения выдающихся артистов Пале-Рояля; еще они напоминали академиков: один из них, остановившись перед буфетом, рассматривал груши с безразличным любопытством де Жюсье,[128] между тем как другие, рядом с ним, окидывали зал тем любопытным и холодным взглядом, каким уже приехавшие члены Института окидывают публику, переговариваясь так, что она их не слышит. Завсегдатаи знали их всех. Впрочем, сегодня они указывали друг другу на новичка с горбатым носом и ханжески выпяченной нижней губой, от которого, как выражалась на своем жаргоне Рахиль, «пахло подрясником» и на которого все посетители с интересом смотрели. Вскоре, — быть может, для того, чтобы спровадить Робера и остаться наедине с Эме, — Рахиль начала строить глазки молодому биржевику, обедавшему с приятелем за соседним столиком.

— Зезетта! Я прошу тебя не смотреть так на этого молодого человека, — сказал Сен-Лу, на лице которого рассеянные пятна недавнего румян-

---

[128] Примечания: 128
Жюсье, Бернар де (1699–1777) — французский ботаник.

ца сгустились в кровавое облако, ширившееся и мрачившее вытянувшиеся черты моего друга. — Если ты хочешь привлечь к нам всеобщее внимание, то я пересяду за другой стол, а затем подожду тебя в театре.

Тут Эме сказали, что какой-то господин ждет его в карете и просит выйти к нему. Сен-Лу всегда находился в страхе и тревоге, не хочет ли кто-нибудь передать Рахили любовную записку, и сейчас он поспешил выглянуть в окно: в карете, сложив руки в полосатых перчатках, с цветком в петлице, сидел де Шарлю.

— Ты видишь, — шепотом заговорил со мной Сен-Лу, — родные выслеживают меня и здесь. Пожалуйста, — мне это неудобно, а ты хорошо знаешь метрдотеля, он, конечно, нас выдаст, — попроси его не выходить. Пусть выйдет любой официант, который меня не знает. Нрав моего дядюшки я изучил: если официант скажет, что он меня не знает, то дядя не пойдет в ресторан — он эти места терпеть не может. До чего же это все-таки мерзко: старый бабник, до сих пор не угомонился, а мне вечно читает мораль и шпионит!

Эме, получив от меня наставления, послал кого-то из своих помощников сказать, что Эме занят, а если, мол, его спросят, знает ли он Сен-Лу,

то ответить, что нет. Карета сейчас же уехала. Но любовница Сен-Лу, не слышавшая, о чем мы с ним шептались, и решившая, что речь идет о молодом человеке, в заигрывании с которым упрекал ее Робер, взбеленилась:

— Ах, вот оно что! Теперь этот молодой человек! Спасибо, что сказал прямо. Как приятно обедать в такой обстановочке! Вы ему не верьте, он просто на что-то обиделся, — обратилась она ко мне, — а главное, он воображает, что ревновать — это хороший тон, что так принято у важных господ.

И она начала нервно постукивать каблучками и похлопывать об стол ладонями.

— Но ведь мне же это неприятно, Зезетта! Ты делаешь нас посмешищем в глазах этого господина: он будет думать, что ты с ним кокетничаешь, мне же он кажется на редкость отвратным.

— А мне он очень нравится; у него прелестные глаза, и когда он смотрит на женщину, сразу чувствуется, что он умеет любить.

— Если ты не в своем уме, то хоть помолчи, пока я не ушел! — крикнул Робер. — Человек, пальто!

Я не знал, уйти мне с ним или остаться.

— Нет, мне хочется побыть одному, — сказал он мне таким же тоном, каким только что говорил с любовницей, словно он был на меня сердит. Гнев

его можно было сравнить с мотивом, на который в опере поют несколько реплик, совершенно разных по смыслу и по характеру, но связанных единым чувством. Когда Робер ушел, его любовница позвала Эме и начала расспрашивать его. Потом обратилась с вопросом ко мне: какого я о нем мнения.

— У него какой-то особенный взгляд, правда? Понимаете, мне бы хотелось знать, о чем он думает, хотелось бы часто пользоваться его услугами, взять его с собой в путешествие. Но не больше. Любить всех, кто вам нравится, — тут, я вам скажу, приятного мало. Опасения Робера напрасны. Просто мне нравится фантазировать. Робер может быть совершенно спокоен. — Она все еще смотрела на Эме. — А ну-ка, загляните в его черные глаза, — хотела бы я знать, что там, в глубине.

Немного погодя пришли сказать, что Робер просит ее в отдельный кабинет, куда он через другой выход, не проходя через всю залу ресторана, пошел дообедывать. Я остался один, но потом Робер прислал и за мной. Его любовница лежала на софе под поцелуями и ласками, которыми ее осыпал Робер. Они пили шампанское. «Ух, какой вы!» — говорила она — с недавних пор она ста-

ла употреблять это выражение, казавшееся ей верхом нежности и остроумия. Пообедал я плохо, чувствовал себя плохо и, независимо от того, что мне говорил Легранден, жалел, что начинаю в отдельном кабинете, а кончу за кулисами вторую половину этого весеннего дня. Боясь опоздать, Рахиль посмотрела на часы, а затем налила мне шампанского, предложила восточную папиросу и отколола для меня от своего корсажа розу. И тут я подумал: этот день нельзя назвать неудачным; время, проведенное с этой молодой женщиной, — время для меня не потерянное: ведь благодаря ей у меня есть бесценные сокровища — роза, душистая папироса, бокал шампанского. Все это я себе говорил, так как мне казалось, что, придавая этим скучно проводимым часам эстетический характер, я их оправдываю, спасаю. А мне бы следовало подумать о том, что уже самая потребность найти утешение ясно доказывает, что никакой эстетики я в этой скуке не находил. Робер же и его любовница как будто даже и не помнили, что они только что поссорились и что я при этом присутствовал. Они не намекали на ссору, не старались объяснить ни ее, ни столь внезапную перемену в их отношениях. От выпитого с ними шампанского я опьянел, как в

Ривбеле, — впрочем, не совсем так. Не только каждый вид опьянения, начиная с опьянения солнцем или путешествием и кончая опьянением усталостью или вином, но и каждая степень опьянения, требующая особой «отметки», вроде тех, какие указывают глубину моря, раскрывает в нас на той глубине, где он находится, человека неповторимого. Кабинет Сен-Лу был маленький, но единственное его украшение — зеркало — стояло так, что в нем словно отражалось еще тридцать, уходивших в бескрайнюю даль, а электрическая лампочка над зеркалом по вечерам, когда ее зажигали, сопровождаемая шествием тридцати ее отражений, должна была наводить даже одинокого пьяницу на мысль, что пространство вокруг него увеличивается вместе с ростом возбуждаемых в нем вином ощущений и что, заточенный в этой одиночке, он все же царит над чем-то, вытянувшимся в бесконечную лучистую кривую линию, протянувшуюся гораздо дальше, чем аллея парижского Ботанического сада. И вот, будучи сейчас этим пьяницей, я вдруг увидел его в зеркале: на меня смотрел незнакомый урод. Блаженство опьянения пересилило гадливость: от радости или из озорства я ему улыбнулся, а он улыбнулся мне. Я находился под эфемерным и

мощным влиянием минуты, когда все ощущения становятся необыкновенно сильными, и, вернее всего, единственно, что меня огорчало, это мысль, что увиденное мною сейчас в зеркале мое омерзительное «я», быть может, доживает свой последний день и мне уже до самой смерти не суждено встретить этого незнакомца.

Робера теперь сердило только то, что мне больше не хочется блистать перед его любовницей.

— А вот этот господин, которого ты встретил утром и который примешивает снобизм к астрономии, — расскажи ей про него, а то я забыл. — И он искоса посмотрел на нее.

— Миленький! Кроме того, что ты уже рассказал, о нем же нечего больше рассказывать!

— Ты просто невыносим. Ну тогда расскажи о Франсуазе на Елисейских полях — ей это очень понравится.

— Да, да! Бобби мне так много рассказывал о Франсуазе! — Взяв Сен-Лу за подбородок и повернув его к свету, она из-за бедности своего словаря повторила: — Ух, какой вы!

С тех пор как актеры перестали быть для меня единственными хранителями, в дикции и в игре, некой артистической истины, они начали интересовать меня сами по себе; я воображал,

что передо мной герои старинного комического романа, и меня занимало появление нового лица, молодого барина, занимало то, как инженю рассеянно слушала признание первого любовника, а он, разливаясь соловьем, украдкой бросал пламенные взгляды на пожилую даму в ближайшей ложе, прельстившую его своими великолепными жемчугами; таким образом, особенно благодаря рассказам Сен-Лу о частной жизни артистов, я видел, как идет другая пьеса, немая и выразительная, под пьесой произносимой, пьесой посредственной, но все-таки меня интересовавшей, потому что я чувствовал, как растут и расцветают на один час При свете рампы в душе актера слова роли, рожденные наведенным на его лицо карандашом и румянами другим лицом. Эти эфемерные и живучие личности, — действующие лица тоже пленительной пьесы, — которые мы любим, которыми мы восхищаемся, которые мы жалеем и которые, когда мы уходим из театра, нам хочется увидеть вновь, но которые уже распались на актеров, утративших положение, какое они занимали в пьесе, на текст, уже не показывающий лица актера, на цветную пудру, смахиваемую носовым платком, — словом, которые по причине распада,

происходящего тотчас по окончании спектакля, снова превращаются в элементы, ничего общего с ними не имеющие, — эти личности заставляют, подобно любимому существу, сомневаться в реальности нашего «я» и задумываться о смерти.

Один из номеров программы произвел на меня очень мрачное впечатление. Должна была дебютировать исполнением старинных романсов молодая женщина — предмет ненависти Рахили и кое-кого из ее приятельниц, — у которой с этим дебютом были связаны все ее надежды и надежды ее близких. У нее был до смешного толстый зад, а голос красивый, но маленький, да еще ослабевший от волнения, контрастировавший с ее мощной мускулатурой. Рахиль рассадила в зрительном зале своих приятелей и приятельниц, в чью задачу входило смущать сарказмами дебютантку, о которой было известно, что она конфузлива от природы, довести ее до такого состояния, чтобы она потерпела полное фиаско и директор не подписал с ней ангажемента. После первых же нот, взятых несчастной дебютанткой, завербованные с определенной целью слушатели, смеясь, повернулись к ней спиной, женщины, находившиеся с ними в заговоре, смеялись громко, каждая тоненькая нота вызывала

новый взрыв деланного хохота, от которого пахло скандалом. Несчастная дебютантка, от обиды потевшая под румянами, попыталась справиться с собой, потом обвела публику отчаянным, негодующим взглядом, но шиканье от этого только усилилось. Инстинкт подражания, желание показать свое остроумие и удаль увлекли молодых актрис, которых никто не подучивал, и сейчас они подмигивали заговорщикам, как подмигивают злобствующие сообщницы, корчились от смеха, прыскали так, что по окончании второго романса, хотя в программе значилось еще пять, режиссер отдал распоряжение опустить занавес. Я старался не думать об этом происшествии, так же как в свое время старался не думать о том, как страдает бабушка, когда мой двоюродный дед, чтобы подразнить ее, уговаривал дедушку выпить коньяку, — человеческая злоба всегда была для меня донельзя мучительна. И все-таки, подобно тому, как сострадание, быть может, не всегда соответствует душевной боли страдальца, ибо вследствие того, что он силится перебороть свои муки, он не ощущает их так остро, как это нам рисуется в воображении, злоба в душе злого человека тоже, наверное, свободна от жестокости в чистом виде, от жестокости сладострастной,

которую нам так больно представлять себе. Злого человека воодушевляет ненависть, гнев приводит его в ярость и в возбуждение, в которых ничего особенно отрадного нет;, наслаждение это может доставить только садисту; просто злой человек думает, что он досаждает злому. Рахиль, конечно, воображала, что актриса, которую она травила, дарованием не блещет и что, ошикав ее, обратив внимание публики на то, какая она смешная, она, Рахиль, выступила на защиту хорошего вкуса и вместе с тем дала урок нелюбимой сослуживице. Как бы то ни было, я решил не говорить об этом происшествии: у меня самого недостало ни мужества, ни сил прекратить безобразие, а сказать доброе слово о жертве, тем самым уподобив злорадству жестокости чувства, воодушевлявшие палачей дебютантки, мне было бы очень тяжело.

Однако начало представления занимало меня и с другой стороны. Оно приоткрыло мне основу самообмана, в который впадал Сен-Лу в своем отношении к Рахили и который разверз пропасть между образами его любовницы, какие Робер и я составили себе, когда видели ее утром под цветущими грушами. Рахиль играла в маленькой пьеске почти выходную роль. Но сейчас это была

другая женщина. У нее было одно из тех лиц, которые расстояние, — и не непременно расстояние между зрительным залом и сценой, весь мир в этом смысле только огромный театр, — вырисовывает четко и которые вблизи рассыпаются в прах. Находясь рядом с ней, вы видели туманность, млечный путь веснушек, прыщичков и больше ничего. В некотором отдалении все это становилось невидимым, а над померкшими, стушеванными щеками поднимался полумесяцем такой правильный, такой тонкий нос, что хотелось обратить на себя внимание Рахили, глядеть на нее и не наглядеться, удерживать ее силой, если иначе нельзя видеть ее вблизи! Я говорю не о том, что чувствовал я, а о том, что чувствовал Сен-Лу, когда впервые увидел ее игру. Тогда-то он и задумался над тем, как приблизить ее к себе, как с ней познакомиться, ему открылось волшебное царство, — то, где жила она, — откуда исходили чудные излучения, но куда он проникнуть не мог. Несколько лет назад он вышел из провинциального театра с мыслью о том, что писать ей было бы глупо, что она все равно не ответит, готовый пожертвовать своим состоянием и своим именем ради существа, которое заняло внутри него особый мир, паривший над знакомым ему

бытом, мир, украшенный желанием и мечтой, и тут вдруг увидел вылетевший из артистического подъезда театра веселый, изящно одетый рой игравших в сегодняшнем спектакле артисток. Их поджидали знакомые молодые люди. Число людей-пешек не так велико, как число комбинаций, которые могут из них создаться, и вот в какую-нибудь залу, где у нас нет ни одной знакомой женщины, неожиданно входит та, с кем мы не чаяли когда-нибудь свидеться и которая появляется до того кстати, что эта случайность представляется нам провиденциальной, тогда как вместо нее, вне всякого сомнения, могла бы возникнуть иная случайность, если б мы были не в этом, а в другом месте, где бы у нас явились другие желания и где бы мы встретились с другой старой знакомой. Золотые врата мира мечтаний затворились за Рахилью до того, как Сен-Лу увидел, что она выходит из театра, поэтому веснушки и прыщи особого значения не имели. Все же они ему не нравились — главным образом потому, что он был теперь не один и не обладал той же силой воображения, что и в театре. Но та Рахиль, хотя он уже ее не видел, по-прежнему руководила им — так небесные светила правят нами с помощью силы притяжения даже в часы,

когда наше зрение их не различает. Вот почему, повинуясь желанию, пробужденному в Робере актрисой с тонкими чертами, уже выпавшими из его памяти, Робер вцепился в своего старого товарища, который случайно тут очутился, и велел представить его женщине без черт, но с веснушками, потому что это была та самая, решив установить позднее, кто же она на самом деле: та или эта. Она так спешила, что даже ничего не успела сказать Сен-Лу, и только спустя несколько дней он, добившись, чтобы она рассталась со своей компанией, наконец проводил ее домой. Он уже любил ее. Потребность в мечте, желание быть осчастливленным той, о ком мы мечтали, так сильны, что нужно очень немного времени для того, чтобы все свои надежды на счастье связать с женщиной, которая за несколько дней до этого была для нас всего лишь неожиданным, безвестным, безразличным видением на театральных подмостках.

Как только занавес опустился и мы прошли на сцену, я, сразу оробев, решил начать с Сен-Лу оживленный разговор; я не знал, как держать себя на новом для меня месте, а так мое поведение всецело зависело бы от моей беседы и можно было бы подумать, что я до того увлечен ею и

до того рассеян, что мое лицо, естественно, не приняло выражения, какое оно должно было бы здесь принять, а судя по тому, что я говорил, я и впрямь почти не отдавал себе отчета, где я нахожусь; только чтобы не молчать, я поспешил заговорить на первую попавшуюся тему:

— Знаешь, в день отъезда я заходил к тебе попрощаться, — мы с тобой еще об этом не успели поговорить, — сказал я Роберу. — Я тебе поклонился на улице.

— Ах, и не напоминай! — воскликнул Робер. — Я был так огорчен! Мы встретились около самых казарм, но я не мог остановиться — я и так уже намного опаздывал. Мне это было очень неприятно, уверяю тебя!

Значит, он меня узнал! Я живо себе представил, с каким видом полного безразличия он откозырял мне, не показав взглядом, что он меня узнал, не сделав ни одного движения, которое дало бы мне понять, что он жалеет, что не может остановиться. Очевидно, это его тогдашнее притворство, — будто он меня не узнал, — многое для него упрощало. Но меня потрясла быстрота, с какой он на это решился, ничем не выдав, что он меня узнал. Я еще в Бальбеке заметил, что лицо у него было простодушно-открытое, сквозь его

прозрачную кожу был виден внезапный прилив чувств, а его тело было замечательно выдрессировано воспитанием для некоторых видов притворства, требуемых правилами приличия, и, как великолепный актер, он мог в своей полковой жизни, в светской жизни играть самые разные роли. В одной из ролей он любил меня всей душой, был мне почти родным братом; он был мне братом и опять стал братом, но на одно мгновение стал другим, незнакомым со мной человеком, который, держа вожжи, с моноклем в глазу, без взгляда и без улыбки приложил руку к козырьку, чтобы, как подобает учтивому военному, отдать мне честь!

Еще стоявшие на сцене декорации, между которыми я пробирался, лишенные вблизи всего, что им придает расстояние и освещение, всего, что имел в виду писавший их большой художник, сейчас выглядели убого, и та же разрушительная сила коснулась и Рахили, в чем я уверился, когда подошел к ней. Крылья ее прелестного носа остались где-то там, между залом и сценой, так же как объемность декораций. Это была не она, я узнал ее только по глазам, — подлинность ее удостоверяли они. Очертания и блеск юного этого светила, еще недавно такого яркого, исчезли. Вместо них,

словно мы долго смотрели на луну и она перестала казаться нам розовой и золотистой, на этом совсем недавно гладком лице я различал сейчас одни лишь протуберанцы, пятна, впадины.

Я был просто очарован, когда увидел, как среди журналистов, светских людей и приятелей актрис, которые здоровались, разговаривали, курили, точно в частном доме, молодой человек в черной бархатной шапочке, в юбочке цвета гортензии, с нарумяненными щеками, — ожившая страница из альбома Ватто,[129] — с игравшей на губах улыбкой, глядя вверх, изящным движением едва касался одной ладонью другой, легко подпрыгивал и казался существом до такой степени инородным этим благоразумным господам в пиджаках и сюртуках, между которыми он, как безумец, проносил восторженную свою мечту, таким чуждым их житейским заботам, таким далеким от условий их цивилизации, таким

[129] Примечания: 129

Ватто, Жан Антуан (1684–1721) — французский художник и гравер, которому принадлежит множество рисунков, сделанных сангиной (красный карандаш). В статье, посвященной творчеству этого художника, Пруст вольно или невольно сопоставлял его судьбу со своей собственной: «Болезни нашего тела не являются причиной заболеваний нашего характера, но наш характер и тело настолько тесно связаны, что разделяют одни и те же невзгоды» (Пруст М. Против Сент-Бёва. Стр. 154). По мысли Пруста, Ватто «первым изобразил современную любовь…изобразил любовь как нечто недостижимое в прекрасном убранстве» (Там же. Стр. 153).

непослушным законам природы, что когда вы следили глазами за арабесками, которые так свободно вычерчивали меж декораций его крылатые, причудливые, загримированные прыжки, то на вас веяло такой же успокоительной свежестью, как при виде мотылька, заблудившегося в толпе. Но тут Сен-Лу показалось, что Рахиль загляделась на танцовщика,[130] в последний раз повторявшего фигуру танца, который ему предстояло исполнить в дивертисменте, и лицо Сен-Лу потемнело.

— Ты могла бы смотреть в другую сторону, — сказал он ей с мрачным видом. — Знаешь ли, эти плясуны не стоят каната, на который хорошо бы их поднять, чтобы они сломали себе шею, а они потом будут хвастаться, что ты обратила на них особое внимание. Да и потом, ты же слышишь, что тебя зовут в уборную одеваться. В довершение всего еще опоздаешь.

Трое мужчин — три журналиста, — увидев бешеное лицо Сен-Лу, заинтересовались и подошли послушать, что он говорит. На противоположной стороне сцены устанавливали декорацию, и нас

[130] Примечания: 130

…загляделась на танцовщика… — Прототипом этого танцовщика мог быть Вацлав Нижинский (1890–1950), выступления которого в рамках «Русских сезонов» в Париже Пруст видел в июне 1910 г.

притиснули к журналистам.

— Да ведь я же его знаю, это мой приятель! — воскликнула любовница Сен-Лу, глядя на танцовщика. — Как он сложен! Вы только посмотрите на его ручки — они тоже танцуют, как и весь он!

Танцовщик повернулся к ней лицом, и из-под сильфа,[131] которого он старался изобразить, проступила человеческая его личность: ровное серое студенистое вещество его глаз дрогнуло и блеснуло между подведенными затвердевшими ресницами, а улыбка растянула рот на нарумяненном лице; потом, точно певица, из любезности напевающая арию, за которую мы ее превознесли, он, чтобы позабавить молодую женщину, стал делать то же движение ладонями, передразнивая самого себя с тонкостью пародиста и веселостью ребенка.

— Ах, какая прелесть! Он подражает самому себе! — хлопая в ладоши, воскликнула Рахиль.

— Дуся, я тебя умоляю, — голосом, полным отчаяния, заговорил Сен-Лу, — не устраивай представления, ты меня убиваешь, клянусь: если ты скажешь еще хоть слово, я не провожу тебя в твою уборную и уйду, не зли меня.

---

[131] Примечания: 131

Сильф — в кельтской мифологии дух, обитающий в воздухе, всегда готовый оказать услугу людям.

— Не дыши сигарным дымом, тебе станет плохо, — сказал мне Сен-Лу с той заботливостью, какую он проявлял ко мне еще в Бальбеке.

— Ах, какое это будет счастье, если ты уйдешь!

— Но я не вернусь — предупреждаю!

— Не смею надеяться.

— Послушай, ты помнишь: я обещал подарить тебе колье, если ты будешь хорошей, но раз ты так со мной обращаешься…

— А я ничего другого от тебя и не ожидала. Раз ты дал мне обещание, значит, я должна была быть твердо уверена, что ты его не исполнишь. Ты хочешь, чтобы весь свет узнал, что у тебя есть деньги, а я не такая корыстная, как ты. Плевать мне на твое колье. Мне его другой подарит.

— Никто тебе его не подарит, я оставил его за собой у Бушрона и взял с него слово, что продаст он его только мне.

— Ах, как мило! Ты решил шантажировать меня, ты все это обдумал заранее. Вот она, Марсант, Mater Semita, порода-то сказывается, — продолжала Рахиль, пуская в ход игру слов, которая была основана на грубом искажении смысла, ибо semita значит «тропинка», а не «семитка», но которой пользовались националисты, когда говорили о дрейфусарстве Сен-Лу, хотя, кстати

сказать, заразился он им от актрисы. Во всяком случае, не ей было говорить о еврейском происхождении г-жи де Марсант, у которой великосветские этнографы не могли отыскать ничего еврейского, кроме родства с Леви-Мирпуа. — Но еще не все пропало, можешь быть уверен. Слово, данное при таких условиях, ровно ничего не стоит. Ты поступил со мной подло. Бушрон узнает, и ему дадут за его колье вдвое больше. Ты обо мне скоро услышишь, будь спокоен.

Робер был в ста случаях прав. Но обстоятельства всегда бывают так запутаны, что человек, в ста случаях правый, может вдруг поступить неправильно. И мне невольно пришла на память неприятная и вместе с тем вполне невинная фраза, которую я слышал от Робера в Бальбеке: «Так я держу ее в руках».

— Насчет колье ты меня не так поняла. Я тебе не обещал его наверняка. Теперь ты делаешь все для того, чтобы я с тобой расстался, — ну так, естественно, я тебе его не подарю; не понимаю, где ты видишь тут подлость и в чем мое корыстолюбие. И никогда я не раззванивал о своем богатстве, я всегда говорил, что я голяк, без гроша за душой. Ты ошибаешься, дуся. Откуда ты взяла, что я корыстен? Ты прекрасно знаешь, что единственная

моя корысть — это ты.

— Слыхали! — насмешливо проговорила Рахиль, махнув рукой с таким видом, как будто хотела сказать: «Знаем мы вас!» И повернулась лицом к танцовщику: — Ах, что он выделывает руками! Я женщина, а так бы не могла. — Рахиль показала ему глазами на перекошенное лицо Робера. — Они страдают! — прошептала она во внезапном порыве садической жестокости, которая, впрочем, была неизмеримо слабей ее искренней привязанности к Сен-Лу. — Послушай, в последний раз, клянусь: что бы ты ни вытворяла, как бы горько ты ни пожалела через неделю, я не вернусь, чаша терпения переполнена; имей в виду: это бесповоротно, потом пожалеешь, но будет поздно.

Быть может, он был искренен, быть может, пытка разлуки с любовницей казалась ему не такой жестокой, как продолжение отношений в этих условиях.

— А ты, милый, — прибавил он, обратившись ко мне, — уйди отсюда, я тебе уже сказал: ты раскашляешься.

Я показал на декорацию, стоявшую у меня на дороге. Робер дотронулся до шляпы и сказал журналисту:

— Милостивый государь! Нельзя ли вас попросить не курить? Мой друг не переносит дыма.

Не дожидаясь Робера, его любовница пошла в свою уборную и обернулась.

— Эти ручки и с женщинами так обращаются? — деланно мелодично и наивно, как говорят инженю, из глубины сцены спросила она танцовщика. — Да ты и сам похож на женщину; мне думается, что вы бы с одной моей приятельницей столковались легко.

— Насколько мне известно, здесь курить не запрещается, а больные пусть сидят дома, — отрезал журналист.

Танцовщик таинственно улыбнулся артистке.

— Молчи, молчи! Я и так от тебя без ума! — крикнула она ему. — Нам это припомнят.

— Должен заметить, милостивый государь, что вы не слишком любезны, — сказал Сен-Лу журналисту все так же вежливо и мягко, с видом человека, желающего показать, что инцидент уже исчерпан.

Но тут я увидел, что Сен-Лу взмахивает рукой, как будто делает знак кому-то мне невидимому или как будто он дирижер, и в самом деле: без всякого перехода, — так по одному взмаху дирижерской палочки в симфонии или в балете

грациозное анданте сменяется вихревыми ритмами, — после учтивых слов, какие Сен-Лу только что произнес, раздалась звонкая затрещина, которую он влепил журналисту.

Теперь, когда плавные речи дипломатов и радующие взор искусства сменились неудержимым взметом войны, во время которой на удар отвечают ударом, я бы не очень удивился, увидев противников, плавающих в собственной крови. Но я не мог понять (подобно людям, которые считают, что исправление границы между двумя государствами — это не повод для войны, так же как другие считают, что нельзя умереть от расширения печени), почему Сен-Лу слова, произнесенные им скорее любезно, заключил жестом, который ни в коей мере им не соответствовал, который они не предвещали, взмахом руки, нарушавшим не только человеческие права, но и причинную связь, являвшим собой стихийное проявление гнева, жестом, возникшим ex nihilo.[132] К счастью, побледневший и пошатнувшийся от силы удара журналист до того растерялся, что не дал отпора. Один из его приятелей мгновенно повернулся к кулисам и

[132] Примечания: 132
Из ничего (лат).

сделал вид, что кого-то высматривает, хотя там никого не было, другому будто бы попала в глаз соринка, и он со страдальческой гримасой тер себе веко, а третий бросился бежать с криком:

— Боже мой, сейчас поднимется занавес, наши места займут!

Я хотел заговорить с Сен-Лу, но он был так полон ненависти к танцовщику, что она подступила к его зрачкам; подобно некоему остову, она растягивала ему щеки, и его внутреннее волнение выражалось в полной внешней неподвижности; он так напрягся, что во всем его существе не осталось ни одного «зазора», через который он мог бы воспринять мое слово и ответить на него. Приятели журналиста, удостоверившись, что все спокойно, подошли к нему, но с опаской. Им было стыдно, что они его бросили, и они наперебой пытались уверить его, что ничего не заметили. Один распространялся насчет соринки, другой — насчет фальшивой тревоги с занавесом, третий — насчет необычайного сходства прошедшего мимо человека с его братом. Они даже выразили легкую досаду на то, что он к их треволнениям отнесся безучастно.

— Как? Тебя это не поразило? Стало быть, ты близорук?

— Трусишки несчастные! — проворчал получивший пощечину журналист.

В полном несоответствии с теми версиями, которые они придумали, — чтобы быть последовательными, они должны были притвориться, будто не понимают, что он имеет в виду, но этого-то они как раз и не сообразили, — они сказали то, что всегда говорят в таких случаях: «Не лезь в бутылку, охота была нервничать по пустякам, ну чего ты расходился?»

Я уяснил себе утром, возле цветущих груш, тот самообман, на котором основывалась любовь Сен-Лу к «Рахиль, ты мне дана», теперь я так же непреложно убедился в истинности страданий, которые несла с собой эта любовь. Постепенно страдание, которое он испытывал в течение часа, хотя и не прекратилось, но запало внутрь, ушло в него, в глазах у Робера образовалась свободная, податливая зона. Мы с ним пошли погулять. Я остановился на углу улицы Габриэль, из-за которого в былые времена часто выходила Жильберта. Я попытался оживить в себе впечатления далекого прошлого, а затем пустился догонять Сен-Лу «гимнастическим» шагом, как вдруг заметил, что на довольно близком от него расстоянии с ним заговаривает довольно бедно одетый господин. Я

решил, что это кто-нибудь из приятелей Робера; но вот они как будто еще ближе подошли друг к другу; внезапно, точно на небе появились новые светила, какие-то яйцевидные тела с головокружительной быстротой начали принимать перед Сен-Лу всевозможные положения, образуя некое движущееся созвездие. Казалось, их выпустили из пращи числом не менее семи. Это были, однако, всего-навсего два кулака Сен-Лу, умноженные быстротой перемещения в по виду совершенном декоративном ансамбле. Словом, весь этот фейерверк представлял собой учинявшуюся Сен-Лу кулачную расправу, воинственный, а вовсе не эстетический характер которой открылся мне после того, как я окинул взглядом неважно одетого господина, потерявшего одновременно все свое достоинство, вставную челюсть и много крови. Он дал неверные сведения подошедшим к нему людям, затем обернулся и, увидев, что Сен-Лу решительным шагом направился ко мне, посмотрел ему вслед с видом человека рассерженного и огорошенного, но отнюдь не разъяренного. Сен-Лу, наоборот, был разъярен, хотя тот ни разу его не ударил, и, когда он подошел ко мне, глаза его все еще злобно сверкали. Это происшествие не имело никакого отношения, как я сперва

подумал, к пощечине, которую Сен-Лу закатил в театре. Любострастный гуляка, увидев такого красивого военного, как Сен-Лу, начал к нему приставать. Мой друг никак не мог опомниться от наглости этой «сволочи», которая даже не дожидалась покрова ночной темноты; он говорил о тех предложениях, которые были ему сделаны, с таким же возмущением, с каким газеты пишут о вооруженных грабителях, орудующих среди бела дня в центре Парижа. И все-таки избитого господина можно было извинить, ибо наклонная плоскость быстро приближает желание к наслаждению и уже один вид красоты воспринимается как согласие. А Сен-Лу бесспорно был красавцем. Мордобой таким людям, как прицепившийся к Сен-Лу господин, полезен тем, что наводит их на серьезные размышления, но они так и не исправляются и попадают под суд, потому что мысли эти очень скоро вылетают у них из головы. Таким образом, хотя Сен-Лу без дальних размышлений и отколотил встречного, а все-таки побои, хотя бы даже в интересах закона, не способствуют очищению нравов.

После этих происшествий, в первую очередь, конечно, после того, которое особенно взволновало Робера, ему, наверно, захотелось побыть

одному. Он сказал, чтобы я шел к маркизе де Вильпаризи, что мы там с ним встретимся, но что он не хочет входить со мной вместе: ему не хочется, чтобы знали, что он уже часть дня провел со мной, — пусть лучше думают, что он только что приехал в Париж.

Я догадывался еще до знакомства с маркизой де Вильпаризи в Бальбеке, что среда, в которой вращалась она, и среда герцогини Германтской совершенно различны. Маркиза де Вильпаризи принадлежала к числу женщин, которые, происходя из славного рода и после замужества попав в семью не менее знатную, все же не занимают видного положения в обществе и, если не считать нескольких герцогинь, их племянниц или невесток, и даже двух — трех особ королевского рода, старых друзей их дома, принимают у себя в салоне третьесортную публику: буржуа, провинциальных или оскудевших дворян, из-за которых давно уже у них перестали бывать люди элегантные и снобы, не связанные с ними долгом родства или старинной дружбой. Конечно, в Бальбеке я уже через несколько минут понял, почему маркиза де Вильпаризи так хорошо, еще лучше нас, осведомлена о самых незначительных происшествиях, случавшихся тогда с моим отцом во время его

совместного с маркизом де Норпуа путешествия в Испанию. И все же никак нельзя было допустить мысль, что более чем двадцатилетняя связь маркизы с послом явилась причиной понижения маркизы рангом в высшем обществе, где самые блестящие женщины афишировали свои отношения с менее почтенными людьми, чем маркиз де Норпуа, который к тому же, вероятно, давно был для маркизы всего только старым другом. Были ли у маркизы де Вильпаризи в прошлом какие-нибудь другие романы? Прежде у маркизы был более пылкий нрав, чем теперь, когда для нее настала пора утихомирившейся и благочестивой старости, которой, быть может, отчасти придала этот колорит бурная ее молодость, и не жила ли она так долго в провинции для того, чтобы забылись иные ее похождения, о которых новое поколение ничего не знало и которые сказывались лишь на посещавшем ее салон смешанном и неказистом обществе, каковое иначе было бы совершенно свободно от малейшей сомнительной примеси? Не нажил ли маркизе в те времена врагов ее «злой язык», о котором я слышал от ее племянника? Не пользовалась ли она им для того, чтобы очернить соперниц и одержать над ними победу? Все это могло быть; изящная, мяг-

кая манера маркизы де Вильпаризи — тонко выбиравшая не только выражения, но даже интонации, — говорить о целомудрии, о доброте не подтверждала подобного рода догадок: люди, не только прекрасно говорящие о добродетелях, но и чувствующие их прелесть, изумительно их понимающие, способные создать в своих воспоминаниях их верный образ, по большей части только принадлежат к безгласному, бесцветному поколению, поколению без искусства, но не имеют с ним ничего общего. Поколение отражается в них, но не продолжается. В отличие от него, наделенного твердой волей, они обнаруживают впечатлительность, ум, а эти качества не побуждают к действию. Были или не были в жизни маркизы де Вильпаризи похождения, помрачившие блеск ее имени, одной из причин ее выпадения из высших кругов был, само собой разумеется, ее ум, ум скорее второсортного писателя, чем светской женщины.

Конечно, маркизе де Вильпаризи нравились главным образом качества, для своего проявления не требующие особого душевного подъема, как, например, уравновешенность, чувство меры, но если понимать чувство меры буквально, то его одного недостаточно, писателям нужны и

другие достоинства, возникающие из не строго размеренной вдохновенности; в Бальбеке я заметил, что маркиза де Вильпаризи не понимала некоторых больших художников, что она умела лишь тонко вышучивать их и придавала своему непониманию остроумную и изящную форму. Но необыкновенный ее ум и изящество становились — в другой плоскости, хотя бы в своем развитии они доходили до непризнания величайших произведений искусства, — подлинно художественными достоинствами. А такого рода достоинства действуют на любое положение в обществе, как выражаются врачи, болезнетворно и до такой степени разрушительно, что даже наиболее прочные положения с трудом сопротивляются ему не долее нескольких лет. Что у художников называется умом, то представляется чистой претенциозностью людям светским, ибо они неспособны стать на ту единственную точку зрения, с какой на все смотрят художники, ибо им никогда не понять особого наслаждения, какое испытывают художники, выбирая то или иное выражение либо что-то сопоставляя, вследствие чего общество художников утомляет их, раздражает, а отсюда очень недалеко до враждебности. Вместе с тем в разговоре, а также в воспомина-

ниях, напечатанных впоследствии, маркиза де Вильпаризи выказывала изящество в полном смысле слова светское. Проходя мимо крупных явлений, она не углубляла их, иногда и вовсе не замечала, и из пережитого ею, описанного, кстати сказать, очень правдиво и увлекательно, ей запомнились разные пустяки. Между тем всякий труд, даже если он не затрагивает жизни умственной, есть плод ума, и чтобы создать в книге или в разговоре, который мало чем от нее отличается, законченное впечатление легкомыслия, требуется доля серьезности, которая у особы вполне легкомысленной отсутствует. Из одних мемуаров, написанных женщиной и считающихся настоящим произведением искусства, отдельные фразы приводятся как образец изящной легкости, а мне всегда казалось, что для того, чтобы достичь такой легкости, автор должен был в свое время взвалить на себя груз более или менее солидных знаний, должен был обладать отпугивающей многих культурой и что когда мемуаристка была молоденькой девушкой, то подруги, наверно, считали ее невыносимо скучным синим чулком. Связь между литературными способностями и неуспехом в свете настолько очевидна, что современному читателю доста-

точно напасть в воспоминаниях маркизы де Вильпаризи на какой-нибудь меткий эпитет или на сцепление метафор, чтобы увидеть за ними низкий, но холодный поклон, который отвешивала старой маркизе на лестнице посольства такая снобка, как г-жа Леруа, которая, быть может, оставляла у маркизы по дороге к Германтам визитную карточку, но никогда не переступала порога ее салона из боязни смешаться с женами нотариусов и врачей. Возможно, что в ранней молодости маркиза де Вильпаризи была синим чулком и, упоенная своей ученостью, не сумела удержаться от шпилек, которые она подпускала светским людям, не таким ученым и не таким образованным, как она, а уколотый шпилек не забывает.

А кроме того, талант — это не просто придаток, который искусственно присоединяют к различным свойствам, от коих зависит успех в обществе, чтобы в результате получилась, как выражаются светские люди, «женщина до кончиков ногтей». Талант — это детище определенного душевного строя, в котором многих свойств обычно недостает и в котором преобладает впечатлительность, проявления коей не замечаются в книгах, но живо ощущаются в жизни, как, например, любо-

знательность, причуды, желание пойти туда-то и туда-то ради собственного удовольствия, а не для расширения или поддержания светских отношений и вообще не ради них. В Бальбеке я видел, как маркиза де Вильпаризи, окруженная своими слугами, проходила в отеле через вестибюль, не удостаивая взглядом тех, кто там сидел. Но у меня было такое впечатление, что эта отчужденность не от безучастности и что маркиза не всегда бывает до такой степени самоуглубленной. Прежде ей вдруг приспичивало познакомиться с людьми, у которых не было никаких прав на то, чтобы у нее бывать, — иной раз потому, что кто-то, по ее мнению, был красив, или просто потому, что ей о ком-то сказали, что он человек занятный, или потому, что кто-то показался ей непохожим на ее знакомых, которые в то время, когда она их еще не ценила, так как была уверена в их преданности, составляли цвет Сен-Жерменского предместья. Эту богему, этих мелких буржуа, которых она отличила, ей приходилось зазывать к себе, но они это не ценили; с другой стороны, настойчивость такого рода зазываний постепенно снижала ей цену в глазах снобов, привыкших судить о салоне по тому, кто туда не вхож, а не по тому, кто принят. В молодости маркизе де

Вильпаризи набило оскомину ощущение своей принадлежности к сливкам аристократии, и ей доставляло известное удовольствие шокировать людей, среди которых она жила, бесстрашно разрушать свое положение в обществе, зато теперь, когда она его утратила, она, конечно, начала им дорожить. Раньше, чтобы показать герцогиням свое превосходство, она говорила и делала все, что не осмеливались говорить и делать они. А теперь, когда они, за исключением близких родственниц, не бывали у нее, она почувствовала себя ущемленной и все еще желала царить, хотя и не с помощью ума. Ей хотелось приманить к себе всех, кого она прежде так старательно от себя отдаляла. Жизнь стольких женщин, впрочем, та жизнь, о которой знают немногие (ведь у каждого из нас свой особый, меняющийся с возрастом мир, но несловоохотливость стариков лишает возможности молодежь составить себе представление об их прошлом и обнять мысленным взором целый период времени), делится на две совершенно разные эпохи, и вторую, позднюю, пору они всецело посвящают отвоевыванию того, что в раннюю пору они так беззаботно бросили на ветер. Как бросили? Молодежь рисует себе это смутно, потому что глядит на старую почтенную

маркизу де Вильпаризи и не представляет себе, что теперешняя чинная мемуаристка, которой придает такой важный вид белый ее парик, могла быть когда-то веселой посетительницей ночных ресторанов, быть может, кружила головы, быть может, промотала целые состояния мужчин, теперь уже лежащих в могиле. Но то обстоятельство, что она тоже с искусной и упорной непринужденностью потратила свою молодость, чтобы разрушить положение, которое перешло к ней по наследству от знатных родителей, ни в коей мере не означает, что даже в далекие времена маркиза де Вильпаризи не дорожила им. Так уединение и бездеятельность, из которых с утра до вечера плетет свое время неврастеник, тоже могут казаться ему невыносимыми, и, торопясь прибавить новую петлю к сети, которая держит его в плену, он, наверное, мечтает о балах, охоте, путешествиях. Мы каждый миг трудимся над тем, чтобы придать нашей жизни определенную форму, но при этом мы невольно копируем, точно рисунок, личность, какую мы представляем собой на самом деле, а не ту, какой нам бы хотелось быть. Презрительные поклоны г-жи Леруа могли в известной мере отражать подлинную сущность маркизы де Вильпаризи, но они совершенно не

соответствовали ее желаниям.

Конечно, в тот момент, когда г-жа Леруа, по излюбленному выражению г-жи Сван, «давала по носу» маркизе, та могла в утешение себе вспомнить, что королева Мария-Амелия[133] однажды сказала ей: «Я люблю вас, как родную дочь». Но эти королевские любезности, тайные и никому не известные, существовали только для маркизы, покрытые пылью, как свидетельство консерватории о присуждении первой премии. Истинные преимущества высшего света — это преимущества, на которых строится жизнь; человек может лишиться их, но ему незачем за них цепляться и незачем о них трезвонить, потому что в тот же день на смену им придут сотни других. Маркиза де Вильпаризи хоть и вспоминала слова королевы, а все же охотно променяла бы их на постоянную возможность, которую имела г-жа Леруа, получать приглашения, — так жаждет попасть в ресторан большой, но неизвестный художник, чей талант не написан ни на чертах его робкого лица, ни на старомодном покрое его потертого пиджака, хотя бы для этого он должен был превратиться в биржевого зайца послед-

[133] Примечания: 133

Мария-Амелия де Бурбон (1782–1866) — французская королева, супруга Луи-Филиппа I.

него разбора, который, однако, обедает с двумя актрисами и к которому то и дело подбегают с подобострастными лицами хозяин, метрдотель, официанты, посыльные, а поварята, выйдя из кухни, дефилируют перед ним с поклонами, точно в феерии, предводительствуемые смотрителем винного погреба, таким же запыленным, как его бутылки, жмурящимся и припадающим на ногу, точно, выползая из погреба на свет божий, он ее вывихнул.

Впрочем, надо заметить, что отсутствие г-жи Леруа в салоне маркизы де Вильпаризи, огорчая хозяйку, для большинства гостей проходило незамеченным. Они понятия не имели об особом положении г-жи Леруа, — знал о нем только высший свет, — и у них не возникало и тени сомнения, — как и у нынешних читателей воспоминаний маркизы де Вильпаризи, — что ее приемы — самые блестящие во всем Париже.

Расставшись с Сен-Лу и в первый раз придя с визитом по совету, который де Норпуа дал моему отцу, к маркизе де Вильпаризи, я застал ее в гостиной, обитой желтым шелком, на котором розовыми, почти фиолетовыми пятнами, будто спелая малина, выделялись диваны и чудесные ковровые кресла Бове. Рядом с портретами

Германтов и Вильпаризи висели портреты — подарки тех, кто был на них изображен, — королевы Марии-Амелии, королевы бельгийской,[134] принца Жуанвильского,[135] императрицы австрийской.[136] Маркиза де Вильпаризи в старинном чепчике из черных кружев (она его берегла, потому что у нее было то же тонкое чувство местного и исторического колорита, что и у хозяев гостиниц в Бретани, которые, несмотря на то, что останавливаются у них преимущественно парижане, считают правильным сохранять у служанок бретонские чепчики и широкие рукава) сидела за небольшим бюро, на котором рядом с кистями, палитрой и начатой акварелью были расставлены в стаканах, блюдечках и чашках розы, циннии и венерин волос, которые она сейчас из-за наплыва гостей перестала писать и которые превращали бюро в прилавок цветочницы на гравюре XVIII века. В этой гостиной, хотя и нежар-

---

[134] Примечания: 134

Королева бельгийская — Луиза-Мария Орлеанская (1812–1850), супруга бельгийского короля Леопольда I.

[135] Примечания: 135

Принц Жуанвильский — Франсуа Фердинанд Филипп Орлеанский (1818–1900).

[136] Примечания: 136

Императрица австрийская — Элизабет Виттельсбах (1837–1898), супруга австрийского императора Франца Иосифа I.

ко, но натопленной по тому случаю, что маркиза простудилась, возвращаясь из своего замка, среди присутствовавших, когда я вошел, находились тот архивариус, с кем маркиза де Вильпаризи утром разбирала письма к ней исторических деятелей, чьи факсимиле она собиралась поместить как оправдательные документы в воспоминаниях, над которыми она теперь работала, и надутый, хотя и оробевший историк, который, узнав, что ей по наследству достался портрет герцогини де Монморанси,[137] пришел просить позволения воспроизвести его в своей книге о Фронде, а затем к этим посетителям присоединился мой старый приятель Блок, теперь начинающий драматург, на связи которого с артистами маркиза рассчитывала, собираясь на даровщинку устраивать у себя утренники. Правда, общественный калейдоскоп тогда менялся и дело Дрейфуса должно было вот-вот сбросить евреев на последнюю ступеньку общественной лестницы. Но, как бы ни свирепствовал дрейфусарский циклон, волны доходят до полного осатанения не в начале бури. Притом маркиза де Вильпаризи, не препятствуя

[137] Примечания: 137

Герцогиня де Монморанси — Мария-Фелиция Орсини (1601–1666), супруга Генриха II, герцога де Монморанси. После казни мужа удалилась в монастырь.

большей части своей родни метать громы и молнии против евреев, сама до сих пор держалась в стороне и не проявляла ни малейшего интереса к делу Дрейфуса. Наконец, никому не известный молодой человек вроде Блока мог и не обратить на себя внимания, хотя видные представители еврейской партии находились уже под угрозой. Мой приятель отрастил козлиную бородку, носил пенсне, ходил в длинном сюртуке и, точно свиток папируса, держал в руке перчатку. Пусть даже румыны, египтяне, турки ненавидят евреев. Но во французском салоне национальная рознь не так ощутима, и если какой-нибудь иудей появляется здесь, словно он только что из пустыни, напружившись, точно гиена, склонив голову набок и расточая направо и налево «селямы», то он вполне удовлетворяет требованиям восточного вкуса. Только ему не нужно принадлежать к «свету», иначе он быстро принимает вид лорда, его манеры офранцуживаются, и непослушный его нос, растущий, как настурция, в самых неожиданных направлениях, начинает скорее напоминать нос Маскариля,[138] чем нос Соломона. Но Блок не был вышколен «Предместьем», его не обла-

[138] Примечания: 138
Маскариль — персонаж комедий Ж.-Б. Мольера (1622–1673).

гораживала кровь англичанина или испанца, и для любителя экзотики он оставался таким же необычным и любопытным, несмотря на свой европейский костюм, как еврей на картине Декана.[139] Нельзя не подивиться напористости той расы, что из глубины веков забрасывает вплоть до современного Парижа, в фойе наших театров, за окошечки наших канцелярий, на похороны, на улицы нераспыленную фалангу, которая, стилизуя современные головные уборы, завладев сюртуком, скрадывая его и подчиняя себе, в общем сохраняет полное сходство с фалангой ассирийских писцов, изображенных в торжественном одеянии на фризе монумента в Сузах, охраняющего ворота дворца Дария.[140] (Через час Блок вообразил, что де Шарлю заинтересовался, не еврейское ли у него имя, по нелюбви к евреям, тогда как им владело чисто эстетическое любопытство и пристрастие к местному колориту.) Но, впрочем, говорить об устойчивости рас — значит,

---

[139] Примечания: 139

Декан, Александр Габриэль (1803–1860) — французский художник и гравер, представитель так называемого романтического ориентализма, получил известность благодаря своим «турецким сценам».

[140] Примечания: 140

Дарий I (522–486 до н. э.) — персидский царь, построил в Сузах большой дворец, руины которого были обнаружены в 1885 г. Фриз, о котором идет речь, хранится в Лувре.

неточно передавать наше впечатление от евреев, греков, персов, от всех этих народов, чье разнообразие лучше не трогать. Мы знаем благодаря античной живописи лица древних греков, мы видели ассирийцев на фронтоне дворца в Сузах. И когда мы встречаемся с представителями тех или иных восточных народностей, нам кажется, будто перед нами сверхъестественные существа, вызванные силой спиритизма. Мы знали плоскостное изображение; но вот оно обретает глубину, растет в трех измерениях, движется. Молодая гречанка,[141] дочь богатого банкира, в настоящее время имеющая успех, похожа на одну из тех фигуранток, которые в художественно-исторических балетах являют собой воплощения эллинского искусства; но театр опошляет эти образы, а вот если мы присутствуем в салоне при появлении турчанки или еврея, то это зрелище оживляет фигуры, здесь они выглядят необычнее, как будто это и впрямь существа, вызванные усилиями медиума. Это душа (вернее, то крохотное, до чего при таких материализациях она умаляется, во всяком случае, умалялась до сих

[141] Примечания: 141

Молодая гречанка… — имеется в виду, вероятно, принцесса Сутзо, урожденная Елена Хризовелони (1879–1975), с которой Пруст познакомился в 1917 г.

пор), это душа, которую мы прежде видели мельком только в музеях, душа древних греков, душа древних евреев, оторванная от жизни ничтожной и вместе с тем трансцендентальной, словно разыгрывает перед нами все эти ошеломляющие мимические сцены. Мы силимся удержать фигуру ускользающей от нас молодой гречанки, фигуру, которой мы когда-то любовались на вазе. Мне казалось, что, если бы я при том освещении, какое было в салоне маркизы де Вильпаризи, сделал несколько снимков с Блока, они дали бы то самое изображение Израиля, — пугающее, ибо нам представляется, что это изображение не человека, и обманчивое, ибо оно все же слишком похоже на человека, — какое нам показывают спиритические фотографии. Нет ничего на свете, — если взять шире, — вплоть до пустых слов, оброненных людьми, среди которых мы живем, что не производило бы на нас впечатления чего-то сверхъестественного в нашем бедном повседневном мире, где даже гений, от которого мы ждем, собравшись вокруг него, как вокруг вращающегося столика, открытия тайны бесконечности, говорит лишь то, что как раз сию минуту сказал Блок: «Не сядьте на мой цилиндр».

— Господи! Министры! Дорогой мой! — говорила маркиза де Вильпаризи, обращаясь, главным образом, к моему старому товарищу и вновь беря в свои руки нить разговора, прерванного моим появлением. — Министры, кого они интересовали? Я тогда была совсем маленькая, но я хорошо помню, как король просил моего дедушку пригласить Деказа.[142] на бал, где мой отец должен был танцевать с герцогиней Беррийской[143] «Доставьте мне это удовольствие, Флоримон», — говорил король. Мой дед был туговат на ухо, ему послышалось, что король говорит о де Кастри,[144] и эта просьба показалась ему вполне естественной. Когда же он понял, что речь идет о Деказе, то это его возмутило, но он все-таки наклонил голову в знак согласия и вечером написал Деказу, прося его почтить своим присутствием бал, который должен был состояться на следующей неделе. В те времена люди были вежливы, молодой человек,

---

[142] Примечания: 142

Деказ, Эли, герцог (1780–1860) — французский политический деятель, советник Людовика XVIII, начальник полиции (1815), министр внутренних дел (1819).

[143] Примечания: 143

Герцогиня Беррийская — Мария-Каролина де Бурбон (1798–1870), принцесса Обеих Сицилий.

[144] Примечания: 144

Де Кастри, Арман Шарль Огюстен (1756–1842) — французский аристократ, пэр Франции.

хозяйка дома не могла бы ограничиться посылкой карточки с припиской: «Чашка чаю», или: «Чай и музыка», или: «Чай и танцы». Вежливы-то вежливы, но и надерзить умели. Деказ принял приглашение, но накануне бала мой дед, видите ли, захворал и по этому случаю отменил прием гостей. Он послушался короля, но Деказ так-таки и не был у него на балу… Да, молодой человек, я очень хорошо помню Моле,[145] остроумный был, это он доказал, когда принимал в Академию де Виньи, но уж очень церемонный, я так и вижу, как он у себя дома спускается обедать с цилиндром в руке.

— О, в этом вся та эпоха с ее тлетворным филистерством! Ведь тогда, наверно, вообще было принято ходить у себя дома с цилиндром в руке? — спросил Блок, обрадовавшись редкому случаю выведать у очевидца черты из жизни прежней аристократии, а между тем архивариус, время от времени исполнявший обязанности секретаря маркизы, бросал на нее умильные взгляды и словно говорил: «Вот она какая! Все

[145] Примечания: 145

Моле, Луи Матьё, граф (1781–1855) — французский государственный деятель, глава консервативной партии при Луи-Филиппе, президент Французской академии, председательствовал во время вступления в нее Альфреда де Виньи.

знает, со всеми была знакома, спросите ее о чем угодно, необыкновенная женщина!»

— Ну нет, — ответила маркиза де Вильпаризи, придвигая к себе стакан с венериным волосом, чтобы возобновить работу, — такая привычка была только у Моле. Я ни разу не видела дома моего отца со шляпой, кроме, разумеется, тех случаев, когда приезжал король, потому что король везде у себя дома, а хозяин при нем в своей собственной гостиной всего только гость.

— Аристотель говорит в главе второй… — начал было историк Фронды Пьер, но до того робко, что никто не обратил на него внимания. Он давно уже страдал бессонницей на нервной почве, никакие лекарства ему не помогали, он даже не ложился и, изнемогая от усталости, выходил из дому, только когда этого требовала работа. Он не мог часто предпринимать эти походы, несложные для других, а ему стоившие так дорого, словно он каждый раз спускался с луны, и часто с удивлением обнаруживал, что чужая жизнь не приспособлена для того, чтобы его неожиданные вылазки оканчивались с максимальной пользой для него. Кое-когда бывала закрыта библиотека, куда он вдруг отправлялся, силком заставляя себя

встать и, как герой Уэллса, надеть сюртук.[146] На свое счастье, он застал маркизу де Вильпаризи дома и собирался посмотреть портрет.

Блок перебил его.

— В первый раз слышу, честное слово! — воскликнул он после того, как маркиза де Вильпаризи окончила свой рассказ об этикете при посещениях короля, — воскликнул с таким видом, как будто и правда было удивительно, как мог он об этом не слыхать.

— Кстати, о таких визитах, — знаете, какую глупую шутку сыграл со мной вчера утром мой племянник Базен? — обратилась к архивариусу маркиза де Вйльпаризи. — Вместо того чтобы доложить о себе, он велел передать, что меня спрашивает королева шведская.[147]

— Так прямо и велел передать? Шутник! — воскликнул Блок и закатился хохотом, между тем как историк улыбался с величественной робостью.

— Я была очень удивлена. Ведь я вернулась из

---

[146] Примечания: 146

…как герой Уэллса, надеть сюртук. — Имеется в виду роман английского писателя Герберта Уэллса (1866–1945) «Человек-невидимка» (1897, французский перевод — 1901), где герой, будучи невидимым, надевает плащ, чтобы не отличаться от других людей.

[147] Примечания: 147

Шведская королева — принцесса София де Нассау (1836–1913), супруга шведского короля Оскара II.

деревни всего несколько дней назад и, чтобы пожить спокойно, просила никому не говорить, что я в Париже, — потому-то я и ломала себе голову, откуда шведской королеве стало известно, что я уже здесь, двух дней не дала мне передохнуть, — говорила маркиза де Вильпаризи, повергая гостей в изумление тем, что визит шведской королевы был для хозяйки дома делом обыкновенным.

Утром маркиза де Вильпаризи вместе с архивариусом проверяла по документам свои воспоминания, а теперь она, конечно, — хотя и неведомо для нее самой, — испытывала их действие и обаяние на средних людях, которые составят круг будущих ее читателей. Хотя салон маркизы де Вильпаризи и отличался от истинно аристократического салона, где отсутствовали многие буржуазки, которых принимала она, и где зато можно было встретить блестящих дам, которых г-жа Леруа заманила к себе далеко не сразу, однако этот оттенок не ощущается в воспоминаниях маркизы, так как из них выпали заурядные знакомые автора, о которых он не упомянул за отсутствием повода, а то, что автор ничего не говорит о дамах, которые у нее не бывали, не умаляет ценности воспоминаний, потому что на вынужденно ограниченном про-

странстве ее воспоминаний могут действовать немногие, и если это особы королевского рода или исторические личности, то впечатление наивысшей элегантности, какое только могут произвести на читателей воспоминания, достигнуто. С точки зрения г-жи Леруа, салон маркизы де Вильпаризи был салоном третьесортным, и маркиза де Вильпаризи воспринимала ее мнение болезненно. Но теперь никто уже не знает, кто такая была г-жа Леруа, ее мнения забылись, а вот салон маркизы де Вильпаризи, который посещали королева шведская, герцог Омальский, герцог де Бройль,[148] Тьер,[149] Монталамбер,[150] монсеньор Дюпанлу,[151] потомство будет считать одним из самых блестящих салонов XIX века, ибо потомство не изменилось со времен Гомера

---

[148] Примечания: 148

Герцог де Бройль, Ашиль (1785–1870) — французский государственный деятель, постоянный член кабинета министров при Луи-Филиппе.

[149] Примечания: 149

Тьер, Луи-Адольф (1797–1877) — французский государственный деятель и историк, глава либеральной оппозиции в период Второй империи, первый президент Третьей республики (1871).

[150] Примечания: 150

Моншаламбер, Шарль Форб де Трион, граф (1810–1870) — французский политический деятель и публицист.

[151] Примечания: 151

Дюпанлу, Феликс (1802–1878) — епископ Орлеанский, политический деятель, член Французской академии.

и Пиндара[152] и оно всегда будет завидовать родовитости, принадлежности к королевскому или околокоролевскому роду, дружбе с королями, народными вождями, со знаменитыми людьми.

Так вот, всего этого понемножку было в нынешнем салоне маркизы де Вильпаризи и в ее кое-где легонько приукрашенных воспоминаниях, с помощью которых она уходила в его прошлое. Кроме того, маркиз де Норпуа, хотя он и не мог создать своей приятельнице высокое положение, приводил к ней иностранных и французских государственных деятелей, которые в нем заискивали и знали, что единственно верный способ угодить ему — это бывать у маркизы де Вильпаризи. Г-жа Леруа, может быть, тоже была знакома с этими европейскими знаменитостями. Но, будучи женщиной очаровательной, боявшейся, как бы ее не приняли за синий чулок, она избегала говорить о восточном вопросе[153] с премьер-министрами и о любви с романистами

[152] Примечания: 152

Пиндар (518–438 до н. э.) — древнегреческий поэт.

[153] Примечания: 153

…о восточном вопросе… — В начале XIX века «восточный вопрос» на Западе формулировался следующим образом: должна ли Европа поддерживать целостность Оттоманской империи или наоборот способствовать ее распаду. Различными попытками разрешения этого вопроса были война за независимость в Греции (1828–1829), Крымская кампания (1854–1856) и Восточная война (1877–1878).

и с философами. «Любовь? — переспросила она однажды претенциозную даму, которая задала ей вопрос: „Как вы понимаете любовь?“ — Любовь? Это мое постоянное занятие, но я никогда о ней не говорю». Когда у нее собирались светила литературы и политики, она довольствовалась, как и герцогиня Германтская, тем, что усаживала их играть в покер. Да они и сами часто предпочитали покер серьезным разговорам на общие темы, на которые их заставляла беседовать маркиза де Вильпаризи. Но этим разговорам, быть может неуместным в светском обществе, мы обязаны прекрасными местами в «Воспоминаниях» маркизы де Вильпаризи, теми рассуждениями о политике, которые так же хороши в мемуарах, как и в трагедиях Корнеля. Помимо всего прочего, только такие салоны, какой был у маркизы де Вильпаризи, могут быть увековечены, потому что госпожи Леруа не умеют писать, а если б и умели, у них не нашлось бы времени. Пусть госпожи Леруа презирают маркиз де Вильпаризи за их склонность к литературе, — презрение госпож Леруа в сильнейшей степени способствует развитию этой склонности маркиз де Вильпаризи, потому что благодаря такому презрению у синих чулок появляется досуг, необходимый для

занятия литературой. Богу угодно, чтобы на свете было несколько хороших книг, и для этого-то он и вкладывает презрение в сердца госпож Леруа, ибо он знает, что если б они приглашали ужинать маркиз де Вильпаризи, те немедленно бросали бы перо и приказывали закладывать лошадей к восьми часам.

Вскоре медленным, величественным шагом вошла высокая старуха, и из-под соломенной шляпы у нее выглядывала монументальная прическа в стиле Марии-Антуанетты, которую она соорудила себе из своих седых волос. Тогда я еще не знал, что это одна из трех дам, которых еще можно было видеть в парижском обществе и которые, как маркиза де Вильпаризи, несмотря на благородство их происхождения, по скрывавшимся во тьме времен причинам, о коих нам мог бы рассказать только какой-нибудь старый франт, вынуждены были принимать у себя всякое отребье, не допускавшееся больше никуда. У каждой из этих дам была своя «герцогиня Германтская» — блестящая племянница, навещавшая ее по долгу родства, но бессильная привести к ней «герцогиню Германтскую» двух других дам. Маркиза де Вильпаризи была в очень хороших отношениях со всеми тремя дамами, но

не любила их. Быть может, их положение в свете, очень похожее на ее положение, рисовало перед ней картину, на которую ей было неприятно смотреть. Притом эти озлобленные синие чулки, пытавшиеся при помощи разыгрывавшихся у них скетчей создать себе иллюзию салона, соперничали друг с другом, но так как довольно бурно проведенная жизнь привела их денежные дела в расстройство, то они поневоле стали расчетливыми, экономили на том, что артисты играли у них бесплатно, и это их соперничество вырождалось в борьбу за существование. К тому же еще дама с прической Марии-Антуанетты при виде маркизы де Вильпаризи всякий раз вспоминала, что герцогиня Германтская не посещает ее пятниц. Утешением ей служило то обстоятельство, что этих самых пятниц из уважения к родственнице никогда не пропускала принцесса де Пуа,[154] ее «герцогиня Германтская», которая никогда не бывала у маркизы де Вильпаризи, несмотря на то, что с герцогиней ее связывала близкая дружба.

Как бы то ни было, протянутая от дома на набережной Малаке к салонам на улицах Турнон, Шез и Сент-Оноре цепь, столь же прочная, сколь

---

[154] Примечания: 154

Принцесса де Пуа, урожденная Мадлен дю Буа де Курваль (1870–1944).

и ненавистная, соединяла трех поверженных богинь, и мне не терпелось узнать из мифологического словаря великосветского общества, какое любовное похождение, какая святотатственная дерзость навлекла на них кару. Одинаково блестящее происхождение и одинаковое нынешнее падение являлись, вероятно, одной из главных сил, которые разжигали у них взаимную ненависть и вместе с тем заставляли бывать друг у друга. Кроме того, каждая видела в других средство осчастливить своих гостей. Как гостям было не подумать, что они попали в самый узкий аристократический круг, когда их представляли титулованной даме, сестра которой была замужем за герцогом де Саганом?[155] или принцем де Линь[156] Тем более что в газетах писали гораздо больше об этих поддельных салонах, чем о настоящих. Даже племянники этих дам, представители «золотой молодежи» (Сен-Лу — первый), к которым товарищи обращались с просьбой ввести их в свет, говорили: «Я свожу вас к моей тетке Вильпаризи или к тетке Х, это интересный

[155] Примечания: 155

Герцог де Саган, Шарль де Талейран-Перигор (1832–1910) — один из самых видных аристократов своего времени.

[156] Примечания: 156

Де Линь — знаменитый бельгийский аристократический род.

салон». Прежде всего, им было гораздо проще ввести своих друзей туда, чем к элегантным племянницам этих дам или к их невесткам. Мужчины весьма почтенных лет и молодые женщины говорили мне, что этих старых дам не принимают в обществе из-за необычайной безнравственности их поведения, а когда я замечал, что это может уживаться с элегантностью, мне возражали, что их безнравственность выходит за рамки ныне дозволенного. Распутство величественных этих дам, которые, сидя, держались совершенно прямо, приобретало в устах тех, кто мне о нем рассказывал, нечто недоступное моему воображению, приобретало невероятные размеры, связывающиеся в нашем представлении с доисторическими временами, с веком мамонтов. Словом, три эти парки,[157] с белыми, голубыми или розовыми волосами спряли горькую долю бесчисленному множеству мужчин. Мне думается, что мы теперь склонны преувеличивать пороки тех баснословных времен, — так греки сотворили Икара, Тезея и Геракла из людей, мало чем отличавшихся от тех, что спустя много лет обожествили их. Но мы обычно подсчитываем

[157] Примечания: 157
Парки — в римской мифологии богини судьбы.

грехи человека, только когда он уже не способен грешить, и в зависимости от меры наказания, которую для него определяет общество, которую к нему уже применяют и из которой исходят при оценке этого человека, мы вычисляем, придумываем, преувеличиваем размеры совершенного преступления. В галерее символических фигур, какую являет собою «свет», женщины действительно доступные, законченные Мессалины[158] неизменно выступали в величественном обличье по меньшей мере семидесятилетней надменной дамы, которая принимает не кого хочет, а кого может, к которой не ходят женщины более или менее легкого поведения, которой папа римский неизменно дарит «золотую розу[159]», которая возьмет и напишет книгу о юности Ламарти-

[158] Примечания: 158

Мессалина, Валерия — первая жена Клавдия I, римского императора (41–54), прославившаяся своим распутством и жестокостью. Имя ее стало нарицательным.

[159] Примечания: 159

...«золотую розу»... — По обычаю, Папа Римский в четвертое воскресенье Великого поста освящает золотую розу, которую затем дарит одной из принцесс правящей династии.

на[160] да еще получит за нее академическую премию. «Здравствуй, Алиса!» — сказала маркиза де Вильпаризи даме с белой прической Марии-Антуанетты, а дама в это время окидывала общество пронизывающим взглядом, чтобы углядеть в салоне маркизы что-нибудь полезное для своего, следовательно, такое, что могла обнаружить только она, ибо для нее не подлежало сомнению, что маркиза де Вильпаризи с ее хитростью непременно это от нее утаит. Так, маркиза де Вильпаризи приложила все усилия к тому, чтобы не представить старухе Блока из боязни, что он устроит на набережной Малаке тот же самый скетч, что и у нее. Впрочем, она сделала это в отместку. Вчера у старухи читала стихи Ристори[161] и старуха позаботилась о том, чтобы маркиза де Вильпаризи, у которой она перехватила итальянскую артистку, не узнала об этом событии раньше, чем оно состоится. А чтобы маркиза не обиделась, прочитав о нем в газетах,

---

[160] Примечания: 160

Ламартин, Альфонс, де (1790–1869) — французский писатель-романтик, среди прочего автор сборника «Поэтические и религиозные созвучия» (1830), в котором он избирает для себя позицию демонстративной религиозности.

[161] Примечания: 161

Ристори, Аделаида (1822–1906) — итальянская трагедийная актриса, выступавшая в Париже в 1855–1885 гг.

она сама, как ни в чем не бывало, сообщила ей о Ристори. Полагая, что если представить Марии-Антуанетте с набережной меня, то это не нанесет ей такого ущерба, как знакомство старухи с Блоком, маркиза познакомила нас. Мария-Антуанетта с набережной, пытаясь и в старости сохранить ту же осанку богини Куазевокса,[162] которая когда-то давно очаровывала элегантную молодежь и которую теперь виршеплеты восславляли в буриме, — а также в силу того, что она выработала в себе чопорную, утешительную надменность, присущую всем, кто, впав в немилость, вынужден всегда быть предупредительным, — с царственной холодностью слегка наклонила голову и, тут же отвернувшись, больше уже не обращала на меня внимания, как будто меня тут не было. Всей своей позой, имевшей двойной смысл, она словно говорила маркизе де Вильпаризи: «Как видите, я в знакомствах не нуждаюсь, и мальчики — ни с какой точки зрения, сплетница вы этакая, — меня не интересуют». Однако через четверть часа, воспользовавшись кутерьмой, чтобы незаметно ускользнуть, она шепотом

[162] Примечания: 162

Куазевокс, Антуан (1640–1720) — французский скульптор, чьи произведения украшают Версаль и Лувр. Пруст, возможно, имеет в виду скульптуру «Сидящая Венера» (Версаль).

пригласила меня в ближайшую пятницу к себе в ложу, где должна была быть еще одна из трех дам, чье громкое имя, — к тому же она была урожденная Шуазель,[163] — произвело на меня сильнейшее впечатление.

— Вы, кажется, собираетесь писать о герцогине де Монморанси?[164] — спросила историка Фронды маркиза де Вильпаризи с тем кислым видом, который, помимо нее, в совокупности с глубоко запрятанным недовольством, старческой раздражительностью, а также с желанием подражать почти крестьянскому тону старинной аристократии, омрачал чрезвычайную ее любезность. — *С-час* покажу вам ее портрет — оригинал луврской копии.

Она встала, положила кисти около цветов, и тут передничек, который она надевала, чтобы не запачкаться красками, усилил то впечатление почти деревенской жительницы, какое она производила благодаря чепчику и большим очкам в отличие от ее разряженной прислуги: дворецко-

[163] Примечания: 163

Шуазель — аристократический род, восходящий к X веку. Пруст лично был знаком с виконтессой Фредерикой де Жанзе, урожденной Алекс де Шуазель-Гуфье (1835–1910).

[164] Примечания: 164

Герцогиня де Монморанси в действительности была аббатиссой монастыря в Мулене.

го, подававшего чай с пирожными, и ливрейного лакея, которого она позвала, чтобы он осветил портрет герцогини де Монморанси — аббатисы одного из самых известных монастырей Восточной Франции. Все встали.

— Вот что любопытно, — заметила она, — в эти монастыри, где многие наши прабабки были аббатисами, не допускались дочери французского короля. Туда было очень трудно попасть.

— Не допускались дочери французского короля? Но почему же? — с удивлением спросил Блок.

— Да потому, что династия французских королей запятнала себя неравным браком.

Блок пришел в еще большее изумление.

— Унизила себя неравным браком? Каким образом?

— Да породнившись с Медичи,[165] — не задумываясь ответила маркиза де Вильпаризи. — Правда, хороший портрет? Отличная сохранность, — добавила она.

— Дорогая! — сказала дама, причесанная под

---

[165] Примечания: 165

Медичи — влиятельный тосканский род, ведущий свое начало от ростовщиков и купцов. Медичи дважды роднились с правящей династией Франции: в 1533 г. Екатерина Медичи (1519–1589) вышла замуж за будущего Генриха II, а в 1600 г. Мария Медичи (1573–1642) стала супругой Генриха IV. Первый брак многими исконными французскими аристократами рассматривался как мезальянс.

Марию-Антуанетту. — Помните? Когда я привела к вам Листа,[166] он сказал, что это копия.

— Мнение Листа для меня закон в музыке, но не в живописи! Кроме того, он тогда уже впал в детство, да я и не помню, чтоб он говорил что-нибудь подобное. И вовсе не вы привели его ко мне. Я двадцать раз ужинала с ним у княгини де Сайн-Витгенштейн.[167]

Удар Алисы был отбит; она умолкла и застыла на месте. Толстый слой пудры, которой она штукатурила себе лицо, придавал ему сходство с каменным. А так как профиль у нее был благородный, то она напоминала стоящую на треугольном, прикрытом накидкой, замшелом постаменте ветшающую богиню из парка.

— Вот еще прекрасный портрет! — сказал историк., Дверь отворилась, и вошла герцогиня Германтская.

— А, здравствуй! — даже не кивнув ей, сказала маркиза де Вильпаризи, вынула руку из кармана

---

[166] Примечания: 166

Лист, Ференц (1811–1866) — венгерский пианист и композитор, автор многочисленных сочинений для фортепиано, симфонической и церковной музыки.

[167] Примечания: 167

Сайн-Витгенштейн, Жанна Элизабет Каролина де, урожденная Ивановска (1819–1887) — польская принцесса, вторая любовь Ференца Листа, с которым она прожила в Веймаре 12 лет.

передника, протянула ее только что вошедшей гостье и тотчас же снова обратилась к историку:
— Это портрет герцогини де Ларошфуко…[168]

Вошел, неся визитную карточку на подносе, молодой слуга с независимым видом и с прелестным лицом (даже наглое его выражение не уменьшало правильности его черт, а правильность эта была до того безукоризненна, что красноватый его нос и слегка раздраженная кожа словно еще хранили недавние следы резца).

— Это тот самый господин, который уже несколько раз приходил к вашему сиятельству.

— А разве вы ему сказали, что я принимаю?

— Он услышал разговор.

— Ну что ж, пригласите. Мне его где-то представили, — молвила маркиза де Вильпаризи. — Он сказал, что ему очень хочется прийти ко мне. Я его не приглашала. Но он уж пять раз себя утруждает, не надо обижать людей. Милостивый государь! — сказала она мне. — И вы, милостивый государь! — обратилась она к историку Фронды. — Позвольте вам представить мою племянницу, герцогиню Германтскую.

---

[168] Примечания: 168

Герцогиня де Ларошфуко, урожденная Андре де Вивоны (1614? —1670) — супруга Франциска VI, герцога де Ларошфуко (1613–1680), знаменитого писателя-моралиста.

Историк так же низко, как я, поклонился; должно быть, он предполагал, что поклон вызовет у герцогини ласковые слова, потому что глаза у него заблестели и он приоткрыл было рот, но его расхолодил вид герцогини Германтской: она с преувеличенной благожелательностью подалась всем корпусом, которому она предоставляла полную свободу, вперед, затем, точно рассчитав движение, выпрямила его, а между тем взгляд ее словно и не замечал, что перед ней кто-то стоит; чуть слышно вздохнув, она легким движением ноздрей, строгость которого обличала полнейшую безучастность ее ничем не поглощенного внимания, дала почувствовать, насколько мы с историком ей безразличны.

Вошел назойливый посетитель и с простодушным и восторженным видом направился прямо к маркизе де Вильпаризи; это был Легранден.

— Я очень вам благодарен, сударыня, за то, что вы меня приняли, — сказал он, подчеркнув слово «очень», — вы доставили старому отшельнику редкостное и изысканное наслаждение; уверяю вас, что его отзвук…

Тут он увидел меня и сразу осекся.

— Я показывала этому господину прекрасный портрет герцогини де Ларошфуко, жены автора

«Максим», это наша фамильная ценность.

Герцогиня Германтская, поздоровавшись с Алисой, извинилась, что не могла, по примеру прошлых лет, навестить ее.

— Я все о вас знала от Мадлены, — добавила она.

— Она у меня утром завтракала, — молвила маркиза с набережной Малаке, довольная тем, что маркиза де Вильпаризи не сможет этим похвастаться.

Я в это время разговаривал с Блоком и, боясь, как бы он мне не позавидовал, так как он признался, что отношения у него с отцом испортились, заметил, что, наверно, он все-таки счастливее меня. Я это ему сказал просто в утешение. Но людей до крайности самолюбивых такие слова убеждают или побуждают убедить других. «Да, мне живется чудесно, — с ликующим видом подхватил Блок. — У меня три закадычных друга, больше мне и не надо, обворожительная любовница, я счастлив бесконечно. Мало к кому из смертных папаша Зевс так благосклонен». Я думаю, что ему больше всего хотелось похвастаться и возбудите во мне зависть. Не лишено вероятия, что в его оптимизме было еще и желание пооригинальничать. Мне было ясно, что ему

противно отвечать готовыми фразами, которые можно услышать от всех: «Да ничего особенного!» На мой вопрос: «Хорошо прошло?» — по поводу танцевального утра, которое он устроил у себя и на которое я не мог пойти, он ответил спокойно, равнодушно, как будто речь шла о ком-то другом: «Ну конечно, очень хорошо, лучше нельзя. Действительно великолепно».

— Все, что вы рассказываете, представляет для меня огромный интерес, — говорил маркизе де Вильпаризи Легранден, — значит, я был прав: на днях я как раз думал о том, что вы очень его напоминаете точной живостью языка, чем-то, что я обозначу двумя противоречащими одно другому понятиями: краткой стремительностью и закреплением мимолетного. Я бы с удовольствием записал все, о чем вы будете говорить в течение сегодняшнего вечера, но я и так запомню. Все, что вы говорите, — по выражению, если не ошибаюсь, Жубера,[169] — в дружбе с памятью. Вы не читали Жубера? О, вы бы ему очень понравились! Позвольте мне сегодня же прислать вам его

[169] Примечания: 169

Жубер, Жозеф (1754–1824) — французский писатель-моралист, друг Дидро. В опубликованных посмертно «Мыслях» и «Дневниках» подвергает едкой критике своих современников, главным образом собратьев по перу.

произведения, — я буду горд тем, что познакомил вас с этим великим умом. У него не было вашей силы. Но он тоже был очень изящен.

Я хотел поздороваться с Легранденом, но он все время старался держаться от меня подальше, по всей вероятности из боязни, как бы до меня не донеслась та лесть, какую он в изысканнейших выражениях по всякому поводу расточал маркизе де Вильпаризи.

— Она с улыбкой пожала плечами, точно приняв его слова за насмешку, и повернулась лицом к историку:

— А это знаменитая Мария де Роган, герцогиня де Шеврез,[170] по первому мужу — де Люинь.

— Дорогая! Фамилия де Люинь напомнила мне об Иоланте; она была вчера у меня; если бы я знала, что вечер у вас свободен, я бы за вами послала. Ко мне неожиданно приехала Ристори и читала стихи королевы Кармен Сильвы[171] в присутствии автора, — что это было за чудо!

«Какая подлость! — подумала маркиза де

---

[170] Примечания: 170

Шеврез, Мария де Роган-Монбазон, герцогиня де (1600–1679) — известная французская аристократка и интриганка, игравшая важную роль в политической жизни Франции во времена Фронды.

[171] Примечания: 171

Кармен Сильва — литературный псевдоним румынской королевы Элизабет Полин Аттиллии Луизы де Вид (1843–1916).

Вильпаризи. — Наверно, она об этом на днях и шушукалась с госпожой де Боленкур и с госпожой де Шапоне».

— Я была свободна, но все равно бы не приехала, — сказала она. — Я слышала Ристори в ее лучшие времена, а теперь это развалина. И потом, я не переваривaю стихов Кармен Сильвы. Как-то раз ко мне приводила Ристори герцогиня д'Аоста,[172] и Ристори читала песнь из Дантова «Ада». Вот это было бесподобно!

Алиса, не дрогнув, выдержала удар. Сейчас она была все такая же мраморная. Взгляд у нее был по-прежнему пронизывающий и пустой, горбинка на носу по-прежнему говорила о ее родовитости. Но одна щека облупилась. Подбородок покрывала ни на что непохожая, легкая зеленая и розовая растительность. Еще одна зима пожалуй что свалит ее.

— Если вы любите живопись, посмотрите портрет герцогини де Монморанси, — сказала Леграндену маркиза де Вильпаризи, чтобы прервать комплименты, которые тот опять начал было ей рассыпать.

Воспользовавшись тем, что Легранден отошел,

---

[172] Примечания: 172

Герцогиня д'Аоста — Элен Луиз Генриетта Французская, принцесса Орлеанская (1871–1951).

герцогиня Германтская указала на него тетке насмешливо-вопросительным взглядом.

— Это господин Легранден, — вполголоса сказала маркиза де Вильпаризи, — его сестра — маркиза де Говожо, но я думаю, что это имя говорит тебе столько же, сколько и мне.

— Да нет же, я ее прекрасно знаю! — прикрыв рот ладонью, воскликнула герцогиня Германтская. — Вернее сказать, я ее не знаю, но Базену, который неизвестно где встречается с ее мужем, ни с того ни с сего пришло в голову позвать эту толстуху ко мне. Что это было — я вам не могу передать. Она рассказала мне, что была в Лондоне, назвала все картины в British.[173] Прямо от вас я заеду к этому чудищу и подсуну визитную карточку. Не думайте, что это так просто: под предлогом, что она умирает, она всегда дома; зайдете ли вы к ней в семь вечера или в девять утра, она непременно угостит вас пирогом с земляникой.

— Ну конечно, она чудище, — продолжала герцогиня Германтская в ответ на вопросительный взгляд тетки. — Она невозможна: употребляет такие выражения, как «щелкопер», и прочее тому

---

[173] Примечания: 173

Британский музей (англ.) — одно из крупнейших в мире собраний книг, рукописей, произведений искусства.

подобное.

— А что значит «щелкопер»? — спросила племянницу маркиза де Вильпаризи.

— Почем я знаю! — в притворном негодовании воскликнула герцогиня. — Да и не желаю знать. Я таких выражений не употребляю.

Убедившись, что тетка действительно не понимает значения слова «щелкопер», герцогиня решила показать, что она женщина образованная, а не только пуристка, и заодно поиздеваться над теткой, как она только что поиздевалась над де Говожо.

— Ну это вот что, — сказала она со смешком, подавляемым остатками напускного раздражения, — его знают все: щелкопер значит писатель, происходит от «щелкать пером». Но это противное слово. От него тошнит, я бы так никогда не сказала. Так он ее брат? До меня это еще не дошло. Впрочем, тут ничего удивительного нет. Она тоже за всеми увивается и за всеми все повторяет, как попугай. Такая же точно подлиза и такая же надоедливая. Теперь это родство не представляет для меня загадки.

— Садись, сейчас принесут чайку, — сказала маркиза де Вильпаризи герцогине Германтской, — поухаживай за собой сама, тебе незачем

смотреть портреты твоих прабабушек, ты их знаешь не хуже меня.

Маркиза де Вильпаризи опять села за свой стол и принялась писать. Все окружили ее, а я, воспользовавшись этим, подошел к Легранден у и, не видя ничего предосудительного в том, что он находится у маркизы де Вильпаризи, сказал, не сообразив, что мои слова для него оскорбительны и что он может подумать, что это оскорбление намеренное:

— Раз и вы сочли возможным посетить этот салон, совесть у меня почти чиста.

Легранден вывел из моих слов (по крайней мере, так он отозвался обо мне несколько дней спустя), что я на редкость злой мальчишка, которому доставляет удовольствие делать людям больно.

— Вам следовало сперва поздороваться со мной хотя бы из вежливости, — не подавая мне руки, произнес он резким, грубым тоном, каким никогда прежде при мне не говорил и который, не имея никакой логической связи с обычной его речью, был, однако, непосредственнее и сильнее связан с тем, что он чувствовал. Дело в том, что, раз навсегда решив скрывать иные из своих чувств, мы не думаем о том, как их выразить. И вдруг в нас

начинает рычать неведомый отвратительный зверь, приводя порою в такой же ужас того, кто слышит это невольное, эллиптическое и почти неодолимое признание в слабости или в пороке, в какой приводит неожиданное, косвенное и своеобразное сознание преступника, который не в силах долее скрывать, что он — убийца, хотя мы были далеки от этой мысли. Конечно, я прекрасно знал, что идеализм, хотя бы и субъективный, не мешает большим философам быть чревоугодниками или настойчиво добиваться избрания в Академию. Но, откровенно говоря, Леграндену не следовало так часто заявлять, что он из другого мира, поскольку все судорожные проявления его гнева и любезности управлялись желанием занимать хорошее положение в этом мире.

— Естественно, когда меня двадцать раз пытаются куда-нибудь затащить, — вполголоса продолжал он, — то хотя я и волен распоряжаться собой, все-таки не могу же я поступать по-хамски.

Герцогиня Германтская села. Прибавлявшийся к ее имени и присоединявшийся к ее облику герцогский титул отбрасывал вокруг пуфа, на котором она сидела, тень и наполнял салон золотистою густолиственною свежестью Германтских

лесов. Меня только удивляло, что родство между герцогиней и лесами уже не читается на ее лице: в нем не было теперь ничего от растительного мира, и разве лишь краснота щек, на которых, казалось бы, должен был быть нарисован герб Германтов, являлась следствием — но не образом — долгих прогулок верхом на свежем воздухе. Позднее, когда я охладел к герцогине, я изучил множество ее черт, в частности (пока я называю только такие, прелесть которых я ощущал уже тогда, только не сумел бы определить) глаза, где, как на картине, было уловлено голубое небо французского полдня, широкое, ясное, даже когда полдень был не солнечный, и голос, по первым хриплым звукам которого можно было подумать, что это говорит какая-нибудь рвань, но по которому текло, как по ступеням комбрейской церкви или по кондитерской на площади, ленивое, маслянистое золото провинциального солнца. В тот вечер, однако, я ничего не различал; жаркое мое внимание мгновенно выпаривало то немногое, что мне удавалось собрать и в чем я мог бы обнаружить какие-то следы имени Германт. Как бы то ни было, я говорил себе, что это та женщина, которую все называют герцогиней Германтской; вот это тело заключало в себе непостижимую жизнь,

обозначавшуюся ее именем; оно недавно ввело ее в круг иных существ, в салон, который обвел ее своей чертой со всех сторон и где она вызывала столь бурную реакцию, что там, где обрывалась ее жизнь, мне мерещилась бахрома линии прибоя, служившая ей границей: на окружности, которую вычерчивал на ковре подол ее голубой шелковой юбки, в светлых ее зрачках, в точке пересечения ее забот и воспоминаний, полных непонятных мыслей, презрительных, потешных, любознательных, с образами внешнего мира, которые в них отражались. Пожалуй, я был бы не так взволнован, если бы встретил ее у маркизы де Вильпаризи на вечере, а не на «приемном дне», когда зовут «на чашку чаю», что для женщин означает всего лишь недолгую остановку во время их выхода, на «приемном дне», где они появляются, не снимая шляпы, приносят с собой в анфиладу гостиных воздух улиц и открывают более широкий вид на предвечерний Париж, чем высокие, настежь распахнутые окна, куда врывается стук колес. На герцогине Германтской была соломенная шляпка с васильками, и они напомнили мне не гревшее комбрейские поля солнце далеких времен, под которым я так часто рвал их на косогоре у тансонвильской изгороди, а запах

и пыль сумерек, те самые запах и пыль, которые только что, когда герцогиня Германтская шла сквозь них, застилали улицу Мира. С рассеянной и снисходительной улыбкой, двигая сжатыми губами, она зонтиком, точно кончиком щупальца таинственного своего существа, чертила круги на ковре, потом с безучастным вниманием, которое исключает всякое соприкосновение с тем, на что человек смотрит, взгляд ее задерживался поочередно на каждом из нас, потом изучал диваны и кресла, но тогда он смягчался приязнью, которую пробуждает в нашей душе даже какая-нибудь пустячная знакомая вещь — вещь, представляющая собою для нас предмет почти одушевленный; эта мебель была для нее не то, что мы, она каким-то образом принадлежала к ее миру, она была связана с жизнью ее тетки; потом с мебели Бове взгляд ее возвращался к сидевшим на ней людям и приобретал зоркую неодобрительность, которую из уважения к тетке герцогиня Германтская хотя и не высказала бы, но с которой она обнаружила бы на креслах вместо нас жирное пятно или слой пыли.

Вошел прекрасный писатель ***, он смотрел на визит к маркизе де Вильпаризи как на повинность. Герцогиня хотя и очень рада была

его видеть, но знака ему не подала, он подошел сам, — ее очарование, такт, непринужденность влекли его к ней, ибо все это служило ему доказательством, что герцогиня — женщина умная. Да и потом, этого требовала от него простая учтивость: он был обаятелен и знаменит, а потому герцогиня часто приглашала его обедать с ней и с мужем или осенью в Германт, а иногда, пользуясь добрыми с ним отношениями, звала его ужинать с сиятельными особами, которых он интересовал. Вообще герцогиня любила принимать у себя мужчин высокого полета, но при условии, чтобы они были холостяками, — условии, которое они ради нее выполняли неукоснительно, даже будучи женатыми: ведь их жены, все до одной — в большей или меньшей степени пошлячки, портили бы ее салон, куда допускались только самые элегантные красавицы Парижа, — вот почему их всегда приглашали без жен; а чтобы не было никаких обид, герцог объяснял этим вдовцам поневоле, что герцогиня женщин не принимает, что она избегает женского общества, объяснял таким тоном, словно она так поступает по настоянию врача, точно он сообщал, что ей вредно находиться в комнате, где пахнет духами, вредно есть соленое, ехать спиной к лошадям или

носить корсет. Правда, эти великие люди видели у Германтов принцессу Пармскую, принцессу де Саган (Франсуаза, при которой часто о ней говорили, в конце концов, полагая, что грамматика требует женского рода, стала называть ее Сатаной) и многих других женщин, но все они оказывались или родственницами, или подругами детства — тут уж, мол, ничего не поделаешь. Верили или не верили великие люди объяснениям герцога Германтского по поводу странной болезни герцогини Германтской, не выносившей присутствия женщин, но своим супругам они эти объяснения пересказывали. Некоторые жены считали, что болезнью герцогиня прикрывает ревность, ибо желает полновластно царствовать над роем обожателей. Те, кто понаивней, считали, что у герцогини особый вкус, может быть, даже скандальное прошлое, что сами женщины не желают бывать у нее, а она невозможность принимать у себя женщин выдает за свою причуду. Лучшие, которым мужья все уши прожужжали об уме герцогини, считали, что она настолько выше прочих женщин, что ей с ними скучно, что ей не о чем с ними говорить. В самом деле, герцогине было скучно с женщинами, если только им не придавал особого интереса титул. Однако

устраненные женщины ошибались, полагая, что она не желает принимать никого, кроме мужчин, потому что ей хочется поговорить с ними о литературе, о науке, о философии. Она никогда об этом не говорила, во всяком случае — со светочами ума. По той же самой семейной традиции, по которой, как бы ни кружил вихрь мирской суеты дочерей крупных полководцев, они всегда помнят, что нужно относиться с особым почтением ко всему, что связано с армией, герцогиня Германтская, внучка женщин, водивших знакомство с Тьером, Мериме и Ожье,[174] считала, что первенствовать в ее салоне должны люди большого ума, но, с другой стороны, так как характер отношений со знаменитостями в Германте был дружественно интимный, то и она усвоила привычку быть с талантливыми людьми на короткой ноге, давая им понять, что талантом никто здесь не ослеплен, и не говорить с ними об их творчестве, тем более что им самим это было совершенно неинтересно. Притом склад ума у нее был такой же, как у Мериме, Мельяка,[175]

[174] Примечания: 174

Ожье, Эмиль (1820–1889) — французский драматург.

[175] Примечания: 175

Мельяк, Анри (1831–1897) — французский драматург, автор многочисленных пьес.

и Галеви[176] по контрасту с сентиментальным лексиконом предшествующей эпохи изгнавших громкие фразы и излияния возвышенных чувств, и она даже считала хорошим тоном говорить с поэтом или с музыкантом о кушаньях, которые стояли на столе, или о предстоящей игре в карты. Этот узкий круг тем несколько озадачивал людей, мало ее знавших, он был для них загадкой. Если герцогиня Германтская спрашивала кого-нибудь из таких людей, будет ли ему приятно провести время с известным поэтом, он, снедаемый любопытством, являлся в назначенный час. Герцогиня говорит с поэтом о погоде. Садятся за стол. «Вам нравятся таким образом сваренные яйца?» — обращается герцогиня с вопросом к поэту. Выслушав его одобрение, которое она разделяла, так как все у нее в доме казалось ей великолепным, включая ужасный сидр, выписывавшийся ею из Германта, она говорит метрдотелю: «Положите гостю еще яиц», а другой гость, по-прежнему сгорая от нетерпения, ждет того, что безусловно входило в намерения герцогини, так как устроить эту встречу перед самым отъездом поэта было невероятно трудно и поэту и ей. Между тем

[176] Примечания: 176

Галеви — Жак Фроманталь-Леви (Галеви; 1799–1862), французский композитор, автор знаменитой оперы «Жидовка» (1835).

завтрак продолжается, блюда уносятся одно за другим, давая, впрочем, возможность герцогине Германтской сказать что-нибудь остроумное или вспомнить забавный случай. Поэт ест себе да ест, а герцог и герцогиня как будто бы забыли, что он — поэт. Но вот уже с завтраком покончено, и все прощаются, не сказав ни слова о поэзии, которую, однако, все любят, но о которой в силу той же самой сдержанности, какую я впервые обнаружил у Свана, предпочитают не говорить. Сдержанность эта считалась просто-напросто признаком хорошего воспитания. Но для гостя, если только он хоть немного задумывался над этой сдержанностью, в ней заключалось нечто весьма печальное: завтраки у Германтов напоминали ему свидания робких влюбленных, которые до самого расставания говорят о всяких пустяках, а великая тайна, которую они были бы счастливы поведать друг другу, — то ли из-за их робости, то ли из-за их стыдливости, то ли из-за их неумелости, — так и не пробивается от сердца к устам. Следует, впрочем, заметить, что нелюбовь к разговорам на серьезные темы, — разговорам, которых в большинстве случаев тщетно ждали приглашенные, — герцогиня, хотя это и являлось характерной ее чертой, все же иногда преодоле-

вала. Герцогиня Германтская провела молодость в несколько иной среде, столь же аристократической, но менее блестящей, а главное, не такой пустой и высококультурной. Та среда залегла под теперешней суетной средой герцогини в виде почвы более твердой, незримо питавшей ее, и вот из этой-то почвы герцогиня и извлекала (крайне редко, потому что она терпеть не могла педантизма) совершенно правильно ею понятую цитату из Виктора Гюго или из Ламартина, и когда она их произносила с глубоким выражением своих прекрасных глаз, то они всегда поражали и покоряли слушателей. Кое-когда она даже, без всяких претензий, просто и к месту давала драматургу-академику разумный совет, предлагала сделать то или иное положение менее острым или изменить развязку.

В салоне маркизы де Вильпаризи, так же как в комбрейской церкви, когда венчалась мадмуазель Перспье, я с трудом обнаруживал на красивом, слишком человеческом лице герцогини Германтской то неведомое, что заключалось в ее имени, зато я ожидал, что, как только она заговорит, в ее словах, благодаря их глубокому, таинственному смыслу, я почувствую ту своеобычность, какая отличает средневековые

гобелены или готические витражи. Но чтобы не разочаровать меня, речи той, что звалась герцогиней Германтской, даже если б я не любил ее, должны были быть мало того что остроумными, красивыми и глубокими, но еще и цвести цветом амаранта, цветом последнего слога ее имени, цветом, которого я, к своему удивлению, не нашел в ее облике, когда она предстала передо мной впервые, и которым я поэтому наделил ее мысли. Конечно, маркиза де Вильпаризи, Сен-Лу и другие люди, особенно умом не блиставшие, произносили при мне имя Германт без всякой торжественности, совсем просто, точно это была фамилия особы, которая сейчас придет к ним в гости или с которой они будут обедать, — произносили, по всей вероятности, не видя в этой фамилии ни желтеющих лесов, ни окутанной тайной провинциальной глуши. Но это, наверно, было с их стороны притворством — сродни притворству классических поэтов, не открывающих нам своих глубоких мыслей, хотя глубокие мысли у них есть, притворством, которому я пытался подражать, самым естественным тоном произнося «герцогиня Германтская», словно эта фамилия ничем не отличалась от других. Впрочем, все утверждали, что герцогиня очень умна, что она

блестящая собеседница и что ее кружок — один из самых интересных; суждения эти давали пищу моим мечтам. Когда мне говорили, что ее окружают умные люди, что она блестящая собеседница, я представлял себе ум, совсем не похожий на те, что я знал, не похожий даже на большие умы, мысленно я составлял себе ее кружок совсем не из таких людей, как Бергот. Ее ум рисовался мне в виде некой непередаваемой способности, способности золотистой, от которой веет свежестью леса. Рассуждая о самых умных вещах (умных в том смысле, в каком я понимал это слово применительно к философу или к критику), герцогиня Германтская, может быть, даже еще больше обманула бы меня в моей надежде на то, что она выкажет ей одной свойственную особенность, чем в самом обыкновенном разговоре, когда она довольствовалась тем, что толковала о рецептах кушаний или обстановке замка, называла имена соседей или своих родственников, по которым я мог бы себе представить ее жизнь.

— Я думала, что встречусь у вас с Базеном, он к вам собирался, — сказала тетке герцогиня Германтская.

— Я уже несколько дней не видела твоего мужа, — обидчиво и сердито ответила ей на это

маркиза де Вильпаризи. — Совсем не видела, а может быть, только раз после его милой шутки с приказом доложить о себе как о шведской королеве.

Вместо улыбки герцогиня поджала уголки губ таким движением, словно ей хотелось закусить вуалетку.

— Мы вчера обедали с ней у Бланш Леруа, вы бы ее не узнали, она так располнела — по-моему, это болезнь.

— Я как раз только что сказала гостям, что она кажется тебе похожей на лягушку.

Герцогиня Германтская издала какой-то хриплый звук, что означало у нее смех из вежливости.

— А я и забыла, что это удачное сравнение принадлежит мне, — во всяком случае, теперь это лягушка, которой удалось сравняться с волом.[177] Впрочем, это не совсем верно, потому что большой у нее только живот, — вернее, это лягушка в интересном положении.

— А что? Любопытный образ, — заметила маркиза де Вильпаризи, втайне гордившаяся перед

---

[177] Примечания: 177

…теперь это лягушка, которой удалось сравняться с волом. — Намек на басню Лафонтена «Лягушка, хотевшая сравняться с волом» («Басни», I, 3).

гостями остроумием племянницы.

— Но все-таки основная ее черта — это то, что она вся *ненастоящая*, — продолжала герцогиня Германтская, насмешливо выделяя найденное ею слово, как это сделал бы Сван, — ведь я же ни разу не видела рожающей лягушки. Так или иначе, эта лягушка, которая, впрочем, не просит себе короля, — при жизни мужа она никогда не была такой резвушкой, — будет у нас обедать на следующей неделе. Я ей сказала, что уведомлю вас на всякий случай. Маркиза де Вильпаризи что-то проворчала.

— Я знаю, что третьего дня она обедала у герцогини Мекленбургской, — сказала она. — Там был Ганнибал де Бреоте. Он потом приезжал ко мне и рассказывал — должна заметить, довольно занятно.

— На этом обеде присутствовал человек гораздо более остроумный, чем Бабал, — снова заговорила герцогиня, этим уменьшительным желая показать свою близость с де Бреоте-Консальви. — Это Бергот.

Мне никогда не приходило в голову, что Бергот остроумен; более того: я считал, что он принадлежит просто к интеллигентной части общества, то есть находится бесконечно далеко от таин-

ственного царства, которое я обнаружил за пурпурными занавесками ложи бенуара, где де Бреоте потешал герцогиню и вел с ней на языке богов недоступный воображению разговор между людьми из Сен-Жерменского предместья. Это нарушение равновесия, предпочтение Бергота де Бреоте расстроило меня. Услышав, что говорит герцогиня Германтская маркизе де Вильпаризи, я особенно пожалел, что прятался от Бергота на представлении «Федры» и не подошел к нему.

— Вот с кем мне хотелось бы познакомиться, — призналась герцогиня, — у нее всегда, точно в минуту душевного прибоя, было видно, как прилив любопытства к знаменитостям в области культуры сталкивается на пути с отливом аристократического снобизма. — Это была бы для меня такая радость!..

Оказалось, что если бы рядом со мной сидел сейчас Бергот, чего я мог добиться без малейших усилий, но что, как я предполагал, создало бы у герцогини Германтской нелестное мнение обо мне, то потом она, вернее всего, позвала бы меня к себе в ложу и попросила привести к ней как-нибудь позавтракать великого писателя.

— Кажется, он был не очень любезен: его представили герцогу Кобургскому, а он не сказал

ему ни слова. — Герцогиня Германтская с таким видом отметила эту любопытную черту, словно рассказывала, как китаец сморкался в бумагу. — Он ни разу не назвал его «ваша светлость», — добавила она, и в эту минуту, глядя на нее, можно было подумать, что она придает этому такое же большое значение, как если бы протестант во время аудиенции у папы отказался преклонить колени перед его святейшеством.

Поведение Бергота занимало ее, но она его не осуждала, более того: оно, видимо, скорее даже нравилось ей, хотя она не могла бы отдать себе отчет, что же, собственно, тут хорошего. Несмотря на странное отношение герцогини Германтской к оригинальности Бергота, я впоследствии имел случай убедиться, что когда герцогиня Германтская, к вящему изумлению многих, заметила, что Бергот остроумнее де Бреоте, то она не так уж была не права. Подобного рода отрицательные мнения, не обоснованные, но, в сущности, верные, высказываются лишь очень немногими светскими людьми, возвышающимися над прочими. Они делают первоначальный набросок той иерархии ценностей, которую окончательно установит новое поколение, ибо прежнюю оно отвергнет.

Вошел, прихрамывая, граф д'Аржанкур, поверенный в делах Бельгии, свойственник маркизы де Вильпаризи, а вслед за ним два молодых человека: барон Германтский и его светлость герцог де Шательро, и герцогиня Германтская сказала герцогу: «Здравствуйте, мой милый Шательро» — с рассеянным видом и не двинувшись с пуфа, она была в большой дружбе с матерью молодого герцога, и тот с детства привык относиться к ней с великим почтением. Высокие, тонкие, с золотистой кожей и золотистыми волосами, настоящие Германты, эти два молодых человека казались сгустками весеннего вечернего света, затоплявшего большую гостиную. По тогдашней моде они положили свои цилиндры около себя прямо на пол. Историк Фронды вообразил, что это они от смущения, что они чувствуют себя здесь как крестьянин, вошедший в мэрию и не знающий, куда деть шляпу. Считая, что сделает доброе дело, если придет на помощь этим неловким и застенчивым, как ему казалось, юношам, он обратился к ним:

— Что вы, что вы, не кладите на пол, вы же их испачкаете.

Барон Германтский скосил на него глаза, внезапно налившиеся ослепительно яркой синевой,

и благожелательный историк сразу осекся.

— Маркиза де Вильпаризи познакомила меня сейчас с этим господином, как его зовут? — спросил меня барон.

— Господин Пьер, — тихо ответил я.

— А дальше?

— Пьер — это его фамилия, он замечательный историк.

— Скажите на милость!..

— Нет, сейчас модно — класть шляпы на пол, как сделали эти господа, — пояснила маркиза де Вильпаризи, — я тоже не могу к этому привыкнуть. Но лучше уж так, чем оставлять шляпу в передней, как это всегда делает мой племянник Робер. Когда он ко мне приходит, я говорю ему, что он похож на часовщика, и спрашиваю, не собирается ли он починить мои часы.

— Вы только что говорили, маркиза, о шляпе Моле; скоро мы дойдем до того, что, как пишет Аристотель в главе о шляпах... — начал было историк Фронды, — вмешательство маркизы де Вильпаризи слегка ободрило его, но говорил он все же так тихо, что, кроме меня, никто его не слышал.

— Наша милая герцогиня — это что-то поразительное, — заговорил граф д'Аржанкур,

показывая на герцогиню Германтскую, беседовавшую с ***. — Если в салоне находится человек известный, он непременно около нее. Наверняка это какое-нибудь светило. Ну, понятно, не каждый же день Борелли,[178] Шлемберже.[179] или д'Авенель[180] Тогда это Пьер Лота.[181] или Эдмон Ростан[182] Вчера вечером у Дудовилей,[183] где, кстати сказать, она была дивно хороша в изумрудной диадеме, в пышном розовом платье со шлейфом, она сидела между Дешанелем[184] и германским послом; она спорила с ними по поводу Китая; присутствовавшие на вечере, находившиеся на почтительном расстоянии и не слышавшие, о чем они толкуют, спрашивали друг друга, не ожидается ли война. Честное слово, можно было подумать, что это королева со свои-

---

[178] Примечания: 178

Борелли, виконт де (1837–1906) — популярный французский салонный поэт.

[179] Примечания: 179

Шлемберже, Леон Гюстав (1844–1929) — французский историк, специалист по Византии и крестовым походам, ярый антидрейфусар, к которому Пруст относился с большой неприязнью, замечая в одном из писем, что «…Шлембер (sic!) представляется мне стыдом нации, триумфом всего низкого и глупого».

[180] Примечания: 180

Д'Авенель, Жорж, виконт (1855–1939) — французский историк и экономист.

[181] Примечания: 181

Лоты, Пьер (наст. имя и фамилия Жюльен Вио; 1850–1923) — француз-

ский писатель, использовавший в творчестве свой опыт морского офицера, член Французской академии (1891). Юный Пруст называл его одним из своих «любимых авторов в прозе».

[182] Примечания: 182

Ростан, Эдмон (1868–1918) — французский поэт и драматург, получивший большую известность благодаря успеху своей пьесы «Сирано де Бержерак» (1897). В 1912 г. пытался оказать поддержку Прусту в публикации романа, из которого выросли «Поиски утраченного времени».

[183] Примечания: 183

Дудовили — Мари-Шарль Габриэль Состен, герцог де Дудовиль (1825–1908) и его супруга Мари, принцесса де Линь (1843–1898). Герцог был послом Франции в Англии и президентом Жокей-клуба.

[184] Примечания: 184

Дешанель, Поль (1855–1922) — французский политический деятель, президент Республики (1920), автор книги «Тонкинский вопрос» (1883).

ми приближенными.

Все подошли посмотреть на работу маркизы де Вильпаризи.

— Про эти цветы можно сказать, что они небесно-розовые, — заметил Легранден, — таким бывает розовое небо. Ведь небо бывает не только голубым, но и розовым. Мне же, — зашептал он, чтобы никто, кроме маркизы, его не слышал, — пожалуй, еще больше нравится шелковистость и яркость вашей копии. Вы превзошли и Пизанелло[185] и Ван Гейсума[186] с их тщательно выписанным, засушенным гербарием.

Самому скромному художнику бывает приятно, когда ему оказывают предпочтение, — он только стремится быть справедливым по отношению к своим соперникам.

— У вас сложилось такое впечатление оттого, что они писали цветы былых времен, цветы нам уже неизвестные, но они досконально изучали свою натуру.

— Цветы былых времен, — как это прекрасно

---

[185] Примечания: 185

Пизанелло (Антонио Пизано; 1395—ок. 1455) — итальянский живописец и гравер.

[186] Примечания: 186

Ван Гейсум, Ян (1682–1749) — голландский художник, автор натюрмортов с цветами («Цветы и фрукты», «Ваза с цветами», «Корзина с цветами») (Лувр).

сказано! — воскликнул Легранден.

— В самом деле, вы чудесно рисуете цветущие вишни… то есть нет, майские розы, — заговорил историк Фронды, сознавая, что он не очень-то разбирается в цветах, но уже уверенным тоном, так как про шляпы он почти позабыл.

— Это яблоневый цвет, — обращаясь к тетке, сказала герцогиня Германтская.

— Сразу видно деревенскую жительницу — ты знаешь цветы не хуже меня.

— Ах да, верно! Но я думал, что яблони уже отцвели, — в оправдание себе сказал наудачу историк Фронды.

— Да нет, они еще и не начинали цвести, они зацветут не раньше чем через две, а то и через три недели, — вмешался архивариус, принимавший некоторое участие в управлении имениями маркизы де Вильпаризи и оттого лучше знавший деревню.

— Да, и то еще только под Парижем — здесь они цветут гораздо раньше. В Нормандии у его отца, — маркиза показала на герцога де Шателье, — чудные яблоневые сады на берегу моря, — прямо как на японской ширме, — так там они становятся действительно розовыми после двадцатого мая.

— Я эти сады никогда не видел, — сказал молодой герцог, — от яблоневого цвета я всегда заболеваю сенной лихорадкой — это просто удивительно!

— Сенной лихорадкой? — переспросил историк. — В первый раз слышу.

— Это модная болезнь, — вставил архивариус.

— Кому как повезет. Можете и легко отделаться, когда на яблоки урожай. Вы же знаете излюбленное выражение нормандца: «когда на яблоки урожай»? — спросил граф д'Аржанкур, — не будучи чистокровным французом, он строил из себя парижанина.

— Ты права, — сказала племяннице маркиза де Вильпаризи, — это яблони с юга. Ветки прислала мне в подарок цветочница. Вас, вероятно, удивляет, господин Вальмер, — обратилась она к архивариусу, — что цветочница посылает мне яблоневые ветки? Но хоть я и старуха, а у меня много знакомых… и несколько друзей, — добавила она, улыбаясь без всякой задней мысли, — так, по крайней мере, показалось всем, а я подумал, что ей хочется сойти за оригиналку и поэтому она, — она, у которой столько блестящих знакомств! — хвалится дружбой с цветочницей.

Блок тоже встал, чтобы полюбоваться цветами

маркизы де Вильпаризи.

— Ничего, ничего, маркиза, — сказал историк, снова садясь на стул, — даже если бы опять произошла одна из тех революций, которые так часто заливали кровью историю Франции, — а ведь, Боже ты мой, живем мы в такое время, что всего ожидать можно! — вставил он, обводя гостиную подозрительным взглядом, словно желая на всякий случай удостовериться, нет ли здесь кого-нибудь из «неблагонамеренных», — вы, с вашим талантом и знанием пяти языков, можете быть спокойны: у вас всегда найдется выход из положения.

Историк Фронды все время чувствовал себя прекрасно, — он забыл, что страдает бессонницей. Но вдруг он вспомнил, что не спал шесть суток, и тут усталость, возникшая при одной мысли о ней, всей тяжестью навалилась ему на колени, согнула плечи, а его грустное лицо постарело.

Блок, желая широким жестом выразить свой восторг, задел локтем вазу с яблоневыми ветками, ваза упала, и вся вода пролилась на ковер.

— Пальцы у вас, право, как у феи, — сказал маркизе историк, — он повернулся ко мне спиной и не заметил неуклюжести Блока.

Но Блок вообразил, что слова историка отно-

сятся к нему, и, чтобы не подать вида, что он стыдится своей неловкости, развязным тоном проговорил:

— Это не беда, на меня не попало.

Маркиза де Вильпаризи позвонила, и лакей вытер ковер и подобрал осколки. Маркиза пригласила на свой утренник молодых людей и герцогиню Германтскую.

— Не забудь передать Жизели и Берте (герцогиням д'Обержон и де Портфен), чтобы они пришли до двух часов помочь мне, — сказала маркиза таким повелительным тоном, как будто она ей поручала напомнить нанятым метрдотелям прийти пораньше, чтобы подать фрукты.

С принцами крови, бывшими с ней в родстве, а также с маркизом де Норпуа она была далеко не так любезна, как с историком, с Котаром, с Блоком, со мной, — казалось, они интересовали ее лишь с той стороны, что она могла предложить их, как лакомое блюдо, нашему любопытству. Она знала, что ей нечего церемониться с людьми, для которых она была не более или менее блестящей женщиной, но обидчивой и требующей к себе внимания теткой. Ей не было смысла стараться блеснуть перед людьми, которые все равно не изменили бы своего мнения о ее положении в

обществе, которые лучше, чем кто-либо, знали ее биографию и чтили в ней ее знатный род. А главное, они были для нее теперь всего лишь выжимками, из которых соку больше уже не добудешь: ведь они не познакомят ее с новыми своими друзьями, не позовут ее вместе повеселиться. Она могла, в лучшем случае, зазвать их к себе, могла говорить о них на своих пятичасовых приемах, как говорила потом в своих воспоминаниях, для которых эти приемы были своего рода репетицией, первой читкой вслух перед избранной публикой. В обществе же, которое маркиза де Вильпаризи с помощью своей знатной родни стремилась заинтересовать, ослепить, приковать, в смешанном обществе Котаров, Блоков, известных драматургов, историков Фронды, — за отсутствием не бывавших у нее представителей высших кругов, — она находила все, что ей было нужно: разнообразие, новизну, развлечения, жизнь; эти люди повышали удельный вес ее салона (и они стоили того, чтобы иногда устраивать им встречи с герцогиней Германтской, хотя все это были люди ей незнакомые): при их содействии на ее обедах бывали замечательные люди, привлекшие ее внимание своими работами, у нее на дому ставились комические оперы

и пантомимы под руководством самих авторов, для нее доставались ложи на интересные спектакли. Блок собрался уходить. Во всеуслышание он объявил, что происшествие с опрокинутой вазой — это не беда, а вполголоса говорил другое и уж совсем другое думал. «Если у тебя нет вышколенных слуг, которые умеют так поставить вазу, чтобы она не обливала и не ранила гостей, так нечего пыль в глаза пускать всей этой роскошью», — ворчал он сквозь зубы. Он принадлежал к числу обидчивых и «нервозных» людей, которые тяжело переживают допущенные ими неловкости, — не беря, однако, вину на себя, — до такой степени тяжело, что эти неловкости на целый день портят им настроение. Он был взбешен, расстроен, решил, что ноги его больше не будет в салонах. Сейчас ему требовалось хотя бы небольшое отвлечение. И тут, на счастье Блока, маркиза де Вильпаризи удержала его. То ли она была осведомлена о настроениях своих друзей, которых влекла за собой вздымавшаяся волна антисемитизма, то ли по рассеянности, но только она не представила Блока гостям. А Блок, неважно знавший правила светского обхождения, вообразил, что перед уходом ему следует вежливо, но отчужденно всем поклониться; он

несколько раз кивнул головой и, уткнув бороду в воротничок, на каждого посмотрел сквозь пенсне холодно и недовольно. Но маркиза де Вильпаризи остановила его; ей еще надо было сговориться с ним насчет пьески, которую должны были у нее играть, а кроме того, ей не хотелось отпускать его, не вознаградив знакомством с маркизом де Норпуа (между прочим, ее удивляло, что маркиза до сих пор нет), хотя это вознаграждение было теперь не нужно, потому что Блок уже решил уговорить двух певиц, о которых он рассказывал маркизе, спеть у нее даром, только ради славы, так как на ее приемах собирался цвет европейского общества. Кроме них он предложил пригласить еще и трагическую актрису, «с ясными глазами, прекрасную, как Гера», обладающую даром пластически изображать то, о чем идет речь в лирически окрашенной прозе, которую она читает. Но маркиза де Вильпаризи, узнав ее фамилию, отказалась от нее по той причине, что это была подружка Сен-Лу.

— У меня добрые вести, — сказала она мне на ухо, — я уверена, что все это у них держится на волоске, они вот-вот разойдутся, несмотря на то, что тут сыграл скверную роль один офицер, — добавила она. — Семья Робера смертельной

ненавистью возненавидела князя Бородинского за то, что он по просьбе парикмахера отпустил его в Брюгге, и обвиняет его в покровительстве преступной связи. Должно быть, это отъявленный негодяй, — произнесла маркиза де Вильпаризи с видом возмущенной добродетели, который умели принимать даже самые распутные из Германтов. — Отъявленный негодддяй, отъявленный негодддяй, — повторила она, произнеся слово «негодяй» через три «д». Чувствовалось, что она не сомневается, что князь Бородинский участвовал во всех кутежах Сен-Лу. Но так как любезность въелась в плоть и кровь маркизы, то неумолимо строгое выражение, с каким она говорила об этом ужасном капитане, которого она называла «князь Бородинский» с насмешливой торжественностью женщины, в чьих глазах империя не стоила ломаного гроша, сменилось относившейся ко мне ласковой улыбкой и механическим подмигиванием, будто мы с ней в чем-то были сообщниками.

— Я люблю де Сен-Лу-ан-Бре, — заявил Блок, — хотя он и скотина, люблю за то, что он прекрасно воспитан. Я очень люблю прекрасно воспитанных людей — это такая редкость! — продолжал он, не сознавая, — потому что сам-то он был

отвратительно воспитан, — что слушать это никому не доставляет удовольствия. — Сейчас я вам приведу пример его безукоризненной благовоспитанности, пример, на мой взгляд, очень убедительный. Однажды я увидел его вместе с одним молодым человеком, когда он собирался сесть на свою колесницу с прекрасными ободьями, после того как собственноручно надел великолепную сбрую на пару коней, откормленных овсом и ячменем, по каковой причине ему не надо было взбадривать коней сверкающим в воздухе хлыстом. Он нас познакомил, но я не расслышал, как зовут молодого человека, — мы же ведь никогда не слышим, как зовут тех, с кем нас знакомят! — добавил он, смеясь: это была шутка его отца. — Де Сен-Лу-ан-Бре держался просто, не заискивал перед молодым человеком, по-видимому, нисколько не стеснялся. А через несколько дней я случайно узнал, что молодой человек — сын сэра Руфуса Израэльса! Конец этой истории не так покоробил присутствовавших, как ее начало, потому что она осталась для них непонятной. Дело в том, что сэр Руфус Израэльс, который для Блока и для его отца был чуть что не особой королевского рода, сэр Руфус Израэльс, перед которым Сен-Лу, с точки зрения Блока,

должен был трепетать, в глазах Германтов представлял собой выскочку-инородца, только что терпимого в обществе, и дружбой с ним никому из них не пришло бы в голову гордиться, уж скорее наоборот.

— Мне об этом сказал, — продолжал Блок, — приятель моего отца, доверенное лицо сэра Руфуса Израэльса, человек совершенно необыкновенный. Презанятнейшая личность! — добавил он с той безапелляционностью и с той восторженностью, с какой мы высказываем чужие мнения.

— Скажи, какое состояние у Сен-Лу? — шепотом заговорил со мной Блок. — Ты, конечно, понимаешь, что мне на его состояние плевать с высокого дерева, но это я, понимаешь, с бальзаковской точки зрения. И не знаешь ли ты, во что он вложил свой капитал: во французские бумаги, в иностранные, в имения?

Я ничего не мог ему сообщить. Перестав со мной шептаться, Блок громко попросил позволения открыть окна и, не дожидаясь ответа, направился к одному из окон. Маркиза де Вильпаризи сказала, что отворять окна нельзя, что она простужена. «Вы боитесь свежего воздуха? — разочарованно спросил Блок. — Но ведь на дворе тепло!» Он

засмеялся и обвел глазами собравшихся, словно требуя от них поддержки в споре с маркизой де Вильпаризи. У этих благовоспитанных людей он ее не нашел. Задорный его взгляд, которому никого не удалось зажечь, смирился и снова стал серьезным; о своем поражении Блок объявил громогласно: «Ведь тут, по крайней мере, двадцать два градуса, а то и все двадцать пять! Я в этом совершенно уверен. С меня семь потов сошло. Но я не имею возможности, подобно мудрому Антенору,[187] сыну реки Алфей, погрузиться в отчие воды и, прежде чем сесть в сверкающую купель и умаститься елеем, остановить выделение пота». Удовлетворяя свойственную людям потребность убеждать других в разумности медицинских советов, пользу которых они проверили на себе, Блок добавил: «Ну, раз вы полагаете, что так для вас лучше!.. Я держусь противоположного мнения. Потому-то вы и простужаетесь».

Блок чрезвычайно обрадовался предстоящему знакомству с маркизом де Норпуа.

— Хорошо, если б маркиз сказал, что он дума-

[187] Примечания: 187

Антенор — в греческой мифологии один из троянских старейшин, который в «Илиаде» (VII, 345–354) советует отдать Елену грекам. Блок, однако, совершает ошибку: сыном реки Алфей является Орсилох (V, 546).

ет о деле Дрейфуса, — снова заговорил он. — Я плохо знаю образ мыслей людей, ему подобных; получить интервью у такого видного дипломата — это было бы небезлюбопытно, — заключил он ядовито, чтобы не подумали, будто он считает себя ниже маркиза.

Маркизе де Вильпаризи было неприятно, что Блок и об этом сказал громко, но она быстро успокоилась, уверившись, что архивариус, из-за националистических убеждений которого она все время была как на иголках, сидит далеко от Блока и что слышать его он не мог. Блок больше ее шокировал, когда он, наущаемый демоном дурного воспитания, который сначала сделал так, что он перестал видеть, что у него перед носом, со смехом спросил, вспомнив отцовскую шутку:

— Не его ли это ученый труд, где доказывается, что русско-японская война неминуемо окончится победой русских и поражением японцев? А не впал ли он в детство? Должно быть, это его я видел недавно: прежде чем сесть в кресло, он сначала примерился, а потом подкатил к нему, как на роликах.

— Этого не могло быть! Одну минутку! — сказала маркиза. — Не понимаю, что он там делает.

Маркиза позвонила, и так как она ни от кого

не скрывала и даже охотно давала понять, что ее старый друг большую часть времени проводит у нее, то, когда вошел лакей, она сказала:

— Попросите господина де Норпуа прийти сюда; он разбирает бумаги у меня в кабинете. Сказал, что придет через двадцать минут, а я его жду час сорок пять. Он с вами поговорит о деле Дрейфуса и о чем хотите, — ворчливо проговорила она, обращаясь к Блоку, — он совсем не в восторге от того, что у нас творится.

Надо заметить, что маркиз де Норпуа не ладил с нынешним министерством. Он не позволил бы себе привести к маркизе де Вильпаризи членов правительства (она по-прежнему держала себя с большим достоинством — достоинством аристократки — и стояла в стороне и над теми отношениями, которых он не прерывал в силу необходимости), но благодаря ему она была осведомлена о текущих событиях. Равным образом и нынешние государственные деятели не осмелились бы попросить маркиза де Норпуа представить их маркизе де Вильпаризи. Но кое-кто из них в затруднительных обстоятельствах ездил к нему за советом в ее имение. Узнавал адрес. Ехал в замок. Она не показывалась. Но за обедом говорила: «Мне известно, что вас побеспо-

коили. Дело пошло на лад?»

— Вы не очень торопитесь? — спросила Блока маркиза де Вильпаризи.

— Нет, нет, я хотел было уйти, потому что неважно себя чувствую; может быть, даже мне придется съездить в Виши полечить желчный пузырь, — с дьявольской иронией отчеканил последние слова Блок.

— Да что вы? Туда собирается мой внучатый племянник Шательро — вот бы вам сговориться и поехать вместе! Вы знаете, он очень славный, — сказала маркиза де Вильпаризи, вероятно, глубоко убежденная, что если оба молодых человека — ее знакомые, то у них нет никаких оснований не подружиться.

— Да я, собственно, не знаю, будет ли он доволен; мы с ним знакомы… едва-едва, вон он там, в глубине, — сказал Блок; он был и смущен и обрадован.

Метрдотелю не надо было исполнять приказание, связанное с маркизом де Норпуа. Чтобы все подумали, будто он только что приехал и еще не виделся с хозяйкой дома, маркиз взял в передней шляпу, которую он принял за свою, подошел к маркизе де Вильпаризи и, почтительно поцеловав у нее руку, спросил, как она поживает, с

таким интересом, точно они встретились после долгой разлуки. Он понятия не имел, что маркиза де Вильпаризи перед самым его приходом лишила всякого правдоподобия эту комедию, которую сама же, впрочем, и прекратила, предложив маркизу де Норпуа и Блоку пройти в соседнюю комнату. Вновь вошедший, — а Блок не знал, что это и есть маркиз де Норпуа, — отвечал на оказываемые ему знаки особого уважения чинными, изящными, низкими поклонами, и, подавленный этим церемониалом, злясь при мысли о том, что ему-то уж этот человек наверняка не поклонится, Блок спросил меня с напускной небрежностью: «Это еще что за болван?» Впрочем, может быть, ужимки маркиза де Норпуа оскорбляли лучшее, что было в Блоке, свойственную его поколению большую естественность и чистосердечие, и он отчасти искренне нашел, что они смешны. Как бы то ни было, они перестали казаться ему смешными и даже привели его в восторг, когда маркиз поклонился ему.

— Господин посол! — обратилась к де Норпуа маркиза де Вильпаризи. — Позвольте вас познакомить с этим господином. Господин Блок, маркиз де Норпуа. — Вообще она не церемонилась с маркизом де Норпуа, но тут она назвала

его «господин посол» по правилам хорошего тона, потому что она преклонялась перед рангом посла, — преклонялась по внушению маркиза, — и, наконец, для того, чтобы показать, что у нее особая манера держать себя с этим человеком, менее непринужденная, более чопорная, которая в салоне изысканной женщины, резко отличаясь от ее вольного обхождения с другими его завсегдатаями, указывает на то, что это ее любовник.

Маркиз де Норпуа утопил голубизну своих глаз в белой бороде и, несмотря на высокий рост, изогнувшись в низком поклоне, пробормотал: «Очень рад», а представленный ему юноша хотя и был растроган, но все же нашел, что знаменитый дипломат чересчур с ним учтив, и поспешил превзойти его: «Да нет, что вы, это я очень рад!» Однако маркизе де Вильпаризи показалось, что этой церемонии, повторявшейся маркизом де Норпуа ради старинной его приятельницы с каждым новым лицом, которое она ему представляла, для Блока недостаточно, и она сказала Блоку:

— Расспросите его о чем угодно, уведите его отсюда, если хотите; ему будет очень приятно побеседовать с вами; по-моему, вы собирались поговорить с ним о деле Дрейфуса, — прибавила она, даже и не думая о том, доставит ли эта

беседа удовольствие маркизу де Норпуа, но ведь не потрудилась же она, прежде чем осветить портрет герцогини де Монморанси для историка, спросить всех остальных, интересно ли им посмотреть его, или спросить их, хотят ли они чаю, прежде чем угощать.

— Говорите с ним громко, — продолжала маркиза, — он туговат на ухо, но он ответит на все ваши вопросы. Он был близко знаком с Бисмарком, с Кавуром.[188] Ведь правда, маркиз, — повысила она голос, — вы хорошо знали Бисмарка?

— Работаете над чем-нибудь? — спросил маркиз де Норпуа, посмотрев на меня приветливым взглядом и с чувством пожав мне руку. Я воспользовался этой минутой, чтобы оказать ему услугу и освободить его от шляпы, которую он счел своим долгом захватить для пущей торжественности и в которой я узнал свою. — Вы мне показывали одну вещицу, но в ней было что-то надуманное, вы там намудрили, я откровенно высказал вам свое мнение: она не стоила затраченных вами усилий. Чем же вы порадуете нас теперь? Если память мне не изменяет, вы находитесь под боль-

[188] Примечания: 188

Кавур, Камиль Бенсо, граф (1810–1861) — итальянский государственный деятель, с 1857 г. — министр иностранных дел; искусной дипломатией всячески содействовал объединению Италии.

шим влиянием Бергота.

— Не трогайте Бергота! — воскликнула герцогиня.

— Я не отрицаю в нем таланта живописца, — это ни для кого не подлежит сомнению, герцогиня. Он владеет резцом, умеет травить офорты, но он — не Шербюлье:[189] на широкие полотна его не хватает. И вообще мне кажется, что в наше время происходит смешение жанров и что дело романиста — завязывать интригу и облагораживать сердца, а не корпеть над фронтисписами и заставками. Я увижусь с вашим отцом у нашего милого А.-Ж., — добавил он, обращаясь ко мне.

Послушав, как он говорит с герцогиней Германтской, я было возымел надежду, что он, не оказав мне прежде содействия в том, чтобы меня пригласили к Свану, быть может, введет меня в дом к герцогине. «Еще одно из моих больших увлечений, — сказал я ему, — это Эльстир. Насколько мне известно, у герцогини Германтской есть чудные его картины, в частности — изуми-

[189] Примечания: 189

Шербюлье, Виктор (1829–1899) — французский романист швейцарского происхождения, член Французской академии, автор романов-эпопей.

тельный пучок редиски,[190] — я видел его на выставке, и мне так хочется посмотреть его еще раз! Это шедевр!» В самом деле, если бы с моим мнением считались и меня бы спросили, какая моя любимая картина, я назвал бы пучок редиски. «Шедевр? — воскликнул маркиз де Норпуа удивленно и неодобрительно. — Да ведь это же не картина, это эскиз (он был прав). Если вы называете шедевром живо сделанный набросок, то что же вы тогда скажете о „Деве“ Эбера?[191] или о Даньян-Бувре[192]».

— Я слышала, как вы отказали приятельнице Робера, — после того как Блок отвел посла в сторону, сказала тетке герцогиня Германтская, — по-моему, тут жалеть не о чем, это сплошной ужас, у нее намека нет на талант, а кроме того, она карикатурна.

---

[190] Примечания: 190

…изумительный пучок редиски… — Намек на картину Эдуарда Мане (1832–1883) «Пучок спаржи» (1880).

[191] Примечания: 191

Эбер, Антуан Огюст Эрнест (1817–1908) — французский художник, автор многочисленных портретов и картин на исторические сюжеты. Имеется в виду его картина «Дева Избавления», хранящаяся в Гренобльском музее.

[192] Примечания: 192

Даньян-Бувре, Паскаль Адольф Жан (1852–1929) — французский художник, излюбленный портретист парижской аристократии. Его «Дева» выставлялась в Салоне 1885 г.

— А разве вы ее видели, герцогиня? — спросил граф д'Аржанкур.

— А разве вы не знаете, что, прежде чем показаться публике, она выступала у меня? Но я этим не горжусь, — со смехом сказала герцогиня Германтская, обрадовавшись, однако, случаю довести до сведения собравшихся, — раз уж заговорили об этой актрисе, — что она первая увидела, какое посмешище представляет собою ее игра. — Ну, мне надо уходить, — вдруг объявила она, не пошевелившись.

Она увидела, что вошел ее муж, и эти ее слова намекали на комизм ее положения, — точно это был визит новобрачных, — но отнюдь не на отношения, — часто нелегкие, — между ней и этим высоченным стареющим весельчаком, все еще пытавшимся угнаться за молодежью. С приветливым и лукавым видом пробегая по многолюдному обществу, собравшемуся за чайным столом, своими маленькими круглыми зрачками, живо напоминавшими те кружочки, в которые, нацелившись, без промаха попадал такой великолепный стрелок, как он, и слегка жмурясь от лучей заходящего солнца, герцог двигался с завороженной и осторожной медлительностью, словно, оробев в этом блестящем

собрании, он боялся наступить на чье-нибудь платье и помешать разговору. Не сходившая у него с лица пьяноватая улыбка, улыбка доброго короля Ивето,[193] а также плывшая около его груди, точно плавник у акулы, рука с полусогнутыми пальцами, которую он без разбора давал пожимать и старым своим друзьям, и тем, кого с ним знакомили, позволяли ему, не делая ни одного лишнего жеста и не прерывая царственного в своей неторопливости и благосклонности обхода, удовлетворять всех, тянувшихся к нему, только лишь пробормотыванием: «Добрый вечер, мой милый; добрый вечер, дорогой друг; очень рад вас видеть, господин Блок; добрый вечер, Аржанкур», и только меня, когда он услышал мое имя, он осчастливил особым вниманием: «Добрый вечер, мой юный сосед! Как поживает ваш отец? Он очень приятный человек! Вы же знаете, что мы с ним друзья закадычные», — чтобы доставить мне удовольствие, добавил он. Расшаркался он перед одной лишь маркизой де Вильпаризи, а та кивнула ему, вынув из-под передника руку.

Сказочно богатый и живший в том мире, где

[193] Примечания: 193

…улыбка доброго короля Ивето… — Имеется в виду популярная песня французского поэта Пьера Жана де Беранже (1780–1857) «Король Ивето».

богачей становится все меньше и меньше, привыкший к мысли, что он владелец громадного состояния, он сочетал в себе тщеславие важного барина и тщеславие человека денежного, но утонченное воспитание, полученное барином, ставило границы тщеславию денежного человека. Все же при взгляде на него становилось ясно, что своим успехом у женщин, стоившим таких страданий его жене, он был обязан не только своему имени и состоянию, — он был еще очень красив, и профиль его своей чистотой, смелостью очертаний напоминал профиль греческого бога.

— Правда, она у вас выступала? — спросил герцогиню граф д'Аржанкур.

— Ну да, она ко мне явилася с букетом лилий в руке и с лилиями на платье. (Герцогиня Германтская, как и маркиза де Вильпаризи, нарочито, подчеркнуто произносила некоторые слова, как их произносит простонародье, но, в отличие от тетки, никогда не грассировала.)

Перед тем как маркиз де Норпуа, нехотя и по принуждению, отвел Блока в укромный уголок, где они могли поговорить один на один, я подошел к старому дипломату попросить его посодействовать моему отцу на выборах в Академию. Маркиз попытался отложить разговор. Но

я сказал, что собираюсь в Бальбек. «Как! Опять в Бальбек? Да вы настоящий globe-trotter![194]». Он выслушал меня. Когда я назвал имя Леруа-Болье, маркиз де Норпуа посмотрел на меня подозрительно. Я вообразил, что, быть может, он сказал Леруа-Болье что-нибудь нехорошее о моем отце и сейчас испугался, что экономист передал моему отцу его слова. Внезапно он заговорил о моем отце как лучший его друг. А потом, после заминки, когда у человека как бы невольно прорывается заветное его убеждение, возобладавшее над косноязычными попытками не проговориться, он начал горячо мне доказывать: «Нет, нет, вашему отцу не *надо* выставлять свою кандидатуру. Не надо в его же интересах, из уважения к себе, ведь он же большая величина, а этот неосторожный шаг может скомпрометировать его. Он заслуживает лучшей участи. Если его выберут, он рискует все потерять и ничего не выиграть. Слава Богу, он не оратор. А мои дорогие коллеги ценят только красноречие, хотя бы человек нес чепуху. У вашего отца есть высокая цель в жизни; он должен идти к ней прямым путем, не сбиваясь с него и не пробираясь сквозь кусты, хотя бы то были

[194] Примечания: 194
Неутомимый путешественник (англ.)

кусты, — на которых, впрочем, больше шипов, чем цветов, — в садах Академа.[195] Да ведь он и соберет всего лишь несколько голосов. Академия любит, чтобы соискатель, прежде чем она примет его в свое лоно, прошел изрядный испытательный срок. Сейчас ничего предпринимать не следует. А потом — пожалуйста. Но только нужно, чтобы на нем остановила внимание сама Академия. Она следует правилу наших заальпийских соседей: Fara da se,[196] — следует не потому, что так лучше, а потому, что она считает себя непогрешимой. То, что мне сообщил Леруа-Болье[197] не произвело на меня благоприятного впечатления. Но, насколько я мог заметить, он, кажется, склонен поддерживать вашего отца? Пожалуй, я был с ним слишком резок — я сказал, что

---

[195] Примечания: 195

...в садах Академа. — Академ — в греческой мифологии афинский герой, могила которого находится в священной роще к северо-западу от Афин. В IV в. до н. э. в этой роще учил Платон, затем его ученики, и их школа получила название Академии.

[196] Примечания: 196

Fara da se — собственно «L'Italia fara da se» («Италия сама себе хозяйка») — лозунг итальянских националистов, боровшихся за объединение страны.

[197] Примечания: 197

Леруа-Болье, Анатоль (1842–1912) и его брат Поль (1843–1916) были членами Академии моральных и политических наук. Первый из них был преподавателем Пруста в Свободной школе политических наук.

его дело — хлопок и металлы, а в политических тонкостях, как любил выражаться Бисмарк, он ничего не смыслит. Ваш отец ни в коем случае не должен выставлять свою кандидатуру: Principiis obsta.[198] Если он поставит своих друзей перед совершившимся фактом, они очутятся в весьма затруднительном положении. Послушайте, — глядя на меня в упор своими голубыми глазами, вдруг нарочито откровенно заговорил он со мной, — вы знаете, как я люблю вашего отца, и поэтому вас, наверно, удивит то, что я сейчас скажу. Так вот, именно потому, что я его люблю, именно (мы с ним неразлучные друзья, arcades ambo[199]) потому, что я знаю, какую пользу может он принести отечеству, мимо каких подводных камней может он провести его, если останется у руля, из симпатии к нему, из глубокого уважения, из патриотических чувств я не буду голосовать за него. Впрочем, я, кажется, достаточно ясно дал ему это понять. (Тут мне показалось, что в гла-

---

[198] Примечания: 198

Principiis obsta — Будь осторожен с первых же шагов (лат.). Начало первой строки двустишия Овидия (43 до н. э. — 18) из его дидактической поэмы «Лекарство от любви» (1–2 гг.).

[199] Примечания: 199

Arcades ambo — Аркадцы оба (лат.). Выражение, восходящее к Вергилию («Буколики», VII, 4–5) и обозначающее в переносном смысле двух людей, чьи вкусы совпадают.

зах маркиза промелькнул строгий ассирийский профиль Леруа-Болье.) Словом, проголосовать за него — это для меня означает в известном смысле поступить против совести». Несколько раз маркиз де Норпуа обозвал своих коллег ископаемыми. Помимо всего прочего, каждый член клуба или академии наделяет своих коллег чертами характера, резко отличающимися от его черт, — наделяет не столько для того, чтобы иметь возможность сказать: «Ах, если б это зависело только от меня!» — сколько для того, чтобы дать почувствовать, как трудно достается то звание, какое он получил, и насколько оно почетно. «Так вот что я вам скажу, — заключил маркиз, — в интересах всей вашей семьи я предпочитаю, чтобы вашего отца с триумфом выбрали лет этак через десять — через пятнадцать». Мне показалось, что в маркизе говорит если не зависть, то, во всяком случае, полнейшее равнодушие к моему отцу, но впоследствии ход событий показал, что я ошибался.

— Знаете, о ком мы говорили, Базен? — спросила мужа герцогиня.

— Наверно, догадываюсь, — ответил герцог. — Да уж, великой артистки из нее не выйдет.

— Куда там! — подхватила герцогиня Германт-

ская и обратилась к графу д'Аржанкуру: — Вы не можете себе представить ничего более смехотворного.

— Я бы сказал, преуморительного, — вставил герцог Германтский, своеобразный лексикон которого давал повод лодям светским говорить, что он не глуп, а литераторам считать, что он набитый дурак.

— Не понимаю, — продолжала герцогиня, — как Робер мог в нее влюбиться. О, я отлично знаю, что вкусы бывают разные, — перебила она себя с очаровательной гримаской философа и разочарованного романтика. — Я знаю, что кто угодно может полюбить кого угодно. И, в сущности, — добавила она, ибо хотя она все еще посмеивалась над новой литературой, эта литература то ли благодаря газетам, которые популяризировали ее, то ли под влиянием разговоров все-таки в нее просочилась, — это и есть самое прекрасное в любви, так как именно это и делает ее «таинственной».

— «Таинственной»? Откровенно говоря, это выше моего понимания, — признался граф д'Аржанкур.

— Да, да, в любви все очень таинственно, — продолжала герцогиня с мягкой улыбкой светской женщины, но одновременно с непоколебимой

убежденностью вагнерианки, доказывающей человеку своего круга, что «Валькирия[200]» — это не просто шум. — Ведь нам же так до конца и не понять, почему кто-то любит кого-то, — мы думаем, что вот за это, а может быть, как раз совсем за другое, — сама себе противореча, с улыбкой добавила она. — Ведь мы же вообще ничего не понимаем, — заключила она, и на лице у нее появилось усталое, скептическое выражение. — Одним словом, знаете что? «Благоразумнее» всего не спорить о вкусах в любви.

Но, как будто бы взяв себе это за правило, она тут же отступила от него и осудила выбор Сен-Лу:

— И все-таки, как хотите, а меня это удивляет: разве можно увлечься смешной женщиной?

Услышав, что мы толкуем о Сен-Лу, и догадавшись, что он в Париже, Блок наговорил о нем разных гадостей, чем вызвал всеобщее возмущение. Он распалялся все сильней и сильней, — чувствовалось, что для того, чтобы выплеснуть злобу, он не остановится ни перед чем. Считая себя человеком высоконравственным, он держался того мнения, что людей, посещающих Були

---

[200] Примечания: 200

«Валькирия» — трехактная опера Рихарда Вагнера, поставленная в 1870 г.

(спортивный кружок, который он, однако, находил блестящим), надо отправить на каторгу, и каждый удар, который он мог нанести им, ставил себе в заслугу. Однажды он договорился до того, что намерен подать в суд на своего приятеля из Були. На суде он собирался давать заведомо ложные показания, но так, что обвиняемый не мог бы их опровергнуть. Этим приемом Блок рассчитывал, — впрочем, он так и не осуществил своего намерения, — измучить своего приятеля, довести его до белого каления. Что же тут плохого со стороны Блока, если тот, кого он хотел наказать, думает только о шике, если это член Були, если в борьбе с подобного сорта людьми дозволительно применять любые виды оружия, особенно такому святому человеку, как Блок?

— А возьмите Свана, — заметил граф д'Аржанкур; он понял наконец, что хочет сказать герцогиня, был поражен верностью ее замечания, но, порывшись в памяти, нашел пример мужчины, любившего женщину, которая ему, Аржанкуру, не нравилась.

— Ну, Сван — это совсем другое дело! — возразила герцогиня. — Конечно, это тоже более чем странно, потому что она круглая дура, но она не смешна и была красива.

— Гм, гм! — буркнула маркиза де Вильпаризи.

— А вы разве не находите, что она была красива? Нет, в ней было много обворожительного: прекрасные глаза, красивые волосы, одевалась она, да и теперь одевается, великолепно. Теперь, — я согласна, — она омерзительна, но прежде это была очаровательная женщина. Тем не менее я была очень огорчена, когда Сван на ней женился, — вот это уж он зря.

Герцогиня не находила в этих словах ничего особенно остроумного, но когда граф д'Аржанкур засмеялся, то она повторила их — быть может, потому, что теперь сама нашла, что они смешны, а быть может, только потому, что д'Аржанкур смеялся от души; повторила и ласково взглянула на него, усилив таким образом обаяние своего остроумия обаянием нежности.

— Да, — ведь правда? — этого делать не следовало, — продолжала она, — но все-таки что-то влекущее в ней было, я прекрасно понимаю, что в нее можно было влюбиться, а вот барышня Робера способна уморить со смеху, уверяю вас. Я предвижу, что мне приведут затрепанную

фразу Ожье:[201] «Не в бутылке счастье — только бы опьянеть!» Ну что ж, может быть, Робер и опьянел, но в выборе бутылки он вкуса не обнаружил! Во-первых, вообразите, что она изъявила желание, чтобы я поставила лестницу на самой — самой середине гостиной. Правда, недурно? И еще она мне объявила, что ляжет ничком на ступеньках. И потом, если бы вы слышали, что она читала! Она у меня прочла только одну сцену, но это нечто невообразимое. Называется «Семь принцесс[202]».

— «Семь принцесс»! Ой-ой-ой! Какой снобизм! — воскликнул граф д'Аржанкур. — Ах да, погодите, я знаю эту пьесу. Ее написал один из моих соотечественников. Он послал ее королю, король ничего в ней не понял и попросил меня объяснить.

---

[201] Примечания: 201

…фразу Ожье… — На самом деле это строчка Альфреда де Мюссе из посвящения его сочинения «Кубок и губы», вошедшего в книгу «Первые стихотворения» (1833). Путаница может быть объяснена тем, что Ожье принадлежит другая расхожая фраза, в которой упоминается «бутылка»: «Пусть бутылка пыльна, зато жидкость пьяна», эта фраза звучит в его пьесе «Авантюристка» (1848).

[202] Примечания: 202

«Семь принцесс» (1891) — одноактная пьеса Мориса Метерлинка (1862–1949).

— Это случайно не Сар Пеладана?[203] — спросил историк Фронды, желая показать, какой у него утонченный вкус и что он следит за новинками, но спросил так тихо, что д'Аржанкур не расслышал его вопроса.

— Ах, так вы знаете «Семь принцесс»? — спросила д'Аржанкура герцогиня. — Поздравляю вас! Я знаю только одну из них, но это отбило у меня охоту знакомиться с другими шестью. А вдруг они похожи на ту, что я видела?

«Экая дурища! — думал я; герцогиня рассердила меня тем, что была со мной холодна, и сейчас я испытывал злобное удовлетворение оттого, что она совершенно не понимает Метерлинка. — И это ради нее я каждое утро отмерял столько километров! Нет уж, слуга покорный! Она для меня больше не существует». Вот что говорил я себе — говорил не то, что думал; я прибегал к чисто разговорным оборотам речи, которыми мы пользуемся, когда бываем так взволнованны, что, не в силах оставаться долее наедине с самими собой,

---

[203] Примечания: 203

Сар Пеладан — имеется в виду Жозеф Пеладан (1859–1918), французский писатель-символист, типичный представитель декадентской литературы, автор романов, эссе и оккультистских драм. Пеладан страстно увлекался мистикой и считал себя магом, изменил свое имя на Жозефен и утверждал, что титул «Сар» был ему дарован древнехалдейскими магами.

испытываем потребность, за отсутствием другого собеседника, поговорить с самими собой, но не откровенно, а как с чужим человеком.

— У меня нет слов, чтобы все это описать, — продолжала герцогиня, — но, право, можно было лопнуть от смеха. Смеха действительно было много, даже слишком много; актрисуле это не понравилось, а Робер с тех пор затаил против меня злобу. Ну, а я не жалею: ведь если бы все сошло гладко, барышня, чего доброго, опять пожаловала бы ко мне, — могу себе представить, как была бы счастлива Мари-Энар.

Так звали в семье мать Робера, г-жу де Марсант, вдову Энара де Сен-Лу, в отличие от ее родственницы, принцессы Германт-Баварской, тоже Мари, к имени которой ее племянники, двоюродные и троюродные братья и зятья прибавляли, чтобы не спутать, или имя ее мужа, или другое ее имя, и получалось: Мари-Жильбер или Мари-Эдвиж.

— Начать с того, что накануне было нечто вроде репетиции — тоже, я вам скажу, удовольствие! — насмешливым тоном продолжала герцогиня Германтская. — Представьте себе: она произносила фразу, даже четверть фразы, а потом умолкала; молчание длилось, — я не преувеличиваю, — пять минут.

— Ой-ой-ой! — воскликнул граф д'Аржанкур.

— Я очень вежливо позволила себе заметить, что это может вызвать некоторое недоумение. А она мне ответила буквально следующее: «Артисты всегда должны говорить так, как будто это они сами только что сочинили». Если вдуматься, то это гениально!

— А стихи она, по-моему, читает недурно, — сказал один из молодых людей.

— Она ничего не понимает в стихах, — возразила герцогиня Германтская. — Да и потом, мне не надо было ее слушать. Достаточно было ее появления с лилиями! Как только я увидела лилии, я сразу поняла, что она бездарна!

Все засмеялись.

— Тетушка! Вы на меня не сердитесь за давешнюю шутку со шведской королевой? Я пришел просить у вас прощения.

— Нет, не сержусь; можешь даже поесть, если ты голоден… Прошу вас: будьте за хозяина, — употребив обычное в таких случаях выражение, обратилась маркиза де Вильпаризи к архивариусу.

Герцог Германтский встал с кресла, около которого лежала на ковре его шляпа, и, осмотрев тарелки с предложенным ему печеньем, по-ви-

димому, остался доволен.

— С наслаждением! Теперь я уже чувствую себя как дома в столь блестящем обществе и возьму вот эту бабу — должно быть, они очень вкусные.

— Вы прекрасно исполняете обязанности хозяина, — сказал архивариусу граф д'Аржанкур — желая угодить маркизе де Вильпаризи, он подхватил ее выражение.

Архивариус предложил печенье историку Фронды.

— Вы безукоризненно исполняете свои обязанности, — сказал историк от робости и для того, чтобы завоевать общую симпатию.

Он скользнул взглядом соучастника по тем, кто, как и он, пользовался выражением маркизы.

— Скажите, тетушка, — спросил маркизу де Вильпаризи герцог Германтский, — кто этот почтенный господин, который выходил, когда я вошел? Наверное, я с ним знаком, потому что он весьма торжественно со мной поздоровался, но я так и не мог вспомнить, кто это, — вы же знаете: я вечно путаю имена, это очень неприятно, — с довольным видом добавил он.

— Господин Легранден.

— А-а! У Орианы же есть родственница, — ее мать, если не ошибаюсь, урожденная Гранден.

Да, да, теперь я понимаю: это Грандены де л'Эпревье.

— Нет, — возразила маркиза де Вильпаризи, — он не имеет к ним никакого отношения. Это просто Грандены. Грандены — только и всего. Но им бы хотелось быть всем чем угодно. Сестра этого Леграндена — де Говожо.

— Перестаньте, Базен, вы же отлично знаете, кого имеет в виду тетя! — с возмущением воскликнула герцогиня. — Это же брат того громадного травоядного, которое вы неизвестно зачем на днях прислали ко мне. Оно просидело час; я думала, что я с ума сойду. Но сперва, когда ко мне вошла незнакомая особа, похожая на корову, я приняла за сумасшедшую ее.

— Помилуйте, Ориана: она попросила меня сказать, по каким дням вы принимаете, — не ответить ей было бы с моей стороны невежливо, и потом, вы, право, преувеличиваете: на корову она непохожа! — жалобным тоном проговорил герцог, а сам в это время украдкой от нее с улыбкой взглянул на собравшихся.

Он знал, что его жена становится все остроумней, если начать оспаривать ее мнения, оспаривать с точки зрения здравого смысла — например, возразить, что женщина на корову

похожа быть не может. (Именно благодаря этому приему у герцогини Германтской, постепенно наслаивавшей новые подробности на первоначальный образ, часто срывались с языка наиболее удачные остроты.) А герцог якобы ненарочно, с самым невинным видом способствовал ее успеху — так тайный помощник фокусника помогает ему успешно проделать карточный фокус.

— Я согласна, что она непохожа на корову, — она похожа сразу на нескольких! — воскликнула герцогиня Германтская. — Клянусь вам, я оторопела, когда ко мне в гостиную вошло целое стадо коров в шляпе и спросило, как я поживаю. Мне хотелось ответить так: «Ты что-то путаешь, стадо коров, у нас с тобой никаких отношений быть не может, потому что ты стадо коров», но потом, порывшись в памяти, я подумала, что ваша Говожо — это инфанта Доротея, которая как-то сказала, что зайдет ко мне, и которая тоже довольно *быковидна*, так что я чуть было не сказала: «Ваше высочество» — и не обратилась к стаду коров в третьем лице. У нее тоже зоб, как у шведской королевы. Вдобавок эта атака живой силой была подготовлена обстрелом с дальней дистанции — по всем правилам искусства. За сколько-то времени до прихода она начала бомбардировать

меня своими визитными карточками; я находила их всюду, на всей мебели, точно это объявления. Я не могла понять, в чем смысл такой рекламы. Куда ни посмотришь, везде: «Маркиз и маркиза де Говожо» — с указанием адреса, но адрес выпал у меня из памяти, да ведь и то сказать: я же им никогда не воспользуюсь.

— Но ведь это так приятно — быть похожей на королеву! — сказал историк Фронды.

— Да ну что вы! В наше время короли и королевы — это же не Бог весть что! — сказал герцог Германтский, — он мнил себя человеком свободомыслящим и передовым, а кроме того, ему хотелось показать, что он не придает никакого значения знакомствам с венценосцами, хотя на самом деле очень дорожил ими.

Блок и маркиз де Норпуа подошли поближе к нам.

— Ну как, господин Блок, — спросила маркиза де Вильпаризи, — поговорили вы с ним о деле Дрейфуса?

Маркиз де Норпуа поднял глаза к небу хотя и с улыбкой, но в то же время словно беря его в свидетели того, какие глупые капризы своей Дульсинеи он, маркиз, вынужден исполнять. Тем не менее он очень любезно говорил с Блоком

— говорил, что мы живем в страшные, может быть, даже гибельные для Франции годы. Вероятно, это означало, что маркиз де Норпуа (а между тем Блок так прямо ему и сказал, что уверен в невиновности Дрейфуса) был злейшим антидрейфусаром, вот почему дружелюбие посла и выражавшееся на его лице стремление пойти навстречу собеседнику, уверить его, что в главном они единомышленники, заключить с ним союз против правительства особенно льстили тщеславию Блока и возбуждали его любопытство. Каковы же были те важные пункты, о которых де Норпуа умалчивал, но по поводу которых он намекал, что тут они сходятся? Одним словом, что в его взгляде на дело Дрейфуса могло бы объединить их? Блок был тем сильней изумлен таинственным согласием, как будто бы существовавшим между ним и маркизом де Норпуа, что распространялось оно не только на область политики, выяснилось же это благодаря тому, что маркиза де Вильпаризи перед этой их встречей довольно подробно рассказывала маркизу де Норпуа о литературных трудах Блока.

— Вы человек не современный, — сказал Блоку старый посол, — и я очень это в вас ценю, ибо в наше время бескорыстных исследователей не

существует, в наше время торгуют непристойностями и всякой ерундой. Если б у нас было настоящее правительство, таких, как вы, надо было бы всячески поощрять.

Блок был счастлив тем, что при всемирном потопе выплыл только он. Но ему все же хотелось большей точности, хотелось знать, что подразумевает маркиз де Норпуа под всякой ерундой. Ему казалось, что он идет той же дорогой, что и многие другие, он не считал себя таким уж редким исключением. Он опять заговорил о деле Дрейфуса, но так и не уяснил себе, какого мнения придерживается маркиз де Норпуа. Он попытался вытянуть из него, что тот думает об офицерах, о которых много тогда говорилось в газетах и которые возбуждали более острое любопытство, чем замешанные в этом деле политики, ибо политики давно были на виду, а об офицерах до сих пор никто не имел понятия, и всплыли они, в особой форме одежды, со дна жизни, непохожей ни на какую другую, и, нарушив свято хранившееся молчание, вдруг заговорили, подобно Лоэнгрину,[204] вышедшему из челна,

[204] Примечания: 204

…подобно Лоэнгрину… — В первом действии одноименной оперы Рихарда Вагнера (1848) Лоэнгрин, сын царя Парсифаля, появляется на ладье, к которой золотой цепью прикован белоснежный лебедь.

влекомого лебедем. Благодаря знакомству с адвокатом-националистом Блоку удалось попасть на несколько заседаний суда над Золя.[205] Запасшись сандвичами и бутылкой кофе, как будто он отправлялся на конкурсный экзамен или на письменные испытания, необходимые для получения степени бакалавра, Блок приходил утром, а уходил вечером, и от этого нарушения порядка дня нервы у него расшатались, кофе и впечатления от суда особенно его взвинчивали, уходил же он из суда до такой степени влюбленный во все, там происходившее, что вечером, когда он возвращался домой, ему хотелось вновь погрузиться в прекрасный сон, и он бежал в кафе, посещавшееся и той и другой партией, и в этом кафе вел нескончаемый разговор о событиях дня и вознаграждал себя ужином, который он заказывал повелительным тоном, создававшим ему иллюзию власти, вознаграждал за пост, за утомительность дня, начатого так рано и такого

---

[205] Примечания: 205

…суда над Золя. — Обвинение в клевете было предъявлено Эмилю Золя вследствие публикации им 13 января 1898 г. в газете «Орор» знаменитого письма «Я обвиняю», в котором писатель провозглашал невиновность Дрейфуса и выступал с резкими нападками на политическое и военное руководство страны. Суд проходил 7—23 февраля того же года, Золя был приговорен к одному году тюремного заключения, но вместо него отправился в изгнание в Англию. Пруст присутствовал на слушании дела Золя, о чем рассказал в раннем романе «Жан Сантей».

голодного. Человеку, все время находящемуся между двумя плоскостями, — между плоскостью опыта и плоскостью воображения, — хочется углубиться в идеальное бытие людей, с которыми он знаком, и познакомиться с теми, чью жизнь рисовало ему воображение. На вопросы Блока маркиз де Норпуа ответил так:

— О двух офицерах, замешанных в слушающемся сейчас деле, мне в свое время говорил человек, с мнением которого я очень считаюсь (де Мирибель.[206]), так вот он отзывался о них весьма лестно: я имею в виду подполковника Анри[207] и подполковника Пикара[208]

— Но, — вскричал Блок, — божественная Афина, дочь Зевса, вложила в их умы совершенно разные мысли! И они дерутся, как львы. Подполковник

---

[206] Примечания: 206

Де Мирибель — генерал Мари-Франсуа Жозеф, барон де Мирибель (1831–1893), начальник генерального штаба французской армии.

[207] Примечания: 207

Анри, Юбер (1846–1898) — офицер французского генерального штаба, ближайший сподвижник де Мирибеля. В ходе следствия по делу Дрейфуса утверждал, что обнаружил в 1896 г. письмо военного атташе итальянского посольства Алесандро Панизарди, адресованное военному атташе немецкого посольства Максимиллиану фон Шварцкопену; это письмо доказывало виновность Дрейфуса. Однако 30 августа 1898 г. Анри признал, что собственноручно изготовил этот документ, после чего он был заключен в тюрьму, где на следующий день покончил жизнь самоубийством.

[208] Примечания: 208

Пикар, Жорж (1854–1914) — подполковник, начальник разведки французского генерального штаба, занимаясь по долгу службы делом Дрейфуса, пришел к выводу о виновности Эстергази, после чего был отрешен от должности и предстал перед военным судом.

Пикар занимал в армии большое положение, но его Мойра[209] завела его в стан людей, ему чуждых. Шпага националистов пронзит его слабое тело, и он достанется на съедение хищным зверям и птицам, питающимся мертвечиной.

Маркиз де Норпуа ничего не ответил.

— О чем это они рассуждают в уголке? — указывая на маркиза де Норпуа и на Блока, спросил маркизу де Вильпаризи герцог.

— О деле Дрейфуса.

— А, да ну его к черту! Кстати, вам известно, кто стал яростным защитником Дрейфуса? Бьюсь об заклад, что не отгадаете. Мой племянник Робер! Должен вам сказать, что когда об его выходках узнали в Джокей-клобе, то это вызвало бурю негодования, форменный взрыв. А так как через неделю ему предстоит баллотироваться…

— Очевидно, — прервала его герцогиня, — если все они вроде Жильбера, который твердо стоял на том, что всех евреев надо выслать в Иерусалим…

— Ах вот как? Ну, значит, мы с принцем Германтским полные единомышленники, — вмешался граф д'Аржанкур.

Герцог гордился своей женой, но не любил ее.

---

[209] Примечания: 209
Мойра — в греческой мифологии богиня судьбы.

Как все «зазнайки», он не выносил, когда его перебивали, дома он был с женой груб. Сейчас герцог был зол вдвойне: как нелюбящий муж, которого жена прервала, и как говорун, которого не слушают, — он осекся, а затем метнул на герцогиню взгляд, от которого всем стало неловко.

— При чем тут Жильбер и Иерусалим? — сказал он наконец. — Дело совсем не в этом. Но, — продолжал он, смягчившись, — я думаю, вы согласитесь, что если одного из членов нашей семьи не примут в Джокей-клоб, особенно Робера, отец которого десять лет был там старшиной, то это будет удар для всех нас. Да и странно было бы, дорогая моя, ожидать иного; они потрясены, для них это как гром среди ясного неба. И я их не виню; вы знаете, что я свободен от расовых предрассудков, я считаю, что это все отжило, я хочу идти в ногу с временем, но, черт побери, если ты зовешься маркизом де Сен-Лу, то быть дрейфусаром тебе не подобает, это уж как тебе угодно!

Герцог Германтский произнес «если ты зовешься маркизом де Сен-Лу» с пафосом. Он отлично знал, что «герцог Германтский» звучит еще громче. И, с одной стороны, его честолюбие скорее склонно было преувеличивать преимущество титула «герцог Германтский» перед всеми прочими,

а с другой, принижать этот титул заставляло герцога, пожалуй, в большей степени воображение, чем хороший тон. Всем нам кажется красивее то, что мы видим на расстоянии, то, что мы видим у других. Действие общих законов перспективы в воображении испытывают на себе и герцоги, и простые смертные. Не только законов воображения, но и законов языка. Тут действовали два закона языка, из коих первый состоит в том, что одинаково изъясняются люди одинакового умственного развития, а не одинакового социального происхождения. Следовательно, герцог Германтский в своих оборотах речи, даже когда он говорил о знати, мог находиться под влиянием самых простых обывателей, которые сказали бы: «Если ты зовешься герцогом Германтским», а человек образованный, вроде Свана или Легранде на, никогда бы так не сказал. Герцог может написать роман о высшем обществе, как написал бы лавочник, дворянские грамоты ему тут не помогут, эпитет «аристократический» может заслужить своими произведениями плебей. Кто был тот мещанин, который сказал при герцоге Германтском: «Если ты зовешься», — этого герцог, вне всякого сомнения, не помнил. По другому закону языка, время от времени, подобно тому

как появляются и исчезают иные заболевания, всякие разговоры о которых потом затихают, Бог весть откуда возникает, то ли стихийно, то ли чисто случайно, вроде того как во Францию из Америки была завезена сорная трава, семя которой, застрявшее в ворсе пледа, упало на откос железной дороги, бесчисленное множество выражений, и в течение десяти дней их можно услышать от людей, друг с другом не сговаривавшихся. Несколько лет назад Блок говорил о себе так: «Самые очаровательные, самые блестящие, самые солидные, самые требовательные люди считают, что на всем свете есть только один умный и приятный человек, который им необходим, — это я, Блок», потом эти же слова я слышал из уст других молодых людей, которые не были с ним знакомы и только заменяли фамилию Блок своей фамилией, а последнее время так же часто при мне говорили: «Если ты зовешься…»

— Что ж, — продолжал герцог, — там царит такой дух, что ничего удивительного в этом здесь нет.

— Это выглядит особенно смешно, — вставила герцогиня, — если мы вспомним умонастроение его матери, которая все уши нам прожужжала разговорами о величии нашей родины.

— Да не болтай ты чепуху! Мать Робера — пустое место. Гораздо более сильное влияние имеет на него одна милашка, низкопробная девица легкого поведения и, кстати сказать, единоплеменница господина Дрейфуса. Робер проникся ее взглядами.

— Может быть, вы еще не знаете, ваша светлость, что теперь по-новому выражают это понятие, — заговорил архивариус, который был секретарем антиревизионистского комитета. — Нынче говорят: «направление». Это совершенно то же самое, но никто не знает, что это значит. Это нечто самоновейшее, как говорится, «последний крик». — Он уже давно, услыхав фамилию Блок, с беспокойством прислушивался к тому, как Блок расспрашивал маркиза де Норпуа, что вызвало совсем иного рода, но не менее сильное беспокойство у маркизы. Она трепетала перед архивариусом, прикидывалась антидрейфусаркой, и сейчас ей было боязно: а ну как он догадается, что она позвала к себе еврея, в той или иной степени связанного с «синдикатом»,[210] и рассер-

[210] Примечания: 210

…в той или иной степени связанного с «синдикатом»:.. — В эпоху дела Дрейфуса французские антисемиты считали, что страна оказалась жертвой всеобъемлющего заговора, которым руководил могущественный и тайный «Синдикат евреев».

дится на нее?

— Ах, «направление»! Я запишу это слово и при случае воспользуюсь им, — сказал герцог. (Глагол «записать» герцог употребил не в переносном смысле — у него была записная книжка, куда он заносил разные «изречения», и перед зваными обедами он проглядывал ее.) «Направление» — это мне нравится. Иной раз кто-нибудь придумает что-то новое, но оно не входит в язык. Недавно я прочел об одном писателе, что у него «симпатичное дарование». Вот тут и пойми. Больше нигде я этого выражения не встречал.

— «Направление» более употребительно, чем «симпатичное дарование», — желая принять участие в разговоре, вмешался историк Фронды. — Я член одной из комиссий при министерстве народного просвещения, и там мне его не раз приходилось слышать, а еще в моем клубе, клубе Вольней,[211] и даже на обеде у Эмиля Оливье.[212]

— Я не имею чести быть связанным с мини-

---

[211] Примечания: 211

Клуб Вольней — литературно-художественный кружок, располагавшийся на улице Вольней.

[212] Примечания: 212

Оливье, Эмиль (1825–1913) — французский писатель и политический деятель, сыгравший пагубную роль в начале франко-прусской войны.

стерством народного просвещения, — отозвался герцог с напускной приниженностью, но в то же время с такой беспредельной самовлюбленностью, что губы его невольно сложились в улыбку, а в глазах, когда он окидывал ими присутствовавших, замелькали искорки, от насмешливости которых бедный историк покраснел, — я не имею чести быть связанным с министерством народного просвещения, — заслушиваясь самого себя, повторил герцог, — равно как не имею чести быть членом клуба Вольней, я член только двух клубов: «Союза[213]» и Джокей-клоба. А вы, милостивый государь, не член Джокей-клоба? — спросил он историка, и тот, почувствовав, что в этих словах заключена непонятная ему дерзость, еще гуще покраснел и задрожал всем телом. — Я даже не обедаю у Эмиля Оливье и, признаюсь, не знал слова «направление». Я убежден, Аржанкур, что вы его тоже в первый раз слышите... Знаете, почему нельзя доказать, что Дрейфус — изменник? По всей вероятности, потому, что он любовник жены военного министра, — такая идет молва.

— А я думал — жены председателя совета министров, — сказал граф д'Аржанкур.

---

[213] Примечания: 213

«Союз» — закрытый аристократический клуб, расположенный на бульваре Мадлен.

— Как вы мне все надоели с делом Дрейфуса! — воскликнула герцогиня Германтская, которой всегда хотелось показать обществу, что она держится независимо. — Я не могу смотреть на его дело с точки зрения евреев — по той простой причине, что я их совсем не знаю и надеюсь и впредь оставаться в блаженном неведении. Но, с другой стороны, мне противно, что Мари-Энар и Виктюрньен навязывают нам невесть сколько всяких там Дюран или Дюбуа, которых мы, если б не они, знать бы не знали, — навязывают только потому, что эти самые Дюран и Дюбуа, чтобы подчеркнуть свою благонамеренность, ничего не покупают в еврейских магазинах и ходят под зонтиками с надписью «Смерть евреям». Третьего дня я была у Мари-Энар. Раньше у нее было очень мило. Теперь она приглашает к себе всех, от кого мы с малых лет сторонились, — приглашает только потому, что они против Дрейфуса, и даже тех, о которых мы до сих пор понятия не имели, кто они такие.

— Нет, жены военного министра. По крайней мере, так пошепту говорят в салонах, — продолжал герцог, любивший употреблять выражения, которые, как он полагал, были в ходу при старом режиме. — Во всяком случае, я, как известно, не

согласен с Жильбером. В отличие от него я не феодал; я бы прогулялся с негром, будь он моим другом; я не прислушиваюсь, что сказал тот, что сказал этот, — нужны мне их суждения как собаке пятая нога, но все же, — согласитесь, — если ты зовешься Сен-Лу, так не тешь себя, что идешь наперекор всему свету, — весь свет умнее Вольтера и даже моего племянника. А главное, не занимайся тем, что я называю акробатикой чувствительности, за неделю до выборов в члены клуба! Это уж чересчур! Нет, это, наверно, его душка забила ему памороки. Она ему внушила, что он должен быть вместе со всей «интеллигенцией». Ходить в интеллигентах — предел мечтаний для подобного рода господ. Кстати сказать, это послужило поводом для довольно остроумной игры слов, хотя и весьма ядовитой.

И тут герцог шепотом рассказал герцогине и графу д'Аржанкуру насчет Mater Semita — это уже знал весь Джокей-клоб, ибо из всех летучих семян наиболее сильными крылышками, благодаря которым оно отлетает дальше других от того места, где семена зарождаются, все еще обладает шутка.

— Мы могли бы обратиться за разъяснениями к этому господину, — указывая на историка,

продолжал герцог, — он, кажется, эрудитка... то есть я хотел сказать: эрудит. Но лучше об этом вообще не говорить, тем более что все это сплошное вранье. Я не настолько честолюбив, как моя родственница Мирпуа, которая ведет свою родословную от колена Левиева, существовавшего еще до Рождества Христова, я берусь доказать, что в нашем роду не было ни капли еврейской крови. И все-таки не надо гусей дразнить: вполне возможно, что высокоумные разглагольствования моего уважаемого племянника разворошат муравейник. Тем более что Фезенсак болен, всем будет заправлять Дюра, а вы знаете, какой он фордыбака и до чего он любит очки втирать, — добавил герцог, не понимавший смысла некоторых выражений и путавший «очки втирать» с «пыль в глаза пускать».

— Так или иначе, если даже Дрейфус и невиновен, то доказывает он свою невиновность неубедительно, — вмешалась герцогиня. — Какие идиотские, высокопарные письма пишет он с острова!,[214] Не знаю, кто из них лучше: Эстер-

[214] Примечания: 214

Какие идиотские, высокопарные письма пишет он с острова! — Письма Альфреда Дрейфуса были опубликованы в 1898 г. под названием «Письма невиновного».

гази или он[215] но у Эстергази по крайней мере попадаются смелые обороты, яркие образы. По всей вероятности, это не нравится сторонникам Дрейфуса. Как им должно быть досадно, что они не могут подменить невинного!

Все захохотали.

— Вы слышали, как сострила Ориана? — с загоревшимися глазами спросил маркизу де Вильпаризи герцог Германтский.

— Да, очень смешно. Герцогу этого было мало.

— А по-моему, не смешно, вернее сказать, мне совершенно безразлично, смешно это или не смешно. Остроумие для меня не существует.

Граф д'Аржанкур возразил.

— Не верьте ни единому его слову, — прошептала герцогиня.

— Должно быть, это оттого, что, когда я был членом палаты депутатов, там произносились блестящие, но пустозвонные речи. Там я научился ценить прежде всего логику. Наверно, потому меня и не переизбрали. К остротам я равнодушен.

— Базен, милый, не стройте из себя Жозефа

---

[215] Примечания: 215

Не знаю, кто из них лучше: Эстергази или он… — 28 ноября 1897 г. в газете «Фигаро» было опубликовано письмо Эстергази («Письмо улана») к его бывшей любовнице, г-же де Буланси, отомстившей таким образом «улану» за обман.

Прюдома,[216] вы же сами прекрасно знаете, что никто так не ценит остроумия, как вы.

— Дайте мне договорить. Именно потому, что я не люблю грубых шуток, остроты моей жены часто доставляют мне удовольствие. Обыкновенно они у нее основаны на верных наблюдениях. Рассуждает она, как мужчина, выражает свои мысли, как писатель.

Блок все пытался выспросить у маркиза де Норпуа, что тот думает о полковнике Пикаре.

— Его показания были безусловно необходимы, тем более если правительство полагало, что он тут далеко не без греха, — заговорил маркиз де Норпуа. — Я знаю, что мое мнение взбудоражило некоторых моих коллег, но, по-моему, правительство обязано было предоставить слово полковнику. Неуклюжие увертки не помогут выйти из тупика, скорее наоборот: глубже увязнешь в трясине. Что же касается самого офицера, то его показания на первом допросе произвели самое благоприятное впечатление. Когда все увидели его стройную фигуру в красивой форме стрелка и услышали, как он удивительно просто

---

[216] Примечания: 216

Жозеф Прюдом — вымышленный персонаж произведений французского писателя Анри Монье (1799–1877). Олицетворяет собой романтически настроенного, высокопарного и комичного буржуа.

и откровенно рассказывает о том, что видел, что думал, когда он сказал: «Даю честное слово солдата (тут в голосе маркиза де Норпуа послышалось легкое патриотическое тремоло), это мое глубокое убеждение», — не спорю: его слова сильно подействовали на всех.

«Ну конечно, он дрейфусар, теперь в этом не может быть и тени сомнения», — подумал Блок.

— Вначале он мог рассчитывать на сочувствие, но его погубила очная ставка с архивариусом Грибленом;[217] когда заговорил этот старый служака, человек, который никогда не изменял своему слову (в последующих словах маркиза де Норпуа прозвучала глубокая убежденность), когда он заговорил, когда он не побоялся долгим взглядом — взглядом прямо в глаза — довести своего начальника до томления, а затем сказал тоном, не допускающим возражений: «Полно-те, господин подполковник, вы же знаете, что я никогда не лгу, вы же знаете, что и сейчас я, как всегда, говорю правду», — ветер переменился. На следующих заседаниях Пи-кар из кожи вон лез, и все без толку: он потерпел полнейшее фиаско.

---

[217] Примечания: 217

Гриблен, Феликс — сотрудник разведывательной службы французского генерального штаба. На процессе Золя он открыто выступил против подполковника Пикара, усомнившегося в виновности Дрейфуса.

«Нет, он положительно антидрейфусар, это факт, — сказал себе Блок. — Но если он полагает, что Пикар — предатель и лжец, то как же он может верить его разоблачениям и рассказывать о них так, словно они брали его за сердце и он считал, что они правдивы? Если же он уверен, что это честный человек, который говорит по совести, то как же он может сомневаться в его правдивости на очной ставке с Грибленом?»

Быть может, причина, по которой маркиз де Норпуа говорил с Блоком как его единомышленник, состояла в том, что так как он был крайним антидрейфусаром, то, считая, что правительство недостаточно антидрейфусарски настроено, относился к нему не менее враждебно, чем дрейфусары. Быть может, его занимало в политике нечто более важное, находившееся в иной плоскости, откуда дрейфусиада представлялась незначительной, не заслуживающей того, чтобы отвлекать человека, пекущегося о благе отечества, от сложных задач внешней политики. А вернее, его государственный ум охватывал лишь вопросы формы, процедуры, уместности и был так же беспомощен в понимании сути дела, как в философии формальная логика бессильна разрешить вопросы жизни, или же, наконец,

его ум внушал ему, что касаться этих тем небезопасно, и, спокойствия ради, он ограничивался обсуждением моментов второстепенных. Но Блок ошибался, полагая, что если б маркиз де Норпуа был не так осторожен и если б его внимание не приковывала к себе формальная сторона явлений, то он при желании сказал бы ему всю правду о роли Анри, Пикара, дю Пати де Клама,[218] о всех обстоятельствах дела. А в том, что маркиз де Норпуа осведомлен об истинном положении вещей, Блок, естественно, не сомневался. Да и как маркиз де Норпуа мог быть не осведомлен, раз он был знаком с министрами? Блок, конечно, держался того мнения, что люди с ясным умом способны восстановить истину в политике, но в то же время он, как и многие другие, воображал, что истина, неопровержимая и вещественная, хранится в папках президента республики и премьер-министра, а те делятся своим знанием с министрами. Между тем даже если политическая истина отражена в документах, то документы редко когда представляют собою большую ценность, чем рентгеновский снимок, на котором,

[218] Примечания: 218

Дю Пати де Клам, Арман Огюст Фердинанд-Мари Мерсье, маркиз (1853–1916) — начальник Третьего отдела французского генерального штаба, которому в 1894 г. было поручено первое следствие по делу Дрейфуса.

по мнению людей непосвященных, болезнь человека видна вся как на ладони, на самом же деле снимок — это лишь одно из данных, его надо присоединить к множеству других, и лишь на основании совокупности всех этих данных врач делает заключение и ставит диагноз. Вот почему, когда мы пристаем с расспросами к осведомленным людям в надежде, что политическая истина им открыта, она ускользает. Если не выходить за рамки дела Дрейфуса, то и потом, когда произошли такие потрясающие события, как признание Анри и последовавшее за признанием его самоубийство, то министры-дрейфусары сейчас же истолковали их по-своему, а Кавеньяк,[219] и Кюинье[220] которые обнаружили подлог и которые производили дознание, — по-своему; более того, даже министры-дрейфусары одной и той же политической окраски, не только основывавшиеся на одних и тех же документах, но и дававшие им одно и то же объяснение, на роль Анри смотрели с

[219] Примечания: 219

Кавеньяк, Годфруа (1853–1903) — французский политический деятель, депутат от радикальной партии, военный министр в 1898 г., убежденный антидрейфусар.

[220] Примечания: 220

Кюинье, Луи — офицер для поручений при военном министерстве. 13 августа 1898 г. обнаружил, что письмо, из-за которого был осужден Дрейфус, является подделкой, но, несмотря на это, остался яростным антидрейфусаром.

совершенно разных точек зрения: иные считали, что он сообщник Эстергази, другие — что сообщник Эстергази не Анри, а дю Пати де Клам, и, таким образом, сходились в этом пункте со своим противником Кюинье, а со своим единомышленником Рейнаком,[221] оказались на разных полюсах. Блоку удалось выжать из маркиза де Норпуа только то, что если действительно по распоряжению начальника генерального штаба Буадефра было передано секретное сообщение Рошфору[222] то это, конечно, в высшей степени прискорбно.

— В сущности говоря, военный министр должен был бы, по крайней мере — in petto,[223] послать начальника генерального штаба к богам преисподней. На мой взгляд, официальное опровержение тут было бы весьма кстати. Но военный

---

[221] Примечания: 221

Рейнак, Жозеф (1856–1921) — французский политический деятель, адвокат, депутат законодательного собрания, один из наиболее настойчивых сторонников пересмотра дела Дрейфуса, автор семитомной «Истории дела Дрейфуса» (1901–1911). Пруст был с ним лично знаком и состоял в переписке.

[222] Примечания: 222

Рошфор — собственно Виктор Анри маркиз де Рошфор-Люсей (1831–1913), главный редактор ежедневной газеты консервативного толка «Энтрансижан».

[223] Примечания: 223

Мысленно (лат.)

министр говорит об этом чрезвычайно резко inter pocula.[224] Впрочем, поднимать шум вокруг иных тем, если у тебя нет уверенности, что ты в любую минуту сможешь прекратить его, очень опасно.

— Но ведь подлог очевиден, — заметил Блок.

Маркиз де Норпуа ничего ему на это не сказал; он выразил неодобрение по поводу заявлений принца Генриха Орлеанского:[225]

— Помимо всего прочего, они могут нарушить спокойное течение судопроизводства и подстрекнуть крикунов, а это было бы невыгодно для обеих сторон. Разумеется, пресечь антимилитаристские происки необходимо, но и возня, поднятая вокруг этого дела правыми, которые, вместо того чтобы приносить пользу патриотической идее, стремятся воспользоваться ею для своих целей, — эта возня нам тоже не на руку. Франция, слава Богу, не южноамериканская республика, в генеральском пронунсиаменто мы не нуждаемся.

Блоку так и не удалось узнать у маркиза, счи-

---

[224] Примечания: 224
За бокалом вина (лат.)

[225] Примечания: 225
Принц Генрих Филипп Мари Орлеанский (1867–1901) — французский аристократ, правнук Луи-Филиппа. 18 февраля 1898 г., когда Эстергази предстал перед судом, принц Генрих прилюдно выразил ему сочувствие.

тает он Дрейфуса виновным или невиновным и каков, по его мнению, будет приговор по слушавшемуся тогда гражданскому делу. Зато маркиз де Норпуа с видимым удовольствием подробно остановился на последствиях, какие мог иметь приговор.

— Если вынесут обвинительный приговор, то, по всей вероятности, он будет кассирован, — сказал маркиз, — редко бывает так, чтобы в процессе, где давалось столько свидетельских показаний, не нашлось промахов, а промахи дают адвокатам повод для пересмотра. Ну, а что касается выпада принца Генриха Орлеанского, то я сильно сомневаюсь, чтобы он понравился его отцу.

— Вы думаете, что герцог Шартрский[226] за Дрейфуса? — спросила герцогиня; глаза у нее стали круглыми, щеки порозовели, и, смущенно улыбаясь, она склонилась над тарелкой с печеньем.

— Я совсем этого не думаю; я только хотел сказать, что в политике вся эта семья проявляет здравый смысл: он был nec plus ultra,[227] свойствен

---

[226] Примечания: 226

Герцог Шартрский, Робер Филипп Луи Эжен Фердинанд (1840–1910) — французский аристократ, отец принца Орлеанского.

[227] Примечания: 227

В высшей степени (лат.)

очаровательной принцессе Клементине[228] и это драгоценное наследство она оставила своему сыну, князю Фердинанду.[229] Князь Болгарский ни за что не заключил бы майора Эстергази в свои объятия.

— Он предпочел бы простого солдата, — вполголоса сказала герцогиня Германтская — она часто обедала вместе с князем Болгарским у принца Жуанвильского и однажды ответила на его вопрос, не ревнива ли она: «Да, ваше высочество, я ревную к вам ваши браслеты».

— Вы не будете сегодня на балу у де Саган? — чтобы прекратить разговор с Блоком, обратился де Норпуа к маркизе де Вильпаризи.

Блок произвел на посла скорее приятное впечатление, и некоторое время спустя де Норпуа не без наивности, вероятно имея в виду отпечаток неогомерической моды, который лежал на речи Блока и от которого Блок потом избавился, сказал нам: «У него довольно забавная манера выражаться, немного старомодная, немного

---

[228] Примечания: 228

Принцесса Клементина — Клементина Орлеанская (1817–1907), дочь Луи-Филиппа, мать принца Фердинанда.

[229] Примечания: 229

Князь Фердинанд — Фердинанд I Кобургский (1861–1948) с 1887 г. князь Болгарии; в 1908 г. провозгласил себя болгарским царем, через десять лет отрекся от престола.

витиеватая. Я все время ждал, что он заговорит со мной на языке Ламартина или Жан-Батиста Руссо:[230] „О вы…“ У современной молодежи это редко встречается, да и не только у современной — у молодежи предшествующего поколения дело обстояло так же. Это мы были отчасти романтиками». И все же, хотя собеседник, на взгляд де Норпуа, попался ему любопытный, он нашел, что их разговор затянулся.

— Нет, маркиз, я по балам уж больше не разъезжаю, — ответила маркиза с милой улыбкой старушки. — А вы, господа, бываете на балах? Вам это по возрасту, — добавила она, охватывая взглядом де Шательро, своего друга и Блока. — Я тоже получила приглашение, — с шутливо польщенным видом сказала она. — Меня даже приезжали приглашать. («Приезжали» — это значило, что приезжала сама принцесса де Саган.[231])

— У меня нет пригласительного билета, — сказал Блок, полагая, что маркиза де Вильпаризи предложит ему билет и что принцесса де Саган

---

[230] Примечания: 230

Руссо, Жан-Батист (1671–1741) — французский поэт, автор «Од» и «Кантат».

[231] Примечания: 231

Принцесса де Саган, урожденная Жанна-Маргерит Сейер (1839–1905) — французская аристократка, в доме которой устраивались балы, собиравшие «весь Париж».

будет счастлива принять у себя друга женщины, которую она собственной персоной являлась приглашать на бал.

Маркиза ничего ему не ответила, а Блок не настаивал, потому что у него было к ней более важное дело, по поводу которого он только что попросил у нее свидания на послезавтра. Услышав, как два молодых человека говорили между собой о том, что они заявили о своем выходе из клуба на Королевской улице, куда принимали всех подряд, он решил попросить маркизу де Вильпаризи, чтобы она помогла ему стать членом клуба на Королевской.

— А что эти самые Саганы — так, мыльные пузыри, второсортные снобы? — саркастическим тоном спросил Блок.

— Что вы, это лучшее наше изделие в таком вкусе! — возразил перенявший парижскую манеру острить граф д'Аржанкур.

— Значит, — полунасмешливо заключил Блок, — у них будет одно из светских *торжественных заседаний* этого сезона.

Маркиза де Вильпаризи с веселой улыбкой спросила герцогиню:

— Скажи, пожалуйста: бал у де Саган — это большое светское торжество?

— Об этом надо спрашивать не меня, — насмешливо ответила герцогиня, — мне еще не ясно, что такое светское торжество. Да и вообще по части светской жизни я не сильна.

— А я думал — наоборот! — воскликнул Блок — он вообразил, что герцогиня Германтская говорит серьезно.

Блок продолжал, к вящему неудовольствию маркиза де Норпуа, засыпать его вопросами об офицерах, имена которых особенно часто упоминались в связи с делом Дрейфуса; де Норпуа ответил, что, судя по «первому впечатлению», полковник дю Пати де Клам — человек слегка взбалмошный и что, пожалуй, выбор пал на него не совсем удачно, ибо вести следствие — это дело тонкое, требующее огромной выдержки и проницательности.

— Я знаю, что рассвирепевшая социалистическая партия требует его головы и — одновременно — немедленного освобождения изгнанника с Чертова острова. Но, мне кажется, у нас нет необходимости во что бы то ни стало проходить через Кавдинские ущелья господина Жеро-Ришара.[232]

---

[232] Примечания: 232

Жеро-Ришар, Альфред Леон (1860–1911) — французский политический деятель, главный редактор социалистической газеты «Ла Птит Репюблик».

и К°. Дело это до сих пор остается темным — тут сам черт ногу сломит. Я не склонен подозревать ни ту, ни другую сторону в каких-нибудь особенных мерзостях и пакостях, которые им надо было бы тщательно скрывать. Может быть, даже иные более или менее бескорыстные покровители вашего подзащитного преисполнены благих намерений, — я этого не отрицаю, — но вы же знаете, что добрыми намерениями вымощен ад. — Тут маркиз бросил на Блока лукавый взгляд. — Чрезвычайно важно, чтобы правительство дало ясно понять, что «левые» смутьяны им не вертят, но что, с другой стороны, оно не собирается поднимать руки вверх по требованию какой-то преторианской армии, которая, — уверяю вас, — ничего общего с армией не имеет. Само собой разумеется, если всплывет какой-нибудь новый факт, то дело будет пересмотрено. Иначе и быть не может. Требовать этого — значит ломиться в открытую дверь. Тогда правительство заговорит без обиняков, иначе оно выпустит из рук вожжи, а управлять — это и есть основная его прерогатива. Турусами на колесах тогда уже не отделаешься. Придется Дрейфусу дать судей. И трудностей это не представит, ибо хотя в нашей любезной Франции люди так привыкли

клеветать на себя, верить и уверять других, что для того, чтобы постигнуть, что такое правда и справедливость, необходимо переправиться через Ла-Манш, — а это очень часто есть лишь кружной путь к Шпрее, — судьи есть не только в Берлине[233] Но когда правительство начнет действовать, окажете ли вы ему повиновение? Когда оно призовет вас к исполнению вашего гражданского долга, сплотитесь ли вы вокруг него? Не останетесь ли вы глухи к его патриотическому призыву, ответите ли вы ему: «Слушаюсь!»?

Маркиз де Норпуа задавал Блоку эти вопросы с запальчивостью, которая пугала моего товарища, но в то же время льстила ему, оттого что посол словно обращался в его лице к целой партии, допрашивал Блока так, как если бы тот получил от этой партии тайные полномочия и имел право взять на себя ответственность за ее дальнейшие

[233] Примечания: 233

…судьи есть не только в Берлине. — Норпуа намекает на известную сказку в стихах «Беззаботный мельник», принадлежащую перу французского писателя Франсуа Андрье (1759–1833). В основу сказки положена прусская легенда: как-то король Фридрих II решил завладеть мельницей, которая портила вид из королевского дворца Сан-Суси в Потсдаме. Мельник, желая сохранить свое достояние, обратился в берлинский суд, который признал его правоту, доказав тем самым свою независимость от королевской власти. В конце сказки мельник выражает признательность суду, говоря, что в Берлине есть настоящие судьи. Эта история породила расхожее выражение: «В Берлине есть судьи», которое употребляется тогда, когда сила противостоит праву.

действия.

— Если вы не разоружитесь, — продолжал маркиз де Норпуа, не дожидаясь, что ответит за партию Блок, — если, еще до того как просохнут чернила на декрете, который установит процедуру пересмотра, вы по приказу каких-нибудь злоумышленников не разоружитесь, если вы из упрямства по-прежнему будете находиться в бессмысленной оппозиции, которая кое-кому представляется ultima ratio,[234] в политике, если вы разойдетесь по своим шатрам и сожжете свои корабли, то конец вас ожидает погибельный. Кто вы такой: покорный раб бунтовщиков? Вы связаны с ними какими-нибудь обязательствами? — Блок был ошарашен и не нашелся, что возразить. Маркиз де Норпуа не дал ему опомниться. — Если защитники осужденного правы, — а я искренне хочу так думать, — и если у вас есть чуть-чуть того, что, к сожалению, отсутствует, на мой взгляд, у некоторых ваших руководителей и друзей, чуть-чуть политической сметки, то уже в день, когда дело будет передано в уголовную палату, — если вас не собьют с толку

[234] Примечания: 234

Ultima ratio — собственно «ultima ratio regum» («последний аргумент королей») — девиз, который по приказу Ришелье в 1650 г. был выгравирован на пушках королевского флота.

любители ловить рыбку в мутной воде, — ваша возьмет. Я не ручаюсь, что весь генеральный штаб выйдет сухим из воды, — хорошо, если хотя бы кто-нибудь оттуда сохранит свою честь, не заваривая каши и не затевая драки. Впрочем, само собою разумеется, правительство должно стоять на страже закона, число безнаказанных преступлений у нас все растет, и этому тоже обязано положить конец правительство — разумеется, по собственной инициативе, а не под нажимом социалистов и какой-то там солдатни, — быть может, по внушению инстинкта, заставляющего всех консерваторов искать себе опору во враждебном стане, — добавил де Норпуа и пристально посмотрел на Блока. — Кто бы ни пытался оказывать давление на правительство, ему надлежит быть свободным в своих действиях. Оно, слава тебе Господи, не находится под начальством ни полковника Дриана[235] ни представителя противоположного лагеря — господина Клеман-

[235] Примечания: 235

Дриан, Эмиль Огюст Сиприан (1855–1916) — французский офицер и писатель, выступавший под псевдонимом «Капитан Данри», зять генерала Буланже.

со.[236] Необходимо обуздать профессиональных агитаторов, иначе они обнаглеют. Громадное большинство французов хочет трудиться, трудиться в спокойной обстановке! В этом я глубоко убежден. Но не нужно бояться раскрывать глаза обществу, и если бараны, вроде тех, которых так хорошо знал Рабле, начнут очертя голову бросаться в воду,[237] надо вовремя обратить их внимание на то, что вода мутная и что замутили ее умышленно разные выродки, чтобы нельзя было разглядеть подводные камни. И потом, правительству не следует делать вид, что оно не по своей доброй воле берется за дело, не по своей доброй воле пользуется правом, которое ему одному и принадлежит, то есть правом заставить действовать сударыню Юстицию. Правительство внимательно отнесется ко всем вашим требованиям. Если оно убедится, что допущена судебная

---

[236] Примечания: 236

Клемансо, Жорж (1841–1920) — французский политический деятель, депутат Национального собрания (1870–1893), активный сторонник пересмотра дела Дрейфуса.

[237] Примечания: 237

…если бараны, вроде тех, которых так хорошо знал Рабле, начнут очертя голову бросаться в воду… — Имеется в виду эпизод из романа Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (кн. IV, гл. 6–8), в котором рассказывается о том, как Панург, захотев проучить оскорбившего его торговца, купил у него одного барана и бросил его в море. Услышав жалобное блеяние, остальные бараны бросились за ним вслед и утонули.

ошибка, оно заручится поддержкой подавляющего большинства, и это большинство даст ему возможность действовать по своему благоусмотрению.

— А вы, граф, — обратился Блок к д'Аржанкуру, которому его представили вместе с другими гостями, — вы, конечно, дрейфусар? За границей все дрейфусары.

— Это дело касается только французов, не так ли? — отозвался граф д'Аржанкур с той особенной наглостью, которая заключается в приписывании собеседнику мнения, явно им не разделяемого, так как он только что высказал мнение противоположное.

Блок покраснел; граф д'Аржанкур посмотрел вокруг с насмешливой улыбкой, и насмешка эта относилась к Блоку, когда же он в конце концов остановил взгляд на моем приятеле, то улыбался уже мягче — чтобы мой приятель не сердился на его все-таки резкую фразу. Герцогиня Германтская что-то прошептала графу д'Аржанкуру, что именно — я не расслышал, но, должно быть, это имело отношение к вероисповеданию Блока, так как в этот миг по ее лицу скользнуло выражение, которое от страха, как бы не услышал тот, о ком мы говорим, обычно приобретает

оттенок нерешительности и неестественности и в котором любопытство веселое сочетается с недоброжелательным любопытством к разряду людей, глубоко нам чуждых. Чтобы выйти из неловкого положения, Блок обратился к герцогу де Шательро: «Вы — француз, ваша светлость, и вам точно известно, что за границей все дрейфусары, хотя считается, что во Франции ничего не знают о том, что делается за границей. С вами разговаривать можно, — это я слышал от Сен-Лу». Но молодой герцог чувствовал, что все здесь настроены против Блока, к тому же, как и многие другие, он робел в светском обществе, а потому ответил вычурно и язвительно, по-видимому атавистически переняв этот стиль у де Шарлю: «Прошу меня извинить, но спорить с вами о Дрейфусе я не стану, ибо у меня принцип: говорить о таких делах только с потомками Иафета[238]». Все улыбнулись, а Блок — нет, но не потому, чтобы он не имел привычки посмеиваться над своим еврейским происхождением, над тем, что предки его жили неподалеку от горы Синай. Дело в том, что вместо одной из тех фраз, которые он, без

[238] Примечания: 238

Иафет — в Ветхом Завете третий сын Ноя, родоначальник индоевропейских народов. Шарлю называет потомками Иафета только французов, противопоставляя их евреям.

сомнения, не успел припасти, внутренняя пружина выбросила ему на язык нечто совсем иное. И он не нашел ничего лучшего, как спросить: «А откуда вам это известно? Кто вам сказал?» — точно речь шла о том, что он сын каторжника. И в этом его изумлении было даже нечто наивное: ведь он же не мог не знать, что фамилия у него не характерная для христианина, не мог не знать, какой у него тип лица.

То, что сказал маркиз де Норпуа, не вполне удовлетворило Блока, и он подошел к архивариусу и спросил, бывают ли у маркизы дю Пати де Клам и Жозеф Рейнак. Архивариус ничего ему не ответил; он был националист и все время внушал маркизе, что скоро вспыхнет гражданская война и что маркизе надо быть осторожнее в выборе знакомых. У него явилось подозрение: уж не эмиссар ли Блок, подосланный синдикатом, чтобы все выведать, и он подошел к маркизе де Вильпаризи и рассказал, о чем его спрашивал Блок. Маркиза нашла, что Блок прежде всего дурно воспитан и что он может навредить де Норпуа. Кроме того, ей хотелось доставить удовольствие архивариусу, единственному человеку, которого она побаивалась и который ее наставлял — без особого, впрочем, успеха (по утрам он читал ей в

«Пти журналь[239]» статьи Жюде[240]). Вот почему она решила дать Блоку понять, чтобы он больше к ней не приходил, и очень легко отыскала в своем светском репертуаре сцену, изображающую важную даму, которая выпроваживает гостя, — сцену, вопреки тому, как ее обычно себе представляют, отнюдь не непременно требующую пальца, который показывал бы на дверь, и сверкающих глаз. Когда Блок подошел к ней попрощаться, у нее, утонувшей в большом кресле, был такой вид, словно она еще не вполне осилила легкую дремоту. Затуманенные ее глаза блестели слабым, прелестным блеском жемчужин. Своим прощанием Блок вызвал на лицо маркизы томную улыбку, но не исторг из ее уст ни единого слова, и руки она ему не протянула. Эта сцена привела Блока в крайнее изумление, но так как свидетелей вокруг было много, то затягивать ее он счел невыгодным для себя и, чтобы расшевелить маркизу, сам протянул ей руку. Этим он ее озадачил. Но, все еще стремясь как можно скорее

[239] Примечания: 239

«Пти журналь» — парижская ежедневная газета, тираж которой во времена дела Дрейфуса достигал миллиона экземпляров.

[240] Примечания: 240

Жюде, Эрнест (1851–1943) — французский журналист консервативного направления, чьи статьи в «Пти журналь» отличались резким антидрейфусарским и националистическим характером.

ублаготворить архивариуса и всю компанию антидрейфусаров и оградить себя на будущее время от приходов Блока, она полузакрыла глаза.

— Должно быть, спит, — сказал Блок архивариусу, а тот, чувствуя поддержку маркизы, придал своему лицу негодующее выражение. — До свидания, сударыня! — крикнул Блок.

Маркиза чуть пошевелила губами, словно умирающая, которая силится что-то сказать, но никого не узнает. И тут же, в приливе новой жизни, повернулась к д'Аржанкуру, а в это время Блок уходил в полной уверенности, что у маркизы «разжижение мозгов». Движимый любопытством и желанием уяснить себе, что бы все-таки это значило, он несколько дней спустя опять пришел к ней. Она приняла его очень радушно — потому, что она была женщина добрая, потому, что архивариуса не было, потому, что ей очень хотелось, чтобы Блок поставил у нее пьеску, и, наконец, потому, что она хорошо сыграла роль важной дамы, на каковое звание она претендовала, сыграла так, что всех привела в восторг и в тот же вечер вызвала толки в разных салонах, вот только объяснение, которое давалось этому происшествию, не соответствовало истине.

— Вы говорили о «Семи принцессах», герцо-

гиня; знаете (хотя гордиться мне тут особенно нечем), ведь автор этого… как бы его назвать?.. пасквиля — мой соотечественник, — сказал граф д'Аржанкур с насмешливым, но и с довольным видом — довольным оттого, что он лучше всех остальных знает автора того произведения, о котором здесь только что говорилось. — Да, он бельгиец по национальности, — добавил граф.

— Вот как? Но ведь вы же не имеете никакого отношения к «Семи принцессам». К счастью для вас и для ваших соотечественников, вы непохожи на автора этой белиберды. Я знаю очень милых бельгийцев — вас, вашего короля, — он застенчив, но остроумен, — моих родственников Линь и многих других, но, к счастью, вы не говорите языком автора «Семи принцесс». Если вам угодно знать мое мнение, то, по-моему, тут даже и говорить-то не о чем. Подобного рода писатели напускают туману и не боятся выставить себя в смешном виде, лишь бы не было заметно отсутствие мыслей. Если бы за всем этим действительно что-то скрывалось, я готова была бы простить автору некоторые его дерзания, — серьезно проговорила герцогиня, — простила бы за мысль. Вы видели пьесу Борелли? Некоторых она покоробила, а меня можете побить камня-

ми, — продолжала герцогиня, не думая, что эта опасность ей не грозит, — я все-таки буду утверждать, что это необычайно любопытно. Но «Семь принцесс»! Одна из них тщетно осыпает милостями моего племянника, но у меня не настолько развиты родственные чувства, чтобы…

Герцогиня прервала себя на полуслове, так как вошла виконтесса де Марсант, мать Робера. Сен-Жерменское предместье считало ее существом идеальным, ангельской доброты и кротости. Я об этом слышал давно, и до времени меня это не удивляло, пока я не узнал, что она родная сестра герцога Германтского. Потом я всякий раз приходил в изумление, сталкиваясь с тем, что в этом обществе мечтательные, чистые, жертвовавшие собой, чтимые, как безгрешные святые на витражах, женщины цвели на одном родословном дереве с их братьями — грубиянами, развратниками и подлецами. Мне казалось, что если брат и сестра так похожи лицом, как герцог Германтский и виконтесса де Марсант, то у обоих должен быть такой же ум и такое же сердце, словно это один человек, который может проявлять себя и с хорошей, и с дурной стороны, но от которого все-таки нельзя ожидать широты взгляда, если у него ограниченный ум, и великодушного самоот-

речения, если у него черствое сердце.

Виконтесса де Марсант слушала лекции Брюнетьера.[241] Она приводила в восторг Сен-Жерменское предместье, ее святая жизнь служила для него примером. А черты семейного сходства — красивый нос и проницательный ум — свидетельствовали как будто бы о том, что виконтесса де Марсант относится к интеллектуальному и нравственному типу людей, к которому принадлежит ее брат-герцог. Мне не верилось, чтобы только потому, что это женщина, хотя бы и много выстрадавшая, заслужившая всеобщее уважение, она должна резко отличаться от своих родных, как во французских героических поэмах, где воплощение всех добродетелей и всех прелестей являет собою сестра извергов-братьев. Мне казалось, что природа, менее свободная, чем поэты былых времен, вынуждена пользоваться преимущественно чертами, общими для всей семьи, я не представлял ее себе всемогущей, способной из материала, однородного с тем, из которого делаются дурак и мужлан, сотворить великий ум

[241] Примечания: 241

Брюнетьер, Фердинанд (1849–1906) — выдающийся французский литературовед, преподаватель «Эколь Нормаль», профессор Сорбонны и главный редактор влиятельного и старейшего французского литературного журнала «Ревю де Де Монд», академик. Пруст очень высоко ценил его творчество.

без примеси глупости или же святую без капли грубости. На виконтессе де Марсант было белое шелковое платье с аппликацией, на которой выделялись большие черные цветы. Три недели назад умер ее родственник, герцог де Монморанси, что не мешало ей делать визиты, ходить на скромные вечера, но — в трауре. Это была знатная дама. Вследствие атавизма ее душа была наполнена суетностью придворной жизни со всем, что в ней есть неглубокого и строго определенного. Виконтесса де Марсант недолго оплакивала своих родителей, но она ни за что на свете не надела бы яркого платья, пока не прошло месяца после кончины какого-нибудь ее родственника. Она была со мной в высшей степени любезна, потому что я был другом Робера и потому что я не принадлежал к его кругу. Приветливость сочеталась у нее с притворной робостью, по временам она удерживала свой взгляд, голос, мысль — так женщины подбирают бесцеремонную юбку, чтобы не занимать много места, чтобы держаться прямо, не теряя гибкости, как того требует благовоспитанность. Впрочем, «благовоспитанность» следует понимать широко, потому что некоторые из светских дам очень скоро погружаются в разврат, не теряя, однако, почти детской без-

укоризненности манер. Виконтесса де Марсант слегка раздражала во время беседы с ней, потому что, когда речь шла о каком-нибудь разночинце, например о Берготе или об Эльстире, она выделяла слова, подчеркивая их, произнося нараспев в двух тональностях, модулируя, как все Германты: «Я имела *че-ест*ь, великую че-естъ встретить господина Бергота, познакомиться с господином Эльстиром», модулируя неизвестно зачем: чтобы пленить собеседника своей скромностью или из той же любви, что и у герцога Германтского, к некогда принятому и отжившему, в знак протеста против нынешней невоспитанности, ибо ведь недаром же люди в наше время жалуются, что их недостаточно «почитают». Как бы то ни было, когда виконтесса де Марсант выпевала: «Я имела *че-ест*ь, великую че-естъ», чувствовалось, что она играет важную, как ей представляется, роль, что она показывает свое умение принимать имена известных людей так же, как она приняла бы их самих у себя в замке, если б они оказались поблизости. И вот еще чем отличалась виконтесса де Марсант: у нее было много родни, она очень ее любила, всем и каждому объясняла степени родства, растягивая слова и охотно вдаваясь в подробности, беспрестанно (при этом

она не испытывала ни малейшего желания хвастаться, она по-настоящему любила говорить о том, как трогательны крестьяне, и о благородстве лесников) перечисляла медиатизированные[242] владетельные роды Европы, а этого люди, занимавшие не такое блестящее положение, ей не прощали, и если они были мало-мальски развиты, то смеялись над ее пристрастием, считая, что это просто глупо.

В деревне виконтессу де Марсант обожали за добро, которое она делала, а главное, вот за что: в жилах у нее текла чистая кровь доблестнейших родов Франции, сливавшаяся на протяжении столетий, и благодаря этому казалось, что она не «ломается», как любит выражаться простой народ, она держала себя с ним удивительно просто. Ей было не противно поцеловать бедную, горемычную женщину, она звала ее к себе в замок и приказывала наложить ей воз дров. О виконтессе говорили, что она истинная христианка. Она мечтала найти для Робера сказочно богатую невесту. Быть знатной дамой — значит играть знатную даму, то есть отчасти играть в простоту.

---

[242] Примечания: 242

…медиатизированные… — Медиатизация — превращение непосредственного вассала германского императора в вассала другого князя, подвластного императору.

Эта игра стоит безумно дорого, тем более что простота восхищает, только если другие знают, что вы могли бы и не быть просты, то есть если вы очень богаты. Когда я потом сказал, что видел виконтессу, меня спросили: «Ведь правда же, она очаровательна?» Однако настоящая красота своеобразна, необыкновенна, и поэтому нам кажется, что это не красота. В день встречи с виконтессой я отметил только, что у нее очень маленький нос, ярко-голубые глаза, длинная шея и печальное выражение лица.

— Послушай, — сказала герцогине Германтской маркиза де Вильпаризи, — ко мне сейчас должна прийти женщина, с которой ты не хочешь знакомиться; считаю своим долгом предупредить, а то, может, тебе будет неприятно ее видеть. Можешь быть спокойна: больше я ее к себе не позову, но сегодня я вынуждена была ее пригласить. Это жена Свана.

Госпожа Сван, видя, что страсти вокруг дела Дрейфуса разгораются, и боясь, как бы национальность мужа ей не повредила, взяла с него слово нигде не говорить о том, что осудили невинного человека. В отсутствие Свана она, не стесняясь, проповедовала самый ярый национализм: тут она брала пример с г-жи Вердюрен, у которой

вдруг прорвался сидевший в ней мещанский антисемитизм и хлынул бурным потоком. Г-жа Сван так себя повела, что ей удалось вступить в антисемитские женские союзы, которые начали тогда создаваться, и завязать отношения с аристократками. Может показаться странным, что герцогиня Германтская не только не подражала этим дамам, но, будучи близкой приятельницей Свана, решительно уклонялась от знакомства с г-жой Сван, несмотря на то, что он неоднократно выражал желание представить ей свою жену. Но из дальнейшего будет явствовать, что дело тут заключалось в свойствах характера герцогини, считавшей, что ей «не должно» делать того-то и того-то, и деспотически проявлявшей свою великосветскую «свободную волю», весьма своевольную.

— Спасибо, что предупредили, — ответила герцогиня. — Мне, правда, это было бы очень неприятно. Но я знаю ее в лицо и вовремя удалюсь.

— Она очень мила, поверь мне, Ориана, она чудная женщина, — заметила виконтесса де Марсант.

— Да я не сомневаюсь, но у меня нет ни малейшей охоты убеждаться в этом воочию.

— Ты получила приглашение к леди Израэльс? — чтобы переменить разговор, спросила герцогиню маркиза де Вильпаризи.

— Я, слава Богу, с ней незнакома, — ответила герцогиня Германтская. — Об этом надо спросить Мари-Энар. Она с ней поддерживает знакомство, вот только я никогда не могла понять — зачем.

— Да, правда, я была с ней знакома, — сказала виконтесса де Марсант, — признаю свои ошибки. Но я решила порвать с ней всякие отношения. Как видно, она из самых худших и не считает нужным это скрывать. Ну да ведь и мы хороши: мы были чересчур доверчивы, чересчур гостеприимны. Я перестану бывать у всей этой нации. Мы не пускали к себе нашу старинную родню из провинции, родных нам по крови, и в то же время принимали евреев. Вот они а нас и отблагодарили. Увы! Мне возразить нечего, мой нежно любимый сын совсем с ума сошел, что значит молодость: Бог знает какую ахинею несет, — сказала она, услыхав, что граф д'Аржанкур намекает на Робера. — Да, кстати о Робере, вы его не видели? — спросила она маркизу де Вильпаризи. — Сегодня суббота, значит, он может пробыть сутки в Париже и тогда, конечно, побывает у вас.

На самом деле виконтесса де Марсант думала,

что ее сын не получит отпуска, и уж, во всяком случае, была убеждена, что если даже он и приедет, то не заглянет к маркизе де Вильпаризи, и она нарочно притворилась, что надеется встретиться с ним здесь, — притворилась с целью умилостивить обидчивую тетку, сердившуюся на племянника за то, что он давненько у нее не был.

— Робер здесь? А я ничего о нем не знаю; после Бальбека мы, должно быть, с ним ни разу не виделись.

— Он так занят, у него столько дел! — сказала виконтесса де Марсант.

Едва уловимая усмешка скользнула по ресницам герцогини Германтской, смотревшей на круг, который она чертила на ковре зонтиком. Всякий раз, когда герцог слишком открыто изменял жене, виконтесса де Марсант громко заявляла о том, что она сочувствует невестке. Невестка хранила о нравственной поддержке со стороны виконтессы благодарное и недоброе воспоминание, а что касается проказ Робера, то они не очень ее огорчали. В эту минуту дверь отворилась и вошел Робер.

— А, про волка речь, а волк!.. — воскликнула герцогиня Германтская.

Виконтесса де Марсант сидела спиной к двери и сразу не заметила, что вошел ее сын. Когда же любящая мать увидела его, радость точно крыльями забила в ней, стан ее выпрямился, лицо оживилось, восхищенный взгляд устремился к нему:

— Ах, это ты? Какое счастье! Какой сюрприз!

– *Про волка речь, а волк*... А, понимаю: он же — Сен-Лу, «Святой Волк»! — сказал бельгийский дипломат и раскатисто захохотал.

— Прелестно, — сухо заметила герцогиня; она терпеть не могла каламбуров и если каламбурила, то как бы в насмешку над самой собой. — Здравствуй, Робер! — сказала она. — Нехорошо забывать тетку!

Они обменялись несколькими словами, должно быть, относившимися ко мне, потому что, когда Сен-Лу направился было к матери, герцогиня Германтская повернулась ко мне лицом.

— Здравствуйте! Как вы поживаете? — спросила она. Она брызнула на меня светом своих голубых глаз, после некоторого колебания разогнула и подала мне стебель своей руки, потянулась всем корпусом, потом сейчас же откинулась, точно куст, который сначала пригнули, а потом отпустили, и он принял обычное свое положение.

Находилась она в это время под огнем взглядов Сен-Лу, — тот наблюдал за ней и на расстоянии делал отчаянные усилия, чтобы добиться от нее чуть-чуть больше знаков расположения ко мне. Боясь, что разговор между нами не завяжется, Робер, приблизившись к нам, поддержал его и ответил за меня:

— Он неважно себя чувствует, он устал; может быть, однако, он почувствовал бы себя лучше, если б чаще тебя видел, — не скрою, что это доставляет ему большое удовольствие.

— Ах, как мило! — нарочито небрежным тоном проговорила герцогиня Германтская, точно я ей подал пальто. — Мне это очень приятно.

— Я сейчас пойду к маме, а ты садись на мое место, — сказал Сен-Лу, вынуждая меня таким образом сесть рядом с его теткой.

Мы помолчали.

— Я иногда вижу вас по утрам, — сказала герцогиня с таким видом, как будто сообщала мне новость и как будто я ее по утрам не видел. — Эти прогулки очень полезны для здоровья.

— Ориана! — вполголоса сказала виконтесса де Марсант. — Вы говорили, что собираетесь к госпоже де Сен-Фереоль. Будьте добры, скажите ей, чтобы она не ждала меня к ужину, я побуду дома с

Робером. И еще попрошу вас об одном одолжении: когда будете уходить, скажите, чтобы купили сигар, которые любит Робер, называются они «Корона», я вам буду бесконечно признательна.

Робер, подходя к виконтессе, расслышал только фамилию г-жи де Сен-Фереоль.

— Что это еще за госпожа де Сен-Фереоль? — спросил он удивленно и пренебрежительно: он притворялся, что далек от высшего общества.

— Да что ты, мой милый, ты же ее прекрасно знаешь, — сказала виконтесса де Марсант, — она сестра Вермандуа; это она подарила тебе хорошенький игрушечный бильярдик — ты его очень любил.

— Ах вот как, сестра Вермандуа? Понятия не имел. Моя маменька — это что-то потрясающее! — воскликнул Робер, полуобернувшись ко мне и бессознательно подражая интонациям Блока, подобно тому как он заимствовал его мысли. — Она знает людей, о которых никто никогда не слыхал, каких-то Сен-Фереоль (упирая на согласную в каждом слоге): бывает на балах, разъезжает в колясках, ведет умопомрачительный образ жизни. Изумительно!

Герцогиня Германтская издала горловой, хотя и сильный, но отрывистый, мгновенный звук,

похожий на неестественный приглушенный смешок: то был знак одобрения шуткам племянника, но одобрения, выражаемого лишь по долгу родства. Доложили, что князь фон Фаффенгейм-Мюнстербург-Вейнинген просит передать маркизу де Норпуа, что он пришел.

— Попросите его сюда, — сказала бывшему послу маркиза де Вильпаризи, и тот пошел было за германским премьер-министром.

Но маркиза остановила его:

— Подождите! Показать ему миниатюрный портрет императрицы Шарлотты?[243]

— О, я думаю, он будет в восторге! — взволнованно ответил посол, как бы завидуя милости, ожидавшей счастливца министра.

— А, я знаю, это человек вполне *благонамеренный*, — сказала виконтесса де Марсант, — а среди иностранцев такие люди встречаются редко. Но у меня точные сведения. Это воплощение антисемитизма. Имя князя в той смелости, с какой были, — как говорят музыканты, — взяты первые

---

[243] Примечания: 243

Императрица Шарлотта — Шарлотта Кобургская (1840–1927), супруга эрцгерцога Максимилиана, брата австрийского императора Франца-Иосифа. В 1863 г. Наполеон III даровал Максимилиану корону Мексики, однако европейскому монарху не удалось утвердить свою власть в американской стране: в ходе народных волнений он был пленен и в 1867 г. расстрелян. Императрица сошла с ума.

его слоги, и в заикании повторявшего их сохраняло пыл, деланную наивность, тяжеловесные германские «тонкости», зеленоватыми ветвями раскинувшиеся над темно-голубой эмалью «гейма», от которого веяло мистичностью витража прирейнской церкви, за тусклой позолотой резьбы германского XVIII века. В это имя наряду с другими именами, из которых оно образовано, входило название немецкого курортного городка, — там я был с бабушкой маленьким мальчиком, — расположенного у подножия горы, прославившейся тем, что по ней гулял Гёте, и сортами винограда, из коего делаются знаменитые вина, которые мы пили в этом кургофе, — вина с составными громозвучными названиями вроде тех эпитетов, какие дает своим героям Гомер. Вот почему, стоило мне услышать имя князя — и, раньше чем мне вспомнился курорт, имя это уменьшилось, очеловечилось, уголок в моей памяти, в который оно вросло, показался ему сейчас достаточно просторным, и все оно вдруг стало для меня родным, обычным, живописным, вкусным, легким, чем-то дозволенным, прописанным. Более того: как только герцог Германтский, поясняя, кто этот князь, перечислил некоторые его титулы, в моей памяти мгновенно

воскресло название деревни, пересекавшейся речкой, по которой я каждый вечер по окончании процедур скользил в лодке сквозь тучи мошкары; а еще — название леса, куда доктор запретил мне ходить гулять, потому что до него было далеко. И тут не было ничего удивительного: сюзеренитет сеньора, распространявшийся на окрестности, вновь объединил в перечне его титулов названия, которые на карте обозначены рядом. Так под забралом князя Священной Римской империи,[244] и шталмейстера[245] Франконского[246] мне открылся лик любимой земли, на которой часто останавливались для меня лучи шестичасового солнца, — во всяком случае, он был мне открыт, пока не вошел сам князь, рейнграф[247] и курфюрст[248] Пфальцский. А тогда я очень скоро

---

[244] Примечания: 244

Священная Римская империя — так называлась начиная с XV века Германская империя, основанная в 962 г. Отгоном I Великим и распавшаяся в 1806 г.

[245] Примечания: 245

Шталмейстер — придворный чин в некоторых монархических государствах.

[246] Примечания: 246

Франкония — древнегерманское государство, простиравшееся по берегам Рейна, Майна и Неккара.

[247] Примечания: 247

Рейнграф — титул некоторых графских фамилий, имевших владения по берегам Рейна.

[248] Примечания: 248

Курфюрст — в Священной Римской империи князь, имевший право участвовать в выборах императора.

узнал, что доходы с леса и реки, населенных гномами и ундинами, с волшебной горы, на которой возвышается старинный Burg, помнящий Лютера и Людовика Немецкого[249] князь тратит на пять автомобилей «шарон», на содержание двух домов, в Париже и в Лондоне, на ложу в Опере, где он бывает по понедельникам, и на ложу у «Французов», где он бывает по вторникам. При взгляде на него я не подумал, — да, должно быть, и он этого о себе не думал, — что он чем-то отличается от таких же богачей такого же возраста, как он сам, но только менее поэтичного происхождения. Он был человек той же культуры, у него были общие с ними идеалы, он ценил не свое положение, а те преимущества, какие оно ему доставляло, и у него было одно-единственное честолюбивое желание: чтобы его избрали в члены-корреспонденты Академии моральных и политических наук, ради чего он и приехал к маркизе де Вильпаризи. Князь, жена которого возглавляла самый тесный кружок во всем Берлине, старался проникнуть к маркизе не потому, чтобы он жаждал бывать в ее доме. Из тщеславных побуждений он уже несколько лет стремился попасть в Институт,

[249] Примечания: 249

Людовик Немецкий (804–876) — король западных франков (817–843), затем король Германии (843–876).

но, к своему несчастью, никак не мог набрать более пяти академиков, которые выразили бы готовность проголосовать за него. Он знал, что у маркиза де Норпуа был не один, а, по крайней мере, десять голосов, и к ним он, предприняв некоторые шаги, мог бы прибавить еще несколько. Познакомившись с маркизом в России, где они оба были послами, князь навещал его в Париже и всячески умасливал. Но напрасно князь оказывал маркизу услуги, выхлопатывал для него русские ордена, ссылался на него в статьях по вопросам иностранной политики, — он имел дело с неблагодарным, с человеком, который все эти любезности, очевидно, ни во что не ставил, ибо он не ударил для него палец о палец, даже не обещал ему своего голоса! Разумеется, маркиз де Норпуа был с ним в высшей степени обходителен, даже, не желая причинять ему лишних беспокойств, «сам потрудился переступить через его гостеприимный порог», а когда тевтонский рыцарь бросил фразу: «Мне бы очень хотелось быть вашим коллегой», он прочувствованно отозвался: «О, я был бы так счастлив!» Конечно, какой-нибудь простак вроде доктора Котара подумал бы: «Ну вот, он сидит у меня, он выразил настойчивое желание приехать ко мне, так как

полагает, что я более значительное лицо, чем он, говорит, что будет счастлив, если я пройду в академики, — отвечает же он за свои слова, черт возьми, — и, понятно, он не пообещал проголосовать за меня просто потому, что он об этом не подумал. Говорит, что я пользуюсь большим авторитетом, — должно быть, уверен, что ко мне все с неба валится, что за меня будет столько голосов, сколько я хочу, и только потому не предлагает мне своего голоса, но как только я припру его к стене и скажу с глазу на глаз: „Вот о чем я хотел вас попросить: проголосуйте за меня“, он непременно проголосует». Но князь фон Фаффенгейм простаком не был; он был, как сказал бы доктор Котар, «тонким дипломатом», и он знал, что маркиз де Норпуа дипломат не менее тонкий, прекрасно понимающий, что, проголосовав за кандидата, он его обрадует. Будучи послом в разных странах, а потом — министром иностранных дел, князь в интересах своего государства, равно как теперь в своих собственных, вел разговоры, зная заранее, что вот это можно сказать, а уж вот это никакими силами из него не вытянут. Ему было небезызвестно, что на языке дипломатии беседовать — значит предлагать. И он выхлопотал маркизу де Норпуа андреевскую ленту. Но

если бы ему пришлось дать отчет своему правительству о беседе, которая потом состоялась у него с маркизом де Норпуа, он мог бы подвести ей итог в телеграмме: «Я понял, что избрал неверный путь». Дело в том, что, как только он снова заговорил с маркизом де Норпуа об Институте, маркиз повторил ему то, что говорил прежде:

— Я был бы очень, очень рад за моих коллег. Я уверен, что они глубоко тронуты тем, что вы о них подумали. Ваша кандидатура представляет для Академии большую ценность, но это несколько необычная кандидатура. Академия, знаете ли, ужасная рутинерка, она боится всего, что звучит хоть чуть-чуть по-новому. Я этого не одобряю. Я много раз высказывал свое неодобрение моим коллегам. Как-то раз у меня, кажется, — прости, Господи, мое согрешение, — даже чуть ли не сорвалось слово «заплесневелые», — сказал маркиз со смущенной улыбкой, вполголоса, почти a parte, словно на сцене, и его голубые глаза украдкой пробежали по князю — так старый актер проверяет, произвел ли он впечатление. — Понимаете, князь: мне бы не хотелось вовлекать такого замечательного человека, как вы, в дело заведомо проигрышное. Лучше подождать, пока мои коллеги откажутся от своих отсталых взглядов. Но,

конечно, можете быть уверены, что, чуть только повеет чем-нибудь новым, мало-мальски живым в этой коллегии, которая, того и гляди, превратится в некрополь, чуть только я уверюсь, что у вас есть шансы, я вам сейчас же об этом скажу.

«Андреевская лента — ошибка, — подумал князь, — переговоры не продвинулись ни на шаг; он хотел чего-то другого. Я не на ту кнопку нажал».

Это была обычная для маркиза де Норпуа, прошедшего ту же школу, что и князь, манера выражаться. Глупое в своем педантизме благоговение, с каким разные Норпуа относились к официальному, почти утратившему смысл языку, может показаться смешным. Но в их ребячестве есть и серьезная сторона: дипломаты знают, что в соотношении сил, поддерживающем европейское, да и всякое равновесие, именуемое миром, добрые чувства, красивые речи, мольбы весят очень немного, а что настоящий, ощутимый, все определяющий вес заключается совсем в другом — в возможности противника, если он достаточно силен, исполнить чье-нибудь желание путем обмена. С такого рода истинами, непостижимыми для людей совершенно бескорыстных, вроде моей бабушки, маркизу де Норпуа и князю

приходилось сталкиваться часто. Исполняя обязанности нашего посла в таких странах, от войны с которыми мы бывали на волосок, маркиз де Норпуа, с тревогой следивший за тем оборотом, какой вот-вот должны были принять события, отлично знал, что этот оборот станет для него ясен не из слова «мир» и не из слова «война», а как будто бы из самого простого, грозного или благоприятного; что дипломат мгновенно его расшифрует и ответит на него, чтобы не уронить достоинство Франции, другим словом, таким же простым, а что министр враждебного Франции государства тотчас прочтет в нем: война. И даже, по старинному обычаю, вроде обычая мещанских семей устраивать первое свидание жениха и невесты на спектакле в театре «Жимназ[250]», — якобы они встретились случайно, — диалог, во время которого судьба продиктует слово «война» или же слово «мир», чаще всего ведется не в кабинете министра, а на скамейке в каком-нибудь «кургартене», куда министр и маркиз де Норпуа ходили к целебному источнику выпить по стаканчику минеральной воды. Как бы по молчаливому уговору, они встречались в час процедур

[250] Примечания: 250

«Жимназ» — парижский театр, с момента своего открытия в 1820 г. специализировавшийся на постановке комедий.

и сперва прогуливались вдвоем, причем и тот и другой знали, что прогулка эта, несмотря на всю ее кажущуюся безобидность, не менее трагична, чем приказ о мобилизации. Так вот, и в личном деле, в деле выдвижения своей кандидатуры в Институт, князь пользовался той же системой индукции, которую он выработал в течение своей дипломатической карьеры, тем же способом чтения сквозь символы, наложенные один на другой.

Конечно, не только моя бабушка и еще несколько человек, на нее похожих, ничего не смыслили в этих сложных расчетах. Половина человечества, избравшая род занятий, в котором все расписано заранее, так же невежественна, как моя бабушка, с той разницей, что у бабушки это невежество являлось следствием ее полнейшего бескорыстия. Нужно снизойти до людей, живущих на содержании, мужчин или женщин, и тогда станет ясно, что ими — в самых, казалось бы, невинных их поступках и словах — движет корысть, жизненная необходимость. Любой мужчина знает, что если он слышит от женщины, которой он хочет дать денег: «Не будем говорить о деньгах», то к ее словам надо отнестись, как в музыке относятся к затакту, а что если она ему потом заявит: «Ты

меня измучил, ты мне все время лгал, я так не могу», он должен это понять следующим образом: «Другой предлагает ей больше». И ведь к этому языку — языку кокоток — прибегают и светские дамы. Еще более поразительные примеры можно обнаружить в речи апашей. Но мир апашей — мир, неведомый маркизу де Норпуа и немецкому князю, дипломаты привыкли жить в той же плоскости, что и народы, а народы, несмотря на свою многочисленность, тоже эгоистичны и хитры, их укрощают или силой, или соблюдая их интересы и тем самым толкая их даже на убийство, убийство тоже в большинстве случаев символическое, ибо всего-навсего колебание, не говоря уже об отказе идти в бой, может означать для народа гибель. Но так как обо всем этом не говорится ни в желтых, ни в каких-либо других книгах, то народ предпочитает быть миролюбивым; если же он и бывает воинственным, то инстинктивно, потому что в нем пробуждаются ненависть, злоба, а не из-за того, к чему придирались главы государств, которых осведомляли Норпуа.

Всю следующую зиму князь прохворал; в общем он оправился, но сердечная болезнь у него не прошла. «Черт побери! — сказал он себе. — Что же я мешкаю с Институтом? Ведь если это затянется,

я умру раньше, чем меня выберут. А это было бы очень неприятно».

Он написал для «Ревю де Де Монд» статью о политике последнего двадцатилетия и несколько раз в самых лестных выражениях отозвался в ней о маркизе де Норпуа. Маркиз побывал у князя и поблагодарил его. Он сказал, что не находит слов, чтобы выразить ему свою признательность. Князь сказал себе, как сказал бы человек, снова не угадавший, на какую кнопку надо было нажать: «Нет, опять не на ту», а так как, когда он пошел провожать маркиза де Норпуа, его начала мучить одышка, то он подумал: «Дьявольщина! Эти голубчики сначала отправят меня на тот свет, а потом уже выберут. А ну, скорей за дело!»

В тот же вечер он встретил маркиза де Норпуа в Опере.

— Дорогой посол! — сказал он. — Утром вы говорили, что не знаете, как отблагодарить меня; это слишком сильно сказано, — вы же мне ничем не обязаны, — но я разрешаю себе некоторую неделикатность и ловлю вас на слове.

Маркиз де Норпуа ценил такт князя не меньше, чем князь ценил его такт. Он тут же смекнул, что князь фон Фаффенгейм намерен обратиться к нему не с просьбой, а с предложением, и по-

чел своим долгом выслушать его с приветливой улыбкой.

— Да, сейчас вы удостоверитесь, до чего я нескромен. Я очень привязан к двум женщинам, но привязан по-разному, — это вы сейчас поймете, — и обе они недавно переехали в Париж и намерены здесь обосноваться: одна из них — моя жена, а другая — великая герцогиня Иоанна. Они хотят дать несколько обедов в честь английского короля и королевы, и заветная их мечта — представить своим гостям особу, к которой они, не будучи с ней знакомы, питают глубочайшее уважение. Признаюсь, я пребывал в нерешимости: как исполнить их желание? И вдруг только что совершенно случайно узнаю, что вы с ней знакомы; мне известно, что она ведет замкнутую жизнь, принимает немногих, happy few,[251] но ведь вы так хорошо ко мне относитесь, и если вы мне поможете, то я уверен, что она позволит вам пригласить меня к ней, чтобы я передал ей просьбу герцогини и княгини. Может быть, все-таки она согласится быть на обеде в честь английской королевы, и кто знает: не доставим ли мы ей хотя бы маленькое удовольствие, если предложим

[251] Примечания: 251
Немногих счастливцев (англ.)

провести с нами пасхальные каникулы в Больe у великой герцогини Иоанны? Зовут эту особу маркиза де Вильпаризи. Признаюсь, надежда стать завсегдатаем этого центра духовной жизни утешила бы меня, вознаградила за отказ поддержать мою кандидатуру в Институт. Ведь тот, кто принят у нее в доме, тоже вступает в общение со светочами ума, принимает участие в изящных беседах.

С величайшей радостью князь почувствовал, что на сей раз нажал нужную кнопку и что кнопка подалась.

— А почему вы думаете, дорогой князь, что одно исключает другое? — спросил маркиз де Норпуа. — Салон, о котором вы говорите, и Институт превосходно сочетаются друг с другом: салон — это настоящий питомник академиков. Я передам вашу просьбу маркизе де Вильпаризи — она, конечно, будет польщена. Вот насчет обеда у вас — это, пожалуй, труднее. Она выезжает редко. Я вас представлю, а уж вы сами постарайтесь. Главное, не отказывайтесь от Академии; ровно через две недели я завтракаю у Леруа-Больe, без которого ни одни выборы не обходятся, а потом мы с ним отправимся на важное заседание; я уже говорил с ним о вас — ваше имя ему, разумеется,

известно. У него были возражения. Но теперь, оказывается, ему нужна поддержка моей группы на ближайших выборах, и я поговорю с ним еще раз; я ему скажу с полной откровенностью, какие у нас с вами добрые отношения, я от него не утаю, что если вы выставите свою кандидатуру, то я попрошу за вас всех моих друзей (князь облегченно вздохнул), а что у меня есть друзья — это он знает. Если я смогу рассчитывать на его содействие, значит, шансы у вас будут благоприятные. В тот день приезжайте в шесть часов к маркизе де Вильпаризи — я вас к ней проведу и расскажу вам о моем утреннем разговоре.

Вот почему князь фон Фаффенгейм пришел с визитом к маркизе де Вильпаризи. Когда он заговорил, я был глубоко разочарован. Отдельные и общие черты эпохи ярче выражаются, нежели черты национальные, — так, например, в иллюстрированном словаре, где дается чуть что не подлинный портрет Минервы, Лейбниц,[252] в парике и брыжах мало чем отличается от Мари-

[252] Примечания: 252

Лейбниц, Готфрид-Вильгельм (1646–1716) — немецкий философ и математик, автор книги «Монадология» (1714), оказавшей, по мысли Ж. Делеза, определяющее влияние на философское мировидение Пруста.

во[253] или Самуила Бернара[254] — но я никак не мог предполагать, что некоторые национальные особенности выражаются ярче, нежели кастовые. И вот сейчас эти особенности проступили не в словах, в которых я надеялся услышать порханье эльфов,[255] и танец кобольдов[256] а в транспонировке, которая не менее явно обличала поэтическое происхождение нового гостя, в том, как рейнграф, маленький, багроволицый, толстопузый, отвешивая поклон маркизе де Вильпаризи, сказал: «Топрий ветшер, зударинья» — с акцентом эльзасского швейцара.

— Не хотите ли чайку или кусочек торта? Он очень вкусный, — обратилась ко мне герцогиня Германтская, — ей хотелось быть как можно любезнее. — Я в этом доме так же гостеприимна, как

---

[253] Примечания: 253

Мариво, Пьер Карле де Шамблен де (1688–1763) — французский писатель, драматург и романист.

[254] Примечания: 254

Бернар, Самуил (1651–1739) — французский финансист, банкир французских королей. В современных Прусту энциклопедических словарях «Ларусс» портреты трех исторических персонажей действительно были очень сходными.

[255] Примечания: 255

Эльфы — в скандинавской и германской мифологии духи природы; светлые эльфы — воздушны, красивы и благосклонны к людям, темные — уродливы и враждебны.

[256] Примечания: 256

Кобольд — в немецком фольклоре домовой, горный дух, часто — хра-

нитель ценных металлов.

в своем собственном, — добавила она насмешливым тоном, от которого в ее голосе появлялся гортанный звук, похожий на придушенный хриплый смех.

— Маркиз! — обратилась к де Норпуа маркиза де Вильпаризи. — Кажется, вы хотели сказать князю что-то насчет Академии?

Герцогиня Германтская опустила глаза и, слегка повернув руку, посмотрела на часы.

— Ах, Боже мой, пора прощаться с тетушкой! Мне еще надо зайти к госпоже де Сен-Фереоль, а ужинаю я у госпожи Леруа.

И, не простившись со мной, она встала. Она только сейчас заметила г-жу Сван, а та, увидев меня, почувствовала себя неловко. По всей вероятности, г-жа Сван вспомнила, что раньше она доказывала мне невиновность Дрейфуса.

— Я не хочу, чтобы моя мать знакомила меня с женой Свана, — сказал мне Сен-Лу. — Она бывшая потаскушка. Своего мужа, еврея, выдает за националиста… А, дядя Паламед пришел!

Появление г-жи Сван представляло для меня особый интерес из-за одного происшествия, которое случилось несколько дней назад и на котором следует остановиться, потому что много спустя оно имело последствия, о коих будет подробно

рассказано в своем месте. Итак, за несколько дней до моего визита к маркизе мне совершенно неожиданно нанес визит незнакомец — некто Шарль Морель, сын бывшего камердинера моего двоюродного деда. Этот двоюродный дед (тот самый, у которого я застал даму в розовом) в прошлом году умер. Камердинер не раз порывался зайти ко мне; я не догадывался — зачем, но мне хотелось с ним повидаться, так как я узнал от Франсуазы, что он свято хранит память о моем деде и постоянно бывает на его могиле. Но камердинеру пришлось поехать полечиться в родные края, пробыть там он рассчитывал долго, а потому послал ко мне сына. Я был изумлен при виде красивого восемнадцатилетнего юноши, одетого хоть и безвкусно, но роскошно, так что принять его можно было за кого угодно, только не за камердинера. Впрочем, он поспешил дать мне понять, что не имеет ничего общего со средой челядинцев, из которой он вышел: с самодовольной улыбкой он сообщил мне, что получил первую премию в консерватории. Цель его прихода ко мне заключалась в следующем: его отец из тех вещей покойного дедушки Адольфа, которые он взял себе на память, кое-какие отложил; посылать их моим родителям он счел неудобным, а

молодого человека, как я, они, по его мнению, могли бы заинтересовать. Это были фотографии знаменитых актрис и высокого полета кокоток, знакомых моего деда, — случайно сохранившиеся образы той жизни, которую старый любитель земных утех отделил непроницаемой стеной от своих родственников. Когда молодой Морель показывал мне снимки, я почувствовал его желание подчеркнуть, что он держится со мной как равный с равным. Говоря мне «вы», но по возможности избегая употреблять слово «господин», он испытывал удовольствие человека, чей отец обращался к моим родителям не иначе как «в третьем лице». Почти на всех фотографиях были надписи вроде: «Моему лучшему другу». Одна менее благодарная и более осторожная актриса написала: «Лучшему из друзей», что давало ей право, как меня потом уверяли, утверждать, что мой дед вовсе не был ее лучшим другом, далеко не лучшим, что он был просто ее другом, делавшим ей разные мелкие одолжения, другом, чьими услугами она пользовалась, что он — чудный человек, но, в сущности, старый дурак. Молодой Морель напрасно старался замазать свое происхождение; чувствовалось, что тень моего деда Адольфа, громадная, достойная преклоне-

ния в глазах старого камердинера, неустанно парила, как нечто почти священное, над детством и отрочеством камердинерова сына. Пока я рассматривал фотографии, Шарль Морель водил глазами по моей комнате. Я думал, куда бы мне спрятать снимки. «Как же так, — спросил Шарль Морель (тоном не укоризненным: в этом не представлялось необходимости — так много упрека было в словах), — почему я не вижу у вас в комнате ни одного портрета вашего дедушки?» Я почувствовал, как к моим щекам прилила кровь. «По-моему, у меня нет его портрета», — пролепетал я. «То есть как? У вас нет ни одного портрета вашего дедушки Адольфа, который вас так любил? Я вам пришлю из собрания моего родителя, — надеюсь, вы его повесите на почетном месте, вот над этим комодом — ведь комод достался вам от дедушки». У меня в комнате не было даже портретов моих родителей, поэтому отсутствие портрета деда Адольфа, право же, не свидетельствовало о моей непочтительности. Однако нетрудно было догадаться, что для Мореля-отца, от которого этот взгляд перешел по наследству к его сыну, мой дед был самым важным лицом в семье, а мои родители представляли собой лишь слабое отражение его блеска. Я

был у камердинера в большой чести, потому что дед часто говорил, что из меня выйдет второй Расин или Волабель,[257] и камердинер смотрел на меня как на приемного сына, как на любимца деда. Я скоро убедился, что сын Мореля — большая «пройда». Так, уже в тот день он спросил меня, — а он был отчасти композитором и умел перекладывать на музыку стихи, — не знаю ли я какого-нибудь поэта, пользующегося влиянием в «кругах». Я назвал одно имя. Он этого поэта не читал и в первый раз о нем слышал, но имя его все-таки записал. А немного погодя я узнал, что он послал поэту письмо, в коем сообщал, что, будучи восторженным поклонником его таланта, он положил на музыку его сонет и был бы счастлив, если бы автор похлопотал о публичном исполнении музыки на этот сонет у графини ***. Морель поторопился и раскрыл свои карты. Оскорбленный поэт ничего ему не ответил.

Впрочем, тщеславие, очевидно, не мешало Шарлю Морелю увлекаться более конкретными реальностями. Он увидел, что во дворе племянница Жюпьена шьет жилет, и, хотя он сказал мне, что ему как раз нужен жилет «фантазия»,

[257] Примечания: 257

Волабель, Ашиль Тенай, де (1799–1879) — французский историк и политический деятель.

я почувствовал, что девушка произвела на него сильное впечатление. Он не постеснялся попросить меня спуститься во двор и познакомить его с ней: «Но только не надо говорить ей, что я имею какое-то отношение к вашей семье, — вы меня понимаете? Я надеюсь, что вы из деликатности умолчите о моем отце, — скажите, что я ваш друг, известный артист. Надо, чтобы эти торгаши чувствовали, с кем имеют дело, — вам ведь это ясно?» Хотя он и ввернул, что — «понятное дело» — я знаю его слишком мало для того, чтобы называть его «дорогой друг», но что я мог бы называть его при девушке — «ну, конечно, не „дорогой мэтр“… но, если вам не трудно, — „дорогой артист“», — у жилетника я все-таки не стал, как выражается Сен-Симон, «титуловать» его, — я ограничился тем, что в ответ на его «вы» тоже говорил ему «вы». Перебрав несколько бархатных жилетов, он остановился на ярко-красном, до того кричащем, что, несмотря на свой дурной вкус, он потом так ни разу и не надел его. Девушка продолжала работать вместе с двумя «ученицами», но мне показалось, что Шарль Морель, в котором она узнала человека «своего круга» (только поэлегантнее и побогаче), произвел на нее не менее сильное впечатление и очень ей понравился.

Меня крайне удивило, что среди фотографий, присланных мне отцом Шарля Мореля, я обнаружил портрет мисс Сакрипант (то есть Одетты) работы Эльстира, и, провожая Шарля до ворот, я сказал ему: «Боюсь, что вы не сможете пролить свет. Дедушка был близко знаком с этой дамой? Я не представляю себе, к какому периоду его жизни относится их знакомство; меня это интересует в связи со Сваном…» — «Ах да, я забыл вам сказать, что отец просил меня обратить на нее ваше внимание. Эта дама полусвета завтракала у вашего дедушки, когда вы с ним виделись в последний раз. Отец не знал, можно ли вас впустить. Кажется, вы очень понравились этой легкомысленной женщине, и ей хотелось еще раз с вами встретиться. Но тут как раз, по словам отца, в вашей семье произошла ссора, и вы больше у дедушки не бывали». Тут Шарль Морель издали прощально улыбнулся племяннице Жюпьена. Она смотрела на него и, наверно, любовалась его худым лицом с правильными чертами, его пушистыми волосами, веселыми глазами.

А я, пожимая ему руку, думал о г-же Сван и говорил себе с недоумением, — настолько разобщенными и непохожими одна на другую врезались они в мою память, — что теперь мне

придется слить ее в одно с «дамой в розовом».

Де Шарлю поспешил занять место рядом с г-жой Сван. На всех сборищах он, надменный с мужчинами и избалованный вниманием женщин, подсаживался к самой из них элегантной как бы для того, чтобы ее туалет выставлял его в выгодном свете. Сюртук или фрак барона придавали ему сходство с портретом мужчины в черном, около которого, по воле художника-колориста, лежит на стуле яркий плащ для бала-маскарада. Эти беседы обычно с какой-нибудь титулованной особой давали де Шарлю преимущества, которые он очень ценил. Так, например, на каком-нибудь семейном торжестве хозяйка дома только барону оставляла стул впереди, среди дам, а другие мужчины толкались в глубине комнаты. Кроме того, по-видимому увлеченный занятными историями, которые он очень громко рассказывал очарованной им даме, де Шарлю бывал благодаря этому избавлен от необходимости здороваться и оказывать знаки уважения. За надушенной оградой, которой ему служила избранная им красавица, он был отделен от гостиной, точно в ложе — от зрительного зала, и, когда к нему подходили здороваться, так сказать, через голову красавицы соседки, он мог себе позволить

отвечать односложно, не прерывая разговора с дамой. Понятно, г-жа Сван не принадлежала к числу женщин, на фоне которых ему особенно нравилось рисоваться. Но из дружеских чувств к Свану он играл роль ее поклонника; он знал, что ей льстит его предупредительность, а ему льстило то, что на него бросает тень самая красивая из всех присутствующих здесь женщин.

Надо заметить, что маркизе де Вильпаризи приходы де Шарлю большого удовольствия не доставляли. А де Шарлю, находя у своей тетушки большие недостатки, все-таки очень ее любил. Но иногда мнимые ее обиды доводили его до бешенства, и он, не борясь с собой, писал ей крайне резкие письма и перечислял всякие мелочи, которых до этого как будто и не замечал. В качестве примера приведу один случай, о котором я узнал в Бальбеке. Маркиза де Вильпаризи, боясь, что ей не хватит на жизнь в Бальбеке взятых с собой денег, и решив, из скупости и во избежание лишних расходов, не просить о высылке денег из Парижа, взяла взаймы три тысячи франков у де Шарлю. Через месяц, разозлившись на тетку за какой-то пустяк, он отправил ей телеграмму с требованием, чтобы она вернула ему долг. Получил он две тысячи девятьсот девяносто с чем-то. Несколько

дней спустя, увидевшись с теткой в Париже, он в дружеской беседе очень деликатно обратил ее внимание на ошибку, допущенную банком, через который был сделан перевод. «Да нет тут никакой ошибки, — возразила маркиза де Вильпаризи, — телеграфный перевод стоит шесть франков семьдесят пять сантимов». — «Ах, так, значит, вычли вы сами? Ну, тогда другое дело! — заметил де Шарлю. — Я думал, вы не знаете, а то ведь, если бы таким же образом банк поступил с людьми, с которыми вы не очень близки, вам могло бы быть неприятно». — «Нет, нет, никакой ошибки не произошло». — «В сущности, вы совершенно правы», — весело закончил разговор де Шарлю и нежно поцеловал тетушке ручку. Он и правда нисколько на нее не сердился, ее мелочность смешила его — и только. Но немного погодя, вообразив, что в каком-то семейном деле тетка собирается одурачить его и «создать против него целый заговор», вообразив на том основании, что тетка довольно глупо пряталась за дельцов, — а он как раз и подозревал, что она с ними в стачке против него, — де Шарлю написал ей возмущенное, дерзкое письмо. «Я не удовольствуюсь местью, — прибавлял он в постскриптуме, — я сделаю Вас всеобщим посмешищем. Завтра же

всем расскажу историю с телеграфным переводом, как Вы удержали из взятых у меня в долг трех тысяч франков шесть франков семьдесят пять сантимов, я Вас опозорю». Но на другой день он пошел к тетке просить прощения за письмо, в котором были действительно чудовищные вещи. Впрочем, кому еще мог бы он рассказать историю с телеграфным переводом? Теперь, уже не думая о мести, а искренне желая помириться с маркизой, он предпочел бы никому об этой истории не говорить. Но до этого, находясь с теткой в мире и согласии, он рассказывал эту историю везде и всюду, рассказывал без всякой злобы, просто чтобы посмеяться, а еще потому, что он был донельзя болтлив. Рассказывал он без ведома тетки. Узнав же из его письма, что он намерен ее опозорить, раззвонив о тех обстоятельствах, в которых она, по его же словам, действовала правильно, она решила, что он тогда солгал и что его любовь к ней — это одно притворство. Страсти в конце концов улеглись, но теперь тетка толком не знала, как к ней относится племянник, а племянник — как относится к нему тетка. Но это особый случай вспыхивающих по временам ссор. Иного рода были ссоры Блока с его приятелями. И уже совсем по-иному ссорился де Шарлю, как это будет видно

из дальнейшего, с людьми, совершенно непохожими на маркизу де Вильпаризи. Но все-таки следует помнить, что вообще наши мнения друг о друге, дружественные и родственные отношения только с виду кажутся устойчивыми — на самом деле они изменчивы, как море. Вот почему бывает так много шума в связи с разводом мужа и жены, которые до развода казались дружной парой и которые вскоре после развода говорят друг о друге с нежностью; вот почему друг распространяет о своем еще так недавно якобы неразлучном друге гадкие сплетни, а затем, не успеем мы прийти в себя от изумления, мирится с ним; вот почему так часты молниеносные разрывы отношений между народами.

— Ах ты Господи! — сказал мне Сен-Лу. — У дядюшки с госпожой Сван дело идет на лад, а мама по простоте душевной к ним с разговорами! Для чистых все чисто.[258]

Я смотрел на де Шарлю. Седой хохолок, улыбающийся глаз за моноклем, приподнявшим бровь, и бутоньерка из красных цветов образовывали как бы три подвижные вершины необычайного дергающегося треугольника. Я не решился покло-

---

[258] Примечания: 258

Для чистых все чисто. — Сен-Лу цитирует Послание св. Павла к Титу (Тит 1,15).

ниться ему, оттого что он не сделал мне никакого знака. Между тем, хотя он и не оборачивался в мою сторону, я был уверен, что он меня видел; он рассказывал какую-то историю г-же Сван, чье роскошное длинное манто, цвета анютиных глазок, накрывало его колено, а в это время бегающие его глаза, подобно глазам торгующего «с рук» и поминутно оглядывающегося, не идет ли полицейский, наверняка уже обшарили каждый уголок гостиной и рассмотрели всех, кто здесь находился. К нему подошел поздороваться де Шательро, но барон ничем не обнаружил, что заметил молодого герцога до того, как герцог вырос перед ним. На всех более или менее многолюдных сборищах с лица де Шарлю почти не сходила неопределенная, безразличная улыбка, которой он встречал всех приближавшихся к нему с поклонами, но которая не содержала особого расположения ни к кому из тех, кто входил в ее зону. Все-таки мне непременно надо было поздороваться с г-жой Сван. Она не имела понятия, знаком ли я с виконтессой де Марсант и с де Шарлю, потому была со мной суховата — видимо, она боялась, что я попрошу ее представить меня. Я направился к де Шарлю и тут же раскаялся: он не мог меня не заметить, но упорно не смотрел в

мою сторону. Когда же я ему поклонился, то увидел вытянутую его руку, не допускавшую меня подойти к нему вплотную, и вытянутый палец, с которого как будто сняли епископский перстень, и вот это, так сказать, пустующее священное место барон словно подставлял для поцелуя, но с таким видом, точно я, не спросясь, — чего барон никогда мне не простит, — вторгся в некую область, где излучалась его ни к кому не обращенная, никому не предназначавшаяся улыбка. Его холодность не способствовала тому, чтобы исчез холод в обращении со мной г-жи Сван.

— Ты, должно быть, очень устал и вместе с тем очень возбужден! — сказала виконтесса де Марсант сыну, подошедшему поздороваться с де Шарлю.

В самом деле, взгляд Робера временами словно нырял в самую глубину, а затем тотчас же всплывал на поверхность, как доставший дно пловец. Этим дном, причинявшим Роберу, когда он его касался, такую боль, что он тотчас же всплывал, хотя мгновение спустя опускался вновь, была мысль о разрыве с любовницей.

— Ничего, — прибавила мать, гладя его по щеке, — ничего! Я так рада видеть моего мальчика!

Но эта ласка, как видно, раздражала Робера.

Виконтесса де Марсант увела сына в глубину гостиной, в укромный уголок, где на фоне желтого шелка кресла Бове выделялись фиолетовой своей обивкой, точно лиловые ирисы среди лютиков. Г-жа Сван, оставшись одна и поняв, что я — приятель Сен-Лу, поманила меня к себе. Не виделись мы с ней давно, и я не знал, о чем с ней говорить. Я не упускал из виду моего цилиндра, лежавшего на ковре вместе с другими, но меня разбирало любопытство: чей это цилиндр, на подкладке которого буква «Г» увенчана герцогской короной, хотя это и не цилиндр герцога Германтского? Я знал всех гостей наперечет, и мне казалось, что ни у кого из них такого цилиндра быть не может.

— Какой милый человек маркиз де Норпуа! — указывая на него, сказал я г-же Сван. — Хотя Робер де Сен-Лу назвал его «ехидной», но…

— Он прав, — возразила г-жа Сван.

Заметив, что мысли ее сосредоточены на чем-то таком, что она от меня скрывает, я пристал к ней с расспросами. Г-жа Сван, быть может, довольная создавшимся впечатлением, что кто-то очень ею интересуется в этом салоне, где она почти никого не знает, отвела меня в сторону.

— Вот что, наверно, имел в виду Сен-Лу, — заго-

ворила она, — только вы ему не передавайте: он подумает, что я болтушка, а я очень дорожу его мнением, вы же знаете, что я «очень порядочный человек». На днях Шарлю обедал у принцессы Германтской; не знаю почему, заговорили о вас. Де Норпуа сказал, — это, конечно, чепуха, сейчас же выкиньте это из головы, никто не придал его словам никакого значения, все знают, что для красного словца он не пожалеет родного отца, — он сказал, что вы — полуистеричный льстец.

Я уже когда-то описывал свое изумление, вызванное тем, что приятель моего отца, маркиз де Норпуа, мог так говорить обо мне. Но в еще большее изумление я пришел, узнав, что то, что я с таким волнением в былое время говорил о г-же Сван и о Жильберте, дошло до принцессы Германтской, а между тем я думал, что она понятия обо мне не имеет. Все наши поступки, наши слова, наш образ действий отделяет от «света», от людей, к которым они не имеют непосредственного отношения, среда, чья проницаемость беспрестанно меняется и остается для нас загадкой; зная по опыту, что важные вещи, которые нам хотелось бы как можно скорее сделать общим достоянием (вроде моих славословий г-же Сван, которую я прежде расхваливал всем и каждому, по любому

поводу, в надежде, что из стольких добрых семян хоть одно да взойдет), в одно ухо влетают, в другое вылетают, — часто именно оттого, что мы так страстно желаем их распространения, — мы, естественно, бываем весьма далеки от мысли, что какое-нибудь случайное наше замечание, которое мы и сами-то давно забыли, иной раз даже и не сделанное нами, а из-за несовершенства преломления возникшее одновременно с замечанием иного рода, беспрепятственно проделывает огромные расстояния, — в данном случае, до принцессы Германтской, — и на празднике богов над нами же еще и посмеются. То, что мы храним в памяти о нашем поведении, остается неизвестным самому близкому нам человеку; те же наши слова, которые мы сами забыли или даже которых мы никогда и не говорили, обладают способностью вызывать неудержимый смех чуть ли не на другой планете. Представление, которое складывается у других о наших делах и поступках, так же мало похоже на наше собственное представление о них, как рисунок — на неудачный оттиск, где вместо черного штриха мы видим пустое пространство, вместо белой полосы — какие-то непонятные линии. А бывает и так: что-то на оттиске не вышло, мы же несу-

ществующую эту черту приписываем себе в силу самолюбования, тогда как то, что представляется нам прибавленным, является нашим свойством, но таким неотъемлемым, что мы его не замечаем. Таким образом, этот особый оттиск, который мы считаем совершенно непохожим, в иных случаях отличается верностью рентгеновского снимка — верностью, разумеется, не очень для нас лестной, но зато глубокой и полезной. Однако мы вполне можем и не узнать себя на верном снимке. Кто улыбается, увидев в зеркале красивое свое лицо и красивое телосложение, тот, если показать ему рентгеновский снимок, на котором видны четки костей, будто бы представляющие собой его изображение, решит, что это ошибка, как решит посетитель выставки, прочитав в каталоге под номером портрета молодой женщины: «Лежащий верблюд». В этом несходстве нашего образа, созданного нами самими, с созданным кем-нибудь другим мне позднее пришлось убедиться на примере людей, живших безмятежной жизнью среди коллекции снимков, которые они сделали сами с себя, между тем как вокруг кривлялись хари, кривлялись чаще всего незримо, и лишь по временам случай, показав им эти хари, говорил: «Это вы», и тогда они столбенели от ужаса.

Несколько лет назад я был бы счастлив сказать г-же Сван, «по какой причине» я был нежен с маркизом де Норпуа, так как этой «причиной» являлось желание с ней познакомиться. Но теперь у меня этого желания не было — Жильберту я разлюбил. Но и слить г-жу Сван с «дамой в розовом» мне не удавалось. Вот почему я заговорил о женщине, которой были заняты мои мысли сейчас.

— Вы видели герцогиню Германтскую? — спросил я г-жу Сван.

Герцогиня ей не кланялась, и она притворялась, будто герцогиня ее не интересует — настолько, что она даже не замечает ее присутствия.

— Не могу вам сказать, я этого не осмыслила, — щегольнув книжным словом, с недобрым выражением лица ответила г-жа Сван.

Мне, однако, хотелось разузнать не только про герцогиню Германтскую, но и про ближайшее ее окружение, и, подобно Блоку, проявив бестактность, какую обнаруживают люди, которые, беседуя, заботятся не о том, чтобы произвести приятное впечатление, но — с эгоистической целью — о том, чтобы выяснить интересующие их вопросы, я, силясь представить себе яснее жизнь герцогини Германтской, начал расспрашивать маркизу де Вильпаризи о г-же Леруа.

— Да, я про нее слыхала, — с напускным пренебрежением ответила маркиза, — она дочь крупного лесопромышленника. Теперь она бывает в свете, но, сказать по правде, я слишком стара, чтобы завязывать новые знакомства. На своем веку я знавала таких интересных, таких милых людей, что знакомство с госпожой Леруа, право, ничего мне не даст.

Виконтесса де Марсант, исполнявшая обязанности фрейлины маркизы, представила меня князю, а вслед за ней ему же представил меня, рассыпавшись в похвалах, маркиз де Норпуа. Сделал он мне эту любезность то ли потому, что она его ни к чему не обязывала, так как меня уже представили до него, то ли потому, что, по его мнению, даже знатный иностранец неважно знает французские салоны и, пожалуй, подумает, что ему представили молодого человека из высшего света, то ли чтобы воспользоваться одним из своих преимуществ, а именно — весом посла, а может быть, чтобы из любви к старине воскресить в честь князя лестный для его сиятельства обычай, требовавший, — в том случае, если кого-нибудь представляли сиятельной особе, — двух поручителей.

Нуждаясь в том, чтобы де Норпуа подтвердил,

что то, что она не знакома с г-жой Леруа — это для нее не потеря, маркиза де Вильпаризи обратилась к нему:

— Ведь правда, господин посол, госпожа Леруа неинтересна, что она гораздо ниже тех, кто бывает здесь, и приглашать мне ее не стоило?

То ли желая показать, что у него на все свои взгляды, то ли от усталости маркиз де Норпуа ограничился поклоном, почтительным, но ничего не выражающим.

— Маркиз! — со смехом сказала де Вильпаризи. — Какие бывают смешные люди! Вообразите, сегодня у меня был с визитом один господин, и он меня уверял, что ему приятнее целовать мою руку, чем руку молодой женщины.

Я сразу догадался, что это Легранден. Маркиз де Норпуа усмехнулся и едва заметно подмигнул, словно речь шла о таком естественном вожделении, что сердиться на того, кто его испытывает, невозможно, почти что о завязке романа, который он готов простить, даже поощрить с извращенной снисходительностью Вуазенона.[259]

---

[259] Примечания: 259

Вуазенон, Клод Анри де Фюзе, аббат (1708–1755) — французский писатель, драматург и поэт, чьи жизнь и творчество отличались известной распущенностью.

или Кребийона-сына[260]

— Руки многих молодых женщин не сумели бы сделать то, что передо мной, — вмешался князь, указывая на начатые акварели маркизы де Вильпаризи.

Он спросил, видела ли маркиза цветы Фантен-Латура[261] на недавно открывшейся выставке.

— Первоклассная работа чудного художника, как теперь принято выражаться — тонкого мастера, — высказал свое мнение де Норпуа, — и все-таки я нахожу, что его цветы проиграли бы рядом с цветами маркизы де Вильпаризи, у маркизы окраска выразительнее.

Пусть даже этот отзыв подсказала бывшему послу не только кружковая узость взглядов, но и пристрастие старого любовника и привычка льстить, все равно мне было ясно: светские люди отличаются полным отсутствием художе-

---

[260] Примечания: 260

Кребийон-сын — Клод Проспер Жольо де Кребийон (1707–1777) — французский писатель, автор довольно «смелых» любовных романов, появление которых порой приводило к взятию автора под стражу.

[261] Примечания: 261

Фантен-Латур, Анри (1836–1904) — французский художник, связанный с кругом импрессионистов. С 1861 г. выставлял в Салоне натюрморты, аллегории, портреты. Автор серии «Посвящений» (своего рода групповые портреты), представляющих собой ценные свидетельства художественной жизни эпохи («Посвящение Делакруа», «Посвящение Мане», «Посвящение Бодлеру», «Посвящение Вагнеру»).

ственного вкуса, их суждения в высшей степени произвольны, и любая мелочь может довести их до крайнего абсурда, на пути к которому они не встретят препятствия, каковым является непосредственное чувство.

— Я действительно знаю цветы, но заслуги моей в том нет, — я всю жизнь прожила среди лугов, — скромно заметила маркиза де Вильпаризи. — Но, — с очаровательной улыбкой обратилась она к князю, — тем, что я сызмала приобрела более глубокие познания, чем другие дети, выросшие в деревне, я обязана выдающемуся представителю вашей нации Шлегелю.[262] Я встретилась с ним у Бройлей,[263] а к ним меня привела тетя Корделия,[264] (жена маршала де Кастеллана). Я отлично помню, как Лебрен[265]

---

[262] Примечания: 262

Шлегель, Август Вильгельм фон (1767–1845) — немецкий писатель, поэт и литературный критик, один из основоположников романтизма, воспитатель детей г-жи де Сталь, которая благодаря ему открыла для себя немецкую литературу и культуру.

[263] Примечания: 263

Герцог де Бройль, Ашиль (1785–1870) — французский государственный деятель, постоянный член кабинета министров при Луи-Филиппе

[264] Примечания: 264

...тетя Корделия... — Имеется в виду Корделия Луиза Эшарис Грефюль (1796–1847), супруга графа Бонифация де Кастеллан (1788–1862). В действительности она не была женой маршала, так как граф де Кастеллан получил это звание после ее смерти.

[265] Примечания: 265
Лебрен, Пьер Антуан (1785–1873) — французский поэт и драматург.

де Сальванди,[266] и Дудан[267] заговорили с ним о цветах. Я была совсем маленькая, понимала его плохо. Но он охотно играл со мной, а вернувшись на родину, прислал мне чудесный гербарий на память о нашей прогулке в фаэтоне в Валь Рише[268] когда я заснула у него на коленях. Я бережно хранила этот гербарий; благодаря ему я научилась подмечать такие особенности цветов, которые, не будь у меня гербария, не привлекли бы моего внимания. Когда госпожа де Барант[269] опубликовала письма госпожи де Бройль, красивые и жеманные, как она сама, я надеялась найти в них разговоры со Шлегелем. Но эта женщина искала в природе только то, что говорит в пользу религии.

Робер, сидевший с матерью в глубине гостиной,

---

[266] Примечания: 266

Сальванди, Нарсисс, граф (1795–1856) — французский писатель и государственный деятель.

[267] Примечания: 267

Дудан, Хименес (1800–1872) — французский писатель, секретарь герцога де Бройля.

[268] Примечания: 268

Валь Рише — старинное аббатство в департаменте Кальвадос (северо-западная Франция).

[269] Примечания: 269

Госпожа де Барант — Мария Жозефина Сезарина д'Удто, баронесса де Барант (1794–1877), французская аристократка и писательница. Письма госпожи де Бройль — Альбертины Иды Гюставины де Сталь-Холштейн (1797–1838), дочери госпожи де Сталь, супруги герцога де Бройля, были

опубликованы не госпожой де Барант, а сыном герцогини.

подозвал меня.

— Какой ты добрый! — сказал я. — Чем мне тебя отблагодарить? Может быть, завтра поужинаем вместе?

— Хорошо, но только с Блоком; я с ним столкнулся в дверях; поздоровался он со мной сухо: ведь я же, — правда, неумышленно, — не ответил на два его письма (он не сказал, что обиделся на меня за это, но я и так догадался), зато потом он был со мной так ласков, что я не могу проявить неблагодарность к такому преданному другу. Я уверен, что это дружба вечная — по крайней мере, он ко мне привязан навеки.

Я не думаю, чтобы Робер глубоко заблуждался. Ожесточенные нападки часто являлись у Блока следствием искренней симпатии, если он почему-либо считал, что ему не платят тем же. Он неясно представлял себе, как живут другие люди, ему в голову не приходило, что человек может заболеть, уехать, а потому, если кто-либо не отвечал ему в течение недели, он принимал это за непреложный знак охлаждения. Вот почему я никогда не склонен был думать, что для диких выходок, которые он себе позволял сначала как друг, а потом как писатель, у него были важные поводы. Блок доходил до полного исступления,

когда ему отвечали на них ледяным спокойствием или пошлостью, от которой он окончательно выходил из себя, зато теплое чувство часто укрощало его.

— А вот насчет того, что я, как ты утверждаешь, сделал тебе доброе дело, — продолжал Сен-Лу, — то это неверно, тетушка сказала, что это ты от нее бегаешь, не разговариваешь с ней. Она думает, что ты на нее за что-то сердишься.

К счастью для меня, если бы я и поверил этим словам, наш предстоящий отъезд в Бальбек не дал бы мне возможности еще раз увидеться с герцогиней Германтской, уверить ее, что я на нее не сержусь, и таким образом поставить ее в необходимость признаться, что это она имеет что-то против меня. Достаточно было и того, что она даже не предложила мне посмотреть картины Эльстира. Однако я не испытывал такого чувства, будто мои мечты не сбылись: я и не надеялся, что она со мной об этом заговорит; я знал, что не нравлюсь ей, что она никогда меня не полюбит; самое большее, чего я мог желать, это чтобы благодаря ее обаянию во мне осталось от нее, — ведь я же виделся с ней перед отъездом из Парижа в последний раз, — безоблачно светлое впечатление, которое я увез бы с собою в Бальбек, и это

цельное впечатление жило бы во мне всегда вместо воспоминания, сотканного из тоски и грусти.

Виконтесса де Марсант ежеминутно прерывала разговор с Робером, чтобы сказать мне, как часто он говорит с ней обо мне и как он меня любит; преувеличенная ее любезность была для меня почти обременительна — ведь я же чувствовал, что она вызвана боязнью рассердить сына, которого она сегодня еще не видела, с которым она жаждала остаться наедине и на которого она, как ей казалось, имела не такое большое влияние, как я, почему ей и следовало меня ублажать. Однажды, услышав, что я спрашиваю Блока, как поживает его дядя, Ниссон Бернар, виконтесса де Марсант осведомилась, не тот ли это, что жил в Ницце.

— Ну так он знал виконта де Марсанта еще до его женитьбы на мне, — сказала виконтесса. — Мой муж говорил, что это прекрасный человек, чуткий, благородный.

«Чтобы дядюшка ни разу ему не солгал — нет, этого не может быть!» — наверно, подумал бы Блок.

Мне все время хотелось сказать виконтессе де Марсант, что Робер неизмеримо больше любит ее, чем меня, и что, хотя бы даже она относилась ко мне неприязненно, я не такой человек, чтобы

навинчивать его против нее, стараться посеять между ними рознь. После того как герцогиня Германтская ушла, мне стало легче наблюдать за Робером, и только тут я заметил, что в нем снова поднимается досада, приливая к его застывшему, мрачному лицу. Я боялся, что его самолюбие страдает после сегодняшней сцены, когда он в моем присутствии безропотно вытерпел грубости своей любовницы.

Внезапно он вырвался из материнских объятий и, уведя меня за бюро с цветами, перед которыми опять уселась маркиза де Вильпаризи, сделал мне знак идти за ним в маленькую гостиную. Я направился туда, но тут де Шарлю, вероятно подумав, что я ухожу, на полуслове прервал разговор с князем фон Фаффенгеймом и, круто повернувшись, оказался прямо передо мной. Я оторопел, увидев, что он взял цилиндр с буквой «Г» и с герцогской короной. В проеме двери, которая вела в маленькую гостиную, он, не глядя на меня, сказал:

— Я вижу, что вы стали бывать в свете, так вот, доставьте мне удовольствие — навестите меня. Но это довольно сложно, — продолжал он, и взгляд у него сейчас был отсутствующий и озабоченный, точно он боялся навсегда лишиться удовольствия, если упустит случай сговориться

со мной о том, как его получить. — Я редко бываю дома — вы мне напишите. Все это я вам объясню в более спокойной обстановке. Я сейчас ухожу. Проводите меня немножко. Я вас не задержу.

— Будьте повнимательнее, — сказал я. — Вы по рассеянности взяли чужую шляпу.

— Вы не хотите, чтобы я взял мой собственный цилиндр?

Я вообразил, — именно такой случай был недавно со мной, — что кто-то унес его шляпу, а он, чтобы с непокрытой головой не выходить на улицу, взял первую попавшуюся, я же, открыв эту проделку, поставил его в неловкое положение. Я не стал спорить. Я отговорился тем, что мне еще надо сказать несколько слов Сен-Лу.

— А сейчас он разговаривает с этим идиотом — герцогом Германтским, — добавил я.

— Отлично сказано! Непременно передам моему брату.

— А вы думаете, что это может быть интересно господину де Шарлю? (Я полагал, что его брат тоже должен носить фамилию де Шарлю. Сен-Лу что-то мне объяснял в Бальбеке, но я забыл.)

— При чем тут господин де Шарлю? — оборвал меня барон. — Идите к Роберу. Мне известно, что вы сегодня принимали участие в кутеже, кото-

рый он устроил для позорящей его женщины. Вы должны употребить все свое влияние и растолковать ему, как он огорчает свою бедную мать, да и всех нас, пачкая наши имена.

Я хотел возразить ему, что во время этого унизительного для Робера кутежа мы говорили об Эмерсоне,[270] Ибсене,[271] Толстом и что она уговаривала Робера пить только воду; желая пролить бальзам на уязвленную, как мне казалось, гордость Робера, я попытался оправдать его любовницу. Я не знал, что в эту минуту, несмотря на всю свою ярость, он упрекал не ее, а себя. Даже в ссорах добряка со злюкой, притом что добряк совершенно прав, всегда найдется какой-нибудь пустяк, который может создать злюке видимость правоты хотя бы только в одном-единственном пункте. А так как всеми прочими пунктами злюка пренебрегает, то, едва лишь добряк почувствует,

---

[270] Примечания: 270

Эмерсон, Ральф Уолдо (1803–1882) — американский философ и поэт. Пруст высоко ценил сочинения Эмерсона, которые читал, как признавался в одном из писем, «с опьянением». Некоторые афоризмы философа послужили эпиграфами к первой книге Пруста «Наслаждения и дни» (1896).

[271] Примечания: 271

Ибсен, Генрик (1828–1906) — норвежский драматург, защитник прав личности против притязаний общества. Эмерсона, Ибсена и Толстого Пруст ценил как философов-моралистов, которых наряду с Ницше и Рёскиным называл «духовными отцами» своего времени.

что она ему необходима, едва лишь ему станет невыносима разлука, едва лишь, вследствие упадка духа, он сделается особенно беспощадным к себе, он припомнит нелепые ее упреки и подумает, что, пожалуй, они не лишены некоторого основания.

— Я признаю, что в истории с колье я выглядел некрасиво, — сказал мне Робер. — Понятно, злого умысла у меня не было, но ведь каждый вправе иметь свою точку зрения. У нее было очень тяжелое детство. Все-таки я для нее прежде всего богач, который знает, что за деньги он может добиться всего, и с которым бедняку не тягаться, о чем бы ни шла речь: о том, чтобы повлиять на Бушрона, или о том, чтобы выиграть дело в суде. Конечно, она была со мной жестока, хотя я ничего, кроме хорошего, ей не делал. Но я прекрасно понимаю: она думает, что я хотел дать ей почувствовать, что ее можно удержать деньгами, а между тем у меня этого и в мыслях не было. Она так меня любит! Могу себе представить, как она это переживает! Бедняжка! Если б ты знал, до чего она деликатна, просто не могу тебе рассказать! Какие она иной раз совершала для меня благородные поступки! Как она сейчас, наверно, горюет! Во всяком случае, какой бы оборот ни приняло дело потом, я не

хочу, чтобы она считала меня скотиной, — я побегу к Бушрону за колье. Может быть, после этого она признает, что была не права. Понимаешь: я не могу примириться с тем, что она мучается. Пусть уж лучше я сам буду страдать, я знаю, что это ерунда. Но она! Знать, что она страдает, и не страдать с ней заодно, — нет, я с ума сойду, лучше уж никогда больше не увидеться с ней. Пусть она будет счастлива без меня, если так надо, — больше я ничего не хочу. Послушай: знаешь, что бы ее так или иначе ни затрагивало, все в моих глазах огромно, все приобретает космические размеры, я сейчас же побегу к ювелиру, а потом буду просить у нее прощения. Пока я к ней ни приду, чего только она обо мне не подумает! Ах, если бы она знала, что я скоро у нее буду! Сходил бы ты к ней на всякий случай — может, дело кончится миром. Может, — тут он робко улыбнулся, как бы не веря, что мечта его осуществится, — мы съездим втроем за город и поужинаем. Но сейчас еще сказать трудно — у меня нет к ней подхода. Бедняжечка! Как бы мне не сделать ей еще больнее! А может быть, ее решение бесповоротно.

Робер потащил меня к виконтессе.

— Прощайте! — сказал он ей. — Мне надо ехать. Когда получу отпуск — не знаю; наверно,

не раньше чем через месяц. Как только узнаю — напишу.

Конечно, Робер не принадлежал к числу сыновей, которые, бывая в свете с матерями, полагают, что раздраженный тон, каким они с ними говорят, должен служить противовесом улыбочкам и поклонам, входящим в их правила обхождения с чужими. Нет ничего распространеннее этого подлого вымещения на родных, — очевидно, некоторые считают, что грубое к ним отношение является необходимым дополнением к фрачной паре. Что бы ни сказала бедная мать, сын, как будто его к кому-нибудь притащили силком и он хочет заставить дорого заплатить за свое сидение в гостях, немедленно обрывает ее робкий лепет ядовитыми, краткими, беспощадными возражениями; мать сейчас же присоединяется, — этим его, однако, не обезоруживая, — к мнению высшего существа, которое она в его отсутствие по-прежнему будет расхваливать и всех подряд уверять, что человек он изумительный, но которое все же не перестанет осыпать ее колкостями. Сен-Лу был совсем не такой, но он до того тяжело переживал разрыв с Рахилью, что и он, хотя и по другой причине, был резок со своей матерью, как те сыновья — со своими. И когда он произнес про-

щальные слова, я опять увидел, как виконтесса де Марсант вся напряглась от того же самого, похожего на взмах крыльев, движения, от которого она не могла удержаться при появлении сына, но теперь выражение лица у нее было испуганное, и на сына она устремила отчаянный взгляд.

— Как, Робер, ты правда уходишь? Мальчик мой! Но ведь это же единственный день, когда я могла бы с тобой побыть!

И почти шепотом, самым естественным тоном, в котором совсем не было слышно грусти, — грусть она затаила, чтобы не пробудить в сыне жалости, потому что это было бы жестоко, бесполезно и только раздражило бы его, — она добавила, как бы приводя довод, подсказанный простым здравым смыслом:

— Это же неучтиво с твоей стороны.

Но в ее непринужденности было так много робости от старания показать, что она не посягает на его свободу, так много нежности, чтобы он не упрекнул ее, что она хочет лишить его удовольствий, что Сен-Лу почувствовал, что он вот-вот растаяет и не поедет к своей подружке. И он рассердился:

— Мне жаль, а вот насчет учтивости или неучтивости — это уж как угодно.

И он осыпал мать упреками, хотя в глубине души, наверное, чувствовал, что эти упреки заслужил он; последнее слово всегда остается за эгоистами: когда они принимают твердые решения, то чем более чувствительные струны задевают в них люди, пытающиеся отговорить их, тем большее возмущение вызывают у них своим упорством не они сами, а те, кто ставит их перед необходимостью проявлять упорство; и в конце концов их непреклонность может дойти до пределов жестокости, но в их глазах это только усугубляет вину человека, который настолько неделикатен, что страдает и оказывается правым, в их глазах это подло — доводить другого человека до такого состояния, что он, как это ему ни больно, вынужден подавлять в себе жалость. Впрочем, виконтесса де Марсант особенно и не настаивала — она чувствовала, что все равно не удержит сына.

— Мы с тобой временно расстаемся, — сказал он мне. — Но только вы, мама, не задерживайте его — ему нужно еще побывать в одном месте.

Я чувствовал, что мое общество ни в малой мере не способно развлечь виконтессу де Марсант, и все-таки был рад, что не ушел с Робером, иначе она могла бы подумать, что я соучастник

развлечений, которые отнимают у нее сына. Мне хотелось как-то оправдать его поведение — не столько из любви к нему, сколько из сострадания к ней. Но она заговорила первая:

— Бедный мальчик! Я, наверное, расстроила его. Видите ли, все матери крайне эгоистичны, а ведь ему же хочется развлечься: он так редко приезжает в Париж! Боже мой! Если он еще не ушел, я бы его догнала, но, конечно, не для того, чтобы удерживать, а чтобы сказать, что я на него не сержусь, что он поступает правильно. Вы ничего не будете иметь против, если я выйду на лестницу?

Мы с ней пошли.

— Робер, Робер! — крикнула она. — Нет, ушел, поздно я спохватилась.

Теперь я с таким же рвением взялся бы содействовать разрыву Робера с его любовницей, с каким несколько часов назад содействовал бы тому, чтобы он уехал с ней навсегда. Сейчас Робер счел бы меня неверным другом, тогда его родные назвали бы меня его злым гением. А между тем я за эти несколько часов ничуть не изменился.

Мы вернулись в гостиную. Не увидев с нами Сен-Лу, маркиза обменялась с де Норпуа тем подозрительным, насмешливым и не очень со-

чувственным взглядом, каким мы показываем на чересчур ревнивую жену или на чересчур нежную мать (над ними часто смеются) и который означает: «Эге! Да уж не было ли тут грозы?»

Робер принес любовнице чудное колье, которое, по условию, он не должен был ей дарить. Но она отказалась от подарка и так потом, несмотря ни на какие уговоры, и не взяла его. Иные из приятелей Робера усматривали в этом, с их точки зрения, мнимом ее бескорыстии тонкий расчет: так, мол, она надеется еще крепче привязать его к себе. А между тем если ей и нужны были деньги, то разве лишь для того, чтобы сорить ими. Я сам видел, как она без разбора и без толку осыпала ими людей, которых считала бедняками. «Сейчас, — говорили Роберу его приятели, чтобы смазать впечатление от какого-нибудь ее доброго дела, — сейчас она, наверно, слоняется по зрительному залу в Фоли-Бержер. Рахиль — это загадка, настоящий сфинкс». Впрочем, как много женщин, своекорыстных поневоле, потому что они содержанки, из деликатности, которая не вянет и у такого сорта женщин, по собственному желанию на каждом шагу ставит барьерчики перед щедростью их любовников!

Робер почти ничего не знал об изменах своей

возлюбленной, мысль его была занята всякой чепухой по сравнению с тем, что собой представляла подлинная жизнь Рахили, жизнь, начинавшаяся ежедневно только после того, как он от нее уходил. Он почти ничего не знал об ее изменах. Но если б они и стали ему известны, это не поколебало бы его доверия к Рахили. Согласно дивному закону природы, действующему в любом, самом многослойном обществе, люди пребывают в полнейшем неведении относительно любимого существа. Стоя по одну сторону стеклянной перегородки, влюбленный говорит себе: «Это ангел, она никогда не будет моей, мне остается только умереть, и все-таки, она меня любит; она так меня любит, что, пожалуй… да нет, этому не бывать». И, палимый страстью, истомленный ожиданием, сколько драгоценностей кладет он у ног этой женщины, сколько мест обегает, чтобы перехватить денег и избавить ее от забот! А по другую сторону перегородки, через которую слова до него не доносятся, как не перелетают слова через аквариум, люди говорят: «Вы с ней незнакомы? Ваше счастье. Она ограбила, разорила Бог знает сколько мужчин. Форменная жульница. Прощелыга!»

И, может быть, люди не так уж не правы, об-

зывая ее этим словом, — ведь даже скептик, который не безумно влюблен в эту женщину, которому она просто нравится, говорит своим приятелям: «Да нет, мой дорогой, это совсем не кокотка; может, у нее и были увлечения, но это не продажная женщина, а уж если она и продается, то очень дорого. Или пятьдесят тысяч франков, или ничего». И ведь он-то и истратил на нее пятьдесят тысяч франков, обладал же ею всего один раз, но она, найдя в его лице сообщника, играя на его самолюбии, сумела убедить его, что он из тех, кто обладал ею даром. Такою наше общество: в нем даже те, что видны насквозь, даже те, что пользуются самой дурной славой, все же как бы находятся в глубине и под защитой восхитительной диковины, прячущей их. В Париже Сен-Лу не здоровался с двумя порядочными людьми, говорил о них не иначе, как с дрожью в голосе, и называл их эксплуататорами женщин — их обоих разорила Рахиль.

— Я могу упрекнуть себя только в одном, — зашептала мне виконтесса де Марсант, — я ему сказала, что он неучтив. Обожаемому сыну, моему единственному, которому нет равных, накануне его отъезда сказать, что он неучтив, — да лучше бы меня ударили палкой: я же знаю, что,

если его и ожидает вечером развлечение, — а у него их так мало! — все равно я ему испортила вечер тем, что была К нему несправедлива. Но я вас не удерживаю, — ведь вы торопитесь.

Когда виконтесса де Марсант начала со мной прощаться, она была печальна. Печалила ее мысль о Робере, и печаль ее была непритворна. Но вот она вновь превратилась в светскую даму и перестала быть искренней:

— Мне было *страшно интересно*, я так рада, я *счастлива*, что поговорила с вами. Благодарю вас! Благодарю вас!

Вид у нее был униженный, а взгляд благодарный и восхищенный, как будто разговор со мной доставил ей величайшее удовольствие. Этот ее обольстительный взгляд находил себе соответствие в черных цветах на ее белом платье с разводами: это был взгляд светской дамы, владеющей своим ремеслом.

— Да я сейчас еще и не ухожу, — возразил я, — мне надо подождать де Шарлю — мы пойдем вместе.

Маркиза де Вильпаризи слышала, что я сказал. Видимо, это было ей не по душе. Если бы речь шла о чем-то таком, что действует именно на подобного рода чувства, я бы подумал, что оскорбил

стыдливость маркизы де Вильпаризи. Но мне это и в голову не пришло. Мне было хорошо с герцогиней Германтской, с Сен-Лу, с виконтессой де Марсант, с де Шарлю, с маркизой де Вильпаризи, я говорил оживленно, не думая, все, что взбредет в голову.

— Вы собираетесь уходить вместе с моим племянником Паламедом? — спросила маркиза де Вильпаризи.

Полагая, что ей будет очень приятно узнать, что я в большой дружбе с ее любимым племянником, я радостно сообщил: «Он предложил мне пойти вместе. Я в восторге. Вообще, вы даже не представляете себе, какие мы с ним друзья, а со временем — я уверен — мы с ним еще ближе сойдемся».

Недовольство у маркизы де Вильпаризи сменилось тревогой. «Не ждите его, — с озабоченным видом сказала она мне, — он занят разговором с князем фон Фаффенгеймом. Он уже забыл, что условился с вами. Ну, идите, идите, пока он стоит к вам спиной».

А я не спешил к Роберу и его любовнице. Но маркиза де Вильпаризи не могла дождаться, когда же я наконец уйду, и я, решив, что ей, верно, необходимо поговорить с племянником по

важному делу, откланялся. Рядом с ней грузно восседал олимпийски величественный герцог Германтский. Каждая часть его тела словно говорила об его несметных богатствах, приобретала благодаря этим богатствам особую плотность, как будто для того, чтобы сотворить этого человека, стоившего так дорого, его богатства были переплавлены в один человекообразный слиток. Когда я подошел к нему попрощаться, он из вежливости поднялся со своего сиденья, и я ощутил косную, плотную тридцатимиллионную массу, которую привело в движение, подняло и поставило передо мной прежнее французское воспитание. Мне казалось, что это статуя Зевса Олимпийского, которую Фидий будто бы отлил из чистого золота. Так сильна была власть воспитания иезуитов над герцогом Германтским, вернее сказать — над его телом, потому что на его ум она такого сильного влияния не оказывала. Герцог Германтский смеялся, когда острил сам, а если острил кто-нибудь другой, ему было не смешно.

На лестнице меня окликнули:

— Так-то вы меня ждете, сударь? Это был де Шарлю.

— Не хотите ли пройтись пешком? — когда мы вышли во двор, сухо спросил он. — Давайте

прогуляемся, пока я не найду извозчика.

— Вам надо со мной поговорить?

— Да, да, вы угадали, мне нужно вам кое-что сказать, вот только не знаю — скажу ли. Конечно, я понимаю, что для вас это представляет громадный интерес. Но вместе с тем я предвижу, что в моем возрасте, когда начинаешь ценить спокойствие, это может внести в мою жизнь беспорядок, повлечет за собой зряшную трату времени. Не знаю, стоите ли вы того, чтобы я ради вас заваривал эту кашу, я не имею удовольствия знать вас настолько, чтобы принять то или иное решение. В Бальбеке вы мне показались вполне заурядным, даже со скидкой на то, что «купальщик» в туфлях всегда выглядит глупо. Впрочем, может быть, у вас и нет особого желания получить от меня то, что я мог бы дать вам; может быть, мне действительно не стоит беспокоиться, потому что, — говорю вам с полной откровенностью, — мне это ничего, кроме беспокойств, не сулит.

Я сказал, что в таком случае надо об этом забыть. Прекращение переговоров, по-видимому, не входило в расчеты де Шарлю.

— Вы зря деликатничаете, — оборвал он меня. — Побеспокоить себя ради человека стоящего — это очень приятно. Для лучших из нас увлече-

ние искусствами, любовь к старью, к коллекционированию, к садоводству — это эрзац, суррогат, алиби. В глубине нашей бочки мы, как Диоген, мечтаем о человеке. Мы разводим бегонии, подстригаем тисы за неимением лучшего, потому что тисы и бегонии послушны. Но мы предпочли бы тратить время на выращивание человека, если только мы были бы уверены, что он того стоит. Вот в чем дело. Вы должны хотя бы немного знать себя. Стоите вы этого или нет?

— Я никогда не причиню вам никаких беспокойств, — сказал я, — и, — поверьте, — все, что вы для меня сделаете, будет иметь для меня огромную ценность. Я глубоко тронут тем, что вы удостоили меня своим вниманием и изъявили желание быть мне полезным.

К великому моему удивлению, де Шарлю поблагодарил меня в почти восторженных выражениях и в наплыве дружеских чувств, поразившем меня еще в Бальбеке своим несоответствием резкости его тона, взял меня под руку.

— По легкомыслию, свойственному вашему возрасту, вы можете сказать что-нибудь такое, из-за чего между нами образуется пропасть, — заметил он. — А сейчас, напротив, вы меня растрогали, и я готов сделать для вас то, что в моих силах.

Продолжая идти со мной под руку и говоря мне, хотя и свысока, добрые слова, де Шарлю то задерживал на мне сосредоточенно-пристальный, холодно-пронзительный взгляд, каким он меня поразил при нашей утренней встрече у бальбекского казино, и даже за несколько лет до того — около розового терновника, в тансонвильском парке, когда он стоял рядом с г-жой Сван, которую я тогда считал его любовницей, то до такой степени внимательно вглядывался в экипажи, проезжавшие мимо нас один за другим, так как это был час смены, что некоторые извозчики, полагая, что их собираются нанять, останавливались. Но де Шарлю отказывался от их услуг.

— Ни один мне не подходит, — говорил он, — не те фонари, не по дороге. Мне бы хотелось, — продолжал он, — чтобы вы меня правильно поняли: мое предложение совершенно бескорыстно, и делаю я его только из благожелательности к вам.

Еще больше, чем в Бальбеке, меня поразило, как много общего в его выговоре с выговором Свана.

— Полагаю, вы настолько умны, что не подумаете, будто я обращаюсь к вам из-за «отсутствия знакомых», от одиночества и от скуки. Я не говорил с вами о моих родственниках — я полагал, что мальчик в вашем возрасте, выходец

из мелкой буржуазии (барон с особым удовольствием подчеркнул эти два слова) должен знать французскую историю. Эти люди моего круга невежественны, как лакеи, и ничего не читают. В былое время лакеями при короле состояли вельможи, а теперь вельможи зачастую ничем не отличаются от лакеев. Но молодые буржуа вроде вас — люди начитанные. Вы, конечно, знаете, как прекрасно сказал о моих родственниках Мишле:[272] «Могущественные Германты представляются мне поистине великими людьми. И что перед ними бедный маленький французский король, заточенный в своем парижском дворце?» О себе самом я не очень люблю говорить, но, может быть, вам уже известно, — на это намекнула нашумевшая статья в «Таймсе», — что австрийский император, который всегда дарил меня своей благосклонностью и почитал за должное поддерживать со мной родственные отношения, недавно в разговоре, который сделался достоянием гласности, заявил, что если бы около графа

[272] Примечания: 272

…сказал… Мишле… — Речь идет о Жюле Мишле (1798–1874), французском историке и писателе, творчество которого увлекало молодого Пруста. В данном случае писатель иронизирует над кумиром молодости, и цитата является пастишем.

Шамборского[273] находился человек, который так же хорошо, как я, знал бы закулисную сторону европейской политики, то графу быть бы теперь французским королем. Я часто думал, что обладаю, — не благодаря моим слабым способностям, а в силу обстоятельств, о которых вы, быть может, потом узнаете, — сокровищницей опыта, чем-то вроде бесценного секретного досье, которым я не считал себя вправе пользоваться в своих личных целях, но на которое молодой человек посмотрит как на драгоценность, когда я через несколько месяцев передам ему то, что собирал более тридцати лет и чем, может быть, только я один и владею, Я имею в виду не роскошную пищу для ума, которую вы получите, узнав некие тайны, а ведь нынешние Гизо[274] отдали бы несколько лет жизни за то, чтобы их выведать, потому что если б эти тайны им открылись, то они стали бы смотреть на некоторые события иными глазами. И я имею в виду не только совершившиеся события, но сцепление обстоятельств (это было одно из из-

[273] Примечания: 273

Граф Шамборский — Анри де Бурбон, герцог Бордосский, граф Шамборский (1820–1883), последний представитель старшей ветви Бурбонов и последний законный претендент на трон Франции после Карла X.

[274] Примечания: 274

Гизо, Франсуа (1787–1874) — французский историк и политический деятель.

любленных выражений де Шарлю, и, произнося его, он молитвенно складывал руки, но пальцев не сгибал, как бы изображая их сомкнутостью сцепление не называемых им обстоятельств). Я вам по-новому объясню не только прошлое, но и будущее.

Де Шарлю сам себя перебил: он стал расспрашивать меня о Блоке, о котором шла речь, — хотя барон делал тогда вид, что не слышит, — у маркизы де Вильпаризи. И его манера говорить до того не соответствовала содержанию, что казалось, будто думает он о другом и роняет слова машинально; как будто только из вежливости он спросил, молод ли мой приятель, красив ли, и прочее. Если бы Блок слышал наш разговор, де Шарлю еще сильней заинтересовал бы его, чем маркиз де Норпуа, но только совсем по другим причинам: его заинтересовало бы, за или против Дрейфуса де Шарлю. «Для вашего дальнейшего развития, — кончив расспросы о Блоке, продолжал де Шарлю, — вам следует водить дружбу с людьми другой национальности». Я ответил, что Блок француз. «А-а! — произнес де Шарлю. — Я думал, еврей». Вычитав в его словах мысль о несовместимости, я невольно подумал, что де Шарлю — один из самых ярых антидрейфусаров,

каких я только знаю. Но он высказался против обвинения Дрейфу-;а в государственной измене. Впрочем, в такой форме: «Кажется, газеты пишут о Дрейфусе, что он совершил преступление против отечества, кажется, так, — я газетам особого внимания не уделяю; читать газеты — это для меня все равно, что мыть руки; ничего любопытного я в них не нахожу. Так или иначе, преступления тут нет, соотечественник вашего друга совершил бы преступление против отечества, если бы предал Иудею, но какое отношение имеет он к Франции?» Я возразил, что если начнется война, то евреев мобилизуют вместе со всеми. «Возможно, но я не уверен, что это правильно. Хотя если призовут сенегальцев или мадагаскарцев, то вряд ли они будут более храбро сражаться за Францию, и это естественно. Вашего Дрейфуса скорее можно было бы осудить за нарушение правил гостеприимства. Но довольно об этом. Вы не могли бы попросить вашего друга, чтобы он сводил меня в синагогу, когда там совершается какой-нибудь торжественный обряд — например, обрезание, — с еврейскими песнопениями? А может быть, он снимет зал и устроит для меня библейское представление, вроде того как

девицы из Сен-Сира[275] для развлечения Людовика Четырнадцатого разыгрывали расиновские переложения псалмов. И нельзя ли что-нибудь смешное? Допустим, ваш друг в единоборстве со своим отцом ранил бы его, как Давид Голиафа. Получился бы довольно забавный фарс. А еще он мог бы дать взбучку или, как выражается моя старая служанка, вздрючку своей маменьке. Вот это было бы великолепно, это бы нас посмешило. Как по-вашему, дружок? Мы же любим экзотические зрелища, а ведь если избить это заморское чудище, то старая уроди– 1 на понесет заслуженное наказание, только и всего». Произнося эти страшные слова, слова полусумасшедшего, барон до боли сжимал мне руку. Вспомнив рассказы родных де Шарлю о том, как он удивительно добр к своей старой служанке, чей провинциализм в мольеровском вкусе он только что привел, я подумал, как было бы интересно попытаться определить, несмотря на всю их сложность, до сих пор, с § моей точки зрения, недостаточно

[275] Примечания: 275

Сен-Сир — основанная в 1686 г. госпожой де Ментенон школа, предназначенная для воспитания бедных девушек из благородных семейств. В этом учебном заведении часто устраивались театральные представления. Две трагедии Расина на библейские сюжеты «Эсфирь» и «Гофолия» и расиновские переложения псалмов в 1694 г. игрались в присутствии короля.

изученные взаимоотношения доброты и злобы в одном и том же сердце.

Я сообщил де Шарлю, что матери Блока нет на свете,| а об отце высказал предположение, что вряд ли он с восторгом примет участие в представлении, во время которого ему в два счета могут выбить глаза. Де Шарлю был явно недоволен. «Как глупо со стороны этой женщины, что она умерла! — сказал он. — Ну, а насчет выбитых глаз, то синагога как раз слепа, евангельских истин она не видит.[276] Да нет, вы только подумайте, именно теперь это же великая честь для несчастных евреев, которые страшатся бессмысленной ярости христиан: такой человек, как я, снисходит до того, что развлекается, глядя на их увеселения!» В эту минуту я увидел Блока-отца — по всей вероятности, он шел встречать сына. Он нас не видел; я предложил де Шарлю познакомить их. Но я не представлял себе, как это обозлит моего спутника. «Познакомить его со мной? Сразу

[276] Примечания: 276

...синагога как раз слепа, евангельских истин она не видит. — В словах де Шарлю содержится скрытая цитата из книги французского искусствоведа Эмиля Маля «Религиозное искусство XIII века во Франции», где, в частности, автор объясняет, что две величественные фигуры на фасаде собора Парижской Богоматери — Синагоги с завязанными глазами и Церкви — должны были указывать евреям на то, что Священное Писание больше не имеет для них смысла, а христианам — что оно не является больше тайной для Церкви.

видно, что вы плохо знаете цену людям! Со мной так просто не знакомятся. В данном случае бестактность усугубляется оттого, что знакомящий слишком молод, а тот, кого он хочет представить, слишком ничтожен. Самое большее, на что я мог бы пойти, — если для меня устроят азиатское зрелище, которое я вам наметил в общих чертах, — это сказать паршивцу несколько теплых слов. Но с условием, что сынок беспрепятственно задаст ему основательную трепку. Я даже выражу по сему случаю удовлетворение».

Блок между тем не обращал на нас никакого внимания. Он низко кланялся г-же Сазра, а та была с ним очень приветлива. Меня это удивило, потому что когда-то, в Комбре, она возмущалась моими родителями, принимавшими у себя молодого Блока, — такой заядлой была она антисемиткой. Но волной дрейфусарства несколько дней тому назад к ней прибило отца моего друга. Он нашел, что г-жа Сазра очаровательна; особенно ему понравился ее антисемитизм: он видел в нем доказательство ее прямоты и искренности дрейфусарских ее убеждений, — вот почему он был так польщен ее согласием принять его у себя. Он даже не обиделся, когда она, не подумав, ска-

зала при нем: «Дрюмон[277] собирается посадить ревизионистов в один мешок с протестантами и евреями. Чудная компания!» «Бернар! — придя домой, с гордостью сказал он Ниссону Бернару. — Ты знаешь: она не лишена этого предрассудка!» Ниссон Бернар ничего не ответил, а только возвел к небу ангельские свои глаза. Он скорбел за гонимых евреев, помнил своих друзей-христиан, по причинам, которые выяснятся из дальнейшего, с годами становился все более манерным и жеманным и походил теперь на ларву с картины прерафаэлита — ларву, у которой торчат как бы случайно кем-то воткнутые перья, — такими же ненужными выглядят волоски в опале.

— В деле Дрейфуса неприятно одно, — все еще держа меня под руку, продолжал барон. — Оно разрушает общество (я не говорю: хорошее общество, оно давно уже не заслуживает этого лестного эпитета), ибо следствием этого дела явился наплыв господ и дам из страны Швалии, Шушвалии, Шушерии, словом, никому неведомых личностей, которых я встречаю даже у моих

[277] Примечания: 277

Дрюмон, Эдуард (1844–1917) — французский публицист, ярый антисемит. Его памфлет «Еврейская Франция» (1886) имел скандальный успех и способствовал распространению антисемитизма среди французского среднего класса рубежа веков. Лозунг основанной им ежедневной газеты «Ла Либр Пароль» («Свободное слово») — «Франция — французам».

родственниц, потому что они входят в какую-то антиеврейскую Лигу французских патриотов,[278] точно политические взгляды дают право на положение в обществе.

Чванливость сближала де Шарлю с герцогиней Германтской. Я указал ему на их сходство. Должно быть, он думал, что я незнаком с герцогиней, но я напомнил ему вечер в Опере, когда он как будто прятался от меня. Де Шарлю твердо стоял на том, что не заметил меня, и в конце концов он бы меня переубедил, но вскоре из-за одного ничтожного обстоятельства мне в душу закралось подозрение: а вдруг де Шарлю такой гордец, что ему было бы неприятно, если б его увидели вместе со мной?

— Вернемся к вам, — сказал де Шарлю, — к моим планам, связанным с вами. Существует некое франкмасонское братство, — я ничего не могу вам о нем сообщить, кроме того, что в братстве состоят четыре европейских монарха.

Так вот, приближенные одного из них хотят вы-

---

[278] Примечания: 278

Лига французских патриотов — политическая организация националистического толка, основанная в декабре 1898 г. рядом французских литераторов антидрейфусаров (Морис Баррес, Фердинанд Брюнетьер, Жюль Леметр, Франсуа Коппе), к которым вскоре присоединились Жюль Берн, Пьер Луи, Фредерик Мистраль. Лига просуществовала четыре года, объединив в своих рядах около 40 000 членов.

лечить его от этого помешательства. Дело нешуточное, из-за него мы на грани войны. Да, именно на грани. Вы слыхали, что один человек вообразил, будто у него в бутылке китайская принцесса? Это был бред сумасшедшего. Его вылечили. Но тогда он поглупел. Есть болезни, от которых не следует лечить, потому что они предохраняют нас от более опасных. У моего родственника был больной желудок — он не переваривал никакой пищи. Его лечили самые крупные специалисты по желудочным болезням, но безрезультатно. Я повел его к одному врачу (между прочим, тоже весьма любопытный тип, о нем можно было бы рассказать много интересного). Врач сразу понял, что у моего родственника это на нервной почве. Он убедил больного и сказал, что ему можно есть все. Но у моего родственника было еще воспаление почек. Желудок усваивал пищу великолепно, а почки в конце концов перестали работать, и мой родственник, вместо того, чтобы дожить до старости с воображаемой желудочной болезнью, которая заставляла его соблюдать диету, умер сорока лет, вылечив желудок, но загубив почки. Вы бесконечно далеко ушли от своей среды и — кто знает? — быть может, со временем станете тем, чем мог бы стать в прошлом выдающийся

человек, если бы какой-нибудь добрый гений открыл ему законы пара и электричества, когда люди еще понятия о них не имели. Не валяйте дурака, не отказывайтесь из деликатности. Поймите: я вам окажу большую услугу, но я надеюсь, что и вы окажете мне не меньшую. Свет давно уже мне безразличен, у меня осталось только одно большое желание: искупить свои грехи, поделившись накопленным мною с душой еще девственной, способной пламенно любить добродетель. Я пережил много тяжелого — быть может, когда-нибудь я вам о себе расскажу, я потерял жену — прекрасную, благородную, во всех отношениях безупречную женщину. Мои молодые родственники не то что не достойны, а не способны воспользоваться тем духовным наследством, о котором я вам говорил. Кто знает, быть может, вы и есть тот, к кому оно может перейти, тот, кем я могу руководить и кого я могу возвеличить, я бы от этого только выиграл. Быть может, посвятив вас в великие дипломатические тайны, я снова почувствую к ним влечение и наконец займусь интересным делом, а вы будете моим помощником. Но чтобы в этом убедиться, я должен встречаться с вами часто, очень часто, ежедневно. Я решил, воспользовавшись нечаян-

ной благосклонностью де Шарлю, обратиться к нему с просьбой: не может ли он устроить мне встречу со своей невесткой, но в эту минуту мою руку словно ударило током. Это выдернул свою руку де Шарлю. Несмотря на то, что, разговаривая, он все время оглядывался по сторонам, он только сейчас заметил графа д'Аржанкура, показавшегося из-за угла. Для бельгийского посла это была, по-видимому, неприятная встреча; он метнул в меня подозрительный взгляд, точно перед ним было существо другой породы, почти такой же взгляд, каким герцогиня Германтская смотрела на Блока, и хотел было пройти мимо. Но де Шарлю, точно нарочно стараясь попасться ему на глаза, окликнул его и сказал что-то незначащее. Думая, быть может, что граф д'Аржанкур меня не узнал, де Шарлю сказал ему, что я большой друг маркизы де Вильпаризи, герцогини Германтской, Робера де Сен-Лу, а что он, де Шарлю, старый друг моей бабушки и был бы счастлив перенести на ее внука частицу своей симпатии к ней. И все же от меня не укрылось, что, хотя у маркизы де Вильпаризи графу д'Аржанкуру только назвали мое имя, а де Шарлю подробно рассказывал ему о моей семье, граф был теперь холоднее со мной, нежели час назад, да и потом он долго еще при

встречах со мной держался отчужденно. В тот вечер он смотрел на меня с любопытством, но без малейшего оттенка приязни, а когда прощался с нами, то, даже как бы преодолевая внутреннее сопротивление, не без колебания протянул мне руку и тут же отдернул.

— Я не в восторге от этой встречи, — сказал де Шарлю. — Аржанкур — из хорошей семьи, но дурно воспитан, дипломат ниже среднего, отвратительный муж, бабник, годился бы на амплуа плута; он из тех людей, которые не способны понять, но зато очень даже способны разрушать подлинные ценности. Я надеюсь, что наша с вами дружба, если только она завяжется, будет представлять собой именно такую ценность, и еще я надеюсь, что вы будете любезны ограждать ее, так же как и я, от ударов копытом таких вот ослов, которые от нечего делать, от неуклюжести, по злобе ломают то, что нужно беречь. К несчастью, большинство светских людей скроено по этому образцу.

— Герцогиня Германтская, должно быть, очень умна. Сегодня мы с ней говорили о возможностях новой войны. По-моему, герцогиня хорошо об этом осведомлена.

— Ни о чем она не осведомлена, — сухо заметил

де Шарлю. — Женщины, как, впрочем, и многие мужчины, ничего не смыслят в таких вещах, о которых мне хочется с вами поговорить. Моя невестка — прелестная женщина, но она воображает, что живет во времена, описываемые в романах Бальзака, когда женщины влияли на политику. В наши дни постоянное общение с моей невесткой для вас губительно, как, впрочем, выходы в свет вообще. Я именно об этом в первую очередь и хотел вас предупредить, но мне помешал этот балбес. Первая жертва, которую вам придется для меня принести, — а я потребую от вас ровно столько жертв, сколько сделаю вам одолжений, — это порвать со светом. Мне было сейчас больно видеть вас на этом нелепом сборище. Вы мне возразите, что ведь и я там был, но для меня это не выход в свет, а посещение родственников. Впоследствии, в зрелом возрасте, если вас потянет на короткое время погрузиться в светскую среду, то, может быть, это окончится для вас благополучно. Мне не нужно объяснять, как я вам тогда пригожусь. «Сезам» дома Германтов и всех домов, которые стоят того, чтобы их двери перед вами распахнулись, — этот «Сезам» в моем распоряжении. Я буду и судьей, и хозяином положения. Пока еще вы только «оглашенный».

В том, что вы появились в высшем свете, есть нечто для вас унизительное. Прежде всего надо не допускать неприличий.

Я решил, воспользовавшись тем, что де Шарлю заговорил о своем посещении маркизы де Вильпаризи, попытаться выяснить, кем он ей доводится, выяснить ее происхождение, но с языка у меня сорвался другой вопрос: я спросил, что собой представляет род Вильпаризи.

— Откровенно говоря, вопрос не так-то прост, — зачастил в ответ де Шарлю. — Это все равно, как если бы вы спросили, что такое ничто. Моя тетка все может себе позволить, и вот на нее нашла блажь: она вторично вышла замуж за никому не известного Тирьона, и из-за этого самая славная французская фамилия ушла в небытие. Тирьон беспрепятственно, как в романах, взял себе угасшую аристократическую фамилию, а затем скончался. История умалчивает, пленяла ли его до этого Тур д'Овернь, колебался ли он между Тулузой и Монморанси. Факт тот, что в конце концов он захотел стать господином де Вильпаризи. После семьсот второго года таких случаев уже не было, и я решил, что намерения у него скромные — дать этим понять, что он родом из Вильпаризи (есть такой городок недалеко

от Парижа), что там у него была нотариальная контора или парикмахерская. Но тетка от великого ума — сейчас она в таком возрасте, когда выживают из последнего, — объявила, что в роду ее мужа был такой маркизат, и написала об этом всем нам; неизвестно зачем, она сочла нужным действовать официально. Когда человек присваивает себе фамилию, на которую у него нет никаких прав, то не нужно поднимать шум — надо было поступить, как поступила наша очаровательная приятельница, так называемая графиня де М.: она не послушалась совета супруги Альфонса Ротшильда и отказалась увеличить взнос в пользу папы ради приобретения титула — ведь все равно это не дало бы ей больше прав на него. Но вот что во всем этом самое смешное: тетка начала скупать портреты настоящих Вильпаризи, к которым покойный Тирьон никакого отношения не имел. Теткин замок превратился в скупочный пункт, и эта все выше и выше вздымавшаяся волна портретов накрыла портреты каких-то там Германтов и каких-то там Конде, а ведь, что ни говорите, это была не мелкая сошка. Антиквары ежегодно фабрикуют для нее новые. У нее в замке, в столовой, висит портрет Сен-Симона по той причине, что его племянница была

первый раз замужем за господином де Вильпаризи, хотя, по всей вероятности, автор «Мемуаров» для посетителей представляет куда больше интереса по другим поводам, чем в качестве прадеда господина Тирьона.

Я разочаровался в маркизе де Вильпаризи, как только увидел ее разношерстный салон; когда же я узнал, что маркиза де Вильпаризи — всего-навсего г-жа Тирьон, то она окончательно пала в моих глазах. Я считал недопустимым, что женщина, сочинившая себе титул и фамилию только потому, что она в дружбе с особами королевского рода, может ввести в заблуждение современников и уж непременно введет потомков. Как только маркиза де Вильпаризи снова превратилась в ту, какой она виделась мне в детстве, стала особой, в которой нет ровно ничего аристократического, мне показалось, что все окружавшие ее высокопоставленные родственники ей чужие. Она и потом была с нами необычайно мила. Я иногда заходил к ней, а она присылала мне в подарок какую-нибудь вещицу. Но в моем представлении она никак не была связана с Сен-Жерменским предместьем, и, пожелай я что-нибудь узнать о нем, я обратился бы к ней в последнюю очередь.

— Теперь, — продолжал де Шарлю, — если б вы

бывали в свете, вы ухудшили бы свое положение, у вас появились бы обо всем искаженные представления, а ваш характер испортился бы. Вообще нужно быть сугубо осторожным, особенно в выборе товарищей. Заводите любовниц, если ваши родители ничего не будут иметь против, меня это не касается, я бы даже вас на это подтолкнул, шалунишка вы этакий, — шалунишка, которому скоро нужна будет бритва, — прибавил он, дотронувшись до моего подбородка. — Но выбор друзей среди мужчин — это гораздо важнее. Из каждых десяти молодых людей восемь — дрянцо, мелкая сволочь, которая так вам напакостит, что вы потом никакими силами не спасете положение. Вот мой племянник Сен-Лу — это для вас, в общем, хороший товарищ. Для вашего будущего он ничего не сумеет сделать — о нем позабочусь я. Одним словом, — насколько я его знаю, — для того, чтобы вдвоем куда-нибудь пойти, когда я вам надоем, он, по-моему, человек более или менее подходящий. Во всяком случае, он мужчина, он не из числа женоподобных юнцов, которых столько развелось за последнее время: из-за этих педалей их невинные жертвы гибнут на эшафоте. (Я не понимал, что значит жаргонное словечко «педаль». Кто бы его ни узнал, все были бы удив-

лены не меньше, чем я. Светские люди любят говорить на жаргоне. Люди, которых можно в чем-либо упрекнуть, подчеркивают, что они не боятся говорить о своих пороках; они думают, что это доказывает их невиновность. Но они утратили ощущение словесной иерархии: они не отдают себе отчета, что, перейдя за известную грань, шутка приобретает особый, непристойный смысл и служит доказательством не столько наивности, сколько извращенности.) Он не такой, как другие, он милый, степенный.

Я не мог не улыбнуться, услыхав определение «степенный», которое де Шарлю произнес, словно подразумевая под этим «высоконравственный», «аккуратный», — так говорят про молодую работницу, что она «степенна».

Тут мимо нас проехал фиакр, шарахавшийся то туда, то сюда; молодой извозчик сидел не на козлах, а в глубине экипажа и оттуда правил, развалившись на мягком сиденье, — по-видимому, вполпьяна. Де Шарлю сейчас же остановил его. Извозчик вступил в переговоры:

— Вам в какую сторону?

— В вашу. (Это меня удивило, — де Шарлю несколько раз отказывался сесть в экипажи с фонарями такого же цвета.)

— Но садиться на козлы мне неохота. Ничего, если я останусь в экипаже?

— Ничего, только опустите верх. Словом, подумайте о моем предложении, — сказал мне на прощание де Шарлю, — даю вам несколько дней на размышление, напишите. Повторяю: мне нужно видеться с вами ежедневно и быть уверенным в вашей преданности и скромности, о чем — надо отдать вам справедливость — свидетельствует ваша наружность. Но меня столько раз обманывал внешний вид, что больше мне не хочется попадаться на эту удочку. Дьявольщина! Расставаясь с сокровищем, должен же я знать, в какие руки оно попадет! Словом, запомните твердо мои условия. Вы теперь как Геркулес на распутье,[279] но только, к несчастью для вас, по-видимому, без его мощной мускулатуры. Поступайте так, чтобы вам потом не пришлось всю жизнь каяться, что вы не избрали путь, ведущий к добродетели. Вы что же это, — обратился он к извозчику, — так и не опустили верх? Ну ладно, я сам. Видно, мне и править самому придется — в

---

[279] Примечания: 279

...Геркулес на распутье... — Имеется в виду мифический рассказ древнегреческого философа-софиста и языковеда Продика с Кеоса (V в. до н. э.) «Геракл на распутье», в котором философ предоставил Гераклу возможность избрать тернистый путь добродетели вместо легкой дороги радости и порока.

таком вы состоянии.

Он вскочил в экипаж, сел рядом с извозчиком и во всю рысь погнал лошадь.

Я же, придя домой, застал словно продолжение разговора, который незадолго перед тем вели Блок и маркиз де Норпуа, но только здесь все говорилось сжато, резко, вкривь и вкось. Спорили наш дворецкий, дрейфусар, и дворецкий Германтов, антидрейфусар. Правда и ложь, сталкивавшиеся наверху, в выступлениях главарей Лиги французских патриотов и Лиги прав человека,[280] доходили до самых низов. Рейнак взывал к чувству людей, никогда его не видевших, а сам смотрел на дело Дрейфуса с точки зрения разума, как на неопровержимую теорему, которую он действительно доказал благодаря невиданному успеху (успеху, по мнению некоторых, невыгодному для Франции) рациональной политики. В течение двух лет он свалил министерство Бийо[281] и заменил его министерством Клемансо, произвел переворот в умах, освободил из тюрьмы

[280] Примечания: 280

Лига прав человека — политическая организация, основанная в феврале 1898 г. сенатором Людовиком Трарье; объединяла дрейфусаров.

[281] Примечания: 281

Бийо, Жан-Батист (1828–1907) — французский военачальник и государственный деятель, военный министр (1896–1898).

Пикара и за неблагодарность посадил его в военное министерство. Быть может, этот рационалист, управлявший массами, сам был управляем своим происхождением. Если даже философские системы, в наибольшей степени приближающиеся к истине, в конечном счете обязаны своим возникновением чувствам, владевшим их создателями, то сам собой напрашивается вывод, что и в обыкновенном политическом деле, вроде дела Дрейфуса, чувство в человеке, основывающемся на доводах разумных, неведомо для него самого, главенствует над его разумом. Блок считал, что его дрейфусарство может быть обосновано логически, хотя знал, что нос, волосы и кожу он получил от своей расы. Конечно, разум свободнее; и все же он подчиняется законам, которые установил не он. Спор дворецкого Германтов с нашим был спор особенный. Волны двух течений — дрейфусарства и антидрейфусарства, — сверху донизу разделявших Францию, в общем были бесшумны, но когда изредка раздавались всплески, то в них слышалась искренность. Если во время разговора, умышленно не касавшегося дела Дрейфуса, кто-нибудь, якобы между прочим, чаще всего принимая чаемое за сущее, сообщал политическую новость, можно было по тому,

что он пророчил, судить об его настроениях. Так, в некоторых вопросах сталкивались робкая проповедь и священный гнев. Разговор двух дворецких, который я услышал, придя домой, составлял исключение из общего правила. Наш намекал на то, что Дрейфус виновен, дворецкий Германтов — на то, что невиновен. Объяснялись они намеками не для того, чтобы не высказывать прямо своих убеждений, — это было упорство вошедших в азарт игроков. Наш дворецкий, не уверенный в пересмотре, хотел заранее, на случай провала, лишить дворецкого Германтов удовольствия думать, что правое дело проиграно. Дворецкий Германтов считал, что в случае отказа в пересмотре наш будет еще больше беситься при мысли, что на Чертовом острове держат невинного. На дворецких смотрел привратник. У меня создалось впечатление, что это не он мутит воду среди прислуги Германтов.

Пройдя наверх, я убедился, что бабушке стало хуже. С некоторых пор, не зная толком, что у нее, она начала жаловаться на нездоровье. Только когда мы заболеваем, нам становится ясно, что мы живем не одни, что мы прикованы к существу из другого мира, от которого нас отделяет пропасть, к существу, нас не знающему и неспособному

понять: к нашему телу. Если мы повстречаемся на большой дороге с самым страшным разбойником, то, в крайнем случае, пусть даже мы не проймем его нашим жалким видом, нам, быть может, удастся сыграть на его корыстолюбии. Но пытаться разжалобить наше тело — это все равно что тратить красноречие на осьминога, который в наших словах уловит столько же смысла, сколько в шуме воды, и жизнь с которым, если бы нас на это обрекли, была бы для нас пыткой. На свои немощи бабушка редко обращала внимание — оно было поглощено нами. Если недуги уж очень ее донимали, она, чтобы выздороветь, тщетно пыталась понять, что же с ней. В случае, если болезненные ощущения, полем деятельности для которых являлось ее тело, продолжали оставаться для нее неясными и непостижимыми, они были очевидны и различимы для существ, принадлежавших к тому же царству природы, что и они, существ, к которым человеческий разум в конце концов стал обращаться, чтобы понять, что ему говорит его тело, вроде того как для беседы с иностранцем мы зовем в качестве переводчика кого-нибудь из его соотечественников. Эти существа обладают способностью разговаривать с нашим телом, сообщать нам,

насколько опасен его гнев и скоро ли он утихнет. Приглашенный к бабушке Котар, с самого начала обозливший нас, — когда мы ему сказали, что бабушка больна, он с лукавой улыбкой спросил: «Больна? А это не диплома тическая болезнь?» — Котар, чтобы у больной прошло возбужденное состояние, посадил ее на молочную диету. Но всегда один и тот же молочный суп пользы не принес, оттого что бабушка сыпала в него много соли (это было до открытий Видаля[282]), вред от которой тогда еще не был известен. Ведь медицина — это целый компендиум нагромождающихся одна на другую ошибок врачей, их противоречивых суждений, — таким образом, если даже мы пригласим лучших врачей и почти наверное вымолим у них истину, спустя несколько лет окажется, что это не истина, а заблуждение. Вот почему верить в медицину — это величайшее безумие, а не верить — еще большее, так как из груды ошибок с течением времени было извлечено несколько правильных умозаключений. Котар сказал в тот день, когда бабушка чувство-

[282] Примечания: 282

Видаль, Фернан (1862–1929) — французский медик и бактериолог, получил известность благодаря своим работам в области диагностики тифа. В 1903 г. обнаружил вредное влияние соли на организм больных, страдающих нефритом.

вала себя как раз сносно, что нужно измерить ей температуру. Сходили за градусником. Почти во всем его столбике не было ртути. Еле видна была серебряная саламандра, притаившаяся на самом дне своей кадочки. Можно было подумать, что она мертва. Стеклянную дудочку вставили бабушке в рот. Нам не пришлось оставлять ее там надолго; маленькая колдунья скоро составила гороскоп. Когда мы взглянули на нее, она была неподвижна; добравшись до половины своей башни и уже не шевелясь, она в ответ на наш вопрос показывала точную цифру, которую все размышления бабушкиной души над самой собой были бы бессильны ей сообщить: 38,3°. Только тут мы встревожились. Мы встряхнули градусник, чтобы стереть зловещий знак, как будто таким образом вместе с температурой можно сбавить и жар. Увы! Было непререкаемо ясно, что маленькая неразумная сивилла дала ответ не из прихоти: на другой день, только успели вставить градусник бабушке в рот, как почти тотчас же, словно одним прыжком, ошеломляющая своим безошибочным чутьем на то, что для нас оставалось незримым, маленькая прорицательница подскочила до той же точки и, неумолимая в своей неподвижности, блестящим прутиком снова

показала нам цифру 38,3°. К этому она ничего не добавила, она оставалась глуха к нашим упованиям, просьбам, мольбам; казалось, это было ее последнее слово, предостерегающее и грозное.

Чтобы все-таки заставить ее изменить ответ, мы обратились к другому созданию из того же царства, но только более могущественному, которое не спрашивает тело, а повелевает им: к жаропонижающему того же рода, что и тогда еще не применявшийся аспирин. Мы стряхнули в градуснике ртуть до 37,5°, надеясь, что выше она не поднимется. Мы дали бабушке жаропонижающее и опять вставили градусник. Если самому неумолимому сторожу показать пропуск, подписанный по протекции высшим начальством, то, проверив пропуск, он скажет: «Ну ладно, раз у вас все в порядке, я не могу вас не пропустить, проходите», — так и бдительная привратница на этот раз не шевельнулась. Но мрачный ее вид говорил: «Какой вам от этого прок? Если вы прибегнете к хине, она прикажет мне не шевелиться: раз прикажет, десять раз прикажет, двадцать раз прикажет. А потом ей надоест, я ее знаю, уж вы мне поверьте. Долго это не протянется. Ничего у вас не выйдет».

Но тут бабушка почувствовала, что в нее вошло

создание, знавшее тело человека лучше, чем она, вошел современник исчезнувших пород, первый наследник земли, появившийся задолго до сотворения мыслящего человека; почувствовала, как тысячелетний союзник грубовато ощупывает ей голову, сердце, локоть, — это он опознавал местность, тщательно готовился к доисторическому сражению, и сражение тут же и произошло. Лихорадку, этого раздавленного Пифона,[283] мгновенно одолел мощный химический элемент, и бабушке хотелось, чтобы ее благодарность дошла до него через все царства природы, поверх всех животных и растений. Ее взволновало это свидание сквозь века — свидание с миром, существовавшим даже до сотворения мира растительного. А градусник между тем, точно Парка, в мгновение ока побежденная более древним богом, не двигал свое серебряное веретено. Увы! Другие низшие существа, обученные человеком охотиться за таинственной дичью, которая живет внутри него, но которую он не может поймать, каждый день безжалостно сообщали нам цифру

[283] Примечания: 283

Пифон (Дельфиний) — в греческой мифологии чудовищный змей, рожденный Геей. Опустошал окрестности Дельф и сторожил древнее прорицалище Геи в Дельфах. Был убит Аполлоном, основавшим на месте убийства храм и учредившим Пифийские игры.

белка, правда, незначительную, однако до того устойчивую, что казалось, ее порождает тоже какое-то постоянное, только нами не замечаемое явление. Бергот, сказав, что доктор дю Бульбон мне не наскучит, что он изберет для меня курс лечения, может быть на первый взгляд странный, но зато отвечающий складу моего ума, покоробил мою беспристрастность, бравшую во мне верх над рассудком. Но идеи преображаются в нас, они преодолевают препятствия, которые мы им ставим вначале, они питаются огромными интеллектуальными запасами, которые мы делали, не зная, что это для них. Теперь, как во всех случаях, когда кем-нибудь высказанное при нас мнение о незнакомом нам человеке вызывает у нас представление о большом таланте, почти гении, я вдруг почувствовал к доктору дю Бульбону безграничное доверие, какое внушает нам тот, кто зорче других видит истину. Мне, конечно, было известно, что он скорее специалист по нервным болезням — недаром Шарко[284] перед смертью предрек ему, что он займет первое место

[284] Примечания: 284

Шарко, Жан-Мартен (1825–1893) — французский медик, основоположник современной неврологии, один из учителей Зигмунда Фрейда. В одном из писем Пруст признавался, что моделью образа дю Бульбона был доктор Эдуар Бриссо (1852–1909), невролог и автор книги «Гигиена астматиков» (1896).

среди невропатологов и психиатров. «Да не знаю, очень может быть», — заметила находившаяся тут же Франсуаза. Имена Шарко и дю Бульбона она слышала первый раз в жизни, но это не помешало ей сказать: «Может быть». Эти ее «может быть», «пожалуй», «да не знаю» в таких случаях раздражали меня. Меня подмывало осадить ее: «Откуда же вам знать, раз вы ничего не смыслите в том, что мы обсуждаем? Раз вы ничего не знаете, то как же вы осмеливаетесь говорить, может что-то быть или не может? Впрочем, теперь-то уж вы не имеете права ссылаться на незнание того, что Шарко сказал дю Бульбону, и прочее, — вы это знаете, мы вам об этом сказали, и ваши „пожалуй“ и „может быть“ совершенно излишни, потому что это точно известно».

Хотя доктор дю Бульбон особенно славился как знаток нервно-мозговой деятельности, тем не менее, будучи наслышан, что дю Бульбон замечательный врач и большой человек, наделенный умом гибким и глубоким, я упросил маму пригласить его, и надежда на то, что, поставив правильный диагноз, дю Бульбон, быть может, вылечит бабушку, в конце концов возобладала над нашими опасениями, что вызов консультанта может напугать ее. Мама на это решилась,

когда бабушка, которая, сама того не сознавая, находилась под влиянием Котара, мало того что перестала выходить из дому, — почти перестала вставать' с постели. Выдержка, которую она привела из письма г-жи де Севинье о г-же де Лафайет, не убедила маму: «О ней говорили, что не выходить из дому — это с ее стороны безрассудство. Я же отвечала этим людям с их скороспелыми выводами: „Госпожа де Лафайет не безрассудна“ — и твердо на том стояла. Ей надо было умереть затем, чтобы доказать, что она была права, не выходя из дому». Вызванный к бабушке дю Бульбон признал неправой не г-жу де Севинье, которую никто ему не цитировал, а бабушку. Выслушивать ее он не стал — он впился в нее своими удивительными глазами, — быть может, он создавал себе иллюзию, что видит больную насквозь, быть может, стремился создать эту иллюзию у больной, причем казалось, что иллюзия эта возникла у него только сию минуту, на самом же деле она, вернее всего, была у него раз навсегда выработанной, быть может, ему хотелось, чтобы больная не заметила, что думает он о другом, а быть может, хотелось подчинить ее своей воле, — и заговорил о Берготе:

— Да, конечно, это изумительный писатель, вы

правы, что так высоко его ставите. Что же вы у него любите больше всего? Да что вы? Господи Боже мой, а ведь, пожалуй, действительно это самое лучшее, что он написал! Во всяком случае, это самый стройный его роман. Там совершенно очаровательна Клара. А кто вам больше всех нравится там как человек?

Я подумал сперва, что он заговорил с бабушкой о литературе, оттого что ему опротивела медицина, а может быть, еще и для того, чтобы показать, насколько широк круг его интересов, или же в целях лечебных: чтобы подбодрить больную, показать, что он за нее спокоен, развлечь ее. Но скоро я убедился, что так как основная его область, в которой он и составил себе имя, — душевные болезни и мозг, то прежде всего он проверил, не ослабела ли у бабушки память, — вот для чего он задавал ей эти вопросы. Словно нехотя он осведомился об ее самочувствии, устремив на нее суровый и пристальный взгляд. Потом вдруг, как бы различив истину и решив во что бы то ни стало до нее добраться, он начал точно отфыркиваться, выныривая из потока последних сомнений и тех возражений, которые он мог бы от нас услышать, а затем, посмотрев на бабушку ясными глазами, непринужденно и

как бы наконец нащупав твердую почву, с расстановкой, мягким, западающим в душу голосом, в каждой интонации которого звучал его ум, заговорил (впрочем, голос у него в продолжение всего визита оставался таким, какой был у него от природы, — ласковым. И его насмешливые глаза из-под густых бровей смотрели добро):

— Вы более или менее скоро почувствуете себя лучше, но вы должны понять теперь же, что вы здоровы, и начать вести прежний образ жизни. Вот вы мне сказали, что ничего не кушаете, не выходите.

— Да ведь у меня небольшой жар! Он дотронулся до ее руки.

— Сейчас у вас жара нет. Да и при чем тут жар? Неужели вам неизвестно, что мы держим на свежем воздухе, что мы усиленно питаем чахоточных с температурой до тридцати девяти?

— Но ведь у меня еще и белок.

— Вы не должны были об этом знать. У вас то, что я назвал психическим белком. У нас у всех, когда мы чем-нибудь заболеваем, выделяется белок, а врачи спешат нам об этом доложить, и вот отчего белок продолжает выделяться. Одну болезнь врачи вылечивают лекарствами (по крайней мере, они уверяют, что это им иногда

удается), зато вызывают у совершенно здоровых людей десять других, вводя в их организм возбудитель в тысячу раз ядовитее всех микробов, вместе взятых, — мысль, что человек болен. Подобное внушение действует на любого из нас, но особенно сильно — на людей нервных. Скажите им, что закрытое окно сзади них отворено, и они начнут чихать; уверьте их, что вы всыпали в суп магнезии, — у них заболит живот; что им налили кофе крепче, чем обычно, — они всю ночь не сомкнут глаз. Уверяю вас, что мне достаточно было увидеть ваши глаза, услышать, как вы выражаете свои мысли, да что там: мне достаточно было увидеть вашу дочь и внука, — а он очень на вас похож! — и я понял, с кем мне предстоит иметь дело.

— Бабушке хорошо бы посидеть, если доктор позволит, в тихой аллее на Елисейских полях, у того массива, около которого ты когда-то играл, — сказала мне мать, одновременно словно советуясь с дю Бульбоном, и от этого голос у нее звучал почтительно и робко, как он не звучал бы, если б мы с ней были одни.

Доктор повернулся к бабушке, и так как он был человек не только знающий в своей области, но и широко образованный, то сказал следующее:

— Пойдите на Елисейские поля, к массиву лавров, который любит ваш внук. Лавр окажет на вас целебное действие. Он очищает. Уничтожив змея Пифона, Аполлон с лавровой ветвью в руке вступил в Дельфы. Взял он эту ветвь с целью предохранить себя от смертоносного семени ядовитого животного. Лавр, видите ли, самое древнее, самое почтенное и — добавлю, так как это имеет непосредственное отношение и к терапии, и к профилактике, — самое лучшее обеззараживающее средство.

Так как большую часть сведений, которыми располагает врач, он почерпнул у больных, то ему легко убедить себя, что сведения у всех пациентов одни и те же, и, придя к больному, он предвкушает изумление, какое вызовет у него наблюдение, которым с ним поделился кто-нибудь из тех, кого он лечил раньше. Вот почему с лукавой улыбкой парижанина, который в разговоре с деревенским жителем рассчитывает удивить его словечком, заимствованным из просторечия, доктор дю Бульбон сказал бабушке: «Наверно, когда на дворе ветер, вы спите лучше, чем от самого сильного снотворного». — «Как раз наоборот: когда ветер, я никак не могу уснуть». Доктора обидчивы. «Да что вы?» — нахмурившись, пробормотал

дю Бульбон, точно ему наступили на ногу или точно бабушкина бессонница в ветреные ночи была для него личным оскорблением. Но все же он был не очень самолюбив, «честью мундира» не дорожил, не считал для себя обязательным считать медицину непогрешимой, и к нему скоро вернулось спокойствие философа.

Страстно желая своей поддержкой заслужить одобрение друга Бергота, моя мать сказала, что нервнобольная двоюродная сестра бабушки семь лет провела взаперти у себя в спальне в Комбре, а с постели вставала не чаще двух раз в неделю.

— Вот видите, я этого не знал, но угадать мог бы.

— Да ведь я нисколько на нее не похожа, напротив: мой врач никак не может уложить меня в постель! — сказала бабушка, — то ли теории доктора дю Бульбона слегка раздражили ее, то ли ей хотелось, чтобы он доказал неосновательность ее возражений и чтобы после его ухода у нее не осталось ни малейших сомнений в правильности его благо-приятного диагноза.

— Простите, но ведь у человека не может быть всех видов помешательства, у вас есть другие, а этого нет. Вчера я побывал в санатории для неврастеников. В саду стоял на скамейке боль-

ной — совершенно неподвижно, точно факир, так изогнув шею, что ему было, я думаю, очень больно. Я его спросил, что он тут делает, а он ответил, не пошевельнувшись и не повернув головы: «Доктор! У меня сильнейший ревматизм, и я постоянно простужаюсь, сейчас я по глупости много ходил, разогрелся, а шею мне плотно облегала фуфайка. Если теперь при движении фуфайка отстанет от моего тела до того, как я успею остынуть, то у меня наверняка заболит шея или же я схвачу бронхит». И он бы действительно его схватил. «Вы самый настоящий неврастеник, вот вы кто», — сказал я ему. Знаете, что он мне на 1 это возразил? У всех, мол, больных в этом санатории мания взвешивания, так что даже пришлось держать весы под замком, чтобы больные целыми днями не взвешивались, а вот он не охотник взвешиваться, и его надо гнать на весы силком. Он ликовал по поводу того, что у него этой мании нет, но он забывал, что у него есть своя и что она-то и предохраняет его от других. Я не имел намерения обидеть вас этим сравнением, напротив: человек, который не решается повернуть шею, чтобы не простудиться, — это величайший поэт нашего времени. Этот жалкий маньяк — самый глубокий ум, какой я только

знаю. Примиритесь с тем, что вас будут называть нервной. Вы принадлежите к блестящему и несчастному семейству, которое составляет соль земли. Все великое создано для нас нервными. Это они, а не кто-нибудь еще, заложили основы религий и создали изумительные произведения искусства. Мир так никогда и не узнает всего, чем он им обязан, а главное, сколько они выстрадали для того, чтобы всем этим его одарить. Мы наслаждаемся чудесной музыкой, прекрасными картинами, всем, что есть на свете изящного, но мы не знаем, что творцы расплачивались за это бессонницей, рыданиями, истерическим смехом, нервной лихорадкой, астмой, падучей, смертельной тоской, а это хуже всего, и вам она, быть может, знакома, — добавил он, улыбаясь бабушке, — ведь признайтесь: когда я вошел, вы были не очень бодры. Вы уверили себя, что больны, может быть даже опасно. Вам показалось, что вы обнаружили в себе симптомы бог весть какой страшной болезни. И вы не ошиблись: эти симптомы у вас были. Невроз — гениальный актер. Нет такой болезни, которую он не Мог бы искуснейшим образом разыграть. Невроз может изобразить вздутие кишечника, как при запорах, тошноту, как во время беременности, аритмию,

как при сердечных заболеваниях, озноб и жар, как у чахоточных. Если уж он способен обмануть врача, то обмануть больного ему ничего не стоит. Только вы ради Бога не думайте, что я издеваюсь над вашими недомоганиями, — я не взялся бы лечить их, если б не сумел в них разобраться. Да и хороша, понимаете ли, только взаимная исповедь. Я вам сказал, что без нервной болезни не бывает великих артистов, более того, — тут он многозначительно поднял указательный палец, — не бывает и великих ученых. И еще: если у врача нервы всегда были здоровы, то он не может быть хорошим врачом, это исключено, в лучшем случае из него выйдет посредственный врач по нервным болезням. Невропатолог, который не говорит много глупостей, наполовину вылеченный больной, так же как хороший критик — это поэт, переставший писать стихи, хороший полицейский — это вор, переставший воровать. В отличие от вас я не жалуюсь на альбуминурию,[285] я не боюсь что-нибудь не то съесть, не боюсь свежего воздуха, но зато я должен двадцать раз встать и проверить, заперта ли у меня дверь, иначе не усну. И в этот санаторий, где я вчера встретил

[285] Примечания: 285

Альбуминурия — выделение белков с мочой, признак болезненного состояния почек.

поэта, который боялся повернуть шею, я ходил заказать себе комнату: между нами говоря, я там отдыхаю и лечу свои болезни, когда изнемогаю от лечения чужих.

— Неужели мне тоже необходим санаторий? — в ужасе спросила бабушка.

— Санаторий вам не нужен. Признаки, на которые вы мне указали, подчинятся моему слову. А затем с вами остается некто могущественный, и вот его-то с сегодняшнего дня я и назначаю вашим врачом. Это — ваша болезнь, ваша повышенная нервозность. Я сумел бы вылечить вас от нее, но не стану ни за что на свете. Я буду повелевать ею — этого с меня довольно. Я вижу у вас на столе книгу Бергота. Если невроз у вас пройдет, вы Бергота разлюбите. Но какое я имею право обменять радости, какие он вам доставляет, на крепкие нервы, которые, конечно, ничем вас не порадуют? Да ведь эти радости сами по себе мощное средство, может быть даже наиболее мощное. Нет, я не в претензии на вашу нервную систему. Я только хочу, | чтобы она меня слушалась; я поручаю вас ей. Пусть-ка она даст машине задний ход. Ту силу, которую она применяла, чтобы не пускать вас гулять, чтобы не давать вам потребного количества пищи, — пусть-ка теперь она

употребит ее на то, чтобы заставить вас кушать, заставить читать, выходить на воздух, чтобы устраивать для вас всевозможные развлечения. Не говорите, что вы устали. Усталость есть не что иное, как предвзятая мысль, вошедшая в вашу плоть и кровь. Начните с того, что перестаньте думать об усталости. И если вы вдруг ощутите легкое недомогание, — а это со всяким может случиться, — то у вас его как бы и не будет, оттого что ваша нервная система превратит вас, по замечательному выражению Талейрана, в мнимую здоровую. Да она уже начала вас лечить: вы слушаете меня, сидя совершенно прямо, ни разу ни к чему не прислонились, глаза у вас живые, вид здоровый, а ведь я у вас с полчаса, и вы этого не заметили. Честь имею кланяться, сударыня!

Проводив доктора дю Бульбона и вернувшись в комнату, я застал маму одну, и в это мгновение печаль, уже давно теснившая мое сердце, рассеялась; я почувствовал, что радость моей матери вот-вот выплеснется и что она увидит, как радуюсь я; я ощутил то спокойствие, с каким мы ждем, что человек, находящийся тут же, рядом, сейчас будет чем-то взволнован, то спокойствие, которое при иных обстоятельствах отчасти напоминает ужас, овладевающий нами, когда мы

знаем, что кто-то страшный с минуты на минуту должен войти в пока еще затворенную дверь; мне хотелось что-то сказать маме, но голос у меня задрожал, и, весь в слезах, я надолго уткнулся в мамино плечо, выплакивая мое горе, наслаждаясь им, принимая его и лелея, ибо знал, что оно ушло из моей жизни, — вот так же мы любим думать о добрых дедах, которые по разным причинам мы сделать не сможем.

Франсуаза не радовалась вместе с нами, и это меня возмущало. Она была взволнована скандалом между лакеем и консьержем-наушником. Герцогиня по своей доброте вмешалась, восстановила худой мир и простила лакея. Она была хорошая женщина, и лучшего места, чем у нее, нельзя было бы найти, если бы только она не слушала «наговоров».

Известие о болезни бабушки распространилось давно, и нас уже начали спрашивать, как она себя чувствует. Сен-Лу писал мне: «Я не хочу в то время, когда твоя дорогая бабушка нездорова, осыпать тебя упреками за то, в чем она не виновата. Но я бы солгал, если бы сказал тебе, хотя бы при помощи недомолвок, что никогда не забуду твоего вероломства и никогда не прощу твоего предательства и обмана». Мои приятели, считая,

что в болезни моей бабушки ничего опасного нет (некоторые даже и не знали, что она больна), предложили мне встретиться с ними на Елисейских полях, потом побывать в гостях, а оттуда поехать за город и поужинать в обществе милых мне людей. У меня уже не было никаких оснований отказывать себе в этих двух удовольствиях. Когда бабушке сказали, что теперь ей надо будет по совету доктора дю Бульбона много гулять, она сейчас же заговорила об Елисейских полях. Я сказал, что я бы кстати проводил ее туда: она сидела бы и читала, а я в это время сговорился бы с моими приятелями, где нам встретиться, и если б не замешкался, то успел бы съездить с ними по железной дороге в Виль-д'Авре. В условленный час бабушка отказалась от прогулки — она чувствовала упадок сил. Но мама, наученная дю Бульбоном, найдя в себе силы рассердиться, переупрямила ее. Она чуть не заплакала при мысли, что на бабушку опять нападет чисто нервная слабость и тогда она уже не справится с ней. Чудная теплая погода как нельзя более благоприятствовала бабушкиному выходу. Плывшее по небу солнце вшивало в облупившуюся плотность балкона лоскутки непрочного муслина и, обтягивая тесаный камень теплой кожицей, тускло

отсвечивало на нем. Франсуаза не успела послать дочери по пневматической почте «трубку» и, решив к ней съездить, ушла после завтрака. Еще спасибо, что она согласилась зайти сначала к Жюпьену и отдать ему починить накидку, в которой бабушка собиралась выйти. Как раз в это время я возвращался с утренней прогулки и тоже пошел к жилетнику. «Это ваш молодой барин привел вас ко мне, или вы его привели? — спросил Франсуазу Жюпьен. — Словом, каким попутным ветром вас обоих занесло ко мне, какими судьбами вы оба у меня оказались?» Хотя Жюпьен в школе не учился, соблюдение синтаксических правил было для него так же естественно, как для герцога Германтского, несмотря на все его старания, нарушение этих правил. Франсуаза ушла, накидку починили, бабушке оставалось только одеться. Решительно отказавшись от помощи мамы, она сама занялась своим туалетом и потратила на него уйму времени, а я, уверенный в том, что она здорова, испытывая странное равнодушие, с каким мы относимся к нашим родным, пока они живы, и которое заставляет нас отводить им последнее место, думал, что с ее стороны это эгоизм — так копаться и задерживать меня, хотя она отлично знает, что у меня свидание с

друзьями и ужин в Виль-д'Авре. Нетерпение мое было так сильно, что я спустился по лестнице один, после того как мне два раза сказали, что бабушка сейчас будет готова. Наконец, раскрасневшаяся, с блуждающим взглядом, как будто она впопыхах забыла половину своих вещей, она догнала меня, но, против своего обыкновения, не извинилась, что задержала, а я уже стоял у полуотворенных стеклянных дверей, чувствовал, как снаружи вливается, ничуть не нагреваясь, жидкий, журчащий, не холодный воздух, и у меня было такое впечатление, словно внутри нашего дома, который почему-то не отапливается, устроили водоем.

— Господи! Ведь ты же идешь на свидание с друзьями — мне надо было надеть другую накидку. В этой у меня довольно жалкий вид.

Меня поразили ее пылающие щеки, — должно быть, чувствуя, что запаздывает, она очень торопилась. Экипаж остановился там, где кончается авеню Габриэль и начинаются Елисейские поля, и, выйдя из экипажа, бабушка сейчас же молча повернулась и пошла к старому, обвитому зеленью павильончику, где я однажды поджидал Франсуазу. Тот же самый сторож сидел рядом с «маркизой» — я заметил его, когда, следом за

бабушкой, державшей руку у рта, наверно, потому, что ее тошнило, поднимался по ступенькам балаганчика, построенного в саду. У контроля, как в ярмарочном цирке, где клоун, уже приготовившийся к выходу на сцену, набеленный, сам получает при входе деньги за билеты, «маркиза», взимавшая входную плату, выставляла напоказ свою широкую перекошенную, грубо набеленную морду и украшенный красными цветами чепчик из черного кружева на рыжем парике. По-видимому, она меня не узнала. Сторож в форме под цвет зелени, за которой он временно прекратил надзор, сидел рядом с «маркизой» и беседовал.

— Стало быть, вы все еще здесь, — говорил он. — Уходить не собираетесь?

— А зачем мне уходить? Попробуйте подыщите мне место получше, поспокойнее, более комфортабельное. А потом, здесь я всегда на людях, мне здесь веселей; я называю это моим «маленьким Парижем»; клиенты держат меня в курсе событий. Взять хотя бы того, что вышел минут пять тому назад, — он занимает очень высокий пост. Ну так вот! — воскликнула она с такой силой страсти, словно, если бы представитель администрации вступил с нею в спор, она не задумываясь применила бы физическую силу. — Подумайте:

на протяжении восьми лет, каждый Божий день, ровно в три часа он уже здесь, всегда вежливый, никогда голоса не повысит, никогда ничего не запачкает, просиживает более получаса и, пока отправляет свои естественные потребности, читает газеты. Только раз за все время он не пришел. Сперва я не обратила внимания, а вечером вдруг вспомнила: «Э, да этот господин сегодня не приходил! Уж не умер ли он?» Екнуло у меня сердце — я ведь к хорошим людям привязываюсь. И как же я была рада, когда на другой день я его увидела! Я спросила: «С вами вчера ничего не случилось?» А он мне ответил, что с ним-то самим ничего не случилось, а вот жена его умерла, и это так на него подействовало, что он не смог прийти. Ну, конечно, вид у него был расстроенный, сами понимаете: ведь они были женаты двадцать пять лет, а все-таки он был рад, что опять пришел. Он один-единственный раз изменил своим привычкам, а чувствовалось, что это уже выбило его из колеи. Мне захотелось подбодрить его, и я ему сказала: «Надо взять себя в руки. Приходите сюда, как приходили раньше, — это будет вас хоть немного отвлекать от тяжелых мыслей».

Тон «маркизы» стал не таким резким — видимо, она убедилась, что охранитель деревьев и

лужаек возражать ей не собирается, что он слушает ее с добродушным видом, а его шпага мирно покоится в ножнах и скорее напоминает садовый инструмент или какой-нибудь плод.

— Ну, а потом, — продолжала «маркиза», — я выбираю клиентов с разбором, я не всех подряд пускаю в мои, как я их называю, салоны. А разве это и впрямь не салоны, когда там цветы? У меня ведь очень любезные клиенты: смотришь, один несет чудную веточку сирени, другой — жасмина, третий несет розы, а розы — мои любимые цветы.

Мысль, что мы, быть может, на плохом счету у этой дамы, так как ни разу не принесли ей ни сирени, ни дивных роз, вогнала меня в краску, и, стремясь избежать публичного осуждения, предпочитая осуждение заочное, я было направился к выходу. Но, видно, не только с теми, кто приносит дивные розы, бывают особенно любезны, — решив, что мне скучно, «маркиза» предложила:

— Не угодно ли в кабинку? Я отказался.

— Не хотите? — улыбаясь, продолжала она. — Я ведь это бескорыстно, но я прекрасно понимаю, что такая потребность не появляется только оттого, что ее можно удовлетворить бесплатно.

Тут вбежала бедно одетая женщина — видимо,

у нее-то как раз эта самая потребность назрела, но она была из другой среды, и потому «маркиза» с жестокостью сноба сухо сказала ей:

— Свободных мест нет, мадам.

— И долго придется ждать? — спросила несчастная женщина в шляпе с желтыми цветами, оттенявшими багровый цвет ее лица.

— Знаете что, мадам: я бы вам посоветовала пойти в другое место, видите: тут уже два господина ожидают, — она указала на меня и на сторожа, — а у меня всего один кабинет, другие ремонтируются.

— По ее лицу видно, что она заплатит гроши, — сказала «маркиза». — Она не из того круга: ни опрятности, ни уважения к моему труду, потом убирай за ней целый час. Не нуждаюсь я в ее двух су.

Наконец бабушка вышла, а я, боясь, что она не постарается загладить чаевыми неделикатность, которую она проявила, так долго просидев в кабинке, поспешил удалиться, чтобы на меня не попали брызги презрения, которым, по моим предположениям, «маркиза» должна была обдать бабушку, и пошел по аллее, но медленно, чтобы бабушке легче было догнать меня. Она и в самом деле скоро меня догнала. Я был уверен, что она

скажет: «Я тебя задержала, а все-таки надеюсь, что твои друзья тебя дождутся», но она не произнесла ни слова, чем слегка покоробила меня, и я решил не заговаривать с ней, но когда я посмотрел на нее, то увидел, что она от меня отворачивается. Я со страхом подумал, что ее опять затошнило. Когда же я присмотрелся к ней повнимательнее, меня поразила ее развинченная походка. Шляпа у нее съехала набок, накидка была запачкана, весь вид у нее был какой-то расхлябанный, лицо красное, выражение растерянное и потрясенное, как у человека, вытащенного из-под экипажа или из канавы.

— Я, бабушка, испугался, не тошнит ли тебя; тебе лучше? — спросил я.

Бабушка, по всей вероятности, решила, что если она промолчит, то это меня встревожит.

— Я слышала весь разговор «маркизы» и сторожа, — сказала она. — Это копия Германтов и «ядрышка» Вердюренов. Господи Боже, в каких изящных выражениях все это было высказано! — воскликнула бабушка и, применительно к случаю, привела слова своей собственной маркизы, г-жи де Севинье: — «Когда я слушала их, мне казалось, что они заботятся о том, чтобы я предвкусила сладость прощания».

В этих словах бабушка проявила и тонкость своего остроумия, и любовь к цитатам, и память на классиков, и всего этого она вложила даже немного больше, чем обычно, — словно для того, чтобы показать, что все это еще у нее сохранилось. Но ее слова я скорее угадал, чем расслышал, — до такой степени нечленораздельно она их произнесла, стиснув зубы даже еще сильнее, чем это вызывал страх, как бы ее не вырвало.

— Вот что, — сказал я довольно небрежным тоном, чтобы она не подумала, что меня пугает ее состояние, — тебя подташнивает, давай лучше вернемся; раз у моей бабушки не в порядке желудок, то у меня нет ни малейшего желания гулять с ней по Елисейским полям.

— Я не решалась тебе это предложить из-за твоих друзей, — проговорила она. — Бедный мальчик! Но так было бы благоразумнее, раз ты так любезен.

Я боялся, что бабушка заметила, как она произнесла эти слова.

— Помолчи! — резко сказал я. — Раз тебя тошнит, то тебе вредно разговаривать, это глупо, потерпи хоть до дома.

Она грустно улыбнулась и пожала мне руку. Она поняла, что не нужно скрывать от меня то,

о чем я сразу же догадался: у нее только что был легкий удар.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая

Мы опять, пробравшись сквозь толпу гуляющих, перешли авеню Габриэль. Я усадил бабушку на скамейку, а сам пошел за фиакром. Я привык входить в бабушкино сердце даже для того, чтобы составлять себе представление о людях ничтожных, теперь же бабушка была для меня недоступна, она превратилась в часть внешнего мира, я вынужден был держать от нее в тайне, — и даже в более строгой, чем от незнакомых прохожих, — то, что я думал об ее состоянии, держать от нее в тайне мою тревогу. Я не мог говорить с ней откровеннее, чем с чужой женщиной. Она только что возвратила мне думы и горести, которые я сызмала вверял ей, с тем чтобы она хранила их вечно. Она еще не умерла. Я уже был один. И даже ее намеки на Германтов, на Мольера, на наши разговоры о «ядрышке» были беспочвенны, беспричинны, призрачны, потому что исходили из этого существа, которое, быть может, завтра прекратит свое существование, для которого они утратят всякий смысл, из неспособного их постичь небытия, куда скоро уйдет бабушка.

— Я вас понимаю, но ведь мы же с вами не

уговаривались о свидании, у вас нет номера. Да и потом, сегодня у меня день неприемный. У вас, наверно, есть свой врач. Я не считаю себя вправе лечить его больных, разве уж он позовет меня на консультацию. Это вопрос врачебной этики…

В ту минуту, когда я махал рукой извозчику, я увидел знаменитого профессора Э., довольно близкого друга моего отца и деда, во всяком случае — их знакомого, жившего на авеню Габриэль, и тут меня вдруг осенило: в надежде, что он даст бабушке чудодейственный совет, я остановил его, как раз когда он выходил из дому. Но он так спешил, что, захватив свои письма, попытался было от меня отделаться, и заговорить мне с ним удалось, только когда мы начали подниматься в лифте, где он, попросив моего разрешения, взял в свои руки управление кнопками — это была его мания.

— Но я же вас не прошу принять бабушку, — я вам потом все объясню, сейчас она в неважном состоянии, — я вас прошу через полчаса, когда она будет дома, приехать к нам.

— Приехать к вам? Об этом не может быть и речи. Я ужинаю у министра торговли, перед этим мне нужно навестить больного, а сейчас я должен буду переодеться; в довершение всего у меня

разорвался фрак, а в другом нет петлицы для орденов. Пожалуйста, сделайте мне одолжение — не дотрагивайтесь до кнопок, вы не умеете с ними обращаться, надо во всем соблюдать осторожность. Петлица меня задержит. Короче, из дружеских чувств к вашей семье: если ваша бабушка сейчас придет, я ее приму. Но предупреждаю: в моем распоряжении ровно четверть часа.

Не выходя из лифта, я спустился вниз, — вернее, недоверчиво пробежав по мне глазами, меня собственноручно спустил профессор Э., — и побежал за бабушкой.

Мы часто говорим, что никто не знает, когда придет смерть, но час смерти видится нам где-то далеко и как бы в тумане, мы не думаем, что он имеет какое-то отношение к уже наступившему дню и что смерть — или первый ее натиск на нас — может произойти нынче же, во второй половине дня, в благополучии которой мы почти совершенно уверены, в той части дня, все часы которой мы уже распределили. Мы намечаем прогулку, чтобы надышаться на месяц вперед свежим воздухом, мы колеблемся, какое пальто лучше надеть, какого извозчика нанять, вот мы и в экипаже, день весь у нас перед глазами, но

только короткий, потому что нам нужно вернуться вовремя, — нас должна навестить наша приятельница; нам хочется, чтобы и завтра была такая же хорошая погода, и мы далеки от мысли, что смерть, которая движется внутри нас в какой-то иной плоскости, среди непроглядного мрака, выбрала именно этот день, чтобы выйти на сцену несколько минут спустя, почти в тот миг, когда экипаж подъедет к Елисейским полям. Быть может, те, что всегда с ужасом думают о необычайности смерти, найдут нечто успокоительное в такого рода смерти — в такого рода первом соприкосновении со смертью, предстающей в знакомом, привычном будничном облике. Она наступает после вкусного завтрака и приятной прогулки, на которую выезжают люди, хорошо себя чувствующие. Возвращение домой в открытом экипаже связано только еще с первым ее нападением; как ни плоха была бабушка, а все же несколько человек могли бы засвидетельствовать, что в шесть часов, когда мы возвращались с Елисейских полей, они поклонились бабушке, ехавшей в открытом экипаже, и что погода была чудная. Направлявшийся к площади Согласия Легранден, заметив нас, с удивленным видом остановился и снял шляпу. Еще не оторвавшись

от жизни, я спросил бабушку, ответила ли она ему на поклон, и напомнил ей, что он обидчив. Бабушка, вероятно подумав, до чего же я легкомыслен, подняла руку, как бы говоря: «А зачем? Какое это имеет значение?»

Да, люди могли бы подтвердить, что, пока я искал фиакр, бабушка сидела на скамейке, на авеню Габриэль, а что немного погодя она проехала в открытом экипаже. Но правда ли это? Скамейка, чтобы стоять на авеню, — хотя и она подчиняется законам равновесия, — в своей собственной энергии не нуждается. Но для того, чтобы живое существо сохраняло устойчивость, даже сидя на скамейке или в экипаже, ему надлежит напрячь силы, которых мы обычно не чувствуем, как не чувствуем (оттого что оно действует во всех направлениях) атмосферного давления. Быть может, если бы в нас образовали пустоту и если бы затем мы подверглись давлению воздуха, мы почувствовали бы в миг, предшествующий нашей гибели, страшную тяжесть, которую ничто бы уже не облегчило. Точно так же, когда в нас разверзаются бездны болезни и смерти и мы уже не в силах противиться той ярости, с какой на нас обрушиваются весь мир и наше тело, — тогда выносить даже нажим наших мускулов, даже озноб,

пробирающий нас до костей, тогда не менять положения, которое обычно, как нам кажется, не требует от нас ни малейших усилий, можно, — если мы хотим не поворачивать головы и не блуждать глазами, — лишь ценой затраты жизненной энергии, и за это нужно бороться до изнеможения.

И Легранден, и другие прохожие смотрели тогда с удивлением оттого, что они видели, как бабушка, словно бы сидящая в экипаже, идет ко дну, соскальзывает в пропасть, как она в отчаянии хватается за подушки, на которых насилу держится валящееся ее тело, как растрепались у нее волосы, какой блуждающий у нее взгляд, бессильный сдержать напор образов, которые уже не вмещали зрачки. Они видели, что сидит она рядом со мной, но погружена в неведомый мир, откуда на нее обрушились удары, следы которых уже обозначились, когда мы ехали по Елисейским полям и я обратил внимание на ее шляпу, лицо, накидку — всюду лежала печать ее борьбы с незримым ангелом, от которого она отбивалась.

Но сейчас я подумал, что его нападение вряд ли так уж удивило бабушку, что, может быть, даже она давно его предвидела, что она жила в

ожидании его. Разумеется, она не знала, когда настанет роковой миг, она находилась в том состоянии неуверенности, в каком пребывает любовник, которого тоже одолевают сомнения, — сомнения в верности его возлюбленной, — и в душе которого из-за этих сомнений безрассудные надежды сменяются ни на чем не основанными подозрениями. Но опасные болезни, вроде той, что в конце концов ударила бабушку в открытую, редко когда не поселяются в больном задолго до того, как они его убьют, и, подобно общительному соседу или общительному квартиранту, не сведут с ним довольно скоро знакомства. Это знакомство страшное — не столько потому, что оно причиняет боль, сколько необычайной новизной строгих ограничений, какие оно вносит в жизнь. В таких случаях человек чувствует, что он умирает, не в самый миг, а за несколько месяцев, иногда за несколько лет до смерти, тотчас после того, как она подло угнездится в нем. Больная ощущает присутствие кого-то чужого, расхаживающего у нее в мозгу. Это, конечно, не личное знакомство, но по мерным стукам, доносящимся из его жилища, она составляет себе представление об его привычках. Кто он? Злодей? Но вот как-то утром она прислушивается, а его не слышно. Он ушел.

О, если бы навсегда! Вечером он возвращается. С какой целью? Учиняется допрос врачу, врач, точно боготворимая любовница, клянется, и клятвам его иногда верят, иногда нет. Точнее, врач играет роль не любовницы, а допрашиваемого слуги. Он всего лишь свидетель. Кого человек допрашивает с пристрастием, кого он действительно подозревает в том, что она вот-вот предаст его, так это жизнь, и хотя он чувствует, что она уже не та, все-таки он еще в нее верит, во всяком случае, колеблется до того дня, когда она от него уйдет.

Я ввел бабушку в лифт, и мы поднялись к профессору Э. — он вышел сейчас же и провел нас в кабинет. И здесь, как он ни торопился, спесь с него слетела — столь велика сила привычки, а у него вошло в привычку быть с пациентами любезным, даже заигрывать с ними. Зная, что бабушка много читала, и будучи сам человеком очень начитанным, профессор Э. несколько минут декламировал ей красивые стихи о ясном лете, а лето было тогда как раз солнечное. Он усадил бабушку в кресло, а сам, чтобы ее лучше было видно, стал спиной к свету. Он осмотрел ее очень внимательно, потребовал даже, чтобы я на минутку вышел из кабинета. Когда я вернулся, он все еще осматривал ее, а затем, хотя потратил на

осмотр почти четверть часа, прочел бабушке еще что-то на память. Он даже сказал ей несколько острых словечек, — мне, признаться, было сейчас не до этого, но шутливый его тон окончательно меня успокоил. Тут я вспомнил, что у председателя сената Фальера[286] несколько лет назад был ложный удар и что через три дня, к ужасу соперников, он уже приступил к исполнению служебных обязанностей и, по слухам, собирался довольно скоро выставить свою кандидатуру в президенты республики. И еще потому я был так твердо уверен в скорейшем выздоровлении бабушки, что, как раз когда я вспомнил о Фальере, от мысленного сравнения случая с ним и случая с бабушкой меня отвлек хохот доктора, смеявшегося от души над своей же остротой. Наконец доктор вынул часы и, убедившись, что прошло не пятнадцать, а двадцать минут, нервно сдвинул брови, попрощался с нами, позвонил и велел сейчас же принести фрак. Бабушка вышла, а я затворил за ней дверь и попросил профессора сказать правду.

— Ваша бабушка безнадежна, — ответил он. — Удар вызван уремией. Уремия не всегда

[286] Примечания: 286

Фальер, Арман (1841–1931) — французский государственный деятель, президент Республики (1906–1913).

смертельна, но печальный конец данного случая мне представляется неизбежным. Вы и без слов понимаете, как бы я был рад ошибиться. Ну, а потом, у вас же Котар — это руки надежные. Извините! — сказал он при виде горничной с черным фраком. -Вы же знаете, что я ужинаю у министра торговли, а до этого мне еще нужно попасть к больному. Ох-ох-ох! Жизнь усеяна не одними розами, как думают в ваши годы.

И тут он милостиво подал мне руку. Я затворил за собой дверь, лакей проводил бабушку и меня в переднюю, и вдруг мы услышали дикие крики. Горничная забыла прорезать петлицу для орденов. На это должно было уйти еще десять минут. Профессор рвал и метал, а я, уже на лестнице, смотрел на бабушку, положение которой было безнадежно. Все люди очень одиноки. Мы поехали домой.

Солнце садилось; оно пламенело на бесконечной стене, мимо которой нам надо было проехать на нашу улицу, — стене, на которой тень от лошади и от экипажа чернела на рдяном закатном фоне, как погребальная колесница на помпейской терракоте. Наконец мы приехали. Я усадил больную внизу, в вестибюле, а сам поднялся наверх предупредить маму. Я сказал, что бабушка

неважно себя чувствует, что у нее закружилась голова. Едва лишь я заговорил с матерью, лицо ее выразило безысходное отчаяние, но отчаяние уже смирившееся, и тут я понял, что оно жило в ней много лет, дожидаясь того никому неведомого последнего дня, когда оно прорвется наружу. Она ни о чем меня не спросила; казалось, что, так же как злоба любит преувеличивать человеческие страдания, она из нежных чувств к матери старается не думать о том, что мать тяжело больна, а главное — о том, что болезнь эта может отразиться на ее умственных способностях. Маму трясло; все лицо ее плакало, но только без слез; когда же Франсуаза, к которой она побежала, чтобы послать ее за доктором, спросила, кто заболел, она ничего ей не ответила: голос у нее пресекся. Переборов исказившую ее лицо судорогу рыданий, она вместе со мной бегом спустилась по лестнице. Бабушка сидела на диване в вестибюле, но, едва заслышав наши шаги, выпрямилась, встала и весело замахала маме рукой. Я закрыл бабушке нижнюю часть лица белым кружевным шарфом, объяснив это тем, что на лестнице немудрено простудиться. Я боялся, что маме сразу бросится в глаза, как изменилось у бабушки лицо, как перекосился у нее рот; принятые мною

меры оказались ненужными: мама подошла к бабушке вплотную, поцеловала ей руку так, как поцеловала бы у бога, взяла ее под локоть и со всяческими предосторожностями довела до лифта, и в этих предосторожностях была не только боязнь сделать неловкое движение и причинить бабушке боль, — в них еще проступало смирение женщины, сознающей, что она недостойна прикоснуться к самому для нее драгоценному, но она ни разу не подняла глаз и не посмотрела больной в лицо. Быть может, чтобы бабушка не огорчилась, что ее вид вызывает у дочери тревогу. Быть может, боясь, что ее душевная боль будет так сильна, что она с ней не справится. Быть может, из уважения к бабушке, если она была убеждена, что обнаружить следы слабоумия на лице, всегда внушавшем ей благоговение, было бы святотатством. Быть может, чтобы сохранить в неприкосновенности подлинный образ матери, светившийся умом и добротой. Так, идя рядом, поднялись они по лестнице: бабушка — с полузакрытым лицом, мама — не глядя на нее.

А еще одна женщина все это время пыталась сверлящим взглядом проникнуть в то, что скрывалось за изменившимися чертами бабушки, на которую ее родная дочь не смела поднять

глаза, — взглядом растерянным, нескромным и зловещим: это была Франсуаза. Бабушку она любила по-настоящему (ее поразило и даже возмутило спокойствие мамы — она ожидала, что та, рыдая, бросится в объятия своей матери), но у нее было свойство — во всем видеть дурное, в ней с детства сосуществовали две особенности, которые, казалось бы, должны были исключать одна другую, но которые на самом деле, соединяясь в человеке, одна другую усиливают: невоспитанность простолюдинки, которая даже и не пытается скрыть тяжелое впечатление, более того: ужас при виде происшедшего в человеке физического изменения, хотя деликатнее было бы не показать вида, и бесчувственная грубость крестьянки, которая начинает с того, что обрывает крылышки стрекозам, а потом свертывает шею цыплятам, и в придачу бесстыдство, в силу которого крестьянка, не стесняясь, с любопытством смотрит на то, как страдает плоть.

Когда с помощью Франсуазы, проявившей необычайную бережность, бабушку уложили в постель, она почувствовала, что теперь ей стало гораздо легче говорить, — по-видимому оттого, что разрыв, а может быть, закупорка сосуда на почве уремии были очень небольшие. И тут она

ощутила потребность оказать маме нравственную поддержку в эту самую страшную минуту ее жизни.

— Что ж ты, дочка! — сказала бабушка, беря ее за руку, а другой рукой прикрывая рот, чтобы можно было подумать, что она только из-за этого все еще не без труда произносит некоторые слова. — Так-то ты жалеешь мать? По-твоему, расстройство желудка — это пустяки?

Тут впервые мамины горящие глаза взглянули в бабушкины, не глядя на другие черты лица, и она произнесла первую из лживых клятв, которые мы не в силах не дать:

— Мама, ты скоро поправишься, твоя дочь тебе ручается!

И, вложив всю силу своей любви, всю свою волю, направленную на выздоровление бабушки, в поцелуй, которому она их доверила и в котором сосредоточились все ее мысли, все ее существо, вплоть до самого края губ, она смиренно, набожно запечатлела его на бесконечно дорогом ей лбу.

Бабушка жаловалась, что на ее левую ногу, которую ей не удавалось приподнять, беспрестанно наплывает нечто вроде аллювия из одеял. Но она не понимала, что сама же она этот аллювий и образовывала (а ведь она каждый день неспра-

ведливо обвиняла Франсуазу, что та будто бы плохо «оправляет» ей постель). Судорожным движением она отводила налево пенившийся поток тонких шерстяных одеял, они напластовывались, точно песок в заливе, и из этого песка, все время наносимого прибоем, в скором времени (если только не воздвигалось укрепление) разрасталась целая коса.

Мы с мамой (хотя догадливая и нетактичная Франсуаза мгновенно давала мне понять, что я лгу) никому не говорили, что бабушка очень больна, точно этими разговорами мы могли бы обрадовать ее врагов, которых у нее, кстати сказать, и не было, нам легче было утверждать, что состояние ее удовлетворительно, и чувство это было инстинктивное, вроде того, которое внушило мне, что раз Андре так жалеет Альбертину, значит, любит она ее не горячо. Проявляется это чувство не только у отдельных лиц, но и — в эпохи великих потрясений — у масс. Во время войны человек, не любящий своей родины, не говорит о ней дурно, но считает ее погибшей, жалеет ее, все рисуется ему в черном свете. Франсуаза была нам незаменимым помощником: она могла ночи напролет не спать, исполняла самую тяжелую работу. Если ей удавалось прилечь по-

сле нескольких бессонных ночей, когда она все время проводила на ногах, а мы через четверть часа после того, как она засыпала, будили ее, она бывала счастлива тем, что может сделать какое-нибудь трудное дело, и бралась за него с таким видом, точно это ей ничего не стоило; в такие минуты лицо у нее бывало совсем не сердитое — оно выражало скромное удовлетворение. Только перед началом литургии или первого завтрака Франсуаза, боясь опоздать, исчезла бы, даже если бы в это время бабушка была при смерти. Ее не мог бы заменить молодой лакей, да она этого и не хотела. Она вывезла из Комбре весьма строгое понятие об обязанностях каждого из слуг по отношению к нам; «нерадивости» она бы не потерпела. Из нее выработалась безукоризненная, властная, искусная воспитательница, и благодаря этому даже самые распущенные наши слуги скоро исправлялись, облагораживались; они уже не «прикарманивали» сдачу и — хотя до поступления к нам они привыкли не утруждать себя — выхватывали у меня из рук маленькие сверточки, чтобы избавить меня даже от легкой ноши. Но в Комбре Франсуаза взяла себе также за правило — и приехала с ним в Париж — не допускать в работе подручных. Всякую попытку

прийти ей на помощь она воспринимала как личное оскорбление; она по целым неделям не здоровалась утром со слугами, даже не прощалась с ними, когда они уходили в отпуск, и они ломали себе голову, пытаясь понять — за что, на самом же деле вина их была только в том, что, когда Франсуаза прихворнула, они что-то за нее сделали. И теперь, когда бабушка была так плоха, Франсуаза считала, что только она имеет право за ней ухаживать. Она состояла при бабушке, и в эти многотрудные дни она ни за что на свете не согласилась бы передать эту роль кому-нибудь еще. Молодого лакея она отстранила, и он от нечего делать не только, по примеру Виктора, таскал почтовую бумагу из ящика моего письменного стола, — он еще брал в моей библиотеке сборники стихов. Читал он их добрых полдня и восхищался поэтами, а когда не читал, то пересыпал цитатами из них письма к своим деревенским друзьям. Разумеется, ему хотелось блеснуть перед ними своей начитанностью. Но представление обо всем у него было смутное, и о стихах из моей библиотеки он думал, что они всем известны, что их цитируют все. В письмах к крестьянам, рассчитывая на эффект, он перемежал свои рассуждения стихами Ламартина, как

чем-то общеупотребительным, вроде: «Поживем — увидим» или даже: «Здравствуйте».

Бабушка так страдала, что ей разрешили морфий. Боль отпустила, но зато в большем количестве выделялся белок. Мы били не по болезни, поселившейся в бабушке, а по ней самой, по ее бедному телу, находившемуся между болезнью и нами, а бабушка только тихо стонала. Боль, которую мы ей причиняли, не возмещалась пользой, потому что пользы мы ей не приносили. Мы стремились искоренить жестокий недуг, а вместо этого слегка его задевали, мы только раздразнивали его и, быть может, приближали тот час, когда он растерзает свою жертву. В те дни, когда белка бывало особенно много, Котар не без колебаний отменял морфий. У этого человека, безличного, серого, в те краткие миги, когда он раздумывал, когда опасности двух курсов лечения боролись в нем, пока он не отдавал предпочтение тому или иному, появлялось что-то величественное, — так полководец, ничтожество в повседневной жизни, в ту минуту, когда все на волоске, призадумывается, а затем, найдя с точки зрения военной самый правильный выход, командует: «Повернуть на восток». С медицинской точки зрения хотя надежда на то, что приступ

уремии прекратится, была слаба, не следовало давать почкам слишком большую работу. Но если бабушке не давали морфию, боли становились нестерпимыми; она делала одно и то же движение, при котором ей трудно было удержаться от стона. Чаще всего боль есть особая потребность организма осмыслить новое состояние, которое его беспокоит, привести чувствительность в соответствие с этим состоянием. Уловить такое происхождение боли, когда человеку вдруг становится худо, можно, но такое состояние бывает не у всех. В комнату, пропитанную едким запахом дыма, входят два здоровяка и берутся за дела; третий, с более тонкой организацией, все время будет проявлять беспокойство. Его ноздри будут тревожно принюхиваться к запаху; казалось бы, ему незачем стараться втягивать его в себя, но он упорно будет вбирать его, чтобы с каждым разом точнее определить и приспособить к своему раздраженному обонянию. Если нас чем-нибудь отвлечь, мы уже не чувствуем зубной боли — это явления, конечно, одного порядка. Когда бабушка мучилась, по ее крутому синеватому лбу катился пот, приклеивая к нему седые пряди, и если она думала, что она одна в комнате, то невольно вскрикивала: «Ах, как это ужасно!», а если видела

маму, то, пересилив себя, не плакала от боли и стирала следы слез или, поняв, что мама слышала эти ее вскрики, спешила придать им совсем другой смысл:

— Ах, дочка, как ужасно лежать в такой ясный день, мне так хочется погулять, я плачу, потому что меня бесят ваши предписания.

Но она не могла удержаться от того, чтобы не стонать взглядом, она ничего не могла поделать с потом на лбу, со вздрогами всего тела, которые она, впрочем, тотчас превозмогала.

— Мне не больно, я охаю, потому что постель скверно постелена, волосы растрепались, тошнит, я ударилась о стену.

А мама, прикованная у изножья кровати к этим мукам, устремив на бабушку такой взгляд, словно хотела, пронзив им ее наморщенный от боли лоб, все ее тело, в котором пряталась боль, в конце концов добраться до нее и вытащить, говорила:

— Нет, мамочка, мы тебе поможем, что-нибудь придумаем, ты потерпи чуточку; можно тебя поцеловать, но так, чтобы тебе не надо было шевелиться?

И, склонившись над кроватью, согнув ноги так, что ее колени почти касались пола, точно мама надеялась, что благодаря такому смирению

душевный жар, с каким она приносила себя в жертву, не будет отринут, она, словно дароносицу, наклоняла к бабушке свое лицо, в котором была сейчас вся ее жизнь, — дароносицу, на которой отчетливо видны были ее украшения — складочки и ямочки, дышавшие такой страстной любовью, скорбью и нежностью, что оставалось непонятным, чем они проведены: резцом поцелуя, рыдания или улыбки. А бабушка тянулась лицом к маме. Она до такой степени изменилась, что, если б у нее хватило сил выйти из дому, ее, наверное, узнали бы только по перу на шляпе. Черты ее лица, как у человека, которого лепят, были целиком поглощены усилием послужить ваятелю натурой для неведомой нам работы. Ваятель заканчивал ее, и лицо бабушки уменьшалось и вместе с тем отвердевало. Жилки на нем казались жилками не мрамора, а какого-то более шероховатого камня. Голова у нее была все время приподнята, оттого что ей не хватало воздуху, а взгляд от усталости ушел внутрь, и ее обесцвеченное, сжавшееся, пугающее своей выразительностью лицо казалось лицом какого-то первобытного, почти доисторического изваяния, загрубелым, иссиня-желтым, с безнадежным выражением глаз, лицом дикарки, стерегущей

могилу. Но труд ваятеля был еще не окончен. Вскорости надо будет разбить статую, а потом опустить в — с таким трудом, ценой мучительного напряжения охраняемую — могилу.

В один из таких дней, когда, по народному выражению, не знаешь, какому святому молиться, потому что бабушка кашляла и чихала не переставая, мы решили обратиться к доктору Х по совету одного нашего родственника, который уверял, что этот специалист мигом поставит бабушку на ноги. Люди светские всегда так говорят о своих врачах, и им верят, как верила Франсуаза газетной рекламе. Специалист явился со своей сумочкой, как мех Эола[287] — ветрами, полной насморками всех своих пациентов. Бабушка решительно заявила, что она не хочет, чтобы он ее осматривал. Тогда мы, смущенные тем, что зря побеспокоили практикующего врача, пошли навстречу его желанию освидетельствовать наши носы, хотя с ними все обстояло благополучно. Специалист, однако, утверждал, что не все благополучно, что мигрень или рези в желудке, болезнь сердца или диабет — все от носа, но толь-

[287] Примечания: 287

…как мех Эола — ветрами… — В греческой мифологии Эол — владыка ветров, обитавший на острове Эолия. В «Одиссее» Эол вручает герою завязанный мешок с бурными ветрами.

ко обычно этого не понимают. Каждому из нас он сказал: «Вот тут у вас небольшое затвердение — не мешало бы его еще раз посмотреть. Не тяните с этим. Я сделаю несколько прижиганий, и вы будете избавлены». Наши мысли были, конечно, заняты совсем другим. Но мы все же задавали себе вопрос: «От чего избавлены?» Короче говоря, у всех нас оказались нездоровые носы. Врач ошибался в одном: он уверял, что мы уже больны. А на другой день его осмотр и предупредительная чистка возымели свое действие. У всех нас был катар верхних дыхательных путей. Встретив на улице моего отца, которого бил кашель, он улыбнулся при мысли, что невежды объяснили бы это заболевание его вмешательством. Он осматривал нас, когда мы заболевали.

К болезни бабушки иные отнеслись крайне сочувственно, иные — холодно, и это удивляло нас не меньше, чем цепь случайностей, которую развертывали перед нами и те и другие в связи с постигшим нас ударом судьбы, равно как и доброе отношение к нам таких людей, от которых мы этого никак не могли ожидать. Знаки внимания, оказываемого людьми, все время приходившими узнавать о здоровье бабушки, указывали на опасность ее положения, которую мы все еще недо-

статочно отгораживали, отделяли от множества тягостных впечатлений, которые мы получали у ее постели. Мы послали в Комбре телеграмму ее сестрам, но они не приехали. Они открыли певца, который устраивал для них концерты чудной камерной музыки, которая, по их мнению, в большей мере способствовала самоуглублению и настраивала на скорбно-возвышенный лад, чем сиденье у изголовия больной, как бы странно это ни казалось другим. Г-жа Саз-ра написала маме, но так могла бы написать женщина, с которой нас навек разлучила (причиной разрыва было ее дрейфусарство) неожиданно расстроившаяся свадьба. Зато Бергот приходил ежедневно и по нескольку часов просиживал со мной.

У него всегда была привычка зачастить туда, где он чувствовал себя как дома. Но раньше Бергот любил ходить туда, где он мог говорить без умолку и где его не прерывали, а теперь — туда, где он мог подолгу молчать и где с ним не заговаривали. Дело в том, что он был очень болен. Одни говорили, что у него альбуминурия, как у бабушки; по другим сведениям — злокачественная опухоль. Он слабел; ему трудно было подняться по нашей лестнице, еще труднее — спуститься. Он держался за перила и все же спотыкался; у

меня создалось впечатление, что он предпочел бы сидеть дома, если б не боялся отвыкнуть, разучиться выходить, а ведь я помнил «человека с бородкой» таким подвижным, но он давно утратил это свойство. Потом он ослеп и порой даже говорил бессвязно.

Но если еще недавно его книги были известны небольшому кругу образованных людей и г-жа Сван содействовала их робким попыткам получить распространение, то имен: но теперь все вдруг поняли, какое это большое, какое это крупное явление, и они начали пользоваться небывалым успехом у самого широкого читателя. Известно, что некоторые писатели становились знаменитыми только после смерти. Но Берготу посчастливилось при жизни, когда он еще только медленно шествовал к смерти, видеть шествие его творений к Признанию. Умершего писателя известность по крайней мере не утомляет. Блеск его имени не проникает за плиту на его могиле. В глухоту его вечного сна не врывается докучный шум Славы. Но для Бергота этот контраст еще существовал. Жизненных сил у него было ровно столько, сколько нужно для того, чтобы страдать от суеты. Он все еще двигался, но с трудом, а между тем его книги-попрыгуньи, подобно любимым

дочерям, чья буйная молодость и шумные развлечения подчас утомляют родителей, ежедневно приводили к его постели новых поклонников.

Для меня его приходы к нам запоздали на несколько лет, потому что я к нему до известной степени охладел. И в этом не было противоречия с тем, что его известность росла. Редко бывает так, чтобы в то время, когда произведение одного писателя становится общепонятным и празднует победу, не появилось другого, принадлежащего перу писателя, пока еще не пользующегося известностью, и чтобы читатели с повышенными требованиями не начали создавать новый культ взамен почти окончательно утвердившегося. Фразы в книгах Бергота, которые я часто перечитывал, были так же доступны моему пониманию, как мои собственные мысли, как мебель у меня в комнате или экипажи на улице. В его книгах все было отчетливо видно, если и не так, как до знакомства • с его творчеством, то, во всяком случае, так, как он приучил нас видеть. Но вот новый писатель начинает выпускать книги, в которых связь между вещами отличается от той, какую усматривал между ними я, — настолько, что я у него почти ничего не понимаю. Он пишет так: «Рукава для поливки с восторгом слушали

изящную беседу дорог (это мне понятно, и я мысленно бегу по обочинам), отходивших каждые пять минут от Бриана[288] и от Клоделя[289]». Тут уж я ровным счетом ничего не понимаю: я ждал названия города, а мне сообщают фамилию человека. Но я сознаю, что фраза написана не плохо, а что это я недостаточно силен и ловок, чтобы добраться до ее смысла. Я вновь и вновь собираюсь с духом и во весь мах мчусь к тому месту, откуда мне должна открыться новая связь вещей. И каждый раз, добежав приблизительно до половины фразы, я шлепаюсь, как впоследствии в полку во время упражнений с так называемыми гимнастическими снарядами. И все же я восхищаюсь новым писателем, как восхищается неуклюжий мальчик, получивший по гимнастике единицу, своим ловким товарищем. Зато я уже не так восхищаюсь Берготом — его прозрачность кажется мне теперь недостатком.

Было время, когда все вещи сейчас же узна-

---

[288] Примечания: 288

Бриан, Аристид (1862–1932) — французский политический деятель, выдающийся оратор, неоднократно входил в состав кабинета министров, главным образом в качестве министра иностранных дел.

[289] Примечания: 289

Клодель, Поль (1868–1955) — французский писатель и дипломат.

вались на картинах Фромантена[290] и не узнавались на картинах Ренуара. Люди со вкусом говорят нам сегодня, что Ренуар — великий живописец XVIII века. Но они забывают о Времени и о том, что даже в конце XIX века далеко не все отваживались признать Ренуара великим художником. Чтобы получить такое высокое звание, и оригинальный художник, и оригинальный писатель действуют по способу окулистов. Лечение их живописью, их прозой не всегда приятно для пациентов. По окончании курса врач говорит нам: «Теперь смотрите». Внезапно мир (сотворенный не однажды, а каждый раз пересоздаваемый новым оригинальным художником) предстает перед нами совершенно иным и вместе с тем предельно ясным. Идущие по улице женщины непохожи на прежних, потому что они ренуаровские женщины, те самые ренуаровские женщины, которых мы когда-то не принимали за женщин. Экипажи тоже ренуаровские, и вода, и небо; нам хочется побродить по лесу, хотя он похож на тот, что, когда мы увидели его впервые, казался нам чем угодно, только не лесом,

[290] Примечания: 290

Фромантен, Эжен (1820–1876) — французский писатель, художник и искусствовед. Пруст не очень высоко ценил живописное наследие Фромантена, равно как и его эстетические взгляды.

а, скажем, ковром, и хотя в тот раз на богатой палитре художника мы не обнаружили именно тех красок, какие являет нашему взору лес. Вот она, новая, только что сотворенная и обреченная на гибель вселенная. Она просуществует до следующего геологического переворота, который произведут новый оригинальный художник или новый оригинальный писатель.

Тот, кто заменил мне Бергота, утомлял меня не бессистемностью, а новизной приведенных в строгую систему, но непривычных для моего мысленного взора отношений. Я спотыкался на одном и том же месте, и это наводило меня на мысль, что тут с моей стороны требуется какой-то один искусный прием. Впрочем, когда мне, раз из тысячи, удавалось следовать за писателем до конца фразы, то увиденное мною всегда оказывалось шалостью, старой истиной, приманкой, вроде тех, что в былое время я находил у Бергота, но только у нового писателя они были пленительнее. Я думал о том, что не так уж давно обновление мира, подобное тому, какого я ожидал от преемника Бергота, совершил для меня Бергот. И я спрашивал себя: действительно ли, — на чем мы всегда настаиваем, — существует разница между искусством, которое ни на шаг не

продвинулось вперед со времен Гомера, и непрерывно развивающейся наукой? Может быть, наоборот: в этом отношении никакой разницы между искусством и наукой нет; на мой взгляд, каждый новый оригинальный писатель заходит дальше своего предшественника; и кто мне поручится, что двадцать лет спустя, когда мне будет легко идти следом за нынешним новатором, не появится другой, а теперешний, подобно Берготу, отойдет на второй план?

Я заговорил о новом писателе с Берготом. Бергот настроил меня против него: он уверил меня, что этот писатель неровен, легковесен, бессодержателен, а главное, он отвратил меня от него тем, что находил в нем потрясающее сходство с Блоком. После этого разговора образ Блока рисовался передо мной на страницах книг этого писателя, и мне расхотелось ломать над ними голову. Мне кажется, что Бергот дал о нем уничтожающий отзыв не столько из зависти к его неуспеху, сколько потому, что он просто-напросто не знал его. Он почти ничего не читал. Большая часть мыслей Бергота перешла из его мозга в книги. Он отощал, точно после операции, во время которой из него вынули мысли. Как только он произвел на свет все, о чем думал, инстинкт продолжения рода

отмер в нем. Теперь он вел растительный образ жизни — образ жизни выздоравливающего, образ жизни роженицы; его красивые глаза были неподвижны, чуть затуманены, как у человека, который лежит на берегу моря и следит за мелкой рябью. И все же я не испытывал угрызений совести оттого, что мне теперь не так интересно было говорить с ним, как раньше. Он был до такой степени рабом своих привычек, что, когда они у него появлялись, и простые, и барские, он некоторое время не мог от них избавиться. Не знаю, что заставило его прийти к нам в первый раз, но потом уж он приходил каждый день по привычке. Он приходил в частный дом как в кафе — чтобы с ним никто не говорил, а чтобы — и то крайне редко — говорил он, мы же, если бы нам хотелось объяснить себе ежедневные его приходы, могли думать, что так он выражает сочувствие нашему горю или что его тянет ко мне. Моей матери был отраден любой знак внимания к больной, и приходы Бергота трогали ее. Она каждый день мне напоминала: «Не забудь поблагодарить его».

Мы получили, — скромное внимание женщины — это нечто вроде завтрака, которым нас угощает в перерыве между сеансами подруга

художника, — в виде бесплатного приложения к визитам мужа визит г-жи Котар. Она предложила отдать в наше распоряжение, если нам требуются мужские услуги, свою «камеристку», заявила, что сама, «засучив рукава», готова приняться за дело, а когда мы сказали, что ни в чем не нуждаемся, она выразила надежду, что, по крайней мере, это с нашей стороны не «изворот» — на языке ее круга это слово означало пустую отговорку, к которой прибегают, когда хотят отказаться от какого-нибудь предложения. Она уверяла нас, что профессор, который обычно не говорит с ней о своих больных, так горюет, как будто заболела она. Из дальнейшего будет видно, что даже если она говорила правду, то это и очень мало и очень много со стороны самого неверного и самого признательного из мужей.

Не менее ценные, но только бесконечно более задушевные предложения (они представляли собой сочетание глубочайшего ума, наивысшей сердечности и на редкость удачно найденных выражений) были мне сделаны наследным принцем Люксембургским. Я познакомился с ним в Бальбеке, куда он, еще будучи графом фон Нассау, приезжал к своей тетке, принцессе Люксембургской. Несколько месяцев спустя он женился

на очаровательной дочери другой принцессы Люксембургской, сказочно богатой, так как она была единственной дочерью принца, у которого было огромное мукомольное дело. После этого великий князь Люксембургский, у которого детей не было и который обожал своего племянника Нассау, получив одобрение палаты депутатов, объявил его наследным принцем. Как во всех таких браках, происхождение состояния служит и препятствием, и решающим фактором. Я еще в Бальбеке был о графе фон Нассау того мнения, что это один из самых замечательных молодых людей, каких мне доводилось встречать, а его уже тогда полонила мрачная, бьющая в глаза любовь к невесте. Я был очень тронут его письмами, которые он присылал мне одно за другим во время болезни бабушки, и даже мама, умилившись, с грустью повторила любимое выражение своей матери: «Сама Севинье лучше бы не написала».

На шестой день мама, уступив настойчивым просьбам бабушки, пошла будто бы отдохнуть. Мне хотелось, чтобы бабушка спокойно уснула, и я попросил Франсуазу побыть около нее. Франсуаза, невзирая на мои мольбы, все-таки ушла; она любила бабушку; ее прозорливость и ее пессимизм говорили ей, что бабушка не выживет. И она

старалась как можно лучше ухаживать за ней. Но ей сказали, что пришел электротехник, давно работавший в одной и той же мастерской, зять хозяина, пользовавшийся уважением в нашем доме, где прибегали к его услугам много лет, особенно — у Жюпьена. Мы посылали за ним еще до болезни бабушки. Я считал, что на сей раз можно отослать его обратно или попросить подождать. Но дипломатия Франсуазы этого не допускала: так поступить с почтенным человеком невежливо, а с бабушкой можно в данном случае и не считаться. Через четверть часа я вне себя пошел за ней в кухню, и так как входная дверь была отворена, то я увидел, что Франсуаза стоит на площадке «черной» лестницы и разговаривает с электротехником, а стояние на лестнице, хотя там был отчаянный сквозняк, давало Франсуазе то преимущество, что, если бы кто-нибудь из нас вошел в кухню, она могла бы сделать вид, что вышла на лестницу, только чтобы проститься. Наконец электротехник начал спускаться по лестнице, а Франсуаза, вспомнив, что забыла сказать, чтобы он поклонился от нее жене и шурину, все это еще прокричала ему вдогонку. Эту характерную для Комбре заботу о соблюдении правил вежливости Франсуаза распространяла

и на внешнюю политику. Глупцы воображают, будто глубже заглянуть в человеческую душу дают возможность крупные события общественной жизни; как раз наоборот: осмыслить эти события можно только изнутри человеческой личности. Франсуаза твердила комбрейскому садовнику, что война — самое бессмысленное из всех преступлений и что наивысшая ценность — это жизнь. А когда началась русско-японская война, Франсуаза высказала мнение, что мы неловко поступили по отношению к царю, не придя на помощь «бедненьким русским»: «Ведь мы же с ними в союзе», — напоминала она. С ее точки зрения, мы отплатили неблагодарностью Николаю Второму, который всегда «так хорошо об нас говорил»; тут действовал все тот же кодекс ее морали, в силу которого она по просьбе Жюпьена непременно поднесла бы ему рюмочку, хотя знала, что это ему «вредно для желудка», и согласно которому она считала, что с ее стороны было бы так же бессовестно, как бессовестно со стороны Франции держать нейтралитет по отношению к Японии, не оставить умирающую бабушку и не пойти самой извиниться перед почтенным электротехником, которого понапрасну оторвали от дела.

Мы, к счастью для нас, очень скоро избавились от приходов дочери Франсуазы — она уехала месяца на полтора. К обычным советам, которые давались в Комбре семье больного: «Хорошо бы предпринять недолгое путешествие, переменить климат, улучшить аппетит» и т. д., она прибавляла, пожалуй, единственное предложение — предложение, до которого она дошла своим умом и которое поэтому повторяла при каждой встрече с нами, как бы стремясь вдолбить его нам в головы: «Ей надо было с самого начала лечиться *радикально*». Она не отдавала предпочтение какому-нибудь одному курсу лечения перед другими — ей было важно только, чтобы это лечение было *радикальным*. А Франсуаза — та видела, что бабушке дают мало лекарств. Так как она считала, что лекарства только портят желудок, то это ее радовало, но она была обижена за бабушку. На юге жили ее родственники, довольно богатые; их дочь, совсем еще молоденькая, заболела и двадцати трех лет умерла; отец с матерью за те несколько лет, что она проболела, разорились на лекарства, на докторов, на скитания по курортам. Франсуазе все это казалось лишней роскошью, как будто ее родственники покупали беговых лошадей или приобрели замок. А родственники

гордились тем, что они столько истратили. У них ничего не осталось; не осталось самого дорогого — дочери, но они говорили всем и каждому, что израсходовали на ее лечение столько же и даже больше, чем израсходовали бы первейшие богачи. Особенно льстило их самолюбию, что несчастную девушку в течение нескольких месяцев по нескольку раз в день лечили ультрафиолетовыми лучами. Отец, упоенный своей горькой славой, доходил иной раз до того, что хвастался суммой, в какую ему обошлось лечение дочери, как хвастается иной мужчина тем, что его разорила оперная дива. Франсуаза была неравнодушна к такому пышному реквизиту; реквизит, которым во время болезни бабушки пользовались мы, казался ей слишком бедным, годным для того, чтобы обставить болезнь на маленькой провинциальной сцене.

Внезапно уремия бросилась бабушке на глаза. Несколько дней она ничего не видела. Но глаза у нее были не как у слепой, они не изменились. И я догадался, что она ничего не видит, лишь по необычности некоего подобия улыбки, появлявшейся у нее, когда отворялась дверь, и не исчезавшей, пока с ней не здоровались за руку, — улыбки, которая возникала слишком рано

и, стереотипная, замирала на губах, но всегда смотрела прямо перед собой и старалась быть видной отовсюду, потому что она уже не получала помощи от взгляда, который управлял бы ею, отсчитывал бы ей время, указывал бы направление, надзирал бы за ней, изменял бы ее в зависимости от перемены места и выражения лица того, кто входил; потому что, оставшись одна, без улыбки глаз, которая хоть немного отвлекала бы от нее внимание посетителя, она приобретала из-за своей неловкости необычайную многозначительность — она создавала впечатление преувеличенной любезности. Затем зрение полностью восстановилось, кочующая болезнь с глаз перекинулась на уши. Несколько дней бабушка ничего не слышала. Боясь, что ее застигнет врасплох чей-нибудь нежданный приход, что она не услышит, как кто-то войдет к ней в комнату, она поминутно резким движением поворачивала голову к двери. Но шеей она двигала неумело: ведь за несколько дней нелегко приноровиться к такой перестройке, нелегко научиться если уж не видеть звуки, то, по крайней мере, слушать глазами. Потом боли утихли, но зато речь стала еще затрудненнее. Волей-неволей приходилось беспрестанно переспрашивать бабушку.

Почувствовав, что ее не понимают, бабушка совсем умолкла и лежала пластом. Когда она замечала меня, то это у нее вызывало вздрог, как у человека, у которого внезапно перехватывает дыхание, она пыталась заговорить со мной, но разобрать невнятные ее слова было невозможно. Сломленная своей беспомощностью, она роняла голову на подушку и вытягивалась; мраморное ее лицо принимало строгое выражение, руки лежали на кровати или были заняты чем-нибудь сугубо прозаическим — например, одна рука вытирала пальцы на другой. Думать бабушке не хотелось. Потом вдруг апатия сменилась у нее состоянием непрерывного возбуждения. Она то и дело порывалась встать. Ее по возможности удерживали, боясь, как бы она не догадалась, что лежит в параличе. Как-то ее оставили на короткое время одну, а когда я к ней вошел, то увидел, что она, в ночной рубашке, стоя пытается распахнуть окно.

В Бальбеке однажды насильно спасли пытавшуюся утопиться вдову, и бабушка тогда сказала мне (быть может, под влиянием одного из тех предчувствий, какие мы иной раз вычитываем в таинственной, в такой, казалось бы, темной книге нашей органической жизни, в которой, должно

быть, все-таки просвечивает будущее), что самая большая жестокость — это вырвать дошедшую до полного отчаяния женщину из рук желанной смерти и снова обречь ее на страдания.

Мы едва успели удержать бабушку; в борьбе с мамой она применяла почти грубую силу; наконец с ней справились, принудили ее сесть в кресло, и после этого она перестала к чему-нибудь стремиться, о чем-нибудь жалеть, на ее лице вновь появилось безучастное выражение, и она начала старательно снимать с ночной рубашки шерстинки от мехового пальто, которое мы на нее накинули.

Ее взгляд стал совсем другим: тревожным, молящим, растерянным; это был не прежний ее взгляд — это был тоскливый взгляд выжившей из ума старухи.

Франсуаза долго приставала к бабушке, не желает ли она, чтобы ее причесали, и наконец уверила себя, что бабушке этого хочется. Она принесла щетки, гребенки, одеколон, пеньюар. «Это вас не утомит, госпожа Амеде, если я вас причешу, — говорила она, — как бы ни был слаб человек, а причесанным-то он всегда может быть». То есть: человек никогда не бывает до того слаб, чтобы кто-нибудь другой не мог его

причесать. Но, войдя в комнату, я увидел в беспощадных руках Франсуазы, радовавшейся так, как будто она исцеляла бабушку, под рассыпавшимися старыми космами, не выдерживавшими прикосновения гребенки, голову, бессильную сохранить положение, какое пыталась придать ей Франсуаза, и мотавшуюся из стороны в сторону как бы под напором неутихавшего ветра, меж тем как на лице у бабушки появлялось то изнеможенное, то страдальческое выражение. Я почувствовал, что дело Франсуазы близится к концу, и не сказал ей: «Довольно!», из боязни, что она все равно меня не послушается. Но я бросился к простодушно жестокой Франсуазе, когда, чтобы бабушка посмотрела, хорошо ли она причесана, та собиралась поднести к ее лицу зеркало. Сперва я был рад, что мне удалось выхватить его из рук Франсуазы до того, как бабушка, — а ведь мы нарочно убирали от нее все зеркала, — увидела бы свой образ, который она себе не представляла. Но увы! Мгновение спустя я склонился над ней, чтобы поцеловать ее прекрасный и такой усталый лоб, а она посмотрела на меня изумленно, недоверчиво, возмущенно: она меня не узнала.

По мнению нашего врача, это был симптом того, что прилив крови к мозгу усиливается. Надо

было оттянуть кровь. Котар колебался. Франсуаза надеялась, что бабушке поставят «очистительные» банки. Она искала описание их действия в моем словаре, но не нашла. Дело в том, что она хоть и говорила: «очистительные», но писала (и, следовательно, думала, что так должно быть написано и в словаре): «прочистительные». Котар, обманув ее ожидания, предпочел пиявки, хотя особых надежд на них не возлагал. Когда, несколько часов спустя, я вошел к бабушке, присосавшиеся к ее затылку, вискам, ушам черные змейки извивались в окровавленных ее волосах, словно в волосах Медузы. Но на бледном и умиротворенном ее лице, совершенно неподвижном, я увидел широко открытые, ясные и спокойные, попрежнему прекрасные глаза (может быть, даже еще более умные, чем до болезни, потому что она не могла говорить, не должна была шевелиться и доверила свою мысль глазам, а мысль способна возрождаться благодаря тому, что у нас отсосали несколько капелек крови), глаза кроткие и точно маслянистые, на которых огонь топившегося камина освещал перед больной вновь завоеванную ею вселенную. Ее спокойствие было уже не мудростью отчаяния, но мудростью упования. Она понимала, что ей лучше, сознавала, что надо

быть благоразумной, и потому лежала тихо — она только одарила меня чудной улыбкой в знак того, что чувствует себя лучше, и слегка пожала мне руку.

Я знал, какую гадливость вызывал у бабушки один вид некоторых животных, а тем паче — их прикосновение. Я знал, что она терпит пиявки только в надежде, что ей потом станет физически легче. Вот почему меня раздражала Франсуаза, говорившая бабушке со смешком, точно ребенку, которого хотят вовлечь в игру: «Ах, какие славные зверюшки ползают по нашей барыне!» Притом разговаривать с больной, словно она впала в детство, было просто невежливо. Но бабушка, лицо которой выражало спокойное мужество стоика, по-видимому, даже не слышала ее.

Увы! Как только с бабушки сняли пиявки, прилив крови усилился. Мне казалось странным, что бабушке стало хуже, а Франсуаза все время куда-то исчезает. Дело было в том, что она заказала себе траурное платье и ей не хотелось задерживать портниху. У большинства женщин все, даже самая глубокая скорбь, упирается в примерку.

Через несколько дней мама ночью разбудила меня. Извиняющимся тоном, каким в важных случаях жизни говорят убитые горем люди, бо-

ясь хоть чем-нибудь побеспокоить других, она сказала:

— Прости, что я тебя разбудила.

— А я и не спал, — проснувшись, ответил я.

Я говорил правду. Резкая перемена, какую совершает в нас пробуждение, состоит в том, что она не столько переносит нас в светлое поле сознания, сколько уничтожает воспоминание о более мягком свете, в котором, словно в опаловой глубине вод, покоился наш разум. Смутные мысли, на которых мы только что плыли, производили внутри нас движение, достаточно ощутимое для того, чтобы мы могли обозначить их словом «бодрствование». Но пробуждение наталкивается на сопротивление памяти. Немного погодя мы называем эти мысли сном, потому что мы их уже не помним. Пока сияет яркая звезда, которая, когда спавший просыпается, отбрасывает свет назад, на весь его сон, спавший несколько секунд пребывает в уверенности, что то был не сон, а бдение; откровенно говоря, это звезда падучая, которая только после того, как вместе с ее светом исчезнут и призрачная жизнь, и все сновидения, позволит проснувшемуся сказать себе: «Я спал».

Таким ласковым голосом, как будто она бо-

ялась сделать мне больно, мама спросила, не трудно ли мне встать, а затем, гладя мне руки, проговорила:

— Мальчик мой дорогой! Теперь у тебя есть только папа и мама.

Мы с ней входим в бабушкину комнату. Изогнувшись дугой на кровати, какое-то иное существо, а не бабушка, какое-то животное, украсившееся ее волосами и улегшееся на ее место, тяжело дышит, стонет, своими судорогами разметывает одеяло и простыню. Веки у него опущены, но из-под них проглядывают, — и не потому, чтобы они приоткрывались, а скорее потому, что были неплотно сомкнуты, — уголки зрачков, затуманенные, гноящиеся, отражающие мрак бредовых видений и боль где-то внутри. Его возбуждение не имеет никакого отношения к нам: нас оно не видит, не узнает. Но если на кровати корчится животное, то где же бабушка? А нос у нее все такой же, только теперь он никак не связан с другими чертами лица, а родинка на нем осталась, и такая же у бабушки рука, срывающая одеяло движением, которое раньше значило бы, что одеяло ей мешает, а теперь уже ничего не значит.

Чтобы смочить бабушке лоб, мама попросила

меня принести водички и уксусу. Заметив, что бабушка силится откинуть со лба волосы, мама решила, что только этим можно освежить ей лоб. Но тут в приотворившуюся дверь меня поманили рукой. О том, что бабушка при смерти, сразу узнал весь дом. Один из тех, кого в исключительных случаях приглашают «на подмогу» сбивающейся с ног прислуге и этим придают умиранию нечто праздничное, отворил дверь герцогу Германтскому — тот не пошел дальше передней и вызвал меня; отделаться от него я не мог.

— Я пришел, драгоценный мой, узнать о печальных событиях. Мне бы хотелось в знак сочувствия пожать руку вашему батюшке.

Извинившись, я сказал, что сейчас нельзя отзывать отца. Приход герцога Германтского был так же несвоевременен, как приход гостя перед самым отъездом хозяев. Но герцог был полон сознанием того, как важно, что он оказывает нам честь, все прочее сейчас для него не существовало, единственным его желанием было во что бы то ни стало войти в гостиную. Вообще, вознамерившись почтить кого-либо своим вниманием, он строго соблюдал формальности, а что чемоданы уложены или что гроб готов — это его не касалось.

— Вы не приглашали Дьелафуа?[291] Напрасно. Если б вы ко мне обратились, он пришел бы ради меня, он мне ни в чем не отказывает, а вот герцогине Шартрской отказал. Вы видите, я не боюсь поставить себя выше принцессы крови. Впрочем, перед лицом смерти мы все равны, — добавил он, но не для того, чтобы убедить меня, что бабушка становится равной ему, а, быть может, почувствовав, что продолжать разговор о своем влиянии на Дьелафуа и о своем превосходстве перед герцогиней Шартрской было бы не вполне уместно.

То, что он упомянул Дьелафуа, меня не удивило. Я знал, что у Германтов о Дьелафуа всегда говорили (может быть, только чуть-чуть почтительнее), как будто это один из их не имеющих себе равных поставщиков. Старая герцогиня де Мортмар, урожденная Германт (непонятно почему, когда речь заходит о герцогинях, почти всегда говорят или: «Старая герцогиня такая-то», или, если она молода, с милой улыбкой, как на картинах Ватто, — «маленькая герцогиня такая-то»), в случае тяжелого заболевания почти машинально твердила, прищурившись: «Дьелафуа, Дьелафуа»,

[291] Примечания: 291

Дьелафуа, Жорж (1839–1911) — французский медик, профессор внутренней патологии медицинского факультета Сорбонны, член Медицинской академии (1890).

так же как она твердила бы, если б понадобилось заказать мороженое: «Пуаре Бланш», или, если потребовалось бы печенье: «Ребате, Ребате». Но мне было неизвестно, что отец как раз только что послал за Дьелафуа.

В это время мама, с нетерпением ждавшая баллонов с кислородом, которые должны были облегчить бабушке дыхание, сама вышла в переднюю, не подозревая, что там герцог Германтский. Мне хотелось куда-нибудь его спрятать. Но, убежденный в том, что сейчас это самое главное, что для мамы это должно быть в высшей степени лестно и что это совершенно необходимо для поддержания его репутации — репутации человека высшего общества, он подхватил меня под руку и, невзирая на мой протестующий против этого насилия лепет: «Герцог, герцог, герцог!», потащил меня к маме. «Сделайте мне, пожалуйста, великое одолжение — познакомьте меня с вашей матушкой!» — сказал он, слегка сбившись с тона на слове «матушка». Герцог был преисполнен уверенности, что это он оказывает ей одолжение, и потому не мог не улыбнуться, что не мешало ему сохранять приличествующее случаю выражение. Мне ничего иного не оставалось, как представить герцога, и тут начались курбеты, антраша:

герцог намеревался проделать все, чего требовал церемониал поклона. Он даже собирался начать разговор, но моя мать, вся ушедшая в свое горе, велела мне скорей возвращаться, а герцогу даже не ответила, герцог же надеялся, что его пригласят, но, оставшись в передней один, он в конце концов ушел бы, не войди в эту минуту Сен-Лу, который утром приехал в Париж и поспешил узнать, как здоровье бабушки. «О, она великолепно себя чувствует!» — весело воскликнул герцог и, не обращая внимания на мою мать, которая опять вышла в переднюю, с такой силой потянул племянника за пуговицу, что чуть не оторвал ее. Приняв во внимание то, как относился ко мне Сен-Лу последнее время, я полагаю, что, несмотря на всю искренность его сочувствия моему горю, он не был особенно огорчен тем, что мы с ним не увиделись. Он ушел, увлекаемый своим дядей, а тому надо было сказать своему племяннику что-то очень важное, и сейчас он не мог скрыть своя восторг по поводу того, что, значит, ему незачем тащиться в Донсьер. «Если б меня уверяли, что стоит мне перейти двор — и я тебя здесь найду, я бы подумал, что надо мной шутки шутят; как сказал бы твой приятель Блок, это сцена из фарса». Обняв Робера за плечо и идя с ним рядом, он

продолжал: «Ну ничего; сейчас я, должно быть, дотронулся до веревки повешенного или что-то в этом роде. А все-таки мне здорово повезло». Герцог Германтский не был дурно воспитан, напротив. Но он принадлежал к числу тех, кто не входит в положение других, к числу людей, похожих в этом на докторов и на служащих в похоронном бюро, которые придают своим лицам соответствующее выражение, произносят: «Как это ужасно!», даже иногда обнимают вас и успокаивают, а потом уже последние минуты и похороны — это для них довольно малолюдное светское сборище, в их чертах проступает жизнерадостность, и они ищут взглядом знакомого, с которым можно потолковать о делишках, которого можно попросить с кем-нибудь познакомить или которому можно предложить «подвезти» его домой в своем экипаже. Герцог Германтский, обрадованный тем, что «попутный ветер» погнал его к племяннику, был вместе с тем удивлен приемом, который он встретил у моей матери, приемом, однако, вполне естественным, и он потом говорил, что насколько мой отец обходителен, настолько она неприятна, что на нее по временам «находит» и тогда она, вероятно, даже не слышит, о чем ей толкуют, что она была не в

себе и, может быть, даже не в полном рассудке. Впрочем, я слышал, что герцог склонен был приписать это печальному событию, которым она, очевидно, была «очень огорчена». Но в ногах у него долго еще оставался зуд от расшаркиваний и поклонов, которые он вынужден был прервать, и он столь неясно представлял себе, как тяжело переживает мама болезнь бабушки, что накануне похорон спросил меня, пытался ли я ее развлечь.

Один монах, родственник бабушки, с которым я был не знаком, телеграфировал в Австрию, где находился глава его ордена, и, в виде особой милости получив разрешение, пришел к нам в тот же день, что и герцог. С убитым видом он молился у постели больной вслух и мысленно, в то же время сверля бабушку буравчиками своих глаз. Когда бабушка лежала без сознания, я вдруг взглянул на него, и мне стало его жаль — до того он был удручен. По всей вероятности, мое сочувствие удивило его, и тут произошло нечто странное. Он закрыл лицо руками, как человек, погруженный в мрачное раздумье, но, поняв, что сейчас я оторву от него глаза, он оставил между пальцами щелочку. И еще я заметил, отводя от него взгляд, что его острые глаза воспользовались прикрытием рук, чтобы проверить, искренне

ли мое сострадание. Он затаился там, точно в полумраке исповедальни. Догадавшись, что мне его видно, он опустил решетку. Потом мы с ним встречались, но никто из нас ни разу не заговорил об этом мгновении. По нашему с ним молчаливому уговору я как будто бы не заметил тогда, что он за мной подглядывал. У священников, как и у врачей по душевным болезням, есть что-то от судебного следователя. А впрочем, у кого из нас нет друга, пусть даже самого близкого, в чьем прошлом, которое вместе с тем является и нашим прошлым, не найдется таких минут, о которых нам приятнее было бы думать, что он их не помнит?

Врач впрыснул бабушке морфий и, чтобы ей легче дышалось, потребовал баллонов с кислородом. Мать, доктор и сестра держали их в руках, и, как только один баллон кончался, им подавали другой. Я на минутку вышел из комнаты. Вернувшись, я подумал, что совершается чудо. Под приглушенный аккомпанемент непрерывного журчания бабушка словно пела нам длинную радостную песню, и эта песня, быстрая и мелодичная, наполняла всю комнату. Я сразу понял, что это у бабушки так же бессознательно, совершенно непроизвольно, как и недавнее хрипение.

Быть может, песня слабо отражала известное облегчение, наступившее после укола морфия. Но в наибольшей степени она являлась следствием того, что, так как воздух попадал в бронхи не совсем обычным способом, изменился регистр ее дыхания. Очищенное благодаря действию кислорода и морфия, дыхание бабушки не уставало, не ныло — стремительным, легким конькобежцем скользило оно навстречу упоительному флюиду. Быть может, с ее дыханием, неслышным, как дуновение ветра в свирели, сливалось что-то напоминавшее вздохи человека, выпущенные на волю перед его смертью, создающие впечатление, что человек мучается или блаженствует, хотя на самом-то деле он уже ничего не чувствует, и, не меняя ритма, придающие особую благозвучность длинной музыкальной фразе, а фраза поднимается, вздымается все выше, низвергается, затем вновь вырывается из облегченной груди и бросается в погоню за кислородом. Но, взлетев так высоко и прозвучав с такой длительной мощью, песня, сливающаяся с молящим в самой своей томности журчанием, по временам словно затихает — точь-в-точь иссякающий ключ.

Когда Франсуаза о чем-нибудь очень горевала, у нее появлялась совершенно ненужная потреб-

ность выразить свои чувства, но выражала она их крайне неумело. Она решила, что бабушка нипочем не выживет, и ей страх как хотелось излить нам душу. Но она все твердила; «Я ото всего от этого какая-то не такая», и тон у нее ничем не отличался от того, каким она говорила, когда наедалась супу с капустой: «У меня в животе какая-то тяжесть», и в обоих случаях это звучало естественнее, чем она думала. Чувства свои она выражала плохо, но тем не менее горе ее было очень велико, и оно еще усиливалось от досады, что ее дочка задерживается в Комбре (молодая парижанка говорила теперь не «Комбре», а презрительно — «Комбрёнка» и чувствовала, что превращается там в «бабенку») и, вернее всего, не попадет на похороны, а между тем Франсуаза представляла их себе чем-то необычайно торжественным. Зная нашу замкнутость, она на всякий случай попросила Жюпьена, чтобы он на этой неделе приходил к ней каждый вечер. Она знала, что в тот час, когда могут состояться похороны, он будет занят. Ей хотелось, когда он придет вечером, по крайней мере «все уж ему рассказать».

Мой отец, дедушка и один из наших родственников не выходили из дому уже несколько дней и дежурили ночи напролет. Длительная их само-

отверженность в конце концов приняла обличье равнодушия, и от нескончаемого бездельничанья вокруг умирания они в конце концов начали вести разговоры, какие всегда ведутся в вагонах дальнего следования. Родственник (племянник моей двоюродной бабушки) всюду пользовался заслуженным уважением и только мне одному не нравился.

В трудных обстоятельствах его всегда «отыскивали», он не отходил от умирающего, и родные, почему-то уверив себя, что он слабого здоровья, хотя на вид он был крепыш, говорил баритональным басом и носил окладистую бороду, при помощи обычных иносказаний упрашивали его не присутствовать на похоронах. Я знал заранее, что мама, думавшая о других, даже когда у нее сердце разрывалось на части, скажет ему в совсем иной форме то, что говорили ему всякий раз:

— Обещайте мне, что завтра вы не придете. Ради *нее*. Во всяком случае, не ходите *туда*. Она же вас просила не приходить.

На него ничто не действовало, он всегда приходил в *тот дом* первым, за что в других семьях получил прозвище, которое нам было неизвестно: «Ни цветов, ни венков». Перед тем как *пойти на все*, он всегда думал *обо всем*, и благодарили

его за это небанально: «Таким людям, как вы, спасибо не говорят».

— Что? — громко спросил дедушка — он стал туговат на ухо и не расслышал, что сказал родственник моему отцу.

— Ничего особенного, — ответил родственник. — Утром я получил письмо из Комбре — погода там ужасная, а здесь солнце греет вовсю.

— Однако барометр упал, — заметил отец.

— Где, вы сказали, плохая погода? — переспросил дедушка.

— В Комбре.

— Меня это не удивляет. Когда здесь плохая погода, в Комбре — хорошая, и наоборот. Ах, боже мой! Вы заговорили о Комбре. А Леграндену-то написали?

— Да, не беспокойтесь, он извещен, — ответил родственник, смуглые, заросшие бородой щеки которого неприметно раздвигала улыбка от удовлетворения, что он и об этом подумал.

Вдруг отец выбежал из комнаты; я подумал: уж не случилось ли чего-нибудь очень хорошего или очень плохого? Однако всего-навсего приехал доктор Дьелафуа. Отец встретил его в соседней комнате, точно актера, который сейчас появится на сцене. Дьелафуа приглашали не для лечения,

а для удостоверения, как приглашают нотариуса. Доктор Дьелафуа, наверное, был замечательным врачом, великолепным лектором; кроме этих сложных ролей, которые он исполнял блестяще, он играл еще одну и в ней на протяжении сорока лет не знал себе равных; эта роль, не менее своеобразная, чем роль резонера, скарамуша[292] или благородного отца, состояла в том, что он являлся удостоверить агонию или смерть. Его имя ручалось за то, что он в этом амплуа в грязь лицом не ударит, и когда служанка докладывала: «Господин Дьелафуа!» — вам казалось, что вы смотрите пьесу Мольера. Величественности осанки соответствовала неуловимая гибкость его пленительно стройного стана. В связи с горестным событием красота черт его лица стушевывалась. Профессор вошел в безукоризненно сидевшем на нем черном сюртуке, в меру грустный, не выразил соболезнования, потому что оно могло быть воспринято как фальшь, и вообще не допустил ни малейшей бестактности. У смертного одра настоящим вельможей показал себя он, а не герцог Германтский. Он осмотрел бабушку, не утомив ее и проявив наивысшую корректность по

[292] Примечания: 292

Скарамуш — персонаж итальянской комедии, олицетворение фанфаронства и трусости.

отношению к лечащему врачу, а затем прошептал несколько слов моему отцу и почтительно поклонился матери — я почувствовал, что отец чуть-чуть не сказал ей: «Профессор Дьелафуа». Но профессор, боясь проявить назойливость, уже отвернулся от нее и великолепно разыграл уход, предварительно с самым естественным видом получив гонорар. Он как будто его и не видел, и мы даже на секунду усомнились, вручили ли мы ему вознаграждение, ибо он куда-то его сунул с ловкостью фокусника, нимало не поступившись своей величественностью, а скорей придав себе даже еще более величественный вид — вид известного врача-консультанта в длинном сюртуке на шелковой подкладке, с красивым лицом, на котором написано благородное сострадание. Его медлительность и живость говорили о том, что, будь у него еще сто визитов, он не хочет, чтобы о нем думали, что он торопится. Он представлял собой воплощение такта, ума и доброты. Этого необыкновенного человека уже нет на свете. Наверное, другие врачи, другие профессора не уступают ему, а в чем-то, быть может, даже и выше его. Но «амплуа», в котором он благодаря своим познаниям, своим физическим данным, своему прекрасному воспитанию выступал с

таким огромным успехом, уже не существует, потому что преемников у него нет. Мама даже не заметила Дьелафуа — все, кроме бабушки, для нее не существовало. Я припоминаю (тут я забегаю вперед), что на кладбище, где, как потом говорили, она была похожа на выходца с того света, она робко подошла к могиле, — взгляд у нее был устремлен вслед кому-то, кто улетал от нее вдаль, — и в ответ на слова отца: «Дядюшка Норпуа сперва пришел к нам, был в церкви, а сейчас он на кладбище, пропустил очень важное для него заседание, скажи ему что-нибудь, он будет очень тронут» — и на низкий поклон посла могла только, не проронив ни одной слезинки, смиренно опустить голову. За два дня до похорон, — я опять забегаю вперед, но сейчас вернусь к смертному ложу, — когда мы бодрствовали у гроба скончавшейся бабушки, Франсуаза, твердо верившая в привидения и вздрагивавшая при малейшем шорохе, говорила: «Мне все чудится, что это она». Но у моей матери вместо страха эти слова вызывали прилив глубочайшей нежности — ей так хотелось, чтобы мертвые являлись живым и чтобы она могла побыть хоть изредка с бабушкой! Возвращаюсь к предсмертным часам.

— Знаете, что нам телеграфировали ее сест-

ры? — обратился к нашему родственнику дедушка.

— Да, о Бетховене, мне говорили, просто хоть в рамку вставляй, меня это не удивляет.

— Моя бедная жена так их любила! — отирая слезу, сказал дедушка. — Но сердиться на них не надо. Они сумасшедшие — я всегда держался такого мнения. Что это, почему перестали давать кислород?

Моя мать сказала:

— Мама опять начнет задыхаться.

— Нет, нет, — возразил врач, — кислород действует долго, а скоро мы ей дадим еще.

Я подумал, что про умирающую так бы не сказали и что, если благоприятное действие кислорода продлится, значит, надежда на спасение бабушки есть. Свист кислорода на некоторое время прекратился. Но блаженная жалоба дыхания изливалась по-прежнему, легкая, беспокойная, беспрестанно обрывавшаяся и воскресавшая. Временами казалось, что все кончено, дыхание останавливалось — то ли оттого, что переходило из одной октавы в другую, как у спящего, то ли по причине естественных перерывов, вследствие анестезии, усиливавшегося удушья, ослабления сердечной деятельности. Врач опять пощупал ба-

бушке пульс, но теперь, словно какой-то приток нес свою дань в высохшую реку, новая песня ответвлялась от оборванной музыкальной фразы. И фраза вновь звучала в ином диапазоне, но все такая же вдохновенная. Быть может, бабушка даже и не сознавала, какое множество радостных и нежных чувств, сдавленных страданием, бьет из нее, словно внезапно вырвавшиеся на поверхность родниковые воды. Можно было подумать, что из нее исходит все, о чем ей хочется нам сказать, что только наше присутствие вызывает ее излияния, торопливость, горячность. Сотрясаемая всеми вихрями бабушкиной агонии, не рыдая, но по временам обливаясь слезами, мама была так же бездумно неутешна, как неутешна ветка, которую исхлестывает дождь и раскачивает ветер. Мне велели вытереть глаза и подойти поцеловать бабушку.

— Должно быть, она уже ничего не видит, — проговорил дедушка.

— Трудно сказать, — возразил доктор.

Когда я дотронулся губами до бабушки, руки у нее задвигались, по всему ее телу долго бежала дрожь, и то ли эта дрожь была непроизвольна, то ли иным ласковым душам свойственна повышенная чувствительность, различающая сквозь

покров бессознания то, что они любят, почти не нуждаясь в помощи рассудка. Неожиданно бабушка, привстав, сделала нечеловеческое усилие, точно защищая свою жизнь. Франсуаза не выдержала и разрыдалась. Вспомнив, что говорил доктор, я решил вывести ее из комнаты. Но тут бабушка открыла глаза. Я кинулся к Франсуазе, чтобы приглушить ее рыдания, пока мои родные будут разговаривать с бабушкой. Шум кислорода стих, доктор отошел от кровати. Бабушка умерла.

Несколько часов спустя Франсуаза в последний раз, не причиняя им боли, причесала красивые ее волосы, только чуть тронутые сединою и до сих пор казавшиеся моложе ее самой. А теперь напротив: они одни являли собою венец старости над помолодевшим бабушкиным лицом, на котором уже не было ни морщин, ни складок, ни отеков, ни припухлостей, ни впадин — ни одного из следов, которые в течение многих лет оставляло после себя страдание. Как в те далекие времена, когда родители выбирали ей супруга, ее черты были теперь бережно изваяны душевной чистотой и покорностью, щеки сияли целомудренной надеждой, мечтою о счастье и даже безгрешной веселостью — всем, что постепенно разрушили

годы. Жизнь, уходя, унесла с собой связанные с ней разочарования. Казалось, уста бабушки сложились в улыбку. Смерть, точно средневековый ваятель, простерла ее на ложе скорби в обличье молодой девушки.[293]

[293] Примечания: 293

…в обличье молодой девушки. — В описании смерти бабушки Пруст руководствовался в основном впечатлениями, произведенными на него кончиной матери, которую смерть также омолодила.

Глава вторая

Хотя это было в самое обыкновенное осеннее воскресенье, но именно в этот день я возродился, жизнь открывалась передо мной нехоженою тропою, оттого что утром, после того как долго стояла хорошая погода, пал холодный туман, развеялся же он лишь к полудню. А перемены погоды достаточно, чтобы заново создать мир и нас самих. Бывало, когда в трубе моего камина выл ветер, я прислушивался к тому, как он стучится в заслонку, с не меньшим волнением, чем если бы, подобно знаменитым ударам смычка, которыми в до-миноре начинается Симфония,[294] то был неумолимый зов таинственного рока. Любое изменение в природе преображает и нас, приноравливая к новому виду внешнего мира наши желания, звучащие с ним в лад. Туман, — стоило мне проснуться, — превратил меня из центробежного существа, какое мы представляем собой, когда светит солнце, в съежившегося человека,

[294] Примечания: 294

…которыми в до-миноре начинается Симфония… — Речь идет о Пятой симфонии Бетховена (1808 г.). По поводу первых тактов симфонии сам композитор говорил: «Так судьба стучится в двери».

мечтающего о камельке и о разделенном ложе, в зябкого Адама, ищущего в этом другом мире домоседку Еву.

Между мягким серым цветом утренней деревни и вкусом налитого в чашку шоколада я расположил всю своеобычность физической, умственной и духовной жизни, какую я привез с собой примерно год тому назад в Донсьер, жизни, неразрывно связанной с вытянувшимся в длину лысым холмом, все время находившимся передо мной, даже когда он был невидим, и состоявшей из множества наслаждений, которые резко отличались от всех прочих и о которых невозможно было поведать друзьям, оттого что сама узорчатая ткань впечатлений, их оркестровавших, давала мне о них, без усилий с моей стороны, более точное представление, чем происшествия, о коих я мог бы им рассказать. Благодаря этому новый мир, куда погрузил меня туман, был миром мне уже знакомым (и это придавало ему еще большую достоверность) и лишь на некоторое время забытым (и это возвращало ему всю его свежесть). Я мог рассматривать картины тумана, которые сохранила моя память, например: «Утро в Донсьере», и это могла быть картина, увиденная мною в мой первый день, проведенный в

казарме, либо увиденная в другой раз, в ближнем замке, куда Сен-Лу увез меня на целые сутки: на рассвете, перед тем как снова лечь, я отдергивал занавески, и из окна казармы — кавалерист, из окна замка (на узенькой полоске между прудом и лесом, тонувшим в единообразной, текучей мягкости тумана) — кучер, чистивший сбрую, мне были видны, как бывают видны единичные, еле различаемые глазом, вынужденным применяться к таинственной расплывчатости сумрака, фигуры, всплывающие на стершейся фреске.

Сегодня я разглядывал эти воспоминания, лежа в постели, потому что решил поваляться, пока не пора будет идти к маркизе де Вильпаризи на домашний спектакль, а мне хотелось воспользоваться отсутствием родителей, уехавших на несколько дней в Комбре, и посмотреть вечером одну пьеску. После их приезда я, пожалуй, не решился бы пойти к маркизе; моя мать до такой степени щепетильно чтила память бабушки, что ей были дороги только искренние и добровольные проявления скорби; она не запретила бы мне пойти к маркизе — она бы меня не одобрила. А вот если бы я написал ей в Комбре и попросил совета, я бы не получил в ответ печальных строк: «Как хочешь, ты уже взрослый и сам знаешь, как

лучше поступить», — напротив: она упрекала бы себя, что оставила в Париже меня одного, и, судя о моем горе по-своему, выразила бы желание, чтобы я развлекся — хотя она на моем месте никуда бы не пошла, — да еще уговорила бы себя, что бабушка, заботившаяся прежде всего о моем здоровье и настроении, непременно послала бы меня развлечься.

С утра затопили водяной калорифер. Неприятный, по временам словно икающий его звук не имел никакого отношения к моим воспоминаниям о Донсьере. И все же нынешняя продолжительная его встреча с ними во мне породнила их — настолько, что теперь всякий раз, когда я, (немного) отвыкнув от центрального отопления, вновь слышу его шум, эти воспоминания оживают.

Дома не было никого, кроме Франсуазы. Туман рассеялся. Серый день, крапавший, как мелкий дождь, бесперебойно ткал прозрачные сетки, и, попадая в них, гулявшие по случаю воскресенья словно серебрились. Я швырнул на пол «Фигаро», за которым, после того как отправил туда статью, так и не напечатанную, добросовестно посылал каждый день; солнце все не показывалось, но густота света говорила о том, что это

еще самая середина дня. Тюлевые занавески на окне, воздушные, зыбкие, какими они не бывают в ясные дни, являли собою сочетание нежности и хрупкости, свойственное крыльям стрекозы и венецианскому стеклу. В это воскресенье меня особенно угнетало одиночество, оттого что утром я послал письмо мадмуазель де Стермарья. Матери Робера де Сен-Лу после многих бесплодных попыток удалось воздействовать на сына, он порвал наконец со своей любовницей, и его отправили в Марокко, чтобы ему легче было окончательно забыть женщину, которую он незадолго до разрыва уже разлюбил, а вчера я получил от него письмо, в котором он уведомлял меня, что скоро, но очень ненадолго, приедет во Францию. В Париже он должен был только показаться — и скорей назад (без сомнения, его родные боялись, как бы его связь с Рахилью не возобновилась), и поэтому он счел своим долгом сообщить, — чтобы показать, что он обо мне думает, — о своей встрече в Танжере с мадмуазель или, вернее, с мадам де Стермарья — она три месяца была замужем, а потом развелась. Вспомнив, что я говорил ему в Бальбеке, он попросил де Стермарья, чтобы она назначила мне свидание. Она сказала, что с большим удовольствием поужинает со мной,

когда, перед тем как вернуться в Бретань, заедет в Париж. Он советовал мне поскорей написать г-же де Стермарья — по его расчетам, она уже должна была быть в Париже.

Письмо Сен-Лу не удивило меня, хотя я ничего не знал о Робере с тех пор, как во время болезни бабушки он обвинил меня в вероломстве и предательстве. Я тогда же отлично понял, в чем дело. Рахили нравилось возбуждать в Сен-Лу ревность, — да и на меня ей было за что сердиться, — и она убедила своего любовника, что в его отсутствие я пытался вступить с ней в тайную связь. Наверно, он продолжал бы думать, что так оно и есть, но он разлюбил ее, и теперь ему было совершенно безразлично, говорила она тогда правду или лгала, он стремился к одному: чтобы наши дружеские отношения не прервались. Как-то я заговорил с ним о том, в чем он обвинял меня, — вместо ответа он улыбнулся доброй и ласковой улыбкой, как бы прося извинения, и начал разговор совсем о другом. И все-таки позднее он изредка встречался с Рахилью в Париже. Редко бывает так, чтобы люди, игравшие большую роль в нашей жизни, выпадали из нее внезапно и навсегда. Время от времени они опять появляются в нашей жизни (некоторым это даже дает основа-

ние предполагать, что любовь вспыхнула снова), а затем уже уходят навеки. Острая боль от разрыва с Рахилью прошла у Сен-Лу очень скоро — на него действовало успокаивающе то удовольствие, какое доставляли ему беспрестанные денежные просьбы его подружки. Ревность, служащая продолжением любви, не намного богаче других форм воображения. Чтобы набить чемодан доверху, нам достаточно взять с собою в дорогу три или четыре образа, которые мы, впрочем, где-нибудь потеряем (лилии и анемоны Понте-Веккио, персидскую церковь в тумане и т. п.). Когда мы порываем с любовницей, нам очень хочется, — пока все еще очень живо в нашей памяти, — чтобы она не пошла на содержание к тем трем или четырем мужчинам, которых мы себе представляем, иными словами — к которым мы ее ревнуем: те, кого мы себе не представляем, не имеют для нас никакого значения. А между тем частые денежные просьбы покинутой любовницы дают нам далеко не полное представление об ее жизни, как не дали бы полного представления о ее болезни записи температуры. Но записи температуры, по крайней мере, указывали бы на то, что она больна, а денежные просьбы лишь наводят на подозрение, — да и то довольно-таки

смутное, — что брошенная или бросившая сидит на мели за отсутствием богатого покровителя. Каждая ее просьба радует ревнивца, потому что это облегчает его страдания, и он немедленно посылает ей денег — ему хочется, чтобы у нее было все, кроме любовников (одного из трех, которых он себе представляет), длится же это до тех пор, пока он не начнет мало-помалу приходить в себя и не сможет спокойно отнестись к сообщению, кто его преемник. Иногда Рахиль приходила к бывшему своему любовнику довольно поздно и просила позволения поспать на одной постели. Для Робера это было большой радостью, потому что убеждало его в том, как они все-таки были прежде интимно близки — стоило ему проснуться и обратить внимание хотя бы на то, что, даже когда он сталкивал ее во сне на край кровати, она продолжала спать сладким сном. Он чувствовал, что спать рядышком со своим давнишним другом ей удобнее, чем где бы то ни было, что, когда она лежит около него, — пусть даже в гостинице, — ей кажется, что она в давно знакомой, обжитой комнате, где спится крепче. Он был уверен, что его плечи, ноги, да и весь он, даже когда он ворочался с боку на бок во время бессонницы или когда его одолевали мысли о

предстоящей работе, для нее до того привычны, что не только не могут стеснить ее, но что ей еще спокойнее от ощущения их близости.

Возвращаясь к моему рассказу, я должен заметить, что меня особенно взволновало в письме Сен-Лу из Марокко вычитанное мною между строк — то, что он не решался выразить яснее. «Ты смело можешь пригласить ее в отдельный кабинет. Это прелестная женщина, очень общительная, вам легко будет друг с другом, я уверен, что ты чудно проведешь вечер». Мои родители должны были приехать в конце недели, в субботу или в воскресенье, потом мне пришлось бы каждый вечер ужинать дома, и потому я сейчас же напасал г-же де Стермарья и предложил ей на выбор любой вечер, включая пятницу. Мне ответили, что я получу ответ сегодня же, около восьми вечера. Время тянулось бы для меня не так долго, если бы во второй половине дня кто-нибудь ко мне зашел. Когда часы окутываются беседой, их уже не считают, они даже не видны, они исчезают, и вдруг, очень не скоро после того мгновения, когда время от вас схоронилось, оно, проворное, улизнувшее, вновь предстает перед вашим вниманием. Если же мы одни, наша тревога, с частотой и однообразием тиканья подвигая

к нам еще далекое я беспрерывно ожидаемое мгновение, делит или, точнее, умножает часы на количество минут, которые мы бы не считали, если бы с нами были друзья. И, сопоставляя из-за возвращавшегося то и дело желания с жгучим наслаждением, которое я буду испытывать — увы, всего лишь несколько дней! — в обществе г-жи де Стермарья, послеполуденные часы, которые мне надлежало пробыть в одиночестве, я чувствовал, какие они тоскливые и пустые.

Время от времени слышался стук поднимавшегося лифта потом другой, но не тот, которого я ждал, не стук остановки на моем этаже, а ничуть на него непохожий, стук движения к верхним этажам, указывавший мне, когда я ждал гостя, что лифт проезжает мимо, и это случалось так часто, что и много спустя, даже когда мне никого не хотелось видеть, самый этот стук был для меня мучителен, потому что он как бы приговаривал меня к одиночеству. Усталый, смирившийся, обреченный еще несколько часов исполнять свой исконный урок, серый день прял перламутровую тесьму, и мне было грустно думать, что мы будем с ним вдвоем, хотя ему столько же дела до меня, сколько мастерице, севшей у окна, поближе к свету, до того, кто находится в глубине комнаты.

Вдруг — звонка я не слышал — Франсуаза отворила дверь, и, молча, улыбаясь, вошла пополневшая Альбертина, в телесном своем изобилии держа наготове, чтобы я вновь зажил ими, возвращая мне их, дни, проведенные мною там, где я потом не был ни разу, — в Бальбеке. Конечно, каждая новая встреча с женщиной, отношения с которой — как бы ни были они далеки — у нас изменились, есть как бы сопоставление двух эпох. Если бывшая возлюбленная зайдет к нам на правах приятельницы, то это даже слишком много — для такого сопоставления достаточно приезда в Париж той, что у нас на глазах неукоснительно вела определенный образ жизни, а потом изменила его хотя бы всего лишь неделю назад. На каждой смеющейся, вопрошающей и смущенной черте лица Альбертины я мог прочитать: «Ну как маркиза де Вильпаризи? А учитель танцев? А кондитер?» Когда она села, ее спина словно хотела сказать: «Скал здесь, конечно, нет, но вы мне все-таки разрешите сесть поближе к вам, как в Бальбеке?» Она казалась чародейкой, подносившей к моему лицу зеркало времени. Это ее сближало со всеми людьми, с которыми мы встречаемся редко, но с которыми прежде мы были близки. И все же с Альбертиной дело обстояло сложнее. Она и в

Бальбеке, где мы виделись ежедневно, поражала меня своей изменчивостью. Но теперь ее трудно было узнать. Тогда ее черты были подернуты розовой дымкой — теперь они освободились от нее и стали выпуклыми, как у статуи. У нее было другое лицо, вернее, у нее наконец появилось лицо. Она выросла. Почти ничего уже не осталось от покрова, который окутывал ее и на котором в Бальбеке будущий ее облик вырисовывался едва заметно.

В этом году Альбертина раньше вернулась в Париж. Обычно она приезжала весной, когда уже над первыми цветами проносились волновавшие меня первые грозы, и поэтому наслаждение, какое я получал от приезда Альбертины, я не отделял от наслаждения теплым временем года. Мне достаточно было услышать, что она в Париже, что она ко мне заходила, и она снова виделась мне розой на взморье. Я не могу сказать с уверенностью, чего мне тогда хотелось: Бальбека или Альбертину, — быть может, желание обладать Альбертиной являлось ленивой, вялой и неполной формой обладания Бальбеком, как будто духовное обладание предметом способно заменить обладание материальное, переезд на жительство в другой город. Впрочем, если даже

судить с точки зрения материальной, то, когда Альбертина больше не маячила по воле моего воображения на фоне морской дали, а сидела неподвижно подле меня, она часто казалась мне чахлой розой, и мне хотелось закрыть глаза, чтобы не видеть изъянов на ее лепестках и чтобы представлять себе, что я дышу морским воздухом.

Я могу сказать это уже здесь, хотя тогда я еще не предвидел, что случится со мной потом: конечно, разумнее жертвовать жизнью ради женщин, чем ради почтовых марок, старых табакерок, даже чем ради картин и статуй. Но только на примерах других коллекций мы должны были бы понять, что хорошо иметь не одну, а многих женщин. Чарующие сочетания девушки с берегом моря, с заплетенными косами церковной статуи, с гравюрой, со всем, из-за чего мы любим в девушке, как только она появляется, прелестную картину, — эти сочетания не очень устойчивы. Поживите подольше с женщиной — и вы уже не будете видеть в ней то, за что вы ее полюбили; впрочем, ревность может вновь соединить распавшееся на части. После долгой совместной жизни я видел в Альбертине самую обыкновенную женщину, но достаточно было ей

начать встречаться с мужчиной, которого она, быть может, полюбила в Бальбеке, — и я вновь воплощал в ней, сплавлял с нею прибой и берег моря. Но только повторные эти сочетания уже не пленяют нашего взора и зловещей болью отзываются в нашем сердце. Повторение чуда в такой опасной форме нежелательно. Но я забежал вперед. А пока я не могу не выразить сожаления, что в свое время сглупил и, попросту говоря, не обзавелся коллекцией женщин, как обзаводятся коллекцией старинных подзорных трубок, среди которых, при всем богатстве коллекции, всегда найдется место еще для одной, более редкостной.

Вопреки обычному распорядку своего летнего времяпрепровождения в этом году Альбертина приехала из Бальбека прямо в Париж, а в Бальбеке прожила гораздо меньше, чем всегда. Мы с ней давно не виделись. Я понятия не имел, у кого она бывает в Париже, и когда она ко мне не приходила, я ничего о ней не знал. А часто бывало так, что она долго ко мне не приходила. В один прекрасный день она возникала перед моими глазами, но мгновенный расцвет этой розы и молчаливое пребывание ее у меня ничего не говорили мне о том, что же происходило с ней между ее появлениями, и эти промежутки по-

прежнему тонули во мраке, куда моему взгляду даже и не хотелось проникнуть.

На этот раз, однако, по некоторым признакам можно было догадаться, что в ее жизнь вошло что-то новое. Но это могло быть объяснено и по-другому: просто-напросто Альбертина была в том возрасте, когда девушки очень быстро меняются. Например, она явно поумнела, и когда я напомнил, с каким жаром доказывала она, что Софокл должен был бы написать: «Дорогой Расин!» — она первая весело рассмеялась. «Права была Андре, а я говорила глупости, — сказала она. — Софоклу надлежало обратиться к Расину: „Милостивый государь“». Я возразил, что то, на чем настаивала Андре: «Милостивый государь» или «Милостивый государь мой», ничуть не менее смешно, чем Альбертинин «Дорогой Расин» или «Дорогой друг» Жизель, но что, в сущности, круглые дураки — это профессора, все еще заставляющие Софокла писать письма Расину. Но ход моей мысли вдруг стал Альбертине неясен. Она не понимала, что тут такого вздорного: ум у нее пробудился, но еще не развился. В ней произошли более привлекательные перемены; мне виделось в этой хорошенькой девушке, которая села у моей кровати, что-то новое; в тех линиях, которые через

взгляд и через отдельные черты лица обычно выражают волю, отражалось резкое изменение, почти преображение, точно была сломлена сила сопротивления, которая отбросила меня в Бальбеке в тот уже далекий вечер, когда мы тоже были с нею вдвоем, но только, в отличие от нынешнего нашего свидания, тогда лежала она, а я сидел у ее кровати. Мне хотелось поцеловать ее, но я не решался удостовериться, позволит ли она, и всякий раз, когда она порывалась уйти, просил ее посидеть еще немного. Упросить ее было нелегко, потому что, хотя делать ей было нечего (иначе она давно бы упорхнула), она отличалась исправностью и к тому же держалась со мной довольно сухо: видимо, мое общество особого удовольствия ей не доставляло. И все же каждый раз, посмотрев на часы, она опять садилась по моей просьбе, и так она пробыла у меня несколько часов, а я ни о чем не попросил ее; все, что я говорил ей, было связано с нашей многочасовой беседой, нисколько не приближало меня к тому, о чем я мечтал, к чему я стремился, и не пересекалось с моими стремлениями и мечтами. Ничто так не мешает нашим словам выражать то, о чем мы думаем, как желание. Время идет, и все-таки кажется, что мы стараемся выиграть время, рассуждая о вещах,

ничего общего не имеющих с тем, что нас волнует. Мы беседуем, а те слова, какие нам хочется сказать, уже нужно бы сопроводить движением, но мы его так и не сделаем, если не выскажемся и не попросим позволения, хотя бы мы жаждали насладиться и хотя бы нас мучило любопытство: как отнесется к этому движению она. Конечно, я совсем не любил Альбертину; порождение тумана, она могла утолить лишь вымышленное желание, возникшее во мне при перемене погоды и являвшееся чем-то средним между желаниями, которые могут быть удовлетворены кулинарным искусством, и желанием быть частью монументальной скульптуры, ибо я мечтал о том, чтобы моей плоти касалось нечто вещественное, нечто иное и теплое, и — одновременно — о том, чтобы прикрепиться какой-нибудь точкой моего вытянутого тела к телу, от него ответвляюшемуся, подобно тому как тело Евы едва касается ногами бедра Адама, по отношению к телу которого она занимает почти перпендикулярное положение на романских барельефах бальбекского собора, благородно и безмятежно олицетворяющих, почти как на античном фризе, сотворение женщины: вместе с Богом там везде изображены, как будто это два священнослужителя, два ангелочка,

в которых мы узнаем, — они похожи на крылатые, кружащиеся в воздухе летние создания, застигнутые врасплох, но пощаженные зимою, — амуров Геркуланума,[295] оживших в XIII веке и совершающих усталый, но все же не лишенный присущей им грации последний полет по всему порталу.

Что касается наслаждения, которое, осуществив мое желание, отогнало бы от меня неотвязные думы и которое мне могла бы дать любая красивая женщина, то если бы меня спросили, на чем — в то время, когда мы с Альбертиной болтали без передышки и когда я умалчивал только о том, что занимало мои мысли, — основывалось мое оптимистическое предположение по поводу возможной податливости моей собеседницы, то, быть может, я ответил бы, что своим предположением я обязан (меж тем как забытые нотки в голосе Альбертины вновь вычерчивали передо мной очертания ее личности) кое-каким словам, которых она раньше не употребляла — по край-

---

[295] Примечания: 295

Геркуланум — древний город в Италии недалеко от Неаполя. Разрушен и засыпан пеплом вместе с Помпеей во время извержения Везувия 24 августа 79 г. На некоторых фресках, найденных в Помпее и Геркуланме, можно видеть крылатых амуров. О связи характерных для христианской иконографии крылатых херувимов с античными образами писал Дж. Рёскин в своей книге «Амьенская Библия», переведенной Прустом на французский язык.

ней мере, в том смысле, какой придавала она им теперь. Когда она сказала, что Эльстир дурак, я было заспорил.

— Вы меня не поняли, — улыбаясь, пояснила она, — я хочу сказать, что в тех обстоятельствах он вел себя как дурак, но я прекрасно знаю, что это человек действительно замечательный.

Имея в виду, что на гольфе в Фонтенбло общество было изысканное, она заметила:

— В полном смысле слова, отбор.

Когда разговор зашел о том, как я дрался на дуэли,[296] она отозвалась о моих секундантах так: «Первый класс», а взглянув на мое лицо, выразила пожелание, чтобы я «обзавелся усами». Она дошла даже до того, — и мне тогда показалось, что шансы мои поднялись очень высоко, — что воспользовалась выражением, относительно

[296] Примечания: 296

…как я дрался на дуэли… — 3 февраля 1897 г. салонный поэт Жан Лоррен (псевдоним Поля Дюваля; 1855–1906) опубликовал недоброжелательный и двусмысленный в отношении интимной жизни писателя отклик на одну из первых книг Пруста «Наслаждения и дни». Оскорбленный Пруст вызвал его на дуэль, которая состоялась в феврале 1897 г. Противники обменялись выстрелами, но дуэль обошлась без кровопролития. В июле 1921 г. французский писатель и журналист Морис Мартен дю Гар опубликовал в своем журнале «Экри нуво» язвительный отклик на появление «У Германтов», принадлежащий перу одного из своих сотрудников. Пруст хотел вызвать его на дуэль, но Мартен дю Гар постарался замять скандал, заявив, что не разделяет позицию автора статьи.

которого я мог бы поклясться, что в прошлом году она его не употребляла: она сказала, что не виделась с Жизелью в течение «довольно долгого периода времени». Разумеется, Альбертина, еще когда я был в Бальбеке, располагала изрядным запасом слов, который свидетельствовал о том, что она из семьи состоятельной, и который мать пополняет из года в год, подобно тому как в торжественных случаях мать дает надеть взрослеющей дочери свои драгоценности. Однажды, благодаря незнакомую даму за подарок, Альбертина сказала: «Мне, право, неловко», и тут все почувствовали, что она уже не ребенок. Г-жа Бонтан невольно взглянула на мужа, а тот напомнил:

— Да ведь ей уже стукнуло четырнадцать! Возмужалость Альбертины проступила еще резче, когда, заговорив о молодой девушке дурного тона, она сказала: «Как тут разберешь, хорошенькая она или нет, если у нее *из-под румян щек не видать*?» Совсем молоденькая девушка, Альбертина успела перенять у женщин, принадлежавших к ее кругу и занимавших такое же место в обществе, их манеру держаться и говорила про кривляк: «Я не могу на них смотреть, потому что мне тогда тоже хочется кривляться», а если одна

дама изображала другую, она обращалась к ней с такими словами: «Смешнее всего, что, когда вы ее передразниваете, вы становитесь на нее похожи». Все это было взято из общественной сокровищницы. И тем не менее мне казалось, что в своей среде Альбертина не могла почерпнуть слово «замечательный» в том смысле, какой придавал ему мой отец, когда говорил о своем сослуживце, с которым он еще не успел познакомиться и о котором он был наслышан как о необыкновенно умном человеке: «Должно быть, это человек действительно замечательный». Я не мог себе представить, чтобы кто-нибудь в семье Симоне употребил слово «отбор» даже в применении к гольфу, так же как сочетание существительного «отбор» с прилагательным «естественный» не найдешь ни в одной книге, изданной за несколько столетий до выхода в свет трудов Дарвина. «Период времени» я принял за еще более добрый знак. Наконец, для меня стало очевидным, что в жизни Альбертины произошли неизвестные мне, но несомненные и притом обнадеживающие меня потрясения, когда Альбертина проговорила самодовольным тоном человека, к мнениям которого прислушиваются:

– *С моей точки зрения*, это наилучший выход…

Я *полагаю*, что это самое мудрое решение, благородное решение.

Это было уже что-то совершенно новое, явно наносное, наводившее на мысль, что в прежде неизвестных мне слоях души Альбертины образовались затейливые изгибы, и когда она произнесла: «С моей точки зрения», я притянул ее к себе, а когда она произнесла: «Я полагаю», усадил к себе на кровать.

Бывает, конечно, и так, что малокультурные женщины, вышедшие замуж за широко образованных мужчин, получают от них такие выражения в виде свадебного подарка. Вскоре после наступающей вслед за брачной ночью метаморфозы, когда они делают визиты и уже не откровенничают с бывшими подругами, все с удивлением замечают, что они стали женщинами, — замечают только после того, как услышат, что они говорят уже не «константируют», а «констатируют»; но ведь это же действительно признак происшедшей с ними перемены, и мне казалось, что именно такая перемена произошла в словаре той Альбертины, которую я знал прежде, а для той Альбертины верхом смелости было бы сказать о каком-нибудь странном человеке: «Ну и тип!», или когда ей предлагали принять

участие в азартной игре: «Я не настолько богата, чтобы терять деньги», или, наконец, если ей приходилось выслушивать незаслуженный, по ее мнению, упрек: «Нет, ты просто великолепна!», но эти фразы в таких случаях диктовала ей своего рода обывательская традиция, почти такая же древняя, как Magnificat,[297] и у молодой девушки, задетой за живое и уверенной в своей правоте, это, как говорится, «получается само собой», потому что этим выражениям ее научила мать, как она же научила ее молиться Богу и кланяться. К Альбертине все эти выражения перешли от г-жи Бонтан вместе с ненавистью к евреям и предпочтением черному цвету перед всеми прочими, потому что он подходит ко всем случаям жизни и вполне благопристоен, но никаких уроков г-жа Бонтан Альбертине не давала — Альбертина была подобна только что вылупившемуся щегленку, который перенимает родительский щебет и постепенно становится настоящим щеглом. Как бы то ни было, «отбор» показался мне чем-то чужеродным, а в «я полагаю» мне послышалось ободрение. Альбертина стала другой — значит,

[297] Примечания: 297

Magnificat — Возрадуемся (лат.). (От первого слова латинского текста: «Magnificat anima mea Dominum» — «Величит душа моя Господа») церковное песнопение на текст из Евангелия (Лк. 1, 46).

пожалуй, она и действовать и противодействовать будет по-другому.

Я не только не любил ее, но даже не боялся, как в Бальбеке, лишиться в ее лице друга, потому что и дружбе между нами пришел конец. Не подлежало сомнению, что я давно уже стал ей совершенно безразличен. Я отчетливо сознавал, что в ее глазах я уже не принадлежу к «стайке», а ведь когда-то мне так хотелось в нее попасть, и как же я был счастлив потом, оттого что меня в нее приняли! Поскольку Альбертина утратила бальбекскую бесхитростность и дружелюбие, то особых угрызений совести я не испытывал; и все же мне думается, что подтолкнуло меня мое последнее филологическое открытие. Присоединяя новое звено к цепи незначащих фраз, под которыми таилось мое желание, я говорил Альбертине, — а она, прислонясь к стене, сидела теперь на моей кровати, — об одной девушке из стайки, девушке менее заметной, чем ее подруги, но все же, на мой взгляд, славненькой. «Да, — согласилась Альбертина, — она похожа на япошечку». Вне всякого сомнения, когда я познакомился с Альбертиной, она не знала слова

«япошечка[298]». Если бы ее жизнь шла обычным своим чередом, она, вероятно, никогда бы его и не узнала, и я за грех бы это не счел, так как на мой слух это омерзительное слово. От него болят зубы, как от мороженого. Но из уст хорошенькой Альбертины даже слово «япошечка» мне приятно было услышать. Я подумал, что если оно и не посвящает меня в тайны внешние, то, во всяком случае, выявляет некую внутреннюю эволюцию. К сожалению, Альбертине пора было уходить, иначе и она опоздала бы к ужину, и я бы не сел за стол вовремя. Ужин готовила мне Франсуаза, а она не любила, чтобы ее заставляли ждать, и, должно быть, рассматривала как нарушение одной из статей своего кодекса уже то, что Альбертина в отсутствие моих родителей у меня засиделась и по ее вине все задерживается. Но перед «япошечкой» я отступил и поспешил заявить:

---

[298] Примечания: 298

Япошечка — в оригинале использовано экзотическое слово «mousme», заимствованное французским писателем Пьером Лота из японского языка. Оно появляется в его романе «Госпожа Хризантема» (1887), где Лота объясняет причины нововведения: «Мусме — это слово, которое обозначает девушку или молодую женщину. Это одно из самых милых слов японского языка; кажется, что есть в этом слове что-то от рожицы (милой, забавной рожицы, которую они умеют строить), а главное что-то от мордашки (характерной для них сморщенной мордашки). Я буду часто употреблять это слово, не зная ему равных во французском языке».

— Знаете, я совсем не боюсь щекотки, можете щекотать меня целый час, а я и не почувствую.

— Да что вы?

— Уверяю вас.

Она, конечно, поняла, что так неумело я выражаю желание, потому что, словно давая совет, который вы не решились попросить, но который, как явствует из ваших же слов, может вам пригодиться, она с чисто женской покорностью предложила:

— Хотите, попробую?

— Пожалуйста, но тогда лягте на кровать — вам будет удобнее.

— Вот так?

— Да не с краю, придвиньтесь!

— А я не очень тяжелая?

При этих словах дверь отворилась, и вошла Франсуаза с лампой. Альбертина едва успела сесть опять на стул. Быть может, Франсуаза подслушивала у двери или даже подсматривала в замочную скважину — и наконец выбрала именно этот миг, чтобы нас сконфузить. Впрочем, я предполагал это зря: для таковой цели Франсуаза могла и не утруждать свое зрение — ей достаточно было учуять инстинктом, ибо она так долго жила под одной крышей со мной и с

моими родителями, что в конце концов боязнь, осторожность, наблюдательность и хитрость выработали в ней то инстинктивное и почти провидческое знание о нас, какое есть о море у моряка, у охотника — о дичи, а о болезни — если не у врача, то уж, во всяком случае, у многих больных. Она поражала своей осведомленностью не меньше, чем древние — тем, как далеко они ушли в иных областях, особенно если принять во внимание, что они почти не располагали источниками для получения сведений. (Источники Франсуазы тоже не отличались многообразием. Это были обрывки фраз, составлявшие примерно двадцатую часть нашего разговора за ужином, — обрывки, подхваченные на лету метрдотелем и неточно процитированные им в буфетной.) Но и ее ошибки, так же как ошибки древних, так же как оплошность Платона, верившего басням, все-таки главным образом проистекали из неверного представления о мире и из предвзятых понятий, а не из скудости материальных средств. Ведь уже в наши дни величайшие открытия в мире насекомых сделал ученый,[299] у которого не было ни

[299] Примечания: 299

…сделал ученый… — Имеются в виду работы французского энтомолога Анри Фабра (1823–1915), собранные в его «Энтомологических воспоминаниях» (1879–1907).

лаборатории, ни приборов.

Но если неудобства, связанные с положением прислуги, не мешали Франсуазе приобретать знания, необходимые для искусства, которое являлось ее целью, — а состояло оно в том, чтобы конфузить нас сообщением добытых сведений, — то преграды приносили более обильный плод; помехи не только предоставляли ей возможность развернуться еще шире, но и оказывали ей всяческое содействие. Конечно, Франсуаза не брезговала никакими вспомогательными средствами, как, например, интонациями и жестикуляцией. Она хоть бы раз (ни на волос не веря ничему из того, что говорили ей мы и в чем нам хотелось убедить ее) усомнилась в несусветной чуши, какую пороли слуги, чуши, для нас оскорбительной, к тому же, что утверждали мы, относилась с недоверием, а тон, каким она (косвенная речь давала ей возможность безнаказанно наносить нам чудовищные оскорбления) пересказывала, что слышала от какой-то кухарки, — как эта самая кухарка, запугивая своих господ и при всех обзывая их «дерьмом», в конце концов добилась от них неисчислимых льгот, — ее тон указывал, что кухаркин рассказ — это для нее Евангелие. И она еще прибавляла: «На месте ее хозяйки я бы

обиделась». Особа с пятого этажа внушала нам ничем не вызванную неприязнь, и все же мы, слушая этот рассказ, подававший дурной пример, пожимали плечами с таким видом, что все это враки, однако повествовательница продолжала говорить все тем же противным, не допускающим ни сомнений, ни возражений тоном, каким утверждают нечто совершенно бесспорное.

И самое замечательное: писатели часто достигают могучей краткости, между тем как живи они в век политической свободы или литературной анархии, когда их не связывали бы тирания монарха, строгие правила стихосложения или гнет государственной религии, они бы к краткости не стремились, а Франсуаза, не смея изъясняться с нами без обиняков, говорила, как Тиресий,[300] ес-

[300] Примечания: 300

Тиресий — в греческой мифологии фиванский прорицатель. По одному из мифов, Тиресий, увидев спаривающихся змей, ударил их палкой, за что был превращен богами в женщину; стать мужчиной ему удалось спустя семь лет, когда он вновь увидел спаривающихся змей. Когда между Зевсом и Герой возник спор, кто получает в любви большее наслаждение — мужчина или женщина, — Тиресий был призван рассудить их, поскольку познал особенности обоих полов. Тиресий ответил, что наслаждение женщины в девять раз превышает наслаждение мужчины, за что Гера его ослепила, а Зевс наделил даром прорицания.

ли же она бы писала, то писала бы, как Тацит.[301] Все, что она не могла высказать прямо, она умела выразить в такой фразе, за которую мы не могли ее осадить, — иначе мы расписались бы в том, что приняли эту фразу на свой счет, — иной раз даже и не во фразе, а в молчании или в том, как она подсовывала какую-нибудь вещь.

Так, если я по рассеянности оставлял на столе вместе с другими письмами письмо, которое надо было спрятать от Франсуазы потому, например, что в нем выражалось недоброжелательное к ней отношение, предполагавшее, что недоброжелательно относится к ней и адресат, то вечером, когда я, обеспокоенный, возвращался домой и проходил прямо к себе, первым бросалось мне в глаза письмо, за которое я боялся, — так же, как оно не могло не броситься в глаза Франсуазе: она аккуратно сложила стопкой другие письма, а это положила сверху, почти в сторонку, так что самая его заметность говорила, громко заявляла о себе, и, войдя в комнату, я вздрагивал, словно кто-то вскрикнул. Франсуаза была мастером на такого

[301] Примечания: 301

Тацит, Публий Корнелий (55 — 120) — римский историк, труды которого отличались литературным мастерством, выразительной точностью. Франсуаза, следовательно, соединяет загадочность пророческих высказываний Тиресия с лаконичностью стиля римского историка.

рода мизансцены, рассчитанные на то, чтобы так подготовить зрителя, чтобы к моменту ее выхода он бы уже догадался, что ей все известно. Она владела вдохновенным и в то же время требующим работы над собой искусством Ирвинга[302] и Фредерика Леметра[303] — искусством заставлять говорить неодушевленные предметы. Сейчас, держа над Альбертиной и надо мной зажженную лампу, при которой, все до одной, стали явственно различимы впадинки, оставшиеся на одеяле после того, как на нем полежало тело девушки, Франсуаза олицетворяла «Правосудие, освещающее преступление[304]». Лицо Альбертины не проигрывало при свете. Он озарял на ее щеках наведенный солнцем глянец, пленивший меня в Бальбеке. На воздухе все лицо Альбертины

---

[302] Примечания: 302

Ирвинг (Сэр Генри Ирвинг) — сценический псевдоним Джона Генри Бродриба (1838–1905), выдающегося английского актера, игравшего главным образом в пьесах Шекспира.

[303] Примечания: 303

Фредерик Леметр — сценическое имя французского актера Антуана Луи Проспера Леметра (1800–1876), прославившегося своей игрой в романтических пьесах.

[304] Примечания: 304

«Правосудие, освещающее преступление» — ироничное перетолкование названия и темы картины «Правосудие и Божья Кара, преследующие Преступление» (1808), принадлежащей кисти французского живописца Пьера Поля Прюдона (1758–1823). Достойно внимания, что Пруст, который видел эту картину в Лувре, меняет «преследующие»

на «освещающее» и уподобляет Франсуазу «Божьей Каре», которая на картине Прюдона изображена с факелом в руке.

иногда вдруг становилось мертвенно-бледным, а сейчас наоборот: чем шире разливался по нему свет, тем его плоскости, крепкие, гладкие, ослепительнее и единообразнее окрашивались, так что их можно было сравнить с пунцовыми, глубокого тона, цветами. Изумленный вторжением Франсуазы, я невольно воскликнул:

— Что это, уже лампа? Господи, какой яркий свет! Второй фразой мне, конечно, хотелось замаскировать мое смущение, а первой — оправдать опоздание. Франсуаза ответила на это язвительной двусмысленностью:

— Не задуть ли?

— Не вздуть ли? — шепнула мне на ухо Альбертина, очаровав меня ненаигранной живостью, с какой она, обращаясь ко мне и как к хозяину Франсуазы, и как к сообщнику, в полувопросительной форме высказала это предложение, основанное на психологических наблюдениях.

Когда Франсуаза вышла из комнаты, Альбертина снова села ко мне на кровать.

— Знаете, я боюсь, — заговорил я, — что если так будет продолжаться, то я возьму да и поцелую вас.

— Ах, какой ужас!

Я не сразу ответил на ее позволение, а другой

на моем месте, пожалуй, решил бы, что оно и не нужно: у Альбертины был такой чувственный и такой ласковый голос, что, даже когда она только говорила с вами, у вас появлялось ощущение, словно она вас целует. Одно ее слово уже было знаком благоволения, а речь ее покрывала вас поцелуями. И все же ее позволение мне было очень приятно. Я был бы доволен, даже если б получил позволение у какой-нибудь другой хорошенькой девушки, ее сверстницы; но то, что Альбертина оказалась сейчас такой сговорчивой, доставило мне не просто удовольствие: я получил возможность сравнить несколько образов, отмеченных печатью красоты. Я вспомнил Альбертину прежде всего на пляже, где она была как бы нарисована на фоне моря и казалась таким же призрачным существом, как появляющиеся на сцене фигуры, о которых вы не можете сказать с уверенностью, что это: актриса, чье имя стоит в программе, статистка, заменяющая ее в данный момент, или же это всего лишь проекция волшебного фонаря. Затем от пучка лучей отделилась настоящая женщина; она пришла ко мне, но только для того, чтобы я мог убедиться, что в действительности она отнюдь не сговорчива в сердечных делах, как можно было подумать, глядя на ее отражение в

волшебном фонаре. Я узнал, что ее нельзя трогать, нельзя целовать, что с ней можно только разговаривать, что для меня она не женщина, так же как нефритовый виноград, — несъедобное украшение столов в былые времена, — виноград не настоящий. А теперь она предстала передо иной в третьем образе: настоящая, как при втором моем знакомстве с нею, но сговорчивая, как при первом; и эта ее сговорчивость несказанно обрадовала меня именно потому, что я долго считал ее несговорчивой. Добавление к моему знанию о ее жизни (жизни не такой однообразной, не такой простой, как я думал) на некоторое время сделало из меня агностика. На чем мы имеем право настаивать, если то, что нам сперва представлялось возможным, оказалось недостижимым потом, а в третий раз мы убеждаемся в правильности нашего первого предположения? И — увы! — это было далеко не последнее мое открытие Альбертины. Но хотя в изучении богатства образов, один за другим открываемых жизнью, отсутствовала романтическая привлекательность (совсем не та, какую находил Сен-Лу за ужином в Ривбеле, когда узнавал под маской, какую надевала жизнь на чье-нибудь спокойное лицо, черты, к которым когда-то прикасались

его губы), все же в сознании, что поцеловать Альбертину в щеки — это теперь достижимо, для меня заключалось, пожалуй, более острое наслаждение, чем в поцелуе. Одно дело — обладать женщиной, к которой приникает только наше тело, потому что она всего лишь кусок мяса, и совсем другое дело — обладать девушкой, которая появлялась перед нами вместе с подругами на берегу моря в иные дни, причем невозможно было угадать, почему именно в эти, а не в какие-нибудь другие, и оттого-то мы так боялись, что больше не увидим ее. Жизнь, любезно предоставив нам возможность следить за этой девушкой на протяжении ряда лет, снабдила нас сперва одним оптическим прибором, потом другим, а наше телесное желание окружила свитой иных желаний, бесчисленных, разнообразящих его, более возвышенных и не так-то легко утоляемых, дремлющих и не мешающих желанию телесному действовать самостоятельно, пока оно зарится на кусок мяса, но, едва лишь оно посягнет на захват целой области воспоминаний, откуда им так горько уходить, грозно вздымающихся рядом с ним, усиливающих его, но не могущих следовать за ним вплоть до его исполнения, вплоть до слияния, которому не дано осуществиться так,

как мы надеялись до слияния, с невещественной реальностью, поджидающих это желание на полпути и в миг воспоминаний, в миг возврата снова сопровождающих его; поцеловать щеки первой встречной, самые свежие, но безымянные, без тайны, без обаяния, — это совсем не то что поцеловать щеки, о которых я так давно мечтал: через этот поцелуй я узнал бы вкус и запах окраски, которой я часто любовался. Мы видели женщину, обыкновенную фигуру на фоне декораций жизни, так же как видел я Альбертину на фоне моря, а затем мы можем отделить этот образ, поставить его около себя и постепенно рассмотреть его объем, краски, как будто мы его поместили за стеклом стереоскопа. Вот почему представляют интерес только более или менее трудные женщины, которыми овладеваешь не сразу, которых сразу не разгадаешь: удастся или не удастся когда-нибудь овладеть ими. Дело в том, что узнать их, приблизиться к ним, победить их — это значит изменять форму, величину, рельеф человеческой фигуры, это дает наглядное представление об относительности оценок внешности женщин, их внутреннего мира, представление, которое хорошо бы получить еще раз, когда фигура вновь приобретает тонкость силуэта на фоне декораций

жизни. Женщины, с которыми мы знакомимся через сводню, интереса не представляют, потому что они не меняются.

Кроме того, Альбертина вобрала в себя все связанные с нею впечатления от моря, которые были мне особенно дороги. Мне казалось, что, целуя ее щеки, я мог бы поцеловать все бальбекское взморье.

— Если вас правда можно поцеловать, то лучше потом — я выберу для этого наиболее подходящий для меня момент. Только не забудьте, что вы мне позволили. Мне нужен «чек на поцелуй».

— Вы хотите, чтобы я его подписала?

— Но если я возьму чек сейчас, потом-то я получу другой?

— Смех один с вашими чеками. Время от времени я буду выдавать вам новые.

— Скажите мне еще вот что: знаете, в Бальбеке, когда мы еще не были с вами знакомы, у вас часто бывал холодный и хитрый взгляд, — вы не могли бы мне сказать, о чем вы думали в такие минуты?

— Что вы! Разве я помню?

— Хорошо, я вам помогу: как-то раз ваша подруга Жизель прыгнула — ноги вместе — через стул, на котором сидел старичок. Постарайтесь

вспомнить, что вы думали в эту минуту.

— С Жизелью у нас у всех были как раз наиболее далекие отношения; она и входила и не входила в нашу стайку. Наверно, я подумала, что она очень плохо воспитана и вульгарна.

— А больше ничего?

Мне очень хотелось до поцелуя снова наполнить ее тайной, которой она была полна для меня на берегу моря до нашего знакомства, опять увидеть страну, где она жила раньше; пусть я не представлял себе отчетливо, где же эта страна, все-таки я мог бы населить ее всеми воспоминаниями нашей бальбекской жизни, шумом волн, бушевавших под моим окном, детским криком. Но, скользя взглядом по красивым розовым шарам ее щек, легкие выпуклости которых опадали у первых складок ее прекрасных черных волос, сбегавших неровными цепочками, вздымавших свои кручи и расстилавших волнистые свои долины, я невольно говорил себе: «Наконец-то, потерпев неудачу в Бальбеке, я узнаю вкус неведомых роз, то есть щек Альбертины. А поскольку круговые пути, на которые мы, пока живы, увлекаем как предметы неодушевленные, так и одушевленные, не очень многочисленны, то, пожалуй, я буду иметь право считать, что

в известном смысле моя жизнь полна, когда, заставив выйти из далекой рамы юное личико, которое мне особенно приглянулось, я переведу его в другой план и там наконец познаю его посредством губ». Я говорил это себе, ибо верил, что существует познание посредством губ; я говорил себе, что узнаю вкус этих роз, созданных из плоти, так как мне не приходило в голову, что человеку, существу, по всей видимости, более высоко развитому, чем морской еж или даже кит, все-таки пока что не хватает некоторых важных органов — в частности, у него нет органа, который необходим для поцелуя. Отсутствующий этот орган человек заменяет губами, и, быть может, это дает ему несколько более полное удовлетворение, чем если б он вынужден был ласкать свою возлюбленную клыками. И все-таки наши губы, созданные для того, чтобы давать чувствовать нёбу вкус того, что их соблазняет, наши губы, не понимая своей ошибки и не желая сознаваться в том, что они разочарованы, скользят по поверхности и наталкиваются на ограду непроницаемой и желанной щеки. Впрочем, даже если допустить, что губы стали более изощренными и даровитыми, в это мгновение, а именно — при соприкосновении с телом, они, понятно, не могут

тоньше почувствовать вкус, коль скоро природа да сих пор мешает им уловить его, ибо в тех пустынных местах, где им нечем питаться, они одиноки — зрение, а вслед за ним и обоняние давно покинули их. И вот когда мои губы начали приближаться к щекам, которые мои глаза предложили им поцеловать, то глаза на ином расстоянии увидели другие щеки; разглядев шею вблизи и как бы через лупу, они обнаружили ее крупнозернистость, а в этой крупнозернистости — крепость телосложения, которая изменила весь облик Альбертины.

Только последнее слово фотографии — снимки, которые укладывают у подножия собора все дома, часто казавшиеся нам вблизи почти такими же высокими, как башни, снимки, которые заставляют одни и те же здания передвигаться, как полки: то шеренгами, то цепью, то сомкнутым строем, сдвигают на Пьяцетте[305] две колонны, только что стоявшие далеко одна от другой, в глубину отодвигают Салюте, на бледном и мягком фоне ухитряются втиснуть бесконечную даль под арку моста, в амбразуру окна, между листьями дерева, растущего на переднем плане

[305] Примечания: 305

Пьяцетта — небольшая площадь в Венеции. Салюте — церковь Санта-Мария делла Салюте в Венеции (XVII в.).

и выделяющегося своим более ярким тоном, обрамляют какую-нибудь одну церковь аркадами всех остальных, — способно, как мне кажется, достичь того же, что и поцелуй: извлечь из чего-либо представляющегося нам одной вещью совершенно определенного обличья сотню других, и притом не меньшей ценности, потому что каждая из них подчиняется своим, особым законам перспективы. Словом, уже в Бальбеке Альбертина казалась мне разной; теперь, словно до невероятия ускорив изменения перспективы и изменения окраски, какие представляет нашему взору женщина при встречах с ней, я решил уложить все эти встречи в несколько секунд, чтобы опытным путем воссоздать явление разнообразия человеческой личности и вытащить одну из другой, как из футляра, все заключенные в ней возможности, и на коротком расстоянии от моих губ до ее щеки увидел десять Альбертин; эта девушка была подобна многоглавой богине, и та, которая открывалась моим глазам после всех, как только я пытался приблизиться к ней, пряталась за другую. Пока я к ней наконец не прикоснулся, я по крайней мере видел ее, от нее исходило легкое благоухание. Но увы! — для поцелуя наши ноздри и наши глаза так же плохо расположены,

как плохо устроены губы, — внезапно мои глаза перестали видеть, мой нос, вдавившийся в щеку, уже не различал запаха, и, так и не узнав вкуса желанной розы, я понял по этим невыносимым для меня признакам, что наконец я целую щеку Альбертины.

Потому ли, что теперь у нас была мизансцена (нечто похожее на полный оборот геометрического тела) совсем иная, чем в Бальбеке: я лежал, а она сидела, следовательно, могла отпрянуть в случае грубого насилия и направить наслаждение по своему желанию, но только она без всяких с моей стороны усилий позволила взять то, в чем отказала тогда, да еще с таким злым лицом. (Конечно, от того выражения сладострастное выражение, какое приняло ее лицо, когда я потянулся к нему губами, отличалось лишь чуточным изменением черт лица, но это изменение было подобно разнице между движением человека, добивающего раненого, и движением человека, оказывающего ему помощь, между портретом человека божественной красоты и портретом урода.) Я не знал, следует ли мне относиться с особым почтением и быть благодарным за эту перемену какому-нибудь невольному благодетелю, который в один из этих последних месяцев, в

Париже или в Бальбеке, подготовил мне почву; я полагал, что основная причина перемены заключается в наших позах. Альбертина открыла мне, однако, другую, а именно: — «Тогда, в Бальбеке, я же вас не знала, я могла думать, что у вас дурные намерения». Это ее соображение озадачило меня. Вне всякого сомнения, Альбертина со мной сейчас не лукавила. Женщине, оставшейся наедине со своим приятелем, стоит большого труда узнать в движениях своего тела, в его ощущениях несовершенный грех, внушавший ей ужас, когда ее искушал незнакомец.

Во всяком случае, какие бы важные перемены ни произошли в ее жизни, — перемены, которые, быть может, пролили бы свет на то, почему она без малейших колебаний утолила мое мимолетное, чисто физическое желание, меж тем как в Бальбеке с возмущением отвергла мою любовь, — еще более поразительную перемену я обнаружил в Альбертине в этот вечер после того, как от ее ласк я получил удовлетворение, а она не могла этого не заметить, и я даже боялся, как бы это не вызвало у нее легкого отвращения и оскорбленной стыдливости, проявившихся у Жильберты за купой лавровых деревьев на Елисейских полях.

Произошло нечто прямо противоположное.

Как только я уложил Альбертину на кровать и начал ласкать ее, у Альбертины тотчас появилось выражение, которого я никогда раньше не замечал, — выражение покорной готовности, почти детского простодушия. Сняв с нее все заботы, все обычные ее устремления, миг, предшествующий наслаждению, в этом отношении подобный тому, что настает после смерти, словно вернул помолодевшим ее чертам невинность детского возраста. Ведь, наверно, каждый человек, чей дар неожиданно нашел применение, становится скромным, обязательным, милым, и если он знает, что этот его дар доставит нам большое удовольствие, то это сознание радует его самого, и ему хочется, чтобы удовольствие было возможно более полным. Однако в новом выражении лица Альбертины отражались не просто привычные бескорыстие, добросовестность и щедрость, в нем вдруг проступило некое наследственное самопожертвование: она вернулась к своему детству и пошла дальше — она вернулась к юности своего народа. Совсем не испытывая того, что испытывал я, — а я хотел только физического успокоения и в конце концов достиг его, — Альбертина, видимо, считала, что только грубоватые натуры могут искать одного лишь чувственного наслаждения, к которому не

примешивается возвышенное чувство и в котором есть нечто завершающее. До этого она ведь так спешила, но вот теперь, когда я напомнил, что ей пора ужинать, она, будучи, разумеется, уверена, что поцелуй — это знак любви, а что любовь выше всякого долга, возразила:

— Да ну что вы, это совершенно неважно, времени у меня предостаточно.

Ей как будто стыдно было встать тотчас после того, как она меня успокоила, приличия словно требовали от нее побыть еще — так Франсуаза, когда считала нужным, даже если ей не хотелось пить, с залихватскостью, не выходящей за рамки благопристойности, выпивала стакан вина, который наливал ей Жюпьен, но допить и сейчас же уйти, хотя бы по важному делу, — этого бы она себе не позволила. Альбертина, — именно это ее свойство, как будет видно из дальнейшего, обворожит меня в другой женщине, — была воплощением той скромной французской крестьянки, что стоит на паперти Андрея Первозванного-в-полях. С Франсуазой, которая скоро станет заклятым врагом Альбертины, роднили ее также учтивость в отношениях с хозяином и вообще с посторонними людьми, благопристойность, уважение к чужому ложу. Если бы дочь Франсуазы

в течение последних месяцев, остававшихся до ее свадьбы, ходила бы гулять со своим суженым не под руку, то Франсуаза, которая после смерти моей тетки считала своим долгом говорить каким-то особенным, жалобным голосом, сочла бы это нарушением приличий.

Альбертина лежала рядом со мной не шевелясь.

— У вас прекрасные волосы, у вас чудные глаза, вы милый, — говорила она.

Напоминая ей, что уже поздно, я прибавлял: «Вы мне не верите?», а она отвечала, — и, быть может, говорила правду, но только это стало правдой всего две минуты тому назад, а сохраняло свою правдивость несколько часов:

— Я верю вам во всем.

Она заговорила обо мне, о моей семье, о моей среде. Она сказала: «Мне известно, что ваши родители водят знакомство с очень почтенными людьми. Вы дружите с Робером Форестье и Сюзанной Делаж». Я сначала не понял, о ком идет речь. И вдруг вспомнил, что как-то играл с Робером Форестье на Елисейских полях, но потом мы с ним ни разу не виделись. А Сюзанна Делаж доводилась племянницей г-же Бланде, и однажды я должен был пойти к родителям Сюзанны на урок

танцев и сыграть маленькую роль в салонной комедии. Но, побоявшись, что рассмеюсь, что у меня пойдет носом кровь, я остался дома, и так мы с ней и не увиделись. Кажется, я когда-то давно слышал, что гувернантка Сванов — та самая, что носила шляпу с пером, — бывала у родителей Сюзанны, но, может статься, это была не гувернантка, а ее сестра или приятельница. Я признался Альбертине, что Робер Форестье и Сюзанна Делаж играли незаметную роль в моей жизни. «Возможно. Ваши матери близки между собой, и я невольно подумала, что дети тоже. Мы с Сюзанной Делаж часто встречаемся на Мессинской улице — в Сюзанне есть что-то шикарное». Наши матери были хороши друг с другом только в воображении г-жи Бонтан, — узнав, что я когда-то играл с Робером Форестье и, кажется, даже читал ему стихи, она сделала вывод, что мы друзья благодаря тому, что наши родители знакомы домами. Когда при ней говорили о моей маме, она, как мне передавали, всякий раз вставляла: «Ах, это из окружения Делажей, Форестье и так далее», хотя мои родители такой чести не заслуживали.

Вообще социологические понятия Альбертины были удивительно нелепы. Она считала, что все

Симонне с двумя «н» ниже не только Симоне с одним «н», но и кого бы то ни было из их среды. Если ваш однофамилец не является вашим родственником, то у вас есть все основания презирать его. Исключения, разумеется, бывают. Два Симонне (которых познакомили на одном из таких сборищ, где мы испытываем потребность говорить о чем угодно и притом находимся в отличном расположении духа, например, будучи участниками похоронной процессии, направляющейся на кладбище), выяснив, что они однофамильцы, начинают допытываться, — хотя и безуспешно, — не в родстве ли они, стараются быть друг с другом любезными. Но это исключение. Людей малопочтенных на свете много, но мы их не знаем или не обращаем на них внимания. Но вот если мы получаем письма, написанные нашим однофамильцам, или же они получают письма, написанные нам, то мы начинаем относиться к однофамильцам с недоверием, в иных случаях имеющим под собой почву. Мы боимся путаницы; когда кто-нибудь заговаривает о них, наши лица выражают брезгливость. Когда мы читаем о них в газете, где указывается их фамилия, мы считаем их узурпаторами. Грехи других органов социального тела не вызывают

у нас возмущения. Мы осуждаем за них только наших однофамильцев. Наша ненависть к другим Симонне потому особенно сильна, что она не индивидуальна, — она передается по наследству. У внуков к старости только и остается в памяти о других Симонне, как при их упоминании у дедов и бабок презрительно кривились губы; почему они их презирали — внуки не знают; они бы не удивились, если бы им сказали, что все началось с убийства. И продолжается это зачастую до тех пор, пока некая Симонне и некий Симонне, ни с какой стороны не будучи родственниками, не вступят друг с другом в брак.

Альбертина мало того что заговорила со мной о Робере Форестье и Сюзанне Делаж, — в приливе откровенности, который вызывается физической близостью, во всяком случае в первоначальную пору, с первых же слов, пока эта близость еще не успела породить специфического двуличия и внутренней отчужденности, — она рассказала одну историю, связанную с ее семьей и с дядей Андре, — в Бальбеке она заявила, что я не услышу об этом от нее ни полслова, а теперь пришла к убеждению, что она ничего не должна от меня скрывать. Если б лучшая ее подруга сказала ей обо мне что-нибудь нехорошее, она бы сочла своим

долгом довести это до моего сведения. Я все напоминал ей, что пора идти; и в конце концов она ушла, но, сконфуженная моей невежливостью, для того чтобы вывести меня из неловкого положения, она смеялась принужденным смехом, как смеется хозяйка дома, к которой вы явились в пиджаке и которая принимает вас, хотя это ее и коробит.

— Что вы смеетесь? — спросил я.

— Я не смеюсь, я улыбаюсь вам, — ласково ответила Альбертина. — Когда же мы с вами увидимся? — спросила она, словно не допуская мысли, что то, что между нами произошло и что обычно воспринимается как завершение, не является прелюдией к большой дружбе, ибо наша дружба существовала давно, так что нам оставалось лишь открыться, признаться в своих дружеских чувствах, и только она одна и могла оправдать наше поведение.

— Если позволите, я при первой возможности за вами пошлю.

Я не осмелился сказать ей, что наше свидание всецело зависит от моей встречи с г-жой Стермарья.

— К сожалению, это будет для вас неожиданно, — заметил я, — заранее я ничего не могу

сказать. Можно будет за вами послать в первый же мой свободный вечер?

— Скоро это будет вполне возможно, — теперь у нас с моей тетей общий ход, а потом у меня будет отдельный. Но пока это невозможно. На всякий случай я зайду к вам завтра или послезавтра днем. Вы меня примете, только если я вам не помешаю.

Дойдя до двери, Альбертина, удивленная тем, что я не иду провожать ее дальше, подставила мне щеку — ей казалось, что теперь уже для поцелуя не нужно грубого физического желания. Так как иногда в основе коротких отношений, которые только что возникли между нами, лежат душевная близость и союз сердец, то Альбертина сочла нужным к поцелуям на кровати прибавить что-то еще, что то мгновенное, — тут Альбертина сходилась со средневековыми менестрелями, для которых поцелуи являлись всего лишь выражением чувства, какое питали друг к другу рыцарь и его дама.

Когда от меня ушла юная пикардийка, которую мог бы изваять скульптор на паперти Андрея Первозванного-в-полях, Франсуаза принесла мне письмо, и оно меня очень обрадовало, потому что это было письмо от г-жи де Стер-марья,

которая принимала мое приглашение вместе поужинать в среду. Письмо от г-жи де Стермарья — то есть для меня больше, чем письмо от настоящей г-жи де Стермарья, — письмо от той, о которой я мечтал весь день до прихода Альбертины. Какой это чудовищный обман — любовь, но не та, какою мы любим женщину, существующую в действительности, а та, что заставляет нас играть с куклой, находящейся у нас в мозгу, впрочем, единственной, которая всегда в нашем распоряжении, единственной, которой мы будем обладать и которую произвол памяти, почти такой же неограниченный, как произвол воображения, может сделать такой же непохожей на женщину из действительного мира, как непохож был Бальбек настоящий на Бальбек моей мечты! И вот эту выдуманную женщину мы, себе же на горе, постепенно заставим принять облик настоящей женщины!

Альбертина так меня задержала, что, когда я пришел к маркизе де Вильпаризи, спектакль уже кончился; не испытывая особой охоты двигаться навстречу волне расходившихся гостей, которые обсуждали потрясающую новость — будто бы уже происшедший разрыв между герцогом и герцогиней Германтскими, я, в ожидании, когда

можно будет поздороваться с хозяйкой дома, сел во второй гостиной на свободный диванчик, и тут из первой, где она, вернее всего, сидела в первом ряду, выплыла, величественная, крупная, рослая, в длинном желтом шелковом платье, к которому были приколоты громадные черные маки, герцогиня. Ее появление меня уже не взволновало. Как-то, положив мне руки на лоб (она всегда так делала, если боялась огорчить меня) и сказав: «Больше не выходи навстречу герцогине Германтской, ты стал притчей во языцех всего дома. Потом, ты же знаешь, что бабушка опасно больна; право, у тебя есть дела поважней, чем стоять столбом на дороге у женщины, которая над тобой издевается», одним ударом, точно гипнотизер, который возвращает вас из далекой страны, куда вас занесло ваше воображение, и открывает вам глаза, или словно врач, который, воззвав к вашему чувству долга и к чувству реальности, вылечивает вас от мнимой болезни, доставлявшей вам удовольствие, мама пробудила меня от чересчур долгого сна. На другой день я, излечиваясь, прощался с болезнью; несколько часов кряду

я со слезами пел «Прощание» Шуберта:[306]

…Прощай! Хор дивных голосов
Зовет тебя в родной, далекий край.

И на этом я поставил точку. Я перестал выходить по утрам на прогулку, не сделав над собой ни малейшего усилия, и отсюда я вывел заключение, оказавшееся, как это выяснится после, ложным, что мне будет легко прекращать встречи с женщинами. Вскоре Франсуаза сообщила мне, что Жюпьен, собираясь расширить свое заведение, подыскивает в этом же квартале помещение под мастерскую, и мне захотелось помочь ему (к тому же я так любил бродить по улице, светоносный шум которой, точно шум на берегу моря, долетал до меня, когда я еще лежал в постели, любил, проходя мимо молочных с поднятыми железными гардинами, смотреть на молоденьких продавщиц с белыми рукавами), поэтому я мог возобновить утренние мои прогулки. Совершенно бескорыст-

[306] Примечания: 306

…я со слезами пел «Прощание» Шуберта… — На самом деле автором песни является немецкий композитор Август Генрих фон Вайраух (1788—?), который опубликовал ее под своим именем в 1824 г. Песня называлась тогда «На Восток». В 1840 г. Беранже, заимствовав мелодию, написал к ней свои стихи и объявил, что автором музыки является Шуберт. Позднее французский поэт-романтик Эмиль де Шан (1791–1871) написал новые стихи: именно этот вариант песни в несколько искаженном виде и воспроизводится в романе.

но, — ведь я же отдавал себе отчет, что не ставлю своей целью увидеть герцогиню Германтскую; так женщина, принимавшая все меры предосторожности, пока у нее был любовник, на другой же день после разрыва с ним всюду разбрасывает его письма, рискуя тем, что муж узнает об ее измене, — теперь, перестав изменять, она этого уже не боится.

Мне становилось тяжело на душе, когда я узнавал, что почти во всех домах живут несчастные люди. Здесь женщина плачет, не осушая глаз, потому что муж обманывает ее. Там жена обманывает мужа. Вон в том доме мать-труженицу избивает до полусмерти сын-пьяница, а она старается не показывать вида соседям. Половина человечества плачет. И когда я, столкнувшись с этими людьми, обнаружил, что все они до крайности озлоблены, то невольно задал себе вопрос: так ли уж дурно поступают неверные мужья и жены, неверные только потому, что в законном браке счастья они не нашли, а со всеми остальными проявляющие себя как милые и порядочные люди? В скором времени предлог для моих утренних скитаний — помощь Жюпьену — отпал. Мне сказали, что столяра-краснодеревщика с нашего двора, мастерская которого отделялась

от заведения Жюпьена тонкой перегородкой, управляющий домом попросил съехать, потому что он очень стучал. Для Жюпьена это был предел мечтаний: в мастерской имелся подвал, занятый столяром под склад и сообщавшийся с нашими погребами. Жюпьен намеревался сложить в подвале уголь, а перегородку снести, так чтобы получилось одно просторное помещение. Считая, что герцог Германтский назначил слишком высокую плату, он впускал осматривать освободившуюся мастерскую всех желающих в надежде на то, что герцог, так и не найдя съемщика, в конце концов сбавит, а Франсуаза, обратив внимание, что даже после того, как осмотр помещения прекращался, привратник держит дверь в отдававшуюся внаймы мастерскую «нараспери», заподозрила ловушку: Жюпьен-де хочет заманить сюда выездного лакея Германтов и его невесту, как в приют для их любви, и застать их на месте преступления.

Словом, хотя мне уже не надо было искать помещение для мастерской Жюпьена, я опять начал гулять перед завтраком. Часто во время прогулок я встречал маркиза де Норпуа. Иногда, разговаривая со своим сослуживцем, он смотрел на меня изучающим взглядом, а затем обращал

взгляд на собеседника, не улыбнувшись мне и даже не поздоровавшись, как будто мы с ним незнакомы. Ведь когда такие большие дипломаты как-то особенно смотрят на вас, то они хотят дать вам понять не то, что они вас видели, а то, что они вас не видели и что они говорят со своими сослуживцами о каком-нибудь важном деле. Высокая женщина, с которой я часто встречался около нашего дома, была менее сдержанна. Хотя мы с ней были незнакомы, она оборачивалась, поджидала меня — без толку — у витрин, улыбалась такой улыбкой, как будто хотела поцеловать меня, делала движение, выражавшее готовность отдаться. Если же встречала кого-нибудь из своих знакомых, то делала вид, что не замечает меня. Давно уже во время этих утренних походов я избирал, куда бы ни шел, хотя бы за какой-нибудь газетенкой, кратчайший путь — избирал, не жалея, если он уводил меня от направления, раз навсегда принятого для своих прогулок герцогиней, если же, наоборот, наши пути должны были сойтись, то я не колебался и не лукавил с самим собой, так как этот путь уже не казался мне запретным, на котором я добивался милости, наперекор желанию этой жестокой женщины, посмотреть на нее. Но я не ожидал, что мое выздо-

ровление, благодаря которому я стал относиться к ней просто, произведет одновременно такую же работу и в ней и что она будет со мной приветлива и дружелюбна, в чем я уже не нуждался. До сих пор соединенные усилия всего мира, направленные на то, чтобы сблизить нас, не преодолели бы сопротивления злой судьбы, которой угодно было, чтобы моя любовь к герцогине оказалась несчастной: по велению фей, более могущественных, чем люди, в таких случаях все бессильно до тех пор, пока наше сердце со всею искренностью не скажет: «Я больше не люблю». В свое время я был в обиде на Сен-Лу за то, что он не ввел меня в дом к своей тетке. Но он, как и всякий другой, был не властен разрушить чары. Пока я любил герцогиню Германтскую, если другая женщина была со мной обходительна, говорила приятные слова, то мне становилось досадно не только потому, что это не она, но и потому, что она об этом даже не подозревала. А если бы и знала, то мне от этого не было бы никакого проку. В любви отлучка, отказ от приглашения на ужин, неумышленная, бессознательная суровость даже в отдельных случаях значат больше, чем какая угодно косметика и самое нарядное платье. Счастливцами в любви могли бы быть только те, кому удалось бы

овладеть искусством быть счастливым.

Проходя по гостиной, где был я, и думая, быть может, о неизвестных мне друзьях, которых она надеялась встретить на другом вечере, герцогиня Германтская увидела, что я сижу на диванчике, по-настоящему равнодушный, приветливый настолько, насколько этого требовала вежливость, меж тем как в пору моей влюбленности я тщетно пытался напустить на себя равнодушие; она круто повернулась, подошла ко мне, и черты ее вновь обрели улыбку, какою она улыба-лась в Опере и которую теперь не сгоняло с ее лица гнетущее сознание, что тебя любит тот, кого ты не любишь.

— Не надо, не вставайте; можно, я присяду на минутку? — спросила герцогиня, грациозным движением приподняв такую широкую юбку, что она могла бы занять весь диванчик.

Выше меня ростом, сейчас, казалось, еще покрупневшая благодаря ширине платья, герцогиня едва касалась меня изумительно красивой голой рукой, вокруг которой как будто бы все время курился золотистым дымком еле заметный сплошной пушок, и белокурыми завитками волос, овевавших меня своим ароматом. На диванчике нам вдвоем было так тесно, что гер-

цогиня не могла ко мне повернуться и была вынуждена смотреть прямо перед собой, лицо же ее приняло выражение мечтательное и ласковое, как на портрете.

— Вы что-нибудь знаете о Робере? — спросила она. В гостиную вошла маркиза де Вильпаризи.

— Вовремя же вы, милостивый государь, а ведь вы и так у меня редкий гость!

Заподозрив, быть может, что у меня с ее племянницей отношения более близкие, чем она предполагала, маркиза молвила:

— Ну, я не буду мешать вам беседовать с Орианой (надо заметить, что услуги сводни входят в обязанности хозяйки дома). Не хотите ли отужинать у меня вместе с ней в среду?

В среду я должен был ужинать с г-жой де Стермарья и поэтому отказался.

— А в субботу?

В субботу или в воскресенье я ждал маму, и с моей стороны было бы не очень вежливо в эти вечера ужинать не дома; я опять отказался.

— С вами не сговоришься!

— Отчего вы никогда ко мне не зайдете? — спросила герцогиня Германтская, как только маркиза де Вильпаризи пошла благодарить артистов и преподносить диве букет роз, вся ценность кото-

рого заключалась в том, от кого он, а стоил букет не более двадцати франков. (Это была высшая плата, которую получали только те артисты, которых маркиза приглашала к участию в одном каком-нибудь представлении. Постоянные участники ее утренников и вечеров получали в подарок розы, ею нарисованные.)

— Скучно встречаться только в чужих домах. Если вы не хотите поужинать со мной у моей тети, почему бы вам не прийти поужинать ко мне?

Некоторые под разными предлогами очень засидевшиеся, но в конце концов все же расходившиеся гости, увидев, что герцогиня беседует с молодым человеком, сидя на таком узком диванчике, на котором могли уместиться только двое, решили, что их ввели в заблуждение, что на разрыве настаивает герцог, а вовсе не герцогиня, настаивает из-за меня. Эту новость они поспешили распространить. Я лучше, чем кто-либо, знал, что это неправда. Но меня все-таки удивило, что в тот трудный период, когда полного разрыва еще нет, герцогиня мало того что не ищет уединения, но приглашает к себе малознакомого человека. Я решил, что она раньше не принимала меня единственно потому, что герцог был против, а что теперь, когда он от нее уходит, ей никто не

мешает окружать себя приятными ей людьми.

Еще за две минуты до разговора с герцогиней я бы обомлел, если б кто-нибудь сказал мне, что герцогиня Германтская хочет позвать меня к себе, да не просто так, а на ужин. Я прекрасно знал, что в салоне Германтов нет отличительных особенностей, какие мерещились мне в самом этом имени, но в силу того, что он был мне недоступен, я рисовал его себе похожим на салоны, которые описываются в романах или которые я видел во сне, и, хотя я и был убеждён, что он такой же, как все, в моем воображении он представал совсем другим; между мной и салоном Германтов стояла преграда, за которой кончалось реальное. Поужинать у Германтов — это было все равно что совершить давно желанное путешествие, явить чаемое взору, слить сознание с грезой. В лучшем случае я мог рассчитывать на то, что речь идет об одном из ужинов, на которые хозяева дома приглашают так: «Приходите! Кроме вас, *ни одной души* не будет», так что можно подумать, что это не им страшновато ввести парию в среду своих приятелей, а самому парии страшновато оказаться в этой среде, мало того: что они пытаются карантин изгоя, дикаря, обласканного неожиданно для него самого, превратить в завидную

привилегию, которой у них пользуются только самые близкие друзья. В словах же герцогини Германтской, как бы открывавшей моим глазам лазоревую красоту приезда к тетке Фабриция и чудо знакомства с графом Моской,[307] я, напротив, почувствовал, что герцогине хочется угостить меня лучшим, что у нее есть:

— Вы не могли бы в пятницу провести у меня вечерок в тесном кругу? Вот было бы славно! Ко мне должна приехать принцесса Пармская, очаровательная женщина; ведь у меня единственная цель — познакомить вас с милыми людьми.

Если в средних слоях общества, неустанно стремящихся вверх, семейные связи оборваны, то в слоях неподвижных, вроде мелкой буржуазии и родовитой знати, которой некуда возвышаться, потому что, с ее точки зрения, над ней ничего больше нет, семейные связи, напротив, играют важную роль. Благодаря тому, что «тетя Вильпаризи» и Робер проявляли по отношению ко мне дружеские чувства, я, сам того не подозревая, возможно, стал для герцогини Германтской, а потом и для ее друзей, варившихся в собственном соку и вращавшихся в одном кругу, предметом

[307] Примечания: 307

Фабриций и граф Моска — персонажи романа Стендаля «Пармская обитель».

любопытствующего внимания.

Герцогине ежедневно доставляли о маркизе и Робере сведения узкосемейного характера, неинтересные сведения, совсем не такие, которые рисуются нашему воображению, но вот если эти сведения касаются и нас, то наши поступки не вынимают, как соринку, попавшую в глаз, от них не освобождаются, как освобождаются от капли воды, попавшей в дыхательное горло, — они даже иногда отпечатываются в памяти, их обсуждают, о них говорят годами, когда мы сами-то давно о них позабыли, говорят у кого-нибудь в доме, где мы их находим с таким же удивлением, с каким обнаружили, бы наше письмо в драгоценной коллекции автографов.

Обыкновенные светские люди иногда борются с наплывом посетителей. Но у Германтов такого наплыва не было. Люди им далекие почти никогда не появлялись у них в доме. Решив кого-либо приблизить к себе, герцогиня не интересовалась тем, какое положение занимает этот человек в обществе, потому что положение создавала она, а само это лицо было не властно чем-либо его улучшить. Ей важны были только высокие душевные качества, а от маркизы де Вильпаризи и от Сен-Лу она слышала, что таковыми качествами я обла-

даю. И конечно, она бы им обоим не поверила, если бы не убедилась, что им не удается залучить меня к себе, когда им этого хочется, и что, следовательно, я светом не дорожу, а это в глазах герцогини являлось признаком того, что данное лицо принадлежит к числу «милых людей».

Надо было видеть, как менялось у герцогини лицо, если в связи с, предположим, ее невесткой называли имя кого-нибудь из женщин, которых она недолюбливала. «О, она очаровательна!» — с насмешливой уверенностью восклицала герцогиня. Единственной причиной для иронии служило для герцогини то, что эта дама не захотела знакомиться с маркизой де Шосгро и с принцессой Силистрийской. Она никому не говорила о том, что дама не пожелала знакомиться и с ней, герцогиней Германтской. Но дама действительно не пожелала, и герцогиня все ломала себе голову, отчего это она уклоняется от знакомств. Ей безумно хотелось, чтобы та ее позвала. Светские люди привыкли к тому, что с ними ищут знакомства, и потому те, кто к этому не стремится, представляются им чудом природы и сильно задевают их любопытство.

В самом ли деле герцогиня Германтская (после того как я ее разлюбил) звала меня к себе, потому

что я не домогался сближения с ее родственниками, хотя они добивались сближения со мной? Не знаю. Во всяком случае, надумав позвать меня, она решила дать мне возможность насладиться всем, что могло представлять интерес, и устранить тех своих друзей, из-за которых я бы еще раз к ней не пришел и кого она сама считала скучными. Когда она, отклонившись от своей орбиты, села рядом со мной и позвала меня на ужин, я не мог объяснить себе, почему она изменила свой путь, — причины этого были мне непонятны: ведь у нас же нет особого чувства, которое открыло бы нам их. Мы воображаем, что люди, которых мы знаем плохо, как я — герцогиню, вспоминают о нас лишь в редкие мгновения встреч. А между тем мысль, что они совершенно о нас забывают, глубоко ошибочна. Когда в тиши одиночества, напоминающей тишину лунной ночи, мы рисуем себе, как царицы света движутся по небу бесконечно далеко от нас, мы невольно вздрагиваем от испуга или от удовольствия, когда на нас падают, словно аэролиты, на которых высечено наше имя, хотя мы полагали, что ни на Венере, ни на Кассиопее его не знают, приглашение на ужин или же сплетня.

Быть может, в подражание персидским царям,

которые, как об этом сказано в Книге Есфири,[308] заставляли читать вслух памятную книгу, куда были вписаны имена подданных, которые выказали им особую преданность, герцогиня Германтская, просматривая список людей порядочных и дойдя до меня, говорила себе: «Надо его пригласить на ужин». Но ее отвлекали другие мысли

> *(Так быстро государь делам теряет счет,*
>
> *Что новые всегда вчерашним предпочтет*[309]*)*

вплоть до того мгновения, когда она увидела, что я сижу один, подобно Мардохею у врат дворца; вот тогда-то память ее ожила, и, как

---

[308] Примечания: 308

Книга Есфири — одна из книг Ветхого завета. Имеется в виду эпизод, когда Мардохей, воспитатель Есфири (Эсфири), открывает заговор против персидского царя Ксеркса (Артаксеркса). Однажды бессонной ночью царь велел принести памятную книгу, содержащую главные события его царствования, и читать ее вслух, тогда он и узнал, что Мардохей не был награжден за открытие заговора. Царь немедленно награждает Мардохея, даруя ему царское одеяние и коня. Этот эпизод лег в основу трагедии Расина «Эсфирь», в которой Мардохей выведен дядей Эсфири. Будучи иудеем и, следовательно, не в чести при дворе персидского царя, истреблявшего иудеев, Мардохей таким образом спасает свой народ от истребления (Есф. 4–8).

[309] Примечания: 309

Так быстро государь делам теряет счет… — Цитата из трагедии Расина «Эсфирь» (акт II, сцена 3).

персидскому царю, ей вздумалось осыпать меня милостями. Тут я должен заметить, что после того, как герцогиня Германтская поразила меня своим приглашением, я снова пришел в изумление, но уже другого рода. Мне казалось, что скромность и чувство признательности требуют от меня, чтобы я не только не скрывал это первое свое изумление, но, напротив, в преувеличенных выражениях высказал, как я рад. Герцогиня Германтская собиралась идти на другой вечер; она сказала, словно оправдываясь и боясь, как бы я не подумал о ней плохо — до того я был удивлен ее приглашением: «Вы же знаете, что я тетка Робера де Сен-Лу, — он вас очень любит, — да и потом, мы с вами уже встречались здесь». Я ответил, что мне это известно, и добавил, что я знаком и с де Шарлю и что «он был очень внимателен ко мне в Бальбеке и в Париже». Должно быть, это удивило герцогиню Германтскую, взгляд ее, словно для проверки, обратился к началу внутренней книги. «Как, вы знакомы с Паламедом?» Это имя прозвучало в устах герцогини Германтской как-то особенно нежно благодаря ненаигранной простоте тона, каким она говорила об этом блестящем человеке, который для нее был всего лишь деверем, родственником, другом детства.

В то неясное, серое, чем рисовалась мне жизнь герцогини Германтской, имя Паламед как бы вносило лучезарность долгих летних дней, когда она в Германте девочкой играла с Паламедом в саду. И вот еще что: в ту давно протекшую пору их жизни Ориана Германтская и ее родственник Паламед были совсем другие; де Шарлю увлекался тогда искусством, а потом сумел укротить эту свою страсть, и я был ошеломлен, когда узнал, что это он нарисовал желтые и черные ирисы на огромном веере, который в эту минуту раскрывала герцогиня. Она могла бы показать мне также сонатину, которую он сочинил для нее. Я и не подозревал, что барон обладает такими талантами, — он никогда со мной об этом не говорил. Между прочим, де Шарлю был не в восторге от того, что в семье его зовут Паламед. Что ему не нравилось, когда его звали Меме, это еще можно понять. Эти дурацкие уменьшительные доказывают, что аристократия ничего не смыслит в эстетике своих имен (впрочем, такое же непонимание обнаруживают и евреи: племянника леди Руфус Израэльс Моисея обычно звали в обществе Момо) и что она старается не показывать виду, что придает значение аристократизму. А у де Шарлю было больше поэтического воображения

и показной гордости. Но «Меме» он не любил по другой причине, — ведь ему же не нравилось и красивое имя Паламед. Дело в том, что, считая себя отпрыском славного рода, зная наверное, что он к нему принадлежит, он предпочел бы, чтобы брат и невестка называли его «Шарлю», подобно тому как королева Мария-Амелия или герцог Орлеанский могли называть своих сыновей, внуков, племянников и братьев Жуанвиль, Немур, Шартр, Париж.[310]

— Какой молчун этот Меме! — воскликнула герцогиня. — Мы много говорили ему о вас; он сказал, что был бы очень рад с вами познакомиться, и при этом у него был такой вид, как будто он никогда с вами не встречался. Ведь правда же, он со странностями? Конечно, это не очень хорошо — так говорить о девере, которого я обожаю и который меня восхищает своими редкостными душевными свойствами, но, ведь правда же, у него не все дома?

То, что герцогиня применила это выражение к де Шарлю, поразило меня, и тут я подумал, что некоторые черты де Шарлю, быть может,

---

[310] Примечания: 310

Жуанвиль, Немур, Шартр, Париж — речь идет о членах французской королевской фамилии, которые уже неоднократно упоминались в романе.

объясняются тем, что он не вполне нормален, например, его ликование при мысли, что он предложит Блоку отколотить родную мать. Я вспомнил, что не только в том, о чем он говорил, но и в том, как он говорил, проступала некоторая его странность. Когда мы в первый раз слушаем адвоката или актера, на нас производит сильное впечатление их тон, совершенно непохожий на тон разговорной речи. Но, уверившись, что окружающие находят его вполне естественным, мы никому не признаёмся, что изумлены, не признаёмся даже самим себе, мы довольствуемся тем, что оцениваем силу таланта. В крайнем случае мы подумаем, глядя на актера Французской комедии: почему он не уронил поднятую руку, а опускал ее легкими рывками, с частыми перерывами, не меньше десяти минут? Или — слушая кого-нибудь вроде Лабори:[311] почему, как только он откроет рот, из его груди льются неожиданные, трагические звуки, хотя говорит он о самых простых вещах? Но поскольку все считают, что так и нужно, то и нас это не коробит. Вдумавшись, люди убеждались, что и де Шарлю говорит

[311] Примечания: 311

Лабори, Фернан (1860–1917) — один из самых блестящих адвокатов своего времени, выступавший на самых знаменитых процессах, в частности, по делам Дрейфуса, Пи-кара и Золя.

о себе велеречиво, необычным тоном. Казалось, в любую минуту его могут спросить: «Почему вы так кричите? Почему вы так заносчивы?» Однако все, словно по молчаливому уговору, сходились на том, что так и должно быть. И вы вступали в хоровод восторгавшихся разглагольствованиями де Шарлю. Но, конечно, человеку, с ним незнакомому, иной раз могло показаться, что это вопль умоисступленного.

— А вы уверены, — спросила герцогиня тоном, в котором грубоватость сочеталась с простотой, — что не спутали, что вы действительно имеете в виду моего деверя Паламеда? Он из всего любит делать тайну, но это уж чересчур!..

Я ответил, что твердо уверен и что, должно быть, де Шарлю не расслышал моего имени.

— Итак, я с вами прощаюсь, — словно бы с грустью молвила герцогиня Германтская. — Мне нужно на минутку заехать к принцессе де Линь. Вы к ней не заглянете? Нет? Вы не любите бывать в свете? Вы совершенно правы, это несносно. Ах, если 6 у меня не было обязанностей! Но ведь мы с ней в родстве — неудобно. Мне жаль, что вы там не бываете, чисто эгоистически, я бы вас отвезла и даже привезла обратно. Ну, до свидания, надеюсь — до пятницы. Что де Шарлю было стыдно за

знакомство со мной перед графом д'Аржанкуром — это еще туда-сюда. Но что он постеснялся признаться, что знает меня, своей невестке, которая о нем такого высокого мнения, хотя ничего удивительного в этом знакомстве нет, поскольку я хорош с его теткой и его племянником, — это не укладывалось у меня в голове.

Не могу не отметить, что в известном смысле герцогине Германтской было свойственно величие духа, проявлявшееся в том, что она раз навсегда вычеркивала из памяти все, что другие не могли забыть прочно. Теперь она была по отношению ко мне так благородна, так непринужденно любезна, как будто прежде я никогда не надоедал ей, не преследовал ее, не выслеживал во время ее утренних прогулок, как будто своими ежедневными поклонами я не вызывал у нее нескрываемого раздражения, как будто ей не приходилось отмахиваться от Сен-Лу, когда тот умолял ее позвать меня к себе. Она не поминала прошлое, не прибегала к полусловам, к двусмысленным улыбкам, к намекам; в теперешней ее приветливости, свободной от оглядок назад, от недомолвок, было что-то горделиво прямолинейное, напоминавшее величественную ее осанку, более того: все недобрые чувства, какие она пи-

тала к кому-либо раньше, рассыпались в прах, и прах этот был так далеко отброшен от ее памяти или, во всяком случае, от ее поведения, что у всех, кто смотрел на ее лицо, когда ей приходилось с самым милым видом обходить острые углы, — между тем как у многих других эти острые углы могли бы оставить холодок или же вызвать град упреков, — появлялось такое ощущение, как будто они духовно очистились.

Я был удивлен тем, как изменилось ее отношение ко мне, но во много раз сильнее я был удивлен тем, что еще больше изменилось мое отношение к ней. Давно ли я ощущал в себе душевную бодрость, только когда вынашивал новые планы, думал о том, кто бы мог ввести меня к ней и после этой первой радости доставил бы еще много других моему становившемуся все более требовательным сердцу? Только полная безвыходность моего положения погнала меня в Донсьер к Роберу де Сен-Лу. А теперь его письмо взволновало меня, но из-за г-жи де Стермарья, а не из-за герцогини Германтской.

Закончим описание этого вечера тем, что несколько дней спустя произошло связанное с ним событие, повергшее меня в немалое изумление и временно поссорившее с Блоком, событие, в

котором сказалось одно из тех любопытных противоречий, объяснение коим читатель найдет в конце этого тома («Содом», I). Итак, у маркизы де Вильпаризи Блок в разговоре со мной все хвастался благорасположенностью к нему де Шарлю; встречаясь с Блоком на улице, де Шарлю смотрел на него как на знакомого или как будто ему захотелось с ним познакомиться и как будто он отлично знал, что это Блок. Сперва я не мог не улыбнуться: ведь Блок с такой злобой говорил о де Шарлю в Бальбеке! Я подумал, что Блок знает барона, «не будучи с ним знаком», как отец Блока знал Бергота. А приветливый взгляд барона мог быть всего лишь взглядом рассеянным. Но Блок рассказывал о встречах с де Шарлю в таких подробностях, по-видимому, он был так уверен, что несколько раз де Шарлю хотел даже подойти к нему, что, вспомнив, как расспрашивал меня барон о моем товарище, когда мы с бароном шли от маркизы де Вильпаризи, я решил, что Блок не лжет, что де Шарлю знает, как его фамилия, осведомлен о том, что мы с Блоком приятели, и т. д. Поэтому некоторое время спустя, в театре, я попросил у де Шарлю разрешения познакомить его с Блоком и, получив согласие, пошел за моим приятелем. Но как только де Шарлю увидел Бло-

ка, лицо его приняло изумленное выражение, а изумление сменилось дикой злобой. Мало того что он не подал ему руки, — всякий раз, когда тот к нему обращался, он отвечал ему с заносчивым видом, раздраженным, оскорбительным тоном. Таким образом, Блок, которому, по его словам, барон до этого вечера всегда приветливо улыбался, пришел к убеждению, что я только напортил ему во время краткого разговора, который я завел с де Шарлю, зная, что он человек церемонный и что, прежде чем подвести к нему моего товарища, я должен сказать ему о нем несколько слов. Блок отошел от нас обессиленный, как будто только что ехал на лошади, которая каждую секунду могла понести, или плыл против волн, отбрасывавших его на каменистый берег, и потом полгода не разговаривал со мной.

Дни, остававшиеся до ужина с г-жой де Стермарья, были для меня днями не радостными, а нестерпимыми. Вообще, чем короче время, отделяющее нас от того, что мы задумали, тем дольше оно тянется, потому что мы прилагаем к нему укороченные мерки или просто потому, что мы его измеряем. Говорят, что папство ведет счет на столетия, а быть может, оно и вовсе не считает времени, потому что его цель — в беско-

нечности. Моя цель находилась на расстоянии всего-навсего трех дней, я вел счет на секунды, воображение представляло мне начало ласк, тех ласк, при мысли о которых мужчина приходит в бешенство, оттого что сейчас с ним нет женщины, которая довела бы их до конца (именно этих ласк, а не каких-либо других). И если верно, что трудность достичь того, чтобы желание исполнилось, неизменно усиливает это желание (трудность, а не невозможность, ибо невозможность убивает его), то уверенность, что желание чисто физическое осуществится скоро и в назначенный час, действует не менее возбуждающе, чем неуверенность; человек не сомневающийся мучается в ожидании неизбежного наслаждения почти так же, как сомневающийся, потому что наслаждение превращает ожидание в бессчетное повторение наслаждения, и многократные эти предвосхищения делят время на такие же тоненькие ломтики, на какие разделила бы его тоска.

Я стремился к обладанию г-жой де Стермарья, так как несколько дней подряд мои желания с неослабевающим усердием подготовляли в мечтах это наслаждение, именно это, а к другому (к наслаждению с другой женщиной) я не был готов, ибо наслаждение есть не что иное, как

исполнение предшествующего ему желания, а желание не всегда одинаково, оно меняется в зависимости от бесчисленных прихотей мечты, от случайных воспоминаний, от возбужденности, от того, в каком порядке располагаются прежние наши желания, ибо те, которые были удовлетворены позднее других, отдыхают, пока хотя бы частично не забудется разочарование, связанное с удовлетворением; я уже свернул с большой дороги желаний вообще и далеко зашел по тропе определенного желания; чтобы захотеть свидания с кем-нибудь еще, мне надо было бы слишком долго идти назад, до большой дороги, а потом сворачивать на другую тропу. Обладать г-жой де Стермарья на острове, в Булонском лесу, куда я пригласил ее ужинать, — вот о каком наслаждении я все время мечтал. Само собой разумеется, я бы не испытал никакого наслаждения, если б поужинал на острове один; но, пожалуй, оно было бы значительно ослаблено, даже если бы я поужинал с г-жой де Стермарья, но где-нибудь еще. Ведь сперва мы представляем себе обстановку, в которой нам предстоит насладиться, а уж потом женщину, разряд женщин, которые к этой обстановке подходят. Ими распоряжаются обстановка и место; вот почему в прихотливое наше

воображение возвращается такая-то женщина, вслед за ней такая-то местность, затем комната, а при иных условиях мы бы ими, наверное, не пленились. Дочери обстановки, иные женщины непредставимы без большой кровати, на которой, лежа рядом с ними, мы обретаем покой, а другие, вызывающие у нас желание более интимных ласк, требуют, чтобы трепетали листья, чтобы впотьмах плескалась вода; эти так же изменчивы и призрачны, как и окружающая их обстановка.

Конечно, задолго до того, как пришло письмо от Сен-Лу, когда я и не помышлял о г-же де Стермарья, мне уже казалось, что остров в Булонском лесу создан для наслаждения — ведь я же ходил туда упиваться грустью, оттого что мне он не служил приютом для нег. По берегам озера, которые доведут вас до острова и по которым в самом конце лета гуляют парижанки, если только они еще не уехали, по берегам озера, уже не зная, где она, не зная даже, в Париже ли еще она, вы бродите в надежде встретить девушку, в которую вы влюбились на последнем балу в этом сезоне и с которой вы больше не увидитесь ни на одном вечере до будущей весны. Чувствуя, что любимая не сегодня-завтра уедет, вы идете по берегу волнующегося озера, по красивой аллее, где пер-

вый красный лист цветет, как последняя роза, вглядываетесь в даль, где, как следствие приема, обратного тому, что применяется в панорамах, под куполом которых восковые фигурки на первом плане сообщают раскрашенному полотну за ними видимость глубины и объемности, ваш взгляд, сразу переходя от разделанного парка к естественным высотам Медона и к горе Валерьен, не знает, где провести границу, и вставляет сельскую местность прямо в творчество садовода, красоту же искусственную выносит далеко за черту парка; так диковинные птицы, выращенные в зоологическом саду, на воле каждый день по прихоти воздушных своих прогулок вносят даже в соседние леса экзотическую ноту. После заключительного летнего увеселения и до начала зимнего изгнания вы с тоской пробегаете по романическому этому царству неверных встреч и сердечной грусти, и вы были бы так же удивлены, окажись оно за пределами географической вселенной, как если бы в Версале вы поднялись на площадку обозрения, вокруг которой клубятся облака на голубом небе, какое любил писать Ван

дер Мелен,[312] и, очутившись таким образом вне природы, узнали бы, что там, где она опять начинается, в конце Большого канала, деревни, которых не разглядишь в слепящей, как море, дали, называются Флерюс.[313] и Нимвеген[314]

А когда уехал последний экипаж и у вас больно сжалось сердце, оттого что она уже не придет, вы направляетесь на остров ужинать; над колышущимися тополями, хотя до конца и не причастными к тайнам вечера, но беспрестанно о них напоминающими, от розового облака ложится последний отсвет жизни на умиротворенное небо. Капли дождя бесшумно падают на воду, древнюю, но от божественного своего младенчества сохранившую свою желтизну и мгновенно забывающую обличье цветов и облаков. А после того как герани, уярчившие свою окраску, исто-

---

[312] Примечания: 312

Ван дер Мелен, Антуан (1632–1690) — французский художник фламандского происхождения, сопровождавший Людовика XIV в военных походах и запечатлевший на своих полотнах ряд знаменитых баталий того времени.

[313] Примечания: 313

Флерюс — сельская община в Бельгии, место двух знаменитых сражений (1690 и 1794).

[314] Примечания: 314

Нимвеген — город в Голландии, возле которого состоялась битва, положившая конец «Голландской войне» («Нимвегенский мир», 1678–1679).

щат силы в борьбе со сгустившимися сумерками, туман обволакивает засыпающий остров; вы гуляете в сырой темноте над водой, а на воде вас в крайнем случае удивит беззвучно проплывающий лебедь — так на ложе сна удивляет как будто бы крепко спавший ребенок своими широко раскрывшимися на мгновение глазенками и своею улыбкой. В такие минуты вы особенно остро чувствуете свое одиночество, вам может показаться, что вас занесло на край света, — вот почему вы так страдаете, оттого что с вами нет вашей возлюбленной.

Но как же был бы я рад увезти г-жу де Стермарья на этот остров, даже и летом часто окутываемый туманом, именно теперь, в плохую погоду, в конце осени! Если бы наставшее в воскресенье ненастье и не превратило страны, где обитало мое воображение, в сероватые, в морские, — подобно тому как в другие времена года они становились благовонными, светозарными, итальянскими, — надежда несколько дней спустя обладать г-жой де Стермарья могла бы по двадцать раз в час опускать завесу тумана в моем однотонно-унылом воображении. Как бы то ни было, благодаря туману, вставшему вчера и над Парижем, я не только мысленно жил в родном

краю молодой женщины, которую я пригласил, но, так как туман, вероятно, еще плотнее, чем город, облег вечером Булонский лес, особенно — озеро, я надеялся еще и на то, что на Лебедином острове мне привидится что-то от островов Бретани, морской, мглистый воздух которой всегда как бы облегал в моих глазах неясный силуэт г-жи де Стермарья. Когда мы молоды, когда мы находимся в том возрасте, в каком я гулял по направлению к Мезеглизу, наше желание, наша вера безусловно придают одежде женщины неповторимость, неизменность. Мы гонимся за действительностью. Она от нас ускользает, но в конце концов мы замечаем, что за всеми нашими безуспешными попытками, обнаруживавшими небытие, все же существует нечто прочное — как раз то, чего мы искали. Мы начинаем различать, познавать то, что мы любим, мы стремимся раздобыть его хотя бы и при помощи уловки. И вот тут-то, когда вера иссякает, при посредстве добровольного самообмана ее заменяет одежда. Ведь я же знал, что в получасе езды от дома я не найду Бретани. Но, гуляя под руку с г-жой де Стермарья во мраке острова, над водой, я поступил бы как те, что, не имея возможности пробраться в монастырь, перед тем как овладеть женщиной,

надевают на нее одежду монахини.

У меня даже были основания надеяться, что мы с г-жой де Стермарья услышим завтра шум волн, потому что сегодня было ветрено. Перед тем как поехать на остров заказать кабинет (хотя в это время года остров безлюден и ресторан пустует) и выбрать меню для завтрашнего ужина, я только было сел бриться, как вдруг Франсуаза объявила, что пришла Альбертина. Я велел провести ее сюда — теперь мне было все равно, что меня увидит небритым та, в присутствии которой, когда мы встречались в Бальбеке, я казался себе некрасивым и которая тогда стоила мне таких же хлопот и волнений, как за последнее время г-жа де Стермарья. Мне ужасно хотелось, чтобы у г-жи де Стермарья осталось самое лучшее впечатление от завтрашнего вечера. Поэтому я попросил Альбертину немедленно отправиться со мной на остров и помочь мне составить меню. Ту, которой отдавал все, так быстро заменяет другая, что сам удивляешься, как можешь ты ежечасно отдавать ей то новое, что в тебе рождается, без всяких надежд на будущее. Когда я обратился к Альбертине с просьбой, я прочел на ее розовом улыбающемся лице под плоской надвинутой на глаза шапочкой легкое колебание. Видимо, у нее были другие

планы; как бы то ни было, она, к моему большому удовольствию, легко пожертвовала ими ради меня — мне было очень важно, чтобы со мной была молодая хозяйка, которая гораздо лучше меня сумеет заказать ужин.

Нет никакого сомнения, что в Бальбеке Альбертина значила для меня нечто совсем другое. Но близость наша с женщиной, в которую мы влюблены, хотя бы мы с самого начала и не считали ее особенно тесной, создает между ней и нами, несмотря на неполноту, от которой мы тогда страдали, общность, и эта общность переживает нашу любовь и даже воспоминание о нашей любви. А когда женщина становится для нас всего-навсего средством, путем к другим женщинам и наша память раскрывает нам тот особый смысл, какой имело ее имя для другого существа, которое мы представляли собою прежде, то это нас удивляет и забавляет нисколько не меньше, чем если бы мы, приказывая кучеру везти нас на бульвар Капуцинок или на Паромную улицу и думая только о человеке, к которому мы едем, вдруг догадались, что название одной из этих улиц происходит от монахинь-капуцинок, монастырь которых когда-то на ней стоял, а название другой — от парома, перевозившего через Сену.

Моя тяга к Бальбеку, конечно, не могла не придать телу Альбертины такую зрелость, не могла не наполнить ее такой сочной и сладостной свежестью, что, когда мы с Альбертиной шли по лесу и ветер, как рачительный садовник, стрясывал с деревьев плоды и подметал палый лист, я говорил себе: если, паче чаяния, Сен-Лу ошибся или я не так понял его письмо и мой ужин с г-жой де Стермарья окончится ничем, то я поздним вечером вызову на свидание Альбертину, чтобы в течение часа, всецело посвященного сладострастию, держа в руках тело, чью прелесть, которою оно теперь изобиловало, мое любопытство когда-то оценивало, взвешивало, забыть волнения, которые я испытывал в связи с началом моей любви к г-же де Стермарья, и ту горечь, какую оно, быть может, оставит во мне. Но, предполагая, что г-жа де Стермарья ни в чем не проявит своей благосклонности, я плохо представлял себе, как я проведу с ней вечер. Я знал по опыту, как две стадии нашей любви к женщине, к которой мы вожделели, еще не познакомившись с ней, любя не столько ее самое, ибо она для нас все еще оставалась почти загадкой, сколько ее своеобразный быт, — как эти две стадии причудливо отражаются в области фактов, то есть уже не в

нас самих, а в наших свиданиях с ней. Околдованные поэзией, которую она олицетворяет для нас, мы, еще ни разу не поговорив с ней, все-таки сомневаемся. Она это или нет? И вот уже наши мечты сосредоточиваются вокруг нее, сливаются с ней. Первое свидание, которое нам предстоит в скором времени, должно было бы отразить эту вспыхнувшую любовь. Ничуть не бывало. Точно есть необходимость в том, чтобы прошла первоначальную стадию и бытовая сторона жизни, мы, уже любя женщину, говорим с ней о всяких пустяках: «Мне просто показалось, что вам должно понравиться на острове, потому-то я вас сюда и пригласил. Я ведь не собираюсь с вами говорить ни о чем серьезном. Но только здесь сыро — как бы вы не простудились. — Нет, что вы! — Это вы говорите из вежливости. Четверть часа я не буду к вам приставать, — так уж и быть: мерзните, — но через четверть часа я вас отсюда увезу. Я не хочу, чтобы вы из-за меня схватили насморк». И мы ее молча увозим, и в памяти у нас ничего от нее не остается, кроме разве особенного выражения лица, но думаем мы только о том, как бы с ней свидеться. А во время второй встречи (до которой из нашей памяти уплывет даже выражение ее лица, единственное

воспоминание о ней, но до которой мы еще более страстно мечтаем о том, чтобы с нею свидеться) первая стадия оказывается пройденной. В промежутке ничего не произошло. Но, вместо того чтобы обсуждать удобства ресторана, мы обращаемся к той, которая уже представляет собою новую для нас личность, которая кажется нам некрасивой, но которая вызывает у нас желание, чтобы ей напоминали о нас каждое мгновение ее жизни, — мы обращаемся к ней, ничуть ее этим не удивляя, с такими словами: «Нам нужно будет преодолеть все препятствия, которые возникнут между нашими сердцами. Вы уверены, что мы этого добьемся? Вы убеждены, что мы победим наших врагов, что у нас есть надежда на счастливое будущее?» Но у нас таких разговоров, сперва — ни о чем, а потом — намекающих на любовь, не будет: в этом мне порукой письмо де Сен-Лу. Г-жа де Стермарья отдастся мне в первый же вечер, стало быть, мне не придется вызывать Альбертину на худой конец, чтобы убить оставшееся время. Мне незачем будет ее звать, Робер никогда не говорит зря, в его письме все ясно!

Альбертина почти не разговаривала со мной — она чувствовала, что я чем-то озабочен. Мы прошлись по зеленоватому, словно подводному

гроту, который образовали высокие ветвистые деревья и в своде которого завывал ветер и шумел дождь. Я наступал на сухие листья, и они уходили в землю, точно раковины, тросточкой подбрасывал каштаны, колючие, как морские ежи.

На ветвях последние свернувшиеся в трубочку листья тянулись за ветром, насколько им позволял черенок, а как только черенок обрывался, они падали и катились вдогонку за ветром понизу. Мне было отрадно представлять себе, что если такая погода продержится, то завтра остров покажется каким-то совсем уж нездешним и, во всяком случае, совершенно безлюдным. Мы сели в экипаж, и, так как буря утихла, Альбертина попросила, чтобы я прокатил ее до Сен-Клу. В вышине ветер гнал облака, как по земле сухие листья. А перелетные вечера, розовые, зеленые и голубые краски которых, наложенные в небе одна на другую и являвшиеся взору как бы в коническом сечении, были готовы в любую минуту устремиться в страны с более мягким климатом. Чтобы получше рассмотреть мраморную богиню, — а богиня, совсем одна в большом, словно ей посвященном лесу, все куда-то рвалась со своего пьедестала, и яростные ее броски наполняли этот лес мифологическим ужасом, сочетавшим в себе

животный страх и ужас священный, — Альбертина поднялась на холмик, я же остался ждать ее на дороге. Я смотрел на нее снизу, и она, уже не полная и не округлая, как у меня на кровати несколько дней назад, когда крупнозернистое сложение ее шеи оказалось под лупой моих приблизившихся глаз, а чеканная, тоненькая, — она сама напоминала статуэтку, на которой сохранился налет бальбекских счастливых мгновений. Приехав домой и вспомнив, что катался с Альбертиной, что послезавтра я ужинаю у герцогини Германтской, что мне надо ответить на письмо Жильберте и что трех этих женщин я любил, я сравнил нашу жизнь среди людей с мастерской художника, где полным-полно набросков, в которых мы одно время собирались выразить нашу потребность в большой любви, но я не подумал о том, что иной раз, если только набросок не очень старый, мы возобновляем работу над ним и создаем совсем другое произведение, может быть, даже более значительное, чем то, которое мы когда-то задумали.

Когда я проснулся, был чудный холодный день: чувствовалось дыхание зимы (и правда: стояла поздняя осень, и вчера мы каким-то чудом обнаружили в уже облетевшем Булонском лесу

несколько золотисто-зеленых сводов). Словно из окна донсьерской казармы, я увидел плотный туман, белый, сплошной, весело висевший под лучами солнца, густой и сладкий, как патока. Солнце скоро спряталось, после полудня туман стал совсем почти непроницаемым. Стемнело рано, я переоделся, но ехать было еще не время; я послал экипаж за г-жой де Стермарья. Чтобы не вынуждать ее непременно ехать вместе со мной, я решил остаться дома — я только послал с извозчиком записку, в которой просил разрешения за ней заехать. В ожидании ответа я лег на кровать и закрыл глаза, но тут же открыл. Над занавесками виднелась узенькая, постепенно меркнувшая каемка света. Мне было знакомо это ничем не занятое время, обширное преддверие наслаждения, темную, упоительную пустоту которого я познавал в Бальбеке, когда лежа, как сейчас, один у себя в комнате, пока другие ужинали, я без сожаления следил за тем, как потухал за занавесками свет, — следил, зная, что скоро, после короткой, будто полярная, ночи, он еще ярче разгорится в свечении Ривбеля. Я спрыгнул с кровати, повязал черный галстук, пригладил волосы, словом, сделал последние движения, при помощи которых в Бальбеке я приводил себя в запоздалый порядок,

думая не о себе, но о женщинах, которых увижу в Ривбеле, и заранее улыбаясь им в зеркало, стоявшее в углу моей комнаты, — движения, которые с тех пор так и остались для меня предвестниками веселья с огнями и музыкой. Подобно таинственным знакам, они призывали его, более того: уже устраивали; благодаря им я представлял его себе так же отчетливо, волшебством пьянящей его тщеты наслаждался так же самозабвенно, как в июле в Комбре, когда я, слушая, как стучит молотком упаковщик, наслаждался в прохладе моей темной комнаты жарой и солнечным светом.

Вот почему мне уже хотелось видеть совсем не г-жу де Стермарья. Теперь, когда я волей-неволей должен был провести с ней вечер, я бы предпочел, — зная, что завтра приедут мои родители, — чтобы этот вечер был у меня свободен и чтобы я имел возможность поискать ривбельских женщин. Я в последний раз вымыл руки, а вытирал их, прогулявшись от радости по всей квартире, в темной столовой. Мне показалось, что дверь из столовой в переднюю открыта и что в передней горит свет, на самом же деле дверь была закрыта, а то, что я принял за освещенный проем, представляло собой всего-навсего белое отражение моего полотенца в зеркале, которое

пока прислонили к стене, а потом перед приездом мамы должны были поставить на место. Я припомнил все миражи, какие я обнаруживал у нас в квартире, и то были не только обманы зрения: в первые дни после нашего переезда я был уверен, что у соседки есть собака; мне слышалось долгое, чем-то даже напоминавшее человеческий голос, тявканье, а это был звук, который издавала труба в кухне, когда открывали кран. Дверь на лестницу, когда ее очень медленно притворял сквозняк, исполняла обрывки полных неги и скорби музыкальных фраз, чередующихся в хоре пилигримов в конце увертюры к «Тангейзеру[315]». Между прочим, после того как я повесил полотенце на место, я опять услышал этот блестящий образец симфонической музыки: раздался звонок, и я бросился в переднюю отворять дверь извозчику, который привез мне ответ. Я думал, что он скажет: «Дама внизу» или: «Дама вас ждет». Но у него в руке было письмо. Сразу я не решился узнать, что пишет мне г-жа де Стермарья, — ведь когда она взяла перо, она еще могла написать что-то

[315] Примечания: 315

«Тангейзер» — трехактная опера Вагнера (либретто по саге XIII в. написано самим композитором), премьера которой состоялась в Дрездене в 1845 г. Сравнивая скрип двери с любимой им музыкой Вагнера, Пруст, возможно, иронизирует над чрезмерно восторженным тоном статьи Шарля Бодлера «Рихард Вагнер и „Тангейзер“ в Париже» (1859–1860).

другое, но теперь, оторвавшись от нее, ее ответ стал самой судьбой, которая совершала свой путь самостоятельно и в которой она бессильна была что-либо изменить. Я попросил извозчика, хотя он и проклинал туман, немножко подождать внизу. Как только извозчик ушел, я распечатал письмо. На карточке «Виконтесса Алиса де Стермарья» дама, которую я пригласил, написала: «Я очень огорчена: обстоятельства сложились так неблагоприятно, что я не смогу поужинать с Вами в Лесу на острове. А между тем это было бы для меня праздником. Напишу Вам подробно из Стермарья. Сожалею. Кланяюсь». Оглушенный ударом, я замер на месте. Карточка и конверт упали около моих ног — так падает пыж у ног выстрелившего. Я поднял их, начал вчитываться в написанное. «Она сообщает, что не может поужинать со мной в Лесу на острове. Отсюда можно сделать вывод, что она могла бы поужинать со мной где-нибудь еще. Из деликатности я за ней не поеду, но понять ее можно именно так». Мысленно я уже четыре дня тому назад поселился на этом острове с г-жой де Стермарья, и теперь мне никакими силами не удавалось забыть про него. Мое желание непроизвольно продолжало лететь вниз по откосу, по которому

оно спускалось уже столько часов: ведь письмо было получено только что, прошло еще слишком мало времени, чтобы я мог оказать ему противодействие, инстинктивно я все еще собирался ехать — так ученику, срезавшемуся на экзамене, хочется ответить еще на один вопрос. Наконец я взял себя в руки и пошел к Франсуазе попросить ее расплатиться с извозчиком. В коридоре я ее не нашел, а в столовой мои шаги перестали стучать по паркету, они заглохли в тишине, и от этой тишины, пока я не понял, в чем дело, у меня возникло ощущение, как будто мне нечем дышать, как будто меня заточили. Это были ковры, их начали прибивать к приезду моих родителей, и они бывают так красивы веселым утром, когда среди их бестолочи солнце ждет вас, как друг, зашедший за вами, чтобы вместе поехать за город и там позавтракать, а теперь они служили знаком того, что началось оборудование зимней тюрьмы, откуда, раз я живу и столуюсь с родными, я уже не смогу выходить когда мне угодно.

— Смотрите, сударь, не упадите: они еще не прибиты! — крикнула мне Франсуаза. — Зря я огонь не зажгла. Ведь уж конец сентября, хорошие денечки — тю-тю.

Да, скоро зима. В углу окна, точно на стеклян-

ной посуде Галле,[316] прожилка затверделого снега; а на Елисейских полях вместо девушек только одни воробьи.

Я был в отчаянии, что не увижу г-жу де Стермарья, и отчаяние мое еще усиливалось, оттого что по ее письму можно было предположить, что, меж тем как я с воскресенья все время жил мечтою о встрече с ней, она, наверное, ни разу обо мне и не вспомнила. Потом я узнал, что она имела глупость выйти замуж по любви за молодого человека, с которым она, по всей вероятности, уже тогда встречалась и из-за которого, конечно, забыла о моем приглашении. Ведь если бы она о нем вспомнила, она, понятно, не дожидаясь экипажа, который я, кстати сказать, по нашему уговору и не должен был за ней посылать, известила бы меня, что занята. Думы о свидании на туманном острове с девушкой из рыцарских времен проложили мне дорогу к еще не существовавшей любви. Теперь разочарование, гнев, безумное желание поймать ту, что от меня упорхнула, могли при помощи моей мечтательности укрепить эту возможную любовь, которую, пока еще не торопясь, представляло мне только лишь

[316] Примечания: 316

Галле, Эмиль (1826–1904) — французский художник, мастер художественного стеклоделия, керамист, проектировщик мебели.

воображение.

Сколько в нашей памяти, а еще больше — в нашей забывчивости, сохраняется самых разных девичьих и женских лиц, которые мы приукрасили и которые возбудили в нас страстное желание еще раз увидеть их только потому, что в последнюю минуту они от нас скрылись! Что касается г-жи де Стермарья, то здесь было с моей стороны нечто большее, и мне теперь достаточно было, чтобы полюбить ее, снова ее увидеть и обновить яркие, но слишком мимолетные впечатления, которые без встречи не задержались бы в памяти. Судьба судила иначе: мы с ней не увиделись.

Не ее я любил, но мог бы полюбить и ее. И может быть отчасти потому таким мучительным для меня оказалось то большое чувство, которое скоро во мне родится, что я вспоминал этот вечер и убеждал себя, что, если бы обстоятельства сложились тогда чуть-чуть не так, мое чувство устремилось бы к г-же де Стермарья; перенесенное на ту, что вызвала его во мне немного позже, оно, значит, не было — как мне ни хотелось, как ни сильна была у меня потребность в это верить — совершенно необходимым и предопределенным.

Франсуаза оставила меня в столовой одного

и сказала, чтобы я шел в другую комнату, пока она не зажжет свет. Она намеревалась зажечь свет перед ужином — мое тюремное заключение начиналось еще до приезда моих родителей, с сегодняшнего вечера. Я бросил взгляд на лежавшую у буфета высоченную груду свернутых ковров и, уткнувшись в нее, глотая слезы и пыль, сыпавшуюся на меня, так что я был похож на одного из тех евреев, что в дни скорби посыпали главу пеплом, разрыдался. Я дрожал не только оттого, что в комнате было холодно, но еще и оттого, что причиной резкого понижения температуры (с его опасностью и — надо сознаться — со слегка приятным ощущением, какое оно вызывает, мы не в силах бороться) являются иногда слезы, капля за каплей льющиеся из наших глаз, подобно мелкому, прохватывающему, холодному дождю, которому, как нам кажется, не будет конца. Вдруг я услышал голос:

— Можно войти? Франсуаза сказала, что ты, наверно, в столовой. Не пойти ли нам с тобой куда-нибудь поужинать? Только если тебе это не вредно для здоровья, а то ведь на улице такой туман — хоть ножом его режь.

Это был приехавший утром, хотя я был уверен, что он еще в Марокко или в море, Робер де

Сен-Лу.

Я писал уже о том (и помог мне это осознать в Бальбеке, — конечно, сам того не желая, — не кто иной, как Робер де Сен-Лу), что я думаю о дружбе: на мой взгляд, это что-то до такой степени ничтожное, что мне просто непонятна наивность людей неглупых, вроде Ницше,[317] усматривающих в ней определенную интеллектуальную ценность и порывающих дружеские отношения, если с ними не связывалось уважение к интеллекту. Да, меня всегда удивлял этот человек, в своей прямоте доходивший до того, что, желая быть честным перед самим собой до конца, отвергал музыку Вагнера, и в то же время воображавший, будто истина может быть выражена таким по самой своей природе ненадежным и неверно отражающим ее способом, как поведение вообще и дружба в частности, видевший какой-то смысл в том, чтобы бросить работу, пойти к другу и вместе с ним поплакать, потому что до них донесся слух — впоследствии

[317] Примечания: 317

…вроде Ницше… — Тема дружбы неоднократно возникает в творчестве Ницше («Так говорил Заратустра», 1883–1885; «Человеческое, слишком человеческое», 1878; «Веселая наука», 1882–1887). Его разрыв с Вагнером, положивший конец теснейшей дружбе и восторженному отношению к творчеству композитора («Рихард Вагнер в Байрёйте», 1876 — настоящий панегирик байрёйтскому маэстро), был ознаменован появлением «Казуса Вагнера» (1888), одной из последних книг философа.

оказавшийся ложным — о пожаре в Лувре. Я еще в Бальбеке находил удовольствие в том, чтобы, развлекаясь с девушками, строить свои отношения с ними на основе, менее губительной для духовной жизни, чем дружба, — на основе, которая хоть по крайней мере ей чужда, тогда как все усилия дружбы направлены к тому, чтобы заставить нас пожертвовать единственно реальной и невыразимой (а если и выразимой, то лишь средствами искусства) частью нас самих ради нашего поверхностного «я», и вот это поверхностное «я» в отличие от другого, не находя счастья в себе самом, безотчетно умиляется, когда чувствует, что его поддерживают внешние силы, когда ему оказывает гостеприимство чья-то другая индивидуальность, где, в восторге от оказанного покровительства, оно платит за свое блаженство тем, что все озаряет лучами одобрения и восхищается достоинствами, которые в себе самом оно сочло бы недостатками и постаралось бы их исправить. Впрочем, хулители дружбы могут без самообольщения, но и не без угрызений совести быть лучшими друзьями на свете — так художник, вынашивающий великое произведение искусства и сознающий, что его долг — жить для работы над ним, все же, чтобы не показаться или

чтобы не стать эгоистом, посвящает свою жизнь какому-нибудь бесполезному делу, и это с его стороны тем более доблестно, что в причинах, по которым он предпочел бы не посвящать этому делу свою жизнь, начисто отсутствует корысть. Но как бы я ни смотрел на дружбу, даже если иметь в виду, что она доставляла мне радость до того скудную, что скорее это напоминало нечто среднее между усталостью и скукой, то ведь нет такого отравного питья, которое в иную минуту не становится драгоценным и животворным, ибо оно подстегивает нас, а нам именно это сейчас и необходимо, ибо оно согревает нас, а сами себя согреть мы сейчас не в состоянии.

Теперь у меня, конечно, не было ни малейшего желания, как всего час тому назад, попросить Сен-Лу снова свести меня с ривбельскими женщинами; след, оставленный во мне тоской о г-же де Стермарья, не желал так скоро изглаживаться, но в тот момент, когда в моем сердце я не находил даже и тени счастья, вошедший Сен-Лу — это было как бы вторжение доброты, веселья, жизни, и хотя существовали они, разумеется, отдельно от меня, но они предоставляли себя в мое распоряжение, они просили только о том, чтобы я взял их себе. А сам Сен-Лу не понял, почему у меня

вырвалось благодарственное восклицание и почему я был тронут до слез. Впрочем, что может быть парадоксальнее приязни друга — дипломата, путешественника, авиатора или военного, как Сен-Лу, — который, уезжая на другой день в деревню, а оттуда — бог весть куда, словно стремится к тому, чтобы после вечера, который он проводит с нами, у нас осталось от него такое неясное и мимолетное впечатление, что мы потом недоумеваем: а хочется ли ему производить на нас приятное впечатление, если же ему и впрямь хочется, то почему он не продлевает его и не учащает? Казалось бы, что может быть обыкновеннее — поужинать с нами, а между тем вышеупомянутым скитальцам это доставляет такое же необычное, огромное удовольствие, какое доставляют азиату наши бульвары. Мы с Робером пошли ужинать, и, спускаясь с лестницы, я вспомнил Донсьер, где мы с ним ежевечерне встречались в ресторанах, в давно забытых мною зальцах. Особенно резко выдался сейчас в моей памяти один такой ресторанчик, о котором я до сегодняшнего дня не думал: это был ресторан не при той гостинице, где обыкновенно ужинал Сен-Лу, а при другой, гораздо более скромной, представлявшей собою нечто среднее между

заезжим двором и семейным пансионом — здесь подавали сама хозяйка и одна служанка. Меня здесь задержала метель. К тому же Робер в тот вечер не ужинал в гостинице, а идти куда-нибудь еще меня не тянуло. Кушанья мне подавали наверх, в комнатку с деревянными стенами и потолком. Во время ужина потухла лампа, и служанка зажгла две свечи. Под предлогом, что плохо видно, я, подставив ей тарелку, на которую она накладывала картофель, схватил ее за голую руку как бы для того, чтобы направлять ее движения. Убедившись, что она не отдергивает руку, я стал гладить ее, а потом молча притянул служанку к себе, потушил свечу и предложил девушке ощупать меня и поискать денег. После этого я каждый вечер чувствовал, что физическое наслаждение требует для своего удовлетворения не только служанки — оно требует уединенной деревянной комнаты. И тем не менее я до самого отъезда из Донсьера ходил туда, где ужинал Робер со своими приятелями, — ходил по привычке, из дружеских чувств. Но и о той гостинице, где ужинал Робер с приятелями, я тоже давно не вспоминал. Мы не пользуемся жизнью, мы обрываем то время, когда мы как будто уже начали наслаждаться душевным покоем, когда мы предощущаем нечто

отрадное, и это время растворяется в летних сумерках и рано настающих зимних ночах. И все же это не совсем потерянное время. Когда запоют в свой черед новые радостные мгновения, которые иначе промелькнули бы мимо нас, такие же шаткие, невесомые, оно, это время, спешит подвести под них фундамент, придать им мощь нарядной оркестровки. Постепенно оно расширяется до пределов самого настоящего блаженства, в каком мы находимся редко, хотя оно никогда не исчезает из жизни; в данном случае это было забвение всего на свете ради ужина в уютной обстановке, обстановка же с помощью воспоминаний помещает в картине с натуры обещания путешествия с другом, который из любви к нам не пожалеет сил, чтобы всколыхнуть нашу сонную жизнь, чтобы доставить нам живительное наслаждение, совсем не такое, какое мы могли бы получить благодаря своим собственным стараниям или благодаря светским увеселениям; сейчас мы в его власти, мы готовы поклясться ему в вечной дружбе, хотя клятвы эти, рожденные в каменном мешке данного часа, в нем заключенные, уже завтра, пожалуй что, будут нарушены, и все же я без зазрения совести мог бы дать их Сен-Лу, так как он имел мужество, — мужество в высшей

степени благоразумное, а кроме того, таившее в себе предчувствие, что дружбу углубить нельзя, — назначить свой отъезд на завтра.

Спускаясь с лестницы, я воскрешал в памяти донсьер-ские вечера, а когда мы вдруг очутились на улице, почти непроглядный мрак, в котором туман словно погасил фонари, еле видные только вблизи, отбросил меня к одному из моих вечерних приездов в Комбре, когда городок был освещен лишь местами и прохожие брели ощупью во влажной, теплой, священной темноте, — темноте яслей, в которой кое-где тускло горели фонари, светившие не ярче церковных свечей. Между этим моим приездом в Комбре — год я точно не помню — и ривбельскими вечерами, которые я только что вновь увидел над занавесками, — какая между ними огромная разница! Вживаясь в них, я приходил в восторг, и восторг этот мог бы быть плодотворным, если б никто не нарушил моего одиночества, — он отвел бы меня от окольного пути, которым я шел, бесполезно проводя время в течение нескольких лет, и которым мне еще предстояло идти, пока во мне не проявилось до тех пор невидимое призвание, историю коего представляет собой настоящее произведение. Если бы мое призвание обнару-

жилось в тот вечер, то экипаж, в котором я ехал, заслуживал бы более прочного запечатления в моей памяти, чем экипаж доктора Перспье, на козлах которого я сочинил краткое описание — как раз недавно мной отысканное, исправленное и напрасно посланное в «Фигаро» — мартенвильских колоколен. Не оттого ли, что протекшие годы оживают для нас не в непрерывной последовательности, день за днем, а в разрозненных воспоминаниях, погруженных в прохладу или в осиянность какого-нибудь утра или вечера, прячущихся под тенью укромного, отъединенного, неподвижного, установившегося, глухого уголка природы, далекого от всего на свете, в силу чего не только постепенно происходящие внешние изменения, но и совершающиеся в наших мечтах и в нашем развивающемся характере, незаметно приводящие нас от одной поры жизни к другой, совершенно непохожей на прежнюю, стираются, — не оттого ли, когда мы оживляем воспоминание, относящееся к иному времени, мы обнаруживаем между ними — из-за пробелов, из-за того, что существует обширная область забвения, — как бы провал, разделяющий две неодинаковые вершины, как бы несравнимость воздуха и света? А между моими последователь-

ными воспоминаниями о Комбре, Донсьере и Ривбеле я чувствовал сейчас не только временное расстояние — я чувствовал расстояние, какое должно бы существовать между разными мирами, где материя неодинакова. Если б я решился воссоздать в произведении искусства материал, из которого мне представлялись высеченными мои самые неинтересные воспоминания о Ривбеле, мне пришлось бы прослоить розовым, сделать прозрачным и вместе с тем плотным, освежающим и звонким вещество, похожее на темный шероховатый песчаник Комбре.

Но тут Робер, сказав извозчику, куда ехать, усадил меня и сам сел в экипаж. Мысли, пришедшие мне в голову, рассеялись. Ведь это богини, которые изредка удостаивают своим посещением одинокого смертного на повороте или даже в комнате, когда он спит: остановившись в дверях, они приносят ему благую весть. Но если мы с кем-нибудь вдвоем, они исчезают; собираясь в кружок, люди их не видят. Я снова попал в плен к дружбе.

Робер с самого начала предупредил меня, что на улице темно от тумана, но, пока мы с ним разговаривали, туман стал еще плотнее. Это была не легкая дымка, которую я себе вообразил:

будто она вьется над островом и окутывает г-жу де Стермарья и меня. Отъедешь от фонаря на два шага — и он уже не светит, начинается тьма, такая же кромешная, как в открытом поле, в лесу или, скорее, на влажном острове Бретани, куда мне хотелось попасть; я чувствовал себя затерянным на берегу какого-нибудь северного моря, где двадцать раз очутишься на краю гибели, прежде чем доберешься до одинокого постоялого двора; из желанного миража туман превратился в одну из напастей, с которыми надо бороться, так что не сбиться с дороги и доехать благополучно — это стоило нам усилий и волнений, и наконец-то нами овладела радость — радость почувствовать себя в надежном укрытии, радость, совершенно незнакомая тем, кто не подвергался опасности, радость растерявшегося и едва не заблудившегося путника. Но что чуть было не испортило мне удовольствия во время нашей рискованной поездки, удивив и рассердив меня, так это признание Сен-Лу: «Знаешь, я сказал Блоку, что ты его совсем уж не так горячо любишь, что, по твоему мнению, в нем есть что-то пошлое. Вот я какой: я люблю все говорить начистоту», — самодовольно заключил он тоном, не допускающим возражений. Я был огорошен. Во-первых, я вполне доверял Сен-Лу,

верил в то, что он мой преданный друг, а он обманул мое доверие, проболтавшись Блоку; во-вторых, мне казалось, что Сен-Лу должны были бы удержать от этого как его достоинства, так и недостатки, его чрезмерная благовоспитанность, в силу которой он из вежливости способен был на небольшое лукавство. Был ли его торжествующий вид тем притворным торжеством, каким мы прикрываем наше замешательство, признаваясь в поступке, который сами же считаем дурным? Свидетельствовал ли он о том, что Сен-Лу не сознавал, что поступает дурно? Свидетельствовал ли он о том, что Сен-Лу неумен, раз он считает добродетелью порок, которого я, кстати сказать, прежде за ним не замечал? Была ли то минутная вспышка гнева, который его подстрекал порвать со мной, или же ему хотелось закрепить в памяти минутную вспышку гнева, который в нем вызвал Блок и который подзуживал его сказать Блоку что-нибудь неприятное, даже подведя меня? Надо, впрочем, заметить, что, когда он рассказывал о своем непорядочном поступке, лицо его пересекал отвратительный рубец, который я у него видел всего раз или два: начинался он приблизительно посредине лица и, доходя до губ, кривил их, придавая им отталкивающее

выражение душевной низости, что-то почти звериное, мгновенно исчезавшее и, без сомнения, атавистическое. В таких случаях, повторявшихся у него, без сомнения, не чаще чем раз в два года, происходило частично затмение его собственного «я» личностью кого-нибудь из его предков, отражавшейся в его чертах. На эту мысль наводили как самодовольный вид, так и слова: «Я люблю все говорить начистоту» — они были одинаково противны. Мне хотелось сказать ему, что если ты любишь все говорить начистоту, то, когда тебе приспичит пуститься в откровенности, выбалтывай, что на душе у тебя, но не будь добродетелен за чужой счет — уж больно это дешево. Но экипаж остановился у ресторана, один только широкий, стеклянный, весь светившийся огнями фасад которого и прорезал тьму. Из ресторана лился такой уютный свет, что казалось, будто туман с угодливостью слуг, на чьих лицах отражается радость хозяина, указывает нам дорогу до самого тротуара; многоцветный, самых нежных тонов, он вел за собой, подобно тому как огненный столп вел когда-то евреев.[318] Кстати сказать, среди посетителей было много евреев. Именно в этом

[318] Примечания: 318

Стр. 406.....огненный столп вел когда-то евреев. — Речь идет об исходе евреев из Египта в Ханаан (Исх. 13, 21).

ресторане давно уже собирались по вечерам Блок и его приятели, пьяневшие от поста, такого же строгого, как пост церковный, с той разницей, что церковный по крайней мере бывает всего раз в году, от ресторанной обстановки и от интереса к политике. Умственное возбуждение придает большой вес нашим привычкам и облагораживает их, а потому всякое более или менее сильное пристрастие сплачивает известный круг людей, относящихся друг к другу с таким уважением, какое каждый из них ценит превыше всего. Тут, хотя бы это было в провинциальном городишке, вы найдете помешанных на музыке; их лучшее время, почти все их деньги уходят на концерты камерной музыки, на сборища, где говорят о музыке, на рестораны, где любители встречаются друг с другом и с оркестрантами. Увлекающиеся авиацией заискивают перед старым официантом, служащим в застекленном баре, взгромоздившемся на самый верх аэровокзала; укрытый от бурь, словно в стеклянной клетке маяка, официант имеет возможность в обществе одного-единственного авиатора, который сейчас не летает, следить за тем, как пилот делает мертвые петли и как другой пилот, которого только что не было видно, неожиданно приземляется, шумно хлопая

крыльями птицы Рок.[319] Небольшой компании, собиравшейся, чтобы навсегда запечатлелось и углубилось то, что она схватывала на лету, когда шел суд над Золя, полюбился именно этот ресторан. Но на компанию косились составлявшие другую часть посетителей ресторана молодые дворянчики, завсегдатаи соседнего зала, отделенного от первого тонким барьером, украшенным зеленью. Они считали Дрейфуса и его сторонников изменниками, хотя двадцать пять лет спустя, за каковой срок старые веяния успели смениться новыми и дрейфусарство приобрело на расстоянии известную привлекательность, сыновья этих самых дворянчиков, большевиствовавшие и вальсировавшие, отвечали «интеллигентам», которые приступали к ним с расспросами, что, живи они в те времена, они, конечно, были бы за Дрейфуса, даром что знали они об его деле примерно столько же, сколько о графине Эдмон

[319] Примечания: 319

…птицы Рок. — О птице Рок рассказывается в «Синдбаде-мореходе», одной из сказок «Тысяча и одной ночи»: она была громадной и столь сильной, что могла поднять в воздух слона.

де Пурталес,[320] о маркизе де Галифе[321] или о других светилах, угасших в день их рождения. Ведь в тот туманный вечер ресторанная знать, будущие отцы этих юных интеллигентов, дрей-фусаров задним числом, были еще не женаты. Правда, родители подыскивали каждому из них богатую невесту, но никто пока еще не был связан брачными узами. Существовавшие пока лишь в мечтах, чаемые многими выгодные браки (на примете было, правда, немало «богатых невест», но все-таки число тех, кто зарился на богатое при-даное, значительно превышало число богатых приданых) пробуждали у этих молодых людей дух соперничества.

К несчастью для меня, Сен-Лу задержался: он уговаривался с извозчиком, чтобы тот заехал за нами после ужина, и я направился к ресторану один. С вращающейся дверью я обращаться не умел, — это была моя первая неудача, — и боялся, что так и не выберусь. (Для любителей более точного словоупотребления заметим, что эта

[320] Примечания: 320

графиня Эдмон де Пурталес, урожденная Мелани де Бюсьер (1832–1914), фрейлина императрицы Евгении, супруги Наполеона III.

[321] Примечания: 321

Маркиза де Галифе, Флоранс-Жеоржина (1842–1901) — французская аристократка, дочь знаменитого банкира Жака Лаффита, одна из самых видных красавиц своего времени.

дверь-тамбур, несмотря на свой мирный внешний вид, называется дверью-револьвером — от английского revolwing door.) В тот вечер хозяин не решался высунуть нос наружу, чтобы не промокнуть, а с другой стороны, считал своим долгом встречать посетителей, и он стоял у входа, с удовольствием слушая, как приезжающие весело жалуются на погоду, и глядя, как горят у них глаза от радости — радости людей, добравшихся с трудом и чуть-чуть не заблудившихся. Однако все улыбчивое его радушие исчезло, как только он увидел незнакомца, беспомощно кружившегося в стеклянной карусели. Это доказательство моего невежества было столь наглядно, что он нахмурился, как экзаменатор, который твердо решил не говорить: dignus est intrare.[322] К довершению всего я проследовал в зал, отведенный для аристократии, но хозяин без всяких разговоров меня оттуда вывел и грубым тоном, который сейчас же взяли со мной все официанты, указал место в другом зале. Тут мне не понравилось, главным образом потому, что на скамейке уже сидело много народу (а напротив меня была дверь для евреев

[322] Примечания: 322

Dignus est intrare —Достоин вступить (лат.). Выражение из комедии Мольера «Мнимый больной». Оно произносится в ходе финальной церемонии, когда Аргану вручают диплом врача.

— дверь не вращающаяся, и поэтому когда ее поминутно отворяли или затворяли, то на меня отчаянно дуло). Но хозяин не захотел пересадить меня. «Нет, сударь, — отрезал он, — я не могу из-за вас беспокоить всех». Впрочем, он скоро забыл о запоздалом и столь беспокойном посетителе — так его радовало прибытие каждого гостя, который, прежде чем спросить себе кружку пива, крылышко холодного цыпленка или стакан грога, должен был, как в старинных романах, внести свою лепту и поведать дорожные приключения, едва лишь он проникал в это теплое и безопасное убежище, где полная противоположность тому, от чего он укрылся, сразу приводит в веселое настроение и завязывает товарищеские отношения, словно у бивачного огня.

Кто-то рассказывал о том, как его извозчик, вообразив, что они у моста Согласия, три раза объехал Дом Инвалидов, кто-то еще — о том, как его экипаж, спускаясь по авеню Елисейских полей, застрял между деревьями на Рон-Пуэн и три четверти часа не мог выбраться. За рассказами следовали жалобы на туман, на холод, на мертвую тишину улиц, но произносились и выслушивались эти жалобы с наижизнерадостнейшим видом, вызывавшимся приятной

атмосферой зала, где, за исключением того места, где сидел я, было тепло, ярким светом, от которого жмурились глаза, привыкшие к тьме, и гулом голосов, выводившим из оцепенения слух.

Прибывавшим не так-то легко было хранить молчание. Дорожные злоключения в силу своей необычности вертелись у них на языке, причем каждому казалось, что такие случаи могли произойти только с ним, и они искали глазами, с кем бы поговорить. Даже хозяин не соблюдал дистанцию. «Принц де Фуа три раза заблудился, пока ехал от ворот Святого Мартина!» — не побоялся сказать он со смехом, как бы представляя адвокату-еврею аристократа, тогда как в любое другое время адвокат был отделен от аристократа преградой, через которую куда труднее было перескочить, чем через яму, заросшую по краям. «Три раза! Это же надо!» — заметил адвокат, дотрагиваясь до шляпы. Принцу не пришлась по душе эта фраза, которой адвокат как бы напрашивался на знакомство. Принц де Фуа принадлежал к группе аристократов, которая, по всей видимости, была способна только на дерзкие выходки даже по отношению к знати, если эта знать была не самого высокого полета. Не ответить на поклон, если человек вежливый поклонился вто-

рично, хихикать или злобно откидывать голову, делать вид, что не узнаешь пожилого человека, который хочет оказать тебе какую-нибудь услугу, пожимать руку и кланяться только герцогам и самым близким друзьям герцогов, с которыми герцоги их познакомили, — так вели себя эти молодые люди, и в частности принц де Фуа. Этот пошиб привила им распущенность, какой они отличались в ранней молодости (даже молодые буржуа проявляют неблагодарность и ведут себя по-свински: несколько месяцев не пишут сделавшему им доброе дело человеку по поводу кончины его жены, а потом, считая, что это самое простое в их положении, при встрече делают вид, что с ним незнакомы), но в еще большей степени он являлся порождением снобизма чересчур утонченной касты. Правда, этот снобизм, похожий на иные нервные заболевания, которые с годами не так резко дают себя знать, обычно принимал менее воинственный характер у людей почтенного возраста, совершенно невыносимых в молодости. Мало кто из людей постаревших находит полное удовлетворение в заносчивости. Человеку казалось, что, кроме нее, на свете ничего нет, и вдруг, — будь он хоть распринц, — оказывается, что есть еще музыка, литература,

даже звание депутата. Происходит переоценка ценностей — теперь человек сам заговаривает с людьми, которых он в былое время испепелял взглядом. Счастливы те, кто имел терпение ждать и у кого — если можно так выразиться — достаточно хорошо устроен характер, чтобы в сорок лет быть довольным учтивостью и любезностью, сменившими жестокость, с какой их от себя отталкивали, когда им было лет двадцать.

По поводу принца де Фуа следует заметить, раз уж все равно мы о нем заговорили, что он принадлежал к компании, состоявшей то ли из двенадцати, то ли из пятнадцати молодых людей, и к еще более узкому кругу, в который входило всего четыре человека. Отличительная особенность компании из двенадцати или из пятнадцати человек, — хотя принц в этом отношении как будто составлял исключение, — заключалась в том, что каждый из этих молодых людей был существом двуликим. Они так запутались в долгах, что поставщики в грош их не ставили, что не мешало поставщикам получать большое удовольствие, когда они к ним обращались: «Ваше сиятельство, маркиз, ваша светлость…» Молодые люди надеялись выпутаться благодаря пресловутому «выгодному браку», имевшему еще одно

название: «толстая сума», но так как богатых приданых, к коим они подбирались, было все-навсего четыре или пять, то на одну и ту же невесту потихоньку целились с разных сторон. При этом тайна хранилась так строго, что, когда один из них, придя в ресторан, объявлял: «Любезные друзья! Вы так мне дороги, что таиться от вас я не в силах: я помолвлен с мадмуазель д'Амбрезак» — в ответ раздавались негодующие голоса, ибо многие, полагая, что у них самих все уже с ней на мази, не обладали силой воли, необходимой для того, чтобы удержаться от восклицания, выражающего одновременно гнев и удивление. «Стало быть, тебя так разбирает охота жениться, Биби?» — вскричал принц де Шательро, роняя вилку от изумления и от отчаяния: ведь он же был уверен, что помолвка мадмуазель д'Амбрезак скоро будет оглашена, но только с ним, Шательро. А его папенька, улучив минутку, Бог знает чего наговорил Амбрезакам про мамашу Биби. «Стало быть, тебе невтерпеж?» — не удержался, чтобы вторично не подковырнуть Биби, принц, но Биби, подготовленный к таким вопросам, ибо с того дня, когда все это стало уже «почти официально» известно, прошло достаточно времени, чтобы обдумать, как себя держать, отвечал с улыбкой:

«Я радуюсь не тому, что женюсь, — жениться у меня особого желания нет, — я радуюсь тому, что у меня будет такая жена, как Дези д'Амбрезак, — на мой вкус, она обворожительна». Пока Биби отвечал принцу де Шательро, тот успел переломить себя и решил, что надо как можно скорее перестроиться и атаковать мадмуазель де ла Канурк или мисс Фостер — блестящие партии № 2 и № 3, умолить ожидавших его женитьбы на Амбрезак кредиторов, чтобы они запаслись терпением, и в конце концов объяснить тем, кому он толковал о прелести мадмуазель д'Амбрезак, что она хорошая пара для Биби, а что если б он на ней женился, то перессорился бы со всей своей семьей. Так, например, он уверял бы, что г-жа де Солеон даже не приняла бы их.

Но если в глазах поставщиков, содержателей ресторанов и т. д. молодые люди мало что значили, зато когда двуликие эти существа появлялись в свете, там о них судили не по тому, насколько расстроено их состояние, и не по тем малопочтенным занятиям, за которые они брались, чтобы поправить его. Они опять становились князем таким-то, герцогом таким-то и ценились в зависимости от того, какая у кого родословная. Считалось, что герцог, почти миллиардер, у кото-

рого, казалось бы, каких только достоинств нет, все-таки ниже их, потому что в старину их предки являлись владетельными князьями маленьких государств, где чеканились особые монеты, и т. д. Часто в этом ресторане кто-нибудь из них опускал глаза, когда входил другой, чтобы можно было не здороваться друг с другом. Дело заключалось в том, что, тщетно пытаясь разбогатеть, он пригласил поужинать банкира. Если светский человек встречается таким образом с банкиром, это ему обходится в сотню тысяч франков, что не мешает светскому человеку встретиться потом с другим банкиром. Эти люди продолжают ставить в церквах свечи и советоваться с докторами.

Но принц де Фуа, человек состоятельный, принадлежал не только к аристократической компании, состоявшей из полутора десятков молодых людей, но и к более замкнутому и неразлучному содружеству четырех, куда входил и Сен-Лу. Их никуда не приглашали поодиночке, их прозвали «четырьмя балбесами», они всегда вместе гуляли, в замках их размещали в сообщающихся комнатах, а так как они все, как на подбор, были очень красивы, то поговаривали даже об интимной близости между ними. Что касается Сен-Лу, то я мог привести прямые до-

казательства лживости подобных слухов. Но замечательно вот что: как выяснилось впоследствии, слухи эти оказались верны относительно всех четырех, но каждый из них ничего не знал про трех остальных. А между тем каждый разузнавал про других, может быть, потому, что он чего-то добивался, а вернее всего, в нем говорило недоброе чувство, ему хотелось расстроить брак, восторжествовать над разоблаченным другом. К четырем платоникам присоединился пятый (в такого рода четверках всегда бывает больше четырех человек), еще платоничнее прочих. Но его сдерживали религиозные убеждения, четверка же между тем распалась, он женился, стал отцом семейства, молился в Лурде[323] о том, чтобы жена родила ему мальчика или девочку, а в промежутках бросался на военных.

Как ни был кичлив принц, то обстоятельство, что адвокат не обратился непосредственно к нему, несколько утишило его гнев. Да ведь и то сказать: этот вечер был какой-то особенный. У адвоката было не больше шансов завязать

[323] Примечания: 323

Лурд — город во Франции (Верхние Пиренеи), ставший местом паломничества католиков, после того как стало известно, что юной Бернадетте Субиру (1844–1879) в 1858 г. там многократно являлась Богородица.

знакомство с принцем де Фуа, чем у извозчика, который доставил сюда этого важного барина. Вот почему принц счел возможным, хотя и с надменным видом и не глядя на адвоката, все-таки ответить ему, а тот под пеленою тумана был похож на путника, которого ты неожиданно встречаешь на краю света, у моря, где кружится ветер или все накрыто саваном мглы: «Не то страшно, что заблудился, а то, что не можешь выбраться на дорогу». Эта мысль поразила хозяина своей верностью, потому что в течение этого вечера ее высказывали уже несколько раз.

Надо заметить, что у владельца ресторана была привычка сопоставлять то, что он услышал или вычитал, с каким-нибудь уже известным текстом, и он всякий раз приходил в восторг, если не обнаруживал разницы. Этим свойством ума пренебрегать не следует: проявляясь в политических разговорах или при чтении газет, оно-то и создает общественное мнение и тем самым подготовляет величайшие события. Многие немцы, содержатели кофеен, обожавшие только своих посетителей и какую-нибудь газету, утверждая в

эпоху Агадира,[324] что Франция, Англия и Россия «задирают» Германию, подготовляли войну, которая, впрочем, так и не началась. Пусть историки правы, что нельзя объяснять действия народов волей королей, но тогда они должны заменить ее психологией простого обывателя.

В области политики владелец того ресторана, куда я приехал, с некоторых пор применял свои способности лишь к кое-каким статьям, связанным с делом Дрейфуса. Если он не находил знакомых выражений в речах посетителя или на газетных столбцах, он говорил, что статья скучнейшая, а что посетитель неискренен. А вот принц де Фуа сразу привел хозяина в такой восторг, что хозяин еле дослушал его. «Правильно, ваше сиятельство, правильно (что по существу означало: „Вы, ваше сиятельство, повторили слово в слово“), совершенно верно, совершенно верно!» — воскликнул он, досягнув до, как выражаются в «Тысяче и одной ночи», «высот ликования». Но принц уже скрылся в маленьком

[324] Примечания: 324

Агадир — город и порт в Марокко. Прибытие сюда 1 июля 1911 г. германской канонерской лодки «Пантера» было демонстрацией военной силы, направленной против притязаний Франции на особые права в Марокко. Франко-германские переговоры, связанные с агадирским кризисом, закончились подписанием в Берлине 4 ноября 1911 г. соглашения, ио которому Германия признавала французский протекторат над Марокко за уступку ей части французских владений в Конго.

зале.

Потом, — ведь жизнь берет свое даже после событий необычайных, — выходившие из моря тумана заказывали себе за: куски или ужин; среди них я увидел молодых людей — завсегдатаев Джокей-клоба: день был до того суматошный, что они по рассеянности заняли два столика в большом зале и благодаря этому очутились совсем близко от меня. Катаклизм был такой силы, что ему удалось установить даже между малым и большим залом, между всеми этими людьми, возбужденными ресторанным уютом после долгих блужданий по океану тумана, не распространявшуюся только на меня простоту отношений — нечто подобное такой простоте, наверное, царило в Ноевом ковчеге.[325]

Вдруг я увидел, что хозяин подобострастно изогнулся в поклоне, примчались все метрдотели, в полном составе, а посетители невольно обер-

---

[325] Примечания: 325

…в Ноевом ковчеге. — Этот образ имел совершенно особое значение для Пруста, связывавшего судьбу Ноя со своей собственной. В предисловии к книге «Наслаждения и дни» (1896) он признавался: «Когда я был совсем маленьким, ничья судьба из персонажей Священного Писания не казалась мне столь горестной, как судьба Ноя, ведь из-за потопа он провел в заточении на ковчеге сорок дней. Позже я часто болел и подолгу должен был оставаться в „ковчеге“. Тогда я понял, что именно из ковчега Ною лучше всего была видна земля, несмотря на то что ковчег был со всех сторон закрыт, а на земле царил полный мрак».

нулись. «Позовите Киприена, живо, столик для его сиятельства маркиза де Сен-Лу!» — кричал хозяин; для него Сен-Лу был не просто важным барином, к которому относились с большим уважением даже такие люди, как принц де Фуа, но еще и посетителем, живущим на широкую ногу и оставляющим в этом ресторане изрядные суммы. Посетители большого зала с любопытством глазели, посетители малого наперебой зазывали к себе приятеля, все еще вытиравшего ноги. Направившись к малому залу, он увидел, что я в большом. «Господи! Что ты здесь делаешь, почему ты сидишь перед открытой дверью?» — вскричал он и бросил бешеный взгляд на хозяина — тот бросился затворять дверь, свалив вину на официантов: «Ведь я же им сказал раз навсегда: эта дверь должна быть затворена».

Чтобы подойти к Сен-Лу, мне пришлось побеспокоить тех, кто сидел за моим и за соседними столиками. «Зачем ты встал? Ты предпочитаешь ужинать здесь, а не в малом зале? Но ведь ты же здесь замерзнешь, бедняжка! Сделайте одолжение, забейте эту дверь», — сказал он хозяину. «Сию минуточку, ваше сиятельство. Посетители, которые захотят уйти, будут теперь проходить через малый зал, вот и все». Желая проявить

особое усердие, хозяин отрядил для этого дела одного метрдотеля и нескольких официантов и громогласно объявил, что если они не заколотят дверь как следует, то на них обрушатся страшные кары. Теперь он был со мной исключительно любезен — ему хотелось, чтобы у меня создалось впечатление, что он стал со мной любезен, как только я приехал, а не после появления Сен-Лу, и еще он боялся, как бы я не подумал, что он так со мной мил только ради своего давнего посетителя — богача и аристократа, а потому украдкой улыбался мне, чтобы я воспринял эти его улыбочки как знак особой симпатии.

Слова сидевшего за мной посетителя заставили меня обернуться. Вместо того чтобы сказать: «Крылышко цыпленка, прекрасный бокал шампанского, только не очень сухого», он сказал совсем другое: «Я бы предпочел глицерин. Да, горячий, прекрасно». Мне захотелось взглянуть на этого аскета. Чтобы странный гурман не узнал меня, я сейчас же повернулся в сторону Сен-Лу. Оказалось, что это мой знакомый доктор, с которым советовался один из посетителей, воспользовавшийся туманом, чтобы затащить его в ресторан. Врачи, как и биржевики, говорят от своего имени. А я смотрел на Робера и

вот о чем думал. В этом ресторане, да и вообще в жизни, я видел много интеллигентных иностранцев, любителей разных искусств, людей, покорно сносивших насмешки над их причудливого покроя плащами, над их галстуками, какие носили в 1830-х годах, издевательства над их неуклюжестью, и не только сносивших, а нарочно вызывавших глумление над собой, чтобы показать, что им оно безразлично, хотя все это были люди большого ума, высокой нравственности и вдобавок с тонкой душевной организацией. Они не нравились — особенно евреи, само собой разумеется, евреи не ассимилировавшиеся, о других я не говорю — лицам, которые терпеть не могут никаких странностей и чудачеств (именно за это Альбертина терпеть не могла Блока). Но те, кто поначалу сторонился от них, в конце концов убеждались, что ненавидеть людей только за длинные волосы, за длинные носы, за большие глаза, за театральные порывистые жесты просто смешно, что зато они люди очень умные, сердечные, что их нельзя не любить всем существом. В частности, у многих евреев родители отличались душевным благородством, широтой ума, прямотой, так что по сравнению с ними такие люди, как мать Сен-Лу или герцог Германт-

ский, в нравственном отношении являли собою убожества из-за своей черствости, из-за своей чисто внешней религиозности, возмущавшейся только чем-либо скандальным, причем то христианство, которое они исповедовали, отнюдь не мешало им (к этому их тайными путями приводил практический ум, а только такой ум они и ценили) вступать в наивыгоднейший брак по расчету. Но у Сен-Лу, у которого из сочетания недостатков его родителей выросли достоинства, надо всем царили пленительно открытый ум и пленительно открытое сердце. К чести Франции надо сказать, что если эти качества встречаются у чистокровного француза, будь то аристократ или простолюдин, они цветут так великолепно — слово «буйно» здесь не подходит, мера и границы этого цветения строго соблюдаются, — как не цветут ни у кого из иностранцев, хотя бы это был человек глубочайшей порядочности. Высокими умственными и душевными качествами обладают, понятно, представители и других национальностей, и если даже вначале волей-неволей надо проходить через то, что не нравится в человеке, через то, что коробит, или через то, что вызывает снисходительную улыбку, от этого его достоинства не утрачивают своей ценности.

И все же до чего обворожительно это, пожалуй, чисто французское свойство, заключающееся в том, что создание прекрасное, прекрасное с точки зрения высшей справедливости, такое, которое много весит на весах ума и сердца, прежде всего радует взор, отличается прелестным цветом лица, правильностью черт, выявляет внутреннее свое совершенство в веществе и в форме. Глядя на Сен-Лу, я говорил себе, что хорошо, когда не неказистость служит преддверием для внутренних достоинств, когда крылья носа изящны, безукоризненного рисунка, точно крылышки бабочек, садящихся на полевые цветы в окрестностях Комбре; что подлинным opus francigenum,[326] тайна которого свято хранится с XIII века и который вечно будет жить в наших церквах, являются не столько каменные ангелы Св. Андрея Первозванного-в-полях, сколько молоденькие французы — дворяне, мещане, крестьяне, — чьи лица изваяны с изяществом и простодушием, такими же традиционными, как на знаменитой паперти, но все еще не завершенными.

Отлучившись, чтобы присмотреть за тем, как

[326] Примечания: 326

Opus francigenum — Произведение французского искусства (лат.). Так в средневековой Германии назывались произведения готического искусства.

забьют дверь и как выполнят заказ на ужин (он очень настаивал на том, чтобы мы взяли «говядинки», — как видно, птица оставляла желать лучшего), хозяин скоро вернулся и сказал, что принц де Фуа очень просит его сиятельство позволить ему поужинать за одним из соседних столиков. «Да они же все заняты», — возразил Робер, оглядев столики, окружавшие тот, за которым сидел я. «Это неважно; если вашему сиятельству будет угодно исполнить просьбу принца, то что мне стоит предложить этим господам пересесть? Мне бы только услужить вашему сиятельству!» «Решай ты, — обратился ко мне Сен-Лу, — Фуа — славный малый, думаю, что ты с ним не соскучишься, он умнее многих». Я ответил Роберу, что Фуа мне, наверное, понравится, но что ведь мы сговорились поужинать вдвоем и мне это доставит огромное удовольствие, — вот почему я предпочел бы не приглашать Фуа. «А какой у принца красивый плащ!» — во время нашего совещания заметил хозяин. «Да, я видел», — отозвался Сен-Лу. Я было хотел сообщить Роберу, что де Шарлю скрыл от своей невестки, что он со мною знаком, и спросить у него, как он думает — почему, но тут вдруг появился принц де Фуа. Он пришел узнать, исполнена ли его просьба, и

остановился в двух шагах. Робер познакомил нас, но сказал своему приятелю прямо, что ему надо со мной поговорить по секрету. Князь удалился, но, поклонившись мне, он присоединил к прощальному поклону улыбку, с которой он показал мне на Сен-Лу как бы в пояснение, что краткость нашей встречи — это воля Сен-Лу, а что он охотно продлил бы ее. Но тут Робер, словно его внезапно осенило, устремился за своим товарищем. «Сиди тут и принимайся за ужин, я сейчас», — сказал он и с этими словами перешел в малый зал. Меня раздражали незнакомые мне шикарные молодые люди, рассказывавшие о молодом наследном принце Люксембургском (бывшем графе фон Нассау), с которым я познакомился в Бальбеке и который так деликатно выразил мне сочувствие во время бабушкиной болезни, смехотворные и очень унизительные для него истории. Один из молодых людей уверял, будто бы принц сказал герцогине Германтской: «Я требую, чтобы при появлении моей жены все вставали», на что герцогиня будто бы ответила (а уж это не только не остроумно, но и лишено всякого правдоподобия, потому что бабушка молодой принцессы всегда была воплощенной добродетелью): «Конечно, при появлении твоей жены все должны

вставать, — ради твоей бабушки мужчины ложились». Затем кто-то рассказал о том, как, приехав в этом году в Бальбек повидаться со своей теткой, принцессой Люксембургской, и остановившись в Гранд-отеле, принц пожаловался директору (моему приятелю), что в его честь не вывешен люксембургский флаг. А между тем флаг этот был менее известен и гораздо реже вывешивался, чем английский или итальянский, так что, к вящему неудовольствию молодого принца, потребовалось несколько дней, чтобы его разыскать. Я не поверил ни единому слову во всей этой истории, но решил, когда буду в Бальбеке, расспросить директора отеля, чтобы окончательно убедиться, что это чистейшая выдумка. В ожидании Сен-Лу я попросил хозяина сказать, чтобы мне дали хлеба. «Сию минуточку, господин барон». — «Я не барон», — шутливо печальным тоном возразил я. «Ах, извините, ваше сиятельство!» Я не успел возразить ему и на это, после чего я, наверное, стал бы «светлостью»; верный своему обещанию скоро вернуться, в дверях появился Сен-Лу с широким вигоневым плащом принца на руке, и я понял, что он попросил этот плащ, чтобы я не мерз. Он издали сделал мне знак оставаться на месте и пошел в мою сторону, но, чтобы он мог сесть,

надо было передвинуть столик или должен был пересесть я. Сен-Лу вспрыгнул на одну из обитых красным бархатом скамей, которые тянулись вдоль всего большого зала, — кроме меня, на ней сидело не то трое, не то четверо знакомых с Сен-Лу молодых людей из Джокей-клоба, не нашедших себе места в малом зале. Между столиками не очень высоко были протянуты электрические провода; Сен-Лу, не растерявшись, перескочил через них так же ловко, как скаковая лошадь перескакивает через барьер; мне было стыдно, что все это проделывается ради меня, только чтобы избавить меня от такого несложного движения, как пересаживание с места на место, и в то же время я восхищался той уверенностью, с какой вольтижировал мой друг; и не только я: это искусство вольтижировки вряд ли понравилось бы хозяину и метрдотелям, если бы его проявил менее знатный и менее щедрый посетитель, но Сен-Лу приковал их взоры — так смотрят на скачках знатоки; официант стоял как в столбняке, держа в руках блюдо, которого ждали сидевшие около него; когда же Сен-Лу, вынужденный обойти своих приятелей, взобрался на спинку скамьи и, балансируя, пошел по ней, в глубине зала раздались негромкие аплодисменты. Наконец он

дошел до меня, мгновенно остановился, так же точно рассчитав, как рассчитывает командир, которому нужно остановиться перед трибуной государя, наклонился и почтительным, изящным движением протянул мне вигоневый плащ, а затем, сев рядом со мной, сам накрыл им, точно легкой и теплой шалью, мои плечи.

— Вот что, — пока не забыл, — сказал Робер, — моему дяде Шарлю надо с тобой поговорить. Я обещал, что ты придешь к нему завтра вечером.

— Я как раз собирался потолковать с тобой о нем. Но завтра вечером я ужинаю у твоей тетки, герцогини Германтской.

— Да, завтра у Орианы кутеж. Меня не звали. Дядя Паламед предпочел бы, чтобы ты туда не ходил. Отказаться тебе неудобно? Во всяком случае, зайди к дяде Паламеду после. Он очень хочет тебя видеть. К одиннадцати как раз успеешь. В одиннадцать часов, не забудь, я ему передам. Он страшно обидчив. Если ты не придешь, он рассердится. У Орианы пирушки кончаются не поздно. Если ты намерен только поужинать, то к одиннадцати как раз успеешь к дяде. Мне бы тоже надо было повидать Ориану, я хочу оставить службу в Марокко. В таких делах она человек на редкость обязательный, генерал де Сен-Жозеф

все для нее сделает, а зависит это от него. Но ты ей об этом ни слова. Я уже говорил с принцессой Пармской, все устроится и без нее. Да, Марокко очень интересная страна. Я мог бы тебе много о ней рассказать. Люди там удивительно тонкие. Думаю, что не глупей нас.

— А как по-твоему: немцы станут воевать из-за Марокко?

— Нет, хотя они озабочены марокканским вопросом, и, в сущности говоря, не без основания. Но кайзер настроен миролюбиво. Немцы всегда делают вид, что стремятся к войне, — они думают, что так они заставят нас пойти на уступки. (Это как в покере.) Князь Монакский,[327] агент Вильгельма Второго, только что конфиденциально довел до нашего сведения, что, если мы не уступим, Германия нападет на нас. Значит, мы уступим. Но если б мы и не уступили, никакой войны не было бы все равно. Ты только подумай, какая чушь — современная война! Она была бы более катастрофичной, чем «Потоп[328]» или

---

[327] Примечания: 327

Князь Монакский — Оноре Шарль де Гримальди, князь Монако Альберт I (1848–1922).

[328] Примечания: 328

«Потоп» (1876) — оратория французского композитора Камиля Сен-Санса (1835–1921).

«Gotterdammerung[329]». Разница та, что она не затянулась бы так надолго.

Он говорил со мной о дружбе, о симпатии, о тяжести разлуки, хотя, как всякий странник, завтра он опять собирался уехать на несколько месяцев в деревню, а оттуда должен был приехать в Париж всего лишь на двое суток перед тем, как отправиться в Марокко (или куда-нибудь еще); и все же от слов, которые он бросил в жар, каким горело в тот вечер мое сердце, загорались отрадные мечты. Наши с ним редкие встречи с глазу на глаз, и в особенности эта, образовали целый уголок в моей памяти. Для него, как и для меня, это был вечер дружбы. Но боюсь, что дружеские чувства, какие я тогда к нему испытывал (и к которым именно по этой причине примешивалось нечто похожее на угрызения совести), были несколько иного свойства, чем те, какие ему хотелось пробудить во мне. Еще весь полный восхищения, с каким я следил за его курцгалопом и за тем, как грациозно приближался он к намеченной цели, я чувствовал, что это восхищение вызвано тем, что каждое его движение вдоль стены, на скамье подсказывалось, объяснялось, быть может, натурой

[329] Примечания: 329

«Gotterdammerung» («Гибель богов») — четвертая и последняя часть тетралогии Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунга» (1854–1874).

самого Сен-Лу, но — в еще большей мере — его происхождением и воспитанием, его породой.

Благодаря верности вкуса — не в области прекрасного, а в области поведения, человек светский в самых непредвиденных обстоятельствах мгновенно улавливает, подобно музыканту, которого просят сыграть незнакомую ему вещь, какие чувства нужно сейчас выразить, с помощью каких движений, и безошибочно выбирает и применяет технические приемы; кроме того, верность вкуса дает светскому человеку возможность проявлять его, не руководствуясь посторонними соображениями, а ведь именно эти соображения сковывают стольких молодых буржуа, во-первых, потому, что они боятся, как бы их не подняли на смех за несоблюдение приличий, а во-вторых, потому, что им не хочется показаться своим друзьям чересчур уж угодливыми, тогда как у Робера посторонние соображения уступали место пренебрежительности, и хотя она, конечно, была чужда его сердцу, но его телу она досталась по наследству, и благодаря ей пошиб предков приобрел у него непринужденность, с точки зрения предков обвораживающую и лестную для того, с кем он держал себя непринужденно; наконец, в силу благородной щедрости, не

придававшей никакого значения материальным ценностям (Сен-Лу оставлял в этом ресторане так много денег, что это создало ему славу — здесь и в других местах — самого желанного посетителя и сделало всеобщим любимцем, о чем можно было судить по предупредительному отношению к нему не только слуг, но и всего цвета молодежи), он попирал их так же, как попирал фактически и символически эти обитые красным бархатом скамейки, по которым он шел, как по великолепной дороге, привлекшей моего друга лишь тем, что по ней с наибольшей грациозностью и скорей, чем по какой-либо другой, можно было добраться до меня; таковы были чисто аристократические свойства, которые, просвечивая сквозь это тело, не темное и непроницаемое, вроде моего, но мыслящее и прозрачное, как проступают в произведении искусства создавшие его творческая сила и мастерство, сообщали легкой пробежке Робера вдоль стены загадочную прелесть, какой отличаются позы всадников на фризе. «Увы! — мог бы подумать Робер. — Стоило ли мне с самых молодых лет быть выше сословных предрассудков, не ценить в человеке ничего, кроме чувства справедливости и ума, отвергать навязываемых мне товарищей и дружить с плохо одетыми

увальнями, если только они были интересными собеседниками, коль скоро единственное существо, которое, как мне представлялось, раскрылось во мне самом и о котором люди обычно хранят самое светлое воспоминание, оказалось не тем, которое по моему подобию изваяла моя воля, — заслуженным венцом ее усилий, — оказалось не моим произведением, даже не мной, а тем, что я всегда презирал и старался преодолеть в себе; стоило ли мне так беззаветно любить моего самого близкого друга, коль скоро наивысшую радость я доставил ему в гораздо большей степени общими, чем личными моими чертами, коль скоро наивысшей радостью является для него не то, что он называет радостью дружбы и во что в глубине души не верит, а радость интеллектуальная, бездушная, своего рода эстетическое наслаждение?» Боюсь, что иной раз ему приходили такие мысли. Но он ошибался. Если бы идеалом Сен-Лу была врожденная гибкость его тела, если бы он давным-давно не вытравил в себе барскую спесь, то в самой его ловкости было бы больше выделанности и тяжеловесности, а в обхождении — высокомерной вульгарности. Подобно тому как маркизе де Вильпаризи надо было быть очень серьезной, чтобы и в беседах ее, и в

мемуарах чувствовалось легкомыслие, — а ведь легкомыслие всегда рассудочно, — так для того, чтобы тело Сен-Лу стало насквозь аристократичным, аристократизму надо было выветриться из его мыслей, устремленных к более высоким предметам, и, пропитав его тело, проступить в нем неосознанными благородными очертаниями. Вот почему умственное изящество сочеталось в нем с изяществом физическим, а если бы он не отличался умственным изяществом, то его физическое изящество было бы несовершенным. Чтобы мысли художника отразились в его произведении, ему незачем высказывать их прямо; доля истины есть в словах о том, что высшая хвала Богу — это отрицание атеиста, по мнению которого творение столь совершенно, что может обойтись без творца. И еще я хорошо знал, что я любовался не только произведением искусства, когда смотрел на юного бегуна, ковром развернувшего свой бег вдоль стены; юный принц (потомок Екатерины де Фуа,[330] королевы Наваррской, внучки Карла VII), от которого Сен-Лу

[330] Примечания: 330

Екатерина де Фуа (1470–1517) — королева Наваррская, внучка французского короля Карла VII (1403–1461). Пруст делает своего персонажа потомком одного из самых родовитых семейств Франции. Прототипом принца де Фуа был князь Леон Радзивил (1880–1927), один из близких друзей Пруста.

ушел ради меня, знатность и богатство, которые он повергал к моим ногам, чванные и статные предки, оживавшие в уверенности и ловкости движений, в заботливости, с какой он окутывал мое зябкое тело в вигоневый плащ, — разве все это не входило, так сказать, в число его друзей, более старинных, чем я, друзей, которые, как я мог думать, всегда стоят между нами, но которых он на самом деле, напротив, приносил мне в жертву, сделать же такого рода выбор можно, только глядя с высоты умственных запросов, обнаруживая ту неограниченную свободу, воплощением которой были движения Робера и без которой немыслима прочная дружба?

Сколько в непринужденности Германтов — в отличие от душевного изящества Робера, у которого пренебрежительность наследственная, чисто внешняя, превратившаяся в неосознанное стремление обворожать, прикрывала неподдельную скромность, — было пошлой спеси — в этом я мог удостовериться не на примере де Шарлю, потому что дурные черты его характера, в котором я пока еще плохо разбирался, наслаивались на аристократические привычки, а на примере герцога Германтского. Но и в его облике, который когда-то произвел такое неприятное впечатле-

ние на мою бабушку, встретившуюся с ним у маркизы де Вильпаризи, сохранились остатки древнего величия, которые я разглядел, придя к нему ужинать на другой день после того, как мы с Сен-Лу провели вместе вечер.

Эти остатки древнего величия не открылись мне ни у него, ни у герцогини, когда я видел их у маркизы де Вильпаризи, так же как, увидев Берма впервые, я не понял, в чем разница между ней и другими актрисами, хотя ее отличительные черты были неизмеримо легче уловимы, нежели отличительные черты светских людей: ведь особенности светских людей становятся четче по мере того, как более реальными, более доступными для понимания становятся сами люди. Но как ни трудно схватить оттенки в высшем обществе (до того трудно, что когда такой правдивый художник, как Сент-Бёв, задался целью показать, что отличало салон г-жи Жофрен от

салона г-жи Рекамье,[331] а салон г-жи Рекамье от салона г-жи де Буань,[332] то они оказались у него такими похожими, что основной вывод, который можно сделать вопреки воле автора из его изысканий, заключается в следующем: салонная жизнь убога), тем не менее — как это вышло у меня и с Берма, — когда Германты стали мне безразличны и когда мое воображение уже не превращало в пар капельку их своеобычия, я, несмотря на то, что она была совсем незаметна, мог подобрать ее.

На вечере у тетки герцогиня ничего не сказала мне о своем муже, но так как до меня дошли слухи о разводе, то я затруднился бы сказать, будет ли он с нами ужинать. Что сомнения мои были напрасны — в этом я уверился мгновенно,

---

[331] Примечания: 331

Г-жа Жофрен, урожденная Мария-Тереза Роде (1699–1777) — супруга богатого французского фабриканта. Ее парижский салон на улице Сент-Оноре посещали знаменитые писатели и художники (Буше, Латур, Мариво, д'Аламбер и др.). Г-жа Рекамье, урожденная Жанна Франсуаза Жюли Аделаида Бернар (1777–1849) — одна из самых блистательных женщин своего времени, дружившая с г-жой де Сталь, Шатобрианом, Констаном. Отличаясь большим умом, разносторонней образованностью и необычайной красотой, она сумела устроить у себя один из самых влиятельных салонов, в котором собирался цвет парижской творческой интеллигенции.

[332] Примечания: 332

Г-жа де Буань — Луиза-Элеонора-Аделаида Осмондская, графиня де Буань (1781–1866), французская аристократка, в салоне которой собирались главным образом политики и журналисты. Графиня де Буань

во многих отношениях была моделью образа маркизы де Вильпаризи. Пруст читал ее «Мемуары» и книгу воспоминаний «Рассказы тетушки», вышедшую в свет только в 1907 г. В марте 1907 г. Пруст опубликовал в «Фигаро» пространный отклик на эту книгу, который был широко использован им в романе.

так как среди лакеев, стоявших в передней и, должно быть (ведь до этого вечера я был для них почти то же, что дети столяра, то есть, может быть, они относились ко мне с большей симпатией, чем их хозяин, но они были убеждены, что я к нему не вхож), старавшихся найти причину этой перемены, я увидел герцога Германтского, который поджидал меня здесь, чтобы помочь мне раздеться.

— Герцогиня Германтская будет в восторге, — сказал он, искусно разыгрывая искренность. — Позвольте вас освободить от вашего добришка. (Герцогу казалось, что просторечие в его устах звучит простодушно и забавно.) Жена слегка побаивалась, что вы нас обманете, хотя вы говорили, что вам этот вечер удобен. Мы еще утром говорили друг другу: «Он не придет, вот увидите». Герцогиня Германтская оказалась права. Залучить вас не так-то просто, и я был уверен, что вы нам натянете нос.

Плохой муж, грубый в обращении с женой, как говорили о герцоге, он, подобно злым людям, которым бывают особенно благодарны за доброту, вызывал чувство благодарности за слова «герцогиня Германтская», которыми он словно осенял ее крылом, чтобы она составляла с ним единое

целое. Почитая своим долгом сопровождать меня, герцог фамильярным жестом взял меня за руку и повел в гостиные. То или иное ходовое выражение может нравиться в устах крестьянина, коль скоро оно связано со старинным местным обычаем, коль скоро это след исторического события, даже если об этом обычае или событии ничего не слыхал тот, кто это выражение употребляет; точно так же любезность герцога Германтского, которую он проявлял ко мне весь вечер, пленила меня как пережиток нравов многовековой давности, нравов главным образом XVII века. Нам представляется, что люди давно прошедшего времени бесконечно далеки от нас. Мы считаем, что с нашей стороны было бы слишком большой смелостью искать в их внешних проявлениях скрытый смысл; когда мы обнаруживаем у кого-нибудь из героев Гомера чувство, до известной степени похожее на те, что испытываем мы, или когда мы читаем о том, какой хитроумный тактический прием применил Ганнибал в битве при Каннах, подставив под удар свой фланг, чтобы внезапно окружить противника, то это нас поражает; мы уверяем себя, что этот эпический поэт и этот полководец так же нам далеки, как далеки звери, которых мы видели в зоологическом саду.

Равным образом, когда мы находим учтивые выражения в письмах придворных Людовика XIV к людям низшего звания, которые ничем не могли быть им полезны, то эти выражения нас изумляют, потому что они вдруг открывают нам у этих вельмож целый мир убеждений, которые они никогда прямо не высказывали, но которые управляли ими, в частности — убеждение, что из вежливости необходимо надевать личины и что нужно с величайшей добросовестностью исполнять то, чего требует любезность.

Этой воображаемой отдаленностью прошлого, быть может, отчасти объясняется то, что даже большим писателям мерещилась несравненная красота в произведениях таких посредственных мистификаторов, как Оссиан.[333] Нас удивляет, что у древних бардов могли быть нынешние представления, и мы приходим в восторг, когда обнаруживаем в песне, принимаемой нами за старинную гаэльскую песню, мысль, которая — найди мы ее у писателя современного

[333] Примечания: 333

Оссиан — легендарный певец-бард, герой кельтского народного эпоса. Английский писатель Джеймс Макферсон (1736–1796) создал в 1762–1765 гг. цикл поэм «Сочинения Оссиана», которые он выдавал за подлинные песни древнего барда, якобы переведенные им. «Сочинениями Оссиана» восхищались Гёте, г-жа де Сталь, Шатобриан, Байрон. Первый французский перевод «Сочинений Оссиана» появился в 1777 г. и повлиял на литературные концепции г-жи де Сталь.

— показалась бы нам не более чем остроумной. Талантливому переводчику, который более или менее точно воссоздает кого-либо из древних, стоит лишь вставить в его произведение что-нибудь такое, о чем, будь оно подписано именем современного писателя и напечатано отдельно, в лучшем случае говорили бы, что это мило; вставкой он сразу придает волнующее величие своему поэту, заставив его играть на клавиатуре нескольких столетий. Если эту книгу издать как оригинальное произведение переводчика, ее признают посредственной. Но если выдать ее за перевод, то ее воспримут как вещь гениальную. Прошлое не испаряется, оно прочно стоит на месте. Несколько месяцев спустя после начала военных действий на них все еще могут влиять законы, принятые после длительного обсуждения до войны, пятнадцать лет спустя после того, как было совершено загадочное преступление, следователь может раскрыть факты, и эти факты прольют на преступление свет, более того: по прошествии ряда столетий изучающий топонимию и местные обычаи в дальней стране может набрести на легенду гораздо более древнего происхождения, чем христианство, легенду, которую уже не понимали, а то и вовсе забыли, во времена

Геродота и которая все еще живет среди настоящего в названии скалы, в религиозном обряде как некая наиболее плотная, древняя и неистребимая эманация. Подобного рода эманация, правда, не такая стародавняя, эманация придворной жизни, была не в манерах герцога Германтского, часто вульгарных, а в духе, руководившем его манерами. Мне еще предстояло насладиться ею, как старым запахом, в гостиной. Дело в том, что в гостиную я попал не сразу.

Уходя из передней, я сказал герцогу Германтскому, что мне очень хочется посмотреть его собрание картин Эльстира. «Пожалуйста. А вы с Эльстиром друзья? Жаль, я не знал. Мы с ним хоть и не коротко, но знакомы, он человек обаятельный, как говаривали наши отцы — порядочный, я бы мог попросить его сделать нам честь отужинать у нас. Ему, наверно, было бы так приятно провести вечер с вами!» В герцоге было очень мало старорежимного, когда ему, как, например, сейчас, хотелось произвести соответствующее впечатление, а когда он к этому совсем не стремился, тут-то оно в нем и проступало. Спросив, хочу ли я посмотреть картины Эльстира сейчас, он повел меня к ним, из учтивости отходя в сторону перед каждой дверью и извиняясь,

когда, чтобы показать мне дорогу, он вынужден был пройти вперед — такая сценка (со времен Сен-Симона, рассказывающего о том, как один из предков Германтов принимал его у себя со столь же неукоснительным соблюдением суетных светских приличий), прежде чем разыграться между нами, наверно, разыгрывалась многими Германтами перед многими гостями. Когда же я выразил большое желание постоять одному перед картинами, герцог, сказав, что он идет в гостиную, скромно удалился.

Оставшись наедине с картинами Эльстира, я совершенно забыл об ужине; опять, как в Бальбеке, передо мной были отдельные части мира неведомых красок, в котором отражалось особое видение, свойственное именно этому великому художнику, и о котором великий художник ничего не сумел бы рассказать. Висевшие на стене картины, написанные одинаково мастерски, были как бы светящимися проекциями волшебного фонаря, который представляла собой голова художника и необычайность которого не открывалась вам до тех пор, пока вы знали художника только как человека, иначе говоря, пока вы видели только фонарь — с лампой, но без цветных стеклышек. Наибольший интерес вызывали

у меня как раз те картины, которые казались светским людям особенно странными, потому что они воссоздавали обман зрения, доказывающий, что мы не узнали бы предметов, если бы не прибегали к помощи умозаключений. Как часто, когда мы едем в экипаже, нам видится светлая улица, начинающаяся в нескольких метрах от нас, а в действительности перед нами только ярко освещенная часть стены, и она-то и создала это обманчивое ощущение глубины! Не логичнее ли тогда, отказавшись от ухищрений символизма, честно возвратившись к самым истокам наших впечатлений, представлять один предмет при посредстве другого, который мы при молнийной вспышке первоначальной иллюзии приняли за него? Поверхности и объемы на самом деле не зависят от названий предметов, которые дает им наша память, как только мы узнаем их. Эльстир пытался оторвать от того, что он чувствовал, то, что он знал, его усилия часто бывали направлены к тому, чтобы разъять совокупность умозаключений, которую мы называем зрением.

Светские люди, возмущавшиеся такими «мерзостями», недоумевали, как может Эльстир

восхищаться Шарденом,[334] Перронно[335] и другими художниками, которых любили они. Они не понимали, что Эльстир проделал над действительностью (оставив на некоторых изысканиях печать своей личности) ту же самую работу, что и Шарден или Перронно, и что, следовательно, в перерывах между занятиями живописью он восхищался в их творчестве поисками, которые они вели в одном направлении с ним, восхищался как бы эскизами к своим картинам. Но светские люди не прибавляли мысленно к творчеству Эльстира перспективу Времени, благодаря которой они любили картины Шардена или, во всяком случае, благодаря которой это было для них зрелище не утомительное. А ведь старикам могла бы, кажется, прийти в голову вот какая мысль: чем дольше живут они на свете, тем все уже становится пропасть, разделяющая то, что прежде они считали

---

[334] Примечания: 334

Шарден, Жан-Батист-Симеон (1699–1779) — французский живописец, получивший известность благодаря своим натюрмортам и семейным портретам. Пруст очень высоко ценил творчество Шардена. Он посвятил ему статью «Шарден и Рембрандт», где, в частности, писал, что Шарден был одним из тех художников, которые, обращаясь к бесцветной и ничтожной с виду реальности, заставляют нас ее полюбить.

[335] Примечания: 335

Перронно, Жан-Батист (1715–1783) — французский живописец, известный главным образом своими портретами крупных буржуа. Его творчество отличала известная склонность к эстетическому преобразованию реальности, порой в ущерб верности натуре.

шедевром Энгра, и то, что, по их тогдашнему мнению, во все века будет «мерзостью» (например, «Олимпия» Мане[336]) и что в конце концов обе эти картины[337] покажутся близнецами. Но такого рода уроки обычно не идут нам на пользу, так как мы не умеем делать обобщения и так как мы раз навсегда затвердили себе, что между нашим жизненным опытом и жизненным опытом наших пред-ков ничего общего нет.

Меня озадачило, что на двух картинах (более реалистических, чем другие, относившихся к ранней поре Эльстира) был изображен один и тот же господин; на одной картине — во фраке, у себя в гостиной, на другой — в пиджаке и цилиндре, на народном гулянье у реки, куда, судя по всему, он пришел неизвестно зачем; эти две картины свидетельствовали о том, что он был

---

[336] Примечания: 336

«Олимпия» Мане — была написана в 1863 г. и выставлена в Салоне в 1865 г., где вызвала настоящий скандал. Новый скандал вокруг картины разразился в 1890 г., когда она была передана в дар Лувру; в конечном итоге «Олимпия» была выставлена в Лувре только в 1907 г. (ныне находится в Музее Орсэ). Пруст восхищался творчеством Мане и в особенности этой картиной, в судьбе которой видел наглядный пример того, как отвергаемое современниками произведение искусства несмотря ни на что входит в сокровищницу культуры.

[337] Примечания: 337

…обе эти картины… — Судя по всему, Пруст имеет в виду картины Огюста Ренуара (1841–1919) «Завтрак гребцов» (1880–1881) и «Госпожа Шарпантье и ее дети».

для Эльстира не просто обычной натурой, но другом, быть может, покровителем, которого он любил писать, — так некогда Карпаччо.[338] писал — удивительно похоже — венецианских важных особ, так Бетховену доставляло удовольствие надписывать над своими любимыми произведениями дорогое ему имя эрцгерцога Рудольфа[339] Было что-то пленительное в этом народном гулянье. Река, женские наряды, паруса лодок, бесчисленные отражения нарядов и парусов — все это умещалось в квадрате картины, который Эльстир вырезал из чудного полуденного часа. Что ласкало взор в платье женщины, решившей пропустить один танец, так как она изнемогала от жары и чтобы отдышаться, то переливалось такими же самыми цветами на полотне не плескавшегося паруса, на воде у маленькой пристани, на деревянном помосте, на листьях деревьев

---

[338] Примечания: 338

Карпаччо, Витторе (1450–1525) — итальянский художник венецианской школы, на своих полотнах действительно изображал членов знатных семейств Лоредано и Кальца.

[339] Примечания: 339

…эрцгерцога Рудольфа. — «Трио для фортепиано, скрипки и виолончели», получившее название «Эрцгерцог», было посвящено Бетховеном эрцгерцогу Рудольфу (1788–1831), впоследствии архиепископу Ольмюцкому, кроме того, композитор посвятил своему ученику и другу Четвертый и Пятый концерты для фортепиано с оркестром и ряд других произведений.

и на небе. Как на картине, которую я видел в Бальбеке, больница под лазоревым небом, не менее прекрасная, чем собор, но только более смелая, чем Эльстир-теоретик, Эльстир-человек с тонким вкусом, влюбленный в средневековье, казалось, сама себя восславляла: «Нет готики, нет зодческого искусства, бесстильная больница ничем не хуже знаменитого портала», так сейчас мне слышалось: «Вульгарноватая дамочка, на которую гуляющий дилетант и не взглянул бы, которую он изъял бы из поэтической картины, созданной для него природой, тоже прекрасна, ее платье облито тем же светом, что и парус, и вообще на земле не существует вещей более прельстительных и менее прельстительных, обыкновенное платье и парус, красивый сам по себе, — это два зеркальных отражения одного и того же отблеска, всему придает ценность глаз живописца. А живописцу удалось навсегда остановить часы на светозарном этом мгновении, когда даме стало жарко и она решила отдохнуть от танцев, когда дерево обвело себя тенью, когда паруса словно заскользили по золотистому лаку». Но именно вследствие того, что мгновение с такой силой давило на нас, неподвижное это полотно создавало впечатление быстролетности:

чувствовалось, что дама сейчас отсюда уйдет, лодки уплывут, тень перейдет на другое место, настанет ночь, что увеселения кончаются, что жизнь проходит и что мгновения, показанные при помощи такой богатой цветовой гаммы, не повторяются. Я узнавал еще одно обличье — правда, совсем не похожее на это — все того же мгновения, когда рассматривал в этой самой комнате одни из первых работ Эльстира — написанные на мифологические темы акварели.[340] «Передовые» светские люди «доходили до» этой его манеры, но не дальше. Конечно, это было не лучшее из того, что он сделал, но увлеченность художника преодолевала холодность сюжета. Так, например, Музы были им изображены существами, принадлежавшими к какому-то виду ископаемых, жившему, однако, в мифологические времена, когда не диво было встретить их на горной тропе, по которой они шли вдвоем или втроем. На иных картинах поэт из породы существ, для зоолога — особой (одной из харак-

[340] Примечания: 340

…написанные на мифологические темы акварели. — Описывая картины Эльстира, Пруст, как это следует из черновиков, опирается на ряд картин любимого им Гюстава Моро (1826–1898): «Геракл и лернейская гидра» (1876), «Фракийская девушка, несущая голову Орфея» (1865), «Возвращение аргонавтов» (1897) и «Музы, покидающие своего отца Аполлона, чтобы нести свет в мир», «Гесиод и муза», «Мертвый поэт на кентавре».

терных черт которой является бесполость), гулял с Музой: так в жизни существа разных, но дружественных видов общаются друг с другом. На одной из акварелей был изображен поэт, который так устал от ходьбы по горам, что кентавр пожалел его и понес на закорках. На других широкий вид (среди этой шири мифологические сцены и легендарные герои занимали очень небольшое место и были как бы затеряны), от горных вершин до моря, художник выписал с такой точностью, что можно было определить не только час, но даже минуту, которую он запечатлел, — до того ясно представлял он себе, где именно в это время должно находиться заходящее солнце, и до того верно передал пробегавшие тени. Так, выхватив из символического мифа мгновение, некую историческую реальность, жившую в мифе, художник пишет его, повествует о нем в прошедшем времени совершенного вида. Оттого что на фоне пейзажа происходило действие легенды, пейзаж приобретал совершенно особое значение: он становился ее современником. Миф приурочивал пейзаж к определенной эпохе; он увлекал за собой своих свидетелей — небо, солнце, горы — в далекое прошлое, и уже из глубин этого прошлого они представали похожими на

теперешние. Он откатывал морские валы, на которые я смотрел в Бальбеке, во тьму веков. Мне думалось: этот закат, этот океан, волны которого я — стоит мне захотеть — смогу увидеть вновь из окна отеля или же со скалы, — они и есть та декорация, — особенно если ее овосточивает летнее освещение, — на фоне которой Геркулес убил лернейскую гидру, а вакханки растерзали Орфея. Итак, уже во времена незапамятные, когда жили цари, чьи дворцы ныне отыскивают археологи, во времена, когда мифология сотворила своих полубогов, море вечерами набегало на берег с той самой жалобой, которая так часто будила во мне тревогу, столь же смутную, как эта жалоба. И когда я в конце дня гулял по набережной, море, занимавшее огромную часть открывавшейся передо мной картины, в которую современность вторгалась множеством таких строений, как, например, эстрада для музыкантов или казино, было то самое море, которое видел «Арго», море доисторическое, и только оттого, что я привносил в него нечто чуждое ему, оно становилось морем нынешним, только потому, что я вдвигал его в час моих ежедневных наблюдений над ним, я улавливал в нем звук, родственный тому печальному гулу, который послышался Тезею.

Пока я рассматривал картины Эльстира, меня ласково баюкал непрерывный звон колокольчика, возвещавший о приходе гостей. Воцарившаяся потом надолго тишина в конце концов вызвала меня из задумчивости, правда, не так внезапно, как будит Бартоло тишина, наступающая после пения Линдора.[341] Я испугался, что обо мне забыли, что уже сели за стол, и быстрым шагом пошел в гостиную. У двери комнаты, где был развешан Эльстир, стоял ждавший меня слуга, то ли седой, то ли напудренный, похожий на испанского министра и тем не менее оказавший мне знаки почтения, какие оказывают королю. По его виду я понял, что он ждал бы меня еще час, и с ужасом подумал о том, как из-за меня задержался ужин, и с еще большим ужасом — о том, что я обещал к одиннадцати часам быть еще у де Шарлю.

Испанский министр повел меня в ту гостиную (по дороге я встретил лакея, которому делал гадости привратник и который, когда я спросил, как поживает его невеста, просиял от радости и сказал, что завтра у нее и у него свободный день

---

[341] Примечания: 341

…после пения Линдора. — В «Севильском цирюльнике» (1775) Бомарше (1732–1799) граф Альмавива, влюбленный в Розину, называется этим именем, чтобы скрыть от девушки свое состояние и титул. В 4-й сцене III акта пение Линдора и Розины наводит на Бартоло, опекуна Розины, сон; тишина, наступившая после пения, будит его.

и они проведут его вместе, а затем начал расхваливать доброту ее светлости), где должен был находиться герцог, и я боялся, что он на меня сердится. Но он был со мной приветлив — правда, эта приветливость была, по всей вероятности, отчасти наигранная, приветливость из вежливости, однако была в ней и доля искренности: во-первых, герцог сам проголодался, а во-вторых, ему не давала покою мысль, что и гости испытывают такое же нетерпение, а гости все были в сборе. Потом я узнал, что меня действительно ждали почти три четверти часа. Герцог Германтский, очевидно, решил, что, продлив общую пытку на две минуты, он не усилит ее, а что приличия, в силу каковых он так надолго отдалил приглашение к столу, будут соблюдены до конца, если он не прикажет подавать немедленно, — отсюда я сделаю вывод, что не опоздал и никого не заставил ждать. Вот почему он задал мне вопрос, словно до ужина оставался еще целый час и словно кое-кто из гостей еще не приехал, понравился ли мне Эльстир. А чтобы не терять больше ни секунды, он, тщательно скрывая муки голода, начал вместе с герцогиней знакомить меня с гостями. Тут только я обратил внимание, что вокруг меня, меня, до сего времени, — салон г-жи

Сван не в счет, — привыкшего дома — в Комбре и в Париже — к покровительственному или настороженному отношению мещанок с кислыми лицами, смотревших на меня как на мальчика, произошла перемена декораций, подобная той, что вдруг вводит Парсифаля в общество дев-цветов.[342] Дамы, в платьях с большим вырезом (тело у них проглядывало сквозь обвивавшую его ветку мимозы или между широкими лепестками розы), изливали на меня потоки долгих ласковых взглядов, словно говоривших, что только стыдливость мешает им поцеловать меня. Многие из них были, однако, глубоко порядочные женщины; многие, но не все, и даже самые добродетельные из них не испытывали к ветреным той брезгливости, какую вызвали бы они у моей матери. В мире Германтов на шалости, которые позволяли себе дамы и которые, против очевидности, отрицали их святой жизни подруги, смотрели сквозь пальцы, здесь самое важное было — поддерживать светские знакомства. В этом мире притворялись,

[342] Примечания: 342

…вводит Парсифаля в общество дев-цветов. — В «Парсифале» (1882), опере Рихарда Вагнера (либретто композитора по одноименной эпической поэме Вольфрама фон Эшенбаха), во втором действии герой попадает во владения злого чародея Клингзора; по мановению его волшебного жезла перед Парсифалем раскидывается роскошный цветущий сад, где танцуют прелестные девы, соблазняющие рыцарей Грааля.

будто не знают, что хозяйка такого-то дома — женщина доступная, боявшаяся одного: как бы не пала тень на ее «салон».

Герцог не слишком церемонился с гостями (он ничего уже не мог почерпнуть у них, а они — у него), но зато очень ухаживал за мной, преимущества перед ними, которые он мне приписывал, внушали ему нечто вроде уважения, с каким относились придворные Людовика XIV к министрам-буржуа, а потому он, видимо, рассуждал так: тот факт, что я не знаю его гостей, не имеет никакого значения — по крайней мере, для меня, и в то время, как я старался ради него произвести на них самое лучшее впечатление, он был озабочен тем, какое впечатление произведут они на меня.

В самом начале, однако, произошло два небольших недоразумения. Как только я вошел в гостиную, герцог Германтский, даже не дав мне поздороваться с герцогиней, подвел меня, как бы желая сделать этой особе приятный сюрприз и словно говоря ей: «Вот ваш приятель, я притащил его к вам за шиворот», к небольшого роста даме. А дама, еще до того, как я, подталкиваемый герцогом, подошел к ней, многозначительно заулыбалась мне своими большими черными

ласковыми глазами — так, как мы улыбаемся старому знакомому, который, может быть, не узнал нас. Я и правда не узнал ее и не мог припомнить, кто она такая, а потому, продвигаясь вперед, я не смотрел на нее, чтобы не улыбаться ей в ответ, пока нас с ней не познакомят и недоразумение не выяснится. Дама продолжала держать улыбку, с которой она смотрела на меня, в состоянии неустойчивого равновесия. Ей словно хотелось поскорей согнать ее с лица, едва я успею произнести: «Ах, какая приятная встреча! Мама будет так рада!» Мне не терпелось узнать ее имя, а ей хотелось, чтобы я с ней наконец поздоровался как со своей знакомой и чтобы наконец можно было убрать с лица эту затянувшуюся, как соль-диез, улыбку. Но герцог Германтский не справился со своей задачей — по крайней мере, с моей точки зрения: я услышал, как он произнес мое имя, но не ее, и я так и остался в неведении, кто же эта псевдонезнакомка, которая не догадалась сама назвать себя — настолько были для нее ясны — в такой же мере, как для меня темны, — основы нашей с ней близости. И в самом деле: как только я подошел к ней, она не протянула мне руки, а сама непринужденным жестом взяла меня за руку и заговорила так, как будто нас с

ней связывают приятные воспоминания. Она заговорила об Альбере, — насколько я понял, об ее сыне, — о том, как он будет жалеть, что не мог сюда прийти. Я старался припомнить, кого из моих друзей зовут Альбер, но, кроме Блока, никого так не звали, а она не могла быть матерью Блока по той простой причине, что мать Блока несколько лет назад умерла. Я тщательно напрягал память, чтобы постичь, что же все-таки связывает нас с ней в прошлом, ожившем перед ее мысленным взором. Я не мог углядеть это и в полупрозрачном агате ее больших ласковых зрачков, пропускавших только улыбку, — вот так же неясно мы видим пейзаж сквозь черное стекло, даже если оно горит от солнечного света. Она спросила, не очень ли устает мой отец, не пойду ли я в театр с Альбером, лучше ли я себя чувствую, но мои ответы брели в темноте, и только на один из ее вопросов я ответил внятно, признавшись, что сегодня мне нездоровится, — тогда она придвинула мне стул и вообще оказала столько знаков внимания, сколько не оказывал мне никто из знакомых моих родителей. Наконец меня вывел из недоумения герцог. «Она нашла, что вы прелестны», — шепнул он мне, поразив мой слух: эту фразу я уже слышал. Ее произнесла

маркиза де Вильпаризи в разговоре с бабушкой и со мной после того, как мы познакомились с принцессой Люксембургской. Тут я все понял: эта дама не имела ничего общего с принцессой Люксембургской, но по обороту речи того, кто преподносил ее мне как на блюде, я определил породу животного. Это была ее высочество. Она понятия не имела ни о моей семье, ни обо мне, но она была из высшей знати, неслыханно богата, — дочь принца Пармского, она вышла замуж за своего дальнего родственника, тоже принца, — и ей хотелось из благодарности к Творцу показать своим ближним, как бы ни были они бедны и к какому бы захудалому роду ни принадлежали, что она их не презирает. Откровенно говоря, я должен был об этом догадаться по ее улыбке: ведь на моих глазах принцесса Люксембургская покупала на пляже хлебцы из ржаной муки и угощала мою бабушку, — с такой улыбкой в зоологическом саду кормят козочек. Но ведь это была всего лишь вторая принцесса крови, встретившаяся на моем пути, так что мне можно было простить мое неумение подмечать проявления любезности, общие у высоких особ. Впрочем, разве сами эти высокие особы не давали мне понять, чтобы я не принимал их любезность за чистую монету,

разве герцогиня Германтская, в высшей степени приветливо махавшая мне рукой в Опере, не злилась, когда я здоровался с ней на улице, разве не уподоблялась она людям, которые дают просителю луидор, с тем чтобы проситель больше на них не рассчитывал? Хорошие и дурные черты де Шарлю являли собой еще более резкий контраст. Впоследствии, как это будет видно из дальнейшего, я познакомился с высочествами и величествами другого рода, я познакомился с королевами, игравшими в таковых и говорившими не как настоящие королевы, а как королевы говорят у Сарду.[343]

Поспешность, с какой герцог Германтский представил меня принцессе, объяснялась тем, что, по его понятиям, нельзя было терпеть ни секунды, чтобы в обществе, где находится ее высочество, кто-нибудь был ей незнаком. Не меньшую поспешность проявил Сен-Лу, добивавшийся, чтобы его представили моей бабушке. Этого мало: унаследовав остаток придворных обычаев, который именуется светской вежливостью и

[343] Примечания: 343

Сарду, Викторьен (1831–1908) — французский драматург, автор пьес на исторические сюжеты, трактовка которых была столь недостоверной, что в светских салонах рубежа веков развлекались тем, что пародировали исторических персонажей Сарду.

который никоим образом нельзя причислить к поверхностным, ибо вследствие выворота наизнанку поверхность стала здесь существенной и глубокой, герцог и герцогиня Германтские считали своим более важным долгом, чем долг отзывчивости, нравственности, сострадания и справедливости, словом, чем обязанности, которыми довольно часто пренебрегал один из них, считали своим непременным долгом — соблюдать в обращении к принцессе Пармской строгую официальность.

Я ни разу в жизни не был в Парме (а мечтал об этом еще на далеких пасхальных каникулах), и знакомство с принцессой Пармской, у которой, насколько я знал, был самый красивый дворец в этом особенном городе, где, впрочем, все должно было быть прекрасно, городе, укрывшемся от остального мира за гладкими стенами, в воздухе своего короткого и приторного названия, душном, как площадь итальянского городка летними вечерами, когда нечем дышать, могло бы мгновенно заменить то, что я рисовал себе, тем, что действительно существовало в Парме, могло бы превратиться для меня в кратковременную поездку, которую я совершил бы, сидя на месте; в алгебре путешествия в город Джор-

джоне[344] это было бы первым уравнением с одним неизвестным. Годами, — как парфюмер, пропитывающий однородную массу жирового вещества, — я пропитывал имя принцессы Пармской запахом множества фиалок, теперь же, когда я увидел принцессу, которая, как я себе ее представлял, должна была быть, во всяком случае, Сансевериной, я мысленно взялся за другое дело, а закончил его, откровенно говоря, только несколько месяцев спустя: при помощи новых химических реакций я начал удалять из имени принцессы всю фиалковую эссенцию и весь стендалевский аромат, а взамен вводить в него образ маленькой черноглазой женщины, занимающейся благотворительностью и до того смиренной в своей любезности, что вам сразу становилось ясно, из какой величавой гордыни выросла эта любезность. Вообще принцесса почти ничем не отличалась от других светских дам, и стендалевского в ней было так же мало, как, например, в Пармской улице, в Европейском квартале Парижа, улице, которая гораздо больше похожа на соседние, чем на пармские, и которая

[344] Примечания: 344

…в город Джорджоне… — Речь идет о Венеции. Джорджоне — собственно Джорджо Барбарелли да Кастельфранко (1477–1510) — итальянский живописец, представитель венецианской школы.

еще меньше напоминает обитель, где умер Фабриций, чем зал ожидания на вокзале Сен-Лазар.

Она была любезна по двум причинам. Первая причина, общего характера, состояла в том, что эта дочь их высочеств получила соответствующее воспитание. Мать принцессы (она состояла в родстве со всеми царствующими домами Европы, а кроме того — и в этом заключалось ее отличие от пармского герцогского дома — она была богаче, чем кто-либо из владетельных княгинь), когда принцесса находилась в самом нежном возрасте, внушила ей евангельские истины в горделиво смиренном толковании снобов; и теперь все черты лица дочери, изгиб ее плеч, движения рук словно повторяли за матерью: «Помни, что хотя по воле Божией ты родилась на ступеньках, ведущих к трону, но это не дает тебе права презирать тех, над кем ты — хвала божественному промыслу — возвышаешься благодаря своему происхождению и богатству. Делай добро меньшим братьям. Твои предки были князьями

Клевскими и Юлихскими,[345] с шестьсот сорок седьмого года; милосердному Богу было угодно, чтобы ты оказалась обладательницей почти всех акций Суэцкого канала[346] и чтобы у тебя было в три раза больше акций Royal Dutch[347] чем у Эдмона Ротшильда;[348] учеными установлено, что твоя родословная по прямой линии восходит к шестьдесят третьему году по Рождестве Христовом; две твои золовки — императрицы. Так не подавай же вида, что ты помнишь о своих огромных преимуществах — не потому, чтобы они были ненадежны (род нельзя сделать менее древним, а нефть всегда будет нужна), дело не в этом, но просто не к чему хвалиться тем, что ты более высокого происхождения, чем кто бы то ни было, и что твой капитал помещен наивыгод-

---

[345] Примечания: 345

…князьями Клевскими и Юлихскими… — Семейства князей Клевских и Юлихских действительно принадлежат к древнейшим аристократическим родам Европы. Графство, затем княжество Клевское располагалось близ Рейна и голландской границы и входило в состав Священной Римской империи. Город Юлих — Юлиакум, — расположенный в Вестфалии, был основан Юлием Цезарем, в XI веке он стал столицей графства, а затем княжества, которое в 1433 г. было присоединено к Клевскому княжеству.

[346] Примечания: 346

…всех акций Суэцкого канала… — В начале века главным акционером Суэцкого канала было правительство королевы Виктории.

[347] Примечания: 347

Royal Dutch — голландская нефтяная компания, акции которой высоко

котировались на бирже. Пруст также был ее акционером и в одном из писем начала века говорил о том, что одна-единственная акция этой компании принесла ему в 1908 г. большие дивиденды.

[348] Примечания: 348

Ротшильд, Эдмон де (1845–1934) — брат управляющего Банком Франции, управляющий Восточной железной дорогой, член Французской академии. В ноябре 1912 г. Пруст, планируя приобрести акции Royal Dutch, в разговоре с одним из своих друзей сказал, что, по словам Ротшильда, они должны принести большой доход.

нейшим образом, — об этом и так всем известно. Помогай бедным. Оделяй тех, над кем Господь по великой своей милости тебя вознес, всем, чем можешь, но не роняй при этом своего достоинства, то есть давай денег, даже ухаживай за больными, но, разумеется, не приглашай тех, кто ниже тебя, на свои вечера: им это никакой пользы не принесет, а тебя унизит, и от этого в конечном итоге пострадает твоя благотворительность».

Вот почему, даже когда она не имела возможности делать добрые дела, принцесса старалась показать или, вернее, убедить при помощи внешних знаков немого языка, что она не ставит себя выше окружающих. Она была так же очаровательно любезна со всеми, как воспитанные люди с теми, кто ниже их по положению, и, стараясь быть предупредительной, то и дело отодвигала свое кресло, чтобы удобнее было другим, держала мои перчатки, предлагала услуги, которые чванная буржуазия сочла бы унизительными, но которые с удовольствием оказывают принцессы крови, а бессознательно, по привычке — бывшие лакеи. Другая причина любезности, какую выказывала принцесса Пармская по отношению ко мне, была причина особая, ни в коей мере, однако, не вызывавшаяся какой-нибудь зага-

дочной симпатией. Но уяснить себе эту вторую причину у меня сейчас не было времени. Герцогу, видимо, хотелось поскорее покончить с представлениями, и он увлек меня к другой деве-цветку. Услышав ее имя, я сказал ей, что проходил мимо ее замка неподалеку от Бальбека. «Ах, я была бы счастлива показать вам мой замок! — проговорила она почти шепотом, как бы для того, чтобы казаться скромней, но шепотом взволнованным, в котором слышалось сожаление о том, что она лишилась необыкновенного удовольствия, и, многозначительно глядя на меня, продолжала: — Я надеюсь, что это еще впереди. Но вас больше заинтересует замок моей тетки Бранка,[349] можете мне поверить; его построил Мансар;[350] это чудо провинциальной архитектуры». Из слов дамы можно было заключить, что не только она была бы рада показать мне свой замок, но и ее тетка Бранка приняла бы меня с восторгом, — должно быть, дама считала, что в наше время,

[349] Примечания: 349

Бранка — старинный аристократический род сицилианского происхождения, во времена Пруста в Париже жила старая графиня де Бранка.

[350] Примечания: 350

Мансар, Франсуа (1598–1666) — французский архитектор, один из основоположников французского классицизма, свободного от итальянских и античных моделей. Его внучатый племянник Жюль Ардуэн (1646–1708) был придворным архитектором Людовика XIV.

когда имения переходят в руки финансистов, не умеющих жить на широкую ногу, дворянству особенно необходимо поддерживать благородные традиции барского гостеприимства с помощью ни к чему не обязывающих слов. Кроме того, она, как и все люди ее круга, старалась говорить вещи, которые могли доставить собеседнику особое удовольствие, произвести на него наиболее выгодное впечатление, убедить его, что состоять с ним в переписке — это большое счастье, что он делает честь тем, у кого бывает, что все жаждут с ним познакомиться. Надо отдать справедливость буржуазии, что и у нее иногда наблюдается это же самое желание произвести на других приятное впечатление. Но у буржуазии благорасположенность встречается как индивидуальная особенность, уравновешивающая какой-нибудь недостаток, наблюдается, к сожалению, не у верных друзей, а у приятных спутниц. Как бы то ни было, у буржуазии это цветок редкостный. У значительной части аристократии, напротив, это свойство характера перестало быть индивидуальным; взращиваемое воспитанием, поддерживаемое понятием истинного величия, не подверженного опасности унизиться, не имеющего соперников, знающего, что приветли-

востью оно может осчастливить, и находящего в этом удовлетворение, упомянутое свойство превратилось в характерную черту целого класса. И если даже личные недостатки кого-нибудь из аристократов настолько противоположны этому качеству, что они изгоняют его из сердца, все же этот человек незаметно для себя проявляет его в языке или в телодвижениях.

— Она очень добрая, — сказал мне герцог Германтский о принцессе Пармской, — и притом ей нет равных в уме-нии быть «знатной дамой».

В то время как меня знакомили с женщинами, один господин обнаруживал все признаки нетерпения: это был граф Ганнибал де Бреоте-Консальви. Он приехал поздно, узнать о том, кто сегодня в гостях у Германтов, не успел, и, когда я вошел в гостиную, он, решив, что поскольку я не принадлежу к кругу герцогини, то, наверно, у меня есть какие-то особые права на вход в ее салон, вставил себе под дугообразный свод бровей монокль в надежде, что с помощью этого инструмента он гораздо скорее, чем просто поглядев на меня, поймет, что я за человек. Он знал, что герцогиня Германтская обладает драгоценностью, которая является достоянием женщин действительно выдающихся, — тем, что называется

«салоном»: это значило, что иногда она вводила в свой круг знаменитость, прославившуюся открытием лекарства или созданием замечательного произведения искусства. Сен-Жерменское предместье все еще находилось под впечатлением от того, что на прием в честь английского короля и королевы герцогиня не побоялась пригласить Детая.[351] Дамы предместья, обладавшие пытливым умом, долго не могли успокоиться, что их не позвали, — так страстно хотелось им познакомиться с этим своеобразным талантом. Г-жа де Курвуазье уверяла, что герцогиня пригласила тогда и Рибо,[352] но это она сочинила с целью заронить в умы подозрение, будто Ориана хочет, чтобы ее мужа назначили послом. Наделал шуму и герцог, с галантностью, достойной маршала Саксонского,[353] представившийся в фойе Фран-

[351] Примечания: 351

Детай, Эдуард (1848–1912) — французский художник-баталист, член Академии изящных искусств.

[352] Примечания: 352

Рибо, Александр (1842–1923) — французский политический деятель, министр иностранных дел (1890–1893).

[353] Примечания: 353

Маршал Саксонский — Эрман-Морис, граф Саксонский, маршал Франции (1696–1750) славился своей воинской доблестью и любовными похождениями.

цузской комедии Рейхенберг,[354] и попросивший ее почитать стихи, когда у него будет король, и актриса исполнила просьбу герцога, хотя до тех пор анналы раутов таких прецедентов не знали. Припомнив эти из ряда вон выходящие случаи, к которым граф де Бреоте относился, однако, с полным одобрением, сам являясь до известной степени украшением и, как и герцогиня Германтская, но только мужского рода, святыней салона, он ломал голову над тем, кто же я в конце концов такой, и чувствовал, что перед ним открывается обширное поле для догадок. В голове у него мелькнуло имя Видора[355] но он решил, что для органиста я слишком молод и что к тому же Видор — не такая крупная фигура, чтобы быть «принятым». Граф счел наиболее вероятным предположение, что я новый атташе шведского посольства, о котором он слышал, и он уже было собрался расспросить меня о короле Оскаре, который неоднократно оказывал ему радушный

---

[354] Примечания: 354

Рейхенберг, Сюзанна Анжелика Шарлотта, в замужестве баронесса де Бургуан (1853–1924), французская актриса, выступавшая до брака (1898) на сцене «Комеди Франсез» в амплуа инженю.

[355] Примечания: 355

Видор, Шарль Мари (1845–1937) — французский органист и композитор, профессор Национальной консерватории музыки и декламации (1891–1905).

прием, но когда герцог, представляя меня, назвал мое имя, у графа, прежде никогда его не слыхавшего, не осталось и тени сомнения, что, коль скоро я здесь принят, стало быть, я — знаменитость. Без знаменитостей Ориана жить не могла, она владела искусством заманивать в свой салон видных людей, разумеется, с таким расчетом, чтобы они составляли не более одного процента, а то бы она его деклассировала. Граф де Бреоте уже начал облизываться и жадными ноздрями втягивать воздух: аппетит его разыгрался не только в предвкушении отменного ужина, но и при виде этого сборища, каковое представляло для него интерес благодаря мне и где он надеялся почерпнуть тему для остроумной беседы за завтраком у герцога Шартрского, у которого он должен был быть на другой день. Еще не выяснив окончательно, кто я: изобретатель противораковой сыворотки, действие которой тогда испытывали, или автор репетировавшейся во Французской комедии одноактной пьесы, но будучи человеком широких умственных интересов, кстати — большим любителем «путешествий», он уже расшаркивался передо мной, с понимающим видом подмигивал и улыбался одним глазом сквозь монокль; быть может, он находился под властью ложной идеи,

что человек значительный проникнется к нему большим уважением, если этому человеку удастся внушить, что он, граф де Бреоте-Консальви, ценит умственное развитие так же высоко, как и знатное происхождение; а может быть, ему просто хотелось выразить удовольствие, но он пребывал в замешательстве: он не знал, каким языком со мной надо разговаривать, как будто перед ним был один из туземцев неведомой страны, куда пристал его плот, туземцев, у которых он, в чаянии наживы, — что не мешает ему с любопытством наблюдать местные нравы, играть с жителями в дружбу и, как и они, орать во все горло, — намерен выменять страусовые яйца и пряности на стеклянные бусы. Я постарался не остаться перед графом в долгу, а затем поздоровался с герцогом де Шательро, с которым мы уже встречались у маркизы де Вильпаризи, которую он назвал хитрой бестией. Это был ярко выраженный тип Германта: белокурые волосы, нос с горбинкой, точечки на ноздреватой коже щек — все это мы уже видели на портретах его пред-ков — портретах, которые оставили нам XVI и XVII века. Но так как я разлюбил герцогиню, то ее перевоплощение в молодого человека не представляло для меня ничего привлекательного. Я

читал крючок, которым заканчивался нос герцога де Шательро, как подпись под хорошо знакомой и давно утратившей для меня всякий интерес картиной. Я поздоровался также с принцем де Фуа, а потом, на свое несчастье, высвободив пальцы, которые принц только помял, сунул их в тиски, каковыми явилось для них сопровождавшееся не то насмешливой, не то добродушной улыбкой немецкое рукопожатие друга маркиза де Норпуа князя фон Фаффенгейма, которого из-за того, что его окружение страдало манией давать прозвища, все называли «князь Фон», так что он и сам в конце концов начал подписываться «князь Фон», а письма близким людям подписывал просто «Фон». Это сокращение было еще более или менее понятно — фамилия у князя была трудная для произнесения. Не столь основательны были причины, по которым Элизабет превращалась то в Лили, то в Бебет, а в другом кругу кишмя кишели Киким. Понятно, почему люди — впрочем, главным образом бездельники и вертопрахи, — говорят «Кью»: они не желают терять время на произнесение «Монтескью». Но много ли они выигрывают, называя кого-нибудь из своих родственников не «Фердинанд», а «Динанд»? Не следует думать, что Германты

всегда образовывали двусложные прозвища. Так, например, двух сестер, графиню де Монпейру и виконтессу де Велюд, отличавшихся непомерной толщиной, называли, нисколько их этим не обижая и ни у кого не вызывая улыбки — так давно все к этому привыкли, только «Малютка» и «Крошка», так что герцогиня Германтская, обожавшая графиню де Монпейру, если бы та опасно заболела, спросила бы ее сестру со слезами на глазах: «Правда ли, что Малютка очень плоха?» Г-жа д'Эклен расчесывала волосы на прямой пробор, и у нее совсем не было видно ушей, поэтому ее прозвали: «Слушай брюхом, а не ухом». Иногда называли чью-нибудь жену, прибавляя «а» к имени или фамилии мужа. Самого скупого, самого противного, самого бессердечного мужа во всем предместье звали Рафаэль, а его прелестная жена — цветок, росший на каменистом утесе, — всегда подписывалась «Рафаэла», но это лишь самые простые примеры, а правилам не было счета, и, если представится случай, мы всегда сможем некоторые из них растолковать.

Я попросил герцога представить меня принцу Агригентскому. «Как! Вы не знакомы с милейшим Гри-Гри?» — воскликнул герцог Германтский и познакомил меня с принцем. Имя принца, часто

упоминавшееся Франсуазой, всегда рисовалось мне в виде прозрачного стеклянного сосуда, в котором я видел освещенные на берегу фиолетового моря косыми лучами золотого солнца розовые кубы античного города, и у меня не возникало сомнений, что принц, случайно на короткое время проездом оказавшийся в Париже, и есть светящийся сицилийским светом, покрытый достославным налетом старины, самый настоящий правитель этого города. Увы, пошляк и пустельга, которому меня представили и который, здороваясь со мной, сделал пируэт с неповоротливой непринужденностью, ему самому казавшейся грациозной, имел со своим именем не больше общего, чем какая-нибудь принадлежавшая ему картина, не отблескивавшая на нем и, может быть, ни разу не задержавшая на себе его взгляда. У принца Агригентского не было решительно ничего от принца и ничего, что бы напоминало об Агригенте, поэтому оставалось предположить, что его имя, не имевшее с ним ничего общего, никак не связанное с его личностью, обладает способностью притягивать к себе все, что может быть в этом человеке, как и во всяком другом, неопределенно поэтического, а затем, притянув, заключить это неопределенно поэтическое в

волшебные свои слоги. Если такого рода операция была действительно проделана, то, значит, она была проделана безукоризненно, так как из этого родственника Германтов немыслимо было извлечь ни одной крупицы обаяния. Он был единственным в мире принцем Агригентским и вместе с тем, пожалуй, меньше, чем кто-либо, принцем Агригентским. Впрочем, он был очень доволен тем, что он принц Агригентский, но так, как бывает доволен банкир, на руках у которого много акций рудника, но которому совершенно безразлично, носит ли этот рудник красивое имя «Айвенго», «Примароза» или называется просто «Рудник номер первый». Когда закончились начавшиеся, как только я вошел в гостиную, представления, о которых долго рассказывать, но которые на самом деле продолжались всего несколько минут и во время которых герцогиня Германтская говорила мне почти извиняющимся тоном: «Базен, наверно, утомил вас — подводит то к тому, то к другому; нам хочется, чтобы вы познакомились с нашими друзьями, но мы вовсе не хотим вас утомлять, ведь мы надеемся, что вы будете нашим частым гостем», герцог довольно неловким и несмелым движением подал (ему, конечно, хотелось это сделать час назад, но я

целый час смотрел Эльстира) знак, что можно нести кушанье.

Надо заметить, что из приглашенных пока еще не было де Груши;[356] его супруга, урожденная Германт, приехала одна; муж целый день охотился и прямо с охоты должен был приехать сюда. Этот самый де Груши, потомок того де Груши, который выдвинулся в эпоху Первой империи и которого неправильно обвиняют в том, что его отсутствие в начале сражения при Ватерлоо явилось основной причиной неудачи, которую потерпел Наполеон, был из очень хорошей семьи, хотя помешанные на знатности смотрели на нее свысока. Так, принц Германтский, который много лет спустя доказал, что сам-то он не так уж разборчив, часто говорил своим племянницам: «Как жаль, что бедной виконтессе Германтской (матери г-жи де Груши) не удалось выдать дочерей замуж!» — «Дядюшка! Да ведь старшая вышла за де Груши!» — «Я его за мужа не считаю! Правда, говорят, будто дядя Франсуа сватается за младшую — стало быть, не все засидятся в девках».

Как только было велено подавать, двери в сто-

[356] Примечания: 356

Груши, Эммануэль де (1767–1847) — маршал Франции при Наполеоне I, один из участников битвы при Ватерлоо, на которого, в частности, возлагают ответственность за поражение французских войск.

ловую, словно движимые сложным вращательным механизмом, распахнулись одновременно; дворецкий, похожий на церемониймейстера, отвесил поклон принцессе Пармской и возвестил: «Сударыня! Кушать подано» — таким тоном, как если бы он сказал: «Сударыня! Ваши часы сочтены», но он ничуть не опечалил собравшихся — парочки в игривом настроении, будто дело происходило летом в Робенсоне, одна за другой устремились в столовую, а затем, дойдя до своих мест, где лакеи пододвигали им стулья, разлучались; когда все уже были в столовой, ко мне подошла герцогиня Германтская — ей хотелось, чтобы я повел ее к столу, — и я не ощутил ни малейшей робости, хотя, подойдя к ней не с той стороны, с какой требовалось по этикету, вполне мог бы оробеть, если бы эта охотница, своей неподдельной грацией обязанная врожденной гибкости мускулов, заметив мою оплошность, не рассчитала оборот вокруг меня до того верно, что я почувствовал, как движение ее руки, которая легла на мою, совершенно безошибочно определило ритм последующих движений герцогини, изящных и точных. Мне тем легче было им подчиняться, что Германты не кичились своей грациозностью, как не кичится образованный

человек своей образованностью, и потому в его обществе вы не так робеете, как в обществе невежды. Тут растворились другие двери, и внесли дымившийся суп — можно было подумать, что ужин происходит на сцене кукольного театра со всякими хитроумными приспособлениями — театра, где запоздалое появление молодого гостя привело по знаку хозяина в движение весь колесный механизм.

Робким и совсем не царственно величественным выглядел этот знак герцога, по которому был пущен в ход громадный, затейливый, послушный, великолепный, одушевленный часовой механизм. Нерешительность жеста не ослабила впечатления от зрелища, зависевшего от этого жеста. Я чувствовал, что неуверенность и замешательство герцога проистекают из боязни, как бы я не подумал, что ждали только меня, чтобы начать ужинать, и ждали долго, — вот так же опасалась герцогиня, что после осмотра стольких картин я устану от бесконечных представлений и что я буду чувствовать себя неловко. Таким образом, недостаточная величественность герцогского жеста излучала истинное величие. Сюда же относится, с одной стороны, равнодушие герцога к окружавшей его роскоши, а с другой, его внима-

ние к гостю, который ничего особенного собой не представлял, но которого он хотел почтить.

Из этого не следует, что в герцоге Германтском не было ничего заурядного и что в нем не проглядывали смешные черточки человека весьма состоятельного, важничанье выскочки, хотя он таковым и не был. Но, подобно тому как чиновник или священник сознают, что их средние способности могут быть усилены до бесконечности (так волна ощущает поддержку всего моря, которое ее подпирает) французской администрацией и католической церковью, герцог Германтский опирался на другую силу — на истинно аристократическую вежливость. Вежливость эта выказывалась отнюдь не ко всем подряд. Герцогиня Германтская не приняла бы маркизу де Говожо или Форшвиля. Но если Германты приходили к заключению, что кого-нибудь, как в данном случае меня, можно ввести в их круг, эта вежливость обнаруживала сокровища радушной простоты, еще более драгоценные, если только это возможно, чем старинные гостиные в доме Германтов, чем сохранившаяся в этих комнатах дивная мебель.

Если герцогу Германтскому хотелось кого-нибудь очаровать, то он окружал его особым

почетом, применяя для этой цели искусство использовать повод для встречи и обстановку. Наверно, у него в имении, в Германте, эти «почести» и «милости» приняли бы иную форму. Он прокатился бы со мной перед ужином. Его обхождение так же трогало, как трогает, когда мы читаем мемуары, обхождение Людовика XIV, который, ласково улыбаясь, полупочтительно отвечал просителю. Но только нужно отдавать себе отчет, что вежливость короля и вежливость герцога не выходили за пределы того, что это слово значит.

Людовик XIV (а ведь строгие блюстители аристократических нравов того времени обвиняют его в том, что он далеко не всегда придерживался этикета, и Сен-Симон, например, утверждает, что по сравнению с такими королями, как Филипп Валуа,[357] Карл V[358] и т. д., Людовик XIV был полнейшим ничтожеством) составил подробное руководство относительно того, кому из государей должны уступать место принцы крови и послы. В некоторых случаях, если вопрос

---

[357] Примечания: 357

Валуа, Филипп де (1293–1350) — французский король Филипп VI (1328–1350).

[358] Примечания: 358

Карл V (1337–1380) — французский король (1364–1380).

представлялся неразрешимым, считалось, что лучше, если сын Людовика XIV, его высочество, примет какого-нибудь иностранного государя на свежем воздухе, чтобы никто не мог сказать, будто кто-то из них вошел во дворец первым. Курфюрст Пфальцский, позвав герцога Шеврезского на ужин, прикидывается, чтобы не уступать ему места, больным и ужинает лежа — затруднение таким образом устранено; герцог Орлеанский, видя, что герцог Шеврезский упорно не оказывает ему никаких услуг, придумывает по совету своего брата-короля, который, кстати сказать, нежно его любит, предлог, чтобы заставить присутствовать герцога Шеврезского при своем утреннем туалете и надеть на себя сорочку. Но когда в человеке говорит глубокое чувство, когда примешиваются сердечные дела, то непременный долг вежливости не соблюдается. Несколько часов спустя после кончины нежно любимого брата, когда герцог Орлеанский, по выражению герцога Монфорского, был «еще теплый», Людовик XIV поет арии из опер, удивляется, что у герцогини Бургундской, у которой душа разрывается от горя, такой печальный вид, ему хочется, чтобы веселье продолжалось и чтобы придворные опять сели за карточные столы, и он приказывает герцогу

Бургундскому начать игру в брелан. Так вот, не только в светской жизни герцога Германтского, где каждый ход был им взвешен, но и в том, что он говорил, не подумав, в его заботах, в его времяпрепровождении наблюдался тот же контраст: Германты горевали не больше, чем простые смертные, пожалуй, они были даже еще менее чувствительны; зато их имя ежедневно мелькало в светской хронике газеты «Голуа» из-за бесконечных похорон, а не приехать на похороны они сочли бы предосудительным. Подобно тому, как взгляду путешественника предстают почти такие же дома с глиняными или плоскими кровлями, какие могли видеть Ксенофонт[359] или апостол Павел, точно так же в обращении с людьми герцога Германтского, очаровывавшего своей любезностью и возмущавшего грубостью, раба не имевших никакого значения условностей и не признававшего священнейших обязанностей, осталось неприкосновенным, несмотря на то, что прошло двести лет, характерное для придворной жизни времен Людовика XIV извращение, в силу

[359] Примечания: 359

Ксенофонт (430–355 до н. э.) — древнегреческий историк, философ и политический деятель. Участвуя в походе «Десяти тысяч», пересек Центральную Азию. Апостол Павел спустя четыре столетия после смерти Ксенофонта проделал сходное путешествие по Средней Азии.

которого вопрос о том, есть ли у человека совесть, решается не в области внутренних переживаний и не в области нравственности, а в плоскости простых формальностей.

Была еще одна причина, но уже личного характера, по которой принцесса Пармская была со мной мила. Она была заранее уверена, что у герцогини Германтской все лучше, чем у нее. Впрочем, ей и у других все нравилось больше; она не только восхищалась самым простым кушаньем, самыми обыкновенными цветами — она просила позволения завтра прислать за рецептом или посмотреть цветы своего шеф-повара или старшего садовника, получавших большое жалованье, имевших свой выезд, а главное — гордившихся своим искусством и считавших крайне для себя унизительным ездить разузнавать способ приготовления неважного блюда или рассматривать, как высший сорт, разновидность гвоздики, значительно уступавшей и в красоте, и в «хитрости» «разводов», и в величине той гвоздике, которую давным-давно вырастили у принцессы. Ее любование чем придется, у всех без исключения было притворным и имело целью показать, что ни высокое положение, ни богатство не сделали из нее гордячки, ибо горды-

ню осуждали бывшие ее наставники, скрывала ее мать и не допускал Господь Бог, а вот на салон герцогини Германтской она вполне искренне смотрела как на место особое, где можно только от чего-то ахать и чем-то восторгаться. Но и куда более трезвый, беспристрастный взгляд все-таки выделил бы Германтов среди других аристократов — настолько они были утонченны и своеобразны. Поначалу они произвели на меня обратное впечатление, я нашел, что это люди самые обыкновенные, что они ничем не отличаются от всех прочих мужчин и женщин, но так мне показалось оттого, что на первых порах я видел в них, как видел в Бальбеке, во Флоренции, в Парме, только имена. Конечно, все женщины в этом салоне, которых я рисовал себе в виде саксонских статуэток, походили на подавляющее большинство женщин. Но, подобно Бальбеку или Флоренции, Германты, обманув воображение большей похожестью на себе подобных, чем на свои имена, впоследствии, только не так резко, выявляли некоторые отличительные свои особенности. Самая их наружность, цвет лица, неповторимо розовый, переходивший иногда в фиолетовый, словно светящиеся золотистые пучки тонких и мягких волос, даже у мужчин, на-

поминавшие отчасти лишаи на стенах, отчасти шерсть хищников (светлому отливу волос соответствовал особый блеск ума, поэтому говорилось не только о цвете лица и волос в роду Германтов, но и об их остроумии, как в свое время говорили об остроумии Мортемаров[360] — этом особом проявлявшемся в обществе свойстве, утончившемся еще до Людовика XIV и оттого имевшем такой большой успех, что сами Мортемары не упускали случая проявить это свойство), — все это помогало в веществе, — как бы драгоценно оно ни было, — аристократической среды, где были вкраплены Германты, различить их и следить за ними взглядом, как за прожилками, золотистость которых прорезывает яшму и оникс, или, вернее, как за мягким помахиваньем светоносной гривы, растрепанные волосы которой бегут извилистыми лучами в гранях узорчатого агата. У Германтов — во всяком случае, у тех, что были достойны своего имени, — был не только изумительный цвет лица, волос, прозрачные глаза, но и особая манера держаться, особая по-

[360] Примечания: 360

Мортемары — французское аристократическое семейство, к которому, в частности, принадлежала маркиза Франсуаза де Монтеспан (1641–1707), фаворитка французского короля Людовика XIV, славившаяся своей образованностью и остроумием.

ходка, особая манера здороваться, смотреть на человека, прежде чем пожать ему руку, особая манера пожимать руку — всем этим они так же резко отличались от других светских людей, как светские люди отличаются от фермеров. И, как бы ни были они любезны, вы невольно говорили себе: «А не вправе ли они, видя, как мы двигаемся, здороваемся, уходим, — видя, что все у них так же изящно, как полет ласточки или наклон ветки розового куста, — подумать про себя: „Эти люди — иной породы, а мы — соль Земли“?» Потом я понял, что Германты считали, что и я человек иной породы, но мне они завидовали, так как у меня были единственно, с их точки зрения, ценные достоинства, о которых я сам, кстати сказать, и не подозревал. Еще позднее я почувствовал, что тут они искренни только наполовину и что презрение или недоумение совмещаются у них с восхищением и завистью. Присущая Германтам гибкость тела была двойственна: с одной стороны, она всегда, каждую минуту, находилась в движении, и если, например, кому-нибудь из Германтов надо было поздороваться с дамой, он сам вычерчивал свой силуэт, добивался же он этого неустойчивым равновесием, поддерживаемым несоразмерными движениями, из которых одно

стремительно выравнивало другое: одну ногу он приволакивал, — отчасти нарочно, отчасти потому, что часто ломал ее на охоте, и она, всегда догонявшая другую, наложила отпечаток изломанности на живот и на грудь, противовесом которой служило то, что одно плечо было у него выше, — а между тем монокль, обосновавшись в глазу, приподнимал бровь в тот самый миг, когда хохол надо лбом в знак приветствия наклонялся; с другой стороны, эта гибкость, подобно волне, ветру или всегда одинаковой струе, которую оставляют за собой челн или корабль, была, если можно так выразиться, стилизована под некую устойчивую подвижность, изгибавшую под голубыми глазами навыкате и над чересчур тонким ртом (из которого у женщин исходили хриплые звуки) нос с горбинкой, напоминавший о легендарном происхождении, присвоенном в XVI столетии услужливыми, все и вся эллинизировавшими паразитами генеалогами этому роду, без сомнения древнему, но уж не такому, как его расписывали, утверждая, будто бы он ведет начало от мифического оплодотворения нимфы божественной Птицей.

Германты были люди особенные не только физически, но и духовно. Если не считать прин-

ца Жильбера (мужа «Мари Жильбер», человека старозаветного, заставлявшего жену садиться в экипаже слева от него, потому что она была хоть и королевского, а все же не такого знатного рода, как он), который представлял собой исключение, над которым родственники у него за спиной потешались и о котором вечно рассказывали анекдоты, Германты, которых всегда окружали «сливки» аристократии, держали себя так, словно знатность не имеет для них никакого значения. Герцогиня Германтская, которая, откровенно говоря, до известной степени изменилась к лучшему после того, как вошла в семью Германтов, выше всего на свете ставила разум, а в политике была такой ярой социалисткой, что вы невольно задавали себе вопрос: где же у нее в доме прячется дух, которому велено охранять аристократический уклад жизни и который, оставаясь невидимкой и, должно быть, хоронясь то в передней, то в гостиной, то в туалетной, напоминает слугам этой презирающей титулы дамы о том, что ее надо называть «ваша светлость», а ей самой, любящей только читать и никогда не испытывающей ложного стыда, — о том, что в восемь часов нужно надеть декольтированное платье и ехать к невестке ужинать?

Тот же самый дух семьи Германтов внушал хозяйке дома, что положение герцогинь, во всяком случае первых в ряду герцогинь и, подобно ей, мультимиллионерш, обязывает их приносить в жертву скучным «чашкам чаю», ужинам, раутам то время, которое они могли бы употребить на чтение интересных книг, что это нечто неприятное, но неизбежное, вроде дождя, и герцогиня Германтская подчинялась этой необходимости, пользуясь ею для того, чтобы упражнять фрондерское свое остроумие, но не пыталась осознать, почему же все-таки она ей подчинялась. Любопытная игра случая, вследствие которой дворецкий герцогини Германтской неукоснительно называл «вашей светлостью» женщину, верившую только в разум, очевидно, ее не коробила. Ей и в голову никогда бы не пришло сказать ему, чтобы он называл ее просто «герцогиня». Только из особой симпатии к ней можно было бы объяснить это тем, что «вашу светлость» она по рассеянности пропускала мимо ушей. Но если она притворялась глухой, то уж немой-то она, во всяком случае, не была. Ведь когда ей нужно было что-нибудь передать мужу, она говорила дворецкому: «Напомните его светлости…»

У духа семьи Германтов были и другие заботы,

например — наводить речь на темы нравственности. Конечно, кто-то из Германтов стоял больше за разум, кто-то — больше за нравственность, но это были не всегда одни и те же лица. Первые — даже Германт, совершавший подлоги и передергивавший карты, самый обворожительный из всех Германтов, поддерживавший новые светлые идеи, — рассуждали о нравственности еще лучше вторых, как рассуждала маркиза де Вильпаризи в такие минуты, когда дух семьи говорил ее устами. В такие же минуты Германты внезапно переходили на почти ее тон, столь же старомодный, столь же добродушный, — но только более трогательный, потому что сами они были обаятельнее ее, — если, допустим, речь шла о горничной: «По душе она славная, она не похожа на других, должно быть, родители у нее хорошие, с пути она не собьется». В такие минуты дух семьи превращался в интонацию. А иногда он проглядывал в осанке, в выражении лица, которое у герцогини становилось похоже на выражение лица ее деда-маршала, в каком-то неуловимом извиве (похожем на извив Змея,

карфагенского духа семьи Барка[361]), в том, от чего у меня столько раз колотилось сердце во время утренних прогулок, когда я, еще до встречи с герцогиней Германтской, чувствовал, что она на меня смотрит из маленькой молочной. Тот же дух дал знать о себе в одном обстоятельстве, отнюдь не безразличном не только для Германтов, но и для Курвуазье, другой ветви рода, почти такой же знатной, как и Германты, но представлявшей полную им противоположность. (Германты даже объясняли то, что принц Германтский везде и всюду разглагольствовал о происхождении и о знатности, словно только это его и волновало, влиянием его бабушки Курвуазье.) Мало того, что Курвуазье не ставили разум так высоко, как Германты, — у них было о нем другое понятие. Для Германтов (даже для глупых) быть умным значило быть зубастым, подпускать шпильки, отбривать, отстаивать свои взгляды на живопись, на музыку, на архитектуру, говорить по-английски. У Курвуазье было не столь возвышенное

[361] Примечания: 361

…семьи Барка… — Речь идет о знаменитом карфагенском полководце Гамилькаре по прозвищу Барка (финик. «молния», 290–229 до н. э.), который был отцом Ганнибала и Саламбо, героини одноименного исторического романа Гюстава Флобера (1821–1880). Символ Змея появляется в X главе романа, озаглавленной «Змей»; выражение «дух семьи» фигурирует в ответе Флобера на статьи Сент-Бёва о романе «Саламбо».

представление об уме, так что если человека не их круга они считали умным, то, по их мнению, он почти наверное убил отца и мать. Для них ум был чем-то вроде отмычки, которой всякие темные личности взламывали двери в самые почтенные дома, и Курвуазье предсказывали, что в конце концов вам, мол, выйдет боком знакомство с этими «гусями лапчатыми». Курвуазье спорили с умными людьми, не принадлежавшими к их обществу, из-за всякого пустяка. Кто-то однажды сказал: «Да ведь Сван моложе Паламеда». — «Это он так говорит, а если он так говорит, можете быть уверены, что это ему зачем-то нужно», — заметила г-жа де Галардон. И еще: когда зашла речь о двух очень элегантных иностранках, принятых у Германтов, и кто-то сказал, что одну из них представили раньше, потому что она старшая, г-жа де Галардон спросила: «Неужели она старшая?» — спросила, конечно, не потому, чтобы, с ее точки зрения, у таких людей в самом деле не было возраста, а потому, что раз, по всей вероятности, у этих иностранок, как она полагала, нет ни звания, ни вероисповедания, ни каких-либо традиций, значит, обе они примерно одних лет и разобраться, какая из них взрослее, не менее затруднительно, чем, не будучи ветеринаром,

определить, заглянув в корзинку и увидев новорожденных котят, какой из них старше. Впрочем, в определенном отношении Курвуазье вследствие своей ограниченности и злобности лучше Германтов охраняли неприкосновенность знати. Между тем Германты (которые на все, что было ниже королевских и еще нескольких родов, например Линь, Ла Тремуй и т. п., смотрели как на слившуюся в одно мелкую сошку) держали себя заносчиво с потомками старинных родов, жившими вокруг Германта, именно потому, что они не придавали значения второсортным достоинствам, ослеплявшим Курвуазье, — Германтов отсутствие таковых достоинств не смущало. Женщины, занимавшие не особенно высокое положение в провинции, но потом составившие себе блестящую партию, богатые, красивые, пользовавшиеся благоволением герцогинь, являлись для Парижа, где о «папах и мамах» имеют смутное представление, чудным, роскошным предметом импорта. В редких, правда, случаях такие женщины по рекомендации принцессы Пармской или благодаря личному своему обаянию проникали в салон кого-нибудь из Германтов. Зато Курвуазье не переносили их. Если они встречали между пятью и шестью вечера у своей родственницы

людей, с родителями которых их родители не знались в Перше, то это вызывало у них все усиливавшийся приступ ярости и служило им темой для бесконечных разглагольствований. Как только, например, прелестная графиня Г. входила к Германтам, лицо г-жи де Вильбон принимало такое выражение, точно она читала стихи:

> *В десятке смельчаков я стану в строй десятым;*
>
> *Останется один – клянусь, я буду им! — [362]*

хотя она их и не знала. Эта урожденная Курвуазье почти каждый понедельник съедала эклер в нескольких шагах от графини Г., но безрезультатно. И г-жа Вильбон говорила на ушко своим знакомым, что для нее непостижимо, как это ее родственница может принимать у себя женщину, которую в Шатодене не пускали на порог даже люди второго сорта. «Моя родственница уж чересчур требовательна в выборе знакомств — это даже обидно», — в заключение говорила г-жа де Вильбон уже с иным выражением лица: с насмешливой улыбкой, прикрывавшей отчая-

---

[362] Примечания: 362

В десятке смельчаков… — последний стих из стихотворения Виктора Гюго «Ultima verba», вошедшего в сборник «Возмездия» (VII, 14, 1853).

ние, улыбкой, которая, если бы играть в загадки, могла бы навести на мысль, что она сейчас читает про себя стих, который графиня тоже, конечно, не знала:

> *Надежды отняты. Осталось лишь покорство.*[363]

Забегая вперед, заметим, что рифмующее с «покорством» «упорство», какое г-жа де Вильбон, снобируя, проявляла в своем отношении к графине Г., принесло свои плоды. Оно так высоко подняло в глазах графини Г. престиж г-жи де Вильбон, — хотя там и поднимать-то было нечего, — что когда пришла пора выдавать замуж дочь графини, то она, самая красивая и самая богатая из девиц, служившая в те времена украшением балов, к общему изумлению, отказала всем герцогам. Дело в том, что ее мать, не забывшая обиды, которые она каждую неделю вынуждена была глотать на улице Гренель из-за Шатодена, мечтала выдать свою дочь только за сына г-жи де Вильбон и больше ни за кого.

В одном Германты и Курвуазье не уступали друг другу: в искусстве — впрочем, бесконечно

---

[363] Примечания: 363

Надежды отняты… — Слова Ореста из трагедии Расина «Андромаха» (1613; акт V, сцена 5).

разнообразном — держать других на расстоянии. Не все Германты применяли для этого одни и те же приемы. Но когда вас представляли любому Германту — я имею в виду Германтов настоящих, — то это был для них некий церемониал: протягивая вам руку, они словно посвящали вас в рыцари. Как только кому-либо из Германтов, хотя бы двадцатилетнему, но уже шедшему по стопам старших, знакомивший вас с ним называл ваше имя, Германт бросал на вас взгляд с таким видом, как будто вовсе не собирается с вами здороваться, — взгляд, обычно голубой, неизменно холодный, как сталь, — словно желая добраться до самых глубин вашего сердца. Впрочем, Германты и в самом деле были уверены, что видят людей насквозь, — они считали себя изумительными психологами. Они полагали, что от этого осмотра усиливается любезность следующего за осмотром поклона, так как теперь поклон был уже с их стороны не простою учтивостью. Все это происходило на расстоянии, очень небольшом от вас, как если б Германт делал выпад, но оно казалось огромным при рукопожатии и устрашало вас во втором случае не меньше, чем устрашило бы в первом, ибо когда Германт, облетев взглядом самые тайники вашей души и

вашу порядочность, находил, что вы достойны войти в круг его знакомых, то, вытянув руку, он протягивал вам ее кисть с таким видом, точно подавал вам рапиру для какого-то необычайного поединка, и кисть руки Германта была сейчас, в сущности, так от него самого далека, что, когда он наклонял голову, трудно было уловить, вам ли он кланяется или же своей руке. Некоторые Германты, лишенные чувства меры или же склонные к беспрестанному самоповторению, доходили до того, что проделывали эту церемонию при каждой встрече с вами. Поскольку отпадала необходимость в предварительном психологическом анализе, способностями к коему их наделил «дух семьи» и они всегда должны были помнить, что ему они обязаны успешностью этого анализа, то упорство прощупывающего взгляда могло быть вызвано лишь машинальностью или уверенностью Германтов в том, что они в известной мере обладают даром гипноза. У Курвуазье внешний облик был другой — вот почему их усилия перенять изучающий этот поклон оказывались бесплодными и он приобрел у них лишь надменную чопорность и торопливую небрежность. Зато очень немногие Германты женского пола, по-видимому, заимствовали по-

клон у дам Курвуазье. В самом деле, когда вас представляли одной из таких Германт, она низко кланялась, приближая к вам под углом в сорок пять градусов голову и грудь, тогда как нижняя часть ее тела (которую она держала совершенно прямо, а вокруг пояса вращалась верхняя) оставалась неподвижной. Но, устремив к вам свой верх, она тут же рывком возвращала его в вертикальное положение и приблизительно под таким же углом. Это откидывание отнимало у вас все, что, казалось, было вам уступлено, участок, который, как вам представлялось, вы завоевали, был у вас отобран, противники, как на поединке, вновь занимали исходные позиции. Такая отмена любезности посредством восстановления расстояния (этот прием выработали Курвуазье с целью показать, что первое движение, которое можно было принять за знак благоволения, — не более чем мгновенное притворство) ясно чувствовалась в письмах, которые вы получали от Германт и от Курвуазье, во всяком случае — в начале знакомства. В «корпусе» письма вы иной раз встречали строки, которые пишутся как будто бы только друзьями, но если б вы вообразили, что вы друг своей корреспондентки, то это было бы заблуждением, так как письмо начиналось:

«Милостивый государь», а кончалось: «Примите уверения в моей сердечной преданности». Между холодным вступлением и ледяным окончанием, менявшими смысл всего остального, могли следовать одна за другой (если это был ответ на ваше соболезнование) трогательнейшие картины горя, постигшего корреспондентку в связи с кончиной ее сестры, близости между ними, описание красот природы, среди которой она живет, описание того, как ее утешают детишки, и все же это было письмо, какое читаешь в собраниях писем, и его интимный характер не создавал между вами и написавшей это письмо большей интимности, чем создают письма Плиния Младшего[364] или г-жи де Симьян[365] между ними и вами.

Правда, некоторые дамы из семьи Германтов с первого же раза обращались к вам: «Дорогой друг», «Мой друг», и не всегда это были самые из

---

[364] Примечания: 364

Плиний Младший (62—114) — римский общественный деятель и писатель. Из его литературных трудов сохранились десять книг «Писем». Задуманные как эпистолярный литературный труд, тщательно стилизованные, они дают представление о материальной и духовной сторонах жизни привилегированного римского общества времен императора Траяна(53-117).

[365] Примечания: 365

Г-жа де Симьян — Полина Адемар де Монтей де Гриньян, маркиза де Симьян (1674–1737) — внучка г-жи де Севинье, автор «Писем», опубликованных в 1773 г. Впоследствии ее «Письма» входили в большинство изданий «Писем» ее бабушки.

них простые, а скорее те, что, постоянно находясь в обществе королей и вместе с тем представляя собой натуры «неглубокие», были до того самонадеянны, что им казалось, будто они способны только осчастливливать, и были до того развращены, что никому не отказывали в доставлении удовольствий. Впрочем, Германты так расплодились, что если у кого-нибудь из молодых Германтов и у маркизы Германтской была общая прапрабабушка, жившая при Людовике XIII, то он считал себя вправе называть маркизу «тетушкой Адам», — вот почему самые простые обряды, — например, поклоны при знакомстве, — отличались у них большим разнообразием. У каждого мало-мальски утонченного ответвления была своя манера кланяться, передававшаяся от отцов к детям, как передается рецепт заживляющего средства или особый способ варки варенья. Так, Сен-Лу, услыхав ваше имя, как бы машинально приводил в движение свою руку, но в этом его приветствии не участвовал взгляд и к нему не присоединялся поклон. Злосчастного разночинца, которого по какому-нибудь особому поводу — что, впрочем, случалось крайне редко — направляли с рекомендательным письмом к кому-либо из того же ответвления, что и Сен-Лу,

обескураживала эта стремительная подачка привета, намеренно прикидывавшегося бездумным, и разночинец никак не мог взять в толк, что этот или эта Германт имеют против него. И он приходил в немалое изумление, когда узнавал, что г-н или г-жа Германт сочли своим долгом написать рекомендовавшему его лицу касающееся только этого разночинца письмо, в котором говорилось, какое хорошее он произвел на них впечатление и как ему или ей хочется с ним повидаться. Такими же неповторимыми, как машинальный жест Сен-Лу, были сложные, быстрые антраша (которые де Шарлю находил безобразными) маркиза де Фьербуа или величавая, мерная поступь принца Германтского. А кордебалет Германтов был столь многочислен, что описать все великолепие их хореографии у меня нет никакой возможности.

Возвращаюсь к той неприязни, какую вызвала у Курвуазье герцогиня Германтская: пока герцогиня была не замужем, они могли находить утешение в жалости к ней, так как она была небогата. К несчастью, какая-то особенная копоть вечно застилала, скрывала от постороннего взора богатство Курвуазье: никто не знал, что это люди весьма состоятельные. Даже если какая-нибудь богачка Курвуазье выходила замуж за человека с

немалыми средствами, всякий раз складывалось так, что у молодоженов не оказывалось в Париже пристанища, и они «останавливались» у родителей, а жили в провинции и вращались в обществе хотя и не смешанном, но и не блестящем. У Сен-Лу ничего, кроме долгов, не было, но весь Донсьер не мог надивиться на его выезды, а денежный мешок Курвуазье ездил только в трамвае. Еще в давние времена о туалетах небогатой мадмуазель де Германт (Орианы) говорили больше, чем о туалетах всех Курвуазье, вместе взятых. Дерзкие ее речи служили своего рода рекламой ее манере одеваться и причесываться. Она осмелилась задать одному из русских великих князей[366] вопрос: «Ваше высочество! Правда, что вы собираетесь убить Толстого?» Она спросила об этом за обедом, на который не были приглашены Курвуазье, впрочем имевшие смутное представление о Толстом. Древнегреческих авторов они знали не лучше, если судить по овдовевшей герцогине де Галардон (будущей свекрови принцессы де Галардон, тогда еще незамужней), которую Ориана за пять лет ни разу не удостоила своим посещением

[366] Примечания: 366

…одному из русских великих князей… — Возможно, имеется в виду будущий император Александр III (1845–1894), который был поборником сближения России с Францией.

и которая на чей-то вопрос, почему нет Орианы, ответила: «Она, кажется, любит в обществе декламировать Аристотеля (герцогиня хотела сказать: Аристофана). У себя я этого не потерплю!»

Можно себе представить, как этот «номер» мадмуазель де Германт с Толстым, раз он возмущал Курвуазье, должен был восхитить Германтов, а равно и всех, кто за ними в той или иной степени тянулся. Овдовевшая графиня д'Аржанкур, урожденная Сенпор, принимавшая у себя в небольшом количестве людей всякого звания, потому что она была синим чулком, тогда как ее сын был страшнейшим снобом, пересказав писателям словцо Орианы, говорила: «Ориане Германтской палец в рот не клади, она хитра, как обезьяна, мастерица на все руки, так писать акварели, как она, может только большой художник, ее стихи — это стихи большого поэта, и, вы знаете, она принадлежит к самому что ни на есть знатному роду, ее бабушка — урожденная де Монпансье, она восемнадцатая Ориана Германтская, неравных браков у них в семье не было, в ее жилах течет чистейшая, стариннейшая французская кровь». После таких восхвалений бумагомаракам, полуинтеллигентам, которых принимала у себя графиня д'Аржанкур и которые никогда в глаза

не видели Ориану Германтскую, начинало казаться, что даже принцесса Бадруль Будур,[367] не такое уж дивное и необычайное создание, и они не только рады были умереть за Ориану, услыхав, что такая благородная особа — страстная поклонница Толстого, — нет, они чувствовали, как в них самих растет любовь к Толстому и как их неудержимо влечет на борьбу с царизмом. Их свободолюбивые идеи могли бы завянуть; они не смели высказывать их и уже недалеки были от того, чтобы усомниться в их величии, и вдруг не кто-нибудь, а мадмуазель де Германт, молодая девушка с тонким вкусом, пользующаяся большим авторитетом, гладко причесывающаяся (чего никогда не позволила бы себе ни одна Курвуазье), выступает на их стороне. И хорошее и дурное очень выигрывает, если это одобряется людьми для нас авторитетными. Например, у Курвуазье обряд здорованья на улице состоял из очень некрасивого и, в сущности, нелюбезного поклона, а считалось, что это изысканная форма приветствия, и поэтому все Курвуазье, убрав с лица улыбку и изобразив на лице отчужденность, старались проделать это бесстрастное гимна-

[367] Примечания: 367

Принцесса Бадруль Будур — красавица из сказки «Волшебная лампа Аладдина».

стическое упражнение. А Германты вообще, и в частности Ориана, лучше, чем кто-либо, знавшие эти обряды, если видели вас из экипажа, не задумываясь, приветливо махали рукой, а в салоне, предоставляя Курвуазье соблюдать церемониал подражательных, чопорных поклонов, делали набросок изящного реверанса, как другу протягивали вам руку, улыбаясь голубыми глазами, так что благодаря Германтам сущность шика, до тех пор в известной мере полая и суховатая, мгновенно наполнялась всем, что так естественно притягивает к себе и что люди пытались упразднить: радушием, изъявлением непритворной радости, непосредственностью. Вот так же — но только в этих случаях им трудно найти оправдание — люди, которым инстинктивно нравятся плохая музыка и избитые мелодии, нравятся потому, что в них есть что-то ласкающее слух и общедоступное, в конце концов, овладев музыкальной культурой, добиваются того, что вытравляют в себе пристрастие к плохой музыке. Но, достигнув этого и теперь уже с полным основанием дивясь ослепительному блеску оркестровки Рихарда Штрауса[368] они вдруг замечают, что Штраус с

[368] Примечания: 368

Штраус, Рихард (1864–1949) — немецкий композитор и дирижер, один из мэтров музыкального символизма.

невзыскательностью, простительной Оберу,[369] вводит пошлейшие мотивы, и тут все, что они когда-то любили, неожиданно находит для них в столь высоком авторитете оправдание, и, торжествующие, они потом со спокойной совестью и сугубой благодарностью восторгаются в «Саломее[370]» тем, что им было воспрещено любить в «Бриллиантовой короне[371]».

Задала ли мадмуазель де Германт вопрос великому князю на самом деле или этот вопрос выдумали, но обсуждали его во всех домах, и это служило поводом для того, чтобы рассказать, как необыкновенно элегантно была на этом обеде одета Ориана. Но хотя роскошь (именно поэтому она и была недоступна Курвуазье) порождает не богатство, а расточительность, все-таки расточительность длится дольше, если она находит поддержку в богатстве, а зато богатство дает

---

[369] Примечания: 369

Обер, Франсуа-Эспри (1782–1871) — французский композитор, автор более сорока музыкально-сценических произведений, большинство из которых написано в сотрудничестве с выдающимся драматургом Э. Скрибом; с 1842 по 1871 г. — директор Парижской консерватории.

[370] Примечания: 370

«Саломея» (1905) — опера Р. Штрауса по мотивам библейского предания и одноименной пьесы О. Уайльда (1854–1900).

[371] Примечания: 371

«Бриллиантовая корона» (1841) — трехактная комическая опера Э. Обера, авторы либретто — Э. Скриб и Ж. А. Вернуа де Сен-Жорж.

ей возможность гореть всеми своими огнями. Приняв же в расчет мысли, которые открыто высказывала не только Ориана, но даже маркиза де Вильпаризи, мысли о том, что знатность ничего не стоит, что думать, как бы пролезть повыше, смешно, что не в деньгах счастье, что имеют значение только ум, сердце и талант, Курвуазье могли питать надежду, что, получив такое воспитание у маркизы, Ориана выйдет замуж не за светского человека, а за художника, за арестанта, за голодранца, за вольнодумца, что она окончательно примкнет к тому разряду людей, которых Курвуазье называли «свихнувшимися». У них тем больше было оснований на это уповать, что маркиза де Вильпаризи, переживавшая тогда, с точки зрения общества, кризис (никто из людей блестящих к ней еще не вернулся), открыто выражала свое отвращение к тем, кто от нее отошел. Даже говоря о своем племяннике, принце Германтском, который продолжал бывать у нее, она осыпала его насмешками за то, что он кичился своим происхождением. Но едва пришла пора выбрать для Орианы мужа, идеи, которые проповедовали тетушка и племянница, обе спрятали в карман, а на сцену выступил таинственный «дух семьи». Вот почему, как будто маркиза де Вильпа-

ризи и Ориана только и говорили что о ценных бумагах да о родословных, а не о художественных достоинствах произведений и не о душевных качествах, и словно маркиза на несколько дней умерла и ее гроб стоял, — как это и произойдет потом, — в Комбрейской церкви, где каждый член семьи, лишившись своей индивидуальности и даже имени, становился просто Германтом, о чем свидетельствовала на большом черном покрывале вышитая пурпуром и увенчанная герцогской короной одна-единственная буква «Г», дух семьи не колеблясь остановил выбор интеллигентной, фрондировавшей, проникнутой евангельским духом маркизы де Вильпаризи на старшем сыне герцога Германтского, принце де Лом. И в день свадьбы за два часа у маркизы де Вильпаризи перебывала вся знать, над которой она издевалась, издевалась даже с близкими ей людьми из буржуазных семей, кого она позвала на свадьбу, кому принц де Лом завез карточки и с кем у него на будущий год «все как отрежет». К умножению несчастий Курвуазье, взгляд на ум и талант как на высшие социальные ценности снова начал пользоваться успехом у принцессы де Лом тотчас после свадьбы. Заметим в скобках, что во взглядах Сен-Лу, которые он отстаивал, ко-

гда жил с Рахилью, когда заходил к ее приятелям, когда собирался на ней жениться, было — как ни ужасалась его семья — меньше лицемерия, чем во взглядах девиц Германт, восхвалявших ум и почти не подвергавших сомнению идею всеобщего равенства, поскольку в решительный момент они действовали так, как если бы придерживались противоположных мнений, то есть искали себе женихов среди богатейших герцогов. Сен-Лу, напротив, осуществлял свои теории на практике — оттого все про него и говорили, что он сбился с пути. Понятно, Рахиль строгим требованиям нравственности не отвечала. Но если бы любая другая на ее месте вела себя так же, как Рахиль, и при этом была бы герцогиней или миллионершей, то вряд ли виконтесса де Марсант восстала бы против брака своего сына.

Возвратимся к принцессе де Лом (которая вскоре после смерти свекра стала герцогиней Германтской): к великой досаде Курвуазье, теории юной принцессы, которые она по-прежнему не уставала излагать, никак не отражались на ее поведении; ее философия (если только это можно назвать философией) не наносила ни малейшего ущерба аристократической элегантности салона Германтов. Скорей всего, те, кого герцогиня Гер-

мантская у себя не принимала, полагали, что это из-за того, что они недостаточно умны, а одна богатая американка, у которой совсем не было книг, за исключением никогда ею не раскрывавшегося томика Парни.[372] в старом издании, лежавшего, потому что он «подходил под стиль эпохи», в маленькой гостиной на особом столике, эта самая американка, желая показать, как высоко ценит она умственное развитие, впивалась взглядом в герцогиню Германтскую, когда та входила в Оперу. Скорей всего, и герцогиня была искренна, составляя себе круг знакомых из людей умных. Когда Ориана говорила о женщине, что она «обворожительна», или о мужчине, что он потрясающе умен, у нее, по всей вероятности, не было других оснований для того, чтобы принимать их, кроме обворожительности и ума, — в такие минуты дух Германтов бездействовал; спустившись в глубину и расположившись у потайного входа в ту область, где находилась способность Германтов к суждению, бодрствующий этот дух не разрешал Германтам находить, что этот мужчина умен, а эта женщина обворожительна, если они не представляли ценности с точки зрения светской

[372] Примечания: 372

Парни, Эварист Дезире де Форж, виконт де (1753–1814) — французский лирический поэт, автор «Эротических стихов» (1778).

— ни в настоящем, ни в будущем. О мужчине говорилось, что у него можно почерпнуть массу сведений, но так, как говорят о словаре или что он человек заурядный с умом коммивояжера, у красивой женщины были манеры сверхдурного тона, или же она была болтлива. Люди, у которых не было никакого положения в обществе, — о ужас! — были снобы. Де Бреоте, сосед Германтов по имению, бывал только у высочеств. Но он говорил о них с насмешкой и мечтал жить в музеях. Поэтому герцогиня Германтская негодовала, когда де Бреоте называли снобом: «Бабал — сноб? Да вы с ума сошли, мой милый! Как раз наоборот: он не переваривает людей блестящих, его никакими силами не заставишь с ними познакомиться. Даже у меня! Если я его приглашаю, когда у меня кто-нибудь в первый раз в гостях, он кряхтит». Это не значит, что Германты и на практике не ставили ум неизмеримо выше, чем Курвуазье. Различие между Германтами и Курвуазье давало в общем положительные результаты. Так, герцогиня Германтская, женщина, впрочем, загадочная, этой своей загадочностью издали погружавшая в мечтательное раздумье многих поэтов, устроила прием, о котором мы уже говорили и от которого был в полном восторге

английский король, достигла же она этого тем, что никогда не пришло бы в голову ни одному Курвуазье и на что никто из них никогда бы не осмелился: помимо тех, кого мы упомянули, она пригласила композитора Гастона Лемера[373] и драматурга Гранмужена[374] Но особенно четко интеллектуальность герцогини проступала в отрицании. С ее точки зрения, чем выше рангом стоял человек, добивавшийся, чтобы она пригласила его к себе, тем ниже был коэффициент его ума и обворожительности и приближался к нулю, когда речь шла о главнейших венценосцах, зато чем ниже стоял человек от трона, тем коэффициент был выше. Например, ее высочество принцесса Пармская принимала тех, кого она знала с детства, или тех, что приходились родственниками герцогине такой-то, или кого приблизил к себе кто-либо из государей, хотя бы они были уродливы, скучны или глупы. Так вот, если одного «любила принцесса Пармская», если другая была «теткой герцогини д'Арпажон»,

---

[373] Примечания: 373

Лемер, Жан Эжен Гастон (1854–1928) — французский композитор, автор ряда популярных оперетт.

[374] Примечания: 374

Гранмужен, Шарль (1850–1930) — французский поэт и драматург патриотического толка, пользовавшийся большим успехом в светских салонах рубежа веков.

а третья «каждый год жила по три месяца у испанской королевы[375]», то Курвуазье этого было достаточно, чтобы звать их к себе, а герцогиня Германтская, на протяжении десяти лет вежливо отвечавшая на их поклоны у принцессы Пармской, не пускала их к себе на порог, так как считала, что между салоном в социальном смысле этого слова и салоном в материальном смысле разницы нет никакой: если в салоне стоит мебель, создающая впечатление заставленности, свидетельствующая о богатстве хозяев, но некрасивая, то это ужасный салон. Такой салон можно сравнить с художественным произведением, автор которого не может удержаться, чтобы не показать, какой он знающий, какой он блестящий стилист, как легко все ему дается. По мысли герцогини Германтской, мысли верной, краеугольным камнем «салона», так же как книги или дома, должно было быть умение чем-либо жертвовать.

Многие приятельницы принцессы Пармской, в отношениях с которыми герцогиня Германтская на протяжении ряда лет не шла дальше вежливого поклона или обмена визитными карточками,

---

[375] Примечания: 375

…у испанской королевы… — Речь идет о королеве Марии Кристине (1858–1929), супруге испанского короля Альфонса XII (1857–1885).

которых она никогда не звала к себе и у которых ни разу не была сама ни на каких торжествах, мягко выражали свою обиду ее высочеству, а принцесса, когда герцог Германтский приезжал к ней без жены, пыталась с ним об этом заговорить. Лукавый вельможа, неверный муж, у которого были любовницы, но прекрасный помощник герцогини по части поддержания полного порядка в ее салоне (и поддержания репутации Орианы как женщины остроумной, ибо главной приманкой являлось именно ее остроумие), задавал принцессе вопрос: «А разве моя жена с ней знакома? Ах, ну тогда действительно… Но Ориана не любит женского общества. Ее окружает двор больших умов, а я не муж ее, я — старший ее камердинер. Если не считать двух-трех необычайно тонкого ума, с женщинами ей скучно. Вот, например: вы, ваше высочество, так хорошо разбираетесь в людях — не станете же вы утверждать, что маркиза де Сувре остроумна? Конечно, я понимаю, вы приглашаете ее по своей доброте. Да и потом, вы с ней знакомы. Вы говорите, Ориана ее видела? Возможно, но уверяю вас, что мельком. А кроме того, принцесса, я должен сознаться, что тут есть доля и моей вины. Жена очень устала, а она так ко всем благожелательна, что если б я ее не сдержи-

вал, то у нас отбою не было бы от гостей. Не далее как вчера вечером, хотя у нее была повышенная температура, она, из боязни обидеть герцогиню Бурбонскую, совсем уж было собралась к ней. Мне стоило большого труда переупрямить ее, и в конце концов я просто не позволил закладывать экипаж. Знаете, я даже думаю: стоит ли мне заговаривать с Орианой о маркизе де Сувре? Ориана так любит ваше высочество, что сейчас же пригласит маркизу де Сувре, у нас одним визитом будет больше, придется нам завязать знакомство с ее сестрой — ее мужа я очень хорошо знаю. С позволения вашего высочества, я лучше ничего не скажу Ориане. Мы убережем ее от переутомления и от лишних волнений. И смею вас уверить: маркиза де Сувре ничего от этого не потеряет. Она принята везде, в самом блестящем обществе. А ведь у нас, собственно, даже и не приемы, а скромные ужины. Маркиза де Сувре умрет со скуки». Принцесса Пармская по простоте душевной была уверена, что герцог Германтский не передаст ее просьбы герцогине, и очень огорчена, что из ее стараний добиться приглашения для маркизы де Сувре ничего не вышло, а в то же время ей было особенно приятно, что она — постоянная посетительница почти никому не доступного

салона. Правда, к ее чувству удовлетворенности примешивалась озабоченность. Приглашая к себе герцогиню Германтскую, принцесса Пармская всякий раз мучительно старалась припомнить: кто же неугоден герцогине и кому, следовательно, не посылать приглашения?

В будние дни (после неизменно раннего ужина, на который принцесса по старой привычке всегда звала несколько человек) салон принцессы Пармской был открыт для постоянных посетителей и для высшей знати вообще, французской и иностранной. Прием заключался в следующем: выйдя из столовой, принцесса садилась на диван за большой круглый стол, беседовала с двумя самыми важными дамами, которые у нее только что поужинали, или просматривала «Магазин», а то играла в карты (или делала вид, что играет, как это принято при германском дворе), а то раскладывала пасьянс, а то вела разговор с настоящим или предполагаемым собеседником — человеком непременно выдающимся. Около девяти часов вечера двери, ведшие в большую гостиную, поминутно отворялись, затворялись и вновь отворялись, и все время входили гости, которые поужинали наспех (или — если они уже у кого-нибудь еще поужинали, — сказав, что они

сейчас придут, ухитрялись улизнуть до кофе; их цель была просто-напросто «войти в одну дверь, а выйти в другую»), наспех — потому что они боялись опоздать к началу приема. Но принцесса, занятая игрой или беседой, притворялась, будто не замечает вошедших, и, только когда они были от нее уже на расстоянии двух шагов, изящным движением поднималась с дивана, милостиво улыбаясь дамам. Те делали стоявшему перед ними ее высочеству реверанс, скорее похожий на коленопреклонение, так чтобы их губы оказались на уровне низко опущенной прелестной ручки принцессы и могли поцеловать ее. Но тут принцесса, которую всякий раз как будто удивляла эта церемония, хотя она изучила ее до тонкости, поднимала коленопреклоненную как бы почти насильно, с бесподобной грацией и нежностью, и целовала в щеки. Скажут, что эту грацию и нежность вызывало смирение, с каким вошедшая сгибала колени. Это верно; при социальном равенстве, по всей вероятности, не будет вежливости, но не от невоспитанности, как принято думать, а потому, что у одних исчезнет почтительность, рождаемая обаянием, которое, чтобы быть действенным, должно овладеть воображением, главным же образом потому,

что у других исчезнет любезность, которую вы проявляете и утончаете в том случае, если чувствуете, что для того, с кем вы любезны, эта ваша любезность представляет огромную ценность, а в мире, основанном на равенстве, эта ценность тотчас же снизится до нуля, как все ненастоящие ценности. И все же вежливость в новом обществе может и не исчезнуть; некоторые из нас чересчур твердо уверены, что нынешний порядок вещей — единственно возможный. Были же убеждены иные очень ясные умы.[376] в том, что республика не сможет устанавливать дипломатические отношения и что крестьяне не потерпят отделения Церкви от государства[377] Ведь уж если на то пошло, вежливость при социальном равенстве — не большее чудо, чем развитие железных дорог или использование авиации в военных целях. Потом, даже если бы вежливость исчезла, у нас нет никаких доказательств, что это было бы несчастьем. Не создается ли в обществе по

---

[376] Примечания: 376

…иные очень ясные умы… — Намек на роман А. Франса «Ивовый манекен» (1897).

[377] Примечания: 377

…отделения Церкви от государства. — Пруст был решительным противником принимавшихся в начале века законов об отделении Церкви от государства, о чем писал в статьях «Смерть соборов» и «Безрелигиозность государства».

мере его демократизации некая тайная иерархия? Весьма возможно. Политическая власть пап сильно укрепилась после того, как они лишились владений и войска; в XX веке готические соборы куда больше радуют глаз атеиста, чем в XVII они восхищали человека богобоязненного, так что если бы принцесса Пармская правила страной, то я говорил бы о ней столь же часто, как о любом президенте республики, то есть совсем бы не говорил.

Подняв и поцеловав снискавшую благоволение хозяйки дома, принцесса садилась на диван и опять принималась за пасьянс, и, только если вновь прибывшая была важной особой, она, предложив ей сесть в кресло, удостаивала ее кратким разговором.

Когда гостиная наполнялась, статс-дама, на которую возлагалась обязанность следить за порядком, просила постоянных посетителей, чтобы в гостиной было просторнее, перейти в громадный, увешанный портретами и изобиловавший редкими вещами, имевшими отношение к Бурбонам, зал рядом с гостиной. Постоянные посетители охотно играли роль чичероне и рассказывали любопытные истории, но молодые люди их не слушали — молодым людям больше

хотелось посмотреть на живых высочеств (и при случае быть им представленными статс-дамой и фрейлинами), чем рассматривать реликвии усопших государынь. Поглощенные мыслью о том, с кем бы завязать знакомство и к кому бы напроситься в гости, они даже спустя несколько лет после первого посещения принцессы не имели понятия, что заключает в себе этот драгоценный музей монархии, — в их памяти лишь неясно обозначались гигантские кактусы и пальмы, придававшие этому средоточию изящества сходство с пальмарием в ботаническом саду.

Герцогиня Германтская приезжала на вечера к принцессе изредка — разумеется, только по обету и чтобы проветриться, а принцесса не отпускала ее от себя ни на шаг и шутила с герцогом. Но когда герцогиня приезжала к ужину, принцесса не отваживалась звать обычных своих посетителей и, встав из-за стола, закрывала двери своего дома — она боялась, что недостаточно блестящее общество может оскорбить вкус разборчивой герцогини. В такие вечера, если являлись не предупрежденные завсегдатаи, швейцар объявлял: «Ее королевское высочество сегодня не принимает», и гости уезжали. Впрочем, многие из друзей принцессы знали заранее, что в этот

день их не позовут. То были сборища особые, сборища недоступные для множества желающих. Неприглашенные могли почти точно угадать избранников и обиженным тоном говорили друг другу: «Вы же знаете, что Ориана Германтская всюду разъезжает со всем своим штабом». Принцесса Пармская пользовалась этим штабом, как стеной, ограждавшей герцогиню от лиц, которые вряд ли могли бы прийтись ей по душе. Но некоторым ближайшим друзьям герцогини, некоторым из тех, кто входил в блистательный ее штаб, принцессе Пармской трудно было расточать любезности, потому что они-то с нею были не слишком любезны. Принцесса Пармская, должно быть, вполне допускала, что общество герцогини Германтской может доставлять больше удовольствия, чем ее общество. Она вынуждена была признать, что у герцогини в ее «дни» не протолкаешься и что она часто встречала у герцогини нескольких высочеств, которые у нее только оставляли визитные карточки. Как ни силилась она удержать в памяти словечки Орианы, шить себе такие же платья, тоже подавать к чаю пироги с земляникой, все-таки бывали случаи, когда она целый день проводила в обществе какой-нибудь статс-дамы и советника одного из посольств. Вот

почему если (как, например, в былое время поступал Сван) кто-нибудь в конце дня непременно просиживал два часа у герцогини, а к принцессе Пармской заглядывал раз в два года, то принцесса не испытывала особого желания, даже чтобы развлечь Ориану, «зазывать» какого-нибудь там Свана на ужин. Короче, каждый приезд Орианы доставлял принцессе Пармской много хлопот — такой нападал на нее страх, что Ориане все у нее не понравится. Но зато, и по той же причине, когда принцесса Пармская ехала ужинать к герцогине Германтской, она была заранее уверена, что у герцогини все будет хорошо, чудесно, боялась же она только, что не поймет, не запомнит и не усвоит мыслей и не сумеет понравиться людям и освоиться в их среде. Вот почему я привлекал жадное ее внимание не меньше, чем нововведение: класть на стол ветки с фруктами, но ее смущало одно: что же все-таки — новая манера украшать стол или мое присутствие — особенно притягивает к Ориане, составляет тайну успеха ее приемов, и, чтобы разрешить сомнение, она задумала во время ближайшего приема получше рассмотреть и ту и другую приманку. Надо заметить, однако, что восторженное любопытство, с каким принцесса Пармская приезжала к герцо-

гине, вполне удовлетворяла веселящая, опасная, волнующая стихия, куда принцесса погружалась с некоторым страхом, трепетом и упоением (словно в одну из тех волн, что «обдает», — волн, от каких предостерегают наблюдающие за купальщиками — предостерегают просто потому, что сами не умеют плавать) и откуда она выходила освеженной, счастливой, помолодевшей, — стихия, именовавшаяся остроумием Германтов. Остроумие Германтов — по мнению герцогини, понятие такое же условное, как квадратура круга, ибо она полагала, что из всех Германтов отличается им только она, — славилось так же, как турская свинина или реймское печенье. Конечно (склад ума — это же не цвет волос или кожи, и он не передается), иные из друзей герцогини, не родные ей по крови, были так же остроумны, как она, но зато к некоторым Германтам остроумие никакими силами вторгнуться не могло — об их крепкие головы разбивались любые умственные способности. Не состоявшие в родстве с герцогиней обладатели Германтского остроумия были, как правило, люди яркие, которые могли бы сделать себе карьеру в области искусства, дипломатии, парламентского красноречия или в армии, но которые предпочли блистать в каком-

нибудь кружке. Быть может, подобный выбор объяснялся недостаточной их самобытностью, недостаточной предприимчивостью, слабоволием, нездоровьем, незадачливостью или же снобизмом.

Если для некоторых салон Германтов (надо сказать, что это были случаи исключительные) и послужил камнем преткновения в их карьере, то сами Германты тут были ни при чем. Так, например, у врача, художника и дипломата, казалось бы, с большим будущим, карьера не состоялась, — хотя они были гораздо способнее многих других, — оттого что из-за их близости к Германтам на первых двух смотрели только как на людей светских, а на третьего — как на реакционера, и они не получили признания у своих товарищей. Старинная мантия и красная шапочка, которые все еще надевают члены факультетских президиумов, являются, или, во всяком случае, являлись совсем недавно, чисто внешним пережитком прошлого с узостью его взглядов и с его кастовым духом. «Профессора» в шапочках с золотыми кистями, подобно иудейским первосвященникам в конических колпаках, замкнулись в кругу нетерпимо фарисейских взглядов — замкнулись уже за несколько лет до дела Дрейфуса. Дю Бульбон в

душе был художником, но его спасло то, что он не любил светского общества. Котар часто бывал у Вердюренов. Но, во-первых, г-жа Вердюрен была его пациенткой, во-вторых, защитой ему служила его пошлость, а кроме того, он звал на свои пропахшие карболкой вечеринки только своих факультетских. Но в дружных корпорациях, где, кстати сказать, устойчивость предрассудков шла в уплату за полнейшую непогрешимость самых высоких нравственных принципов, не таких твердых в кругах более снисходительных, более свободных и очень скоро распадавшихся, профессор в пунцовой атласной мантии, подбитой горностаем, как у дожа (то есть герцога) Венеции, заперевшегося в своем герцогском дворце, мог быть так же добродетелен, таких же благородных убеждений, но вместе с тем так же нетерпим к чужеродному элементу, как другой герцог — чудесный, но беспощадный герцог де Сен-Симон. Для профессора чужеродным элементом был светский врач, чужеродным по манере держать себя, по кругу знакомств. Чтобы угодить и нашим и вашим, несчастный, из боязни, что сослуживцы подумают, что он ими гнушается (какие мысли приходят иногда светскому человеку!), раз он не объединяет их с герцогиней Германтской, рассчи-

тывал, что обезоружит их, приглашая на ужин смешанное общество, где представители медицинского мира растворялись в массе светских гостей. Он не подозревал, что подписывает себе смертный приговор, или, точнее, узнавал об этом, когда совет Десяти,[378] (на самом деле в совет входило не десять человек, а больше) собирался по случаю того, что освобождалась какая-нибудь кафедра, — вот тогда-то из роковой урны извлекалось имя врача хотя и посредственного, но зато не выделявшегося из своей среды, и в старом здании Медицинского факультета раздавалось veto, такое же торжественное, такое же смешное и такое же грозное, как juro[379] после которого умер Мольер.[380] Не лучше сложилась судьба и у художника: он всю жизнь проходил с ярлыком «светского человека», а между тем светские люди, занимавшиеся живописью, в конце концов

---

[378] Примечания: 378

…совет Десяти… — Созданный в Венеции в 1310 г. совет Десяти был призван контролировать власть дожей, вплоть до 1797 г. оставался главным исполнительным органом государственной власти.

[379] Примечания: 379

Клянусь (лат.)

[380] Примечания: 380

…после которого умер Мольер. — С Мольером случился приступ во время четвертого представления «Мнимого больного» (1673), несколько часов спустя он скончался. Выражение juro произносит Арган, роль которого исполнял Мольер, в ходе заключительной интермедии пьесы.

добивались того, что к ним привешивали ярлык художника; та же участь постигла и дипломата, у которого было слишком много знакомых в реакционных кругах.

Но такие случаи были чрезвычайно редки. Среди изысканных людей, составлявших основу салона Германтов, преобладал тип человека, добровольно отказавшегося (или, во всяком случае, верившего в то, что добровольно) от всего остального, от всего, что было несовместимо с остроумием Германтов, с обходительностью Германтов, с их непередаваемым обаянием, ненавистным всякой более или менее централизованной «корпорации».

Те, кому было известно, что в свое время один из теперешних постоянных посетителей салона герцогини получил золотую медаль в «Салоне», что первые выступления в Палате депутатов еще одного завсегдатая — адвоката, секретаря коллегии, прошли некогда с большим успехом, что третий верой и правдой послужил Франции на посту поверенного в делах, имели основание считать неудачниками людей, которые за двадцать лет ничего больше не сделали. Но «осведомленных» было совсем немного, а неудачники об этом, пожалуй, и не вспомнили бы, потому что

для них старые звания давно утратили всякое значение — так сильно действовало на них остроумие Германтов. Разве это же самое остроумие не обзывало «тоской зеленой» или приказчиком известных министров: одного — чуть-чуть напыщенного, а другого — любителя каламбуров, министров, которым газеты пели дифирамбы, что не мешало герцогине Германтской, если опрометчивая хозяйка дома сажала кого-нибудь рядом с ней, зевать и проявлять все признаки нетерпения? Дело в том, что репутация первостепенного государственного деятеля в глазах герцогини ничего не стоила, и те из ее друзей, которые решили не «делать карьеру», оставили военную службу, не выставляли больше свою кандидатуру на выборах в Палату депутатов, которые ежедневно завтракали и беседовали со своей большой приятельницей, встречались с ней у высочеств несмотря на то, что они были не весьма лестного о них мнения, — так, по крайней мере, они говорили, — высказывались в том смысле, что они избрали благую часть, хотя их печальный вид, даже когда всем остальным было весело, заставлял усомниться в их искренности.

Нельзя, однако же, не признать, что светская жизнь была действительно изящна, а разговоры

у Германтов, при всей их незначительности, действительно отличались тонкостью.

Никакое самое высокое, официальное положение не могло бы заменить приятность находиться в обществе иных любимцев герцогини Германтской, которых не удалось бы заманить к себе самым могущественным министрам. Если в ее салоне было похоронено множество честолюбивых притязаний человеческого ума и даже благородных стремлений, то из их праха, во всяком случае, вырос удивительный цветок — цветок светскости. Конечно, такие умные люди, как, например, Сван, тоже смотрели свысока на одаренных людей — они презирали их, герцогиню же Германтскую поднимало над всеми не умственное развитие, а, с ее точки зрения, высшая, редчайшая, утонченнейшая разновидность ума, возвышавшаяся до степени таланта в области устной речи, — остроумие. И если в былые времена, у Вердюренов, Сван называл Бришо педантом, а Эльстира — мужланом, несмотря на образованность первого и гениальность второго, то подобного рода определения подсказывало ему просочившееся в него остроумие Германтов. Он никогда не осмелился бы представить герцогине кого-нибудь из них — он прекрасно знал,

как она отнесется к тирадам Бришо и к балагурству Эльстира: дело в том, что Германты считали длинные претенциозные речи, как серьезные, так и зубоскальствующие, самым несносным проявлением безмозглости.

А в роду у самих Германтов — Германтов чистой воды — не все отличались остроумием, и это делало их непохожими, например, на членов литературных кружков с присущей всем одинаковостью произношения, изложения, а следовательно, мышления, но объясняется это, конечно, не тем, что в светском обществе ярче индивидуальности и что поэтому там не так развито подражание. Ведь подражание требует не только полного отсутствия самобытности, но и относительной тонкости слуха, благодаря которой ты сперва улавливаешь то, чему потом подражаешь. Между тем иные из Германтов были так же абсолютно лишены музыкального слуха, как Курвуазье.

Если взять для примера то, что называется «имитацией», но не в музыкальном смысле этого слова, а в смысле: «имитировать кого-либо» (Германты говорили: «шаржировать»), то, хотя герцогиня Германтская достигла в этом искусстве поразительных успехов, на Курвуазье она

не производила никакого впечатления, точно они были не люди, а кролики, объяснялось же это тем, что они не умела подмечать недостатки или улавливать интонации, которые старалась воспроизвести герцогиня. Когда она «имитировала» герцога Лиможского, Курвуазье возражали: «Э, нет, он не совсем так говорит, я как раз вчера ужинала вместе с ним у Бебет, он проговорил со мной весь вечер, но не так», а мало-мальски понимающие Германты восклицали: «Господи Боже мой! Ориана кого хочешь насмешит. А главное, до чего похоже! Это его голос. Ориана! Изобрази еще Лиможа!» И пусть даже эти Германты (я уже не говорю о Германтах необыкновенных, которые, когда герцогиня имитировала герцога Лиможского, восхищались: «Он удивительно вам удался!» или: «Как он тебе удался!») не были остроумны в том смысле, какой вкладывала в это слово герцогиня Германтская (и тут она была права), тем не менее, слыша и повторяя остроты герцогини, они с грехом пополам переняли ее манеру выражаться, позаимствовали частицу ее умения определять к чему-либо свое отношение, частицу того, что Сван вслед за герцогиней назвал бы умением «формулировать», так что в их разговоре Курвуазье слышалось что-то до

ужаса похожее на остроумие Орианы, которое они называли остроумием Германтов. Так как эти Германты были не только родственниками, но и почитателями Орианы, то она (других своих родственников по мужу она близко к себе не подпускала — теперь она платила им презрением за их враждебное отношение к ней, когда она была девушкой) летом, когда она и герцог делали визиты, заходила к ним — обычно вдвоем. Каждый такой визит превращался в целое событие. Сердце билось сильнее у принцессы д'Эпине, принимавшей в большой гостиной в первом этаже, стоило ей завидеть, точно бледное зарево безвредного пожара или разведывательные отряды внезапно напавшего противника, неторопливо пересекавшую двор герцогиню, ее прелестную шляпу и зонтик, который герцогиня держала в руке и с которого лился аромат лета. «Ориана идет!» — произносила принцесса таким тоном, каким говорят: «Берегитесь!» — чтобы заранее уведомленные посетительницы в порядке, без паники, эвакуировали гостиные. Половина, не решаясь остаться, вставала. «Куда же вы? Садитесь, садитесь, я вас очень прошу не уходить! — говорила принцесса, и взгляд у нее был при этом открытый и нелицемерный (какой

и надлежало иметь светской даме), а голос звучал фальшиво. — Вам, может быть, надо поговорить между собой? Вы правда торопитесь? Ну что ж, я к вам зайду», — говорила хозяйка дома тем гостям, которых ей хотелось выпроводить. Герцог и герцогиня с отменной учтивостью кланялись людям, с которыми они встречались у принцессы на протяжении многих лет, но не знакомились и которые еле здоровались с ними только из вежливости. Когда гостьи уходили, герцог с самым милым видом расспрашивал про них, притворялся, будто его интересуют душевные качества этих людей, которых он не принимал у себя по велению злой судьбы или потому, что они действовали на нервы Ориане. «Кто эта славная дама в розовой шляпе?» — «Что с вами? Вы же много раз видели ее у меня — это виконтесса Турская, урожденная Ламарзель». — «А ведь она хорошенькая, у нее умные глаза, вот только верхняя губа не очень красивая, а то она была бы просто изумительна. Если виконт Турский существует, то я думаю, что ему живется нескучно. Знаете, Ориана, кого мне напоминают ее волосы и брови? Вашу родственницу Эдвиж де Линь». Так как герцогиня Германтская не любила, когда при ней восхищались красотой какой-нибудь женщины,

то она спешила переменить разговор. Но она не принимала во внимание, что ее муж любил блеснуть тем, что ему известна вся подноготная людей, которых он к себе не звал, — этим он надеялся создать о себе мнение человека более серьезного, чем его жена. «Вот вы упомянули Ламарзель, — внезапно оживляясь, говорил он. — Я припоминаю, что когда я был в Палате, то слышал там одну совершенно замечательную речь...» — «Эту речь произнес дядя молодой женщины, которую вы у меня сейчас видели». — «Это настоящий талант! Нет, деточка, — обращался герцог к виконтессе д'Эгремон; герцогиня Германтская не выносила ее, но она все-таки не уходила, так как добровольно играла у принцессы д'Эпине унизительную роль субретки (вымещая это на своей, которую она, придя домой, била), она оставалась, вид у нее был смущенный, жалкий, но она все-таки оставалась при герцоге и его жене, помогала им снять пальто, всячески старалась услужить, любезно предлагала пройти в соседнюю комнату, — не заваривайте для нас чаю, мы потолкуем — и все, мы люди простые, с нами разводить церемонии не нужно. А помимо всего прочего, — говорил он принцессе д'Эпине (уже не обращая внимания на Эгремон, сгоравшую от

стыда, безответную, тщеславную хлопотунью), — мы можем посидеть у вас не больше четверти часа». Вся эта четверть часа представляла собой своего рода выставку острот, которые набрались у герцогини за неделю и которыми она здесь, разумеется, не стала бы сыпать, если бы герцог, прибегнув к хитроумному приему, а именно — с напускной строгостью пробирая жену за неприятности, которые у них были из-за этих острот, не вынуждал ее, — так что создавалось впечатление непреднамеренности, — повторить их.

Принцесса д'Эпине любила свою родственницу, а кроме того, знала, что та неравнодушна к комплиментам, и она восхищалась ее шляпой, ее зонтиком, ее остроумием.

— Расхваливайте ее туалеты сколько хотите, — говорил герцог ворчливым тоном, который он недавно выработал и который смягчал лукавой улыбкой, чтобы никто не принял всерьез его неудовольствия, — но только, ради Бога, не хвалите ее за остроумие, мне легче было бы жить на свете без ее остроумия. Вы, вероятно, имеете в виду ее плохой каламбур о моем брате Паламеде, — продолжал он, прекрасно зная, что ни принцесса, ни ее домашние еще не слыхали этого каламбура, и ликуя при мысли, что ему пред-

ставляется случай показать свою жену во всем ее блеске. — Во-первых, если женщина, прежде умевшая — тут я спорить не стану — довольно мило острить, сочиняет дешевые каламбуры, то чести это ей не делает, а еще хуже, что каламбур — о моем брате, человеке очень обидчивом, и он может со мной рассориться, — мне только этого не хватало.

— А мы ничего не слыхали. Ориана сочинила каламбур? Наверно, прелестный. Ну, расскажите же!

— Нет, нет, — возражал герцог все еще сердитым тоном, хотя теперь уже явственно слышалась его полушутливость, — я счастлив, что до вас он не дошел. Я ведь действительно очень люблю моего брата.

Теперь пора было заговорить герцогине, и она обращалась к мужу:

— Послушайте, Базен: я не понимаю, на что тут обижаться Паламеду, и вы сами это отлично знаете. Он настолько умен, что не станет злиться на глупую, но нисколько не оскорбительную шутку. Вы так об этом говорите, будто это какая-нибудь гадость, но ведь в том мнении, какое я о нем высказала, ничего же смешного нет, — если б вы так не возмущались, никто не придал бы ему ни-

какого значения. Я отказываюсь вас понимать.

— Мы умираем от любопытства; в чем же все-таки дело?

— Да ничего особенного! — восклицал герцог Германтский. — Вы, может быть, слышали, что мой брат собирается подарить Брезе,[381] замок своей покойной жены, своей сестре Марсант?

— Да, но нам говорили, что она отказалась: ей не нравится местность, и климат для нее неподходящий.

— Именно это кто-то сказал моей жене и заметил, что брат дарит замок сестре не для того, чтобы сделать ей при, а чтобы ее уязвить. «Шарлю, — говорит, — страшная язва». Но ведь вы же знаете, что Брезе — настоящий королевский дворец, стоит он, по всей вероятности, несколько миллионов, раньше это было владение короля, там один из самых красивых французских лесов. Многие были бы рады, если б их эдаким образом уязвили. Так вот, услыхав, что Шарлю называют язвой только за то, что он собирается подарить дивный замок, у Орианы вырвалось — вырвалось

[381] Примечания: 381

Брезе — замок XVI в., находящийся в Анжу (провинция в дореволюционной Франции) на северо-западе страны. Жак Брезе (1440–1494), главный сенешаль Нормандии, был супругом Шарлотты Французской, дочери французского короля Карла VII.

невольно, это я могу подтвердить, без всякого злого умысла, прямо-таки с быстротой молнии: «Язва… язва… Ну, значит, он Язвиний Гордый!» Вы, конечно, понимаете, — продолжал герцог, снова взяв ворчливый тон, и обвел взглядом находившихся в гостиной, чтобы уяснить себе, как они оценили остроумие его жены, хотя он довольно скептически относился к познаниям принцессы д'Эпине в области древней истории, — вы, конечно, понимаете, что тут намек на римского императора Тарквиния Гордого;[382] это глупо, это неудачная игра слов, недостойная Орианы. Я не так остроумен, как моя жена, зато я осторожнее, я думаю о последствиях; если, не дай Бог, узнает брат, то выйдет целая история. Самое скверное, — добавил он, — что Паламед в самом деле человек очень высокомерный, да к тому же очень самолюбивый, болезненно воспринимающий то, что толкуют о нем за спиной, даже и не в связи с замком, прозвище «Язвиний Гордый» ему, в общем, подходит, тут я ничего не могу сказать. Остроту моей супруги спасает то, что, даже когда она на грани пошлости, она все-таки

[382] Примечания: 382

Тарквиний Гордый — Тарквиний Луций Гордый (534–509 до н. э.), седьмой и последний царь Древнего Рима, тираническое правление которого привело к восстанию и установлению республики.

остается остроумной и довольно метко определяет людей. Так, то благодаря Язвинию Гордому, то другой остроте, родственные визиты герцога и герцогини пополняли запас рассказов принцессе, и волнение, поднимавшееся от этих визитов, еще долго не утихало после ухода остроумной женщины и ее импресарио. Остротами Орианы угощали сперва избранных, приглашенных (тех, что оставались у принцессы). «Вы слыхали про Язвиния Гордого?» — спрашивала затем принцесса д'Эпине. «Слыхала, — отвечала, краснея, маркиза де Бавено, — от принцессы де Сарсина (Ларошфуко),[383] но только это был уже не совсем точный пересказ. Конечно, гораздо интереснее было бы это услышать так, как все это излагали вам», — добавляла она, словно желая сказать: «услышать под аккомпанемент автора». «Мы говорили о последней остроте Орианы — Ориана только что здесь была», — сообщали гостье, и она приходила в отчаяние оттого, что не пришла час назад. «Как? Ориана была здесь?» — «Ну да! Жаль, что вы не пришли чуточку раньше», — отвечала принцесса д'Эпине, не упрекая недогадливую свою гостью, но давая ей почувствовать, как

[383] Примечания: 383

Принцесса де Сарсина — Франсуаза де Ларошфуко (1844–1911), супруга принца де Сарсина (1845–1885).

много она потеряла. Она, мол, сама виновата, что не присутствовала при сотворении мира или на последнем спектакле с участием Карвало.[384] «Как вам понравилась последняя острота Орианы? Я, признаться, в восторге от Язвиния Гордого». Эта же самая «острота» предлагалась в холодном виде и на другой день, за завтраком, ближайшим друзьям, которых только ради этого блюда и звали, и потом еще целую неделю подавалась она под разными соусами. Даже во время ежегодного своего визита к принцессе Пармской принцесса д'Эпине пользовалась случаем, чтобы спросить ее высочество, знает ли она остроту Орианы, и все рассказать ей. «Ах, Язвиний Гордый!» — восклицала принцесса Пармская, и хотя она таращила от восторга глаза a priori, но умоляла дать ей дополнительные сведения, и маркиза д'Эпине не отказывала принцессе Пармской в ее просьбе. «Мне лично рассказ про Язвиния Гордого неизмеримо больше нравится именно в этой редакции», — говорила в заключение маркиза д'Эпине. На самом деле слово «редакция»

[384] Примечания: 384

Карвало, Мария-Каролина Феликс-Мьолан (1827–1895) — известная французская певица, прославившаяся исполнением партий в операх Гуно: «Фауст» (1859), «Мирейль» (1864), «Ромео и Джульетта» (1867). Ее прощальное выступление состоялось в 1885 г.

совсем не подходило к истории этого каламбура, но принцесса д'Эпине, воображавшая, что ей передалось остроумие Германтов, подцепила у Орианы выражения: «сформулировать», «редакция» и употребляла их кстати и некстати. А принцесса Пармская, недолюбливавшая принцессу д'Эпине, находившая, что она — уродина, со слов Курвуазье знавшая, что она скупердяйка, и верившая им, что она злюка, вспомнила, что слово «редакция» она уже слышала от герцогини Германтской, но только не знала, в каких случаях оно уместно. Она и впрямь вообразила, что вся прелесть Язвиния Гордого зависит от редакции, и, хотя неприязненное чувство к этой уродливой и скупой даме у нее не прошло, она не в силах была побороть в себе восхищение тем, как хорошо принцесса д'Эпине усвоила остроумие Германтов, и даже решила пригласить ее в Оперу. Она только сочла за благо сперва посоветоваться с герцогиней Германтской. А принцесса д'Эпине, которая, в противоположность Курвуазье, была всегда чрезвычайно любезна с Орианой и любила ее, что не мешало ей завидовать тому, какие у Орианы большие связи, и слегка обижаться, когда герцогиня прохаживалась при всех насчет ее скупости, — принцесса д'Эпине, вернувшись домой,

рассказала, с каким трудом дошел до принцессы Пармской Язвиний Гордый, прибавив, что, мол, сколько же, значит, в Ориане снобизма, раз она способна дружить с такой дурищей. «Если бы даже я и хотела, я бы не могла быть частой гостьей принцессы Пармской — принц д'Эпине ни за что мне бы этого не позволил из-за ее безнравственности, — сказала она ужинавшим у нее друзьям: она имела в виду случаи, будто бы доказывавшие распутство принцессы Пармской, случаи, от начала до конца выдуманные. — Но, откровенно говоря, даже если бы муж у меня был не такой строгий, я бы все-таки к ней не зачастила. Я не понимаю Ориану: как она может постоянно с ней видеться? Я бываю у нее раз в год и с большим трудом высиживаю положенное время».

Что касается тех Курвуазье, которые сидели у Виктюрньены, когда приходила герцогиня Германтская, то ее приход обыкновенно обращал их в бегство, потому что их раздражали «распластывания» перед Орианой. И все же один из Курвуазье остался в день Язвиния Гордого. Он был человек образованный, так что смысл этой шутки до него частично дошел. И Курвуазье начали всем и каждому рассказывать, что Ориана прозвала дядю Паламеда Язвинием Гордым,

при этом они отмечали, что прозвище довольно удачное, но выражали недоумение: почему такой шум вокруг Орианы? Такого шума не было бы и вокруг королевы. «Если разобраться, то что собой представляет Ориана? Я не отрицаю, что род Германтов старинный, но Курвуазье не уступают им ни в чем: ни в славе, ни в древности, и родня у нас не менее достойная. Не следует забывать, что, когда в Парчовом лагере[385] английский король спросил Франциска Первого, кто здесь самый знатный сеньор, французский король ответил: „Курвуазье, ваше величество“». Вообще говоря, если бы все Курвуазье присутствовали при том, как Ориана отпускала шутки, они бы их не оценили, потому что они совсем по-иному рассматривали обстоятельства, по поводу которых Ориана острила. Если, например, у какой-нибудь Курвуазье во время приема гостей не хватало стульев, или если, разговаривая с гостьей, но не узнав ее, она путала ее имя, или если слуга задавал ей нелепый вопрос, то раздосадованная хозяйка краснела от стыда, ее бросало в дрожь, такого рода оплош-

[385] Примечания: 385

Парчовый лагерь — название, данное долине неподалеку от Кале, где состоялась встреча французского короля Франциска I (1494–1547) и английского короля Генриха VIII (1491–1547), тщетно пытавшихся договориться о союзе против немецкого императора Карла V (1500–1558).

ности приводили ее в отчаяние. Если же у нее сидел гость и должна была прийти Ориана, она спрашивала: «Вы с ней знакомы?» — и в ее властном тоне слышалась тревога: она боялась, как бы присутствие незнакомого человека не произвело на Ориану неприятного впечатления. А герцогиня рассказывала о подобных происшествиях, случившихся у нее, так, что Германты хохотали до слез и чуть ли не жалели о том, что это не у них не хватило стульев, что это не они и не их слуги сказали что-нибудь невпопад, что это не к ним пришел человек, которого никто не знал, — вот так же мы завидуем тому, что великих писателей чуждались мужчины и обманывали женщины, ибо если не унижения и не страдания пробудили в них талант, то, во всяком случае, они послужили темой для их произведений.

А еще Курвуазье были неспособны возвыситься до того, чтобы ввести в светскую жизнь новшества, какие вводила герцогиня Германтская, и, приспосабливая ее по внушению безошибочного инстинкта к требованиям времени, претворять в произведение искусства, а ведь чисто рассудочное применение строгих правил дало бы здесь такие же плачевные результаты, как если бы кто-нибудь, стремясь добиться успеха в любви или в

политике, начал совершать подвиги Бюсси д'Амбуаза.[386] Когда Курвуазье устраивали семейный ужин или ужин в честь владетельного князя, то они ни за что не позвали бы на такой ужин остроумного человека, приятеля их сына, — с их точки зрения, это было неприличие, которое могло бы произвести самое неблагоприятное впечатление. Одна из Курвуазье, дочь министра при Императоре, устраивая утренний прием в честь принцессы Матильды,[387] с помощью геометрических построений пришла к выводу, что приглашать надо одних бонапартистов. А она почти никого из них не знала. Беспощадность ее дошла до того, что все ее знакомые элегантные дамы, все симпатичные мужчины получили отставку, потому что, по логике Курвуазье, поскольку они были связаны с легитимистами или сами были легитимистами,

---

[386] Примечания: 386

Бюсси д'Амбуаз, Луи Клермон (1549–1579) — французский аристократ, наместник Анжу, прославившийся как дуэлянт и соблазнитель; был убит на поединке графом Монсоро. Его похождения легли в основу знаменитого романа А. Дюма «Графиня де Монсоро» (1846). Пруст с увлечением читал роман Дюма в 1896 г., о чем сообщал в одном из писем этого времени.

[387] Примечания: 387

Принцесса Матильда (1820–1904) — французская аристократка, племянница Наполеона I, в салоне которой, помимо представителей высшего света, собирались знаменитые литераторы и художники (Флобер, Мериме, братья Гонкур). Пруст регулярно появлялся там начиная с 1891 г.

они могли не понравиться ее императорскому высочеству. Принцессу Матильду, принимавшую у себя цвет Сен-Жерменского предместья, не могло не удивить, что у г-жи де Курвуазье никого нет, кроме одной известной лизоблюдки, вдовы префекта эпохи Империи, вдовы директора почт и еще нескольких человек, преданных Наполеону Третьему, глупых и скучных. Это не помешало принцессе Матильде излить многоводные и ласковые потоки монаршей милости на этих жалких дурнушек, но уж зато когда пришла очередь герцогини Германтской принимать принцессу, то она и не подумала звать их к себе, а вместо них, без всяких априорных соображений насчет бонапартистов, собрала наироскошнейший букет красавиц, величин, знаменитостей, которые, как подсказывали ей особое чутье, такт и музыкальность, должны были прийтись по сердцу племяннице Императора, хотя бы они были из королевской семьи. Тут находился даже герцог Омальский, но когда принцесса, уходя, подняла герцогиню Германтскую, сделавшую реверанс и собиравшуюся поцеловать ей руку, то, поцеловав ее в обе щеки, она совершенно искренне сказала, что никогда еще так приятно не проводила время и не припомнит такого интересного вечера.

Принцесса Пармская была настоящей Курвуазье по неумению вводить новшества в дела светские, но, в отличие от Курвуазье, то, чем беспрестанно озадачивала ее герцогиня Германтская, вызывало у нее не враждебное чувство, а восхищение. Изумление принцессы с годами росло еще и оттого, что она была человеком страшно отсталым. Герцогиня Германтская на самом деле была не такой передовой, как это ей казалось. Но чтобы ошеломлять принцессу Пармскую, достаточно было быть более передовой, чем она, а так как каждое новое поколение критиков только тем и занимается, что высказывает мысли, прямо противоположные тому, что принимали за истину их предшественники, то герцогине стоило изречь, что Флобер, этот враг буржуа, прежде всего сам буржуа или что у Вагнера много от итальянской музыки, — и перед принцессой всякий раз ценою чрезвычайного напряжения сил, точно пловцу в бурю, открывались дали, как ей представлялось, невиданные и так и остававшиеся для нее неясными. В состояние ошеломленности приводили ее парадоксы герцогини не только относительно произведений искусства, но и относительно общих знакомых, а также относительно событий, происходивших в свете. Разумеется, неумение

принцессы Пармской отличать подлинное остроумие Германтов от неразвившихся форм этого же остроумия, заимствованных другими (вот почему принцесса, уверившая себя, что иные представители и особенно представительницы рода Германтов — люди большого ума, потом всякий раз чувствовала себя неловко, когда герцогиня, улыбаясь, обзывала их дурачьем), являлось одной из причин того неизменного изумления, какое вызывали у нее суждения герцогини Германтской о людях. Но была тут и еще одна причина, и я, в то время знавший книги лучше, чем людей, а литературу — лучше, чем свет, понимал ее так, что герцогиня, ведшая светский образ жизни, образ жизни праздный и бесплодный, имеющий такое же отношение к настоящей общественной деятельности, какое в области искусства критика имеет к творчеству, приписывает всему своему окружению неустойчивость взглядов и нездоровую жажду резонера, который, чтобы напоить свой высохший ум, подхватывает парадокс, еще не совсем утративший свежесть, и который не посовестится присоединиться к утоляющей его жажду оценке «Ифигении» Пиччинни,[388] — буд-

[388] Примечания: 388

Пиччинни, Никколо (1728–1800) — итальянский композитор, автор множества опер, из которых лучшими считаются комические.

то бы она лучше «Ифигении» Глюка[389] а в случае чего — и к тому мнению, что истинная Федра — это Федра Прадона.[390] Когда интеллигентная, образованная, умная девушка выходила замуж за конфузливого тупицу, которого мало кто знал и о котором никто никогда не говорил, в один прекрасный день герцогиня Германтская устраивала пиршество для своего ума и не только описывала жену, но и «открывала» мужа. Если бы, например, чета Говожо вращалась в том же обществе, герцогиня Германтская объявила бы, что маркиза де Говожо — дура, а маркиз — человек интересный, непонятый, очаровательный, которому не дает слова сказать балаболка-жена, хотя он на сто голов выше ее, и, провозгласив это, герцогиня почувствовала бы, что она освежилась, подобно

[389] Примечания: 389

Глюк, Христоф Виллибальд (1714–1787) — немецкий композитор, совершивший переворот в оперном искусстве на основе соединения музыки и текста, подчинения музыки требованиям сценической драматургии. После переезда Глюка в Париж (1773) вокруг его творчества разгораются ожесточенные споры, любители музыки делятся на два лагеря — «глюкистов» (в их рядах были и французские энциклопедисты) и «пиччиннистов» (приверженцев сладкозвучного искусства Пиччинни). В 1779 г. на сцене Королевской академии музыки в Париже была поставлена опера Глюка «Ифигения в Тавриде», имевшая шумный успех. Пиччинни пишет тогда оперу на тот же сюжет и с таким же названием, надеясь одержать победу над новатором. Его опера также ставится на сцене Королевской академии музыки (1781). Споры разгораются с новой силой, переходя порой в ожесточенные (а иногда и кровопролитные) схватки между «глюкистами» и «пиччинистами». В итоге последние терпят поражение, искусство Глюка получает полное

признание современников.

[390] Примечания: 390

Прадон, Жак (1644–1698) — французский драматург. Премьера «Федры» Расина состоялась 1 января 1677 г. в Париже, через два дня на сцене одного из парижских театров была представлена «Федра и Ипполит» Прадона, имевшая шумный успех благодаря в основном поддержке влиятельных друзей драматурга, хотевших поставить своего кумира выше Расина. Но триумф Прадона был недолгим.

критику, который, после того как на протяжении семидесяти лет все восхищались «Эрнани,[391]», признается, что ему больше нравится «Влюбленный лев[392]». Если все жалели примерную женщину, жалели со времен ее молодости, женщину поистине святую, вышедшую замуж за подлеца, то в силу той же нездоровой потребности в оригинальничанье ради оригинальничанья герцогиня Германтская в один прекрасный день настаивала на том, что этот подлец — человек хотя и легкомысленный, но очень добрый и что на низкие поступки его толкает бессердечие жены. Я знал, что критике нравится затенять не только целые творения, просуществовавшие длинный ряд столетий, — ей также доставляет удовольствие внутри какого-нибудь произведения вновь погружать во мрак то, что долго лучилось, и извлекать на свет то, что, казалось, обречено на вечное забвение. На моих глазах

[391] Примечания: 391

«Эрнани» — знаменитая драма Виктора Гюго, премьера которой состоялась 25 февраля 1830 г., вызвав ожесточенные споры между «романтиками» и «классиками».

[392] Примечания: 392

«Влюбленный лев» — историческая комедия французского драматурга Франсуа Понсара (1814–1867), сторонника классицизма и ожесточенного противника романтизма, в особенности творчества Гюго.

Беллини[393] Винтергальтер,[394] иезуитские зодчие, краснодеревцы эпохи Реставрации занимали места гениев, объявлявшихся увядшими, объявлявшихся единственно потому, что увяли бездельники интеллигенты, — так всегда рано увядают и отличаются таким же непостоянством неврастеники. В моем присутствии превозносили Сент-Бёва или только как критика, или только как поэта, ругали стихи Мюссе, хвалили его бессодержательные пьесы и восхищались его рассказами. Некоторые эссеисты, ставящие выше самых знаменитых сцен из «Сида» и «Полиевкта» монолог из «Лжеца[395]» только потому, что он, подобно старинному плану, дает представление о Париже XVII века, разумеется, не правы с точки зрения чисто художественной, но отдаваемое

---

[393] Примечания: 393

Беллини — в венецианской семье Беллини было три художника: Якопо (1423–1470) и его сыновья Джентиле (1429–1507) и Джованни (1430–1516). Трудно сказать, кого из них в данном случае подразумевает Пруст.

[394] Примечания: 394

Винтергальтер, Франц (1806–1873) — немецкий художник, приехавший в Париж в 1834 г., получил известность как автор портретов членов императорской семьи и видных аристократов («Наполеон III», «Императрица Евгения с фрейлинами» и др.). «Сид», «Полиевкт» — трагедии Пьера Корнеля (1606–1684).

[395] Примечания: 395

«Лжец» — комедия Пьера Корнеля (1643). «Шалый» («Шалый, или Все невпопад», 1655) — ранняя пьеса Мольера, опирающаяся во многом на традиции итальянской комедии.

ими предпочтение можно, по крайней мере, объяснить их интересом к истории — в отличие от суждений блажной критики, в этом предпочтении эссеистов есть рациональное зерно. Критика готова отдать всего Мольера за один стих из «Шалого» и, утверждая, что «Тристан[396]» Вагнера вообще невыносимо скучен, одобряет только «чудную ноту рога» во время охоты. Эта вкусовая извращенность критики помогла мне понять вкусовую извращенность герцогини Германтской, уверявшей, что какой-нибудь человек ее круга, которого все считали мальм славным, но глупым, — чудовищный эгоист и что он только прикидывается простачком, что еще кто-нибудь, славившийся своей щедростью, — на самом деле олицетворение скупости, что заботливая мать, оказывается, не смотрит за своими детьми, а женщина, по общему мнению безнравственная, украшена самыми высокими добродетелями. Испорченные, очевидно, пустотой светской жизни, ум и душа герцогини Германтской были до крайности неустойчивы, вследствие чего очарованность скоро сменялась у нее разочаро-

[396] Примечания: 396

«Тристан» («Тристан и Изольда», 1865) — опера Вагнера на либретто, написанное самим композитором на основе литературных памятников XIII в.

ванностью (так же как ее вновь и вновь влекло к тому роду остроумия, в котором она старалась усовершенствоваться и к которому потом временно охладевала) и вследствие чего хороший человек, чье обаяние она на себе испытывала, потом, если он слишком часто бывал у нее и чересчур настойчиво добивался от нее советов, которые она не в состоянии была ему дать, начинал раздражать ее, хотя на самом деле раздражал герцогиню не ее поклонник, как это ей представлялось, а ее неспособность наслаждаться — неспособность, свойственная всем, кто довольствуется погоней за наслаждениями. Переменчивость герцогини не распространялась только на ее мужа. Он один никогда не любил ее; она чувствовала несокрушимую твердость его характера, чувствовала, что ее капризы на него не действуют, чувствовала его пренебрежительное отношение к ее красоте, знала его вспыльчивость, знала, какая у него несгибаемая воля, понимала, что лишь в рабстве у таких людей, как он, люди нервные обретают спокойствие. Вместе с тем у герцога Германтского, любившего один-единственный тип женской красоты, но все еще искавшего этот тип, часто меняя любовниц, оставалась, когда он их покидал, постоянная, неизменная сообщница,

с которой, между прочим, можно было посмеяться над ними, которая часто раздражала его своей болтовней, но которую, насколько ему было известно, все считали самой красивой, самой нравственной, самой умной и самой образованной из аристократок, сходясь на том, что герцогу Германтскому очень повезло на жену, всегда покрывавшую его безобразия, умевшую устраивать приемы, как никто, кроме нее, не умел, укреплявшую за своим салоном славу лучшего салона в Сен-Жерменском предместье. Герцог был того же мнения; он часто злился на жену, но и гордился ею. Обожавший роскошь и в то же время прижимистый, он отказывал жене в пустячных суммах на благотворительность, на прислугу, но считал, что у нее должны быть самые богатые наряды и самые красивые выезды. Наконец, он стремился к тому, чтобы все оценили остроумие его жены. А герцогиня Германтская, когда она придумывала сегодня по поводу достоинств, а завтра вдруг по поводу недостатков одного и того же своего приятеля новый изысканный парадокс, сгорала от нетерпения проверить, придется ли он по вкусу тем, кто способен оценить его, насладиться его психологической оригинальностью, сгорала от нетерпения блеснуть лапидарной его

язвительностью. Разумеется, в новых ее суждениях обыкновенно было не больше правды, чем в прежних, часто даже еще меньше; но именно благодаря своеобычности и неожиданности они казались особенно умными, и слышавших эти парадоксы подмывало пересказать их другим. Вот только объектом психологических экспериментов герцогини оказывался обычно человек, ей близкий, и те, с кем она спешила поделиться своим открытием, не подозревали, что он уже у нее не в фаворе; словом, герцогиня Германтская стяжала себе славу на редкость верного друга, отзывчивого, доброго и преданного, и это мешало ей бросаться в атаку; в лучшем случае она могла вмешаться в разговор, как бы вынужденная к этому, как бы нехотя, и подать реплику, чтобы всем казалось, что она хочет утихомирить спорящих, что она возражает своему сообщнику, на самом же деле она поддерживала сообщника, который ее на это вызвал, и вот именно в такой роли был неподражаем герцог Германтский.

Еще одно удовольствие, удовольствие импровизирующей актрисы, доставляло герцогине Германтской высказывать неслыханные суждения о событиях, происходивших в свете, именно те, которые волновали кровь принцессы

Пармской своею неиссякаемою, упоительною неожиданностью. Но, стараясь постичь, какого рода удовольствие получала от этого герцогиня, я опирался не столько на литературную критику, сколько на политическую жизнь и на парламентскую хронику. Когда следовавшие один за другим и один другому противоречившие эдикты, посредством которых герцогиня Германтская то и дело заставляла свое окружение коренным образом менять отношение к людям, начинали надоедать ей, она старалась, исследуя свое поведение в обществе, принимая даже наименее важные решения, каких требовал от нее свет, жить теми искусственно подогреваемыми страстями, которые воодушевляют депутатов на заседаниях, и исполнять те придуманные обязанности, какие возлагают на себя политические деятели. Сплошь да рядом бывает так: министр объясняет Палате, почему он считал правильным придерживаться такой-то линии поведения, и эта линия представляется бесспорной человеку здравомыслящему, на другой день читающему в газете отчет о заседании, а потом тот же здравомыслящий человек вдруг приходит в волнение и начинает сомневаться, прав ли он был, одобряя министра, когда читает дальше,

что речь министра вызывала сильный шум в зале, что оратора прерывали неодобрительные восклицания вроде: «Это очень опасно!», исходившие из уст депутата с таким длинным именем и такими длинными титулами и встретившие такую явную поддержку зала, что сами его слова: «Это очень опасно!» — в приостановке, произведенной ими в речи министра, занимают меньше места, чем полустишие в александрийском стихе. Так, например, когда герцог Германтский, в те времена — принц де Лом, заседал в Палате, в парижских газетах можно было иной раз прочитать, хотя предлагалось это главным образом вниманию Мезеглизского округа, чтобы показать избирателям, что они отдали голоса депутату не бездеятельному и не бессловесному:

«Господин де Германт-Буйон, принц де Лом: „Это очень опасно!“ (*Голоса депутатов центра и некоторых правых: „Правильно! Правильно!“, оживление среди крайне левых.*)»

Здравомыслящий читатель еще не окончательно утратил веру в мудрость министра, но сердце у него опять заколотилось при первых же словах оратора, отвечавшего министру:

«Если бы я сказал, что я изумлен, ошеломлен (*заметное оживление в правой стороне амфите-*

атра), то эти слова были бы бессильны передать впечатление, какое произвела на меня речь того, кто, как я полагаю, все еще входит в состав правительства… (*Гром аплодисментов. Некоторые депутаты устремляются к скамье министров; г-н товарищ министра почт и телеграфов утвердительно кивает головой.*)»

«Гром аплодисментов» окончательно сламывает внутреннее сопротивление здравомыслящего читателя; он уже проникся убеждением, что министр ведет политику оскорбительную для Палаты, возмутительную, хотя на самом деле ни к каким крайним мерам министр не прибегает: разумные действия министра, как, например, заставить богатых платить больше, чем платят бедные, расследовать какое-нибудь темное дело, вести политику мирную, он уже находит предосудительными и усматривает в них нарушение принципов, о которых он, по совести говоря, никогда не думал, которые в природе человека не заложены, но которые будоражат человека, потому что обладают способностью поднимать шум и собирать значительное большинство голосов в Палате.

Нужно, однако, заметить, что это хитроумие политических деятелей, которое помогло мне

разобраться в том, что собой представляет круг Германтов, а потом — что собой представляют и другие круги, есть лишь доведение до крайности того утонченного способа интерпретации, который обыкновенно называют «чтением между строк». На многолюдных собраниях этот утонченный способ принимает уродливые формы вследствие того, что там он доводится до крайности, если же люди совершенно лишены такого рода утонченности, то это значит, что они глупы, ибо они всё понимают буквально, ибо им неясно, что освобождение видного должностного лица от исполнения его обязанностей «согласно его личной просьбе» означает увольнение, и они объясняют себе это так: «Его не уволили, он же сам подал в отставку», что когда русские, воюющие с японцами, по стратегическим соображениям отступили на более укрепленные и заранее подготовленные позиции, то это означает их поражение, что когда германский император дает какой-нибудь провинции автономию в делах религий, то это значит, что он отказывается предоставить ей независимость. Вернемся, однако, к заседаниям Палаты: не лишено вероятия, что, когда заседания только-только начинаются, сами депутаты оказываются в роли здравомыслящего человека,

читающего отчеты. Узнав, что бастующие рабочие направили делегатов к министру, они, быть может, в простоте душевной говорят себе: «Сейчас услышим, договорились они или нет, надо надеяться, что все уладилось», говорят себе в тот момент, когда министр поднимается на трибуну в полной тишине, а тишина уже сама по себе искусственно разжигает страсти. Первые слова министра: «Мне нет необходимости докладывать Палате, что обязанности члена правительства для меня священны и что в силу этого я не мог принять делегацию: по занимаемому мною высокому положению я не вправе вступать с нею в переговоры» — эти его слова действуют на депутатов, как сценический эффект, ибо такого оборота их здравый смысл никак не мог ожидать. Но именно потому, что это настоящий сценический эффект, слова министра покрываются столь бурными аплодисментами, что ему лишь несколько минут спустя удается заговорить снова, а когда он садится на свое место, коллеги поздравляют его. Они так же возбуждены, как в тот день, когда он не позвал на свой юбилей, праздновавшийся торжественно, с участием официальных лиц, председателя муниципального совета, который был к нему настроен враждебно, и говорят, что

и тогда и теперь в нем сказался настоящий государственный деятель.

В те времена герцог Германтский — что очень коробило Курвуазье — часто вместе со своими коллегами ездил поздравлять министра. Мне рассказывали, что, даже когда герцог играл довольно важную роль в Палате, когда о нем говорили как о будущем министре или после́ннике, он, если к нему приходил с просьбой приятель, держал себя с ним на удивление просто и был настолько тактичен, что не корчил из себя видного государственного деятеля, не в пример всем прочим, которые не принадлежали к роду герцогов Германтских. Но это он только говорил, что не придает никакого значения родовитости, что он ничем не выше своих коллег, а думал совсем иначе. Он добивался назначения на высокие посты, притворялся, что ценит их, а в душе презирал и для себя самого оставался герцогом Германтским — вот почему в нем не было надутости, какая появляется у тех, кому обещают видные должности и кто поэтому становится неприступным. Таким образом, его гордость не позволяла ему хоть в чем-нибудь изменить свое подчеркнуто непринужденное обращение с людьми, этого мало: она охраняла и ту ненаигранную простоту,

какая была ему свойственна.

Вернемся к неправильным, но волнующим, как постановления государственных деятелей, приговорам, выносившимся герцогиней Германтской: она озадачивала Германтов, Курвуазье, все Сен-Жерменское предместье и, больше, чем кого-либо, принцессу Пармскую неожиданными своими декретами, а за ее декретами чувствовались принципы, но принципы герцогини были ясны не до конца, и эта их неполная ясность особенно всех изумляла. Если вновь назначенный греческий посланник устраивал костюмированный бал, то каждый обдумывал свой костюм, и все задавали себе вопрос: какой костюм будет у герцогини? Один предполагал, что она захочет нарядиться герцогиней Бургундской, другой считал вполне возможным, что на ней будет костюм принцессы Дюжабара,[397] третий — что костюм Психеи.[398]

---

[397] Примечания: 397

Принцесса Дюжабара — персонаж сказок «Тысяча и одной ночи», в одной из которых она предстает необычайной красавицей, но с растрепанными волосами и в разорванных одеждах.

[398] Примечания: 398

Психея — в греческой мифологии девушка несравненной красоты, внушившая любовь Эроту, за что мать последнего, Венера, навлекла на нее различные испытания. Однако Эрот успел сделать Психею бессмертной, и та была принята в сонм богов. На памятниках изобразительного искусства Психея, олицетворяющая душу, изображалась в виде бабочки или летящей птицы.

Наконец на прямой вопрос одной из Курвуазье: «У тебя какой будет костюм, Ориана?» — следовал ответ: «Да никакого!» — ответ, которого никто не ожидал и который вызывал самые разные толки, ибо он прояснял, что действительно думает Ориана о том, какое положение в обществе занимает вновь назначенный греческий посланник, и о том, как нужно к нему относиться, — прояснял мнение Орианы, которое не худо было бы предугадать, а именно — что герцогине «не подобает» присутствовать на костюмированном балу у этого вновь назначенного посланника.

— Я не считаю нужным ехать к греческому посланнику, я с ним не знакома, я не гречанка, зачем я туда поеду, мне там делать нечего, — говорила герцогиня.

— Но ведь все же к нему поедут, наверно, там будет очень мило! — восклицала герцогиня де Галардон.

— Но ведь приятно и посидеть дома, — возражала герцогиня Германтская.

Курвуазье все еще разводили руками, а Германты, не подражая герцогине, соглашались с ней:

— Конечно, не все могут себе позволить, как Ориана, нарушать обычаи. Но отчасти она, пожалуй, права: она хочет показать, что нам не к лицу

низкопоклонство перед иностранцами, которые неведомо откуда у нас появляются.

Разумеется, зная, сколько всегда бывает разговоров о каждом ее поступке, герцогиня с таким же удовольствием появлялась на семейном торжестве в доме, хозяева которого не смели и думать, что она осчастливит их, с каким оставалась дома или ехала с мужем в театр в тот вечер, когда «все ехали» на бал, или же, когда ожидалось, что она затмит лучшие бриллианты своей фамильной диадемой, являлась без единой драгоценности и не в том туалете, который ошибочно считалось обязательным надевать на такие вечера. Герцогиня была антидрейфусаркой (что не мешало ей верить в невиновность Дрейфуса — вот так же она вела светский образ жизни, а верила только в идеи), но она привела всех в полное изумление на вечере у принцессы де Линь: она продолжала сидеть, когда все дамы встали при появлении генерала Мерсье,[399] а затем встала, громко предложив своим спутникам следовать за ней, когда начал доклад оратор-националист, — она хотела этим показать, что светское общество — не место для разговоров о политике; все повернулись

[399] Примечания: 399

Мерсье, Огюст (1833–1921) — французский генерал, военный министр (1893–1895), занимал этот пост в момент ареста Дрейфуса (1894).

в ее сторону на концерте в Великую пятницу: несмотря на свое вольтерьянство, она вышла из концертного зала, оттого что считала недопустимым выводить на сцену Христа. Всем известно, в какое волнение приводит даже самых важных дам наступление времени года, когда начинаются балы; маркиза д'Амонкур, болтливая, убедившая себя в том, что она — знаток человеческой души, бестактная и оттого часто говорившая глупости, не нашла ничего лучшего, как сказать кому-то из тех, кто пришел выразить ей соболезнование по случаю кончины ее отца, герцога де Монморанси: «Самое печальное, что такое несчастье случается с вами, когда ваш подзеркальник завален пригласительными билетами». Так вот именно в то время года, когда все спешили пригласить герцогиню Германтскую на ужин, боясь, как бы кто-нибудь не перехватил ее, она отказывала по одной-единственной причине, о которой светский человек ни за что бы не догадался: ее интересовали норвежские фьорды, и она собиралась поехать туда морем. Люди из высшего света были потрясены, и хотя подражать герцогине никто из них не намеревался, они почувствовали некоторое облегчение, вроде того, какое чувствуют читатели Канта, когда, приводя самые веские

доказательства в пользу детерминизма, он потом открывает над миром необходимости мир свободы. Любое открытие, которое никому из нас прежде не приходило в голову, волнует умы даже тех, кто не сумеет извлечь из него пользу. Изобретение пароходного сообщения — сущий пустяк по сравнению с решением воспользоваться пароходным сообщением в то время, когда обычно никто не трогается с места из-за начала сезона балов. Мысль, что можно добровольно отказаться от сотни званых обедов и завтраков, от двух сотен «чашек чаю», от трех сотен званых вечеров, от самых блестящих понедельников в Опере и вторников во Французской комедии ради норвежских фьордов, была так же непонятна Курвуазье, как «Двадцать тысяч лье под водой», но и они ощущали в ней прелесть независимости. Итак, не проходило дня, чтобы вам не задавали не только вопроса: «Слыхали последнее словцо Орианы?», но и: «Вы слыхали о последнем номере Орианы?» И к «последнему номеру Орианы», и к «последнему словцу Орианы» непременно прибавляли: «Как это характерно для Орианы!»; «Вот так Ориана!»; «В этом вся Ориана». Последний номер Орианы состоял, например, вот в чем: ей поручалось ответить от имени одного патриотического

общества кардиналу Х, епископу Маконскому[400] (герцог Германтский обычно называл его «господин де Маскон»: ему казалось, что это пахнет старой Францией), и все старались угадать, как будет написано письмо, но никто не сомневался, что обратится она к кардиналу: «Ваше высокопреосвященство» или «Монсеньор», а вот насчет дальнейшего можно было только строить догадки, Ориана же, ко всеобщему изумлению, обращалась к нему: «Господин кардинал», или, по старинному академическому обыкновению, «Брат мой» — так в былые времена обращались друг к другу князья церкви, Германты и государи, прося Бога «сохранить их своею благодатью». Чтобы в свете заговорили о «последнем номере Орианы», от нее требовалось хотя бы вот что: на спектакле, который смотрел весь Париж, на премьере очень милой пьесы, когда публика искала герцогиню Германтскую в ложе принцессы Пармской или принцессы Германтской и во многих других ложах, куда ее приглашали, она должна была сидеть в кресле одна, в черном платье, в малюсенькой шапочке, а войти в зал

[400] Примечания: 400

Епископ Маконский — епархия Макона была присоединена к епархии Отена в 1790 г., таким образом во времена Пруста епископа Маконского не существовало.

до поднятия занавеса. «Если пьеса стоящая, то лучше не опаздывать к началу», — говорила герцогиня, шокируя Курвуазье и восхищая Германтов и принцессу Пармскую, которых вдруг осеняло, что «правило» смотреть пьесу с самого начала новее других правил, что в нем больше оригинальности и благоразумия (у Орианы не было намерения кого-либо этим удивлять), чем приезжать к последнему действию после званого ужина или вечера. У принцессы Пармской могли возникнуть самые разные поводы, чтобы прийти в изумление, и ей надо было быть к этому готовой, когда она задавала герцогине Германтской вопрос, касавшийся литературы или светской жизни, — вот почему на ужинах у герцогини ее высочество выбирала самый незначительный предмет для разговора, да и то с тревожной и блаженной осторожностью купальщицы, выплывающей между двух «валов».

Салон герцогини Германтской, так же как, по Лейбницу, каждая монада, отражая в себе вселенную, вносит в нее что-то свое, отличался от двух-трех почти не уступавших ему и возвышавшихся над другими салонами Сен-Жерменского предместья, между прочим, тем, — и это была как раз наименее приятная его особенность, — что

его обычно посещали очень красивые женщины, единственным правом которых на вход в этот салон была их красота, то, в каких целях она была нужна герцогу Германтскому, и присутствие которых не вызывало сомнений, что если в других салонах хозяева — прежде всего ценители редких картин, то здесь муж является страстным поклонником женских прелестей. Красавицы были чуть-чуть похожи друг на друга — дело в том, что герцогу нравились женщины высокого роста, величественные и вместе с тем беззастенчивые, представлявшие собой нечто среднее между Венерой Милосской;[401] и Самофракийской Победой[402] чаще это были блондинки, реже — брюнетки, иногда — рыжие, как, например, появившаяся недавно и присутствовавшая на том ужине, на который был приглашен я, виконтесса д'Арпажон: еще недавно герцог был в нее влюблен без памяти, долго заставлял ее посылать себе по десяти телеграмм в день (герцогиню это слегка раздражало), и когда уезжал в Германт, то пользо-

[401] Примечания: 401

Венера Милосская — знаменитая статуя Афродиты, найденная на острове Милос в Эгейском море в 1820 г., хранится в Лувре.

[402] Примечания: 402

Самофракийская Победа — античная статуя богини победы Ники (конец VI в. до н. э.), найденная на острове Самофракия в Эгейском море в 1863 г., хранится в Лувре.

вался для переписки с ней почтовыми голубями и так был к ней привязан, что в ту зиму, когда жил в Парме, раз в неделю, тратя на путешествие два дня, приезжал повидаться с ней в Париж.

Почти все красивые эти статистки были когда-то любовницами герцога (к их числу принадлежала и виконтесса д'Арпажон), или же романы его с ними приближались к концу. Все-таки, пожалуй, не столько красота и щедрость герцога побуждали их уступать его желаниям, сколько обаяние герцогини, под которым они находились, и надежды на то, что они будут приняты у нее в салоне, а ведь они тоже были из высшей аристократии, только сортом ниже. Впрочем, герцогиня не ставила им непреодолимых преград на пути их проникновения к ней; она помнила, что многие из них оказывались ее союзницами, благодаря которым ей удавалось в большинстве случаев добиться крайне ей необходимого, в чем муж отказывал ей наотрез, если не был тогда покорен другой женщиной. А что герцогиня принимала только тех женщин, с которыми у герцога была весьма длительная связь, то объяснялось это, вернее всего, вот чем: когда на герцога, как буря, налетала страсть, ему казалось, что это мимолетное увлечение, и он

полагал, что вознаграждать любовницу приглашением к жене — это слишком большая для нее честь. Между тем он готов был предложить такое вознаграждение за нечто гораздо меньшее, за первый поцелуй, если он неожиданно для себя наталкивался на сопротивление или, наоборот, не встречал никакого сопротивления. В любви признательность, желание доставить удовольствие часто побуждают быть более щедрым, чем щедрые на посулы надежда и вожделение. Но в таких случаях исполнению желания герцога мешали другие обстоятельства. Начать с того, что всех женщин, отвечавших герцогу взаимностью, он превращал в невольниц иной раз даже до того, как они сдавались. Он не разрешал им с кем-либо встречаться, почти все время проводил с ними, занимался воспитанием их детей, которым он иногда дарил братца или сестрицу, о чем свидетельствовало потрясающее сходство. Потом, если в начале связи знакомство с герцогиней Германтской, никоим образом не входившее в намерения герцога, представляло известный интерес для его любовницы, то с течением времени связь меняла ее отношение к нему: герцог был для нее уже не только мужем самой элегантной женщины в Париже, но и человеком, которого она любила, а

кроме того, человеком, который давал ей деньги и приучил к более широкому образу жизни и благодаря которому она теперь иначе отвечала себе на вопрос: что важнее — снобизм или выгода? Наконец, у некоторых любовниц герцога просыпалась ревность к герцогине Германтской и принимала всевозможные виды. Но это был самый редкий случай; к тому же, когда день представления герцогине наконец наступал (обычно когда герцог охладевал к своей возлюбленной, а поступки герцога, как и поступки каждого человека, чаще всего обусловливались предшествовавшими его действиями, на которые его теперь уже ничто не толкало), то часто оказывалось, что сама герцогиня Германтская пожелала встретиться с любовницей герцога, которая была ей необходима, в которой она чаяла найти драгоценную союзницу в борьбе со своим грозным мужем. Не следует думать, однако, — редкие мгновения, когда герцогиня, сидя у себя дома, слишком много говорила и когда герцог выходил из себя или когда он упорно молчал, что было еще страшнее, эти редкие мгновения в счет не идут, — что герцог Германтский не соблюдал по отношению к своей жене так называемых правил приличия. Люди, которые не знали их близко,

могли составить себе на этот счет неверное представление. Иногда осенью, между скачками в Довиле, лечением на водах и охотой в Германте, в течение нескольких недель, которые принято проводить в Париже, герцог, зная, что герцогиня любит кафешантаны, ходил с ней туда по вечерам. Публика тотчас же обращала внимание на появлявшегося в одной из маленьких двухместных лож бенуара Геркулеса «в смокинге» (во Франции каждую вещь, о которой с большим или меньшим правом можно сказать, что она — британского происхождения, называют не так, как в Англии), с моноклем, державшего в большой, но красивой руке, на безымянном пальце которой сверкал сапфир, толстую сигару и время от времени затягивавшегося, почти не сводившего глаз со сцены и лишь изредка бросавшего взгляд на партер, где он, кстати сказать, никого не знал, и придававшего тогда своему лицу мягкое, сдержанное, благожелательное, учтивое выражение. Если куплет казался герцогу смешным и не чересчур непристойным, он с улыбкой оборачивался к жене, добродушно-заговорщицки подмигивал ей, и то невинно-веселое настроение, в которое приводила ее новая шансонетка, как будто передавалось ему. И зрители могли думать, что такого

хорошего мужа, как герцог, на всем свете не сыщешь и что герцогине можно только позавидовать — позавидовать женщине, с которой герцога ничто решительно не связывало, женщине, которую он не любил, которую он на каждом шагу обманывал; когда герцогиня утомлялась, герцог Германтский вставал, подавал ей пальто, поправлял колье, чтобы оно не цеплялось за подкладку, и до самого выхода прокладывал ей дорогу с услужливой и почтительной заботливостью, она же принимала его заботы с холодностью светской женщины, расценивавшей его заботливость как проявление самой обыкновенной вежливости, а иной раз даже с чуть-чуть насмешливой горечью разочаровавшейся жены, у которой не осталось уже никаких иллюзий. И все-таки, несмотря на то, что внешне все обстояло благополучно, все-таки, если не принимать во внимание казовой стороны светской любезности, вынесшей чувство долга из глубины на поверхность еще в давнее время, которое, однако, не прошло для тех, кто его помнит, жизнь у герцогини была нелегкая. Герцог Германтский опять становился щедрым, добрым только ради новой любовницы, которая чаще всего принимала сторону герцогини; тогда герцогиня вновь получала возможность

проявлять щедрость по отношению к прислуге, помогать бедным, а потом купить себе новый роскошный автомобиль. Но герцогиню Германтскую довольно скоро начинали раздражать люди, всецело ей преданные, и возлюбленные герцога не составляли исключения. В короткий срок они успевали надоедать герцогине. Теперь как раз намечался разрыв герцога с виконтессой д'Арпажон. Восходила звезда новой дамы сердца.

Правда, чувство, которое герцог Германтский испытывал то к той, то., к другой, рано или поздно вновь давало о себе знать; прежде всего, это чувство перед смертью завещало их, как прекрасные мраморные статуи — статуи, прекрасные для герцога, ставшего в известной мере художником, потому что он любил их, и ценившего теперь красоту линий, которые, не любя, он бы не оценил, — салону герцогини, где они выставляли свои формы, долгое время одна с другой враждовавшие, снедаемые ревностью, ссорившиеся и наконец зажившие в дружбе, мире и согласии; эта их дружба порождалась любовью к ним герцога Германтского, дававшей ему возможность разглядеть у своих любовниц достоинства, существующие у каждого человека, но распознаваемые только сладострастием, в

силу чего бывшая любовница, превратившаяся в «чудного товарища», который готов помочь нам во всем, переходит на амплуа врача или отца, на самом же деле не врача и не отца, а друга дома. Но на первых порах женщина, которую герцог бросал, жаловалась, устраивала сцены, делалась требовательной, надоедливой, бесцеремонной. Герцога она начинала злить. Вот тут-то герцогине Германтской и удавалось выяснить, какие недостатки действительно есть у досаждающей ей особы и какие ей только приписываются. Известная своей отзывчивостью, герцогиня Германтская безропотно выслушивала по телефону прерываемые рыданиями признания покинутой, а немного погодя прохаживалась на ее счет вместе со своим мужем, потом — кое с кем из близких друзей. Полагая, что участие, которое она проявила к несчастной женщине, дает ей право посмеиваться над ней даже в ее присутствии, о чем бы она ни говорила, лишь бы ее слова не расходились с тем смешным видом, в каком герцог и герцогиня с недавних пор ее выставляли, Ориана, не стесняясь, обменивалась с мужем насмешливо-многозначительными взглядами.

Между тем принцесса Пармская, садясь за стол, вспомнила, что ей хотелось пригласить в Оперу

принцессу д'Эдикур, и тут она, с целью выяснить, не будет ли это неприятно герцогине Германтской, решила позондировать почву.

В этот момент вошел граф де Груши — поезд, которым of. ехал, из-за крушения другого поезда на час опоздал. Граф долго извинялся. Если бы его жена была урожденная Курвуазье, она сгорела бы со стыда. Но графиня де Груши была Германт «кость от кости». Когда ее муж извинялся за опоздание, она заметила:

— Опаздывать из-за пустяков — в традициях вашей семьи, — это мне хорошо известно.

— Садитесь, Груши, есть из-за чего расстраиваться! — сказал герцог.

— Хоть я и иду в ногу с временем, все-таки я не могу не признать, что в битве под Ватерлоо есть и своя хорошая сторона: мало того, что благодаря этой битве произошла реставрация Бурбонов, — она привела их к власти таким путем, который сделал их непопулярными. Но вы, оказывается, настоящий Нимрод![403]

— Да, правда, я привез отменную дичь. С позволения герцогини, завтра я пришлю ей десяток

---

[403] Примечания: 403

Нимрод — в ветхозаветном предании легендарный вавилонский царь и основатель Ниневии (Быт. 10, 8 — 12); славился как искусный охотник.

фазанов.

В глазах герцогини Германтской мелькнула какая-то мысль. Она обратилась к графу де Груши с настойчивой просьбой не присылать ей фазанов. Она подозвала лакея-жениха, с которым я поговорил, выйдя из залы, где висели картины Эльстира.

— Пулен! — сказала она. — Сходите завтра за фазанами к его сиятельству Груши! Вы разрешите мне поделиться? Нам с Базеном десять фазанов не съесть.

— Можно и послезавтра, — ответил граф де Груши.

— Нет, лучше завтра, — возразила герцогиня.

Пулен побледнел: значит, свидание с невестой не состоится! Зато герцогиня была удовлетворена: ей хотелось, чтобы все видели, какая она добрая.

— Завтра у вас свободный день, — сказала она Пулену, — но вы поменяйтесь с Жоржем: я отпущу его завтра, а послезавтра он заменит вас.

Но послезавтра занята невеста Пулена! Пулену все равно, отпустят его в этот день или нет. Когда Пулен вышел, все стали хвалить герцогиню за хорошее отношение к слугам.

— Просто я поступаю с ними так, как я бы хоте-

ла, чтобы поступали со мной.

— Вот именно! Как же им не дорожить таким чудным местом?

— Ну не такое уж оно чудное! Но я думаю, что они меня любят. Как раз Пулен меня слегка раздражает: он влюблен и по этому случаю напускает на себя меланхолию.

Тут вернулся Пулен.

— А ведь и в самом деле, — заметил граф де Груши, — что-то он нос повесил. С ними надо быть добрым, но только не чересчур.

— Я хозяйка не строгая: он сходит к вам за фазанами, а потом весь день просидит сложа руки и съест то, что придется на его долю.

— Многие с радостью пошли бы на его место, — сказал граф де Груши: как известно, зависть слепа.

— Ориана! — сказала принцесса Пармская. — На днях у меня была ваша родственница д'Эдикур; сразу видно, что она необыкновенно умна; она — из рода Германтов, этим все сказано, но, кажется, у нее злой язык…

Герцог посмотрел на жену долгим взглядом, в котором читалось притворное изумление. Герцогиня Германтская засмеялась. Наконец принцесса перехватила взгляд герцога.

— А… разве вы… со мной не согласны?.. — с тревогой в голосе спросила она.

— Вы, принцесса, из любезности уделяете слишком много внимания выражению лица Базена. Перестаньте, Базен, у вас такой вид, как будто вы плохо думаете о наших родственниках.

— По его мнению, она очень злая? — живо спросила принцесса.

— Да нет же! — возразила герцогиня. — Не знаю, кто мог сказать вашему высочеству, что у нее злой язык. Напротив, это добрейшее существо, она никогда ни о ком дурного слова не сказала и никому не сделала зла.

— Ах, вот оно что! — облегченно воскликнула принцесса Пармская. — Я тоже никогда за ней этого не замечала. Но ведь людям большого ума трудно бывает удержаться от острого словца…

— Ну, положим, ума у нее еще меньше, чем злости.

— Меньше ума? — с изумлением переспросила принцесса.

— Ах, Ориана! — жалобным тоном заговорил герцог, бросая то туда, то сюда озорной взгляд. — Вы же слышали: принцесса сказала, что это женщина необыкновенная.

— А разве нет?

— Во всяком случае, это женщина необыкновенной толщины.

— Не слушайте его, принцесса, он говорит не то, что думает; она глупа, *как все равно пробка*, — громким и хриплым голосом проговорила герцогиня; она умела дать почувствовать старую Францию еще лучше, чем герцог, если он к этому не стремился; ей часто хотелось, чтобы от нее веяло этим духом, но, в отличие от стилизованной манеры герцога, словно щеголявшего в кружевном жабо, она избирала, в сущности, гораздо более тонкий прием: она употребляла почти крестьянские обороты речи, от которых исходил чудесный терпкий запах земли. — Но она изумительный человек. Да и потом, я даже не знаю, можно ли эдакую непроходимую глупость назвать глупостью. Я таких, как она, пожалуй что и не встречала; это случай клинический, в этом есть что-то ненормальное, она — «блаженненькая», слабоумная, «дурочка», — таких нам показывают в мелодрамах, вспомните также «Арлезианку[404]». Я всегда задаю себе вопрос, когда она бывает у меня: а ну как у нее сейчас проявит-

[404] Примечания: 404

«Арлезианка» — драма Альфонса Доде по одноименной новелле из «Писем с моей мельницы» (1869), положена на музыку Жоржем Бизе в 1872 г.

ся ум? И это всегда меня немножко пугает.

Принцессу восхищали обороты речи, которыми пользовалась герцогиня, но она все еще не могла опомниться от ее вердикта.

— И она, и принцесса д'Эпине пересказывали мне вашу остроту насчет Язвиния Гордого. Чудно! — заметила принцесса.

Герцог Германтский разъяснил мне, в чем соль этой остроты. Меня подмывало сказать ему, что я обещал его родственнику, уверявшему, будто он со мной не знаком, прийти к нему сегодня в одиннадцать часов вечера. Но я не спросил Робера, можно ли кому-нибудь говорить о нашем свидании, а так как то, что мы с ним об этом почти твердо условились, противоречило его словам, сказанным герцогине, я решил, что деликатнее будет умолчать.

— Язвиний Гордый — это недурно, — заметил герцог, — но принцесса д'Эдикур, наверное, не привела вам более острого словца, которое Ориана сказала ей в ответ на приглашение к завтраку.

— Нет, нет! А что это за словцо?

— Перестаньте, Базен! Ведь я же сказала глупость, и принцесса будет думать обо мне еще хуже, чем о моей пустоголовой родственнице. Да,

кстати: почему, собственно, я называю ее своей родственницей? Это родственница Базена. Впрочем, она и со мной в отдаленном родстве.

— Да ну что вы! — воскликнула принцесса Пармская, придя в ужас от одной мысли, что герцогиня Германтская может показаться ей дурой, против этого восставало все ее существо, ибо ничто не властно было низвергнуть герцогиню с той высоты восторга, на которой она стояла в глазах принцессы.

— Мы уже лишили ее умственных способностей, между тем мое словцо посягает еще и на некоторые ее душевные свойства, а это уже негуманно.

— Посягает! Негуманно! Как она хорошо говорит! — воскликнул герцог с деланной насмешкой в голосе, чтобы все пришли от герцогини в восторг.

— Да будет вам, Базен! Не издевайтесь над женой!

— Надо вам сказать, ваше королевское высочество, — продолжал герцог, — что родственница Орианы — женщина превосходная, добрая, толстая, все, что хотите, но она… как бы это выразиться? — не мотовка.

— Да, я знаю, что она жадюга, — перебила его

принцесса.

— Я бы не позволил себе так о ней отозваться, но вы определили ее точно. Это сказывается на всем ее домашнем быту, в частности — на ее питании. Питается она отлично, но соблюдает умеренность.

— Из-за этого даже происходят иногда довольно смешные случаи, — вмешался граф де Брео-те. — Так, например, милый мой Базен, я был у Эдикуров в тот день, когда они ждали Ориану и вас. Приготовления в доме были самые пышные, как вдруг перед вечером лакей приносит телеграмму, в которой вы даете знать, что приехать не сможете.

— А что же тут удивительного? — воскликнула герцогиня; она не довольствовалась тем, что с трудом поддавалась на уговоры куда-нибудь пойти, — ей хотелось, чтобы об этом было известно всем.

— Ваша родственница читает телеграмму, телеграмма ее огорчает, но она мигом берет себя в руки и, решив, что на такую неважную особу, как я, особенно тратиться не стоит, зовет лакея и говорит: «Скажите повару, чтобы он не жарил цыпленка». А вечером я слышал, как она спрашивала дворецкого: «Ну? А то, что осталось от

вчерашнего жаркого? Что же вы не подаете?»

— А все-таки у нее в доме любят хорошо покушать, — сказал герцог, воображая, что это выражение придает ему сходство с прежним вельможей. — Другого дома, где бы так вкусно готовили, я просто не знаю.

— И так мало, — вставила герцогиня.

— Это очень полезно для здоровья такому, грубо выражаясь, мужичище, как я, больше и не нужно, — возразил герцог, — встаешь из-за стола ни сыт, ни голоден.

— В таком случае это лечебное питание, стол не роскошный, а диетический. Нет, он совсем не так хорош, — продолжала герцогиня; она не любила, когда лучшей кухней в Париже признавали не ее кухню, а чью-нибудь еще. — Моя родственница напоминает страдающих запором писателей, которые раз в пятнадцать лет высиживают одноактную пьеску или сонет. Такие вещи называют маленькими шедеврами, драгоценными безделушечками, а я их совершенно не выношу. Кухня у Зинаиды неплохая, но она могла бы быть лучше, если б хозяйка была не такая скаредная. Некоторые блюда ее повар готовит хорошо, а другие ему не удаются. Я попадала к ней, — впрочем, это случается везде, — на отвратительные ужины, но

мне от них было не так плохо, как после ужинов в других домах, — ведь в конце-то концов для желудка вреднее количество, чем качество.

— Короче говоря, — заключил герцог, — Зинаида тащила Ориану к себе завтракать, а моя жена не любит часто ходить в гости, она отнекивалась, все выведывала, не заманивают ли ее хитростью, якобы на завтрак в интимном кругу, на какой-нибудь кутеж, и тщетно старалась выяснить, кого еще пригласили. «Приходи, приходи, — настаивала Зинаида и расхваливала вкусные вещи, которыми она собиралась попотчевать ее. — Я уже заказала пюре из каштанов, но это еще не все: будет семь кусочков торта». — «Семь кусочков торта! — воскликнула Ориана. — Значит, нас будет по крайней мере восемь человек?»

До сознания принцессы Пармской это дошло не сразу, но, поняв, она раскатилась своим громоподобным хохотом.

— Ха-ха-ха! «Стало быть, нас будет восемь человек»! Какая прелесть! Как это точно сформулировано! — сказала она, ценою наивысшего напряжения памяти вспомнив выражение, которое употребляла принцесса д'Эпине и которое в данном случае было уместнее.

— Ориана! Принцесса очень хорошо сказала:

«точно сформулировано».

— Меня, мой друг, это не удивляет, я знаю, что принцесса очень остроумна, — отозвалась герцогиня Германтская: слова, произнесенные кем-либо из высочеств в похвалу ее остроумию, доставляли ей видимое удовольствие. — Я очень горжусь тем, что принцесса одобряет мое слабое умение излагать свои мысли. Но только я не помню, чтобы я это говорила. А если и сказала, то чтобы польстить моей родственнице: ведь если у нее было, так сказать, семь тортов, то ртов, уж наверно, перевалило за десять.

В это время виконтесса д'Арпажон, еще до ужина уверявшая меня, что ее тетка была бы счастлива показать мне свой замок в Нормандии, заговорила со мной через голову принца Агригентского о том, что ей очень хочется, чтобы я приехал к ней в Кот-д'Ор, потому что только там, в Понле-Дюк, она чувствует, что она у себя дома.

— Вам будет интересно посмотреть архив замка. В нем собраны необыкновенно любопытные письма, которые писали друг другу самые замечательные люди семнадцатого, восемнадцатого и девятнадцатого веков. Мне там так хорошо: я живу прошлым! — убежденно произнесла виконтесса (герцог Германтский еще раньше говорил

мне о ней, что она прекрасно знает литературу).

— У нее хранились все рукописи де Борнье,[405] — продолжала принцесса Пармская: ей хотелось, чтобы общество поняло, что ее связывают с принцессой д'Эдикур духовные интересы.

— Воображаю, как она об этом мечтала! По-моему, она даже не была с ним знакома, — заметила герцогиня.

— Переписка с людьми из разных стран очень много дает, — сказала виконтесса д'Арпажон: она была в родстве с лучшими из герцогских фамилий и даже с царскими семьями и была рада лишний раз об этом напомнить.

— Нет, была, Ориана, — не без умысла возразил герцог Германтский. — Помните ужин, во время которого вы сидели рядом с де Борнье?

— Вы, Базен, хотите сказать, что я знала де Борнье? — перебила его герцогиня. — Конечно, знала, он даже несколько раз приходил ко мне, но без зова, — у меня не хватало духу пригласить его, после его ухода я каждый раз должна была все протирать формалином. А тот ужин я прекрасно помню, но только это было вовсе не

---

[405] Примечания: 405

Борнье, Анри, виконт де (1825–1901) — французский поэт и драматург, член Французской академии (1893), автор исторической драмы «Дочь Роланда» (1875).

у Зинаиды, — она в глаза не видела де Борнье, и когда при ней говорят о «Дочери Роланда», то она, наверно, думает, что речь идет о принцессе Бонапарт,[406] которую хотели выдать замуж за греческого короля; нет, ужин был в австрийском посольстве. Очаровательный Ойо[407] воображал, что доставляет мне удовольствие, сажая рядом со мной вонючего академика. Это все равно что подсадить эскадрон жандармов. Мне пришлось в течение всего ужина по возможности затыкать нос, я втягивала в себя запах швейцарского сыра!

Герцог Германтский, достигший своей тайной цели, украдкой поглядывал на гостей, чтобы проверить, какое впечатление производит на них рассказ герцогини.

— В самом деле, письма имеют для меня особую прелесть, — продолжала, несмотря на преграду, каковой являлась для нас голова принца Агригентского, дама, которая прекрасно знала литературу и в замке у которой хранились необы-

---

[406] Примечания: 406

Принцесса Бонапарт — Мария Бонапарт (1882–1962), дочь принца Ролана Бонапарта (1858–1924); в 1907 г. вышла замуж за принца Георга Греческого (1869–1957), сына короля Георга I (1845–1913).

[407] Примечания: 407

Ойо — собственно граф Ойо-Шпринзенштейн (1834–1895), австрийский посол в Париже с 1883 по 1894 г.

чайно любопытные письма. — Не кажется ли вам, что письма многих писателей выше всего их творчества? Вы не помните, как фамилия автора «Саламбо»?

Я предпочел бы ничего не ответить ей, чтобы тем самым прекратить разговор, но почувствовал, что обижу принца Агригентского: на его лице было написано, что он отлично знает, кто написал «Саламбо», что он только из вежливости не лишает меня удовольствия ответить на ее вопрос, но что это стоит ему больших усилий.

— Флобер, — наконец выговорил я, но, из-за того что принц в эту минуту утвердительно кивнул головой, до того невнятно, что моей собеседнице могло послышаться: «Поль Бер[408]» или «Фюльбер[409]», а эти имена мало что говорили ей.

— Словом, — продолжала она, — насколько же его письма интереснее и лучше его книг! Кроме того, когда читаешь его письма, то становится

---

[408] Примечания: 408

Бер, Поль (1833–1886) — французский физиолог и политический деятель, инициатор принятия закона об обязательном бесплатном начальном образовании (1882).

[409] Примечания: 409

Фюльбер — история сохранила имена двух Фюльберов: первый — епископ Шартрский (ок. 960—1028), автор «Писем», описывающих жизнь феодального общества, второй — парижский каноник, живший в XI веке, дядя и опекун Элоизы, возлюбленной Пьера Абеляра (1079–1142), повинный в насильственном оскоплении последнего.

ясно — ведь он много раз повторяет, как трудно дается ему работа над книгой, — что это не настоящий писатель, что призвания к литературе у него нет.

— Вот вы заговорили о переписке; по-моему, письма Гамбетты[410] изумительны, — молвила герцогиня Германтская; ей хотелось показать, что она не считает зазорным проявлять интерес к пролетарию и радикалу. Граф де Бреоте вполне оценил ее смелость; он посмотрел вокруг умиленно и растроганно, затем протер свой монокль.

— Боже мой! «Дочь Роланда» — это же скука смертная! — возвращаясь к де Борнье, воскликнул герцог Германтский с удовлетворением человека, сознающего свое превосходство над пьесой, на представлении которой он готов был повеситься со скуки, а быть может, с чувством suave mari magno,[411] которое мы испытываем во время вкусного обеда, вспоминая такие ужасные вечера. — А все-таки в ней есть несколько хоро-

---

[410] Примечания: 410

Гамбетта, Леон-Мишель (1838–1882) — французский адвокат и политический деятель-республиканец. Часть его писем была опубликована в 1907 г.

[411] Примечания: 411

…suave mari magno… — цитата из книги Лукреция «О природе вещей» (II, 1–2). Слова эти, означающие буквально «приятно, когда в широком море.», вошли в поговорку и употребляются для выражения радости, избавления от опасности, которой подвергаются другие.

ших стихов и патриотическое чувство!

Я признался, что я отнюдь не в восторге от де Борнье.

— Вот как? Что же вам в нем не нравится? — с любопытством спросил герцог: он был убежден, что если мы о мужчине говорим плохо, значит, он нас чем-нибудь обидел, а если о женщине — хорошо, значит, у нас с ней завязывается интрижка. — У вас на него зуб. Что он вам сделал? Расскажите! Да ведь это же ясно: раз вы его ругаете, значит, между вами пробежала черная кошка. «Дочь Роланда» — вещь растянутая, но все-таки от нее чем-то этаким веет.

— Веет — это очень верное слово в применении к такому пахучему автору, — с насмешкой в голосе прервала мужа герцогиня Германтская. — Если наш милый мальчик когда-нибудь с ним встречался, то что же удивительного, если ему все еще чудится запах де Борнье?

— Должен вам признаться, — обращаясь к принцессе Пармской, снова заговорил герцог, — что, если оставить в стороне «Дочь Роланда», я в литературе и даже в музыке человек до ужаса отсталый, я люблю только старье. Вы не поверите, но когда моя жена садится вечером за рояль, я иной раз прошу ее сыграть что-нибудь старинное

из Обера, Буальдье,[412] даже из Бетховена! Таков мой вкус. А вот от музыки Вагнера меня сейчас же начинает клонить в сон.

— Вы не правы, — возразила герцогиня Германтская, — при всех своих невыносимых длиннотах Вагнер гениален. «Лоэнгрин» — шедевр. Даже в «Тристане» есть интересные места. А хор прях из «Летучего голландца» — это уже настоящее чудо.

— Ну а мы с тобой, Бабал, — обратился герцог к графу де Бреоте, — предпочитаем: «Сей дивный уголок[413] как будто предназначен, чтоб люди знатные встречаться здесь могли», не правда ли? Упоительно! И «Фра-Дьяволо[414]», и «Волшебная флейта[415]», и «Шале[416]», и «Свадьба Фигаро[417]», и «Бриллиантовая корона» — вот

---

[412] Примечания: 412

Буальдье, Франсуа-Адриен (1775–1834) — французский композитор, автор комических опер; наибольшей популярностью пользовались его одноактная опера «Калиф Багдадский» (1800), обошедшая все оперные сцены Европы, и опера «Белая дама» (1825), высоко оцененная К. Вебером (1786–1826).

[413] Примечания: 413

«Сей дивный уголок.» — начало дуэта Жиро и Нисетты из первого акта комической оперы французского композитора Луи Жозефа Фердинанда Герольда (1791–1833) «Пре-о-Клер» (1832) на либретто Франсуа Антуана Эжена де Плана-ра (1784–1853).

[414] Примечания: 414

«Фра-Дьяволо» («Гостиница в Террачине») — знаменитая комическая опера Ф.-Э. Обера на либретто Э. Скриба; первое представление состо-

ялось в Париже в 1830 г.

[415] Примечания: 415

«Волшебная флейта» (1791) — опера Моцарта на либретто Э. Шикандера.

[416] Примечания: 416

«Шале» (1834) — одна из ранних и малоизвестных опер французского композитора Адольфа-Шарля Адана (1803–1856) на либретто Э. Скриба.

[417] Примечания: 417

«Свадьба Фигаро» (1786) — комическая опера Моцарта на либретто Л. Да Понте по одноименной комедии Бомарше.

это, я понимаю, музыка! Так же обстоит дело и с литературой. Я обожаю Бальзака: «Бал в Со[418]», «Парижских могикан[419]».

— Дорогой мой! Раз вы собираетесь дать бой за Бальзака, значит, сегодня это не кончится, погодите, приберегите свой пыл до того вечера, когда у нас будет Меме. Иметь такого соратника — чего же лучше: он знает Бальзака наизусть.

Герцог обозлился на жену за то, что она перебила его, и несколько мгновений держал ее под прицелом грозного молчания. Охотничьи его глаза напоминали два заряженных пистолета. Между тем виконтесса д'Арпажон обменивалась мнениями с принцессой Пармской о стихотворной трагедии и о чем-то еще, но я плохо слышал их разговор, и вдруг до меня явственно донеслись слова виконтессы д'Арпажон: «О, тут вы совершенно правы, я тоже считаю, что он показывает нам жизнь с уродливой стороны, оттого что не отличает уродливого от прекрасного, или, вернее, оттого что он дико тщеславен и воображает, будто что бы он ни изрек — все прекрасно; я согласна

---

[418] Примечания: 418

«Бал в Со» — одна из новелл Бальзака, входящая в «Сцены из частной жизни» (1830).

[419] Примечания: 419

«Парижские могикане» — драма Александра Дюма-отца (1854).

с вашим высочеством, что в этом стихотворении есть и смешные, и невразумительные, и безвкусные строки, что читать его так же трудно, как будто оно написано по-русски или по-китайски — только не по-французски, но в конце концов вы все-таки убеждаетесь, что ваши усилия не пропали даром; какая сила воображения!» Из этой краткой речи, начала которой я не слышал, я понял не только то, что поэтом, не способным отличить прекрасное от уродливого, она считала Виктора Гюго, но и то, что стихотворение, которое трудно понять, словно оно написано по-русски или по-китайски, — «Ликует круг семьи, когда пред ним младенец»,[420] вещь, принадлежащая к раннему периоду творчества поэта и, пожалуй, характерная скорее для Антуанетты Дезульер,[421] чем для Виктора Гюго — создателя «Легенды веков». Виконтесса д'Арпажон отнюдь не показалась мне смешной, но мой мысленный взор увидел ее (прежде чем кого-либо еще, — за этим столь вещным, столь обыкновенным столом, за

[420] Примечания: 420

«Ликует круг семьи.» — первые строки из стихотворения Виктора Гюго, вошедшего в сборник «Осенние листья» (1831).

[421] Примечания: 421

Дезульер, Антуанетта, урожденная Антуанетта Лижье де Лагард (1637/38 — 1694) — французская поэтесса; из ее стихотворений славились в особенности идиллии.

которым я испытал такое глубокое разочарование), мой мысленный взор увидел ее в кружевном чепчике с выбивающимися из-под него длинными локонами, как у г-жи де Ремюза,[422] у г-жи де Бройль,[423] у г-жи де Сент-Олер,[424] у всех этих изысканных женщин, которые в своих чудных письмах цитируют со знанием дела и всегда кстати Софокла, Шиллера и «Подражание Христу.[425]», но на которых первые стихотворения романтиков произвели такое же ужасающее впечатление и которых они довели до такого же изнеможения, как мою бабушку — последние стихи Стефана Малларме[426]

— Виконтесса д'Арпажон очень любит поэзию, — сказала герцогине Германтской принцесса Пармская; на нее произвела впечатление

---

[422] Примечания: 422

Г-жа де Ремюза — Клара Елизавета Гравье де Вержен, графиня де Ремюза (1780–1821), фрейлина императрицы Жозефины, автор двух романов, «Мемуаров» (1879) и писем, опубликованных в 1881 г.

[423] Примечания: 423

Г-жа де Бройль — Герцог де Бройль, Ашиль (1785–1870) — французский государственный деятель, постоянный член кабинета министров при Луи-Филиппе.

[424] Примечания: 424

Г-жа де Сент-Олер — Луиза Шарлотта Викторина де Гримуар, жена графа Луи де Сент-Олера (1778–1854); в 1875 г. были опубликованы «Воспоминания».

[425] Примечания: 425

«Подражание Христу» — мистическое произведение, написанное на

латыни в XV веке, приписывающееся монаху Фоме Кемпийскому. Первый перевод на французский язык сделан П. Корнелем в 1653 г.

[426] Примечания: 426

Малларме, Стефан (1842–1892) — французский поэт, глава школы символистов.

зажигательная речь виконтессы.

— Но только она решительно ничего в ней не понимает, — воспользовавшись тем, что виконтесса д'Арпажон громко заспорила с генералом де Ботрейном и не могла слышать шепот герцогини, тихо сказала Ориана. — Она полюбила литературу после того, как возлюбленный ее бросил. Имею честь доложить вашему высочеству, что мне в чужом пиру похмелье: ведь она ко мне прибегает плакаться всякий раз, когда Базен к ней не приходит, то есть почти каждый день. Но не я же виновата в том, что она ему надоела, я не могу заставить его ходить к ней, хотя предпочла бы, чтобы он был по отношению к ней хоть немного постояннее — тогда мы бы с ней виделись реже. Но ему с ней ужасно скучно, и в этом ничего удивительного нет. Человек она не плохой, но вы не можете себе представить, какая она скучная. Каждый день она доводит меня до головной боли — приходится принимать пирамидон. А все потому, что Базену припала охота втайне от меня завести с ней шуры-муры, и тянулось это у них целый год. И при этом я еще должна держать лакея, который врезался в потаскушку и дуется на меня за то, что я не предлагаю этой юной особе покинуть на короткое время доходную панель и

прийти ко мне чай пить! Да, жизнь тяжела, — с томным видом заключила герцогиня.

С виконтессой д'Арпажон герцогу было скучно главным образом потому, что недавно у него появилась новая возлюбленная — маркиза де Сюржи-ле-Дюк. А лакей, у которого отняли свободный день, как раз в эту минуту подавал на стол. Вид у него был все еще унылый, и при взгляде на него мне показалось, что думает он сейчас совсем о другом и потому так неловок: ставя блюдо перед герцогом де Шательро, он несколько раз задел его локтем. Юный герцог нисколько не рассердился на покрасневшего лакея — он Посмотрел на него смеющимися голубыми глазами. Я решил, что раз неуклюжесть слуги смешит герцога, значит, герцог — человек добрый. Но герцог все похохатывал, и это навело меня на подозрение: а что, если незадача слуги вызывает у него злорадное чувство?

— Знаете, моя дорогая, ведь вы нам ничего нового о Викторе Гюго не сказали, — обратилась герцогиня к виконтессе д'Арпажон, только что бросившей на нее тревожный взгляд. — Не воображайте, что вы нам его открыли. Что он талантлив — это всем известно. Отвратительны последние сборники стихов Виктора Гюго

— например, «Легенда веков», названия других я не помню. Но в «Осенних листьях», в «Песнях сумерек» все время чувствуется поэт, настоящий поэт. Даже в «Созерцаниях», — добавила герцогиня (собеседники не смели с ней спорить, и у них были для этого основания), — даже в «Созерцаниях» есть еще прелестные вещи. Но, откровенно говоря, дальше «Сумерек» я обычно заходить не отваживаюсь! И потом, в прекрасных стихах Виктора Гюго — а у него есть прекрасные стихи — нередко находишь мысли, и даже глубокие мысли.

И, хорошо чувствуя то, что она читает, используя все интонационные возможности для того, чтобы слушателям стала ясна грустная мысль поэта, вынеся ее за пределы своего голоса и устремив в нее задумчивый, пленительный взор, герцогиня медленно произнесла: — Ну вот хотя бы:

Скорбь – все равно что плод:
На ветке слишком слабой
Не даст ему Творец налиться и со-

зреть[427].

Или вот это:

У мертвых краток срок:
Они у нас в сердцах скорее истлевают,
Чем в глубине могил[428].

Сложив тонко изогнутый рот со скорбной складкой в горькую улыбку, герцогиня задержала на виконтессе д'Арпажон задумчивый взгляд своих прекрасных светлых глаз. Мне начинало чудиться что-то родное в ее взгляде, равно как и в ее голосе, таком негибком в своей однозвучности, таком терпком в своей сочности. Мне становилось ясно, что в ее глазах и в ее голосе много от Комбре. Конечно, в той нарочитости, с какой ее голос по временам давал ощутить твердость почвы, скрывалось всякое: и провинциальное происхождение этой ветви рода Германтов, дольше других не снимавшейся с места, более смелой, более дикой, более задиристой; и повадка

---

[427] Примечания: 427

Скорбь — все равно что плод… — строки из стихотворения Гюго «Детство» (1835), вошедшего в сборник «Созерцания» (I, XXIII), опубликованный в 1856 г.

[428] Примечания: 428

У мертвых краток срок… — строки из стихотворения Гюго «Путешественнику» (1829), вошедшего в сборник «Осенние листья» (1831).

людей благовоспитанных и умных, знающих, что хорошее воспитание проявляется не в том, чтобы цедить сквозь зубы; и дворянская черта — охотнее водить компанию со своими крестьянами, чем с буржуа, — короче, свойства, которые благодаря тому, что герцогиня Германтская царила в своем кругу, ей легче было выставить на погляденье, сбросив с них все покровы. Должно быть, и у ее сестер, не таких умных, как она, вступивших в почти буржуазные браки, — если только можно применить это выражение к супружеской жизни с худородными дворянами, зарывшимися в провинции или прозябавшими в Сен-Жерменском предместье, — сестер, которых она видеть не могла, был такой же голос, но они укротили его, подправили, по мере возможности смягчили, — ведь редко кто из нас имеет смелость быть оригинальным и не старается следовать прославленным образцам. Но Ориана была гораздо умнее, гораздо богаче, а главное — в гораздо большей моде, чем ее сестры; еще будучи принцессой де Лом, она добилась того, что принц Уэльский на все смотрел ее глазами, и она, поняв, что в ее неблагозвучном голосе есть своя прелесть, со смелостью, присущей оригинальной и пользующейся успехом женщине, сделала из

него в свете то же, что в театре сделали из своих голосов Режан[429] или Жанна Гранье[430] (разумеется, значение и талант этих двух артисток не идут ни в какое сравнение со значением и талантом герцогини Германтской), то есть нечто поразительное и своеобычное, тогда как, быть может, никому не ведомые сестры Режан и Гранье постарались скрыть особенность своих голосов как недостаток.

У герцогини Германтской была врожденная склонность многообразно проявлять свою вывезенную из разных мест оригинальность, а любимые писатели герцогини — Мериме, Мельяк и Галеви — развили в ней любовь к естественности, вкус к прозаичности, через которую она пришла к поэзии, и чисто великосветскую живость воображения, благодаря которой она воссоздавала передо мной целые картины природы. К влиянию этих писателей присоединялась свойственная самой герцогине артистическая тонкость, помогавшая ей выбирать для большинства слов

---

[429] Примечания: 429

Режан — Габриэль-Шарлотта Режю (1856–1920) — французская драматическая актриса, которой Пруст восхищался в молодости.

[430] Примечания: 430

Гранье, Жанна (1852–1939) — французская комедийная актриса, дебютировавшая в 1874 г., одна из любимых актрис принца Уэльского.

произношение, наиболее соответствовавшее, как ей казалось, произношению Иль-де-Франса, произношению Шампани, а что касается словаря, то, хотя она и уступала в этом отношении своей золовке Марсант, она пользовалась только чистым языком старых французских писателей. Когда вы уставали от ералаша и пестроты современного языка, то, хотя многого выразить она не могла, лучшим отдыхом была для вас речь герцогини Германтской, почти таким же, — если вы оставались с герцогиней наедине и она суживала и очищала ее поток, — какой доставляет вам старинная песня. Слушая тогда герцогиню Германтскую, глядя на нее, я видел заключенный в нескончаемом тихом полдне ее глаз голубоватый наклонный небосвод Иль-де-Франса или Шампани под таким же углом, как и в глазах Сен-Лу.

Так, благодаря этим разным напластованиям, герцогине Германтской удавалось и воскресить дух стариннейшей французской аристократии, и воспроизвести то, как, много позднее, герцогиня де Бройль могла бы хвалить и бранить Виктора Гюго при Июльской монархии, и, наконец, выразить страстную любовь к литературе, которую вдохнули в нее Мериме и Мельяк. Первый ее дар нравился мне больше, чем второй, он щедрее

вознаграждал за разочарование, постигшее меня во время путешествия и после прибытия в Сен-Жерменское предместье, такое непохожее на то, каким я его себе представлял, хотя второй дар я все-таки предпочитал третьему. Германт герцогиня Германтская олицетворяла почти невольно, а вот ее пейронизм,[431] ее пристрастие к Дюма-сыну были надуманными и искусственными. Так как вкусы у нас с ней были разные, то герцогиня с точки зрения литературной обогащала меня, когда рассказывала о Сен-Жерменском предместье, а из ее суждений о литературе, как никогда, выпирала сен-жерменская глупость.

Взволнованная стихами Гюго, виконтесса д'Арпажон воскликнула:

— «И святыни души тоже в прах превратились!»[432] Напишите это на моем веере, — сказала она герцогу Германтскому.

— Бедная женщина! Мне жаль ее, — сказала герцогине принцесса Пармская.

— Не жалейте ее, так ей и надо.

---

[431] Примечания: 431

Пейронизм — существительное, образованное от имени французского драматурга Эдуарда Жюля Анри Пейрона (1834–1899), автора остроумных комедий, члена Французской академии (1882).

[432] Примечания: 432

«Я святыни души тоже в прах превратились!» — цитата из стихотворения Альфреда де Мюссе «Октябрьская ночь» (1837).

— Но… простите, что я говорю это вам… ведь она же его искренне любит!

— Да ничего подобного, она на это не способна, она воображает, что любит, как воображает сейчас, что прочла стих из Виктора Гюго, тогда как это из Мюссе. Знаете, — с грустью в голосе продолжала герцогиня, — истинное чувство меня бы непременно тронуло. Но вот вам пример. Вчера она закатила Базену невероятный скандал. Вы, ваше высочество, можете подумать, что устроила она ему сцену из-за того, что он ей изменяет, что он ее разлюбил? Ничуть не бывало! Только из-за того, что он не хочет рекомендовать ее сыновей в Джокей-клоб! Как вы полагаете: могла бы так поступить любящая женщина? Она на редкость бесчувственная, вот что я вам скажу, — напирая на слова, закончила герцогиня Германтская.

Между тем у герцога от удовольствия заблестели глаза, когда его жена «ни с того ни с сего» заговорила о Викторе Гюго и прочла наизусть его стихи. Хотя герцогиня часто действовала ему на нервы, в такие минуты он ею гордился. «Ориана — человек действительно необыкновенный. Она может поддержать любой разговор, она все читала. Ведь не могла же она предвидеть, что сегодня речь зайдет о Викторе Гюго. О чем бы вы ни заго-

ворили, она во всеоружии, она не ударит в грязь лицом в споре с самыми образованными людьми. Я уверен, что молодой человек покорен ею».

— Давайте переменим разговор, — предложила герцогиня Германтская, — тема-то уж больно щекотливая. Я, наверно, кажусь вам старомодной, — обратилась она ко мне, — в наше время любить мысли в поэзии, любить поэзию, в которой есть мысли, считается недостатком.

— Это старомодно? — спросила принцесса Пармская с легким испугом, вызванным у нее этой новой волной, которой она не ожидала, хотя знала по опыту, что герцогиня Германтская в разговоре всегда приберегает для нее ряд упоительных потрясений, ощущение страха, от которого захватывает дух, здоровую усталость, — после таких бесед она невольно думала, что хорошо бы принять ножную ванну, а потом пройтись быстрым шагом, чтобы «вызвать реакцию организма».

— По-моему, вы не правы, Ориана, — заговорила г-жа де Брисак, — я не ставлю в упрек Виктору Гюго, что у него есть мысли, как раз наоборот, — я упрекаю его лишь в том, что он ищет мысли в области отвратительного. В сущности, это он приучил нас к уродливому в литературе. В жизни

и так достаточно много мерзостей. Почему бы о них не забыть, когда мы читаем книгу? Тяжелое зрелище, от которого в жизни мы бы отвернулись, — вот что привлекает внимание Виктора Гюго.

— Но Виктор Гюго все же не так реалистичен, как Золя? — спросила принцесса Пармская.

При имени Золя ни один мускул не дрогнул в лице де Ботрейна. Антидрейфусарство генерала сидело в нем так глубоко, что оно даже и не пыталось заявить о себе. Благожелательное его молчание, когда затрагивали эту тему, умиляло людей, не знавших его, тою же самою деликатностью, какую проявляет священник, избегающий напоминать вам об обязанностях христианина, финансист, старающийся не рекламировать свои предприятия, силач, который с вами вежлив и не пускает в ход кулаки.

— Насколько мне известно, вы родственник адмирала Жюрьена де ла Гравьера,[433] — сказала мне с видом человека осведомленного г-жа де Варамбон, статс-дама принцессы Пармской, очень хорошая, но ограниченная женщина, которую

[433] Примечания: 433

Ла Гравьер, Жан Батист Эдмон Жюрьен де (1812–1892) — французский адмирал, сотрудник «Ревю де Де Монд» и автор работ по истории морского флота. В 1888 г. был избран во Французскую академию.

когда-то рекомендовала принцессе мать герцога. До сих пор она ко мне не обращалась, и теперь, несмотря на уверения принцессы Пармской и мои возражения, мне так и не удалось убедить ее, что я ни с какой стороны неприхожусь родственником адмиралу-академику и что я с ним даже незнаком. В упорстве, с каким статс-дама принцессы Пармской настаивала на том, что я довожусь адмиралу племянником, было что-то до смешного пошлое. Но ошибка г-жи де Вамбон была ошибкой из ряда вон выходящей и глупой, а сколько допускается ошибок менее существенных, затушеванных, умышленных или невольных, значащихся под нашими именами в «регистрационных карточках», которые заполняет свет! Помню, как приятель Германтов, которому очень хотелось со мной познакомиться, потом объяснил мне это тем, что я прекрасно знаю его родственницу, маркизу де Шосгро: «Она очаровательна, она вас так любит!» Как я ни доказывал, что это ошибка, что я незнаком с маркизой де Шосгро, — приятель Германтов моими доводами так и не проникся. «Ну, значит, вы знакомы с ее сестрой, — какая разница? Вы с ней встречались в Шотландии». В Шотландии я никогда не был и для очистки совести попытался уверить

в этом моего собеседника, но усилия мои оказались напрасными. О том, что мы с ней знакомы, сказала сама маркиза де Шосгро: по всей вероятности, она была в этом действительно убеждена, потому что тут с самого начала вышло какое-то недоразумение, — по крайней мере, при встречах она всегда со мной здоровалась. Мы с маркизой де Шосгро вращались в одном обществе, поэтому мое скромничанье не имело смысла. Формально мое знакомство с сестрами де Шосгро являлось недоразумением, но в глазах света оно соответствовало моему положению в обществе, если только можно говорить о положении в обществе молодого человека, каким я был тогда. Словом, сколько бы небылиц ни рассказывал про меня мне же в глаза приятель Германтов, то представление, которое сложилось у него обо мне (с точки зрения светской), не принижало и не возвышало меня. Короче говоря, — это не относится к тем, кто сознательно разыгрывает комедию, — исполнять всегда одну и ту же роль скучно, но скуки как не бывало, — точно мы поднялись на подмостки, — стоит другому действующему лицу составить о нас ложное представление, поверить, что мы дружны с незнакомой нам женщиной и что познакомились мы с ней во время очаровательного

путешествия, которого мы не совершали. Такого рода ошибки допускаются часто, и они даже приятны, если в них нет той непробиваемой закоснелости, как в той, что совершала и которую так и не признала до самой смерти, сколько я с ней ни бился, бестолковая статс-дама принцессы Пармской, навсегда утвердившаяся в мысли, что я родственник скучного адмирала Жюрьена де ла Гравьера. «Она умом не блещет, — сказал мне герцог, — и потом, на нее вредно действуют возлияния; сдается мне, что она принесла некую жертву Бахусу». На самом деле г-жа де Варамбон, кроме воды, ничего не пила, но герцогу доставляло удовольствие вставлять свои любимые выражения.

— Золя не реалист — он поэт! — сказала герцогиня Германтская; за последние годы она начиталась критических статей и постаралась согласовать их со своим вкусом.

До сих пор принцессе Пармской была приятна умственная морская ванна, ей нравилось, что ее подбрасывает на волнах, взбаламучиваемых нарочно для нее, она полагала, что это необыкновенно полезно для ее здоровья, и не оказывала сопротивления парадоксам, которые обрушивались на нее и влекли за собой, но когда

взметнулся вот этот, самый высокий, вал, принцесса подскочила от страха, что он ее опрокинет. Прерывающимся голосом, словно ей не хватало воздуху, она повторила:

— Золя — поэт!

— Ну да, — в восторге от этого припадка удушья, со смехом отозвалась герцогиня. — Обратите внимание, ваше высочество, как возвеличивает он все, к чему бы ни прикоснулся. Вы мне на это возразите, что он касается только того, что… приносит счастье! Но у него все принимает огромные размеры; он создает навозный эпос! Это Гомер, воспевающий выгребные ямы! Ему не хватает больших букв для словца Камброна.[434]

Несмотря на переутомление, принцесса была счастлива — она чувствовала себя превосходно. Она не променяла бы даже на жизнь в Шенбрунне,[435] — единственно, что тешило ее тщеславие, — дивные ужины у герцогини Германтской, действовавшие на нее животворно благодаря большому количеству соли.

---

[434] Примечания: 434

Камброн, Пьер-Жак-Этьен (1770–1842) — французский генерал. Ему приписывается знаменитая фраза, которую он якобы произнес во время битвы при Ватерлоо: «Гвардия умирает, но не сдается».

[435] Примечания: 435

Шенбрунн — замок в окрестностях Вены, летняя резиденция Габсбургов.

— Он пишет его с большого «К»? — вскричала виконтесса д'Арпажон.

— Нет, душенька, я думаю, что с большого «Г», — ответила герцогиня Германтская, не утерпев, чтобы не обменяться с мужем насмешливым взглядом, которым они хотели сказать друг другу: «Вот идиотка!»

— Да, кстати, — сказала герцогиня, обратив на меня смеющийся, ласковый взгляд: как хорошая хозяйка дома, она хотела блеснуть своими знаниями о художнике, который особенно меня интересовал, и одновременно дать мне возможность показать мои знания, — кстати, — продолжала она, обмахиваясь веером из перьев с видом хозяйки, сознающей, что она исполнила долг гостеприимства, а чтобы исполнить его до конца, движением руки она приказала положить мне еще спаржи со взбитыми сливками, — кстати, если не ошибаюсь, Золя написал статью о художнике Эльстире,[436] — вы только что смотрели его картины; впрочем, мне у него только эти картины и нравятся, — добавила она. На самом

[436] Примечания: 436

…Золя написал статью о художнике Эльстире… — Золя, будучи талантливым художественным критиком своего времени, писал статьи о художниках; в частности, в 1867 г. он опубликовал работу об Эдуарде Мане, чья картина «Пучок спаржи» упоминается в романе.

деле она терпеть не могла все творчество Эльстира, но если что-нибудь принадлежало ей, то это она находила бесподобным. Я спросил герцога Германтского, не знает ли он, кто этот господин в цилиндре на картине, изображающей народное гулянье, — тот же, что и на висевшем рядом портрете, на котором он имел торжественный вид, причем обе эти работы относились примерно к одному периоду, когда Эльстир был еще не вполне самостоятелен и не до конца освободился от влияния Мане.

— Ах ты Господи! — воскликнул герцог. — Я знаю, что он человек небезызвестный, в своей области не последний, но у меня ужасная память на имена. Ведь вот же вертится у меня на языке… как его?.. как его?.. Ну ладно, все равно не вспомню. Его фамилию вы узнаете у Свана — не кто иной, как он, насоветовал герцогине купить эти громадины, а моя жена чересчур деликатна: боится обидеть отказом; между нами говоря, я уверен, что Сван всучил нам форменную мазню. Могу сказать вам одно: этот господин по отношению к Эльстиру играет роль мецената — он создал Эльстиру имя, заказывал ему картины, когда тот сидел без денег. В благодарность — если только это можно считать благодарностью, у каждо-

го свой взгляд на вещи — Эльстир написал его расфранченным, и на этом портрете у мецената довольно смешной вид. Ваш кумир, может быть, кладезь учености, но он, вне всякого сомнения, не знает, в каких случаях надевают цилиндр. Среди всех этих простоволосых девок он похож на подвыпившего провинциального нотариуса. Но вы, как я вижу, без ума от этих картин. Если б я знал, что они вам так понравятся, я бы всех подряд выпотрошил, чтобы вам поточнее ответить. А впрочем, из-за живописи Эльстира не стоит ломать себе голову — это не «Источник» Энгра.[437] и не «Дети Эдуарда» Поля Деларош[438] Посмотришь: да, тонкая наблюдательность, занятно, в парижском духе, — посмотришь и пойдешь дальше. Чтобы смотреть картины Эльстира, не надо быть эрудитом. Я понимаю, что это эскизы, но и эскизы-то недостаточно мастерски сделаны. Сван имел нахальство предложить нам приобрести «Пучок спаржи». Пучок этот даже пробыл у нас несколько дней. На картине ничего нет, кроме

[437] Примечания: 437

Энгр, Жан-Опост-Доминик (1781–1867) — знаменитый французский художник. Речь идет о картине «Нимфа у источника» (1856).

[438] Примечания: 438

Деларош, Поль (1797–1856) — французский живописец академической школы, известен своими полотнами на исторические сюжеты. Картина «Дети Эдуарда» впервые была выставлена в Салоне в 1831 г.

пучка спаржи, точно такой, какую вы сейчас едите. Но я не стал есть спаржу господина Эльстира. Он запросил за нее триста франков. Триста франков за пучок спаржи! Красная ей цена — луидор, даже в начале сезона! Ее не угрызешь. Когда он к таким вещам прибавляет людей, в этом есть что-то отвратное, унизительное для человека, мне это претит. Как вы с вашим тонким вкусом, с вашим глубоким умом можете любить Эльстира?

— Не понимаю, что вас тут удивляет, Базен, — заговорила герцогиня; ей бывало неприятно, когда кто-нибудь дурно отзывался о том, что находилось у нее в доме. — Мне далеко не все нравится у Эльстира. Что-то лучше, что-то хуже. Но в любой его вещи виден талант. И как раз те картины, что я приобрела, изумительно хороши.

— В этом жанре, Ориана, мне в тысячу раз больше нравится этюдик Вибера,[439] который мы с вами видели на выставке акварелистов. Если хотите, это пустячок, кажется, и смотреть-то не на что, но какая хватка в каждой мелочи: исхудавший, грязный миссионер перед изнеженным

[439] Примечания: 439

Вибер, Жеган-Жорж (1840–1902) — французский художник и автор драматических произведений, один из основателей французского Общества акварелистов. Речь идет о его картине «Рассказ миссионера» (1883).

прелатом, играющим со своей собачкой, — да это целая поэма, столько здесь тонкости и даже глубины!

— Вы как будто знакомы с Эльстиром? — обратилась ко мне герцогиня. — Он человек приятный.

— Он умен, — сказал герцог. — Когда с ним разговариваешь, то не перестаешь удивляться, почему у него такие пошлые картины.

— Он не просто умен, он даже довольно остроумен, — заметила герцогиня с видом дегустатора, который знает в этом толк.

— Он, как я слышала, начинал писать ваш портрет, Ориана? — спросила принцесса Пармская.

— Да, в красных как рак тонах, — ответила герцогиня Германтская, — но потомки его за это не поблагодарят. Ужас! Базен хотел разорвать портрет.

Эту фразу герцогиня Германтская повторяла часто. Но ее мнение о портрете менялось: «Вообще я не люблю его картины, но когда-то он прекрасно написал мой портрет». Обыкновенно одно из этих суждений герцогиня высказывала тем, кто заговаривал с ней о ее портрете, а другое — тем, кто не говорил с ней о нем и кому ей хотелось сообщить, что он существует. Первое подсказы-

валось ей кокетством, второе — тщеславием.

— Сделать что-то ужасное из вашего портрета? Но тогда, значит, это не портрет, это клевета. Я и кисть-то держать в руках как следует не умею, но, мне кажется, если б я писала вас, воспроизводя только то, что я вижу, у меня получился бы шедевр, — с наивным видом произнесла принцесса Пармская.

— Вероятно, он видит меня так, как я сама себя вижу, то есть непривлекательной, — сказала герцогиня, придав своему лицу грустное, скромное и ласковое выражение, которое, как ей представлялось, должно было показать ее совсем не такой, какой ее написал Эльстир.

— Этот портрет должен понравиться герцогине де Галардон, — сказал герцог.

— Потому что она ничего не понимает в живописи? — спросила принцесса Пармская; ей было известно, что герцогиня Германтская от всей души презирает свою родственницу. — Но она очень добрая женщина, правда?

Герцог изобразил на своем лице полное изумление.

— Ах, Базен, разве вы не видите, что принцесса шутит с вами? (Принцесса и не думала шутить.) Она не хуже вас знает, что Галардонка — старая

злыдня, — проговорила герцогиня Германтская, чей словарь, состоявший почти сплошь из старинных выражений, был вкусен, как блюда, описание которых можно найти в прелестных книгах Пампила,[440] блюда, которые теперь в диковинку и в которых желе, сливочное масло, сок и фрикадельки — все настоящее, без малейшей примеси, даже соль для них доставляется из бретонских соляных копей. Выговор герцогини и выбор слов свидетельствовали о том, что ее разговорная речь в основе своей Германтская; этим герцогиня резко отличалась от своего племянника Сен-Лу, чья речь изобиловала новыми мыслями и выражениями. Когда ты увлечен идеями Канта, когда тебя берет за сердце тоска Бодлера, трудно бывает писать изысканным французским языком эпохи Генриха IV — таким образом, самая чистота языка герцогини указывала на ее ограниченность, на то, что ее разум и чувство были закрыты для каких бы то ни было новшеств. Я же любил ум герцогини Германтской именно за то, что он отвергал (а он отвергал как

[440] Примечания: 440

Пампил — литературный псевдоним Марты Аллар, жены Леона Доде; под этим именем она писала статьи о моде и гастрономии в «Аксьон Франсез», а также опубликовала свои сказки и книгу кулинарных рецептов.

раз предмет моих мыслей), и за то, что, отвергая, уберегал; я любил ту пленительную его силу, какой обладает гибкое тело, не надорванное изнурительными размышлениями, душевными тревогами и нервными потрясениями. Ее ум, гораздо более ранней формации, нежели мой, был для меня равнозначен тому, чем было для меня шествие по берегу моря девушек из стайки. В герцогине Германтской я ощущал приручeнную, укрощенную любезностью, уважением к духовным ценностям энергию и обаяние жестокой девочки-аристократки из окрестностей Комбре, которая с детских лет ездит верхом, перебивает позвоночник кошкам, выкалывает глаза кроликам, и хотя она так и осталась олицетворенной добродетелью, но могла бы быть, — столь элегантной была она еще недавно, — одной из самых обольстительных любовниц князя де Сагана. Но она неспособна была понять, чего я в ней ищу, — а искал я в ней обаяние имени Германт, — и что я в ней нашел, а нашел я в ней совсем немного: черты Германтской провинциальности. Так, значит, наши отношения были основаны на недоразумении, которое не могло не выясниться, как только она осознала бы, что преклоняюсь я не перед довольно незаурядной женщиной, какой

она себя считала, а перед самой обыкновенной, очаровывавшей помимо своей воли? Недоразумение вполне естественное, и оно всегда будет возникать между юным мечтателем и светской женщиной, но оно не даст ему покою до тех пор, пока он не познает тщеты своего воображения и не примирится с неизбежным разочарованием, не примирится с разочарованием, которое принесут ему отношения с людьми, театральные впечатления, путешествия, не примирится даже с разочарованием в любви.

Герцог Германтский сказал (в связи со спаржей Эльстира и с той, что была подана после цыпленка под грибным соусом), что зеленую спаржу, которая выросла на свежем воздухе и по поводу которой литератор, подписывающийся Э. де Клермон-Тонер,[441] любитель кудрявого слога, так смешно выразился, что «в ней нет волнующей твердости, свойственной ее сестрам», надо есть вместе с яйцами. «Одному нравится то, другому — другое, — возразил граф де Бреоте. — В Китае, в Кантонском округе, самое изысканное блюдо,

[441] Примечания: 441

Клермон-Тонер, Антониа Коризанда Элизабет де Грамон, герцогиня (1875–1954) — французская аристократка, салонная писательница, близкая знакомая Пруста, о котором она оставила две книги воспоминаний.

какое могут вам предложить, — это совершенно тухлые яйца овсянки». Граф де Бреоте, автор статьи о мормонах,[442] появившейся в «Ревю де Де Монд», бывал только в самых аристократических кругах, но в таких, о которых шла молва, что это круги просвещенные. Если он более или менее часто бывал у какой-нибудь дамы, это означало, что у нее салон. Он притворялся, что ненавидит высший свет, и внушал каждой герцогине порознь, что хочет бывать у нее в доме только ради ее ума и красоты. И ему удавалось всех в этом убедить. Всякий раз, когда граф де Бреоте скрепя сердце давая согласие прийти на званый вечер к принцессе Пармской, он, чтобы было не так скучно, созывал их всех и таким образом оказывался в кругу своих близких знакомых. Чтобы о нем больше говорили как о человеке интеллигентном, чем как о человеке светском, граф де Бреоте, руководствуясь правилами Германтов, когда в Париже самые балы, отправлялся с элегантными дамами в длительные путешествия с общеобразовательными целями, а если какая-нибудь снобка, то есть женщина, еще не завоевавшая себе поло-

[442] Примечания: 442

Мормоны («Святые последнего дня») — религиозная секта, основанная в 1825 г. в Америке, предписывает членам воздержание от спиртных напитков, упорный труд и многоженство.

жения в обществе, появлялась всюду, он наотрез отказывался с ней знакомиться, отказывался ей представляться. Его ненависть к снобам проистекала из его снобизма, но она вселяла в людей наивных, то есть во всех людей, уверенность, что он далек от снобизма.

— Бабал все знает! — воскликнула герцогиня Германтская. — Как хорошо жить в такой стране, где вы можете не сомневаться, что ваш молочник продаст вам именно тухлые яйца — яйца года кометы! Я вижу ясно, как я макаю в них кусочек хлеба с маслом. Откровенно говоря, такие случаи бывают у тети Мадлены (маркизы де Вильпаризи) — у нее подают все несвежее, даже яйца. (Виконтесса д'Арпажон вскрикнула.) Да будет вам, Фили, вам это так же хорошо известно, как мне. В яйцах уже цыплята. Они такие паиньки, сидят там и не шевелятся, просто удивительно. Не омлет, а курятник, только это не обозначено в меню. Вы правильно сделали, что третьего дня не поехали к маркизе ужинать — там подавали камбалу с карболкой! Можно было подумать, что вы не за столом, а в заразном отделении. Преданность Норпуа доходит, можно сказать, до героизма: он попросил еще!

— Если не ошибаюсь, мы вместе с вами ужи-

нали у нее, когда она срезала господина Блоха (герцог Германтский, быть может, для того, чтобы придать этой еврейской фамилии еще более чужестранное звучание, произносил не «Блок», а «Блох», как произносится немецкое слово hoch), который назвал великим какого-то пиита. Шательро чуть было не раздробил господину Блоху берцовую кость, но господин Блох ничего не понял: он вообразил, что мой племянник пытается толкнуть коленом сидевшую напротив молодую женщину. (Тут герцог слегка покраснел.) Он не чувствовал, что раздражает тетю Мадлену тем, что так легко раздает патенты на звание «великого». Словом, тетя Мадлена, — а она за словом в карман не лезет, — осадила его: «А как же, милостивый государь, вы тогда назовете господина де Боссюэ?[443]» (Герцог был уверен, что традиции старого режима требуют прибавлять к фамилии исторической личности «господин» и частицу «де».) За это можно брать деньги.

— А что ответил господин Блох? — с рассеянным видом спросила герцогиня Германтская; не придумав ничего оригинального, она ограничилась тем, что скопировала немецкое произношение

[443] Примечания: 443

Боссюэ, Жак Бенинь (1627–1704) — французский религиозный писатель, придворный проповедник и воспитатель дофина.

мужа.

— Смею вас уверить, что господин Блох мгновенно сник — и только его и видели.

— Ах да, я прекрасно помню, что мы с вами виделись там в тот вечер, — нарочито медленно сказала мне герцогиня, как бы желая подчеркнуть, что то, что ей запомнилась наша встреча, должно быть особенно лестно для меня. — У тети всегда бывает очень интересно. На последнем вечере, где мы с вами встретились, я хотела вас спросить: тот почтенных лет господин, который прошел мимо нас, — это не Франсуа Коппе?[444] Вы должны знать всех звезд, — добавила она с явной завистью к тому, что у меня есть знакомства среди поэтов, а еще это было сказано из любезности, из «уважения» ко мне, чтобы поднять в глазах гостей молодого человека, хорошо знающего литературу. Я попытался убедить герцогиню, что на вечере у маркизы де Вильпаризи не было ни одной знаменитости.

— Разве? — спросила герцогиня Германтская. И это было с ее стороны опрометчиво: из ее вопроса

---

[444] Примечания: 444

Коппе, Франсуа (1842–1908) — французский писатель, поэт и драматург, член Французской академии (1884). Претендуя на роль «поэта униженных и оскорбленных», выделялся в салонах рубежа веков высокомерием и неприступностью.

можно было сделать вывод, что ее преклонение перед писателями и презрение к свету более поверхностны, чем она это утверждала и даже думала. — Разве? Там не было больших писателей? Странно! Там же были удивительные физиономии!

Я очень хорошо запомнил этот вечер из-за одного совершенно неважного происшествия. Маркиза де Вильпаризи представила Блока г-же Альфонс де Ротшильд, но мой приятель не расслышал фамилии и, решив, что это какая-то старая, слегка взбалмошная англичанка, ответил односложно на пространную речь былой красавицы, но тут маркиза де Вильпаризи, знакомя ее с кем-то другим, на сей раз очень отчетливо выговорила: «Баронесса Альфонс де Ротшильд». При этих словах у Блока закружился целый вихрь мыслей о миллионах и о почете, — мыслей, которые не мешало бы привести в порядок, — и от этого вихря сердце у него упало, в голову ударило, и он прямо так и ляпнул милой старушке: «Ах, если б я знал!» Это вышло у него до того глупо, что он потом целую неделю не мог заснуть. Случай малоинтересный, но я о нем вспомнил как о доказательстве того, что иной раз мы от волнения говорим то, что думаем.

— По-моему, маркиза де Вильпаризи — женщина невысокой… нравственности, — сказала принцесса Пармская — она знала, что гости герцогини не бывают у ее тетки, а последние слова герцогини убедили ее в том, что здесь о маркизе можно говорить не стесняясь.

Однако герцогиня Германтская посмотрела на принцессу неодобрительно, и принцесса поспешила добавить:

— Но ей все прощаешь за ум.

— У вас сложилось о моей тетке представление, какое складывается о ней у всех, — возразила герцогиня, — но, в сущности, это совершенно неверное представление. Не далее как вчера мне то же самое говорил Меме.

Герцогиня покраснела, воспоминание о чем-то затуманило ее взор. У меня мелькнула мысль, что де Шарлю просил ее сказать мне, что он не хочет меня видеть, так же как он передал мне просьбу через Робера не ходить к герцогине. У меня создалось впечатление, что когда, говоря со мной о де Шарлю, покраснел — по непонятной для меня причине — герцог, то это наверняка было вызвано чем-то другим.

— Бедная тетя! О ней всегда будут говорить, что она старорежимна, что у нее блестящий ум и что

она распутна до последней степени. А между тем у нее самый что ни на есть мещанский, серьезный, неброский ум; она прослывет покровительницей искусств — на том основании, что она была любовницей крупного художника, вот только он никак не мог втолковать ей, что такое картина; ну а что касается ее поведения, то она совсем не развратница, она создана для семейной жизни, она рождена для того, чтобы быть верной женой, и хотя мужа она удержать не сумела, — впрочем, он был мерзавец, — зато к любой из своих связей она относилась так же серьезно, как к браку, была обидчива, вспыльчива, преданна, как законная жена. Заметьте, что в таких обстоятельствах люди бывают иногда вполне искренни; в общем, неутешные любовники встречаются чаще, чем неутешные мужья.

— А вы вспомните, Ориана, вашего деверя Паламеда, о котором вы только что говорили: ни одна любовница и мечтать не могла бы о том, чтобы ее так оплакивали, как оплакивал он бедную госпожу де Шарлю.

— Простите, ваше высочество, — возразила герцогиня, — но тут я с вами не вполне согласна. Не все хотят, чтобы их оплакивали одинаково, — у каждого свой вкус.

— Но ведь он создал культ своей жены после ее кончины. Хотя, впрочем, для мертвых иногда делают больше, чем для живых.

— Прежде всего, — начала герцогиня Германтская с задумчивым видом, не соответствовавшим издевательскому смыслу ее замечания, — к мертвым приходят на похороны, а для живых никто этого не сделает! (Герцог Германтский бросил лукавый взгляд на графа де Бреоте, как бы предлагая ему посмеяться над остротой герцогини.) Одним словом, — заключила герцогиня Германтская, — по совести сказать, я бы хотела, чтобы любимый человек оплакивал меня не так, как оплакивал свою жену мой деверь.

Герцог нахмурился. Он не любил, когда его жена в суждениях о людях рубила сплеча, особенно если это касалось де Шарлю.

— Вы слишком требовательны. Редко кто так тяжело переживает смерть своей жены, как он, — с заносчивым видом сказал герцог.

Но герцогиня проявляла по отношению к своему супругу смелость укротителя или человека, который, живя с сумасшедшим, не боится довести его до исступления:

— Да нет, тут и толковать не о чем, явление редкое, я же не спорю, он каждый день ездит на

кладбище рассказывать усопшей жене, сколько народу у него завтракало, это для него страшное несчастье, но так страдать могла бы дальняя родственница, бабушка, сестра. Он горюет не как супруг. Правда, они жили не как муж и жена, и это придает его горю особый характер. (Заряженные глаза герцога Германтского, взбешенного болтовней жены, с устрашающей неподвижностью уставились на герцогиню.) Да я же не хотела сказать ничего плохого о бедном Меме, — кстати, он сегодня вечером занят, — продолжала герцогиня, — я не отрицаю, что человек он милый, чудесный, деликатный, такое сердце, как у него, у мужчины бывает редко. У Меме женское сердце!

— Не говорите глупостей! — прервал ее герцог. — У Меме ничего женственного нет, такого мужественного человека, как он, поискать!

— Да разве я сказала, что он женственен? Вы повнимательней слушайте, что я говорю, — продолжала герцогиня. — Не смейте слово сказать о его братце! — добавила она, обратившись к принцессе Пармской.

— Да это же прекрасно, это так приятно слышать! Что может быть лучше, когда братья любят друг друга? — сказала принцесса; точно так же рассуждали бы многие простолюдины, и это

неудивительно: человек, принадлежащий по крови к знатной семье, может быть по духу в высшей степени простонароден.

— Раз уж мы заговорили о ваших родных, Ориана, — сказала принцесса, — вчера я видела вашего племянника Сен-Лу; кажется, у него есть к вам просьба.

Герцог Германтский сдвинул брови, а они у него были как у Юпитера. Если ему не хотелось делать кому-то одолжение, то он был против того, чтобы вмешивалась его жена: он знал, что в конце концов вмешательство герцогини будет воспринято как его вмешательство и что люди, к которым герцогиня обратится с просьбой, будут считать, что они оказали услугу не только жене, но и мужу, как если бы попросил только муж.

— Почему же он мне ничего не сказал? — выразила удивление герцогиня. — Вчера он просидел у нас два часа, и до чего же он был скучен, Боже мой! Он казался бы не глупей других, если бы, как у многих светских людей, у него хватало ума не корчить из себя умного. Лоск образованности — вот что ужасно. Он хочет показать, что разбирается в таких вещах… в которых ничего не смыслит. Когда он рассказывает о Марокко, то это просто невыносимо.

— Он не может туда вернуться из-за Рахили, — вставил принц де Фуа.

— Да ведь он же с ней порвал? — спросил граф де Бреоте.

— Он так решительно с ней порвал, что два дня назад я застал ее в холостяцкой квартире Робера; они не производили впечатления людей рассорившихся, уверяю вас, — ответил принц де Фуа; он часто распускал слухи, которые могли помешать женитьбе Робера, а впрочем, его могли ввести в заблуждение кратковременные возобновления связи, на самом деле порванной.

— Эта самая Рахиль говорила мне о вас; я так и вижу, как она идет утром по Елисейским полям; она вертихвостка, как вы о ней говорите, податливая, по вашему определению, нечто вроде «Дамы с камелиями[445]» — не высокого полета, разумеется. — С такими словами обратился ко мне князь Фон — ему очень хотелось произвести впечатление человека, знающего французскую литературу и разбирающегося во всех тонкостях парижской жизни.

— Именно в связи с Марокко!.. — воскликнула принцесса, подхватив последние слова герцо-

---

[445] Примечания: 445

«Дама с камелиями» (1848) — роман Александра Дюма-сына, описывающий жизнь дамы полусвета.

гини.

— А что такое у него в Марокко? — со строгим лицом спросил герцог Германтский. — Ориана тут ничем не может помочь, он прекрасно это знает.

— Он воображает, что изобрел новую стратегию, — продолжала герцогиня, — и потом, он пользуется каким-то невероятно высоким слогом для обозначения самых простых вещей, что не мешает ему сажать в письмах кляксы. На днях он сказал, что ел *божественную* картошку и что взял в театре *божественную* ложу.

— Он говорил по-латыни, — подлил масла в огонь герцог.

— То есть как по-латыни? — выразила недоумение принцесса.

— Честное слово! Спросите Ориану — она не даст мне соврать.

— Правда, правда, на днях он выпалил целую фразу: «Я не знаю примера sic transit gloria mundi![446] более трогательного»; я привожу эту фразу, ваше высочество, потому что мы добрались до ее смысла после долгих расспросов, после того как обратились за разъяснениями к линг-

---

[446] Примечания: 446

Sic transit gloria mundi («Так проходит слава мира», лат.) — знаменитая фраза из «Подражания Христу».

вистам; Робер произнес ее без передышки, так что с трудом можно было разобрать, что там есть латинские слова, он напоминал действующее лицо из «Мнимого больного»! А сказано это было в связи с гибелью австрийской императрицы[447]

— Несчастная женщина! — воскликнула принцесса. — Какое это было прелестное существо!

— Да, — согласилась герцогиня, — у нее не все были дома, мозги у нее были слегка набекрень, но это была очень добрая женщина, милая, крайне доброжелательная сумасбродка; я одного не могла понять: почему императрица не могла заказать себе вставную челюсть, которая бы держалась; челюсть у нее вечно вываливалась, прежде чем она успевала докончить фразу, и, чтобы ненароком не проглотить челюсть, она умолкала.

— Эта самая Рахиль говорила мне о вас, сказала, что Сен-Лу вас обожает, любит даже больше, чем ее, — сказал мне князь Фон; щеки его налились кровью, он уплетал за десятерых и все время смеялся, скаля зубы.

— Значит, она должна ревновать Сен-Лу ко мне

---

[447] Примечания: 447

...в связи с гибелью австрийской императрицы! — Австрийская императрица Элизабет де Виттельсбах была убита 10 сентября 1898 г. в Женеве итальянским анархистом.

и ненавидеть меня, — заметил я.

— Да что вы! Она очень хорошо о вас отзывается. Любовница принца де Фуа — вот та, может быть, и ревновала бы, если б он оказывал вам предпочтение. Вам это непонятно? Поедемте домой вместе, дорогой я вам растолкую.

— Не могу, в одиннадцать часов мне нужно быть у де Шарлю.

— Ах вот как? Он звал меня ужинать, но просил приехать не позднее чем без четверти одиннадцать. Ну, если вы непременно должны быть у него, поедемте со мной хотя бы до Французской комедии — это в периферии, — сказал князь: вернее всего, он понимал слово «периферия» как «поблизости», а может быть, как «центр».

Его вытаращенные глаза, его красное, оплывшее, хотя и красивое лицо напугали меня, и я, сославшись на то, что за мной заедет приятель, отказался. Я считал, что в моем отказе нет ничего обидного для князя. Но князь, очевидно, воспринял его по-иному, так как больше не сказал мне ни единого слова.

— Мне непременно надо повидать неаполитанскую королеву;[448] воображаю, как тяжело она

[448] Примечания: 448

…неаполитанскую королеву… — Речь идет о Марии Софии Амелии де Виттельсбах (1841–1925), сестре австрийской императрицы.

это переживает, — сказала принцесса Пармская, а может быть, мне это только послышалось. Дело в том, что ее заглушал сидевший ближе ко мне князь Фон, хотя говорил он очень тихо — наверно, из боязни, как бы его не услышал принц де Фуа.

— Ну нет, я убеждена, что никаких тяжелых переживаний у нее из-за этого не было.

— Никаких! У вас всегда крайности, Ориана, — сказал герцог Германтский, вновь принимая на себя обязанность мола, который, не пуская дальше волну, заставляет ее взметнуть султан пены.

— Базен знает лучше меня, что я говорю правду, — возразила герцогиня, — но он считает, что в вашем присутствии ему во что бы то ни стало надо быть серьезным, а кроме того, ему все кажется, что я вас шокирую.

— О, нисколько, пожалуйста! — воскликнула принцесса Пармская; она боялась, как бы из-за нее не пострадала хотя бы одна из восхитительных сред герцогини Германтской, как бы хоть чуть-чуть не испортился этот запретный плод, вкусить от которого еще не получила дозволения даже шведская королева.

— Ведь это же ему она ответила, когда он спросил ее заученно грустным тоном: «Королева в трауре; о ком изволите горевать, ваше величе-

ство?» — «Нет, это не глубокий траур, это мелкий траур, совсем мелкий траур: траур по моей сестре». На самом деле она ликует, и для Базена это не тайна, она в тот же день пригласила нас на вечер и подарила мне две жемчужины. Я бы ничего не имела против, если б у нее каждый день умирало по сестре! Она не оплакивает кончину сестры — она над ней хохочет. Вероятно, она говорит себе, как Робер: sic transit… дальше не помню, — из скромности прервала себя герцогиня, хотя прекрасно помнила все изречение.

В данном случае герцогиня Германтская расточала свое остроумие, и только, притом не попадая в цель, ибо неаполитанская королева, так же как герцогиня Алансонская, тоже трагически погибшая,[449] была очень отзывчива, и она искренне оплакивала смерть своих родных. Герцогиня Германтская хорошо знала родовитых баварских сестер, своих родственниц, и эта их черта не могла быть ей неизвестна.

— Ему не хочется возвращаться в Марокко, — сказала принцесса Пармская, снова цепляясь за

[449] Примечания: 449

…герцогиня Алансонская, тоже трагически погибшая… — София Шарлотта Августина де Виттельсбах (1847–1897), супруга герцога Алансонского, погибла во время пожара на благотворительном базаре в Париже.

имя Робера, которое неумышленно протягивала ей, как шест, герцогиня Германтская: — Вы, кажется, знакомы с генералом де Монсерфей?

— Очень мало, — ответила герцогиня, хотя на самом деле была с ним в большой дружбе.

Принцесса изложила просьбу Сен-Лу.

— Ах, Боже мой, если я его увижу, мы же можем случайно с ним встретиться… — чтобы не отказывать прямо, проговорила герцогиня, отношения которой с генералом де Монсерфей мгновенно отдалились, как только выяснилось, что его надо о чем-то попросить.

Тем не менее уклончивость жены не удовлетворила герцога, и он перебил ее:

— Вы отлично знаете, Ориана, что вы его не увидите; притом вы уже два раза обращались к нему с просьбой, и оба раза он ничего для вас не сделал. У моей жены страсть давать обещания, — кипятился герцог: ему хотелось заставить принцессу Пармскую отказаться от своей просьбы, но так, чтобы она не усомнилась в любезности герцогини, а все свалила на него, на его самодурство. — Робер мог бы добиться от Монсерфея чего угодно. Но он сам не знает, чего хочет, и обращается к нему с просьбами через нас, потому что это наилучший способ потерпеть неудачу. Ориана

надоела Монсерфею своими просьбами. Если она опять к нему обратится, он наверняка откажет.

— Ну, раз так, то пусть уж лучше герцогиня никаких шагов не предпринимает, — сказала принцесса Пармская.

— Разумеется! — поддакнул герцог.

— Бедный генерал! Опять он провалился на выборах, — чтобы переменить разговор, сказала принцесса Пармская.

— Ну, это не беда: всего лишь в седьмой раз, — возразил герцог; так как он был вынужден отказаться от политической деятельности, то ему доставлял удовольствие неуспех на выборах кого-нибудь еще. — Он утешился тем, что снова находится в ожидании прибавления семейства.

— Как! Бедная госпожа де Монсерфей опять беременна? — воскликнула принцесса.

— Ну конечно, — ответила герцогиня, — это единственный *округ*, где незадачливый генерал ни разу не потерпел неудачи.

В дальнейшем меня постоянно звали на эти трапезы, даже когда приглашали всего несколько человек, и в то время эти гости напоминали мне апостолов из Сент-Шапель. Гости и в самом деле собирались здесь, как первые христиане, — не только чтобы разделить пищу материальную, к

слову сказать, превосходную: то было нечто вроде светской Вечери; благодаря этому, побывав на нескольких ужинах, я перезнакомился со всеми друзьями хозяев дома, и хозяева представляли им меня с такой явной благожелательностью (как человека, которого они с давних пор опекают), что каждый из них счел бы невежливым по отношению к герцогу и герцогине не включить меня в список приглашенных на бал, и в то же время я пил икем.[450] из Германтских погребов и с наслаждением ел ортоланов, приготовленных по разным рецептам, которые составлял или в которые вносил разумные изменения герцог. Впрочем, кто уже не раз священнодействовал за этим столом, для тех принятие пищи было не обязательно. Старые друзья герцога и герцогини Германтских появлялись у них после ужина, «в качестве зубочисток», как выразилась бы г-жа Сван, без приглашения, и зимой пили липовый цвет в ярко освещенной большой гостиной, а летом — оранжад во мраке прямоугольного садика. После ужина у Германтов пили в саду только оранжад. Таков был ритуал. Предложить гостям еще какие-нибудь прохладительные напитки

[450] Примечания: 450

Икем — сорт французского вина (по названию местности в районе Бордо).

значило бы нарушить традицию, подобно тому, как большой раут в Сен-Жерменском предместье — это уже не раут, если в его программу входит спектакль или если играет музыка. Вы должны были делать вид, что пришли запросто — хотя бы у Германтов собиралось пятьсот человек — ну, скажем, к принцессе Германтской. Все удивлялись тому, каким я здесь пользуюсь благоволением: ведь, помимо оранжада, я мог попросить вишневого или грушевого соку. Это сблизило меня с принцем Агригентским — он принадлежал к числу тех людей, которые, будучи обделены воображением, но не лишены жадности, любуются тем, что вы пьете, и просят дать им немножко попробовать. Таким образом, принц Агригентский, каждый раз уменьшая количество сока, который я собирался выпить, портил мне удовольствие. Ведь когда тебя мучает жажда, то, сколько ни пей фруктового соку, все будет мало. Тебя никогда не утолит это претворение цвета плода во вкус, по тому что вареный плод словно возвращается к поре цветения. Пурпуровый, как весенний сад, или же бесцветный и свежий, как ветерок под фруктовыми деревьями, сок предоставляет вам возможность втягивать в себя его аромат и разглядывать его не спеша, а принц

Агригентский вечно мешал мне насладиться им. Но соки не вытесняли ни оранжада, ни липового цвета. Какие бы скромные формы ни принимало здесь светское причастие, оно все-таки являло собою причастие. И конечно, в качестве причастников друзья герцога и герцогини Германтских, как это мне и рисовалось вначале, были своеобразнее, чем я мог бы судить по обманчивой их наружности. Иных стариков ожидал у герцогини вместе с неизменным напитком не очень радушный прием. Их тянул сюда не снобизм — они сами принадлежали к высшим слоям общества — и не любовь к роскоши, любовь эта у них, пожалуй, была, но они могли бы найти ослепительную роскошь и в низших кругах светского общества: так, например, очаровательная супруга богатейшего финансиста всячески старалась заманить их на великолепную охоту, которую она устраивала два дня подряд для испанского короля[451] И однако они отказывались и шли наудачу к герцогине Германтской: а вдруг она дома? Они не могли быть уверены даже в том, что найдут здесь единомышленников или что их встретят с распростертыми объятиями; герцогиня Германтская нет-нет да

[451] Примечания: 451

…для испанского короля… — Альфонс XIII (1886–1941) был с визитом в Париже в мае 1905 г.

и прохаживалась насчет дела Дрейфуса, насчет республики, насчет антирелигиозных законов и даже — вполголоса — насчет их самих, насчет их немощей, насчет того, какие скучные они ведут разговоры, так что они принуждены были делать вид, что не слышат. Если их по привычке влекло сюда, то, конечно, это объяснялось их тонким воспитанием — воспитанием светских гурманов, их полной уверенностью в безукоризненности и первоклассности пищи, которую потребляет высшее общество, пищи привычной, внушающей доверие, вкусной, без всяких примесей, без суррогатов, происхождение и история которой были им так же хорошо известны, как происхождение и история той, что предлагала им эту пищу, — объяснялось тем «барством», какого они и сами в себе не подозревали. Случайно среди гостей, с которыми меня познакомили после ужина, находился один из завсегдатаев этого салона, сегодня пришедший сюда неожиданно, тот самый генерал де Монсерфей, о котором завела разговор принцесса Пармская. Когда ему назвали мою фамилию, он поклонился мне так, как будто я был председателем Высшего военного совета. Я решил, что герцогиня почти наотрез отказалась просить генерала де Монсерфея за своего

племянника по врожденной необязательности, а герцог поддержал жену потому, что хотя он и не любил ее, но именно эта ее черта ему нравилась, так же как и ее остроумие. А я считал неотзывчивость герцогини преступной, тем более что из слов принцессы Пармской я понял, что служба у Робера опасная и что хорошо было бы ему перевестись. Но особенно возмутила меня та злоба, с какой герцогиня Германтская в ответ на робкое предложение принцессы Пармской попросить генерала самой и от своего имени начала отговаривать ее высочество.

— Да что вы! — воскликнула она. — Монсерфей совершенно не пользуется у нового правительства доверием и не имеет на него влияния. Никакого толку из вашего разговора не выйдет.

— Как бы он нас не услышал! — прошептала принцесса, давая понять, что надо говорить тише.

— Не беспокойтесь, ваше высочество, он — глухая тетеря, — не понижая голоса, сказала герцогиня, хотя генерал прекрасно слышал, что она говорила.

— По-моему, Сен-Лу подвергает свою жизнь опасности, — заметила принцесса.

— Ничего не поделаешь, — возразила герцо-

гиня, — в таком же положении находятся все, кто там служит, с той разницей, что он сам туда напросился. Да и потом, ничего там опасного нет; иначе я бы за него замолвила словечко, можете не сомневаться. Я могла бы поговорить о нем за ужином с Сен-Жозефом. Он пользуется гораздо большим весом, а уж труженик!.. Но, как видите, он ушел. С ним мне легче было бы говорить, чем с Монсерфеем: у Монсерфея три сына в Мароисо, и он не стал хлопотать об их переводе; он может мне на это указать. Раз вы, ваше высочество, принимаете в этом такое участие, то я поговорю с Сен-Жозефом… если я его увижу, или с Ботрейном. Но если я их обоих не увижу, то особенно не жалейте Робера. Он рассказывал, как там обстоят дела. По-моему, лучшего места ему не найти.

— Какой дивный цветок! Таких нигде нет, только у вас, Ориана, можно увидеть настоящее чудо! — сказала принцесса; все еще боясь, как бы генерал де Монсерфей не расслышал слов герцогини, она переменила разговор. Это был цветок, похожий на те, что при мне писал Эльстир.

— Я очень рада, что он вам понравился; чудные цветы, посмотрите: у них лиловый бархатный ошейник, но только, как у некоторых прехорошеньких и одетых к лицу женщин, у них

некрасивое имя, и пахнут они дурно. А все-таки я их очень люблю. Вот только жаль, что скоро я их утрачу.

— Но ведь они в горшке, они же не срезаны, — возразила принцесса.

— Нет, не срезаны, — со смехом сказала герцогиня, — но это безразлично: они — дамы. Они из породы растений, у которых дамы и мужчины растут на разных стеблях. Это все равно что иметь только собачку. Мне нужен муж для моих цветов.[452] Иначе у них не будет детей!

— Как интересно! Значит, и в природе…

— Да, да. Есть насекомые, которые берутся устраивать им браки, как для монархов, по доверенности, так что жених и невеста до свадьбы не видятся. Вот почему, — даю вам слово, — я велю моему лакею как можно чаще выставлять этот цветок то на окно во двор, то на окно в сад, — все жду насекомого. Но на это так мало надежды! Подумайте: нужно, чтобы насекомое сначала увидело цветок того же вида, но другого пола, и чтобы ему пришла мысль занести в наш дом визитную карточку. Пока оно не прилетало; думаю, что мои цветы так и останутся непорочными, но

---

[452] Примечания: 452

Мне нужен муж для моих цветов. — В описании цветов Пруст руководствовался книгой М. Метерлинка «Разум цветов» (1907).

мне бы, признаться, хотелось, чтобы они были чуть-чуть более развратными. Понимаете, их ожидает та же судьба, что и красивое дерево у нас во дворе: оно умрет бездетным, так как в наших краях это большая редкость. Брак ему должен устроить ветер, но для ветра стена высока.

— Да, правда, — сказал граф де Бреоте, — уменьшите ее всего на несколько сантиметров — этого достаточно.

Такого рода операции надо уметь производить. Запах ванили в чудном мороженом, которым вы, герцогиня, нас угостили, — это запах растения, именуемого ванилью. На нем есть цветы и мужские и женские, но из-за плотной перегородки всякое общение между ними неосуществимо. Поэтому от него никак не могли добиться плодов, пока один молодой негр с острова Реюньон, по имени Альбен, — кстати сказать, для чернокожего это довольно смешное имя, потому что означает оно «белый», — не додумался привести в соприкосновение разделенные органы с помощью маленького шипа.

— Бабал! Вы удивительный человек, все-то вы знаете! — воскликнула герцогиня.

— Но вы тоже, Ориана, сообщили мне такие вещи, о которых я понятия не имела, — сказала

принцесса.

— Я, ваше высочество, много сведений по ботанике почерпнула у Свана. Иной раз, когда нам с ним становилось невмоготу идти к кому-нибудь на чашку чаю или на утренник, мы ехали за город, и он показывал мне поразительные браки цветов, гораздо более занятные, чем браки людей, браки без ланча и без записи в церковной книге. Но только у нас не было времени ехать куда-нибудь далеко. Теперь появились автомобили, мы бы с ним совершали чудесные прогулки. К сожалению, он сам вступил в еще более удивительный брак, так что ему теперь не до прогулок. Ах, ваше высочество, как ужасно жить на свете! Время уходит на скучнейшие дела, а если случайно познакомишься с человеком, который мог бы тебе показать много любопытного, он возьмет да и женится, как Сван. Если бы я продолжала ботанические экскурсии, то это меня бы обязывало бывать у опозорившей себя особы, — я предпочла отказать себе в удовольствии ездить на экскурсии. А впрочем, может быть, и не надо было особенно далеко забираться. Думаю, что даже в моем садике среди бела дня можно наблюдать куда более неприличные сцены, чем ночью… в Булонском лесу! Только никто этого не

замечает, потому что у цветов все очень просто: мы видим только оранжевый дождик или запыленную мушку, которая, прежде чем забраться в цветок, отряхивает лапки или принимает душ. И дело с концом!

— Комод, на котором стоит цветок, тоже великолепный. Наверно, ампир? — спросила принцесса; она была незнакома с трудами Дарвина и его последователей, и оттого шутки герцогини до нее не доходили.

— Правда, красивый? Я очень рада, что вы его оценили, — сказала герцогиня. — Чудная вещь. Признаюсь, я всегда обожала стиль ампир, даже когда он был не в моде. Помню, как была возмущена в Германте моя свекровь, когда я велела спустить с чердака весь дивный ампир, который Базен получил в наследство от Монтескью, и обставить им флигель, где я жила.

Герцог усмехнулся. Кто — кто, а уж он-то отлично помнил, что дело обстояло совсем иначе. Но так как подтрунивание принцессы де Лом над дурным вкусом свекрови вошло у нее в привычку в течение короткого времени, когда он был влюблен в свою жену, то от этой поры его любви у него до сих пор осталось слегка пренебрежительное отношение к умственным способностям матери,

уживавшееся, однако, с большой привязанностью и почтительностью.

— У Иенских есть такое же кресло с инкрустациями Веджвуда,[453] красивое, но мне больше нравится мое, — сказала герцогиня с таким бесстрастным видом, как будто ни одно из этих кресел ей не принадлежало. — Впрочем, я не отрицаю, что у них есть вещи неизмеримо лучше моих.

Принцесса Пармская промолчала.

— Ах да, вы же, ваше высочество, не знаете их собрания. Вам непременно надо побывать у них вместе со мной. Это одна из парижских достопримечательностей, это настоящий музей.

Предложение съездить к Иенским было одной из самых больших, чисто Германтских дерзостей, какие позволила себе герцогиня, так как принцесса Пармская смотрела на Иенских как на отъявленных узурпаторов, — их сын, как и ее родной сын, носил титул герцога Гвастальского, — вот почему герцогиня, сказав эту дерзость, не утерпела (ее оригинальность была ей бесконечно дороже принцессы Пармской), чтобы не метнуть в гостей лукавого, смеющегося взгляда.

---

[453] Примечания: 453

Веджвуд, Джозайя (1730–1795) — известный английский керамист, основатель фабрики керамических изделий.

В ответ гости только силились улыбнуться — так они были испуганы, поражены, но вместе с тем их радовала мысль, что они оказались свидетелями «последней выходки» Орианы — выходки, которую они могут распространять как «свежую новость». Отчасти они, впрочем, были к ней подготовлены — они знали, как ловко умеет герцогиня поступаться любыми предрассудками Курвуазье ради успеха в чем-либо, успеха, который вызывал бы всеобщий интерес и льстил бы ее самолюбию. Разве она в течение последних лет не примирила принцессу Матильду с герцогом Омальским, написавшим родному брату принцессы письмо, в котором была знаменитая фраза: «У нас в семье все мужчины храбры, а все женщины целомудренны»? Однако принцы остаются принцами, даже когда они как будто пытаются об этом забыть; герцог Омальский и принцесса Матильда, встретившись у герцогини Германтской, так друг другу понравились, что после этого стали бывать друг у друга, проявив ту же самую способность забывать прошлое, какую выказал Людовик XVIII, когда назначил

министром Фуше,[454] голосовавшего за казнь его брата. Герцогиня Германтская намеревалась еще сдружить принцессу Мюрат с неаполитанской королевой. Между тем принцесса Пармская была, видимо, так же смущена, как были бы смущены наследники голландского и бельгийского престолов, то есть принц Оранский и герцог Брабантский, если бы им собирались представить принца Оранского де Майи-Неля и герцога Брабант-ского де Шарлю. Но тут герцогиня, которой Сван и де Шарлю (между прочим, де Шарлю знать не хотел Иенских) с большим трудом в конце концов привили вкус к стилю ампир, воскликнула:

— Ваше высочество! Поверьте мне: я не подберу слов, чтобы выразить восторг, в какой вы от всего этого придете! Признаюсь, я всегда была поклонницей стиля ампир. Но у Иенских это что-то невероятное. Это… как бы вам сказать… то, что выбросила на берег, отхлынув, волна египетской экспедиции, и потом то, что доплеснулось до нас от античности, все, что наводнило наши дома; сфинксы на ножках кресел, змеи, обвивающие

[454] Примечания: 454

Фуше, Жозеф (1759–1820) — французский политический деятель. Будучи членом революционного Конвента, голосовал за смерть Людовика XVI. Впоследствии — министр полиции при разных политических режимах, в том числе при Людовике XVIII.

канделябры, громадная Муза, протягивающая вам маленький подсвечник для игры в буйот[455] или же преспокойно взобравшаяся на ваш камин и облокотившаяся на часы, и потом, все эти помпейские светильники, кроватки в виде лодок, словно найденные на Ниле, такие кроватки, что кажется, будто из одной из них сейчас покажется Моисей, античные квадриги, скачущие по ночным столикам…

— На мебели ампир не очень удобно сидеть, — набравшись храбрости, вставила принцесса.

— Неудобно, — согласилась герцогиня Германтская, — но, — продолжала она с улыбкой, — я люблю, когда мне плохо сидится в креслах красного дерева, обитых гранатовым бархатом или зеленым шелком. Мне нравятся неудобства, которые испытывали воины, не признававшие ничего, кроме курульных кресел,[456] скрещивавшие в огромном зале пучки прутьев с секирой и складывавшие лавры. Уверяю вас, что у Иенских вы ни секунды не думаете о том, удобно ли вам сидеть или неудобно, когда видите перед собой

---

[455] Примечания: 455

Буйот — старинная карточная игра.

[456] Примечания: 456

Курульное кресло — почетное кресло в Древнем Риме, на котором прежде восседали цари, а после них — консул, претор и эдил.

фреску, а фреска изображает здоровенную бабищу Победу. Мой супруг скажет, что я очень плохая роялистка, но, понимаете, я женщина отнюдь не благонамеренная; уверяю вас, что у них в доме в конце концов начинают нравиться все эти «Н», все эти пчелы. Сколько лет нами правили короли, а мы, да простит меня Господь, были не очень-то избалованы славой, вот почему в этих воинах, приносивших так много венков, что они увешивали ими даже ручки кресел, я не могу не видеть некоторого блеска! Пойдите, ваше высочество!

— Ах, Боже мой, если вы настаиваете… — сказала принцесса, — но только, по-моему, это не совсем удобно.

— Все устроится как нельзя лучше, вот увидите. Люди они очень хорошие, не глупые. Мы к ним привели госпожу де Шеврез, — зная, как сильно действуют примеры, ввернула герцогиня, — она была очарована. И сын у них очень милый… То, что я вам сейчас скажу, не совсем прилично, — продолжала она, — есть у него одна такая комната, в комнате кровать, — там хочется поспать, но… без него! А еще менее прилично то, как я однажды увидела его, когда он был болен и лежал в постели. Рядом с ним, на краю кровати, была дивно изваяна вытянувшаяся во всю длину

сирена с перламутровым хвостом и с чем-то вроде лотоса в руке. Уверяю вас, — нарочито медленно заговорила герцогиня, чтобы выделить каждое слово, которое она будто чеканила своими красивыми губками, в то же самое время выставляя напоказ точеность своих длинных выразительных рук и не отводя от принцессы ласкового, пристального, проникающего в душу взгляда, — что вместе с пальмовыми листьями и золотым венцом, которые лежали тут же, рядом, все это производило сильное впечатление: композиция как на картине «Юноша и Смерть[457]» Гюстава Моро (вы, ваше высочество, конечно, знаете этот шедевр).

Принцесса Пармская никогда не слыхала даже фамилии художника. Но она закивала головой и радостно заулыбалась, чтобы все поняли, как она любит эту картину. Ее резкая мимика не могла, однако, заменить огонек, который не зажигается в наших глазах, когда мы не понимаем, о чем с нами говорят.

— Он, наверно, красив? — спросила она.

— Нет, он похож на тапира. Глаза чуть-чуть

[457] Примечания: 457

«Юноша и Смерть» (1865). — Пруст особенно ценил эту акварель своего любимого художника Гюстава Моро и неоднократно обращался к ней в своих критических статьях.

напоминают глаза королевы Гортензии,[458] как ее рисуют на абажурах. Но он, вероятно, решил, что мужчине усиливать это сходство смешно, и оно расплылось в навощенных щеках, которые придают ему вид мамелюка.[459] Чувствуется, что полотер бывает у него каждое утро. Сван, — продолжала она, возвращаясь к кровати молодого герцога, — был поражен сходством сирены со Смертью Гюстава Моро. А впрочем, — добавила она, убыстряя речь, но вполне серьезно, чтобы тем смешнее стало слушателям, — причин для беспокойства у нас нет, у молодого человека был всего-навсего насморк, здоровье у него железное.

— Говорят, он сноб? — спросил граф де Бреоте взвинченно недоброжелательным и требовательным тоном, как если бы он ожидал точного ответа на вопрос: «Мне говорили, что у него на правой руке четыре пальца, это правда?»

— Да н-нет, Боже мой, н-нет, — с мягко-снис-

---

[458] Примечания: 458

Королева Гортензия (1783–1837) — Гортензия де Богарне, супруга Луи Бонапарта, королева Голландии (1806–1810).

[459] Примечания: 459

Мамелюки — невольники тюркского, черкесского и грузинского происхождения, составлявшие гвардию султанов династии Айюбидов (1171–1250) в Египте. В 1250 г. верхние слои мамелюков, превратившиеся в феодалов, захватили власть в стране, правили до завоевания Египта турками (1517). В 1811 г. были истреблены правителем Египта Мухаммедом Али.

ходительной улыбкой ответила герцогиня Германтская. — Пожалуй, чуть-чуть сноб только на вид, ведь он же еще так молод, но я была бы удивлена, если б он оказался снобом на самом деле, потому что он умен, — продолжала она, видимо, полагая, что снобизм и ум несовместимы. — Он человек острый, иногда бывает забавен, — с видом гурмана и знатока добавила она и рассмеялась, словно если мы считаем, что кто-нибудь забавен, то непременно сами должны принимать веселый вид, или словно она вдруг вспомнила остроты герцога Гвастальского. — Впрочем, его же нигде не принимают, так что ему не перед кем проявлять снобизм, — заключила герцогиня, не подумав о том, что этим сообщением она принцессу Пармскую не подбодрит.

— Любопытно, что скажет принц Германтский, когда узнает, что я поехала к той, кого он иначе как госпожа Иена не называет.

— Да ну что вы! — с необычайной живостью воскликнула герцогиня. — Разве вы не знаете, что мы уступили Жильберу (теперь она в этом горько раскаивалась!) целую игорную залу ампир, которая досталась нам от Кью-Кью, — это такая красота! У нас для нее нет места, и все-таки я думаю, что здесь ей было бы лучше. Какие это

дивные вещи, полуэтрусские, полуегипетские…

— Египетские? — переспросила принцесса, — слово «этрусские» ей было не очень понятно.

— Ах, Боже мой, частично такие, частично такие, это мы узнали от Свана, он мне все объяснил — вы же знаете: я круглая невежда. А потом, надо вам сказать, ваше высочество, что Египет стиля ампир ничего общего не имеет с подлинным Египтом, так же как их римляне — с настоящими римлянами, а их Этрурия…

— Это верно, — сказала принцесса.

— Ну это вроде того, что называлось костюмом Людовика Пятнадцатого при Второй империи, в пору молодости Анны де Муши.[460] или матери милейшего Бригода[461] Вот Базен говорил с вами о Бетховене. Недавно нам играли одну его вещь, конечно, прекрасную, но холодноватую — там есть русская тема.[462] То, что он считал ее русской, — это трогательно. А китайские худож-

---

[460] Примечания: 460

Анна де Муши — Анна Мюрат (1841–1924) в 1865 г. вышла замуж за Антуана де Ноайля, шестого герцога де Муши и принца де Пуа.

[461] Примечания: 461

Бригод — граф Гастон де Бригод де Кемланд (1850—?).

[462] Примечания: 462

…там есть русская тема. — Речь идет об одном из трех струнных квартетов Бетховена (1806), посвященных графу Разумовскому, русскому послу в Вене, скорее всего о квартете № 2, в котором звучит русская тема.

ники воображали, будто они копируют Беллини. Впрочем, даже в одной и той же стране если кто-нибудь смотрит на вещи чуть-чуть по-иному, то четыре четверти его сограждан ровным счетом ничего не видят из того, что он показывает. Должно пройти по крайней мере лет сорок, чтобы они научились смотреть.

— Сорок лет! — в ужасе воскликнула принцесса.

— Ну да, — теперь уже выделяя слова (это были не ее, а, почти все до одного, мои слова: я только что в разговоре с ней развивал ту же самую мысль) благодаря своему произношению как бы курсивом, — это вроде первой особи вида, который пока еще не существует, но который размножится, особи, наделенной новым чувством, какого еще нет у его современников. Я-то как раз этим чувством обладаю: я всегда увлекалась всем интересным, едва лишь оно возникало и как бы ни было оно необычно. Да вот вам пример: на днях я была с великой княгиней[463] в Лувре. Мы остановились перед «Олимпией» Мане. Теперь

[463] Примечания: 463

…с великой княгиней… — Речь идет о великой княгине Марии Павловне, урожденной герцогине Мекленбург-Шверинской (1845–1920), которая в 1874 г. вышла замуж за великого князя Владимира Александровича, дядю Николая II.

она никого не поражает. Кажется, что ее написал Энгр! А сколько мне из-за этой картины пришлось переломать копий, Боже ты мой, между тем я совсем ее не люблю, но я понимаю, что писал ее настоящий художник. Пожалуй, Лувр для нее не совсем удачное место.

— Как поживает великая княгиня? — осведомилась принцесса Пармская — ей тетка царя была бесконечно ближе натуры Мане.

— Мы с ней о вас говорили. В сущности, — вернулась к своей мысли герцогиня, — истина заключается в том, что, как утверждает мой деверь Паламед, все мы говорим на разных языках, вот почему между всеми нами — стена. По правде сказать, я нахожу, что самое прямое отношение эти слова имеют к Жильберу. Если вам любопытно побывать у Иенских, то не станете же вы действовать в зависимости от того, что может подумать этот несчастный человек: у него хорошая, чистая душа, но это какое-то ископаемое. Мне ближе, роднее мой кучер, мои лошади, чем этот человек, который все время задается вопросом: а что сказали бы об этом при Филиппе Смелом?[464]

---

[464] Примечания: 464

Филипп Смелый — Филипп III (1245–1285), король Франции с 1270 г.

или при Людовике Толстом[465] Можете себе представить: когда он гуляет по деревне, он благодушно тыкает в крестьян тросточкой и говорит: «Дорогу, мужичье!» Когда он со мной разговаривает, я бываю так же изумлена, как если бы со мной заговорили так называемые лежачие — фигуры со старинных готических гробниц. Хотя этот живой обломок — мой родственник, он меня пугает, и у меня только одна мысль: «Оставайся ты в своем средневековье». А так он милейший человек: сроду никого не зарезал.

— Я только что с ним ужинал у маркизы де Вильпаризи, — вставил генерал; шутка герцогини не вызвала у него улыбки.

— А маркиз де Норпуа у нее был? — спросил князь Фон — этот все еще не оставил надежды пройти в академики.

— Да, — ответил генерал, — он даже говорил о вашем кайзере.

— По-видимому, кайзер Вильгельм человек очень умный, но он не любит картин Эльстира. Я его за это не осуждаю, — сказала герцогиня, — мы с ним одинаково воспринимаем живопись. Впрочем, мой портрет Эльстир написал прекрас-

---

[465] Примечания: 465
Людовик Толстый — Людовик VI (1081–1137), король Франции с 1108 г.

но. Ах, да ведь вы его не видели! Не похоже, но любопытно. За ним интересно наблюдать во время сеансов. Он из меня сделал старуху. Вроде одной из «Регентш приюта для престарелых»[466] Хальса. Вы, наверно, знаете, — пользуясь излюбленным выражением моего племянника, — это *божественное* создание кисти художника? — спросила меня герцогиня, помахивая веером из черных перьев.

Она сидела совершенно прямо, гордо откинув голову: она в самом деле была знатной дамой, но вдобавок еще чуть-чуть играла знатную даму. Я ответил, что побывал в Амстердаме и в Гааге,[467] но, чтобы у меня все не перепуталось в голове, так как времени у меня было в обрез, я в Гарлем не съездил.

— Ах, Гаага! Какой там музей! — воскликнул герцог Германтский.

Я сказал, что он, наверно, полюбовался там «Видом Дельфта» Вермеера. Но у герцога было

---

[466] Примечания: 466

«Регентши приюта для престарелых» — картина голландского художника Франса Хальса (1580–1666), написанная в 1664 г., хранится в музее Гарлема (Северная Голландия).

[467] Примечания: 467

…побывал в Амстердаме и в Гааге… — В 1902 г. Пруст посетил Голландию, он побывал в Амстердаме, Гааге, Дельфте, а также в Гарлеме, чтобы посмотреть картины Хальса.

больше чванства, чем знаний. Поэтому он ответил мне с самодовольным видом, как отвечал всякий раз, когда его спрашивали о какой-нибудь находившейся в музее или выставленной в Салоне картине, которую он не помнил:

— Если ее надо видеть, то я видел!

— Как! Вы были в Голландии и не заехали в Гарлем? — спросила герцогиня. — Если бы даже в вашем распоряжении было четверть часа, вам надо было туда съездить ради необыкновенного Хальса. Я вам больше скажу: если б картины Хальса выставили на улице и вы могли бы на них взглянуть только с верхнего этажа трамвая, вам надо было бы впиться в них глазами.

Слова герцогини меня покоробили: они доказывали, что она не понимает, как у людей создаются впечатления от произведений искусств, и что глаз для нее — это всего лишь аппарат для моментальных снимков.

Герцог Германтский, довольный тем, что его жена с таким знанием дела говорит на интересующие меня темы, любовался величественной ее осанкой, которой она славилась, слушал ее рассуждения о Франсе Хальсе и думал: «Все-то она знает как свои пять пальцев. У моего юного друга есть все основания думать, что перед ним

в полном смысле слова знатная дама былых времен, — нынче другой такой не встретишь». Вот какими я видел их обоих в отрыве от имени Германт, в котором, как рисовало мне мое воображение, они вели непонятную жизнь; теперь они стали похожи на других мужчин и женщин и только немного отставали от своих современников, но не в равной мере, как это бывает во многих сен-жерменских домах, где у жены хватило вкуса остановиться на золотом веке прошлого, а муж имел несчастье дойти до наихудшей его поры, где жена не пошла дальше Людовика XV, а муж — ходячая луи-филипповская напыщенность. То, что герцогиня Германтская оказалась похожа на других женщин, сперва огорчило меня, но потом, в силу обратного действия, которому способствовало столько хороших вин, почти восхитило. Дон Хуан Австрийский,[468] или Изабелла д'Эсте[469] которых мы поселяем в мире имен, так же далеки от подлинной истории, как Мезеглиз от Германта.

---

[468] Примечания: 468

Дон Хуан Австрийский (1547–1578) — побочный сын германского императора Карла V, известный полководец, одержал победу над турками при Лепанто (1571).

[469] Примечания: 469

Изабелла д'Эсте (1474–1539) — жена Франческо Гонзага, маркиза мантуанского, происходила из древнего княжеского итальянского рода, играла важную роль в эпоху Возрождения, покровительствуя поэтам, философам, архитекторам и художникам.

Изабелла д'Эсте на самом деле была, без сомнения, невысокого полета принцесса, вроде тех, которые при Людовике XIV никакого придворного звания не получали. Но для нас она существо в своем роде единственное, несравненное, и допустить, что она была ниже других по положению, мы не можем, так что ужин у Людовика XIV представлял бы для нас некоторый интерес, но не больше, а вот если б мы встретились, — чего в действительности не бывает, — с Изабеллой д'Эсте, то мы смотрели бы на нее как на героиню романа. Когда же, кропотливо изучив Изабеллу д'Эсте, перенеся ее из мира фантастики в мир истории, мы удостоверились, что в ее жизни, в ее мышлении нет ничего от таинственной необычности, которая нам чудилась в ее имени, и когда чувства разочарования мы уже не испытываем, нас наполняет бесконечная признательность принцессе за то, что она понимала живопись Мантеньи,[470] почти так же глубоко, как Лафенестр[471] которого мы до тех пор презирали, на

[470] Примечания: 470

Мантенья, Андреа (1431–1506) — итальянский живописец падуанской школы, один из любимых художников Пруста.

[471] Примечания: 471

Лафенестр, Жорж Эдуард (1837–1919) — французский поэт, романист, художественный критик; преподавал в школе Лувра и был хранителем живописи в музее Лувра.

которого мы, по выражению Франсуазы, поплевывали. И вот когда я поднялся на недоступные вершины имени Германт, а затем спустился по склону частной жизни герцогини и нашел там все те же знакомые имена Виктора Гюго, Франса Халса и — увы! — Вибера, то меня это поразило так же, как поразило бы путешественника, который, подготовив себя к тому, что в неисследованной долине Центральной Америки или Северной Африки он будет наблюдать дикие нравы, каковой подготовке способствовали удаленность этих мест и необычность названий их растительности, вдруг за занавесом из гигантских алоэ или мансенилл обнаруживает, что туземцы иногда даже у развалин римского театра или колонны, посвященной Венере, читают «Меропу» или «Альзиру».[472] Далекая, отгородившаяся от культуры знакомых мне образованных дам из буржуазии, возвышавшаяся над ней, но, в сущности, однородная культура герцогини Германтской, с помощью которой она старалась — бескорыстно, не движимая тщеславием, — опуститься до уровня женщин, с которыми ее пути никогда бы не встретились, обладала заслуживавшими

[472] Примечания: 472

«Меропа», «Альзира» — трагедии Вольтера, написанные соответственно в 1743 и 1736 гг.

уважения, почти трогательными благодаря тому, что они не имели практического применения, познаниями в области финикийских древностей — так знает свое дело политик или врач.

— Я могла бы вам показать одну его прекрасную вещь, — любезно сказала мне герцогиня Германтская, имея в виду Халса, — лучшую его картину, как утверждают некоторые, она досталась мне по наследству от одного из моих немецких родственников. К несчастью, она является «ленным» имуществом замка. Вы знаете, что это значит? Я тоже не знаю, — сказала герцогиня — она не упускала случая посмеяться (она полагала, что это очень современно) над старинными обычаями, а между тем в ней жила бессознательная, несокрушимая привязанность к ним. — Я рада, что вы видели моего Эльстира, но, откровенно говоря, мне было бы еще приятнее угостить вас моим Хал-сом, этой «ленной» картиной.

— Я ее видел, — сказал князь Фон, — раньше она принадлежала великому князю Гессенскому.

— Да, да, — подтвердил герцог Германтский, — его брат женился на моей сестре, а его мать — двоюродная сестра матери Орианы.

— А что касается Эльстира, — продолжал князь, — я позволю себе заметить, что хотя у меня

нет своего мнения об его картинах, поскольку я их не видел, но так не любить его, как кайзер, не за что. Кайзер — человек редкого ума…

— Да, я два раза ужинала вместе с ним: один раз у моей тетки Саган, другой — у тетки Радзивилл,[473] — по-моему, это человек любопытный. Ему палец в рот не клади! Но есть в нем что-то забавное, «выращенное», — это слово герцогиня подчеркнула, — напоминающее зеленую гвоздику, то есть нечто такое, что меня удивляет, но отнюдь не восхищает, нечто такое, что изумляет тем, как это можно было вырастить, но только, по-моему, лучше было бы не стараться. Надеюсь, я вас не шокирую?

— Кайзер — человек необыкновенного ума, — продолжал князь, — он безумно любит искусство; вкус у него, в сущности, безукоризненный, он никогда не ошибается; если вещь прекрасна, он улавливает это с первого взгляда, и она становится ему ненавистна. Если же он что-нибудь ненавидит — можете не сомневаться, что это вещь превосходная.

Все улыбнулись.

— Вы меня успокоили, — сказала герцогиня.

---

[473] Примечания: 473

Радзивиллы — польские князья литовского происхождения, ведущие свой род с 1412 г.

— Я бы сравнил кайзера, — продолжал князь, — с одним старым берлинским антикваром. При виде древних ассирийских памятников антиквар плачет. Но если это современная подделка, а не настоящая древность, то он не плачет. И вот когда хотят узнать, настоящая ли это древность, ее несут к старому антиквару. Если он плачет, ее покупают для музеума. (Князь часто употреблял слово «музей», но всегда произносил его на немецкий лад: «музеум».) Если же глаза у него сухи, вещь отсылают торговцу назад, а торговца привлекают к ответственности за подделку. Так вот, всякий раз, когда я ужинаю в Потсдаме и кайзер говорит: «Князь! Посмотрите: это гениально», я записываю вещь, которую он мне назвал, и не хожу ее смотреть, а вот когда он обрушивается на какую-нибудь выставку, я при первой возможности лечу на нее.

— Правда ли, что Норпуа — сторонник сближения Франции с Англией? — спросил герцог Германтский.

— А вам-то, *шопственно*, что? — в свою очередь с раздражением, но и не без насмешечки в голосе, спросил не переваривавший англичан князь Фон. — Англичане — это такое дубье! Если они и могут в чем-нибудь вам помочь, то уж, во всяком

случае, не как военная сила. О них можно судить по глупости их генералов. Мой приятель недавно разговаривал с Ботой. Знаете, кто это? Бурский военачальник. Так вот, Бота[474] ему сказал: «Английское войско — это что-то ужасное. Англичан я даже скорей люблю, но я прошу вас вот над чем призадуматься: я — простой *мушик*, а ведь в каждом бою я задавал им трепку. И в последнем бою, под напором в двадцать раз сильнейшего противника, я совсем уже готов был сдаться, а кончилось дело тем, что я ухитрился взять в плен две тысячи человек. Но ведь я-то был главарем *мушицкого* войска, а вот если когда-нибудь этим остолопам случится помериться силами с настоящей европейской армией — страшно подумать, что с ними будет!» Да что там толковать: их короля вы знаете не хуже меня, а в Англии его считают великим человеком.

Я почти не слушал эти рассказы в духе тех, которыми маркиз де Норпуа услаждал слух моего отца; они не давали пищи для того, о чем я любил думать; а если бы даже эта пища в них и заключалась, она должна была бы быть гораздо

---

[474] Примечания: 474

Бота, Луи (1862–1919) — южноафриканский генерал, отличившийся во время Англо-бурской войны 1899–1902 гг., в 1907 г. был премьер-министром Трансвааля.

более острой для того, чтобы я зажил духовною жизнью в светском обществе, где я думал только о том, какая у меня кожа, хорошо ли я причесан, в порядке ли у меня манишка, — словом, где я не мог насладиться ничем из того, что составляло радость моей жизни.

— А я с вами не согласна! — заявила герцогиня Германтская; она находила, что немецкий князь бестактен. — По-моему, король Эдуард — милый, простой человек, и на самом деле он гораздо тоньше, чем о нем думают. А королева еще и сейчас необыкновенно красива.

— Но, ваша светлость, — раздраженно заговорил князь, не замечая, что своими рассуждениями он вооружает против себя общество, — если бы принц Уэльский был простым смертным, то его выгнали бы из всех клубов и никто не подавал бы ему руки. Королева обворожительна, необычайно мягкосердечна и необычайно ограниченна. И в конце концов, есть что-то коробящее в этой королевской чете, которая в буквальном смысле слова находится на содержании у своих подданных, которая требует от крупных финансистов-евреев, чтобы они покрывали все их расходы, а за это жалует им титул баронета. Это вроде князя Болгарского…

— Он наш родственник, — перебила его герцогиня, — он неглуп.

— Он и мой родственник, — продолжал князь, — но это не значит, что он порядочный человек. Нет, вам нужно сближаться с нами, — это заветная мечта кайзера, — но он хочет, чтобы оно шло от сердца. Он *кофорит*: «Я хочу рукопожатия, а не поклона!» Вот тогда вы были бы непобедимы. Это было бы целесообразнее, чем сближение с англичанами, за которое ратует маркиз де Норпуа.

— Я слыхал, что вы с ним знакомы, — желая вовлечь меня в разговор, обратилась ко мне герцогиня Германтская.

Вспомнив, что маркиз де Норпуа рассказывал, как я чуть было не поцеловал ему руку, решив, что он, без сомнения, не утаил этого и от герцогини Германтской и, во всяком случае, не мог не отозваться обо мне дурно, что дружба с моим отцом не помешала ему выставить меня в смешном виде, я тем не менее поступил не так, как поступил бы на моем месте человек светский. Тот сказал бы, что он не выносит маркиза де Норпуа и что своего отношения он от него не скрывает; сказал бы он это для того, чтобы создать впечатление, будто злословие посла вызвано его поведением, что посол, им задетый, в отместку клевещет на

него. А я сказал, что, к моему большому сожалению, маркиз де Норпуа, видимо, меня не любит!

— Это глубокое заблуждение, — возразила герцогиня Германтская. — Он вас очень любит. Не верите — спросите у Базена: все думают, что я человек слишком мягкий, ну а о нем так не думают. Базен подтвердит, что Норпуа высказывал о вас чрезвычайно лестное мнение. Совсем недавно он хотел устроить вас в министерство на такое место, что вам можно было бы только позавидовать. А затем он узнал, что вы болеете и служить не можете, но он был так деликатен, что о своем желании быть вам полезным словом не обмолвился вашему отцу, которого, кстати сказать, он необыкновенно высоко ставит.

От маркиза де Норпуа я меньше чем от кого-либо еще мог ждать одолжения. Он был насмешником, и даже довольно ядовитым, а потому те, кого, как меня, вводили в заблуждение его повадки, как у Людовика Святого,[475] чинящего суд под дубом, и вкрадчивый звук его, пожалуй, чересчур мелодичного голоса, узнав, что маркиз распускает

---

[475] Примечания: 475

Людовик Святой — Людовик IX (1215–1270), французский король с 1226 г., по обету предпринял в 1248 г. крестовый поход в Египет, расширил границы Франции, составил свод законов и старался подчинить дворянство королевским судам.

про них гнусные сплетни, — это он-то, о котором они думали, что он душа-человек! — приходили к выводу, что он отъявленный подлец. Злословил он постоянно. Но это не мешало ему к кому-то действительно хорошо относиться, хвалить тех, кого он любил, и охотно делать им одолжения.

— Да меня и не удивляет, что он к вам благоволит, — сказала мне герцогиня Германтская, — он человек проницательный. Я прекрасно понимаю, — обратилась она уже ко всем, намекая на замышляемое бракосочетание, о котором мне ничего не было известно, — что моя тетушка, которая не может теперь быть ему особенно приятна в качестве старой любовницы, не представляет для него ничего заманчивого как молодая жена. Да и потом, мне думается, она давно уже не его любовница — такой она стала ханжой. Вооз-Норпуа может сказать о себе, как сказано у Виктора Гюго:[476] «Ах, давно уже та, с кем я спал, перешла на господнее ложе!» Право, моя милая тетушка напоминает передовых художников, которые всю жизнь были на ножах с Академией, а на старости лет создают собственную, или расстриг, которые выдумывают новую религию. Тогда ка-

[476] Примечания: 476

…как сказано у Виктора Гюго… — Далее следует цитата из стихотворения Гюго «Спящий Вооз» из сборника «Легенда веков».

кой же смысл снимать рясу, или уж не надо было спутываться. А впрочем, как знать, — задумчиво добавила герцогиня, — может быть, это затевается с расчетом на скорое вдовство. Что может быть печальнее — не иметь права носить траур!

— Ну а если маркиза де Вильпаризи станет маркизой де Норпуа, то наш родственник Жильбер заболеет с горя! — заметил генерал де Сен-Жозеф.

— Принц Германтский — прелестный человек, но он и правда придает слишком большое значение родословной и этикету, — заговорила принцесса Пармская. — Я прожила два дня у него в деревне, когда принцесса была, к сожалению, больна. Со мной приехала Малышка (так прозвали г-жу д'Юнольстен, потому что она была под потолок ростом). Принц сошел с крыльца мне навстречу, предложил руку, но сделал вид, что не замечает Малышку. Мы поднялись на второй этаж, и только у входа в гостиную принц, посторонившись, чтобы дать мне дорогу, сказал: «А, здравствуйте, госпожа д'Юнольстен!» — после того как она развелась, он иначе ее не называет, — он притворился, что только сейчас заметил Малышку, и это для того, чтобы показать, что он не должен был сходить с крыльца ей навстречу.

— Меня это нисколько не удивляет. Всем хо-

рошо известно, — сказал герцог, мнивший себя человеком в высшей степени передовым, ни во что не ставящим происхождение и даже республиканцем, — что у меня мало общего с моим родственником. Смею вас уверить, ваше высочество, что мы с ним далеки, как небо от земли. Но я должен заметить, что если бы моя тетка вышла за Норпуа, то я отнесся бы к этому точно так же, как Жильбер. Дочери Флоримона де Гиза вступить в такой брак, — да это, как говорится, курам на смех, как бы это вам сказать. — Эти последние слова, которые герцог обычно вставлял в середину фразы, были тут совсем не к месту. Но он испытывал потребность непременно их произнести и если не находил другого места, то относил в самый конец фразы. А еще это присловье было для него тем же, чем является размер для стихотворца. — Хотя я не отрицаю, — добавил он, — что Норпуа — это хороший дворянский род, славный, знатный.

— Послушайте, Базен: зачем же вы только что отмежевались от Жильбера, если теперь рассуждаете так же, как он? — спросила герцогиня; для нее «доброкачественность» рода, подобно доброкачественности вина, являлась синонимом, так же как для принца и герцога Германтских, его

старости, но она была не так откровенна, как ее родственник, и хитрее своего мужа, а поэтому в разговоре старалась поддерживать репутацию Германтов и на словах презирала знатность, хотя поступки ее доказывали обратное.

— Но ведь вы, кажется, даже в родстве? — осведомился генерал де Сен-Жозеф. — Насколько я помню, Норпуа был женат на одной из Ларошфуко.

— Нет, не по этой линии; она — из рода герцогов де Ларошфуко, а моя бабушка — из рода герцогов де Дудовиль. Это родная бабушка Эдуарда Коко, самого мудрого человека во всей нашей семье, — ответил герцог; он не очень ясно представлял себе, что такое мудрость, — и эти две ветви не объединялись со времен Людовика Четырнадцатого; родня довольно дальняя.

— Ах вот оно что, любопытно, а я и не знал, — сказал генерал де Сен-Жозеф.

— Впрочем, — продолжал герцог, — мать Норпуа, кажется, родная сестра герцога де Монморанси и в первый раз вышла замуж за Латур д'Оверни. Но все эти Монморанси — Монморанси только отчасти, а Латур д'Оверни — совсем не Латур д'Оверни, — вот почему я не думаю, чтоб это придавало блеску его происхождению. Он

утверждает — и вот это как раз важнее, — что он происходит от Сентрай,[477] а так как мы по прямой линии происходим от них…

В Комбре была улица Сентрай, но я о ней никогда не вспоминал. Она соединяла улицу Лабретонри с Птичьей. Так как Сентрай, соратник Жанны д'Арк, женившись на одной из Германт, присоединил к владениям этого рода графство Комбре, то и герб его скрестился с гербом Германтов под одним из витражей Св. Иллария. В моем воображении ожили ступени из бурого песчаника, едва лишь один-единственный перелив голоса привел мне на память забытое звучание имени Германт, слышанное мною когда-то и заметно отличавшееся от звучания, какое приобретало это имя, когда его произносили гости, обращаясь к любезным хозяевам, у которых я сегодня ужинал. Имя герцогини Германтской было для меня именем собирательным, но не только в смысле историческом: не только оттого, что это было имя всех женщин, носивших его, а еще и оттого, что недолгая моя юность уже видела в этой одной герцогине Германтской столько разных, наслаивавшихся одна на другую жен-

[477] Примечания: 477

Сентрай, Жан Потон, де (1400–1461) — маршал Франции, ближайший сподвижник Жанны д'Арк.

щин, каждая из которых исчезала, как только следующая в достаточной степени оплотневала. Слова не так резко изменяют свое значение за несколько веков, как изменяют для нас значение имена на протяжении всего лишь нескольких лет. Наша память и наше сердце недостаточно просторны, оттого они и не могут быть верными. В нашем теперешнем сознании не хватает места, чтобы хоронить мертвых рядом с живыми. Мы вынуждены строить прямо на минувшем, которое открывается перед нами только благодаря случайным раскопкам, вроде тех, что произвело во мне имя Сентрай. Я счел бесполезным обо всем этом рассказывать и даже, в сущности, солгал, уклонившись от ответа на вопрос герцога: «Вы знаете наши места?» Может быть, герцог и знал, что я жил там прежде, но по своей благовоспитанности не переспросил меня.

Герцогиня Германтская вызвала меня из задумчивости. — Боже, какая тоска! Но только я вас уверяю, что у меня не всегда бывает так скучно. Это дело поправимое: я надеюсь, что вы скоро опять придете к нам ужинать, и это уже будет вечер без всяких генеалогий, — вполголоса сказала мне герцогиня; она ни за что не догадалась бы, что меня сюда влечет, и ей было бы горько, если б

она узнала, что ее дом занимает меня только как гербарий, где собраны растения, которые никто теперь уже не выращивает.

Что, как думала герцогиня Германтская, обмануло мои ожидания, то, как раз наоборот, под конец — оттого что герцог и генерал без умолку говорили о родословных — спасло меня в этот вечер от совершенного разочарования. Да и как бы я мог не быть вначале разочарован? Все гости герцогини, наряженные в таинственные имена, — а только в этих нарядах я и знал и представлял их себе до сих пор, — люди, которые по своим внешним данным и внутреннему содержанию были не выше, а то и ниже всех моих знакомых, производили на меня впечатление людей заурядных и пошлых, какое может произвести датский порт Эльсинор на страстного поклонника «Гамлета». Без сомнения, их родные края и далекое прошлое, вместившие в их имена строевые леса и готические колокольни, оказали известное влияние на тип их лица, на их сознание и предрассудки, но они жили в них, как причина содержится в действии, то есть ум, пожалуй, еще мог бы их различить, но для воображения они были наглухо закрыты.

И вот старинные эти предрассудки внезапно

вернули гостям герцога и герцогини Германтских утраченную ими поэзию. Конечно, сведения, которыми располагает знать и которые создают из них людей образованных, изучивших происхождение не слов, а имен (образованных только в сравнении с невежественным большинством буржуазии: ведь если человек религиозный, представляя собой такую же ничем не примечательную личность, как и вольнодумец, даст вам более правильные ответы на вопросы о литургии, чем он, зато враг духовенства археолог может прочитать священнику целую лекцию даже о церкви, где тот служит), эти сведения, если говорить по правде, не кривя душой, были лишены для этих вельмож даже очарования, какое они могли бы иметь для буржуа. Они знали, быть может, лучше, чем я, что герцогиня де Гиз была принцессой Киевской, Орлеанской, Порсьенской и пр.,[478] но, еще до того как они усвоили все эти имена, их глазам явилось лицо герцогини де Гиз, и с тех пор в ее имени они видели отражение ее лица. Я начал с феи, не считаясь с возможностью

[478] Примечания: 478

…Порсьенской и пр. — Графство Порсьенское (в Парижском Бассейне) отошло к французской короне в XII в. Принцесса Изабелла Орлеанская (1878–1961), будучи супругой герцога де Гиз (1874–1940), являлась герцогиней де Гиз, принцессой Орлеанской, Киевской и Порсьенской.

скорой ее гибели; они начинали с женщины.

В буржуазных семьях поселяется зависть в том случае, если младшая сестра выходит замуж раньше старшей. В аристократическом мире, особенно — у Курвуазье, но и у Германтов, понятие о дворянстве как о высшем классе подменялось понятием всего лишь о старшинстве в семье и приобретало черты чистейшего ребячества, о котором я сначала узнал (и только это обстоятельство придавало ему в моих глазах известную прелесть) из книг. Кажется, что Таллеман де Рео[479] имеет в виду не Роганов, а Германтов, когда с видимым удовольствием рассказывает о том, как де Гемене кричал своему брату: «Можешь войти, это не Лувр!» — и говорил о шевалье де Рогане (потому что он был побочный сын герцога Клермонтского): «Ведь он же как-никак принц!» Единственно неприятное в разговоре у Германтов заключалось для меня в том, что нелепости, распространявшиеся о милейшем наследном принце Люксембургском, так же легко принимались на веру в этом салоне, как и в кругу

[479] Примечания: 479

Таллеман де Рео, Жедеон (1619–1692) — французский писатель-мемуарист, автор знаменитых «Занимательных историй» (1657), которые являются одним из самых замечательных исторических свидетельств эпохи.

приятелей Сен-Лу. Это была настоящая эпидемия, которая, возможно, кончилась бы через два года, но которая успела перезаразить всех. Здесь повторяли уже известные небылицы и нанизывали на них другие. Для меня стало ясно, что даже принцесса Люксембургская, делая вид, что вступается за племянника, на самом деле вооружает против него врагов. «Зря вы его защищаете, — сказал мне герцог Германтский (то же самое говорил мне Сен-Лу). — Ну хорошо, не считайтесь с мнением наших родственников, хотя они единодушны, расспросите его слуг — в сущности, они знают его лучше, чем кто бы то ни было. Герцогиня Люксембургская подарила племяннику своего негритенка. Негр, весь в слезах, вернулся к своему прежнему хозяину: „Принц меня бил, мой не негодяй, принц злой, так нехорошо“. Это я знаю наверное — ведь он же родственник Орианы».

Я затруднился бы ответить на вопрос, сколько раз я слышал за этот вечер слова «родственник» и «родственница». Например, герцог Германтский почти каждый раз, когда кто-нибудь называл новое имя, восклицал: «Да ведь это же родственник Орианы!» — с такой радостью, как будто он, заблудившись в лесу, вдруг увидел направленные в разные стороны указательные стрелки с

мельчайшими цифрами, определяющими расстояние в километрах, и с надписями: «Бельведер Казимир-Перье» и «Перекресток обер-егермейстера» — и делает из этого вывод, что он не сбился. А жена турецкого посла, приехавшая после ужина, употребляла слова «родственник» и «родственница» с совершенно иным намерением (представлявшим здесь исключение). Снедаемая светским честолюбием, она в то же время обладала колоссальной памятью: ей одинаково легко было запомнить что историю отступления «Десяти тысяч»,[480] что все виды половых извращений у птиц. Ее невозможно было уличить в незнании новейших немецких ученых трудов по политической экономии, об умственных расстройствах, о разных видах онанизма и о философии Эпикура. Это была личность опасная, так как она вечно попадала впросак: обвиняла в крайнем легкомыслии высоконравственных женщин, предупреждала вас, что нужно остерегаться человека в высшей степени добропорядочного, и рассказывала истории, которые производили

[480] Примечания: 480

…историю отступления «Десяти тысяч»… — Имеется в виду поход десяти тысяч греческих наемников в глубь персидской державы (401 до н. э.) и их обратный путь к Черному морю, описанные Ксенофонтом в «Анабасисе».

впечатление, что она вычитала их в книгах, — не из-за их серьезности, а из-за неправдоподобия.

В те времена ее почти нигде не принимали. Месяца полтора она бывала у женщин блистательных, вроде герцогини Германтской, но вообще ей волей-неволей пришлось удовольствоваться потомками славных, но захудалых родов, у которых Германты перестали бывать. Она воображала, что ее сочтут за вполне светскую даму, если она будет называть громкие имена людей, которых почти нигде не принимали, своих приятелей. Герцога Германтского, решавшего, что эти люди постоянно ужинают у него, мгновенно пронизывал трепет восторга, как человека, попавшего в знакомые места, после чего слышалось обычное его восклицание: «Да ведь это же родственник Орианы! Мне ли его не знать! Живет он на улице Вано. Мать его — урожденная д'Юзе». Послице ничего иного не оставалось, как признаться, что некто, о ком она завела речь, принадлежит к более мелкой породе животных.[481]

Она пыталась установить хотя бы не непо-

---

[481] Примечания: 481

...к более мелкой породе животных. — Намек на фразу Лафонтена, которая служит связкой XI («Лев и крыса») и XII («Голубь и муравей») басен из второй книги полного собрания басен французского писателя. Пруст неоднократно использовал ее как в переписке, так и в критических статьях.

средственную связь между своими друзьями и друзьями герцога Германтского. «Я понимаю, кого вы имеете в виду. Нет, он не из тех, но они в родстве». Эта фраза злосчастной послицы, звучавшая как сигнал к отступлению, тут же испускала дух. Герцог, разочарованный, говорил: «Ну, тогда я не знаю, кто это такое». Послица ничего на это не отвечала, потому что эти самые «родственники» не состояли даже в отдаленном родстве с теми, о ком думал герцог. Потом опять выбивался словесный поток герцога: «Да ведь это же родственница Орианы!» — казалось, что эти слова нужны были ему, как некоторые удобные эпитеты, образующие в гекзаметре лишний дактиль или спондей, нужны были латинским поэтам.

Как бы то ни было, вскрик: «Да ведь это же родственница Орианы!» — показался мне вполне естественным, когда речь зашла о принцессе Германтской, потому что она действительно была очень близкой родственницей герцогини. Послица, как видно, ее не любила. Она сказала мне шепотом: «Она глупа. Да и совсем не так уж хороша собой. Это только одни разговоры. Словом, — добавила она с видом задумчивым, неприязненным и решительным, — она мне крайне несимпатична». Но часто родственные

связи простирались гораздо шире: герцогиня Германтская почему-то считала необходимым именовать «тетями» особ, с которыми у нее были общие предки не ближе, чем при Людовике XV, — так миллиардерши, которым в те времена, когда знати пришлось туго, удалось выскочить за принцев, чей прапрадед, как и прапрадед герцогини Германтской, был женат на дочери Лувуа,[482] по-детски радовались возможности, в первый раз попав в дом к Германтам, впрочем, особого гостеприимства по отношению к ним не проявлявшим, но зато потом не без удовольствия перемывавшим этим самым миллиардершам все косточки, называть герцогиню Германтскую «тетей», поневоле отвечавшую на это обращение материнski нежной улыбкой. Но меня не очень занимало, какое значение придают герцог Германтский и де Монсерфей «происхождению»: в разговорах, которые они вели об этом между собой, я искал для себя поэтического наслаждения. Сами того не подозревая, они мне его доставляли, как доставили бы землепашцы или моряки, говоря об обработке земли или о прибоях — явлениях, с которыми они были до того тесно связаны, что

[482] Примечания: 482

Лувуа, Франсуа Мишель Ле Телье, маркиз (1639–1691) — французский аристократ, военный министр при Людовике XIV.

уже не замечали их красоты, между тем как я обратил бы на нее особое внимание.

Иной раз имя заставляло вспомнить не о каком-нибудь славном роде, но об известном событии, о какой-нибудь знаменательной дате. Когда я узнал от герцога Германтского, что мать графа де Бреоте — урожденная Шуазёль, а бабушка — Люсенж, то воображение нарисовало мне под его самой обыкновенной рубашкой с простыми жемчужными запонками кровоточащие в двух хрустальных шарах две высочайшие святыни: сердце герцогини де Прален;[483] и сердце герцога Беррийского[484] другие реликвии скорее будили чувственность: длинные тонкие волосы г-жи Тальен.[485] или графини де Сабран[486]

В иных случаях перед моим мысленным взором

---

[483] Примечания: 483

Герцогиня де Прален, Фанни Себастиани (1807–1847) — герцогиня де Прален, урожденная Себастиани делла Порта. Родовитый герцог де Шуазель-Прален женился в 1824 г. на дочери генерала Себастиани, в семье было десять детей, герцог увлекся их гувернанткой и, по-видимому, убил свою жену, которая хотела воспротивиться этой связи. Арестованный по подозрению в убийстве герцогини, Шуазель-Прален принял яд.

[484] Примечания: 484

Герцог Беррийский, Шарль Фердинанд (1778–1820) — французский аристократ, сын Карла X, наследник трона; был убит Луи Пьером Лувелем (1783–1820).

[485] Примечания: 485

Г-жа Тальен — Мария Жуанна Иниго де Кабаррус (1773–1835), испанская

аристократка, дочь посла Испании во Франции, вошла в историю своими браками с виднейшими французскими политическими деятелями (маркиз де Фонтене, Жан-Ламбер Тальен, граф Караман) и активным участием в общественной жизни страны (ее называли «Богоматерь Термидора»).

[486] Примечания: 486

Графиня де Сабран, Мадлен Луиза Шарлотта де Пуа (1693–1768) — французская аристократка, любовница регента Филиппа Орлеанского.

возникали не просто реликвии. Осведомленный лучше жены о своих предках, герцог Германтский хранил воспоминания, которые придавали его речи украшавшее ее сходство со старым домом, где нет, правда, великих произведений искусства, но где полно подлинников, посредственных и все же производящих впечатление, в общем, придающих всему дому внушительный вид. На вопрос принца Агригентского, почему принц Х, говоря о герцоге Омальском, назвал его дядей, герцог Германтский ответил: «Потому что брат его матери, герцог Вюртембергский, был женат на дочери Луи-Филиппа,[487]». Тут перед моим мысленным взором возник драгоценный ларец вроде тех, какие расписывали Карпаччо и Мемлинг[488] ларец, в первом отделении которого была изображена принцесса на свадьбе своего брата герцога Орлеанского, в простом летнем платье, каковое ее одеяние должно было показать, что она недовольна тем, что сватов, которых заслал к ней принц Сиракузский, не приняли, а в другом отделений

[487] Примечания: 487

…на дочери Луи-Филиппа… — Речь идет о Марии-Кристине Орлеанской (1813–1839), супруге герцога Александра Вюртембергского (1804–1881).

[488] Примечания: 488

Мемлинг, Ганс (1433–1494) — нидерландский живописец, автор многочисленных картин на библейские сюжеты и замечательных портретов.

— рождение ее сына, герцога Вюртембергского (родного дяди принца, с которым я только что ужинал), в замке «Фантазия»,[489] не менее аристократическом, чем иные семьи. В стенах таких замков, переживающих не одно поколение, перебывал целый ряд исторических лиц. В этом именно замке живут рядышком воспоминания о маркграфине Байрёйтской,[490] другой принцессе с фантазиями (сестре герцога Орлеанского), которой, как говорят, очень нравилось название замка ее мужа, о баварском короле,[491] и, наконец, о принце Х, который как раз теперь просил герцога Германтского посылать ему письма в этот замок, который он получил в наследство и который отдавал взаймы только на время представлений вагнеровских опер принцу де

---

[489] Примечания: 489

Замок «Фантазия» — речь идет о саксонском замке герцога Александра Вюртембергского, расположенном неподалеку от Байрёйта.

[490] Примечания: 490

Маркграфиня Байрёйтская — имеется в виду София-Вильгельмина (1709–1758), сестра Фридриха Великого. Она написала (по-французски) замечательные «Мемуары», оцененные Вольтером.

[491] Примечания: 491

…баварском короле… — Речь идет о Людвиге II (1845–1886), короле Баварии, который, в частности, покровительствовал Р. Вагнеру, построив в Байрёйте театр, предназначенный для постановок его опер.

Полиньяку[492] еще одному очаровательному «фантасту». Когда герцог Германтский, чтобы объяснить, с какой стороны он приходится родственником виконтессе д'Арпажон, взбирался так высоко и так просто, не держась руками, по горной цепи трех, а то и пяти поколений и добирался до Марии-Луизы.[493] и Кольбера, то каждый раз все повторялось сызнова: большое историческое событие он дорогой переодевал, искажал, втискивал в название поместья или в имя женщины, так окрещенной потому, что она внучка Луи-Филиппа и Марии-Амелии, которые в данном случае представляли интерес не как французские король и королева, а только как дед и бабка, оставившие такое-то наследство. (Из словаря имен, упоминаемых Бальзаком, который, по другим причинам, уделяет внимание крупнейшим историческим фигурам в зависимости от того, какое отношение имеют они к «Человеческой комедии», явствует, что Наполеону

---

[492] Примечания: 492

Полиньяк, Эдмон де (1834–1901) — видный французский аристократ, меценат и страстный любитель изящных искусств (в 1865 г. ему была присуждена первая премия Парижской консерватории), был очень близок к Вагнеру и его кругу.

[493] Примечания: 493

Мария-Луиза (1791–1847) — дочь германского императора Франциска II, супруга Наполеона I.

отведено в ней куда более скромное место, чем Растиньяку, да и это скромное место отведено ему только потому, что он беседовал с девицами де Сен-Синь[494]) Вот как аристократия в громоздком здании с редкими окнами, пропускающими мало света, здании, в котором не чувствуется полета, но зато чувствуется та же непробиваемая, незрячая мощь, что и в романской архитектуре, замыкает, замуровывает, оскучняет всю историю.

Итак, просторы моей памяти постепенно порастали именами, и эти имена, размещаясь в определенном порядке, объединяясь, устанавливая друг с другом все более многочисленные связи, напоминали законченные произведения искусства, где нет ни единого мазка, который существовал бы сам по себе, где каждая часть обязана своим происхождением другим, и в свою очередь, вызывает к жизни их. Тут снова зашла речь о принце Люксембургском, и турецкая послица рассказала такую историю: якобы дедушка его молодой жены, торговавший мукой и

[494] Примечания: 494

Девицы де Сен-Синь — персонажи романа О. де Бальзака «Темное дело», который входит в знаменитую «Человеческую комедию». Пруст ценил творчество Бальзака, постоянно обращался в ходе работы над своим романом к энциклопедическому «Справочнику „Человеческой комедии“» (1887), который помогал ему ориентироваться в мире персонажей литературного предшественника.

макаронами и сказочно разбогатевший, пригласил принца Люксембургского на завтрак — принц отказался и на конверте, куда он вложил письмо с отказом, написал: «Г-ну ***, мельнику», дед же ему ответил так: «Я очень огорчен, любезный друг, что вы не смогли приехать, а между тем я мечтал насладиться вашим обществом в тесном кругу: у нас собрался действительно тесный круг, всё свои люди, посидели бы за завтраком мельник, его сын да вы». Мне было противно слушать эту историю: я любил графа де Нассау, хорошо знал его душевную мягкость и не мог поверить, чтобы он на конверте с письмом деду своей жены (чьим наследником он, кстати сказать, являлся) написал «мельнику»; помимо всего прочего, с самого начала становилось ясно, что это еще и дурацкая история: слишком явно бросалось в глаза, что мельник взят из заглавия басни Лафонтена.[495] Но в Сен-Жерменском предместье глупость чрезвычайно сильна, а в союз с ней вступает злоба, и поэтому все, кто здесь ни был, поверили, что такое письмо действительно было отправлено и что дедушка, которого только на основании этого рассказа все единодушно

[495] Примечания: 495

…из заглавия басни Лафонтена. — Намек на басню «Мельник, его сын и осел» (III, 1).

признали замечательным человеком, оказался остроумнее принца. Герцог де Шательро решил, воспользовавшись случаем, рассказать историю, которую я уже слышал в кафе: «Все ложились», но едва он заговорил о том, что принц Люксембургский потребовал, чтобы герцог Германтский стоял перед его женой, герцогиня оборвала его: «Нет, он очень смешон, но все же не до такой степени». Я готов был дать голову на отсечение, что все эти россказни о принце Люксембургском — сплошная ложь и что всякий раз, когда я окажусь в обществе действующего лица или свидетеля, кто-нибудь да выступит с опровержением. Я только задавал себе вопрос: что подтолкнуло герцогиню Германтскую выразить рассказчику недоверие — правдивость или же самолюбие? И вот оказалось, что злоба в ней еще сильней самолюбия, потому что она продолжала со смехом: «Я ведь ему тоже кое-что могу припомнить».

Чтобы познакомить меня со своей женой, причем он не нашел ничего лучшего, как в письме к тетке назвать ее «наследной принцессой Люксембургской», он пригласил меня на чашку чая. Я ответила, что, к сожалению, приехать не могу, и прибавила: «А „наследной принцессе Люксембургской“ (эти слова я поставила в кавычках)

передай, что если она захочет со мной повидаться, то я бываю дома по четвергам после пяти». Я и еще кое-что могу ему припомнить. В Люксембурге я несколько раз звонила ему по телефону. То его высочество собираются завтракать, то только сейчас откушали, словом, два часа я звонила без толку и наконец применила такой способ: «Можно попросить графа де Нассау?» Это задело его за живое, и он подлетел к аппарату. Рассказ герцогини всех насмешил, как смешили и другие рассказы о принце в этом же духе, то есть, по глубокому моему убеждению, враки, потому что такого интеллигентного, такого великодушного, такого чуткого, скажу попросту: такого чудного человека, как Люксембург-Нассау, я не встречал. Из дальнейшего будет видно, что прав был я. Справедливость требует заметить, что герцогиня Германтская наговорила о нем не только «мерзостей» — сказала она о нем и хорошее:

— Он не всегда был такой. Пока он не свихнулся, не возомнил о себе, он в лужу не садился и даже в первое время после помолвки говорил о ней с милой откровенностью, как о счастье, которое ему привалило. «Прямо как в сказке, придется въехать в Люксембург на волшебной колеснице», — сказал он своему дяде Орнесану,

а тот ему, — вы же знаете, что Люксембург невелик: «Боюсь, что на колеснице ты не въедешь. Впряги-ка лучше коз в коляску и въезжай». Нассау нисколько не обиделся — сам же он нам об этом и рассказывал и хохотал.

— Орнесан — человек очень остроумный, да ему и есть в кого: его мать — Монже. Бедный Орнесан! Дела его плохи.

Имя Орнесана, слава Богу, прекратило грубые насмешки над принцем Люксембургским — иначе им не было бы конца. И в самом деле: герцог Германтский тут же счел нужным пояснить, что прапрабабушка Орнесана была сестра Марии де Кастиль Монже, жены Тимолеона Лотарингского, и что, следовательно, она — тетка Орианы. Таким образом, разговор снова перешел на родословные, а в это время набитая дура турецкая послица шептала мне на ухо: «Вы, как видно, в чести у герцога Германтского, будьте осторожней», а когда я спросил, что это значит, она ответила: «Я хочу сказать, — вы поймете меня с полуслова, — что этому человеку можно безбоязненно доверить дочь, но не сына. — На самом деле, не было на свете мужчины, который так страстно любил бы женщин, и только женщин, как герцог Германтский. Но заблуждения, неправда, просто-

душно принятая на веру, — это была для послицы как бы родная стихия, вне которой она не могла бы существовать. — Его брат Меме, который по другим причинам (он с ней не здоровался) вызывает во мне глубокую антипатию, до глубины души возмущен безнравственностью герцога. Их тетка Вильпаризи тоже. Вот перед кем я преклоняюсь! Святая женщина, настоящая прежняя светская дама. Это не только сама добродетель, но и образец строгого воспитания. Она продолжает говорить послу Норпуа „господин Норпуа“, хотя видится с ним ежедневно; между прочим, в Турции о нем до сих пор вспоминают с самым теплым чувством».

Я прислушивался к разговору о родословных и даже не ответил послице. Не все родословные были равно блестящи. В ходе беседы выяснилось, что два неожиданных брака, о которых рассказал мне герцог Германтский, были неравными браками, а между тем в них заключалась своя прелесть: сочетав при Июльской монархии герцога Германтского и герцога Фрезенсакского с обворожительными дочерьми знаменитого мореплавателя, они придавали обеим герцогиням необычную пряность буржуазно-экзотического, луифилиппскоиндийского обаяния. Еще один

пример: при Людовике XIV один из Норпуа женился на дочери герцога Мортемарского, и его достославный титул в то далекое время вычеканил имя Норпуа, которое само по себе казалось мне тусклым и совсем не старинным; благодаря ювелирной отделке оно стало красивым, как медаль. В таких случаях от сближения выигрывало не только менее известное имя; другое, блеск которого уже стерся от времени, в новом, более сумрачном свете производило на меня более сильное впечатление: так среди портретов замечательного колориста особенно поражает портрет, написанный в черных тонах. Подвижность, какою в моих глазах отличались все эти имена, вдруг оказывавшиеся рядом, хотя я привык думать, что они находятся далеко друг от друга, объяснялась не только моим невежеством; перетасовки, происходившие в моем сознании, с не меньшей легкостью происходили в те времена, когда титул, всегда связанный с определенной местностью, вместе с нею передавался от одной семьи к другой, так что, например, в красивом феодальном здании, какое представляет собой титул герцога Немурского или герцога Шеврезского, ютились, словно в гостеприимном жилище Бернара Пустынника, кто-нибудь из Гизов, принц

Савойский, кто-нибудь из Орлеанов, кто-нибудь из Люинь. Иногда на одну и ту же раковину притязало сразу несколько семейств: на княжество Оранское — нидерландский царствующий дом и принцы Майи-Нели, на герцогство Брабантское — барон де Шарлю и бельгийский царствующий дом, множество других — на титулы принца Неаполитанского, герцога Пармского, герцога Реджийского. Иногда происходило обратное: раковина после смерти хозяев долго-долго пустовала, и я был далек от мысли, что название такого-то замка могло быть, — причем сравнительно очень недавно, — именем семьи. Вот почему, когда герцог Германтский на вопрос де Монсерфея ответил: «Нет, моя родственница была ярая роялистка; ведь она дочь маркиза де Фетерна, игравшего не последнюю роль в шуанской войне» — имя Фетерн, которое с тех пор, как я побывал в Бальбеке, было для меня названием замка, неожиданно оказалось фамилией, и это поразило меня так же, как поражают в феерии оживающие и становящиеся одушевленными существами башенки и крыльцо. С известным правом можно сказать, что история, даже чисто генеалогическая, возвращает жизнь старым камням. В парижском обществе были люди, которые

играли не менее значительную роль, знакомства с которыми благодаря их элегантности или уму добивались с большим упорством и которые были не менее знатного происхождения, чем герцог Германтский и герцог де Ла Тремуй. Теперь они забыты, потому что у них не было потомков, их имен уже не слышно, ныне это имена безвестные; в лучшем случае название предмета неодушевленного, под которым сверх всякого ожидания скрывается фамилия человека, прозябает где-нибудь в замке, в какой-нибудь захолустной деревне. Пройдет еще сколько-то лет, и путешественник, который остановится в бургундской глуши, в деревеньке Шарлю, ради осмотра церкви, если он недостаточно любознателен или если у него нет времени разбирать надгробия, так и не узнает, что фамилию де Шарлю носил человек, принадлежавший к титулованной знати. Эта мысль напомнила мне, что пора уходить и что, пока я слушал рассказы герцога Германтского о родословных, час моего свидания с его братом все приближался. «Кто знает? — думалось мне. — Быть может, настанет день, когда и „Германт“ будет звучать только как название местности для всех, кроме археологов, которые случайно забредут в Комбре и, остановившись перед витра-

жом Жильберта Дурного, будут иметь терпение дослушать до конца разглагольствования преемника Теодора или прочитать историю храма, написанную священником». Но пока славное имя не угасло, оно озаряет всех, кто его носит; и, без сомнения, интерес, который будила во мне знатность родов, отчасти объяснялся тем, что их историю можно проследить, начав с нашего времени и постепенно, со ступени на ступень, поднявшись до XIV века и даже еще выше, и отыскать мемуары и переписку всех предков де Шарлю, принца Агригентского и принцессы Пармской в таком прошлом, где происхождение какой-нибудь буржуазной семьи покрыто непроницаемым мраком, но где благодаря тому, что имя освещает все, что за ним, мы различаем происхождение и устойчивость особенностей нервной системы, пороков, явлений неуравновешенности у таких-то и таких-то Германтов. Почти патологически похожие на нынешних Германтов, они из века в век вызывали лихорадочный интерес у тех, кто состоял с ними в переписке, жили ли

они еще до принцессы Палатинской.[496] и г-жи де Мотвиль[497] или после принца де Линя[498] И все же моя любознательность в области истории не могла идти в сравнение с чисто эстетическим наслаждением. Упоминание в разговоре имен действовало таким образом, что оно преображало гостей герцогини, которых личина заурядной внешности, заурядной глупости и заурядного ума низводила до уровня обыкновенных людей, преображало так, что теперь у меня было ощущение, что, когда я ставил ногу на коврик при входе в этот дом, я переступал не порог, а рубеж волшебного мира имен. Принц Агригентский, стоило мне услышать, что его мать — урожденная Дама,[499] внучка герцога Моденского,[500] освободился, как от летучего масла, от своего лица и от своих

---

[496] Примечания: 496

Принцесса Палатинская — герцогиня Орлеанская, Шарлотта-Елизавета Баварская, принцесса Палатинская (1652–1722), вторая жена Филиппа I, герцога Орлеанского, брата короля Людовика XIV. Ее письма, переведенные с немецкого в 1863 г., изобилуют анекдотами из жизни двора.

[497] Примечания: 497

Г-жа де Мотвиль — Франсуаза Берто Ланглуа, графиня (1621–1689), фрейлина королевы Анны Австрийской, автор «Мемуаров» (1723) о жизни двора.

[498] Примечания: 498

Принц де Линь, Шарль Жозеф (1735–1814) — бельгийский дипломат и литератор, фельдмаршал Австрии, поддерживал знакомство с целым рядом выдающихся людей своего времени (Фридрих II, Екатерина Великая, Вольтер, Руссо, Гете и др.). Оставил многотомное собрание

сочинений (1795–1811).

[499] Примечания: 499
Дама — древний французский аристократический род.

[500] Примечания: 500
Модена — итальянское герцогство, упраздненное Бонапартом в 1796 г.

слов, мешавших узнать его, и образовал с Дама и Моденой, представлявшими собой всего-навсего титулы, неизмеримо более пленительное сочетание. Каждое имя, сдвинувшееся вследствие того, что его притягивало к себе другое, хотя до сих пор я не подозревал, что между ними существует какая-то близость, покидало свое постоянное место в моем мозгу, где его обесцветила привычка, и, присоединившись к Мортемарам, Стюартам или Бурбонам, расшивало вместе с ними тончайшие, переливавшие всеми цветами узоры. Даже имя Германт приобретало от всех этих прекрасных имен, совсем уж было потухших и вдруг разгоревшихся огнем, особенно ярким после темноты, имен, с которыми оно было связано, о чем я узнавал только теперь, новое, чисто поэтическое содержание. В лучшем случае я мог видеть, как на конце утолщения горделивого стебля оно расцветает образом мудрого короля или достославной принцессы, кого-нибудь вроде отца Генриха

IV.[501] или герцогини Лонгвильской[502] Но так как эти лица, в противоположность лицам гостей герцогини Германтской, не покрылись в моих глазах жирком житейского опыта и светской обыденщины, то в красивом своем очерке и в переливах красок они сохраняли родственную близость именам, которые через определенные промежутки времени, по-разному окрашенные, ответвлялись от родословного дерева Германтов и не загрязняли никакими примесями один за другим появлявшиеся пестрые, почти прозрачные отростки, — так на старинных витражах цветут и с той и с другой стороны стеклянного дерева праотцы Иисуса, начиная с Иессея.[503]

Я уже несколько раз порывался уйти, главным образом потому, что мое присутствие обесценивало это собрание, одно из тех собраний, которые издали казались мне необыкновенно прекрасными, и оно бы, наверно, и было прекрасным, если

---

[501] Примечания: 501

…отца Генриха IV… — Имеется в виду Антуан де Бурбон (1518–1562), герцог Вандомский, король Наваррский после брака с Жанной д'Амбре.

[502] Примечания: 502

Герцогиня Лонгвильская — Анна Женевьева де Бурбон-Конде (1619–1679), французская аристократка, в салоне которой собирался цвет парижского общества ее времени, любовница Ларошфуко, завершила свою бурную жизнь в монастыре.

[503] Примечания: 503

Иессей — по библейскому преданию, отец царя Давида.

бы не свидетель, который всех стеснял. Мой уход, по крайней мере, дал бы возможность гостям, когда среди них больше не будет непосвященного, теснее сплотиться. Они могли бы начать совершать таинства, ради которых они здесь и собрались: ясное дело, что они пришли сюда не для того же, чтобы рассуждать о Франсе Хальсе или о скупости, да еще так, как об этом рассуждают простые обыватели. Они говорили о разных пустяках, конечно, потому, что здесь был я, и я испытывал угрызения совести, оттого что мешал всем этим хорошеньким разъединенным женщинам вести в изысканнейшем из салонов таинственную жизнь Сен-Жерменского предместья. Но как только я собирался откланяться, самопожертвование герцога и герцогини Германтской доходило до того, что они удерживали меня. Но еще удивительнее было вот что: некоторые дамы спешили к Германтам и приехали ликующие, разодетые, усыпанные драгоценными камнями, а из-за меня сегодняшний вечер, по существу, так же мало отличался от вечеров, которые устраиваются и не в Сен-Жерменском предместье, как мало разнится Бальбек от того, к чему приучен наш глаз, и все же эти дамы уезжали, не испытывая ни малейшего разочарования, — какое там! Они еще наперебой

благодарили герцогиню Германтскую за чудесно проведенный вечер, из чего можно было сделать вывод, что и на других вечерах, на которых я не присутствовал, было все то же самое.

Неужели же только из-за ужинов вроде сегодняшнего они наряжались и не пускали в недоступные свои салоны буржуазок, неужели только из-за ужинов? Точь-в-точь таких же, несмотря на мое отсутствие? У меня мелькнула эта мысль, но уж очень она была нелепа. Против нее восставал простой здравый смысл. А потом, если бы даже я ее и допустил, то что тогда осталось бы от имени Германт, и так уже умалившегося после Комбре?

Впрочем, эти девы-цветы были на удивление нетребовательны по отношению к другим и большие любительницы радовать всех и каждого; некоторые из тех, кому я за целый вечер сказал две-три до того глупые фразы, что меня самого от стыда бросило в краску, сочли своим долгом перед уходом подойти ко мне и, остановив на мне ласковый взгляд красивых глаз, поправляя гирлянду орхидей, обвивавшую их грудь, сказать, как они счастливы, что со мной познакомились, и изъявить — тонкий намек на приглашение поужинать! — желание «кое-что устроить», предварительно «выбрав день» совместно с гер-

цогиней Германтской. Все эти дамы-цветы[504] отбыли после принцессы Пармской. Присутствие принцессы — раньше высочеств уезжать было не принято — являлось одной из неведомых мне причин, в силу которых герцогиня настаивала на том, чтобы я посидел еще. Когда принцесса Пармская встала, все почувствовали облегчение. Дамы преклоняли перед принцессой колени, та поднимала их, целовала, и вместе с этим поцелуем они как бы получали вымоленное коленопреклонением благословение на то, чтобы спросить свое пальто и позвать своих людей. Вслед за тем у подъезда началась как бы выкличка имен, вошедших в Историю Франции. Принцесса Пармская не позволила герцогине Германтской провожать ее до передней, чтобы та не простудилась, а герцог добавил: «Слышите, Ориана? Ее высочество разрешает вам не выходить, а вы помните, что вам сказал доктор?»

«Я думаю, что принцесса Пармская была *очень рада* поужинать с вами». Эта заученная фраза была мне знакома. Герцог прошел всю гостиную, чтобы сказать ее мне любезным и уверенным тоном, словно вручая диплом или угощая пе-

---

[504] Примечания: 504

Все эти дамы-цветы… — намек на мотив вагнеровского «Парсифаля».

ченьем. Удовольствие, которое он сейчас явно испытывал и которое на мгновение придало его лицу ласковое выражение, внятно говорило мне о том, что такого рода обязанности он будет исполнять до самой смерти, подобно тому как даже впавшие в детство старички сохраняют за собой необременительные и почетные должности.

Когда я собирался уходить, в гостиную вернулась статс-дама принцессы — она забыла чудные гвоздики из Германта, которые герцогиня подарила принцессе Пармской. Лицо у статс-дамы пошло красными пятнами — как видно, ей досталось от принцессы, которая со всеми была очень мила, но у которой лопалось терпение от бестолковости компаньонки. Статс-дама подхватила гвоздики и впопыхах направилась к выходу, но, чтобы не уронить своего достоинства и чтобы все видели, что она не утратила обычной своей строптивости, она, проходя мимо меня, проворчала: «Принцесса меня торопит: ей хочется, чтобы мы уже ехали, но и чтобы гвоздики были у нее в руках. Ну а я не птичка, порхать с ветки на ветку не умею».

Увы! Правило, согласно которому нельзя было уходить раньше высочеств, являлось не единственной причиной того, что меня не пускали.

Я не мог уйти сейчас же, так как была еще одна причина: дело в том, что пресловутая роскошь, которая была чужда Курвуазье, но которой Германты, как обеспеченные, так и оскудевшие, обожали угощать своих друзей, — это была не только роскошь материальная, но и — в этом я не раз убеждался во время бесед с Робером де Сен-Лу — роскошь ласкающих слух речей, приятности в обхождении, словесное изящество, порожденное неоспоримым душевным богатством. Но светская жизнь — жизнь праздная, и потому это богатство не находило себе применения, однако время от времени оно прорывалось, искало выхода в кратковременных излияниях, тем сильнее волновавших, что оно давало повод думать, будто герцогиня Германтская питает к вам нежные чувства. Впрочем, герцогиня изливала душу только в тех случаях, если душа у нее бывала переполнена, — тогда, в обществе своего приятеля или приятельницы, она приходила в состояние, близкое к опьянению, но только совсем не к чувственному, — так иных опьяняет музыка; герцогиня могла отколоть от своего корсажа цветок или снять медальон и подарить их тому, с кем ей хотелось пробыть весь вечер, хотя она с грустью думала о том, что

время пройдет в пустой болтовне, в которую не перейдет ничего от бурной, хотя и быстролетной, радости, напоминающей то блаженство, какое получаешь от первого весеннего тепла: когда эта радость и блаженство проходят, в душе остаются томление и печаль. Ну а приятелю не надо было слепо верить обещаниям, хотя бы они пьянили сильнее всех, какие он когда-либо слышал, хотя бы их давала женщина, которая, с поразительной остротой ощущая сладость мгновения, творит из него благодаря своей чуткости и великодушию, не свойственным людям обыкновенным, настоящее произведение искусства, умиляющее своею прелестью и добротой, но которая мгновение спустя уже ни на что не способна. Нежные чувства этой женщины живут не дольше вызвавшего их волнения, а проницательный ее ум, подсказавший ей тогда все, что вам хотелось от нее услышать, и все, что ей надо было вам сказать, по прошествии нескольких дней поможет ей так же тонко подметить ваши смешные черточки и посмеяться над ними с другим ее гостем, с которым она насладится еще одним столь кратким

«музыкальным моментом»![505]

В передней я попросил лакеев подать мне ботики, которые я надел из предосторожности, так как, когда я выходил из дому, падал снежок, тут же таял и превращался в слякоть, но я не сообразил, что это не очень элегантно, и теперь, заметив, что все глядят на меня с презрительной улыбкой, мне стало неловко; когда же я увидел, что принцесса Пармская еще не уехала и следит за тем, как я надеваю эту американскую обувь, то я готов был провалиться сквозь землю от стыда. Принцесса подошла ко мне.

— Как хорошо вы сделали, что купили ботики! — воскликнула она. — Это очень практично. Вот что значит умный человек! Нам непременно надо будет приобрести ботики, — сказала она статс-даме, и тут насмешливое выражение лакейских лиц сменилось почтительным, а гости столпились вокруг меня и принялись расспрашивать, где я нашел эту прелесть.

— В них вам нечего бояться, даже если опять пойдет снег и если вы живете далеко; теперь ведь не лето, — сказала принцесса.

---

[505] Примечания: 505

...столь кратким «музыкальным моментом»! — Подразумеваются «Музыкальные моменты» (1828) Ф. Шуберта, шесть небольших пьес для фортепиано.

— Ну, насчет этого вы, ваше королевское высочество, можете быть спокойны, — с хитрым видом проговорила статс-дама, — снега больше не будет.

— Почем вы знаете? — сердитым голосом спросила добрейшая принцесса Пармская, — ее могла вывести из себя только глупость статс-дамы.

— Уж вы мне поверьте, ваше королевское высочество: больше снега не будет, это физически невозможно.

— Да почему?

— Снега больше не будет, против этого приняты меры: всюду посыпано солью!

Дама по простоте душевной не заметила, что принцесса гневается, а другие смеются; вместо того чтобы умолкнуть, она обратилась ко мне с милой улыбкой, не приняв во внимание моих возражений относительно адмирала Жюрьена де ла Гравьера: «А вам в них не будет тяжело. У вас, наверно, ноги как у морского волка. Кровь-то ведь сказывается».

Герцог Германтский проводил принцессу Пармскую, а затем подал пальто мне. «Позвольте, я вам помогу напялить на себя эту одежду». Употребив такие выражения, он даже не улыбнулся: благодаря тому что Германты играли в простоту,

самые грубые выражения в их устах становились аристократическими.

Смена возбуждения унылостью, вызывающаяся тем, что возбуждение было искусственным, произошла и во мне, но только совсем иначе, чем у герцогини Германтской, — произошла, когда я наконец ушел от нее и поехал в экипаже к де Шарлю. От нас зависит, какой силе поддаться: возникающей в нас самих, рождающейся из наших глубоких впечатлений, или же внешней силе. Первая сила не может не быть силой отрадной, полной той радости, какую доставляет человеку творчество. Другой ток, который стремится к тому, чтобы нам передалось общее волнение, удовольствия не доставляет; но мы имеем возможность самим доставить его себе, насильственно опьяняясь, только потом ощущение опьяненности часто претворяется в тоску, в грусть — вот отчего у многих светских людей бывают такие угрюмые лица и вот почему нервы у них в таком состоянии, что они близки к самоубийству. Так вот, когда я ехал в экипаже к де Шарлю, я был во власти второго вида возбуждения, ничего общего не имеющего с тем, какое вызывает у нас резко индивидуальное впечатление, вроде тех, что создавались у меня в других

экипажах: один раз — в Комбре, в экипаже доктора Перспье, от рисовавшихся передо мной в лучах заходящего солнца мартенвильских колоколен, а другой раз — в Бальбеке, в коляске маркизы де Вильпаризи, когда я ломал себе голову над тем, что напоминает мне купа деревьев. Но в этом третьем экипаже перед моим умственным взглядом проходили разговоры за ужином у герцогини Германтской, которые тогда показались мне очень скучными, например рассказы князя Фон о германском императоре, о военачальнике Боте и об английской армии. Теперь я вставил их во внутренний стереоскоп, глядя в который — едва лишь мы перестаем быть самими собой и, наделенные душой светского человека, стремимся жить только так, как живут другие, — мы ясно различаем все, что эти другие сказали и сделали. Сейчас я был наверху блаженства — тогда я, откровенно говоря, никакого блаженства не испытывал, — оттого что ужинал с человеком, хорошо знавшим Вильгельма II и рассказавшим, право же, забавные случаи из его жизни, — так пьяный преисполняется нежности к официанту после того, как официант все ему подал. Вспоминая немецкий акцент князя и его рассказ о военачальнике Боте, я заливался хохотом, как

если бы мой смех, подобно рукоплесканиям, от которых усиливается наш восторг, был необходим для того, чтобы рассказ князя стал еще уморительнее. Даже суждения герцогини Германтской, которые показались мне неумными (например, ее слова о том, что на картины Франса Халса надо бросить взгляд даже из трамвая), когда я смотрел на них сквозь увеличительное стекло, приобретали необычайную живость и глубину. И я должен прямо сказать, что хотя мое возбуждение скоро улеглось, но оно не было абсолютно бессмысленным. В один прекрасный день мы радуемся, что знакомы с особой, которую мы всей душой презирали, радуемся потому, что, оказывается, она дружит с нашей любимой девушкой и может нас представить ей, соединяя таким образом приятное с полезным, а уж на это мы никак не могли рассчитывать; вообще никогда не угадаешь, на что могут нам пригодиться чьи-нибудь мнения или же завязавшееся знакомство. Мысль герцогини Германтской, что на картины интересно смотреть даже из трамвая, — мысль неверная, но в ней заключалось зерно истины, в дальнейшем имевшей для меня большое значение.

Необходимо также подчеркнуть, что стихи Виктора Гюго, которые прочла герцогиня, были

им написаны еще до того, как он стал больше чем новым человеком, когда в эволюционирующую литературу он ввел особый литературный вид, наделенный более сложными органами. В этих своих первых стихах Виктор Гюго еще мыслит, вместо того чтобы, подобно природе, только наводить на размышления. «Мысли» он выражал тогда в высшей степени непосредственно: это были «мысли» почти в понимании герцога, считавшего, что вписывать в альбом, находившийся в его Германтском замке, какое-нибудь философско-поэтическое размышление старо и нудно, и умолявшего гостей, приезжавших к нему впервые: «Только фамилию, дорогой мой, без мыслей!» А ведь именно эти «мысли» (почти не встречающиеся в «Легенде веков», как не встречаются «арии» и «мелодии» у позднего Вагнера) герцогиня Германтская любила у Виктора Гюго начальной поры. И все-таки ей было за что любить ранние его стихи. Они волновали, и вокруг них уже, при отсутствии той глубины, какая появится у Гюго впоследствии, бурлил водоворот изобилия слов и водоворот богатых рифм, что делает их совершенно непохожими на стихи, встречающиеся, например, у Корнеля, у которого неожиданно возникающий, потаенный

и тем сильнее действующий на нас романтизм все же не затрагивает основ физической жизни, не вносит изменений в тот подсознательный, поддающийся обобщению организм, где обретается идея. Вот почему я до сих пор поступал неправильно, читая только последние сборники Гюго. Разумеется, герцогиня Германтская брала из них для украшения своей речи лишь несколько блесток. Но когда мы приводим один какой-нибудь стих, мы тем самым удесятеряем притягательную его силу. Стихи, вплывшие в мою память или же всплывшие в ней за ужином, неодолимо влекли к себе и приманивали целые стихотворения, в которые они были вбиты, и наэлектризованные мои руки дольше двух суток не могли сопротивляться силе, направлявшей их к «Восточным мотивам» и к «Песням сумерек» в одном томе. Я проклинал помощника Франсуазы за то, что он подарил своим землякам мой экземпляр «Осенних листьев», и сейчас же послал его купить другой. Я перечитал эти сборники от первой до последней строчки и не успокоился, пока вдруг не увидел стихов, которые прочла герцогиня Германтская, в том самом свете, каким она их залила. Вот почему то, что можно было почерпнуть из бесед с герцогиней, напоминало

сведения, какими нас снабжает библиотека в каком-нибудь замке, библиотека, где полно старого хлама, библиотека разрозненная, не способствующая систематическому умственному развитию, библиотека, где нет почти ничего из того, что мы любим, но где мы иной раз получим интересную справку или нападем на совершенно для нас новую, чудесную страницу, знакомством с которой мы, следовательно, обязаны великолепной барской усадьбе, о чем впоследствии нам будет так отрадно вспомнить. Когда нам попадется предисловие Бальзака к «Пармской обители»,[506] или неизданные письма Жубера[507] нам уже кажется, что время, которое мы провели в этом замке, было для нас временем гораздо более плодотворным, чем на самом деле, — случайная находка заставляет нас забыть бесплодную пустоту жизни, какую мы там вели.

Итак, хотя свет неспособен был сразу же дать

---

[506] Примечания: 506

…предисловие Бальзака к «Пармской обители»-… — Знаменитый очерк Бальзака, посвященный творчеству Стендаля, вышедший в свет в 1840 г., был опубликован в качестве предисловия к роману «Пармская обитель» в 1846 г.

[507] Примечания: 507

Жубер, Жозеф (1754–1824) — французский писатель-моралист, друг Дидро. В опубликованных посмертно «Мыслях» и «Дневниках» подвергает едкой критике своих современников, главным образом собратьев по перу.

мне то, чего ожидало от него мое воображение, и потому сначала поразил меня сходством с другими кругами общества, а не тем, чем он от них отличался, в конце концов резкое его своеобразие все-таки выступило. Почти от одной только знати узнаёшь столько же, сколько от простых крестьян; их речь расцвечена всем, что относится к земле, к тем, кто жил в имениях в давно прошедшие времена, к старинным обычаям, ко всему, о чем даже и не подозревает мир денег. Допустим, что аристократ, не отличающийся широтой запросов, в конце концов заражается духом времени, а все-таки его мать, его дяди, его двоюродные тетки связывают его, когда он вспоминает свое детство, с той жизнью, которой сейчас почти никто уже себе не представляет. Войдя в комнату, где лежал бы покойник, герцогиня Германтская промолчала бы, но от первого же ее взгляда не укрылось бы ни одно из нарушений прежних обычаев. Ее коробило, когда на похоронах женщины шли вперемежку с мужчинами, потому что обряд требует, чтобы женщины шли отдельно. У Блока, вне всякого сомнения, покров связывался только с похоронами, так как в отчетах о траурных процессиях неизменно упоминаются покровы с кистями, а герцог Германтский мог

бы вспомнить времена своего детства, когда он видел, как держали покров во время венчания принца Майи-Нели. Сен-Лу продал свое драгоценное «Родословное дерево», продал старинные портреты Буйонов и письма Людовика XIII, чтобы купить Карьера,[508] и мебель модерн, а герцог и герцогиня Германтские по велению чувства, в котором пламенная любовь к искусству играла, быть может, самую последнюю роль и которое не выдвигало их из ряда самых обыкновенных людей, сохранили чудную мебель Буля[509] представлявшую собой настоящее пиршество для глаз художника. А литератор был бы в восторге от беседы с ними, потому что эта беседа явилась бы для него — ведь голодному нет никакого толку от другого голодного — живым словарем, куда занесены все выражения, которые теперь — одно за другим — каждый день выходят из употребления вроде галстуков Сен-Жозефа, обета одевать детей в голубое и т. п. и которые можно услышать только из уст любителей и добровольных храни-

---

[508] Примечания: 508

Карьер, Эжен (1849–1909) — французский художник, портретист, литограф.

[509] Примечания: 509

Буль, Андре Шарль (1642–1732) — знаменитый французский краснодеревщик, изделия которого ознаменовали триумф стиля Людовика XIV.

телей ценностей прошлого. Их беседа доставляет писателю куда больше удовольствия, чем беседа с другими писателями, хотя, впрочем, это удовольствие опасное, так как писатель может подумать, что вещи, оставшиеся от прошлого, прекрасны сами по себе, и, чего доброго, перенесет их в свое произведение такими, какие они есть, из-за этого произведение окажется мертворожденным, скучным, а писатель будет утешать себя: «Моя книга хороша, потому что правдива, — против этого не возразишь». Аристократические беседы герцогини Германтской были, однако, прелестны тем, что говорила она превосходным языком. Это давало герцогине право подшучивать над словами «провидческий», «космический», «пифический», «неслыханнейший», которые употреблял Сен-Лу, равно как и над его мебелью от Бинга.[510]

И все же то, о чем говорилось у герцогини Германтской, в отличие от боярышника и от тетиного бисквита, было мне чуждо. Можно было бы сказать так, что всем этим речам (имевшим прямое отношение к обществу, а не к личности), на время вошедшим в меня, сделавшимся — чисто физически — моим достоянием, не терпелось

---

[510] Примечания: 510

Бинг, Зигфрид (1838–1905) — знаменитый парижский антиквар и коллекционер.

как можно скорее со мной расстаться… Я взмахивал руками, как заклинатель. Я думал, что меня ждет еще один ужин, во время которого я превращусь в принца Х или в герцогиню Германтскую и буду говорить за них. А пока слышанные мною речи шевелили мои выборматывающие их губы, и я тщетно пытался вернуть на прежнее место мой разум, с головокружительною быстротою увлекаемый некой центробежной силой. Одному, в экипаже, где, впрочем, я громко говорил с воображаемым собеседником, мне было не под силу выдерживать их тяжесть, и я с лихорадочным нетерпением ждал того мгновения, когда я наконец-то позвонил к де Шарлю, а потом я долго еще говорил сам с собой, повторяя то, о чем собирался рассказать ему, и совсем не думая о том, что-то скажет мне он, — говорил в гостиной, куда меня провел лакей и где от волнения я ничего не замечал. Мне так мучительно хотелось, чтобы де Шарлю выслушал меня, что в конце концов на меня напал дикий страх при мысли, что хозяин дома, может быть, уже спит и что мне предстоит у себя в комнате протрезвляться после словесного опьянения. Да и было чего бояться: убедившись, что прошло уже целых двадцать пять минут, я подумал, что все позабыли, что я сижу в этой

гостиной, о которой, несмотря на долгое ожидание, я мог бы только сказать, что это огромная светло-зеленая комната, где висят портреты. Потребность говорить мешает не только слушать, но и видеть, — следовательно, отсутствие описания обстановки есть уже описание душевного состояния человека. Я решил выйти из гостиной и кого-нибудь позвать, а если никто не отзовется, то самому добраться до передней и сказать, чтобы мне отперли дверь, но только я встал и сделал несколько шагов по мозаичному паркету, как с озабоченным видом вошел камердинер.

— Господин барон все время принимал посетителей, — сказал он. — Его ждет еще несколько человек. Но я непременно добьюсь, чтобы он вас принял, я уже два раза звонил по телефону секретарю.

— Пожалуйста, не беспокойтесь; господин барон сам назначил мне к нему приехать, но сейчас уже поздно, и раз он занят, то я приду как-нибудь еще.

— Нет, нет, сударь, сделайте одолжение, не уходите! — воскликнул камердинер. — Господин барон будет недоволен. Я еще попробую позвонить.

Я вспомнил рассказы о слугах де Шарлю и об

их преданности своему господину. Хотя о нем нельзя было сказать, как о принце де Конти,[511] что он так же старался понравиться лакею, как и министру, но, во всяком случае, он достигал того, что самое обычное его приказание воспринималось как особая милость, и когда вечером, обведя глазами стоявших на почтительном расстоянии слуг, он говорил: «Куанье, свечу!» или: «Дюкре, рубашку!» — другие удалялись с ворчанием, завидуя тем, на ком остановил свой выбор их господин. Двое враждовавших между собою слуг даже боролись за господскую милость и, выдумывая нелепейшие предлоги, спешили, если барон поднимался к себе раньше, выслушать его распоряжения, причем каждый лелеял мечту, что сегодня вечером обязанность принести свечу или подать рубашку будет возложена на него. Если барон обращался к кому-нибудь из людей не с требованием услужить ему, более того: если зимой в саду, зная, что один из его кучеров простужен, он через десять минут говорил ему: «Наденьте шляпу», другие из ревности две недели не разговаривали с кучером, удостоившимся великой милости.

---

[511] Примечания: 511

Принц де Конти — Франсуа Луи де Бурбон (1664–1709), французский аристократ.

Я прождал еще десять минут, а затем, попросив не засиживаться, потому что господин барон так устал, что даже отказал в приеме нескольким чрезвычайно важным особам, которым он давным-давно назначил свидание, меня провели к нему. Церемонии, разводившиеся вокруг де Шарлю, не произвели на меня впечатления той торжественности, какое производила простота его брата Германта, но вот уже дверь отворилась, и я увидел барона — в китайском халате, с голой шеей, он лежал на диване. Одновременно меня привели в изумление лежавшие на стуле цилиндр «шик-блеск» и шуба — можно было подумать, что барон только что пришел домой. Камердинер удалился. Я ждал, что де Шарлю подойдет ко мне. Но он продолжал лежать неподвижно, уставив на меня беспощадный взгляд. Я подошел к нему поближе, поздоровался — он не подал мне руки, ничего не сказал, не предложил сесть. Я спросил, как спрашивают у невоспитанного врача, непременно ли я должен стоять. Желания подковырнуть де Шарлю у меня не было, однако холодное бешенство еще резче выразилось у него на лице. Я, впрочем, не знал, что у себя в деревне, в замке, он любил, чтобы — так нравилось ему разыгрывать из себя коро-

ля — после ужина, в курительной, вокруг него, развалившегося в кресле, стояли гости. Одного он просил дать ему огоньку, другому предлагал сигару и лишь спустя некоторое время говорил: «Да садитесь же, Аржанкур; дорогой мой, вот же стул» — и т. д., а сразу он не произносил таких слов, только чтобы дать понять гостям, что без его разрешения садиться нельзя.

— Садитесь в кресло Людовика Четырнадцатого, — проговорил он наконец властным тоном, в котором слышалось скорее приказание отойти от кресла, чем расположиться в нем.

Я сел в кресло, которое стояло ближе ко мне.

— По-вашему, это кресло Людовика Четырнадцатого? Сразу видно, что вы юноша образованный! — с насмешкой в голосе воскликнул он.

Я был так огорошен, что, вместо того чтобы направиться к выходу, — а это было бы самое правильное, — или по желанию де Шарлю пересесть в другое кресло, прирос к месту.

— Милостивый государь! — снова заговорил де Шарлю, отчеканивая каждое слово и удваивая согласные в наиболее оскорбительных. — Этот разговор, которым я вас удостаиваю в виде исключительной милости по просьбе некой особы, не пожелавшей, чтобы я ее назвал, поставит на

наших с вами отношениях точку. Не скрою от вас, что я ожидал не того; пожалуй, я допустил бы некоторое преувеличение, чего не следует позволять себе в разговоре даже с человеком, не понимающим значения слов, а также из элементарного уважения к самому себе, если бы сказал, что чувствовал к вам симпатию. Я склонен думать, что если употребить слово «благоволение» в смысле чисто покровительственном, то оно точно выразит и то, что я к вам чувствовал, и то, что собирался для вас сделать. В Париже и даже еще в Бальбеке я дал вам понять, что вы можете на меня рассчитывать.

Вспомнив дерзкую выходку де Шарлю, когда мы с ним прощались в Бальбеке, я отрицательно качнул головой.

— То есть как? — воскликнул он в гневе, и его бледное перекошенное лицо так же отличалось сейчас от того лица, каким оно было у него всегда, как отличается от тихого моря море бурным утром, когда вместо привычной для глаза улыбчивой его равнины видишь многое множество змей, брызжущих пеной и ядовитой слюною. — Вы представляетесь, что не получили моего послания, почти признания, которое должно было напоминать вам обо мне? Чем была украшена

книга, которую я вам послал?

— Очень изящными виньетками, — ответил я.

— Ах как плохо знает французская молодежь великие произведения нашего искусства! — с презрением в голосе сказал де Шарлю. — Что подумали бы о молодом берлинце, когда выяснилось бы, что он не знает «Валькирии»? Должно быть, глаза у вас устроены так, что они ничего не видят, — вы же сами мне говорили, что два часа рассматривали этот шедевр. Я вижу, что в цветах вы разбираетесь не лучше, чем в стилях; насчет стилей вам лучше помолчать! — в порыве ярости пронзительно крикнул он. — Вы даже не имеете понятия, на чем сидите. Вы подставили себе под зад вместо глубокого кресла Людовика Четырнадцатого стульчик эпохи Директории. Этак вы примете колени маркизы де Вильпаризи за раковину и черт знает чего натворите. Не узнали же вы орнамента из *незабудок* бальбекской церкви на переплете книги Бергота! А уж кажется, на что прозрачнее: «Не забывайте меня»!

Я смотрел на де Шарлю. Конечно, такой великолепной головы, которую не портило даже отталкивающее выражение лица, не было ни у кого из его родных; он был похож на постаревшего Аполлона; но казалось, что из его злого рта

вот-вот хлынет оливкового цвета желчь; ум у него был обширный, и ему открывалось многое из того, что так и осталось недоступным для герцога Германтского. Но в какую красивую форму ни облекал он все неприязненные свои чувства, можно было сказать с уверенностью, что проистекали ли они из уязвленного самолюбия, из измены любимой женщины, из злопамятства, садизма, из желания поддеть кого-нибудь, из навязчивой идеи, этот человек способен убить, а потом при помощи логики и красноречия доказать, что он поступил правильно и что все равно он на сто голов выше своего брата, невестки и т. д. и т. п.

— На картине Веласкеса[512] «Пики», — продолжал он, — победитель, как всякий порядочный человек, идет навстречу униженному врагу, вот так же и я, — поскольку я — все, а вы — ничто, — сделал первый шаг. Вы имели глупость на это ответить, что не мне говорить о благородстве. Но я не отступил. Наша религия учит терпению. Терпение, которое я выказал по отношению к вам, мне, надеюсь, зачтется, и я только улыбнулся

[512] Примечания: 512

Веласкес, Диего де Сильва (1599–1660) — великий испанский живописец, прославился портретами и картинами на исторические сюжеты. Его картина «Пики» («Сдача Бреды», 1635) хранится в музее Прадо в Мадриде.

в ответ на вашу наглость, если только можно назвать наглостью ваше поведение с человеком, который на столько голов выше вас; но больше, милостивый государь, мы об этом говорить не будем. Я подверг вас испытанию, которому единственный выдающийся человек нашего времени дал остроумное название: испытание слишком большой любезностью, и он же с полным основанием умозаключает, что это самое страшное из всех испытаний и что только оно способно отделить доброе семя от плевел. Я не стану упрекать вас в том, что вы его не выдержали, — победители редки. Но — таково последнее слово, которое я скажу вам на этом свете, — я желаю оградить себя от ваших клеветнических измышлений.

Пока де Шарлю не высказался, я был далек от мысли, что его гнев мог быть вызван обидными словами, которые я будто бы кому-то о нем сказал; я напряг свою память: нет, я ни с кем о нем не говорил. Какой-то злопыхатель на меня наплел. Я решительно отверг предъявленное мне обвинение.

— Неужели вы рассердились на меня за то, что о наших с вами близких отношениях я сказал герцогине Германтской?

Он презрительно усмехнулся, а затем возвысил

голос до верхнего регистра и без труда взял самую резкую и самую дерзкую ноту.

— Ах, милостивый государь! — сказал он затем, с нарочитой медлительностью возвращаясь к своей обычной интонации и словно упиваясь причудливыми переливами нисходящей гаммы. — Я убежден, что вы на себя клеплете, каясь в том, что сказали, будто мы с вами «в близких отношениях». Я не могу требовать исключительной точности от человека, которому решительно все равно — что мебель Чиппендейла,[513] что стул рококо, и все же я не думаю, — продолжал он теперь уже ласковым тоном, одновременно с которым на его губах заиграла обворожительная улыбка и в котором, однако, все усиливался оттенок насмешливости, — я не думаю, чтобы вы могли сказать или вообразить, будто мы с вами в *близких отношениях*! Если же вы похвастались тем, что вас мне *представили*, что вы *разговаривали* со мной, что мы с вами *немножко знакомы*, что я почти без всяких просьб с вашей стороны согласился со временем *взять вас под свое покровительство*, то, напротив, я нахожу, что это вполне естественно и разумно. Существующая

[513] Примечания: 513

Чиппендейл, Томас (1718–1779) — английский краснодеревщик, представитель стиля рококо.

между нами огромная разница в возрасте дает мне право указать вам, без малейшего желания вас унизить, что то, что вы были мне *представлены*, что то, что мы с вами *разговаривали*, что то, что мы с вами только-только *познакомились*, — что все это было для вас если не честью — мне об этом говорить неудобно, — то уж, разумеется, удачей, и глупость ваша проявилась не в том, что вы о ней раззвонили, а в том, что вы не сумели ею воспользоваться. Я даже вот что вам скажу, — продолжал он, неожиданно и ненадолго перейдя от гневного высокомерия к нежности, полной такой душевной боли, что, казалось, он сейчас расплачется, — когда вы ничего не ответили на предложение, которое я сделал вам в Париже, то я это воспринял как совершенно невероятную дерзость, — я же думал, что вы хорошо воспитаны, из хорошей *буржуазной* семьи (только это определение он презрительно прошипел), — до такой степени невероятную, что по своей наивности я объяснял ее всякой чепухой, которая на поверку всегда оказывается враньем: письмо, видите ли, пропало, оттого что адрес был написан неправильно. Я признаю, что это очень наивно,

но святой Бонавентура[514] говорил, что ему легче поверить в то, что бык летал, чем в то, что его брат солгал. Словом, с этим покончено, книга вам не понравилась, больше мы к этому не вернемся. Но только мне кажется, что вы могли бы (и тут в его голосе послышались непритворные слезы), хотя бы из уважения к моему возрасту, написать мне. Я собирался предложить вам нечто до крайности соблазнительное, но только не хотел заранее ставить вас об этом в известность. Вы, даже не зная, о чем идет речь, решили отказаться — это ваше дело. Но, как я уже сказал, всегда можно *написать*. Я бы на вашем месте, и даже на своем, написал. Я только по одной причине ставлю свое место выше вашего — вообще-то я считаю, что все места равны, интеллигентный рабочий мне приятнее многих герцогов. Но я заслужил право сказать, что отдаю предпочтение моему месту, так как за всю свою долгую жизнь, даже слишком

---

[514] Примечания: 514

Святой Бонавентура (Джованни Фиданца, 1221–1274) — средневековый богослов-схоласт, францисканский монах, перу которого принадлежит первое жизнеописание святого Франциска. Приведенное де Шарлю высказывание приписывается, однако, не Бонавентуре, а Фоме Аквинскому, причем речь в нем идет совсем о другом животном. Согласно легенде, однажды, когда философ еще был послушником, один из его товарищей заявил, что видит в небе летящего осла. Фома немедленно посмотрел вверх, вызвав у окружающих взрыв смеха; тогда-то он и произнес слова: «Мне легче поверить в то, что осел летит, нежели в то, что мой брат лжет».

долгую, я ни разу не поступил как вы. (Голова де Шарлю оставалась в тени, и мне было не видно, льются ли у него из глаз слезы, слышавшиеся в его голосе.) Я уже говорил, что сделал сто шагов вам навстречу, а вы в благодарность отошли от меня на двести. Теперь я ухожу от вас, и больше мы с вами незнакомы. Я забуду ваше имя, но не забуду ваш поступок, чтобы в тот день, когда мне вдруг захочется думать о людях, что они сердечны, учтивы или хотя бы настолько сообразительны, что не упустят возможности, которая представляется раз в жизни, — чтобы сказать себе в тот день, что я слишком высокого о них мнения. Да нет же, если вы кому-то сообщили, что вы со мной знакомы, когда мы с вами были знакомы на самом деле, — теперь это уже не соответствует действительности, — то я считаю, что тут ничего такого нет, это дань уважения ко мне, — словом, это мне приятно. К несчастью, в другом месте и при других обстоятельствах вы говорили совсем иное.

— Клянусь вам, барон, что я ничего обидного про вас не говорил.

— А кто вам сказал, что я обижен? — в бешенстве крикнул де Шарлю и сел на диване, на котором только сию секунду лежал неподвижно,

а в это время на лице его извивались мертвенно-бледные вспененные змеи, голос же становился то визгливым, то рокочущим, как покрывающая все звуки беснующаяся буря. (Он всегда говорил громко, так что на улице прохожие оглядывались, но сейчас сила его голоса удесятерилась, подобно форте не на рояле, а в оркестре, да еще переходящему в фортиссимо. Де Шарлю завывал.)
— Неужели вы воображаете, что я могу на вас обидеться? Да знаете ли вы, с кем разговариваете? Смею вас уверить, что ядовитая слюна пятисот ваших приятелей, даже если б эти мальчишки вскарабкались друг на друга, могла бы запачкать только большие пальцы на моих стопах.

В один миг страстное желание убедить де Шарлю, что я никогда не слышал и не говорил про него ничего дурного, уступило во мне место лютой злобе при этих его словах, которые, как я полагал, могла внушить ему только безмерная его гордыня. Впрочем, быть может, тут действительно хотя бы отчасти повинна была его гордыня. Главную роль играло, однако, еще одно чувство, и вот о нем-то я пока не подозревал, а значит, и не был виновен в том, что не принял в расчет долю его влияния. Но поскольку это его чувство было мне неведомо, я мог бы, вспомнив, что говорила

герцогиня Германтская, помимо гордыни, что-то отнести и за счет ненормальности де Шарлю. Но в тот момент мысль о его ненормальности мне не пришла. Я был уверен, что в нем говорит только гордыня, во мне — только ярость. И ярость эту (едва лишь де Шарлю, перестав завывать, заговорил о больших пальцах на своих стопах, заговорил с величественным видом и с гримасой отвращения, относившегося к каким-то неведомым клеветникам), эту ярость я уже не мог одержать. Придя в остервенение, я ощутил жгучую потребность кого-то или что-то бить, но все же я не настолько обезумел, чтобы утратить уважение к человеку гораздо старше меня и даже, из-за их художественной ценности, к стоявшим около него статуэткам из немецкого фарфора, а потому я набросился на новенький цилиндр барона, швырнул его на пол, стал топтать, потом, как ни вопил де Шарлю, с ожесточением рвать, содрал подкладку, на две части разорвал корону и только после этого кинулся к двери и распахнул ее. Каково же было мое изумление, когда я увидел, что по обеим сторонам двери стоят два лакея, но оба лакея при моем появлении медленно удалились с таким видом, как будто они шли мимо двери каждый по своим делам. (После я узнал,

что одного из них звали Бюрнье, а другого — Шармель.) Гуляющая их походка меня не провела; я прекрасно понимал, что это деланная походка. Другие объяснения показались мне более правдоподобными: первое состояло в том, что барон принимал иногда гостей, от которых ему могла понадобиться защита (но почему?), он нуждался в сторожевом посте; второе объяснение состояло в том, что любопытные лакеи подслушивали у двери и не ожидали, что я сейчас выбегу; третье — в том, что всю эту сцену де Шарлю разыграл, предварительно прорепетировав, и что он сам позвал лакеев послушать — позвал из любви к устройству спектаклей в сочетании, быть может, со свого рода nunc erudimini,[515] которое всем послужило бы уроком на будущее.

Мой гнев не утишил гнева де Шарлю; мой уход, должно быть, подействовал на него болезненно; он звал меня, требовал, чтобы меня не пускали, и, наконец, забыв о том, что он только что, называя свои ноги «стопами», разыгрывал из себя божество, опрометью бросился за мной, догнал в передней и встал мне поперек дороги.

---

[515] Примечания: 515

…nunc erudimini… — Точнее «Et nunc, reges, intelligite: erudimini, qui juridicus terrain!» («Итак вразумитесь, цари; научитесь, судьи земли!» — Пс. 2, 10).

— Полно, — сказал он, — что за ребячество, зайдите ко мне на минутку; строго наказывает тот, кто горячо любит, и если я вас строго наказал, то только потому, что горячо люблю вас.

Я смягчился, слово «наказал» пропустил мимо ушей и пошел за бароном, а тот, позвав лакея, без тени смущения велел ему подобрать обрывки цилиндра и принести другой.

— Скажите, пожалуйста, барон, — снова заговорил я с де Шарлю, — кто этот сплетник, который возвел на меня напраслину? Я хочу знать, кто он, чтобы вывести лжеца на чистую воду.

— Кто? Неужели вы не знаете? Неужели вы не помните, при ком вы что говорите? Неужели вы думаете, что люди, от которых я получаю сведения, которые оказывают мне подобного рода услуги, не начинают с просьбы держать в тайне свои имена? Неужели вы считаете меня способным изменить своему слову?

— Вы никак не можете назвать мне его имя? — в последний раз порывшись в памяти (но безуспешно), чтобы припомнить, с кем же я все-таки говорил о де Шарлю, спросил я.

— Вы же слышали, что я дал слово моему осведомителю сохранить его имя в тайне? — прерывающимся от возмущения голосом ответил

вопросом на вопрос де Шарлю. — Я вижу, что у вас пристрастие не только к гнусным сплетням, но и к бесплодному выспрашиванию. Умнее было бы воспользоваться последней нашей встречей, чтобы поговорить о чем-нибудь серьезном, а не переливать из пустого в порожнее.

— Барон! — порываясь уйти, сказал я. — Вы оскорбляете меня, я беззащитен, потому что вы намного старше меня, условия у нас с вами неравные, а переубедить вас мне все равно не удастся, хотя я вам поклялся, что ничего не говорил.

— Так, значит, я лгу? — громовым голосом крикнул он и одним прыжком очутился в двух шагах от меня.

— Вам сказали неправду.

Тут де Шарлю заговорил тоном ласковым, задушевным, грустным — так в иных исполняемых без перерыва симфониях за раскатами грома в первой части следует грациозное, услаждающее слух идиллическое скерцо.

— Это я допускаю, — заметил он. — Как правило, пересказывают неверно. Вы сами виноваты, что не воспользовались возможностью увидеться со мною, — возможностью, которую я предоставлял вам неоднократно, вы лишили меня самого мощного средства в борьбе с возведенными на вас

обвинениями, а ведь вас обвиняют в предательстве: вы лишили меня ежедневных откровенных бесед с вами. Как бы то ни было, правду мне говорили или неправду, нашептывания сделали свое дело. Я уже не могу побороть то чувство, какое они во мне вызвали. Я даже не могу сказать, что кто строго наказывает, тот горячо любит, потому что хотя я вас строго наказал, но я вас разлюбил.

Он насильно усадил меня и позвонил. Вошел еще один лакей.

— Принесите чего-нибудь выпить и велите заложить карету.

Я сказал, что пить мне не хочется, что уже очень поздно и что, помимо всего прочего, экипаж меня ждет.

— С извозчиком, наверно, расплатились, и он уехал, — возразил де Шарлю, — так что экипажа у вас нет. Я велел закладывать карету, чтобы отвезти вас домой… Если вы боитесь, что уже очень поздно… я мог бы предоставить в ваше распоряжение комнату.

Я сказал, что моя мать будет беспокоиться.

— Ну так вот, правда это или неправда, но нашептывания сделали свое дело. Моя в известной мере преждевременная симпатия зацвела чересчур рано, с ней случилось то же, что с яблонями,

которые вы так поэтично описывали в Бальбеке: первый же мороз убил ее цвет.

Однако де Шарлю действовал так, как будто его симпатия устояла: твердил, что между нами все кончено, а сам удерживал меня, предлагал чего-нибудь выпить, остаться ночевать, отвезти домой. Его даже как будто пугала мысль, что я уеду и он останется один, его словно охватило довольно мучительное чувство страха, какое — так, по крайней мере, мне показалось — испытывала его невестка и родственница Германт час назад, когда она потребовала, чтобы я побыл у нее еще, потому что я тоже вдруг стал ей на короткое время приятен; я заметил в нем то же самое стремление продлить удовольствие от общения со мной.

— К несчастью, — продолжал де Шарлю, — я не обладаю даром оживлять отцветшее. Мое расположение к вам умерло. Воскресить его я не властен. Думаю, что я не уроню своего достоинства, если признаюсь, что я об этом сожалею. Я могу сказать о себе словами Вооза из Виктора Гюго: «Я вдовец, я один, и уже вечереет».[516]

Я опять вошел — на этот раз вместе с де Шарлю

---

[516] Примечания: 516

«Я вдовец, я один, и уже вечереет». — цитата из стихотворения Виктора Гюго «Спящий Вооз» (сб. «Легенда веков»).

— в большую светло-зеленую гостиную. Только чтобы что-нибудь сказать, я заметил, что она мне очень нравится.

— Правда? — спросил де Шарлю. — Что-то же должно нравиться человеку. Панели — работа Багара.[517] Обратите внимание, что они гармонируют с мебелью Бове и с консолями, — это производит особенно приятное впечатление. Посмотрите: они повторяют тот же декоративный мотив. Это вы увидите еще только в Лувре и в доме Эннисдаля. Но когда я решил поселиться на этой улице, конечно, сейчас же нашелся старый особняк Шиме — его никто не видел, потому что он явился сюда ради меня. В общем, хорошо. Могло бы быть лучше, но и так недурно. Ведь правда, здесь есть красивые вещи? Например, портрет моих дядей — польского и английского королей — работы Миньяра.[518] А впрочем, зачем я вам об этом рассказываю? Вы все знаете не хуже меня — ведь вы ждали меня в этой гостиной. А разве нет? Ах, вас, наверно, провели в голубую гостиную, — это он добавил, либо желая

---

[517] Примечания: 517

Багар, Сезар (1639–1709) — французский скульптор, большинство произведений которого было утрачено во время Революции.

[518] Примечания: 518

Миньяр, Пьер (1612–1695) — французский художник-портретист.

поиздеваться над моей нелюбознательностью, либо желая подчеркнуть, что я перед ним такое ничтожество, что он даже не поинтересовался, где меня заставили ждать. — Вот в этом шкафу хранятся все шляпы Елизаветы,[519] принцессы де Ламбаль.[520] и королевы[521] Но вас это, должно быть, не занимает, вы словно ничего не видите. У вас глазной нерв не атрофирован? Если же вы питаете пристрастие к другому роду красоты, то вот вам радуга Тёрнера,[522] вспыхнувшая между двумя Рембрандтами в знак нашего с вами примирения. Слышите? К ней присоединяется Бетховен.

В самом деле: до меня донеслись первые аккорды третьей части пасторальной симфонии «Веселье после грозы»: где-то близко, вернее всего

---

[519] Примечания: 519

Елизавета (1764–1794) — сестра Людовика XVI, казнена во время Революции.

[520] Примечания: 520

Принцесса де Ламбаль, Мария-Тереза Луиза Савойская-Кареньян (1749–1792) — французская аристократка, растерзанная толпой в период так называемых «сентябрьских убийств».

[521] Примечания: 521

Королева — Мария Антуанетта (1755–1793), супруга Людовика XVI, погибла на эшафоте.

[522] Примечания: 522

Тёрнер, Уильям (1775–1851) — английский художник-пейзажист.

— на втором этаже, играл оркестр. Я в простоте души спросил, по какому случаю музыка и кто музыканты.

— Ах, да ничего я не знаю! Понятия не имею. Это музыка незримая. Ну что, ведь хорошо? — спросил он с довольно заносчивым видом, хотя в его интонации чувствовалось подражание Свану. — А впрочем, вам это нужно как собаке пятая нога. Вам хочется домой — ни Бетховен, ни я для вас не существуют. Вы сами вынесли себе обвинительный приговор, — когда мне уже было пора ехать, заметил он задушевным и грустным тоном. — Извините, что я не пойду провожать вас, как того требует вежливость. Раз я больше не хочу с вами встречаться, то произойдет ли наше расставание пятью минутами раньше или позже — это уже не имеет значения. Да и потом, я устал, а дел у меня еще пропасть.

Но тут он обратил внимание, что погода прекрасная. — Пожалуй, я поеду с вами. Какая дивная луна! Я провожу вас, а затем поеду любоваться луной в Булонский лес. Э, да вы не умеете бриться! Отправляетесь на званый ужин, а волоски торчат, — сказал де Шарлю, потом взял меня за подбородок двумя точно намагниченными пальцами, и эти его два пальца после секундного

колебания, словно пальцы парикмахера, поднялись до моих ушей. — Посмотреть бы на «голубой свет луны»[523] в лесу с кем-нибудь вроде вас — вот было бы чудно! — произнес он, и в голосе его прозвучала неожиданная и как бы невольная нежность, а затем он с томным видом продолжал: — Вы ведь все-таки милый, а могли бы быть милей всех. — Тут он покровительственным жестом положил мне руку на плечо. — Должен сознаться, что прежде вы мне казались человеком, ничего собой не представляющим.

В сущности, у меня были все основания думать, что он не изменил своего мнения. Достаточно было вспомнить, какая злоба кипела в нем всего полчаса назад. И все же у меня создалось впечатление, что сейчас де Шарлю искренен, что доброе его сердце одерживает в нем победу над обидчивостью и над гордыней, которые довели его, как мне представлялось, почти до безумия. Экипаж стоял перед нами, а де Шарлю все еще продолжал говорить.

— Ну садитесь! — вдруг сказал он. — Через пять минут мы подъедем к вашему дому. И я вам скажу: «Прощайте», что будет означать: «Прощайте

---

[523] Примечания: 523

«Голубой свет луны» — цитата из стихотворения Виктора Гюго «Праздник у Терезы» (сб. «Созерцания»).

навек». Раз нам не суждено продолжать наши отношения, то уж лучше, как в музыке, кончить их полным аккордом.

Несмотря на все эти торжественные уверения, что больше мы не увидимся никогда, я готов был поклясться, что де Шарлю, сердясь на себя за свою недавнюю вспышку и боясь, как бы я не затаил на него обиду, ничего не имеет против того, чтобы увидеться со мной еще раз. И я был недалек от истины, в чем тут же и удостоверился.

— Вот тебе на! — воскликнул он. — Самое-то главное я и позабыл. На память о вашей бабушке я отдал для вас в переплет редкое издание госпожи де Севинье. Увы! Значит, нынешнее наше свидание — не последнее. Приходится утешаться тем, что трудные дела нечасто удается кончить в один день. Вспомните, сколько времени длился Венский конгресс.[524]

Я поспешил предложить свои услуги:

— Да чтобы вас не беспокоить, я пришлю за книгами!

— Помолчите, глупыш, — прикрикнул на меня де Шарлю, — и не ставьте себя в дурацкое положение, не притворяйтесь, будто вы не дорожите

---

[524] Примечания: 524

Венский конгресс (сентябрь 1814 — июнь 1815) — стал завершением войны коалиций европейских держав с наполеоновской Францией.

честью быть вероятно (я не говорю: «наверно», потому что, может статься, книги вам передаст камердинер) принятым мною!

Он овладел собой.

— Я не хочу, чтобы эти слова были моими прощальными словами. Никаких диссонансов перед заключительным аккордом, после которого — вечная тишина!

Видимо, он берег свои нервы: ему было бы слишком тяжело расстаться со мной после тех резкостей, каких он наговорил мне в раздражении.

— Вы не изъявили желания прокатиться в Булонский лес, — произнес он скорей утвердительным, чем вопросительным тоном — как мне показалось, не потому, чтобы ему не хотелось предлагать мне прокатиться, а потому, что он боялся, как бы мой отказ не ударил по его самолюбию. — Ну а теперь как раз то время, — все тянул он, — когда, по словам Уистлера,[525] буржуа возвращаются домой (этими словами он, быть может, хотел задеть мое самолюбие) и когда природа особенно радует глаз. Впрочем, вы даже

---

[525] Примечания: 525

…по словам Уистлера… — Имеется в виду психологический этюд Уистлера «Десять часов» (1888), переведенный в том же году на французский язык Стефаном Малларме.

не знаете, кто такой Уистлер.

Чтобы переменить разговор, я задал де Шарлю вопрос, умна ли принцесса Иенская. Де Шарлю прервал меня и заговорил таким презрительным тоном, каким никогда еще не говорил в моем присутствии:

— Дорогой мой, да я о таких принцах отроду не слыхивал! Аристократия есть, может быть, и у таитян,[526] но, честное слово, я понятия о ней не имею. Как это, однако ж, ни странно, имя, которое вы сейчас назвали, несколько дней назад врезалось в мой слух. Меня спросили, не имею ли я что-нибудь против того, чтобы мне представили молодого герцога Гвастальского. Вопрос удивил меня: герцог Гвастальский не нуждается в том, чтобы мне его представляли, — он мой родственник, познакомились мы с ним еще в давние времена; он сын принцессы Пармской, и, на правах родственника и как воспитанный молодой человек, он непременно приходит поздравить ме-

---

[526] Примечания: 526

Аристократия есть… и у таитян… — Во Франции середины XIX века довольно живо интересовались историей царствующей династии Таити (группа из 14 островов в Полинезии): королева Помаре IV (1813–1877) всеми силами пыталась противостоять распространению французского господства в своем государстве, однако в 1847 г. была вынуждена признать протекторат Франции. Ее сын Помаре V (1842–1891), правивший после смерти матери, отказался от престола, признав прямое французское правление.

ня с Новым годом. Но потом выяснилось, что речь идет не о моем родственнике, а о сыне интересующей вас особы. Поскольку никакой принцессы Иенской не существует, я подумал, что имеется в виду какая-нибудь нищенка, которая ночует под Иенским мостом и которая придумала себе живописный титул принцессы Иенской, вроде того как другие называют себя Батиньольской пантерой.[527] или стальным королем[528] Оказывается, ничего подобного: речь шла об одной богатой даме — ее чудесной мебелью я восхищался на выставке, и у этой мебели есть то преимущество перед титулом хозяйки, что она не поддельная. А о так называемом герцоге Гвастальском я подумал, что это маклер моего секретаря, — за деньги все можно купить. Оказывается, ничего подобного: по-видимому, Император смеха ради пожаловал этим людям титул, хотя не имел на это никакого права. Не могу сказать, наверное, хотел ли он лишний раз проявить свое могущество, или он этим доказал свое невежество, или это

[527] Примечания: 527

Батиньольская пантера — название клуба анархистов, созданного в 1880 г. и располагавшегося в парижском квартале Батиньоль.

[528] Примечания: 528

Стальной король — возможно, имеется в виду Эндрю Карнеги (1835–1919), американский промышленник, господствовавший на мировом рынке сталелитейной промышленности.

было желание позабавиться, — скорее всего, это была злая шутка над невольными узурпаторами. Короче говоря, на ваш вопрос я ничего не могу ответить, мои познания не выходят за пределы Сен-Жерменского предместья, и вот там, среди всех этих Курвуазье и Галардон, вам, быть может, удастся с помощью какого-нибудь знающего человека отыскать старых хрычовок, сошедших прямо со страниц Бальзака, — они вас позабавят. Разумеется, это совсем не то, что очарование принцессы Германтской, но без меня и без моего «сезама» вам к ней не проникнуть.

— Так, значит, у принцессы Германтской действительно очень хорошо?

— Это слабо сказано; лучше быть не может, за исключением самой принцессы Германтской.

— Принцесса Германтская выше герцогини Германтской?

— Никакого сравнения. (Надо заметить, что, если у светских людей есть хоть какое-то воображение, они, в зависимости от того, в дружбе они или во вражде с людьми, занимающими, казалось бы, прочное и блестящее положение, возводят их на престол или, наоборот, свергают.) Герцогиня Германтская (де Шарлю не назвал ее Орианой, быть может, для того, чтобы увеличить

расстояние между ней и мной) обворожительна, вы даже представить себе не можете, насколько она выше своей среды. Но герцогиню рядом нельзя поставить с ее родственницей. Принцесса в точности соответствует представлению торговок Центрального рынка о княгине Меттерних,[529] а княгиня Меттерних была уверена, что создала имя Вагнеру, так как была знакома с Виктором Морелем.[530] Принцесса Германтская или, вернее, ее мать была знакома с самим Вагнером. Это одно придает женщине очарование, не говоря уже об ее красоте. А чего стоят «сады Есфири»!

— Нельзя ли их посмотреть?

— Нет, без приглашения вас туда не пустят, туда никого не пускают без моей просьбы.

Больше об этой приманке де Шарлю уже не заговаривал; тут мы как раз подъехали к моему дому, и он протянул мне руку.

— Ну, я свою роль сыграл; скажу еще только несколько слов. Быть может, кто-нибудь другой отнесется к вам так же хорошо, как я. Пусть же случай со мной послужит вам уроком. Этого урока вы

---

[529] Примечания: 529

Княгиня Меттерних — Полина Сандос (1836–1921), жена князя Меттерниха, австрийского посла в Париже.

[530] Примечания: 530

Морель, Виктор (1848–1923) — знаменитый французский баритон.

не забывайте. Хорошее отношение надо ценить. Что нам не под силу осуществить в одиночку, так как на свете есть то, о чем нельзя спрашивать, что нельзя делать, чего нельзя хотеть, о чем нельзя узнать одному, того мы добьемся, если будем действовать сообща, без помощи числа тринадцати, как в романе Бальзака,[531] или числа четыре, как в «Трех мушкетерах». Прощайте!

Де Шарлю попросил меня сказать кучеру, чтобы он отвез его домой, и я подумал, что барон устал и отказался от своего намерения любоваться лунным светом. Вдруг он сделал резкое движение, словно передумав. Но я уже передал его приказание и, не задерживаясь, подошел к воротам своего дома, позвонил, и мысль, что из-за того, что де Шарлю неожиданно распалился гневом, я совершенно забыл пересказать ему все, что слышал о германском императоре и о военачальнике Боте и чем совсем недавно был поглощен, выскочила у меня из головы.

Дома я увидел письмо молодого помощника Франсуазы своему приятелю — лакей забыл его у меня на столе. После отъезда моей матери он стал

[531] Примечания: 531

…как в романе Бальзака… — Имеется в виду роман Бальзака «История тринадцати» (1833–1855), который входит в «Сцены парижской жизни».

до последней степени бесцеремонен; я же проявил еще большую бесцеремонность, прочитав это незапечатанное и лежавшее на самом виду письмо, которое — в этом было мое единственное оправдание — как бы само просило, чтобы я его прочел:

«*Дорогой друг и родственник!*

Надеюсь что ты здоров и что вся твоя милая семья здорова особенно мой маленький крестник Жозеф которого я еще не имею удовольствия знать но которого я люблю больше всех потому как он мой крестник и святыни души тоже в прах превратились и тот священный прах мы трогать не должны[532]*. Да ведь и то сказать дорогой друг и родственник кто может поручиться что завтра и ты и твоя дрожайшая половина моя родственница Мари не низринитесь оба на дно морское, словно матрос с грот-мачты*[533]*, потому наша жизнь есть не*

---

[532] Примечания: 532

…и тот священный прах мы трогать не должны. — Цитата из поэмы Альфреда де Мюссе «Октябрьская ночь».

[533] Примечания: 533

…словно матрос с грот-мачты… — цитата из стихотворения Виктора Гюго «В 1827» (сб. «Песни улиц и лесов»).

что иное как юдоль мрака[534]. Дорогой друг должен тебе признаться что теперь мое основное занятие, воображаю твое изумление, это поэзия коей я себя услаждаю, потому надо же как-то проводить время. А посему дорогой друг не удивляйся что я так долго не отвечал на твое последнее письмо а когда не простишь то забвенью предай[535]. Как тебе известно, мамаша нашей госпожи скончалась в страшных мучениях которые очень ее утомили потому как ее навещали целых три доктора. День ее похорон был чудный день потому как собралась целая толпа знакомых нашего господина да еще несколько министров. До кладбища провожали гроб поболе двух часов, все ваше село небось ахнет ведь на то чтоб проводить на кладбище гроб с телом тетушки Мишю наверняка столько времени не понадобится. Так что теперь жизнь моя будет одно сплошное рыдание.

---

[534] Примечания: 534

…как юдоль мрака. — Одно из самых общих мест романтической поэзии, которое встречается у Ламартина, Мюссе и Гюго.

[535] Примечания: 535

…забвенью предай. — Цитата из «Октябрьской ночи».

Я страх как увлекаюсь мотоциклетом на котором научился ездить недавно. Что если дорогие друзья я вихрем примчусь к вам в Эяорс. Но об этом я буду твердить неустанно[536] потому как чувствую что от горя она потеряла рассудок[537]. Я часто бываю у герцогини Германтской, у людей о существовании которых ты даже не подозреваешь живя среди невежд. И потому я с радостью пошлю книжки Расина, Виктора Гюго „Избранные стихи“ Шендоле[538], Альфреда де Мюссе, потому как я хочу вылечить от невежества край который и меня породил[539] в невежестве которое роковым образом приводит к преступлению. Больше писать нечего и как пеликан утомленный долгим

---

[536] Примечания: 536

Но об этом я буду твердить неустанно… — Реминисценция из «Майской ночи» Мюссе.

[537] Примечания: 537

…от горя она потеряла рассудок. — Реминисценция из «Письма господину де Ламартину» Мюссе.

[538] Примечания: 538

Шендоле, Шарль-Жюльен, де (1769–1833) — французский поэт-романтик, ученик Шатобриана.

[539] Примечания: 539

…край, который и меня породил… — Заключительная строчка из припева популярной песни «Моя Нормандия» Фредерика Бера (1801–1855).

путешествием[540] шлю наилучшие пожелания тебе а ровно и твоей супружнице моему крестнику и сестрице твоей Розе. Желаю чтоб о ней нельзя было сказать: И роза нежная жила не дольше розы[541] как сказал Виктор Гюго, сонет Арвера[542], Альфред де Мюссе, все великие гении которых по этой причине сгубили в пламени костра как Жанну д'Арк. Ожидаю твоего скорого послания, прими мои поцелуи как поцелуи брата.

Периго Жозеф».

Нас влечет к себе жизнь каждого человека, в которой заключено что-либо нам неведомое, последняя, еще не исчезнувшая иллюзия. Многое из того, что говорил мне де Шарлю, дало сильный толчок моему воображению и, изгладив из памяти разочарование, которое постигло его

---

[540] Примечания: 540

…как пеликан, утомленный долгим путешествием… — Реминисценция из «Майской ночи» Мюссе.

[541] Примечания: 541

…И роза нежная жила не дольше розы… — Цитата из стихотворения Франсуа де Малерба (1555–1628) «Утешение господину дю Перье, дворянину из Экс-ан-Прованс, по случаю смерти его дочери» (1599).

[542] Примечания: 542

Арвер, Феликс (1806–1850) — французский поэт-романтик.

при встрече с действительностью у герцогини Германтской (с именами людей дело обстоит так же, как и с именами местностей), устремило его к родственнице Орианы. Впрочем, хотя де Шарлю и удалось временно ввести меня в заблуждение относительно мнимых достоинств и мнимого разнообразия светских людей, то лишь потому, что он и сам заблуждался. А заблуждался он, вернее всего, потому, что ничего не делал, не писал, не рисовал, да и читал-то, не вникая в прочитанное и не задумываясь над ним. И все-таки он был гораздо выше светских людей: и они сами, и то зрелище, какое они представляли, давали ему множество тем для разговора, а эти люди его не понимали. Он говорил как художник слова, но этого дара хватало лишь на то, чтобы дать почувствовать призрачное очарование светских людей. Дать почувствовать только художникам, которым он мог бы приносить пользу, какую приносит северный олень эскимосам: это драгоценное животное вырывает для них на безлюдных скалах лишаи и мох, которые сами эскимосы не могли бы обнаружить и использовать, но которые, после того как их переварил олень, представляют собой для жителей Крайнего Севера хорошо усваиваемую пищу.

К сказанному я должен добавить, что картинам высшего света, которые рисовал де Шарлю, придавало необычайную живость сочетание лютой ненависти, какую он испытывал к одним, и преклонения перед другими. Ненавидел он главным образом молодых людей, обожал преимущественно женщин.

Хотя среди женщин на самый высокий пьедестал де Шарлю возносил принцессу Германтскую, все же не одни только его загадочные слова насчет некоего «недоступного дворца Аладдина», где она жила, явились причиной моей ошеломленности, которая вскоре сменилась страхом при мысли: уж не жертва ли я злой шутки, которую кто-то придумал, чтобы меня выставили за дверь дома, куда бы я явился без приглашения, — сменилась, когда я месяца через два после ужина у герцогини, во время ее поездки в Канн, вскрыв с виду самый обыкновенный конверт, прочел то, что было напечатано на визитной карточке: «Принцесса Германтская, урожденная герцогиня Баварская, будет дома в такой-то день». Наверное, с точки зрения светского человека, получить приглашение к принцессе Германтской было так же просто, как попасть на ужин к герцогине; мои познания в геральдике подсказывали мне, что

титул принца не выше титула герцога. А еще я внушал себе, что мышление светской женщины, в противоположность тому, что утверждал де Шарлю, не может существенно отличаться от мышлений людей одного с ней круга и даже от мышления любой другой женщины. Но мое воображение, подобно воображению Эльстира, создававшего свою перспективу наперекор законам физики, хотя, вероятно, он изучил их, воспроизводило передо мной не то, что я знал, а то, что оно видело; то, что оно видело, — иначе говоря, то, что ему показывало имя. Так, даже когда я еще не был знаком с герцогиней, имя Германт, перед которым стоял титул «принцесса», подобно ноте, краске или величине, резко меняющимся в зависимости от стоящего перед ними математического или эстетического «значка» воссоздавало передо мной что-то совсем другое. Этот титул часто встречается в мемуарах эпохи Людовика XIII и Людовика XIV, и я представлял себе, что когда-то в доме у принцессы Германтской, по всей вероятности, довольно часто бывали герцогиня Лонгвильская и великий Конде;[543] если же мои догадки справедливы, — рассуждал я, — то уж

[543] Примечания: 543

Великий Конде — имеется в виду Луи II Бурбон, четвертый принц Конде (1621–1686), брат герцогини Лонгвильской.

я-то вряд ли когда-нибудь туда проникну.

В наших искусственных преувеличениях присутствует элемент субъективности, и о нем я еще буду говорить, однако есть же во всех этих существах и объективная реальность, и вот она-то и делает их непохожими одно на другое. А иначе и быть не может. Те, у кого мы — частые гости и кто так мало общего имеет с теми, что лишь грезятся нам, — ведь это те же самые люди, описание которых мы находим в мемуарах, в письмах замечательных людей и с которыми нам хотелось познакомиться. Совершенно ничего собой не представляющий старик, ужинающий вместе с нами, — это же тот самый, чье гордое послание принцу Фридриху-Карлу,[544] мы с волнением прочли в книге о войне 70-го года. Мы скучаем за ужином, потому что наше воображение отсутствует, а когда мы читаем книгу, мы увлекаемся, потому что сейчас оно — с нами. Но люди и за ужином, и в книге одни и те же. Мы были бы счастливы познакомиться с г-жой де

[544] Примечания: 544

Фридрих-Карл (1828–1885) — племянник прусского императора Вильгельма I, известный военачальник, снискавший печальную славу во время войны 1870 г. своим жестоким обращением с побежденными.

Помпадур[545] неизменно оказывавшей покровительство искусствам, но мы скучали бы в ее обществе не меньше, чем с нынешними Эгериями,[546] до того заурядными, что первый же к ним визит отбивает у нас охоту поддерживать с ними отношения. И все же разница между ними есть. Полного сходства между людьми не бывает; манера наших знакомых держать себя с нами, хотя бы мы относились к ним одинаково дружелюбно, различна, но эти различия в конечном итоге сглаживаются. Герцогиня де Монморанси любила говорить мне колкости, но если я нуждался в ее помощи, она нимало не медля употребляла все свое влияние, чтобы помочь мне не на словах, а на деле. А, например, герцогиня Германтская никогда не обижала меня, говорила мне только что-нибудь приятное, была необычайно радушна, поскольку радушие входило составной частью в широкий образ нравственной жизни Германтов, но зато, если бы я попросил ее о сущей безделице, помимо входившего в ее программу, она не

[545] Примечания: 545

Помпадур, Жанна Антуанетта Пуассон, маркиза де (1721–1764) — фаворитка Людовика XV, покровительница изящных искусств.

[546] Примечания: 546

Эгерия — в римской мифологии пророчица, нимфа ручья, из которого весталки черпали воду для храма Весты.

ударила бы палец о палец, — так в иных имениях к вашим услугам автомобиль и камердинер, но зато вы там не добьетесь стакана сидра, так как те, кто устанавливал распорядок празднеств, не предусмотрели, что вам захочется сидру. Которая же из двух женщин была мне настоящим другом: герцогиня де Монморанси, которой нравилось подпускать мне шпильки, но которая всегда была готова помочь мне, или герцогиня Германтская, которой было больно, когда мне хоть чем-нибудь досаждали, но которой трудно было оказать мне ничтожнейшую услугу? И вот еще что: многие говорили, что герцогиня Германтская болтает только о разных пустяках, а ее родственница, далеко не такая умная, всегда говорит о вещах интересных. Направления умов крайне разнообразны, прямо противоположны не только у литераторов, но и у людей светских, так что не одни лишь Бодлер и Мериме имеют право презирать друг друга.[547] Отличительные особенности ума вырабатывают в каждом человеке свое выражение глаз, свою манеру изъясняться, свой образ

[547] Примечания: 547

...не одни лишь Бодлер и Мериме имеют право презирать друг друга. — В действительности Бодлер высоко ценил творчество Мериме, сравнивая его с творчеством Эжена Делакруа. Мериме, со своей стороны, выступил в защиту Бодлера в ходе преследований поэта после публикации «Цветов зла».

действий, и все это создает взаимосвязанную систему, до такой степени деспотичную, что, когда мы общаемся с кем-либо, нам кажется, что лучше этого человека нет. Все, что говорила герцогиня Германтская, выведенное, как теорема, из особого склада ее ума, я принимал за истину. И в общем я был с ней согласен, когда она утверждала, что герцогиня де Монморанси глупа, что она любит рассуждать о вещах, в которых ничего не смыслит, или когда, узнав, что герцогиня де Монморанси причинила кому-нибудь зло, она говорила: «Вот вы считаете ее доброй, а по-моему, она изверг». Но эта тирания окружающей действительности, эта очевидность света лампы, при котором далекая уже заря меркнет, как воспоминание о чем-то самом обыкновенном, переставали на меня действовать в отсутствие герцогини Германтской, когда еще какая-нибудь дама, державшаяся со мной запросто и считавшая герцогиню гораздо ниже себя, говорила мне: «В сущности, Ориана ничем и никем не интересуется», или даже (о чем в присутствии герцогини и помыслить было невозможно — так отрицательно относилась она к этому явлению): «Ориана — снобка». В силу того, что виконтесса д'Арпажон и герцогиня де Монморанси представляли собой

величины неодинаковые и никакая математика ничего бы тут не могла поделать, я так бы никогда и не ответил на вопрос, у кого из них, по моему мнению, больше достоинств.

Так вот, когда речь заходила об отличительных чертах салона принцессы Германтской, то чаще всего отмечалась его замкнутость, отчасти объяснявшаяся тем, что принцесса была королевского рода, главным же образом — можно сказать, допотопностью принца, опутанного сословными предрассудками, над чем герцог и герцогиня, кстати сказать, постоянно при мне посмеивались, и вот эти-то самые его предрассудки и заставляли меня с особым недоверием отнестись к тому, что меня приглашает человек, который только с высочествами да со светлостями и водится и который за каждым ужином закатывает скандал из-за того, что его посадили не на то место, на каком ему полагалось бы сидеть при Людовике XIV, что благодаря необычайной широте его познаний в области истории и генеалогии только ему одному и было известно. Вот отчего многие светские люди, сравнивая родственников, отдавали предпочтение герцогу и герцогине. «Герцог и герцогиня — люди гораздо более современные, гораздо более интеллигентные, они не занима-

ются, как другие, подсчетом колен родословного древа, их салон на триста лет опередил салон их родственников» — вот что говорилось обычно, и, вспоминая эти фразы, я вздрагивал при одном взгляде на приглашение, так как эти фразы укрепляли меня в мысли, что оно прислано каким-нибудь мистификатором.

Если бы герцог и герцогиня Германтские не уехали в Канн, я бы попытался разведать с их помощью, не подшутил ли кто-нибудь надо мной. Мои сомнения не коренились даже — чем я постарался бы себя утешить — в чувстве, которое, казалось бы, не должны испытывать люди светские, но которое писатель, хотя бы он и принадлежал к светской касте, обязан воссоздать, во-первых, чтобы быть «объективным», а во-вторых, чтобы оттенить своеобразие каждого класса. Между тем недавно я нашел в прелестных мемуарах описание сомнений, похожих на те, какие появились у меня при виде приглашения от принцессы: «Нам с Жоржем (а может быть: „Нам с Эли…“ — проверить я не могу, потому что книги у меня под рукой нет) так безумно хоте-

лось попасть в салон г-жи Делессер,[548] что когда мы получили от нее приглашение, то решили из осторожности, каждый — своими путями, дознаться, не пахнет ли тут первым апреля». А ведь рассказывает об этом не кто иной, как граф д'Осонвиль.[549] (женившийся на дочери герцога де Бройля), а другой молодой человек, который «своими путями» намеревался дознаться, не дурачат ли его, это — в зависимости от того, Жорж он или Эли, — кто-нибудь из двух неразлучных друзей графа д'Осонвиля: д'Аркур[550] или принц де Шале[551]

В самый день приема у принцессы Германтской я узнал, что герцог и герцогиня накануне вернулись в Париж. Я решил зайти к ним утром. Но они с мужем куда-то рано уехали и пока еще

---

[548] Примечания: 548

Делессер, Валентина де Лаборд (1806–1894) — французская аристократка, в салоне которой собирались представители света и известные литераторы.

[549] Примечания: 549

Граф д'Осонвиль, Жозеф-Ортенен-Бернар де Клерон (1809–1884) — французский дипломат и государственный деятель, член Французской академии, автор мемуаров под названием «Моя юность (1814–1830)», где, в частности, он описывает салон г-жи Делессер.

[550] Примечания: 550

Д'Аркур, Жорж Тревор Дуглас Бернар, маркиз (1808–1883) — французский дипломат, член Палаты пэров.

[551] Примечания: 551

Принц де Шале — Элия Луи Роже де Талейран-Перигор, герцог Пери-

горский, принц де Шале и испанский гранд (1809–1889), французский аристократ.

не вернулись; чтобы подкараулить их, я засел в конурке, которая показалась мне вполне подходящим помещением для сторожевого поста. Но оказалось, что как наблюдательный пункт она никуда не годилась, так как наш двор отсюда был виден плохо, но зато моему взгляду представились другие дворы, и хотя их созерцание не принесло мне никакой пользы, все же на некоторое время оно развлекло меня. Не только в Венеции, но и в Париже есть такие прельстительные для художников места, откуда открывается вид на множество домов. Я назвал Венецию не случайно. На бедные кварталы именно Венеции бывают похожи по утрам бедные кварталы Парижа с их высокими расширяющимися кверху трубами, на которые солнце кладет яркую-яркую розовую, свежую-свежую красную краску; целый сад цветет над домами, цветет с таким разнообразием оттенков, что можно подумать, будто это в самом деле сад, насаженный над городом каким-нибудь любителем дельфтских или гарлемских тюльпанов. Этого мало: благодаря тому, что некоторые комнаты лепящихся один к другому домов выходят окнами во двор, разделяющий эти дома, каждый оконный проем превращается в раму, и в какой-нибудь из рам видна кухарка,

которая, о чем-то задумавшись, уставила глаза в пол, а в другой, подальше, — девушка и расчесывающая ей волосы старая ведьма, черты лица которой расплываются в полумраке; на расстояний звуков не слышно, через дворы они не перелетают, и потому каждый дом показывает соседнему в застекленных четырехугольниках немые телодвижения; дома, размещая рядом голландские картины, устраивают громадную выставку. Правда, из особняка Германтов такие виды не открывались, но зато открывались другие, не менее любопытные, в особенности — с того своеобразного тригонометрического пункта, который я выбрал: когда я смотрел с этого пункта перед собой, то ничего не задерживало моего взгляда вплоть до отдаленных, почти не застроенных, пологих возвышенностей, за которыми стоял дом, где жили принцесса Силистрийская и маркиза де Пласак, родственницы герцога Германтского из высшей знати, с которыми я не был знаком. До самого этого дома (который принадлежал их отцу, де Брекиньи) не было ничего, кроме тянувшихся в разных направлениях невысоких построек, которые, не задерживая взгляда, своими наклонными плоскостями как бы удлиняли пространство. Крытая красной

черепицей башенка сарая, где стояли экипажи маркиза де Фрекура, увенчивалась шпилем, но шпиль, напоминавший о красивых старинных зданиях, одиноко взметывающихся ввысь у подножия швейцарских гор, был до того тонок, что ничего собою не закрывал. Все эти строения, с трудом различимые, разбросанные там и сям, создавали впечатление, что дом маркизы де Плассак стоит гораздо дальше, как будто вас отделяло от него несколько улиц или множество горных отрогов; на самом деле он находился на довольно близком расстоянии, но его отдалял один из тех обманов зрения, какие бывают в Альпах. Когда комнаты в доме проветривались и его широкие квадратные окна, сверкавшие на солнце, словно горный хрусталь, бывали открыты, то, напрягая зрение, чтобы разглядеть на разных этажах лакеев, выбивавших ковры, вы испытывали такое же наслаждение, какое доставляют вам на картинах Тернера или Эльстира путешественник в дилижансе или проводник на склоне Сен-Готарда. Но с этой «видовой площадки» я мог бы и не разглядеть возвращающихся герцога и герцогиню Германтских, и поэтому, возобновив после полудня наблюдение, я просто-напросто стал на лестнице — отсюда я не мог бы не заме-

тить, что ворота отворяются, но ослепительные альпийские красоты дома Брекиньи с занятыми уборкой лакеями, дальностью расстояния превращенными в малюсеньких человечков, здесь уже не являлись моему взгляду. Так вот, это ожидание на лестнице имело для меня столь важные последствия, благодаря ему я увидел такой замечательный пейзаж, правда, не тернеровский, а моральный, что рассказ о нем лучше ненадолго отложить, а сперва рассказать о том, как я побывал у Германтов после их возвращения.

Меня принял герцог у себя в кабинете. В дверях я столкнулся с совершенно седым, бедно одетым, маленького роста человеком с черным галстучком, как у комбрейского нотариуса и как у некоторых приятелей моего дедушки, но вид у него был еще более робкий, он отвешивал мне низкие поклоны и ни за что не соглашался, чтобы я уступил ему дорогу. Я не расслышал, что крикнул ему герцог; в ответ посетитель опять начал кланяться, но уже стене; герцог не мог его видеть, а он все кланялся и кланялся — так зачем-то улыбаются люди во время телефонного разговора; посетитель говорил фальцетом; он еще раз мне поклонился — так подобострастно кланяются ходатаи по делам. Впрочем, может

статься, это и был поверенный из Комбре — так он своим провинциальным, старомодным и кротким видом напоминал тамошних маленьких людей, приниженных старичков.

— Ориана сейчас придет, — сказал мне герцог, как только я вошел. — Сван должен сейчас принести ей корректуру своей статьи о монетах Мальтийского ордена и, еще того хуже, огромные фотографии этих монет с обеих сторон, поэтому Ориана решила поскорей одеться, чтобы успеть посидеть с ним, перед тем как ехать обедать. Мы и так завалены вещами, спасения от них нет, я просто не знаю, куда приткнуть фотографии Свана. Но у меня чересчур любезная жена, она безумно любит доставлять людям удовольствие. Она уверена, что Свану будет приятно показать ей одного за другим всех гроссмейстеров Ордена, медали которых он нашел на Родосе. Я сказал: Мальтийского? Нет, Родосского, но это один и тот же Орден — Орден святого Иоанна Иерусалимско-

го.[552] В сущности, родосские рыцари интересуют ее постольку, поскольку ими поглощен Сван. Наш род теснейшим образом связан со всей этой историей, связан даже еще и теперь: мой брат, с которым вы знакомы, — один из самых видных деятелей в Мальтийском ордене.[553] Но если бы об этом заговорил с Орианой я, она и слушать бы не стала. А вот когда Сван, изучая тамплиеров,[554] (диву даешься, с каким увлечением люди, исповедующие одну веру, занимаются изучением другой), подошел к истории родосских рыцарей, наследников тамплиеров, Ориана тут же загорелась желанием посмотреть их головы. По сравнению с Люзиньянами, королями Кипра[555] от которых мы ведем свое происхождение по прямой линии, это мелкота. Но так как Сван

---

[552] Примечания: 552

Орден святого Иоанна Иерусалимского — духовно-рыцарский орден иоаннитов (госпитальеров) был основан в 1113 г. для защиты Иерусалимского королевства, образованного по завершении Первого крестового похода (1096–1099), и паломников в Святую землю. Изгнанные из Палестины в 1291 г. госпитальеры поначалу нашли прибежище на Кипре, затем на острове Родос, отчего с 1309 г. стали называть себя рыцарями родосскими; обосновавшись в конце концов на Мальте, орден стал называться Мальтийским.

[553] Примечания: 553

…один из самых видных деятелей в Мальтийском ордене. — После того как Мальта была захвачена Наполеоном (1798), а затем завоевана англичанами (1800), рыцари Мальтийского ордена обосновались в Риме. Папа Пий VII изменил устав ордена, придав его деятельности благотворительное направление.

[554] Примечания: 554

Тамплиеры (храмовники) — духовно-рыцарский орден, основанный в 1119 г. для защиты паломников, направлявшихся в Иерусалим. Вскоре орден превратился в крупнейшего ростовщика в Европе, но его богатства были конфискованы в 1307 г. французским королем Филиппом IV Красивым. В 1312 г. папа Климент V упразднил орден, часть имущества которого перешла к госпитальерам.

[555] Примечания: 555

…королями Кипра… — Род Люзиньянов властвовал на Кипре с 1192 по 1489 г.

пока Люзиньянами не занят, Ориане никакого дела до них нет.

Я не мог сразу сказать герцогу, зачем я пришел. Дело в том, что к герцогине, которая часто принимала визитеров до обеда, явились ее родственницы или приятельницы, в частности, принцесса Силистрийская и герцогиня де Монроз, но, так как герцогиня не показывалась, они зашли на минутку к герцогу. Пришедшая раньше других принцесса Силистрийская, просто одетая, сухопарая, с приветливым выражением лица, держала в руке тросточку. Я подумал, что она ушиблась или больна. Но вскоре я убедился, что она прекрасно себя чувствует. Она с грустью заговорила о двоюродном брате герцога — не со стороны Германтов, а по линии другого, если только это возможно, еще более славного рода, — о том, что в состоянии его здоровья, за последнее время сильно пошатнувшегося, наступило резкое ухудшение. Было ясно, что герцогу, жалевшему своего двоюродного брата и все повторявшему: «Бедный Мама! Славный он малый», хотелось верить в благополучный исход. Дело в том, что обед, на который собирался герцог, обещал быть приятным, на званом вечере у принцессы Германтской, по его расчету, не должно было быть

скучно, а главное — его привлекал начинавшийся в час ночи роскошный ужин и костюмированный бал, для которого ему уже был приготовлен костюм Людовика XI,[556] а герцогине — Изабеллы Баварской.[557] И герцог не желал отравлять эти развлечения мыслью о тяжелом недуге милейшего Аманьена д'Осмона. Потом с визитом к Базену пришли еще две дамы, тоже с тросточками, маркиза де Пласак и г-жа де Трем, дочери графа де Брекиньи, и сказали, что его двоюродный брат Мама безнадежен. Герцог повел плечами и, чтобы переменить разговор, спросил, не собираются ли они на вечер к Мари-Жильбер. Дамы ответили, что не пойдут, так как Аманьен при смерти, и что не пойдут они и на обед, на который собирался герцог и на котором, по их словам, должны были

---

[556] Примечания: 556

Людовик XI (1423–1483) — король Франции с 1461 г., значительно укрепивший королевскую власть ущемлением прав дворянства и притеснениями знати.

[557] Примечания: 557

Изабелла Баварская (1371–1435) — французская королева, жена Карла VI.

быть брат короля Феодосия,[558] инфанта Мария Консепсьон и пр. Так как маркиз д'Осмон приходился Базену более близким родственником, то Базену показалось, что этим «бойкотом» дамы выражают ему неодобрение, и он был с ними не очень любезен. Хотя они спустились с высот особняка Брекиньи, чтобы повидать герцогиню (а вернее — чтобы уведомить ее о том, что состояние здоровья родственника герцогской четы внушает тревогу и что, следовательно, и герцогу и герцогине должно быть не до увеселений), но посидели недолго: опираясь на альпенштоки, Вальпургия и Доротея (так звали сестер) двинулись по крутой тропинке к себе на гору. Я так и не догадался спросить у Германтов, зачем многие из Сен-Жерменского предместья разгуливают с тросточками. Быть может, они считали всю эту часть города своим владением, а ездить на извозчиках не любили и предпочитали длинные прогулки пешком, но некоторые из них, заядлые охотники, часто падали с лошади, ломали себе ноги, и переломы не заживали, а другие просто-напросто

[558] Примечания: 558

Король Феодосий — прототипом этого вымышленного восточноевропейского монарха был, согласно текстологическим исследованиям французских ученых, русский царь Николай II. Неоднократно говоря о визите этого монарха в Париж, Пруст в романе «Под сенью девушек в цвету» делает характерную оговорку, назвав короля Феодосием II.

нажили себе ревматизм, оттого что левый берег Сены — сырой и оттого что было сыро в их старых замках — вот почему они, по всей вероятности, и ходили с тросточками. А может быть, они не совершали дальних походов. Просто-напросто, сойдя в свой сад (неподалеку от сада герцогини), чтобы набрать фруктов для компота, они на возвратном пути заходили повидаться с герцогиней Германтской, но являться к ней с садовыми ножницами или с лейкой все-таки не решались.

Герцог, видимо, был тронут, что я пришел к нему в день его приезда. Но по его лицу прошла тень, как только я сказал, что зашел попросить его жену навести справки, приглашает ли меня принцесса. Я попросил об одном из тех одолжений, которые герцог и герцогиня Германтские делать не любили. Герцог ответил, что теперь поздно, что если принцесса не посылала мне приглашения, то она может подумать, что он выпрашивает его для меня, а он однажды уже нарвался на отказ и больше не желает в какой бы то ни было форме оказывать на своих родственников давление, «ввязываться в это дело», наконец, что он точно еще не знает: может быть, он и герцогиня прямо со званого обеда поедут домой и что в таком случае, чтобы принцесса не обиделась,

лучше всего скрыть от нее, что они вернулись в Париж, а что если бы не это обстоятельство, то они, разумеется, немедленно спросили бы ее насчет меня в записке или по телефону, хотя, впрочем, теперь, конечно, поздно, так как, вернее всего, список приглашенных уже составлен.

— Ведь вы же с ней не в плохих отношениях, — подозрительно поглядев на меня, сказал он: Германтам из боязни, как бы им не заплясать под чужую дудку и ненароком кого-нибудь с кем-нибудь не помирить, всегда хотелось быть точно осведомленными о всех происшедших за последнее время ссорах. Герцог предпочитал самостоятельно принимать решения, когда, по его мнению, нужно было проявить жесткость.

— Понимаете, дружок, — сказал он с таким видом, как будто его только сейчас осенило, — я лучше не буду говорить Ориане о вашей просьбе. Вы же знаете, какая она обязательная и что ее любовь к вам безгранична; как бы я ее ни отговаривал, она непременно пошлет принцессе записку, и уж тогда, если она устанет после обеда, у нее не будет никаких уважительных причин: придется ехать на вечер. Да, да, я ей ничего не скажу. Она сейчас выйдет. Прошу вас: ни слова! Но если вы все-таки решитесь пойти на вечер,

мы, конечно, будем счастливы увидеться с вами.

Долг человеколюбия — священный долг для всякого человека, которого призывают исполнить его, хотя бы из хитрости; мне не хотелось, чтобы герцог подумал, что я, пусть даже одну секунду, колеблюсь: а не попросить ли мне все-таки герцогиню, даже если бы она потом и устала после обеда, и я обещал герцогу не говорить ей, зачем я пришел, — я делал вид, что не понял, какую комедию он только что разыграл. Я спросил, как он думает: не будет ли на вечере у принцессы г-жа де Стермарья?

— Нет, нет, — с видом знатока ответил он. — Мне эта фамилия знакома, я встречал ее в клубных адрес-календарях, де Стермарья не принадлежат к тому обществу, которое собирается у Жильбера. Вы там увидите людей только великосветских и очень скучных: дам, которые давно утратили титул герцогинь, но добились его восстановления, всех послов, многих Кобургов, высочеств из других стран, но не надейтесь увидеть даже тень Стермарья. Жильбер заболел бы от одного вашего предположения. Ах да, вы же любите живопись; я вам сейчас покажу чудную картину — я приобрел ее у моего родственника, принца, частично в обмен на картины Эльстира

— они нам, правда, не нравятся. Меня уверяют, будто это Филипп де Шампань,[559] но я думаю, что это кто-нибудь повыше сортом. Сказать вам откровенно? Я думаю, что это Веласкес, и притом периода его расцвета, — заключил герцог и посмотрел на меня в упор, чтобы проверить, какое это на меня произвело впечатление, а может быть даже чтобы усилить его. Вошел лакей.

— Ее светлость приказала спросить вашу светлость: не может ли ваша светлость принять господина Свана, а то ее светлость еще не совсем готова?

Герцогу скоро надо было идти одеваться, но, посмотрев на часы, он убедился, что в его распоряжении есть еще несколько минут.

— Попросите господина Свана сюда, — сказал он лакею и обратился ко мне: — Сама же позвала Свана и, конечно, еще не готова. Не говорите при Сване о вечере у Мари-Жильбер. Я не знаю, пригласили ли его. Жильбер его очень любит — он уверен, что Сван — незаконный внук герцога Беррийского, это целая история. (А иначе стал бы Жильбер с ним цацкаться! Представляете себе? Это Жильбер-то, который, за сто шагов

---

[559] Примечания: 559

Филипп де Шампань (1602–1674) — фламандский художник, работавший в Париже с 1621 г., автор портретов Людовика XIII и Ришелье.

завидев еврея, падает в обморок!) Но теперь все усложнилось из-за дела Дрейфуса. Сван должен был бы понять, что ему в первую очередь следует порвать с евреями всякие отношения, а он высказывает мнения, которые могут только настроить против него.

Герцог позвал лакея, чтобы узнать, не вернулся ли посыльный к д'Осмону. План у герцога был такой: поскольку он имел все основания полагать, что его двоюродный брат не выживет, ему хотелось получить о нем сведения до его кончины, иными словами — до вынужденного траура. Если б он узнал из первых рук, что Аманьен еще жив, он улизнул бы на званый обед, на вечер у принца, на бал, где он щеголял бы в костюме Людовика XI и где у него было назначено занимавшее все его мысли свидание с новой возлюбленной, а известие он получил бы только на другой день, после всех увеселений. Вот тогда, если бы Аманьен скончался вечером, можно было бы надеть траур.

— Нет, ваша светлость, он еще не приходил.

— А, черт! У нас в доме все доводится до последней секунды! — вскричал герцог; у него мелькнула мысль, что Аманьен, может быть, уже «отдал концы», в вечернюю газету успеют

тиснуть объявление, и тогда прощай костюмированный бал! Герцог потребовал «Тан», но в газете ничего не было.

Я очень давно не видел Свана и теперь некоторое время находился в недоумении: носил ли он раньше короткие усы, стригся ли бобриком; словом, я нашел в нем какую-то перемену; он и в самом деле очень «переменился»: он был очень болен, а болезнь так же резко меняет лицо, как отпущенная борода, как стрижка на прямой или косой пробор. (Сван был болен той же самой болезнью, от которой скончалась его мать, и заболел он в том же возрасте, что и она. В нашей жизни и впрямь такое огромное значение имеют каббалистические числа, дурной глаз, что кажется, будто и правда она в руках у колдуний. И если существует средняя продолжительность жизни человеческого рода в целом, то существует и средняя продолжительность жизни отдельных семей, то есть похожих друг на друга членов семей.) Сван был одет элегантно, и в этой элегантности, похожей на элегантность его жены, улавливалось сочетание того, каким он стал, с тем, каким он был прежде. Светло-серый сюртук подчеркивал его статность и стройность, руки облегали перчатки, белые с черными полосками,

в одной руке он держал серый цилиндр с раструбом — такого фасона цилиндры изготовлялись Дельоном.[560] только для него, для принца де Сагана, для де Шарлю, для маркиза де Моден, для Шарля Ааса[561] и для графа Луи де Тюрена[562] На мой поклон Сван ответил очаровательной улыбкой и сердечным рукопожатием, и это меня поразило: мы со Сваном так давно не видались, что сразу он мог бы меня и не узнать; я выразил ему свое удивление; он захохотал, но так, как будто он на меня слегка рассердился, потом еще раз пожал мне руку: мысль, что он может меня не узнать, как бы свидетельствовала о моих подозрениях — не выжил ли он из ума и не был ли он всегда ко мне равнодушен? А между тем мои подозрения были основательны: впоследствии я выяснил, что он узнал меня, только когда меня назвали по имени. Но после того, как герцог обратился ко мне, ни в выражении лица Свана, ни

---

[560] Примечания: 560

Дельон — известный парижский шляпник, магазин которого располагался на бульваре Капуцинок.

[561] Примечания: 561

Аас, Шарль (1832–1902) — биржевой маклер, завсегдатай многих светских салонов, единственный еврей, состоявший членом престижного Жокей-клуба. Основная модель образа Свана.

[562] Примечания: 562

Тюрен, Луи де (1843–1907) — французский аристократ, известный щеголь и денди.

в выборе слов, ни в теме разговора, — ни в чем не проскользнуло, что это для него неожиданность: до того искусно и до того уверенно играл он роль светского человека. Он вносил в свою игру непринужденность и свойственную ему лично изобретательность, изобретательность даже в манере одеваться, — именно то, что вносили в нее и Германты. Так что поклон, который сделал мне не узнавший меня старый клубмен, — это был не холодный и чопорный поклон светского человека, заботящегося лишь о соблюдении формальностей, это был поклон действительно любезный, по-настоящему обворожительный — так кланялась, например, герцогиня Германтская (она даже начинала улыбаться при встрече еще до того, как вы ей поклонились) из протеста против почти машинальных поклонов, характерных для дам из Сен-Жерменского предместья. И свою шляпу Сван, придерживаясь уже мало кем соблюдавшегося обычая, положил на пол, около себя, и вдобавок шляпа была у него отделана зеленой кожей: это было не принято, но Сван уверял, что так она гораздо меньше пачкается, а на самом деле, — об этом он, однако, умалчивал, — так она ему больше шла.

— Послушайте, Шарль, вы же большой знаток,

подойдите ко мне, я вам сейчас что-то покажу, а потом, друзья мои, я с вашего позволения ненадолго оставлю вас вдвоем — мне надо переодеться; впрочем, я думаю, что Ориана сейчас выйдет.

И тут герцог показал Свану своего «Веласкеса».

— Кажется, я это уже где-то видел, — сказал Сван, и его лицо исказила гримаса, какая появляется на лице у больных людей, которым даже говорить трудно.

— Да, — сказал герцог; он был озадачен тем, что знаток сразу же не пришел в восторг. — Вы, вероятно, видели эту картину у Жильбера.

— Ах да, в самом деле, теперь я припоминаю.

— Как вы думаете: кто это?

— Если картина принадлежала Жильберу, то, вероятно, это кто-нибудь из *ваших предков*, — ответил Сван с насмешливой почтительностью к знатности происхождения: он считал, что презирать ее — неучтиво и неумно, но в то же время считал хорошим тоном говорить о ней «с издевочкой».

— Вернее всего, — с недовольным видом сказал герцог. — Это Бозон, Германт… не помню только, который по счету. Ну да я на них плевать хотел. Вы же знаете, что я не такой феодал, как Жильбер.

Но мне говорили, что это портрет кисти Риго,[563] Миньяра, даже Веласкеса! — вскричал герцог и впился в Свана взглядом инквизитора и палача, чтобы прочитать его мысли и в то же время оказать влияние на ответ. — Ну так кто же? — Герцог обладал способностью добиться нужного ему ответа, а через несколько минут поверить в то, что человек в самом деле так думал. — Говорите правду. Вы думаете, это кто-нибудь из звезд первой величины, которых я перечислил?

— Нннет, — ответил Сван.

— Ну, я-то в этом ничего не смыслю, я нипочем не сумею определить, чья это мазня. Но вы любитель живописи, вы человек сведущий — кому же вы это приписываете?

Сван бросил нерешительный взгляд на картину — видно было, что она производит на него ужасное впечатление.

— Вашему врагу![564] — со смехом ответил он герцогу, и тот вспыхнул.

— Я прошу вас обоих: будьте добры, подождите

---

[563] Примечания: 563

Риго, Гиацинт (1659–1743) — придворный художник Людовика XIV.

[564] Примечания: 564

Вашему врагу! — выражение из комедии французского драматурга Жоржа де Паорто-Риша (1849–1930) «Прошлое», премьера которой состоялась в театре «Одеон» в 1897 г.

Ориану, — сказал он, успокоившись, — а я надену фрачишку и сейчас приду. Я велю передать моей хозяйке, что вы ее ждете.

Я заговорил со Сваном о деле Дрейфуса и задал ему вопрос: почему все Германты — антидрейфусары?

— Во-первых, потому, что в глубине души они все антисемиты, — ответил Сван; он знал по опыту, что некоторые Германты не антисемиты, но, как всякий ярый сторонник каких-либо взглядов, он предпочитал объяснять противоположную позицию, занимаемую другими, предвзятостью мысли, предрассудком, с которым нельзя бороться, а не воззрениями, против которых можно спорить. Кроме того, преждевременно достигнув своего земного предела, он, как затравленный зверь, не вынес гонений и вернулся к вере своих отцов.

— О принце Германтском я, правда, слышал, что он антисемит, — сказал я.

— Ну, о нем и говорить нечего! Он дошел до того, что — это когда он был офицером — предпочел терпеть адскую зубную боль, только не обращаться к единственному в тех краях дантисту, потому что дантист был еврей, а еще как-то раз он не отстоял от огня флигель в собственном

имении, потому что ему надо было просить насосы у своего соседа — Ротшильда.

— Вы вечером к нему не пойдете?

— Пойду, — ответил Сван, — хотя я очень устал. Я получил от него письмо — он пишет, что ему нужно о чем-то со мной поговорить. Я чувствую, что разболеюсь и мне будет не до встреч с ним, — ни у него, ни у меня, — это будет меня нервировать, — поэтому я предпочитаю отделаться сегодня.

— Но ведь герцог Германтский — не антисемит?

— Как же не антисемит, когда он антидрейфусар? — возразил Сван, не замечая, что это требование основания. — И тем не менее мне жаль было разочаровывать этого человека — ох, как я непочтительно выражаюсь! — разочаровывать герцога; мне было бы приятнее расхваливать его мнимого Миньяра или кого-то там еще.

— Ну а герцогиня? — возвращаясь к делу Дрейфуса, продолжал я. — Она — женщина интеллигентная.

— Да, она очаровательная женщина. Хотя, по-моему, она была еще очаровательнее, пока именовалась принцессой де Лом. В ее остроумии появилась желчность, у знатной молодой девуш-

ки все это было мягче, а впрочем, и молодежь, и те, что уже в годах, и мужчины и женщины, — все это люди другой породы, и ничего с этим поделать нельзя — многовековой феодализм в крови даром не проходит.

— Но ведь дрейфусар же Робер де Сен-Лу?

— Ну что ж, это делает ему честь, особенно если принять во внимание, что его мать пышет к Дрейфусу злобой. Мне про него именно так и говорили, но я не поверил. Это меня очень радует. И не удивляет — он человек вполне интеллигентный. А в данном случае это очень важно.

Дрейфусарство сделало Свана удивительно непосредственным, оно произвело в нем еще более резкий сдвиг, произвело такой переворот, какого не произвела в нем женитьба на Одетте; эту новую его деклассацию правильнее было бы назвать рекламацией, и она служила ему к чести, ибо возвращала на путь, которым шли его родные и с которого он свернул под влиянием своих аристократических знакомств. Но как раз когда перед Сваном с его светлым умом, благодаря достоинствам, какие он унаследовал от предков, могла бы открыться истина, которая все еще была не видна светским людям, на него нашло затмение, делавшее его смешным. Ко всему,

чем он восторгался и от чего ему было тошно, он прилагал теперь новое мерило, дрейфусарство. Узнав, что г-жа де Бонтан — антидрейфусарка, он решил, что она дура, однако этот его вывод был не более ошеломляющ, чем тот, какой он сделал после женитьбы, а именно — что г-жа Бонтан умница. Не столь уже важно было и то, что новая волна захлестнула его политические убеждения, что он забыл, как он обзывал Клемансо продажной душонкой, английским шпионом (эту нелепость выдумали у Германтов), и теперь уверял, что всю жизнь считал Клемансо совестью Франции, таким же непоколебимым человеком, как Корнели:[565] «Нет, я всегда это говорил. Вы меня с кем-то путаете». Но, перекатываясь через политические убеждения Свана, эта волна опрокидывала и его литературные взгляды, и

[565] Примечания: 565

Корнели, Жан-Жозеф (1845–1907) — французский публицист, главный редактор монархической газеты «Ле Клерон», на страницах которой выступил в защиту Дрейфуса, после чего был вынужден перейти в либеральную «Фигаро».

даже его манеру выражаться. Баррес[566] погубил свой талант, да и ранние его вещи на поверку очень слабы, перечитывать их уже трудно: «Попробуйте — ни за что не одолеете. Вот Клемансо — это другое дело! Я не антиклерикал, но рядом с ним каким хилым выглядит Баррес! Да, старик Клемансо — это огромное явление. Как он знает язык!» Но кому угодно можно было осуждать эти дикости Свана, только не антидрейфусарам. Они утверждали, что раз человек стоит за Дрейфуса, значит, он непременно еврей. Если такой правоверный католик, как Саньет, тоже был за пересмотр дела, то это, мол, потому, что его настропалила г-жа Вердюрен, завзятая радикалка. Она особенно ненавидит «поповщину». Саньет не столько зловреден, сколько просто глуп, потому-то он и не отдает себе отчета, как скверно влияет на него «Покровительница». Если же антидрейфусарам возражали, что Бришо, тоже

---

[566] Примечания: 566

Баррес, Морис (1862–1923) — французский писатель и политический деятель, признанный глава интеллектуально-националистического движения во Франции. С 1906 г. и до самой смерти был депутатом от Первого округа Парижа, член Французской академии. Во времена Пруста Баррес — знаменитый писатель, прозванный «Принцем молодости». Пруст восхищается музыкальным строем барресовской прозы и разделяет многие его идеи, хотя, конечно, совершенно чужд стремлению Барреса соединить романтический порыв с «культом корней», упрекая его в том, что тот «предпочел литературе политику».

друг Вердюренов, — член Патриотической лиги, те говорили в ответ, что он умней Саньета.

— Вы с ним видитесь? — спросил я Свана, имея в виду Сен-Лу.

— Нет, совсем не вижусь. Недавно я получил от него письмо — он хотел, чтобы я попросил герцога де Муши и еще кое-кого голосовать за него в Джокей-клобе, но у него все там прошло как по маслу.

— Несмотря на дело Дрейфуса?

— Об этом даже и разговору не было. Но уж после голосования я туда ни ногой.

Вошел герцог, а вслед за ним его жена, уже переодевшаяся, статная, великолепная, в красном атласном платье; юбка у нее была отделана блестками. В волосах у нее было большое страусовое перо, окрашенное в пурпур, на плечи накинут тюлевый шарф опять-таки красного цвета.

— Мне очень нравится зеленая отделка вашей шляпы, — заметила герцогиня, от взгляда которой не ускользало ничто. — Да у вас, Шарль, все хорошо: и то, что вы носите, и то, что вы говорите, и то, что вы читаете, и то, что вы делаете.

Сван, притворяясь, что не слышит, рассматривал герцогиню, как рассматривают мастерски написанную картину, затем, встретившись с ней

глазами, сложил губы так, словно хотел сказать: «Здорово!» Герцогиня засмеялась:

— Вам нравится мой туалет? Я очень рада. А вот мне самой он, признаться сказать, не особенно нравится, — с недовольным видом проговорила она. — Боже мой, как это скучно: одеваться, выезжать, когда так хочется посидеть дома!

— Какие чудные рубины!

— Ах, милый Шарль! Сразу видно, что вы понимаете в этом толк — не то что скотина Монсерфей: он спросил, настоящие ли они. Признаться, я никогда таких не видела. Это подарок великой княгини. По-моему, они крупноваты, чуточку напоминают полную рюмку бордо, но я их надела, потому что вечером мы увидим великую княгиню у Мари-Жильбер, — пояснила герцогиня, не подозревая, что эти ее слова изобличают во лжи герцога.

— А что будет у принцессы? — спросил Сван.

— Ничего особенного, — поспешил ответить герцог: из вопроса, заданного Сваном, он заключил, что Свана не пригласили.

— Да что вы, Базен! Там будет всякой твари по паре. Давка начнется такая, что как бы не затолкали. Одно там должно быть прекрасно, — глядя на Свана с таким видом, как будто она что-то

предвкушает, продолжала герцогиня, — вот только боюсь, как бы в конце концов не собралась гроза, — это дивный сад. Вы его видели. Я там была месяц назад, когда цвела сирень, — красота неописуемая. И потом еще фонтаны — ну прямо Версаль в Париже!

— А что собой представляет принцесса? — спросил я.

— Да ведь вы же ее у нас видели. Чудо как хороша собой, глуповата, необыкновенно обаятельна, несмотря на все свое немецкое высокомерие, чрезвычайно отзывчива и то и дело садится в лужу.

От наблюдательного Свана не укрылось, что герцогиня хочет сейчас блеснуть «Германтским остроумием», но отделавшись по дешевке: это были старые, уже потертые ее словечки. Тем не менее в доказательство того, что он понял герцогиню, желавшую посмешить его, и в знак того, что она своей цели достигла, Сван улыбнулся, хотя чуть-чуть напряженной улыбкой, и этот особый вид неискренности вызвал во мне то же чувство неловкости, какое я испытывал во время разговора моих родителей с Вентейлем о падении нравов в некоторых слоях общества (а между тем мои родители прекрасно знали, что

уж на что хуже нравы в Монжувене) или когда я слушал изысканную речь Леграндена, беседовавшего с глупцами и отлично знавшего, что эти богатые, шикарные, но необразованные люди его не поймут.

— Ориана! Что вы болтаете? — вскричал герцог. — Мари глупа? Она массу читала, отличная музыкантша.

— Базен, милый мой мальчик! Вы что, только вчера родились? Неужели вы не знаете, что все это не мешает человеку быть глуповатым? Впрочем, сказать про нее, что она глупа, это было бы преувеличение — нет, она смесь всего; она — Гессен-Дармштадт,[567] Священная империя...[568] и к тому же еще рохля. Уже один ее выговор раздражает меня. Но я признаю, что она очаровательная сумасбродка. Чего стоит хотя бы эта затея — сойти со своего германского трона и, как самая обыкновенная мещанка, выйти замуж за простого смертного! Ведь она же сама его выбрала! Ах да! — обратилась она ко мне. — Вы

---

[567] Примечания: 567

Гессен-Дармштадт — великое германское герцогство; по конституции 1820 г. — конституционная наследственная монархия.

[568] Примечания: 568

Священная Римская империя — так называлась начиная с XV века Германская империя, основанная в 962 г. Оттоном I Великим и распавшаяся в 1806 г.

не знаете Жильбера! Вот вам один штришок: он слег, когда ему сказали, что я завезла карточку госпоже Карно[569] Да, Шарль, милый, — заметив, что упоминание карточки, завезенной г-же Карно, разозлило герцога, переменила разговор герцогиня, — вы так и не прислали фотографии родосских рыцарей, а между тем, наслушавшись ваших рассказов, я полюбила их и мечтаю с ними познакомиться.

Герцог смотрел на жену в упор:

— Ориана! Уж говорить, так говорить всю правду. Надо вам сказать, — с целью поправить герцогиню обратился он к Свану, — что жене тогдашнего английского посла, женщине очень доброй, но витавшей в облаках, известной своей бестактностью, пришла в голову довольно странная мысль пригласить нас вместе с президентом и его супругой. Нас это удивило, даже Ориану, тем более что у жены посла было довольно много знакомых среди людей, ни в чем нам не уступающих, и она смело могла бы не звать нас на такое разношерстное сборище. Там был один проворовавшийся министр, ну да кто старое

[569] Примечания: 569

Госпожа Карно — Мария Полина Сесилия Дюпон-Уайт (1843–1898), жена французского президента Франсуа Сади Карно (1837–1894). Учредила традицию светских приемов в Елисейском дворце.

помянет… словом, нас не предупредили, и мы оказались в глупейшем положении, хотя, впрочем, надо отметить, что все эти люди были очень учтивы. И на этом надо было поставить точку. Но герцогиня Германтская редко снисходит до того, чтобы со мной посоветоваться, так и тут: ничего мне не сказав, она сочла нужным завезти через несколько дней свою карточку в Елисейский дворец. Жильбер, пожалуй, хватил через край: он сказал, что мы себя этим запятнали. Но если сбросить со счетов политику самого Карно, — к слову сказать, он справлялся со своими обязанностями вполне удовлетворительно, — то как же можно забыть о том, что он — внук члена революционного трибунала,[570] в течение одного дня вынесшего смертный приговор одиннадцати нашим предкам?

— В таком случае зачем же вы, Базен, каждую неделю ездили ужинать в Шантийи? Ведь герцог Омальский тоже внук члена революционного трибунала, с тою лишь разницей, что Карно был

[570] Примечания: 570

…внук члена революционного трибунала… — Во время Революции Лазарь Николя Маргерит Карно (1753–1823) был членом Конвента и Комитета общественного спасения.

человек порядочный, а Филипп Эгалите[571] — отъявленный негодяй.

— Простите, я вас перебью, — вмешался Сван. — Фотографии я вам послал. Не понимаю, почему вам их не передали.

— Ну, тут ничего особенно удивительного нет, — заметила герцогиня. — Мои слуги докладывают мне по своему благоусмотрению. Скорее всего, им просто не нравится Орден святого Иоанна.

Она позвонила.

— Должен вам сказать, Ориана, что я ездил в Шантийи без восторга.

— Без восторга, однако с ночной рубашкой на случай, если бы принц предложил вам остаться у него ночевать, но только он предлагал вам это не часто, потому что он — ужасный хам, как и все Орлеаны… Вы не знаете, кто еще, кроме нас, приглашен на обед к госпоже де Сент-Эверт? — спросила герцогиня у мужа.

— Помимо тех, о ком довели до вашего све-

---

[571] Примечания: 571

Филипп Эгалите, Луи Филипп Жозеф, герцог Орлеанский (1747–1793) — французский аристократ, представитель младшей линии Бурбонов, перешедший на сторону революционного народа. Будучи членом Конвента, он в 1792 г. голосовал за смертную казнь своего кузена Людовика XVI. По обвинению в измене был, в свою очередь, осужден и обезглавлен.

дения, там будет брат короля Феодосия — его пригласили в последнюю минуту.

По выражению лица герцогини было заметно, что это ее обрадовало, а в тоне послышалась досада:

— Ах ты господи, опять принцы!

— Этот принц мил и умен, — вставил Сван.

— Ну, не особенно, — возразила герцогиня: было видно, что она ищет слов, которые подчеркнули бы, что она высказывает новую мысль. — Вы обратили внимание, что даже самые милые принцы милы, да не очень? Да, да, уверяю вас! Они считают необходимым иметь свое мнение решительно обо всем. Но так как у них ни о чем нет своего мнения, то полжизни они тратят на то, чтобы выспрашивать у нас наши мнения, а полжизни на то, чтобы нам же выдавать их за свои. Им непременно надо всему дать оценку: это, мол, сыграно хорошо, а вот это плохо. Все они на один покрой. Например, этот мальчишка Феодосий-младший (забыла, как его зовут) спросил меня, как называется такая-то оркестровая партия. А я ему... — Тут глаза у герцогини заблестели, ее красивые ярко-красные губы раскрылись, и она засмеялась. — «Так и называется: оркестровая партия».

И что же вы думаете? Мой ответ его, видимо, не удовлетворил. Ах, милый Шарль! — с томным видом продолжала герцогиня. — Какие скучные бывают эти сборища! Иной раз вечером сидишь и думаешь: «Нет, лучше умереть!» Правда, смерть, может быть, тоже скучна — ведь мы же не знаем, что это такое.

Вошел лакей. Это был молодой жених; его вражда с привратником дошла до того, что герцогиня по доброте своей вмешалась и добилась того, что между ними установился худой мир.

— Мне надо будет пойти справиться о здоровье господина маркиза д'Осмона? — спросил лакей.

— Ни в коем случае не ходите, даже и не думайте. А еще лучше, если вечером вас здесь не будет. Его лакей, ваш знакомый, может прийти сюда с вестями и пошлет вас к нам. Ступайте, идите куда угодно, повеселитесь, можете даже не ночевать дома, только чтобы вас не было здесь до утра.

Лакей был на седьмом небе. Наконец-то ему можно будет долго побыть со своей невестой, а то ведь они почти не виделись с того дня, когда, после очередного скандала с привратником, герцогиня в деликатных выражениях посоветовала ему во избежание дальнейших столкновений совсем не выходить из дому. Он утопал — при

одной мысли, что ему наконец-то выдался свободный вечер, — в блаженстве, а герцогиня это заметила и поняла. Сердце у нее сжалось, во всем теле она ощутила зуд при виде счастья, которым человек наслаждался без ее разрешения, таясь от нее, и герцогиню охватили злоба и зависть:

— Нет, Базен, как раз наоборот: он должен быть здесь, ему нельзя ни на одну секунду отлучиться из дому.

— Но ведь это же глупо, Ориана, вся ваша прислуга дома, а в двенадцать часов придут еще костюмер и костюмерша одевать нас на бал. Он здесь совсем не нужен, и только он один из всех наших слуг водит компанию с лакеем Мама — вот почему мне главным образом и хочется его спровадить.

— А я прошу вас, Базен, не отпускать его: вечером он должен будет исполнить одно мое поручение, вот только я сейчас не могу сказать точно — в котором часу. Ни шагу из дому, слышите? — обратилась она к лакею, лицо которого изображало отчаяние.

В этом доме все время вспыхивали ссоры, прислуга здесь не приживалась, и виновником этой непрерывной войны был один и тот же человек, но только не привратник, хотя орудия пыток,

наиболее утомительных для палача, и всю черную работу по науськиванию одного на другого, кончавшуюся дракой, герцогиня доверяла ему; надо, впрочем, заметить, что сам привратник не подозревал, какую роль он играет. Как и всех слуг герцогини, его умиляла ее доброта, а не отличавшиеся проницательностью лакеи, получив расчет, заходили к Франсуазе проститься и говорили, что если бы не будка привратника, то лучшего места, чем в доме у герцога, нельзя было бы найти во всем Париже. Герцогиня делала из будки привратника пугало, как долгое время делали пугало из клерикализма, из масонства, из еврейской опасности и т. д.

Вошел лакей.

— Почему мне не передали пакета, который прислал господин Сван?.. Да, вот еще что (вы знаете, Шарль, что Мама очень болен?): Жюля посылали узнать о здоровье господина маркиза д'Осмона — он еще не вернулся?

— Только что пришел, ваша светлость. Все так полагают, что кончина господина маркиза близка.

— Ах, так он еще жив! — облегченно вздохнув, воскликнул герцог. — Кончина, кончина! А вы — дурачина! Пока человек жив, надежду терять

нельзя, — обратившись к нам, с веселым видом сказал герцог. — А мне говорили о нем так, как будто он уже мертв и похоронен. Через неделю он будет молодец молодцом.

— Доктора говорят, что он умрет вечером. Один из них обещал навестить больного ночью. А главный доктор сказал, что приезжать незачем: господина маркиза он в живых уже не застанет, господина маркиза поддерживают только промывания камфорным маслом.

— Да замолчите вы, болван! — вне себя от ярости крикнул герцог. — Никто вас не спрашивает. Вы ничего не поняли из того, что вам было сказано.

— Было сказано не мне, а Жюлю.

— Да замолчите вы наконец? — взревел герцог и сейчас же обратился к Свану: — Он жив, какое счастье! Мало-помалу силы у него восстановятся. Пережить такой кризис! Значит, дело пойдет на поправку. Сразу не выздоравливают. А легкое промываньице камфорным маслом — это даже приятно. Он жив — чего же еще надо? — потирая руки, продолжал герцог. — Раз он сумел перенести то, что ему суждено было вынести, это уже хорошо. У него такой могучий организм, что ему можно только позавидовать. А потом, за здоро-

выми так не ухаживают, как за больными. Мой повар — мастак; он приготовил мне на завтрак жареную баранину под беарнским соусом; не могу не отдать ему должного: пальчики оближешь, но именно поэтому я столько съел, что у меня до сих пор в желудке тяжесть. А ведь вот никто же не приходит узнавать о моем здоровье, как приходят узнавать о здоровье моего дорогого Аманьена. Чересчур часто приходят. Это его утомляет. Надо дать ему отдохнуть. От посетителей отбою нет — этак и правда можно уморить человека.

— Постойте! — обратилась герцогиня к лакею, собиравшемуся уйти. — Я просила принести запакованные фотографии, которые мне прислал господин Сван.

— Ваша светлость! Пакет так велик, что вряд ли пройдет в дверь. Мы его оставили в передней. Так как же, ваша светлость, принести?

— Нет, не приносите, но только надо было сразу сказать. Если это такая громадина, то я спущусь в переднюю и там посмотрю.

— Я забыл доложить вашей светлости, что ее сиятельство графиня Моле оставила утром визитную карточку для передачи вашей светлости.

— В котором часу? — с недовольным видом спросила герцогиня: видимо, она считала, что

молодой женщине неприлично оставлять визитные карточки утром.

— Около десяти, ваша светлость.

— Принесите.

— Во всяком случае, Ориана, если вы считаете, что выйти замуж за Жильбера — это было со стороны Мари чудачеством, то у вас странная манера излагать события, — вернулся к прежней теме разговора герцог. — Уж кто дал маху, так это Жильбер: он женился на близкой родственнице бельгийского короля, присвоившего титул герцога Брабантского, который принадлежит нам. В наших жилах течет та же кровь, что и в жилах Гессенов, но только мы — более древняя ветвь. О себе говорить некрасиво, — сказал герцог, обращаясь ко мне, — но когда мы бываем — я уже не говорю — в Дармштадте, но даже в Касселе и, где бы то ни было, в Гессене, ландграфы всегда в высшей степени любезно уступают нам дорогу и первые места, потому что мы — древняя ветвь.

— Да будет вам, Базен! Мари была там у себя шефом всех полков, ее прочили за шведского короля…

— Подумаешь! Ах, Ориана, неужели вы не знаете, что дедушка шведского короля пахал землю

в По,[572] а ведь мы уже девятьсот лет назад стали одними из первых во всей Европе?

— И все-таки если бы кто-нибудь крикнул на улице: «Глядите: вон шведский король!» — все бежали бы за ним до площади Согласия, а если бы крикнули: «Вон герцог Германтский!», то для всех это имя было бы пустым звуком.

— Что вы хотите этим сказать?

— А помимо всего прочего, я не понимаю, какие у вас права на титул герцога Брабантского, раз он перешел к бельгийскому царствующему дому?

Лакей принес визитную карточку графини Моле, или, вернее, то, что она оставила вместо визитной карточки. Под тем предлогом, что визитных карточек у нее нет, она достала из кармана письмо, которое она от кого-то получила, вынула его из конверта с надписью: «Графиня Моле», а на конверте загнула угол. Конверт, соответственно модному в тот год формату почтовой бумаги, был великоват, так что эта «визитная карточка» с надписью от руки была почти вдвое

---

[572] Примечания: 572

…дедушка шведского короля пахал землю в По… — Имеется в виду Жан-Батист Бернадот (1764–1844). Родившись в простой семье в По, Бернадот сделал блестящую военную карьеру во время революционных и наполеоновских войн и стал маршалом Франции. Усыновленный шведским королем Карлом XIII, в 1818 г. он унаследовал трон под именем Карла XIV.

больше обычной.

— Это так называемая простота графини Моле, — с насмешкой в голосе заметила герцогиня. — Ей хочется, чтобы мы поверили, что у нее нет визитных карточек, и хочется показать свою оригинальность. Но этим нас не удивишь — ведь правда, милый Шарль? Мы уже не дети и сами достаточно оригинальны, чтобы угадать желания дамочки, которая начала выезжать в свет всего четыре года назад. Она прелестная женщина, но у нее, должно быть, не хватает смекалки, чтобы понять, что такими дешевыми приемами, как оставить вместо визитной карточки конверт, да еще в десять утра, она никого не удивит. Ее маменька, старая кикимора, по этой части ей сто очков вперед даст.

Сван не мог удержаться от смеха при мысли, что герцогиня, слегка завидовавшая успеху графини Моле, порывшись в «Германтском остроумии», сумеет проучить нахальную визитершу.

— По поводу титула «герцог Брабантский» я сто раз говорил вам, Ориана… — начал было герцог, но герцогиня, не дослушав, перебила его:

— Шарль, милый, я жажду посмотреть ваши фотографии!

— Extinctor draconis, latrator Anubis,[573] — сказал Сван.

— Да, вы так интересно о нем рассказывали и очень удачно сравнивали его со святым Георгием Венецианским. Я только не понимаю: почему Анубис?

— Дались вам эти фотографические снимки! — сказал герцог.

— Кое-кому, вероятно, были бы интереснее порнографические открытки, — без усмешки сказала герцогиня, тем самым подчеркивая, что она сама сознает, какой это плоский каламбур. — Я хочу посмотреть их все до единого, — добавила она.

— Давайте спустимся, Шарль, и подождем карету внизу, — сказал герцог, — вы продолжите свой визит в передней, а то моя жена все равно от вас не отстанет. Я могу похвалиться выдержкой, — с самодовольным видом продолжал он. — Я человек спокойный, но она допечет кого угодно.

---

[573] Примечания: 573

Extinctor draconis, latrator Anubis… — Истребитель дракона лаятель Анубис. В египетской мифологии бог смерти Анубис был главным богом в царстве мертвых, где считал сердца умерших, почитался в образе лежащего шакала черного цвета или дикой собаки (или в виде человека с головой шакала). Выражение «лаятель Анубис» встречается у Вергилия («Энеида», VIII, 698–700), кроме того, Пруст мог натолкнуться на него в книге Рёскина «Покой святого Марка», где в главе «Latrator Anubis» критик сравнивает святого Теодора (покровителя Венеции) со святым Георгием, убивающим дракона.

— Вы совершенно правы, Базен, — сказала герцогиня, — пойдемте в переднюю, мы, по крайней мере, отдаем себе отчет, ради чего мы уходим из вашего кабинета, но мы никогда не поймем, почему мы происходим от графов Брабантских.

— Я сто раз объяснял вам, каким образом этот титул перешел в Гессенский дом, — сказал герцог (в это время мы уже шли смотреть фотографии, и я вспомнил те, которые Сван присылал мне из Комбре), — вследствие женитьбы одного из Брабантов, в тысяча двести сорок первом году, на дочери последнего ландграфа Тюрингенского и Гессенского, так что скорее даже титул принца Гессенского перешел в дом Брабантов, чем титул герцога Брабантского в Гессенский дом. А еще вы должны помнить, что нашим боевым кличем был клич герцогов Брабантских: «Лимбург — тому, кто его завоевал»;[574] более того: мы заменили герб Германта гербом Брабанта, и вот это, по-моему, была наша ошибка; пример Грамонов меня не убеждает.

— Ну, а поскольку Лимбург был завоеван бельгийским королем… — возразила герцогиня. — Вот

[574] Примечания: 574

…«Лимбург — тому, кто его завоевал»… — Этим лозунгом была ознаменована победа Жана I Брабантского над герцогами Лимбургскими (1288).

потому-то наследник бельгийского престола и носит титул герцога Брабантского.

— Душенька! Ваше возражение не выдерживает критики, оно лишено всякого основания. Вы знаете не хуже меня, что титулы претендентов сохраняются и в том случае, когда территория занята каким-нибудь захватчиком. Так, например, испанский король тоже именует себя герцогом Брабантским, — это значит, что он претендует на землю, которой его род владел в менее древние времена, чем наш, но, правда, в более древние, чем род бельгийского короля. Еще испанский король именует себя герцогом Бургундским, королем Вест– и Ост-Индии, герцогом Миланским. А ведь он уже не владеет ни Бургундией, ни Индиями, ни Брабантом, как не владеем Брабантом ни я, ни принц Гессенский. Испанский король считает себя королем Иерусалима, австрийский император тоже, а ведь ни тот ни другой Иерусалимом не владеют.

Тут герцог осекся — ему стало неловко при мысли, что название города «Иерусалим» может быть неприятно Свану из-за «нашумевшего дела», — но сейчас же затараторил:

— Так можно сказать обо всем. Мы были некогда герцогами Омальскими, но это герцогство на

таком же законном основании отошло к французскому царствующему дому, как Жуанвиль и Шеврез — к дому Альберта. Мы и не думаем притязать на эти титулы, равно как не притязаем на титул маркиза де Нуармутье, когда-то он принадлежал нам, а потом его по праву стал носить род Ла Тремуй, но если некоторые уступки законны, то это не значит, что всякая уступка законна. Вот, например, — обратился он ко мне, — сын моей невестки носит титул принца Агригентского — титул, который достался нам от Иоанны Безумной,[575] равно как титул принца Тарентского достался роду Ла Тремуй. А Наполеон пожаловал титулом герцога Тарентского одного солдата:[576] этот самый солдат, наверно, был храбрым воякой, но в данном случае император еще больше превысил свою власть, чем Наполеон Третий,

---

[575] Примечания: 575

Иоанна Безумная (1479–1555) — королева Кастилии (1504–1555), жена эрцгерцога австрийского Филиппа Красивого, мать императора Карла V. Утратила рассудок после смерти мужа (1506).

[576] Примечания: 576

…пожаловал титулом герцога Тарентского одного солдата. — Речь идет о Жаке Этьене Жозефе Александре Макдональде (1765–1840), родом из простой шотландской семьи, обосновавшейся во Франции в начале XVIII века. Он принимал активное участие в голландской кампании 1784 г., дослужившись до чина бригадного генерала (1795), после Ваграмской битвы (1809) стал маршалом Франции, а в 1810 г. по его возвращении в Париж Наполеон пожаловал ему титул герцога Тарентского.

пожаловавший титулом герцога де Монморанси Перигора: Перигор хотя бы по материнской линии был Монморанси, тогда как герцог Тарентский стал таковым только потому, что так захотел Наполеон Первый. А Ше д'Эст-Анж,[577] намекая на вашего дядю Конде, задал вопрос прокурору империи: не подобрал ли император титул герцога де Монморанси во рвах Венсенского замка?[578]

— Базен, ради Бога, я готова не только спуститься вместе с вами в Венсенские рвы, но даже съездить в Тарент. Да, кстати: Шарль, милый, я как раз хотела вам об этом сказать, когда вы говорили о святом Георгии Венецианском. Дело в том, что мы с Базеном собираемся пожить весной в Италии и в Сицилии. Если бы вы поехали с нами, вы бы нас просто осчастливили! Я уже не говорю о том, как нам приятно было бы ваше об-

---

[577] Примечания: 577

Ше д'Эст-Анж, Гюстав Луи Адольф луи Шарль (1800–1876) — французский юрист и политический деятель.

[578] Примечания: 578

…во рвах Венсенского замка? — Во рвах Венсенского замка 21 марта 1804 г. был расстрелян по бездоказательному обвинению в заговоре против Наполеона I Луи Антуан Анри де Бурбон-Конде, единственный сын «последнего Конде» и последний представитель рода Монморанси, так как после смерти в 1632 г. Генриха II, четвертого герцога Монморанси, герцогство-пэрство Монморанси отошло к дому Конде, глава которого Генрих II де Бурбон женился на Шарлотте Монморанси.

щество, но вы столько рассказывали мне о следах нашествия норманнов, о памятниках античного мира, — представляете себе, как много дало бы мне наше совместное путешествие? Ведь даже Базен — да что я говорю: Базен! — Жильбер и тот извлек бы из него пользу: я уверена, что меня заинтересовали бы даже притязания на корону Неаполя и прочая тому подобная возня, если бы вы об этом рассказали в старых романских церквах или в нагорных селеньицах, точь-в-точь таких, как на примитивах. Ну, давайте же посмотрим ваши фотографии. Распакуйте их, — сказала герцогиня лакею.

— Ориана, только не сейчас! Завтра посмотрите, — взмолился герцог, уже показывавший мне знаками, что он в ужасе от громадных размеров фотографий.

— А мне хочется вместе с Шарлем, — сказала герцогиня с улыбкой, в которой читались неестественная алчность и тонкий психологический расчет: стремясь к тому, чтобы Сван почувствовал все ее благорасположение к нему, она так говорила об удовольствии, какое ей доставят его фотографии, как мог бы говорить больной об удовольствии, с каким он съел бы апельсин, или словно она затевала эскападу с друзьями и

одновременно рассказывала своему биографу об увлечениях, которые делали честь ее вкусу.

— Он придет к вам специально, — после того как герцогиня вынуждена была уступить герцогу, сказал он. — Рассматривайте хоть три часа, если вас это так занимает, — продолжал он с насмешкой в голосе. — Ну а где же вы развесите эти игрушечки?

— В моей комнате — я хочу, чтобы они всегда были у меня перед глазами.

— Сделайте одолжение! Если они будут висеть у вас в комнате, то, вернее всего, я никогда их не увижу, — сказал герцог, не подумав, что из этих его слов явствовало, что он и герцогиня не живут как муж и жена.

— Только, пожалуйста, осторожнее, — обратилась герцогиня к слуге (желая, чтобы Сван оценил ее благосклонность, она проявляла необыкновенную заботу о его фотографиях). — Смотрите, не помните пакет.

— Как мы почтительны даже к пакету! — воздев руки к небу, шепнул мне герцог. — Да, Сван, я ведь натура прозаическая, и меня больше всего удивляет то, что вы сумели найти этакий конвертище. Где это вы его раздобыли?

— В магазине фотогравюр — там часто посы-

лают большие пакеты. Какие же они все-таки невежи! Надписывают: «Герцогине Германтской» без «Ее светлости».

— Я им прощаю, — с рассеянным видом молвила герцогиня: видимо, ей вдруг пришла в голову забавная мысль, и от этой мысли на ее губах появилась легкая улыбка, но она ее тут же смахнула и обратилась к Свану:

— Ну так как же, поедете вы с нами в Италию?

— Думаю, что не смогу, герцогиня.

— А вот герцогине де Монморанси повезло. Вы были с ней и в Венеции и в Виченце. Она рассказывала, что с вами видишь то, чего без вас не увидишь, то, о чем никто никогда не говорил, что вы ей открыли нечто совершенно новое даже в том, что как будто бы всем известно, что благодаря вам она оценила такие детали, мимо которых двадцать раз проходила, не замечая. Нет, вы безусловно относитесь к ней лучше, чем к нам… Выньте фотографии господина Свана из этого громадного конверта, — приказала она слуге, — загните на нем угол и передайте его от меня ее сиятельству графине Моле. Сван расхохотался.

— Мне все-таки хотелось бы знать, — спросила герцогиня, — как можно за десять месяцев предвидеть, что вы не сможете поехать?

— Дорогая герцогиня! Я вам отвечу на ваш вопрос, раз вы этого требуете, но вы же сами видите, что я очень болен.

— Шарль, родной мой, вы в самом деле очень неважно выглядите, мне не нравится ваш цвет лица, но ведь я прошу вас поехать с нами не через неделю, а месяцев через десять. Десять месяцев — срок вполне достаточный, чтобы поправиться.

Вошел лакей и доложил, что карета подана.

— Ну, Ориана, скорей! — сказал герцог, уже топавший от нетерпения ногой, как будто он был одним из ожидавших коней.

— Так почему же вы не поедете в Италию? — вставая, чтобы попрощаться с нами, спросила герцогиня.

— Потому, дорогой друг, что через несколько месяцев меня уже не будет в живых. В конце прошлого года я советовался с врачами, и они мне прямо сказали, что моя болезнь, от которой я могу умереть в любую минуту, даст мне прожить в лучшем случае месяца три-четыре, но никак не больше, — улыбаясь, ответил Сван, и в это время лакей распахнул перед герцогиней стеклянную входную дверь.

— Да ну что вы! — воскликнула герцогиня; она уже направлялась к выходу, но при последних

словах Свана остановилась и подняла на него прекрасные голубые глаза, смотревшие грустно и вместе с тем крайне недоверчиво. Впервые приходилось ей исполнять одновременно две совершенно разные обязанности: садиться в карету, чтобы ехать на званый обед, и выражать сочувствие умирающему, и она не находила в кодексе светской морали такой статьи, которая указывала бы, как ей надлежит поступить, — вот почему она, не зная, какая обязанность важнее, решила, для того чтобы исполнить первую, гораздо менее тяжелую, сделать вид, будто она не допускает горестной мысли: она рассудила, что в данном случае наилучший способ разрешения конфликта — это его отрицание.

— Вы шутите, — сказала герцогиня Свану.

— Ничего себе, милая шуточка, — с насмешкой в голосе проговорил Сван. — Не знаю, зачем я вам об этом сказал, я никому не говорил о своей болезни. Но ведь вы стали меня расспрашивать, да и потом, я могу умереть в любой день… Однако я вас задерживаю, вы опоздаете на обед, — прибавил Сван; из вежливости он поставил себя на место герцога и герцогини, а он знал, что когда речь идет о светских приличиях, то смерть друга отступает для них на второй план. Но вежливость

герцогини, хотя и невнятно, подсказала ей, что для Свана обед, на который она собиралась ехать, не так важен, как его смерть.

— А, да что там обед! Какое это имеет значение! — опустив голову, сказала она, идя к карете.

Герцог возмутился.

— Ориана! Перестаньте хныкать и подпевать Свану! — крикнул он. — Вы же знаете, что у госпожи де Сент-Эверт садятся за стол ровнешенько в восемь. Раз обещали — значит, надо быть вовремя; лошади пять минут стоят у подъезда. Простите, Шарль, — сказал он, обернувшись к Свану, — но уже без десяти восемь. Ориана вечно опаздывает, а езда до дома тетушки Сент-Эверт больше пяти минут.

Герцогиня, прежде чем прибавить шагу, в последний раз простилась со Сваном:

— Ну, мы с вами еще об этом поговорим; я не верю ни единому слову из того, что вы насказали о своей болезни, но мы это еще обсудим. Вас зря напугали; приходите завтракать когда вам угодно (для герцогини завтрак являлся разрешением всех вопросов), только назначьте день и час.

Приподняв подол красной юбки, герцогиня ступила на подножку. Но тут герцог, увидев ее ногу, закричал не своим голосом:

— Беда с вами, Ориана! О чем вы думали? Вы надели черные туфли! А платье — красное! Бегите и наденьте красные туфли… Нет, вот что, — обратился он к лакею, — скажите горничной, чтобы она сию секунду принесла ее светлости красные туфли.

— Друг мой, ведь мы же опаздываем! — тихо сказала герцогиня; Сван, вместе со мной дожидавшийся в передней, когда карета тронется, не мог не слышать, что сказал герцог, и герцогине стало неловко.

— Да нет, у нас есть время. Еще только без десяти, а до парка Монсо самое большее десять минут езды. Ну, а в конце концов, даже если мы приедем в половине девятого, — ничего, подождут, не можете же вы ехать туда в красном платье и в черных туфлях. Вот увидите, мы еще будем не самые последние, вы же знаете, что чета Сасенаж всегда является не раньше чем без двадцати девять.

Герцогиня пошла к себе в комнату.

— Видали? — сказал нам герцог. — Над бедными мужьями издеваются все, кому не лень, а ведь без них тоже плохо. Если бы не я, Ориана покатила бы на обед в черных туфлях.

— Я в этом беды не вижу, — возразил Сван, — я

заметил, что на герцогине черные туфли, но меня это нисколько не покоробило.

— Не покоробило так не покоробило, — сказал герцог, — но все-таки когда туфли одного цвета с платьем, то это имеет более элегантный вид. И потом, можете быть уверены: как только мы бы приехали, она бы на это сама обратила внимание, и пришлось бы мне мчаться за ее туфлями. Я сел бы за стол в девять. Ну, до свидания, братцы! — сказал герцог, осторожно выталкивая нас. — Уходите, пока Ориана не вернулась. Я вовсе не хочу сказать, что ей неприятно вас видеть. Напротив: ей это чересчур приятно. Если она вас застанет, то опять начнет разглагольствовать, а она и так устала, приедет на обед еле живая. И потом, сказать по совести, я зверски хочу есть. Я ведь приехал сегодня утром и плохо позавтракал. Правда, беарнский соус был дьявольски вкусный. И все-таки я ничего не буду иметь против — ну то есть ровно ничего не буду иметь против того, чтобы сесть за стол. Без пяти восемь! Ох, эти женщины! Из-за нее у нас обоих разболится живот. У моей жены совсем не такое крепкое здоровье, как это принято думать.

Герцогу было ничуть не стыдно говорить умирающему о своих болезнях и о болезнях жены

— состояние своего здоровья и здоровья жены волновало его больше, чем болезнь Свана, оно было для него важнее. И только потому, что он был человек воспитанный и жизнерадостный, он, вежливо выпроводив нас, когда Сван был уже во дворе, зычным голосом крикнул, стоя в дверях, как кричат за кулисы со сцены:

— А этих чертовых докторов вы не слушайте — мало ли каких глупостей они вам наговорят! Доктора — оболдуи. Вы здоровы как бык. Вы еще всех нас переживете!

ПРИМЕЧАНИЯ

О.Е. Волчек, С.Л. Фокин.

Первая часть романа «У Германтов» вышла в свет в октябре 1920 г., вторая — в мае 1921 г., вместе с первой частью «Содома и Гоморры», словно бы внедрение в аристократические круги, которому отдается Рассказчик, познав мимолетные утехи «под сенью» цветущих девушек, по необходимости сопровождается сошествием в бездну порока, караемого если и не Богом, то, по меньшей мере — и чаще всего, — злыми языками того же света. Это углубление «Поисков» подчеркивается уже в названии — не «По направлению к Германтам», а «У Германтов». Легкое изменение заглавия преобразует характер «чувственного воспитания» Рассказчика: если направление Свана, направление психологии просвещенного буржуа, с которым он отождествлял себя до поры до времени, оставалось для него по существу открытым, то в направлении Германтов, направлении высшего света, перед ним не было ничего, кроме «воображаемого пейзажа» или, может быть, миража «громких и поэтических имен».

Свет, играя звучными именами как Германтов, так и тех, кто у Германтов собирался, манил своей недоступностью, замкнутостью, закрытостью.

«Поиски утраченного времени» продолжаются таким образом в «стране имен» или во времени, в «возрасте имен» (в 1913 г. такое название Пруст думал дать первому тому цикла), когда притягательные имена оказывают непреодолимое влияние на направление существования. Возраст имен — это детская или юношеская пора, время грез, мечтаний, заблуждений, очарований, разочарований и, самое главное, неизбывных возможностей выбора. Вот почему тот взгляд на высший свет, который представлен в романе, не является окончательным, безусловно осуждающим; говоря об аристократии, Рассказчик не судит ее, не выносит ей приговор, он передает свой опыт познания света, свой взгляд на него в «возрасте имен» с неизбежными для него искажениями перспективы. В глазах многих современников Пруст выглядел снобом, иные считали, что он действительно болен этой «болезнью тщеславия», заключающейся в исповедании веры в ценность аристократического происхождения. Сноб живет чистым желанием, но желает он не столько какой-то реальный объект, сколько

того, чтобы сам он стал желанным для кого-то другого. Снобом был, конечно, не Пруст или, точнее, не Пруст — автор романа, — снобом является Марсель «У Германтов», именно он желает желание другого (Р. Жирар), то есть желает по существу ничто, ведет ничтожное существование сноба. Но вновь, как и с «девушками в цвету», для Пруста важен опыт, действенное познание знаков и иллюзий светской жизни. Рассказчик, так и не обнаружив таинственной сущности светской жизни, открывает в столкновении иллюзий «воображаемого пейзажа» и прозаизма реальности истинные пути творческого сознания.

Роман поделен на две части, при этом во второй части — две неравные главы. Первая глава второй части, целиком посвященная описанию смерти бабушки, представляет собой важное связующее звено всей эпопеи, тот узел, в котором будут стягиваться нити всех тем и сюжетных перипетий «Поисков». В сущности, речь идет о первой настоящей встрече Рассказчика со смертью, вместе с тем в определенном смысле встрече последней. Близкие Марселю персонажи «Поисков» будут умирать — Сван, Бергот, Сен-Лу, Альбертина, — однако они скорее исчезают из его поля зрения, он их просто больше не видит, тогда как смерть

бабушки действительно проживается, заполняет его сознание, заставляет воссоздать себя раз и навсегда. Для описания абсолютной жестокости смерти и абсолютной ее неизбежности Пруст (сын врача) выбирает клиническую, можно сказать, точку зрения: он делает все для того, чтобы описать симптомы смертельного недуга с бесстрастностью «медицинского взгляда» (М. Фуко). После такого зрелища смерти, которой, оказывается, можно посмотреть в глаза, повествование, рассказ взывает к тишине, молчанию, которое и передается белизной последней страницы первой главы второй части третьего из романов эпопеи. Затем повествование возобновляется почти что с самого начала — спустя полгода после смерти бабушки, в спальне, осенним утром. Почти что, но не до конца: в сознание Рассказчика, равно как и в сознание романиста, вторгается время, возраст агонии, его взросление будет сопровождаться отныне знанием смерти, которая ни на миг не прекращает своей тлетворной работы в человеке.

При составлении примечаний использовались критические издания романа, подготовленные французскими литературоведами Д. Ферми, Т. Лаже, А. А. Морелло, Б. Раффали, П.-Л. Рея, Б. Роже,

Ж.-И. Тадье, Ф. М. Тирье.